ЗАКАТ
и
ПАДЕНИЕ
РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ

История упадка и разрушения Великой Римской Империи ЭДУАРДА ГИББОНА

Народная библиотека
«ОГОНЬКА»

ЭДУАРД
ГИББОН

ЗАКАТ
и
ПАДЕНИЕ
РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ

Том V

МОСКВА 2008
ТЕРРА TERRA
КНИЖНЫЙ КЛУБ

УДК 930.9
ББК 63.3(0)
Г46

Художник
С. ГЕРАСКЕВИЧ

Гиббон Э.

Г46 История упадка и разрушения Великой Римской империи: Закат и падение Римской империи: В 7 т. Т. 5 / Пер. с англ. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2008. — 592 с.

ISBN 978-5-275-01705-2 (т. 5)
ISBN 978-5-275-01700-7

В пятом томе труда английского историка предметом его исследования является эпоха наивысшего расцвета и качественных изменений в истории стран Европы и средиземноморского бассейна в VI—VIII в., Правление Юстиниана и оформление свода римского права, завоевание лангобардами Италии и войны Византии с персами, развитие христианской догматики и борьба с ересями, иконоборчество, деятельность Карла Великого по воссозданию огромной империи, появление Мухаммеда и зарождение ислама, мастерски обрисованные автором, демонстрируют читателю все многообразие исторических реалий того времени.

УДК 930.9
ББК 63.3(0)

ЭДУАРД ГИББОН

ЗАКАТ И ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

В семи томах
Том пятый

Редактор *А. Полбенникова.* Художественный редактор *О. Скочко.* Корректор *М. Лубнина*

Подписано в печать 20.11.07 г. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 37,63. Заказ № 0727210.

ТЕРРА—Книжный клуб. 127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.

ЯПК arvato

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-275-01705-2 (т. 5)
ISBN 978-5-275-01700-7

© ТЕРРА—Книжный клуб, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Пятой части

Глава XLIV

Очерк римской юриспруденции. — Законы царей. — Двенадцать таблиц децемвиров. — Законы, утверждавшиеся народом. — Декреты сената. — Эдикты должностных лиц и императоров. — Авторитет юристов. — Кодекс, Пандекты, Новеллы и Институции Юстиниана. — I. Личные права. — II. Имущественные права. — III. Личные обиды и иски. — IV. Преступления и наказания 15

Н.Э.

Гражданское или римское законодательство
Законы римских царей
Двенадцать таблиц децемвиров
Их характер и влияние
Законы, утверждавшиеся народом
Декреты сената
Эдикты преторов
Вечный эдикт
Постановления императоров
Их законодательная власть
Их рескрипты
Формы римского законодательства
Ряд римских юристов
303-648. Период первый
648-988. Период второй
988-1230. Период третий
Их философия
Авторитет
Школы
527. Преобразование римского законодательства Юстинианом
527-546. Трибониан
528, 529. Кодекс Юстиниана
530-533. Пандекты или Дигесты
Оценка Кодекса и Пандектов и их недостатки
Утрата древней юриспруденции
Непостоянство Юстиниана в его деятельности законодателя
534. Второе издание Кодекса
534-565. Новеллы
533. Институции

I. Личные права. Свободные люди и рабы

Отцы и дети
Ограничения отцовской власти
Мужья и жены
Религиозные обряды при бракосочетаниях
Нестесняемость, с которой совершались
брачные договоры
Свобода развода и злоупотребление ею
Ограничение свободы развода
Кровосмесительные связи, наложницы
и незаконнорожденные дети
Опекуны и попечители
II. Имущественные права. Право собственности
Права наследования и принятия наследства
Гражданские степени родства
Введение завещаний и свобода их совершения
Завещанные имущества
Приписи к духовным завещаниям и отдача имущества
на хранение
III. Иски
Обещания
Благодеяния
Доход с денежных капиталов
Обиды
IV. Преступления и наказания
Строгость Двенадцати таблиц
Уголовные законы частью отменяются,
частью выходят из употребления
Снова вводятся уголовные наказания
Степень виновности
Противоестественный порок
Строгость христианских императоров
Народные суды
Выборные судьи
Асессоры
Добровольное изгнание и смерть
Злоупотребления, вызванные
гражданским законодательством

Глава XLV

Царствование Юстина Младшего. — Посольство от авар. — Их поселение на Дунае. — Завоевание Италии лангобардами. — Усыновление Тиберия и его царствование. — Царствование Маврикия. — Положение Италии под властью лангобардов и равеннских экзархов. — Бедственное положение Рима. — Характер и правление папы Григория 1-го 117

Н.Э.

565. Смерть Юстиниана

565-574. Царствование Юстиниана II, или Младшего

566. Его консульство
Аварское посольство

Король лангобардов Альбоин, его мужество,
любовная привязанность и мстительность
Лангобарды и авары губят короля гепидов
и уничтожают его государство
567. Альбоин предпринимает завоевание Италии
Неудовольствие Нарсеса и его смерть
568-570. Лангобарды завоевывают большую часть Италии
573. Альбоин умерщвлен своей женой Розамундой
Ее бегство и смерть
Король лангобардов Клеф
Слабость императора Юстина
574. Тиберий назначен соправителем
578. Смерть Юстина II
571-582. Царствование Тиберия II
Его добродетели
582-602. Царствование Маврикия
Бедственное положение Италии
584-590. Король лангобардов Аутари
Равеннский экзархат
Владения лангобардов
Язык и нравы лангобардов
Манера одеваться и брачные союзы
Управление
643. Законы
Бедственное положение Рима
Гробницы и мощи апостолов
Рождение и характер Григория Великого
590-604. Понтификат Григория Великого
Его духовное управление
Его светское управление
Его поместья
Раздача милостыни
Он спасает Рим

Глава XLVI

Перевороты в Персии после смерти Хосрова, или Ануширвана. — Его сын, тиран Ормузд, свергнут с престола. — Узурпация Бахрама. — Бегство Хосрова II и его вторичное вступление на престол. — Его признательность к римлянам. — Аварский каган. — Восстание армии против Маврикия. Его смерть. — Тирания Фоки. — Возведение на престол Ираклия. — Персидская война. — Хосров завоевывает Сирию, Египет и Малую Азию. — Персы и авары осаждают Константинополь. — Персидские экспедиции. — Победы и триумф Ираклия 163

Н.Э.

Борьба Рима с Персией
570. Завоевание Йемена Ануширваном
572. Его последняя война с римлянами
579. Его смерть
579-590. Тирания и пороки его сына Ормузда

590.	Подвиги Бахрама
	Его восстание
	Ормузд свергнут с престола и заключен в тюрьму
	Возведение на престол его сына Хосрова
	Смерть Ормузда
	Хосров бежит к римлянам
	Его возвращение
	И окончательная победа
	Смерть Бахрама
591-603.	Хосров снова вступает на престол; его политика
570-600.	Гордость, политика и могущество аварского кагана
595-602.	Войны Маврикия с аварами
	Положение римских армий
	Их недовольство
	И мятеж
602	Избрание Фоки
	Мятеж в Константинополе
	Смерть Маврикия и его детей
602-610	Фока провозглашен императором
	Его характер
	И тирания
610.	Его падение и смерть
610-612.	Царствование Ираклия
603.	Хосров вторгается в римские владения
611	Он завоевывает Сирию
614.	Палестину
616.	Египет
	Малую Азию
	Его царствование и его роскошь
610-622.	Критическое положение Ираклия
	Он просит мира
621.	Его приготовления к войне
622.	Первая экспедиция Ираклия против персов
623,624,	
625.	Его вторая экспедиция
626.	Освобождение Константинополя от персов и аваров
	Союзы Ираклия и его завоевания
627.	Его третья экспедиция
	И победы
	Бегство Хосрова
628.	Он свергнут с престола
	И убит своим сыном Шируйэ
	Мирный договор между двумя империями

Глава XLVII

Богословская история учения о воплощении. — Человеческая и божественная натура Христа. — Вражда между патриархами Александрийским и Константинопольским. — Св. Кирилл и Несторий. — Третий вселенский собор в Эфесе. — Евтихиева ересь. — Четвертый вселенский собор в Халкидоне. — Гражданские и церковные раздоры. —

Религиозная нетерпимость Юстиниана. — Три главы. — Споры с монофелитами. — Положение восточных школ. — I. Несториане. — II. Яковиты. — III. Марониты. — IV. Армяне. — V. Копты и абиссинцы 228

Н.Э.

Воплощение Христа
I. По мнению евионитов, он родился человеком
Его рождение и возвышение
II. По мнению докетов, он родился Богом
Его тело не было подвержено порче
III. Двойное естество, по учению Керинфа
IV. Божественное воплощение,
по учению Аполлинария
V. Православное единомыслие и спор о словах

412-444. Александрийский патриарх Кирилл
413, 415. Его тирания
428. Константинопольский патриарх Несторий
429-431. Его ересь
431. Первый Эфесский собор
Осуждение Нестория
Оппозиция восточных епископов
431-435. Победа Кирилла
435. Изгнание Нестория
448. Ересь Евтихия
449. Второй Эфесский собор
451. Халкидонский собор
Халкидонский "символ веры"
451-482. Раздоры на Востоке
482. Энотикон Зинона
508-518. Трисагион и религиозная борьба,
продолжающаяся до смерти Анастасия
514. Первая религиозная война
519-555. Склонность Юстиниана к богословским спорам
и его церковное управление
Он гонит еретиков
Язычников
Иудеев
Самаритян
Его православие
532-698. Три главы
553. Пятый вселенский собор,
или Второй константинопольский
564. Еретические мнения Юстиниана
629. Спор с монофелитами
639. Экстезис Ираклия
648. Тип Констанса
680-681. Шестой вселенский собор,
или Второй константинопольский
Единение церквей греческой и латинской
Окончательное отделение восточных сект

I. Несториане
500. Они одни господствовали в Персии
500-1200. Их миссии в Татарии, Индии, Китае и пр.
883. Христиане св.Фомы в Индии
II. Яковиты
III. Мароните
IV. Армяне
V. Копты и египтяне
537-568. Патриарх Феодосий
538. Павел
551. Аполлинарий
580. Евлогий
609. Иоанн
Их отделение и упадок
625-661. Патриарх яковитов Вениамин
VI. Абиссинцы и нубийцы
530. Церковь в Абиссинии
1525-1550. Португальцы в Абиссинии
1557. Миссия иезуитов
1626. Обращение императора
1632. Окончательное изгнание иезуитов

Глава XLVIII

План остальных частей этого сочинения. — Порядок вступления на престол и характер греческих императоров, царствовавших в Константинополе со времен Ираклия до взятия города латинами 321

Н.Э.
Бедность византийской истории
Ее связь с мировыми переворотами
План остальных частей этого сочинения
Вторичный брак и смерть Ираклия
641. Константин III
Ираклеон
Наказание Мартины и Ираклеона
Констант II
668. Константин IV Погонат
685. Юстиниан II
695-705. Его жизнь в изгнании
705-711. Его вторичное восшествие на престол и смерть
711. Филиппик
713. Анастасий II
716. Феодосий III
718. Лев III Исаврянин
741. Константин V Копроним
775. Лев IV
780. Константин VI и Ирина
792. Ирина
802. Никифор I
811. Ставракий

Михаил I Рангав
813. Лев V Армянин
820. Михаил II Косноязычный
829. Феофил
842. Михаил III
867. Василий I Македонянин
886. Лев VI Философ
911. Александр, Константин VII Порфирородный
919. Роман I Лакапин
Христофор, Стефан, Константин VIII
945. Константин VII
959. Роман II Младший
963. Никифор II Фока
969. Иоанн Цимисхий, Василий II, Константин IX
976. Василий II и Константин IX
1025. Константин IX
1028. Роман III Аргир
1034. Михаил IV Пафлагонянин
1041. Михаил V Калафат
1042. Зоя и Феодора
Константин X Мономах
1054. Феодора
1056. Михаил VI Стратион
1057. Исаак I Комнин
1059. Константин XI Дука
1067. Евдокия
Роман III Диоген
1071. Михаил VII Парапинак, Андроник I,
Константин XII
1078. Никифор III Ботаниат
1081. Алексей I Комнин
1118. Иоанн, или Кало-Иоанн
1143. Мануил
1180. Алексей II
Характер и первые любовные
похождения Андроника
1183. Андроник I Комнин
1185. Исаак II Ангел

Глава XLIX

Введение, почитание и гонение икон. — Восстание Италии и Рима. — Светская власть пап. — Завоевание Италии франками. — Поклонение иконам восстановлено. — Характер Карла Великого и его коронование. — Восстановление и упадок римского владычества на Западе. — Независимость Италии. — Государственное устройство Германии 404

Н.Э.
Введение в христианской церкви икон
Поклонение им
Эдесская икона

	Ее копии
	Оппозиция против почитания икон
726-840.	Лев Иконоборец и его преемники
754.	Созванный ими в Константинополе собор
	Их "символ веры"
726-775.	Они преследуют иконы и монахов
	Положение Италии
727.	Письма Григория II к императору
728.	Восстание Италии
	Республика в Риме
730-752.	Лангобарды нападают на Рим
754.	Пипин освобождает его
774.	Завоевание Ломбардии Карлом Великим
751,	
753,768.	Короли Франции Пипин и Карл Великий
	Римские патриции
	Пожалования Пипина
	и Карла Великого в пользу пап
	Подложная дарственная грамота Константина
780.	Императрица Ирина восстанавливает
	на Востоке поклонение иконам
787.	Седьмой вселенский собор,
	или второй Никейский
842.	Императрица Феодора окончательно вводит
	поклонение иконам
794.	Неодобрение франков и Карла Великого
774-800.	Окончательное отделение пап
	от Восточной империи
800.	Коронование Карла Великого
	в звании императора Римского и Западного
768-814.	Царствование и характер Карла Великого
	Объем его владений
	Во Франции
	В Испании
	В Италии
	В Германии
	В Венгрии
	Его соседи и враги
	Его преемники
814-887.	В Италии
911.	В Германии
987.	Во Франции
814-840.	Людовик Благочестивый
840-856.	Лотарь I
856-875.	Людовик II
888.	Разделение империи
962.	Король германский Оттон восстанавливает
	и присваивает себе Западную империю
	Сношения Западной империи с Восточной
800-1060.	Влияние императоров на выборы пап
	Беспорядки

1073. Преобразование церкви и ее притязания
Авторитет, которым пользовались императоры в Риме
932. Восстание Альбериха
967. Папы Иоанна XII
998. Консула Кресченция
774-1250. Королевство Италийское
1152-1190. Фридрих I
1198-1250. Фридрих II
854-1250. Независимость германских князей
1250. Германская конституция
1347-1378. Бессилие и бедность германского императора Карла IV
1356. Внешняя выставка его величия
Контраст между могуществом и скромностью Августа

Глава L

Описание Аравии и ее населения. — Рождение, характер и учение Мухаммеда. — Он занимается проповедью в Мекке. — Бежит в Медину. — Распространяет свою религию мечом. — Арабы подчиняются ему отчасти волей, отчасти неволей. — Его смерть и его преемники. — Притязания и судьба Али и его потомков 487

Н.Э.

Описание Аравии
Почва и климат
Разделение Аравии на Песчаную, Каменистую и Счастливую
Нравы бедуинов, или пастушеских арабов
Лошадь
Верблюд
Города Аравии
Мекка
Ее торговля
Национальная независимость арабов
Их домашняя свобода и домашние нравы
Междоусобицы и мщение за личные обиды
Ежегодное перемирие
Их общественные нравы и добродетели
Любовь к поэзии
Примеры великодушия
Старинное идолопоклонство
Храм Кааба в Мекке
Жертвоприношения и обряды
Введение Сабейских верований
Верований магов
Иудеев
Христиан
569-609. Рождение и воспитание Мухаммеда

	Освобождение Мекки
	Личные свойства пророка
	Единство Божие
	Мухаммед — Апостол Божий и последний из пророков
	Моисей
	Иисус
	Коран
	Чудеса
	Постановления Мухаммеда о молитве, посте и раздаче милостыни
	Воскресение мертвых
	Ад и рай
606	Мухаммед проповедует в Мекке
613-622.	Встречает противодействие в курейшитах
622.	Вынужден бежать из Мекки
622.	Принят в Медине как правитель
622-632.	Его высшее достоинство
	Он объявляет войну неверующим
	Его оборонительная война против меккских курейшитов
623.	Сражение при Бедере
	При Огуде
625.	Сражение Наций или Рва
623-627.	Мухаммед покоряет живших в Аравии иудеев
629.	Покорение Мекки
629-632.	Завоевание Аравии
629-630.	Первая война Мухаммеда с Римской империей
632.	Смерть Мухаммеда
	Его характер
	Частная жизнь Мухаммеда
	Его жены
	Его дети
	Характер Али
632.	Правление Абу Бекра
634.	" Омара
644.	" Османа
	Раздоры между турками и персами
655.	Смерть Османа
655-660.	Правление Али
655, или 661-680.	Правление Муавии
	Смерть Хусейна
	Потомство Мухаммеда и Али
	Неизменяемость его религии
	Его заслуги перед отечеством

В конце каждой главы дается примечание.

ИСТОРИЯ УПАДКА И РАЗРУШЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

ГЛАВА XLIV

Очерк римской юриспруденции.— Законы царей.— Двенадцать таблиц децемвиров.— Законы, утверждавшиеся народом.— Декреты сената.— Эдикты должностных лиц и императоров.— Авторитет юристов.— Кодекс, Пандекты, Новеллы и Институции Юстиниана.— I. Личные права.— II.Имущественные права.— III.Личные обиды и иски.— IV.Преступления и наказания.

Тщеславные титулы Юстиниана, напоминавшие о его завоеваниях, исчезли без всякого следа, но название законодателя надписано на славном и долговечном памятнике. В его правление и его стараниями гражданское законодательство было систематически изложено в трех бессмертных произведениях,— в *Кодексе*, в *Пандектах* и в *Институциях*[1]; государственная мудрость римлян перешла в учреждения европейских народов или незаметным образом, или через посредство ученых, и законы Юстиниана[2] до сих пор внушают независимым народам уважение или готовность им повиноваться. Мудр или счастлив тот монарх, который связывает свою собственную славу с достоинством и с интересами такого разряда людей, без которого не может обойтись никакое цивилизованное общество. Юристы всех веков изощряли свое усердие и искусство на защиту того, кто создал их сословие. Они с благоговением вспоминают о его добродетелях, скрывают или отрицают его недостатки и не щадят тех преступных или безрассудных людей, которые осмеливаются пятнать величие императорского достоинства. Любовь, доходившая до обожания, усилила, как это обыкновенно случается, ненависть противников; личность Юстиниана стали с безрассудной горячностью осыпать то лестью, то бранью, а одна секта *(антитрибонианцев)* дошла в своем пристра-

стии до того, что не признала никаких прав на похвалы и никаких достоинств ни за монархом, ни за его министрами, ни за его законами[3]. Не принадлежа ни к какой партии, уважая в истории лишь то, что правдиво и беспристрастно, и пользуясь указаниями самых сдержанных и самых искусных руководителей[4], я с основательным недоверием к моим силам приступаю к такому сюжету, которому столько ученых юристов посвятили всю свою жизнь и который наполнил столько обширных библиотек. В одной главе, которую я постараюсь сделать как можно более краткой, я прослежу историю римского законодательства от Ромула до Юстиниана[5], сделаю оценку трудам этого императора и затем приостановлюсь для того, чтобы вникнуть в принципы науки, столь важной для общественного спокойствия и благосостояния. Законодательство каждого народа составляет самую поучительную часть его истории, и хотя я взялся за составление летописей разрушавшейся монархии, я воспользуюсь этим случаем, чтобы подышать чистым и укрепительным воздухом республики.

Первоначальное управление Рима[6] было составлено, не без некоторого политического искусства, из выборного царя, совета знатных людей и общего собрания народа. Война и религия находились в ведении верховного сановника, и он один предлагал законы, которые обсуждались в сенате и окончательно или утверждались, или отвергались большинством голосов в тридцати *куриях*, или городских собраниях. Ромул, Нума и Сервий Туллий считаются самыми древними законодателями, и каждый из них имеет право на особое место в трех отделах римской юриспруденции[7]. Законы о брачном союзе, о воспитании детей и о родительской власти, повидимому, истекающие из самой *природы*, приписываются самостоятельной мудрости Ромула. Введенные Нумой *международные* законы и правила религиозного культа были извлечены им из его ночных бесед с нимфой Эгерией. *Гражданские* законы приписываются личной опытности Сервия; он уравновесил права и состояния семи разрядов граждан и обеспечил пятьюдесятью новыми постановлениями соблюдение договоров и наказание преступлений. Государственное устройство, которому он старался дать демократический характер, было изменено последним Тарквинием в необузданный деспотизм, а когда должность царя была упразднена,

патриции присвоили себе одним все выгоды свободы. Царские законы или сделались ненавистны, или вышли из употребления; их таинственный осадок втихомолку сохранялся духовенством и знатью, и по прошествии шестидесяти лет римские граждане все еще жаловались на то, что они управляются произволом должностных лиц. Тем не менее введенные царями учреждения вошли в общественные и в семейные обычаи граждан; некоторые отрывки этой почтенной юриспруденции[8] были собраны усердными антикварами[9], и более двадцати текстов до сих пор свидетельствуют о грубости Пелазгического идиома латинов[10].

Я не буду повторять хорошо известную историю децемвиров[11], запятнавших своими делами ту заслугу, что они начертили на меди, или на дереве, или на слоновой кости *Двенадцать таблиц* римских законов[12]. Эти законы были проникнуты суровым и недоверчивым духом аристократии, неохотно подчинившейся справедливым требованиям народа. Но существенное содержание двенадцати таблиц было приспособлено к тогдашнему положению города и доказывает, что римляне уже вышли в ту пору из варварства, так как они были способны изучить и усвоить учреждения своих более просвещенных соседей. Мудрый эфесский уроженец Гермодор был изгнал завистниками из своей родины; прежде чем достигнуть берегов Лациума, он имел случай изучить человеческую натуру и гражданское общество в их разнообразных видах; он сообщил свои сведения римским законодателям и, чтобы увековечить его память, ему была воздвигнута статуя на форуме[13]. Названия и подразделения медной монеты, единственной, какая была в употреблении в зарождавшемся государстве, были дорийского происхождения[14]; жатва Кампании и Сицилии доставляла пропитание народу, который часто прерывал свои земледельческие работы для того, чтобы заниматься войнами и внутренними раздорами, а с тех пор, как завелась торговля[15], римские уполномоченные, отплывавшие из устьев Тибра для закупки провианта, могли привозить с собой из тех же самых портов, где они закупали этот провиант, более ценные запасы политической мудрости. Колонии Великой Греции перенесли с собой и усовершенствовали искусства своей отчизны. Кумы и Регий, Кротона и Тарент, Агригент и Сиракузы принадлежали к числу самых цветущих городов. Ученики Пифагора применяли филосо-

фию к делам государственного управления; изустным законам Харонда служили пособием поэзия и музыка[16], а Залевк ввел у локрян республиканские учреждения, которые существовали без всяких изменений в течение более двухсот лет[17]. Из одного и того же чувства национальной гордости и Ливий, и Дионисий готовы верить тому, что римские депутаты посетили Афины во время мудрого и блестящего Периклова управления, и что законы двенадцати таблиц были подражанием законам Солона. Если бы Афины действительно принимали такое посольство от варваров Гесперии, то римское имя было бы хорошо знакомо грекам до царствования Александра[18] и самое слабое доказательство такого факта было бы проверено и прославлено любознательностью позднейших времен. Но афинские памятники древности ничего об этом не говорят, и едва ли можно поверить, что патриции предприняли столь длинный и опасный морской переезд для того, чтобы заимствовать самый чистый образец демократического управления. При сравнении законов Солона с законами Двенадцати Таблиц, можно найти некоторое случайное между ними сходство — некоторые постановления, внушаемые во всяком обществе природой и здравым смыслом, и некоторые доказательства общего происхождения из Египта или из Финикии[19]. Но в том, что касается основных принципов общественного и гражданского права, законодатели римские и афинские, по-видимому, ничего не имели общего или держались противоположных точек зрения.

Каково бы ни было происхождение или достоинство двенадцати таблиц[20], они пользовались у римлян тем слепым и пристрастным уважением, с которым юристы всех стран относятся к своим общественным учреждениям. Цицерон[21] советует изучать их, так как находит такое изучение и приятным, и поучительным. "Они привлекательны для ума тем, что напоминают старинные слова и рисуют старинные нравы; они внушают самые здравые принципы управления и нравственности, и я не боюсь утверждать, что это краткое произведение децемвиров превосходит своими существенными достоинствами все, чем наполнила библиотеки греческая философия". "Как удивительна,— продолжает Туллий с искренним или с притворным увлечением,— мудрость наших предков. Мы одни мастера в деле законодательства и наше превосходство будет еще более очевидным, если мы удосто-

им нашего внимания грубую и почти бессмысленную юриспруденцию Дракона, Солона и Ликурга". Содержание двенадцати таблиц запечатлелось в памяти юношей и в уме старцев и было переписано и объяснено трудами ученых; они уцелели от пожара, зажженного галлами, существовали во времена Юстиниана и затем были утрачены, а эта утрата была не вполне восполнена трудами новейших критиков[22]. Однако, хотя эти почтенные памятники старины считались за основу правоведения и за источник справедливости[23], их затмили своим числом и разнообразием новые законы, сделавшиеся, по прошествии пяти столетий, более невыносимым злом, чем пороки граждан[24]. В Капитолии были сложены три тысячи медных таблиц с постановлениями сената и народа[25], а некоторые из этих постановлений, как, например, Юлиев закон против лихоимства, заключали в себе более ста глав[26]. Децемвиры не придали своим законам той санкции, которая так долго оберегала неприкосновенность республиканских учреждений, введенных Залевком. Каждый локриец, предлагавший введение нового закона, являлся в народное собрание с веревкой, обвернутой вокруг его шеи, и если новый закон был отвергнут, веревку немедленно затягивали на шее нововводителя.

Децемвиры были выбраны, и их законы были одобрены собранием *центурий*, в которых богатство имело перевес над числом. Первому классу римлян, состоявшему из тех, кто обладал ста тысячами фунтов меди[27], были предоставлены девяносто восемь голосов, и только девяносто пять были оставлены в пользу шести низших классов, которые были распределены коварной политикой Сервия соразмерно с состоянием. Но трибуны скоро установили более благовидное и более популярное правило, что все граждане имеют одинаковое право участвовать в составлении законов, которым они обязаны повиноваться. Вместо *центурий* они стали созывать *трибы*, и патриции, после тщетного сопротивления, стали подчиняться декретам таких собраний, в которых их голоса смешивались с голосами самых низких плебеев. Однако, пока трибы проходили одна вслед за другой через узкие *мостики*[28] и подавали свои голоса вслух, за поведением каждого гражданина следили глаза и уши его друзей и земляков. Несостоятельный должник сообразовался с желаниями своего кредитора; клиент постыдился бы поступать наперекор желаниям

своего патрона; примеру военачальника следовали служившие под его начальством ветераны, а образ действий важного должностного лица служил живым примером для толпы. Новый способ тайной баллотировки уничтожил влияние страха и стыда, почетных отличий и личных интересов, а злоупотребление свободой ускорило развитие анархии и деспотизма[29]. Римляне стремились к равенству; равенство в рабстве поставило их всех на один уровень, и формальное одобрение триб или центурий стало беспрекословно утверждать все, что хотел Август. Однажды и только однажды он встретил искреннее и упорное сопротивление. Его подданные отказались от всякой политической свободы, но они вступились за свободу семейной жизни. Они с громкими протестами отвергли закон, который налагал обязанности вступать в брак и скреплял узы супружества: Проперций торжествовал в объятиях Делии эту победу свободной любви, и проект реформы был отложен до того времени, когда подрастет новое и более податливое поколение[30]. Предусмотрительный узурпатор не нуждался в этом примере, чтобы убедиться во вреде народных собраний; втайне подготовленное Августом, их уничтожение совершилось без всякого сопротивления при вступлении на престол его преемника и прошло почти незамеченным[31]. Шестьдесят тысяч плебейских законодателей, грозных своим числом и недоступных для страха по своей бедности, были заменены шестьюстами сенаторами, почетное положение, состояние и жизнь которых зависели от императорского милосердия. Утрата исполнительной власти облегчалась тем, что им была дарована власть законодательная и, после двухсотлетнего опыта, Ульпиан мог утверждать, что сенатские декреты имели значение и силу законов. Во времена свободы народные решения нередко внушались страстью или минутным заблуждением: законы Корнелиев, Помпеев и Юлиев были приспособлены единоличной волей к уничтожению господствовавших беспорядков; но сенат состоял, под управлением Цезарей, из должностных лиц и правоведов, которые при разрешении вопросов, касавшихся гражданского права, редко вовлекались в пристрастные решения под влиянием страха или личных интересов[32].

Молчание и двусмысленность законов восполнялись по мере надобности *эдиктами* тех должностных лиц, которые были облечены *почетными* государственными отличиями[33].

Эта старинная прерогатива римских царей перешла к консулам и диктаторам, к цензорам и преторам в том, что касалось сферы ведомства каждого из них, и такое же право было усвоено народными трибунами, эдилами и проконсулами. В Риме и в провинциях ежегодные эдикты верховного судьи, городского претора, объясняли подданным их обязанности и намерения правительства и вводили реформы в гражданском судопроизводстве. Лишь только претор впервые входил на свой трибунал, он объявлял через посредство глашатая, а впоследствии писал на белой стене, какими правилами он намеревался руководствоваться при решении спорных дел и в чем он находил справедливым облегчать точное исполнение старинных постановлений. Этим путем в республику проник личный произвол, который более свойствен монархии: искусство уклоняться от исполнения закона, не нарушая уважения к нему, было мало-помалу усовершенствовано преторами; чтобы можно было обходить самые ясные постановления децемвиров, были придуманы разные тонкости и фикции, и в тех случаях, когда цель была благотворна, средства часто были нелепы. Тайному или предполагаемому желанию умершего давали перевес над правом наследования и над составленным в законной форме завещанием, а истец, который не мог выступить в качестве наследника, с неменьшим удовольствием принимал от снисходительного претора имущество своего умершего родственника или благодетеля. Когда дело шло об удовлетворении за нарушение личных прав, денежные вознаграждения и пени заменяли устарелые строгости двенадцати таблиц; время и пространство сокращались путем фиктивных предположений, а ссылка на молодость, на подлог или на насилие уничтожала обязательную силу невыгодного договора или извиняла его неисполнение. Такое неопределенное и произвольное отправление правосудия было подвержено самым опасным злоупотреблениям; и сущность, и формы судопроизводства часто приносились в жертву предубеждению в пользу одного из тяжущихся, мотивам, вытекавшим из похвальной привязанности, и более грубым соблазнам, проистекавшим из личных интересов или из личной ненависти.

Но заблуждения или порочные увлечения каждого претора прекращались вместе с истечением годичного срока его должности; заменявший его судья заимствовал у него только те

принципы, которые одобрялись рассудком и опытом; правила судопроизводства становились все более точными благодаря разрешению новых спорных вопросов, а вовлекавшие в нарушение справедливости соблазны были устранены Корнелиевым законом, который обязал преторов держаться буквы и духа их первого Эдикта[34]. Любознательному и просвещенному уму Адриана было суждено осуществить план, задуманный гением Цезаря, и издание *вечного Эдикта* увековечило память о преторстве знаменитого юриста Сальвия Юлиана. Этот здраво обдуманный Кодекс был утвержден императором и сенатом; продолжительный разлад между законами и справедливостью наконец прекратился, и вечный Эдикт заменил Двенадцать Таблиц в качестве неизменной основы гражданского судопроизводства[35].

От Августа до Траяна скромные Цезари довольствовались тем, что издавали свои эдикты в качестве лиц, занимавших различные общественные должности; *послания* и *речи* монарха почтительно помещались в числе сенатских декретов. Адриан[36], как кажется, был первый император, без всякого лицемерия присвоивший себе законодательную власть во всем ее объеме. Терпеливая покорность, которой отличалось то время, и продолжительное отсутствие Адриана из центра управления благоприятствовали нововведению, которое было так приятно для его деятельного ума. Той же политики стали держаться его преемники, и, по резкому метафорическому выражению Тертуллиана, "мрачный и непроходимый лес старинных законов был прочищен топором царских приказаний и постановлений"[37]. В течение четырех столетий, протекших от Адриана до Юстиниана, и публичное, и гражданское право преобразовывалось по произволу монарха, и лишь немногим, как человеческим, так и религиозным учреждениям было дозволено оставаться на их прежнем фундаменте. Происхождение законодательной власти императоров было прикрыто невежеством того времени и страхом, который внушали военные силы деспотизма; двойная фикция была пущена в ход раболепием или, быть может, невежеством юристов, гревшихся лучами того солнца, которому поклонялись римские и византийские царедворцы. 1. По просьбам древних Цезарей народ и сенат иногда освобождали их от обязанностей и взысканий, которые налагались некоторыми особыми постановлениями, и в каждом из этих милости-

вых разрешений сказывалась юрисдикция республики над первым из ее граждан. Его скромная привилегия в конце концов превратилась в прерогативу тирана и латинское выражение legibus solutus[38] (уволенный от исполнения законов), как полагали, ставило императора выше всяких человеческих стеснений и предоставляло его совести и рассудку служить священным руководством для его поведения. 2. Такая же зависимость усматривалась из сенатских декретов, которые, в каждое царствование, устанавливали титулы и права избранного монарха. Но лишь тогда, когда и понятия римлян и даже их язык совершенно извратились, фантазия Ульпиана или, что более вероятно, самого Трибониана[39] придумала *царский* закон[40] и безвозвратную уступку народных прав, и хотя власть императоров была на самом деле подложна и вела к раболепию, ей был дан в основу принцип свободы и справедливости. "Воля императора имеет силу и действие закона, так как римский народ, путем царского закона, передал своему монарху в полном объеме свою собственную власть и свое верховенство"[41]. Воле одного человека, а иногда воле ребенка стали отдавать преимущество над мудростью многих веков и над влечением миллионов людей, а выродившиеся греки с гордостью заявляли, что ему одному можно с безопасностью вверить произвольное пользование законодательной властью. "Какие личные интересы или страсти",— восклицал Феофил при дворе Юстиниана,— могут достигать до монарха в его спокойном величии? Он и без того полный хозяин жизни и состояния своих подданных, а те, которые навлекли на себя его неудовольствие, и без того принадлежат к числу умерших"[42]. Презирающий лесть историк может согласиться с тем, что абсолютный властелин обширной империи редко доступен влиянию каких-либо личных соображений в тех вопросах, которые касаются гражданского судопроизводства. И добродетель и даже рассудок напоминают ему, что он должен быть беспристрастным блюстителем спокойствия и справедливости и что интересы всего общества неразрывно связаны с его собственными. При самом слабом и самом порочном императоре делами правосудия руководили мудрость и честность Папиниана и Ульпиана[43], а самые чистые материалы, вошедшие в состав Кодекса и Пандектов, подписаны именами Каракаллы и его наместников[44]. Тот, кто был тираном для Рима, был иногда благо-

детелем для провинций. Кинжал положил конец преступлениям Домициана; но хотя его постановления и были отменены униженным сенатом[45] при радостном известии о наступившем освобождении, благоразумный Нерва оставил их в силе. Тем не менее при издании *рескриптов*[46], или ответов на консультации судей, самый мудрый монарх мог быть вовлечен в заблуждение пристрастным изложением обстоятельств дела. Это злоупотребление, ставившее торопливые решения императоров на один уровень с зрело обдуманными законодательными актами, безуспешно осуждалось здравым смыслом и примером Траяна. *Рескрипты* императора, его *пожалования* и *декреты*, его *эдикты* и *прагматические санкции* подписывались пурпуровыми чернилами[47] и пересылались в провинции в качестве общих или специальных законов, которые должны исполняться судьями и которым народ должен повиноваться. Но так как их число постоянно возрастало, то обязанность повиновения становилась с каждым днем более сомнительной и неясной, пока монаршая воля не была с точностью выражена и удостоверена в кодексах Григория, Гермогена и Феодосия. Два первых, от которых остались лишь некоторые отрывки, были составлены двумя юристами с целью сохранить постановления языческих императоров от Адриана до Константина. Третий, дошедший до нас вполне, был составлен в шестнадцати книгах по приказанию Феодосия Младшего с целью сохранить законы христианских монархов от Константина до его собственного царствования. Но все эти три кодекса имели одинаковый авторитет в судах, и судья мог отвергать как подложный или вышедший из употребления всякий закон, не вошедший в этот священный сборник[48].

У диких народов незнание азбуки восполняется, хотя и не вполне удовлетворительно, употреблением видимых знаков, которые возбуждают внимание и упрочивают воспоминание о всех публичных или частных сделках. Юриспруденция первых римлян выводила на сцену пантомиму; слова применялись к жестам, и малейшей ошибки или небрежности в исполнении формальностей судопроизводства было достаточно для того, чтобы уничтожить всю *сущность* самых основательных исков. Супружеская связь обозначалась необходимыми для жизни элементами — огнем и водой[49], а разведенная жена возвращала связку ключей, с получением которой

она вступила в права хозяйки дома. Когда отпускали на свободу сына или раба, его поворачивали кругом и слегка ударяли по щеке; в знак того, что запрещалось продолжение какой-либо работы, бросали камень; чтобы прервать право давности, переламывали ветку; сжатый кулак был символом залога или вклада; правая рука обозначала верное исполнение обещания и доверие. При заключении обоюдного обязательства разрывали соломинку; при всякой уплате находились на лице весы и меры, а наследник, принимавший завещание, иногда был обязан щелкать пальцами, сбросить с себя одежду, прыгать и танцевать с искренней или с притворной радостью[50]. Если гражданин входил в один из соседних домов, отыскивая украденные у него вещи, он прикрывал свою наготу холстяным полотенцем и закрывал свое лицо маской или сосудом, из опасения встретить взор девицы или матроны[51]. В гражданских процессах истец касался уха своего свидетеля, схватывал своего несговорчивого противника за шею и с громкими воплями молил своих сограждан о помощи. Два соперника схватывали друг друга за руку, как будто готовясь вступить в бой перед трибуналом претора; он приказывал им представить предмет спора; они уходили, потом возвращались мерными шагами и бросали к его ногам ком земли, обозначавший поле, из-за которого они спорили. Эта сокровенная наука слов и легальных действий сделалась наследственным достоянием понтификов и патрициев. Подобно халдейским астрологам, они сообщали своим клиентам, в какие дни можно заниматься делами и в какие следует оставаться в покое; эти важные мелочи были тесно связаны с религией Нумы и, после издания законов двенадцати таблиц, римский народ все еще был рабом своего невежества в том, что касалось судопроизводства. Предательство некоторых должностных лиц из плебейского звания наконец разоблачило доходную тайну; в более просвещенном веке легальные формы были предметом насмешек, но соблюдались, и та же самая древность, которая освятила практическое применение этого первобытного языка, уничтожила и его употребление, и его смысл[52].

Впрочем, римские мудрецы, которых можно считать в точном смысле слова творцами гражданского законодательства, занимались и более свободным искусством. По мере того как римское наречие и римские нравы изменялись, язык двенад-

цати таблиц становился все более и более чуждым для новых поколений, а сомнительные выражения не вполне удовлетворительно объяснялись комментариями тех, кто посвящал себя изучению древнего законодательства. Они приняли на себя более благородную и более важную задачу разъяснять двусмысленности, обозначать пределы, за которыми прекращалось действие закона, применять принципы, выводить из них последствия и примирять действительные или кажущиеся противоречия; таким образом, вся сфера законодательной деятельности мало-помалу была захвачена теми, кто объяснял старинные постановления. Их утонченные толкования исправляли при помощи преторского правосудия тираничесские постановления веков невежества: как ни странны и как ни запутанны были средства, к которым прибегала эта искусственная юриспруденция, ее цель заключалась в удовлетворении ясных требований природы и рассудка, и искусство частных людей было с пользой употреблено на то, чтобы подкопаться под основы общественных учреждений их отечества. Переворот, совершавшийся в течение почти тысячи лет, со времени появления двенадцати таблиц до царствования Юстиниана, может быть разделен на три периода, которые имеют почти одинаковую продолжительность и отличаются один от другого способом преподавания и характером правоведов[53]. В течение первого периода гордость и невежество ограничивали науку римского права узкими пределами. В базарные дни и во время народных сходок знатоки дела прохаживались по форуму и снабжали полезными советами самых последних из своих сограждан, которые могли при случае отблагодарить их подачею в их пользу своих голосов. Когда они достигали зрелых лет и почетных должностей, они сидели дома в креслах или на троне и ожидали с терпеливой важностью посещения своих клиентов, которые приходили и из города, и из деревень и с рассвета начинали стучаться в их двери. Обыкновенным предметом этих консультаций были обязанности общественной жизни и случайные недоразумения касательно порядка судопроизводства, а словесные или письменные мнения *юрисконсультов* составлялись согласно с требованиями здравого смысла и законов. Они дозволяли присутствовать на этих совещаниях молодым людям, принадлежавшим к их сословию или к их семейству; их дети пользовались более приватными уроками, и род Муция долго

славился знанием гражданского права, переходившим от отца к сыну. Второму периоду, который был блестящим веком юридической учености, можно уделить промежуток времени от рождения Цицерона до вступления на престол Александра Севера. Была выработана система, были основаны школы, были изданы сочинения, и как живые, так и умершие писатели способствовали образованию учащихся. Tripartite Элия Пета, прозванного Catux, хитрым, хранилось как самое древнее сочинение о юриспруденции. Слава цензора Катона сделалась еще более блестящей благодаря его трудам по части юриспруденции и трудам его сына; имя Муция Сцевола сделалось еще более славным благодаря тому, что его носили три знатока правоведения[54]; но честь усовершенствования этой науки приписывалась их ученику и другу Туллия Сервию Сульпицию, и длинный ряд юристов, блестевших одиноким блеском во времена республики и при Цезарях, окончательно завершился почтенными именами Папиниана, Павла и Ульпиана. Эти имена, равно как разнообразные заглавия их сочинений, дошли до нас, а пример Лабеона может дать нам некоторое понятие об их трудолюбии и плодовитости. Этот замечательный юрист времен Августа разделял свое время между городской жизнью и деревенской, между деловыми занятиями и авторской деятельностью, и плодом его уединенной жизни были четыреста трактатов. Что касается собрания сочинений его соперника Капитона, то мы имеем положительное указание на двести пятьдесят девятый трактат этих сочинений, и немногие преподаватели законоведения высказывали свои мнения менее чем в одной сотне трактатов. В третьем периоде, простиравшемся от царствования Александра Севера до царствования Юстиниана, оракулы юриспруденции почти совершенно безмолствовали. Любознательность была вполне удовлетворена; трон занимали тираны и варвары; деятельность ума была направлена на религиозные распри, и профессора Рима, Константинополя и Бейрута скромно довольствовались повторением наставлений своих более просвещенных предшественников. Из медленных успехов и быстрого упадка этих юридических занятий можно сделать тот вывод, что они требуют внутреннего спокойствия и высокого умственного развития. Громадное число плодовитых правоведов, занимающих промежуточное пространство между блеском и упадком, доказывает нам, что

можно посвящать себя этим занятиям и писать такие сочинения, располагая лишь очень обыкновенной дозой здравомыслия, опытности и трудолюбия. Гений Цицерона и Виргилия стали более ценить после того, как в течение нескольких веков не появилось ни одного писателя ни похожего на них, ни равного с ними; тем не менее самые знаменитые преподаватели правоведения были уверены, что оставляют после себя таких учеников, которые равняются с ними или превзойдут их заслугами и репутацией.

Юриспруденция, грубо приспосабливавшаяся к нуждам первых римлян, была очищена и усовершенствована в седьмом столетии, после основания города, благодаря содействию греческой философии. Сцеволы черпали свои познания из практики и из опытности; но Сервий Сульпиций был первый юрист, положивший в основу своего искусства определенную и всеобщую теорию[55]. Чтобы распознавать истину и ложь, он принимал за непреложное мерило логику Аристотеля и стоиков, возводил частные случаи в общие принципы и осветил эту бесформенную массу правильным ее распределением и своим красноречием. Его современник и друг Цицерон отклонял от себя репутацию юриста по профессии; но юриспруденция его отечества была украшена его несравненным гением, превращавшим в золото все, к чему он прикасался. По примеру Платона он придумал организацию республики и составил для этой республики трактат о законах, в котором старался доказать, что мудрость и справедливость римских учреждений имеют небесное происхождение. Согласно его возвышенной гипотезе, весь мир составляет одну громадную республику; и боги, и люди, имея одну и ту же сущность, состоят членами одного и того же общества; разум предписывает естественные и международные законы, и все положительные установления, как бы они не изменялись случайностью или обычаем, истекают из требований справедливости, которые Божество вложило в душу каждого добродетельного человека. От этих философских мистерий он мягко устраняет скептиков, которые не хотят верить, и эпикурейцев, которые не хотят действовать. Так как эти последние уклоняются от всяких забот о республике, то он советует им предаваться дремоте в их тенистых садах. Но он смиренно просит новую академию не прерывать своего молчания, так как ее смелые возражения слишком скоро разрушили бы

красивую и стройную постройку его возвышенной системы[56]. Платона, Аристотеля и Зенона он выдает за единственных руководителей, способных снабдить гражданина орудиями и познаниями для исполнения обязанностей общественной жизни. Броня стоиков[57] признавалась самой прочной, и ее чаще всего употребляли в школах законоведения как для пользы, так и для украшения. Из наставлений, которые преподавались в Портике, знатоки гражданского права учились жить, рассуждать и умирать; но они в некоторой мере впитали в себя предрассудки секты, склонность к парадоксам, упорство в спорах и мелочную привязанность к словам и к буквальным различиям. Превосходство *формы* над *содержанием* было введено для того, чтобы охранить право собственности, а понятие о равенстве преступлений поддерживается мнением Требация[58], что тот, кто коснулся уха, коснулся всего тела, а тот, кто украл связку ржи или бочку вина, так же виновен, как тот, кто украл бы всю рожь или все вино[59].

И военное ремесло, и красноречие, и изучение права открывали гражданину путь к почетным должностям, а эти три профессии иногда приобретали особый блеск вследствие их соединения в одном и том же лице. Ученость претора, издававшего эдикт, придавала его личным мнениям особый вес и преимущества; мнение цензора или консула выслушивалось с уважением, а сомнительное истолкование закона могло находить для себя опору в добродетелях или в триумфах юриста. Ухищрения патрициев долго охранялись покровом таинственности, а в более просвещенные времена свобода исследований установила общие принципы юриспруденции. Трудные и сложные вопросы разъяснялись диспутами на форуме; правила, аксиомы и определения[60] допускались в качестве подлинных внушений разума, и одобрение преподавателей права влияло на практику судебных трибуналов. Но эти толкователи не могли ни издавать законов, ни приводить их в исполнение; и судьи могли пренебрегать авторитетом даже таких знатоков, какими были Сцеволы, так как этот авторитет нередко бывал ниспровергнут красноречием или лжемудрствованием искусных адвокатов[61]. Август и Тиберий были первыми императорами, превратившими науку теоретиков гражданского права в полезное для себя орудие, а раболепные усилия этих юристов приспособили старую систему к ду-

ху и целям деспотизма. Под благовидным предлогом, что нужно охранять достоинство этого искусства, право подписывать юридические мнения, имеющие действительную силу, было предоставлено лишь знатокам из сенаторского звания или из всаднического сословия, выбор которых был предварительно одобрен монархом, и эта монополия существовала до тех пор, пока Адриан не восстановил свободу этой профессии в пользу каждого гражданина, считавшего себя достаточно способным и сведущим. Тогда произволом претора стали руководить указания его наставников; судьям было приказано держаться как буквы закона, так и его истолкований, а употребление приписей к духовным завещаниям было достопамятным нововведением, которое было утверждено Августом по совету юристов[62].

Самая абсолютная воля может требовать от судей согласия с юристами только при том условии, чтобы сами юристы были согласны между собой. Но положительные правила часто бывают плодом привычки и предрассудка; и самые законы и язык, на котором они изложены, двусмысленны и произвольны; когда рассудок не способен разрешить сомнения, склонность к спорам разжигается от зависти соперников, от тщеславия наставников, от слепой преданности их учеников; и римская юриспруденция разделилась между двумя когда-то знаменитыми сектами *прокулианцев* и *сабинианцев*[63]. Два знатока римского права, Атей Капитон и Антистий Лабеон[64], были украшением мирных времен Августа; первый из них пользовался милостями своего государя, а второй был еще более знаменит тем, что пренебрег этими милостями и оказывал упорное, хотя и бесплодное, сопротивление римскому тирану. На их трудах по части юриспруденции отразилось различие их характеров и принципов. Лабеон был привязан к формам старинного республиканского управления, а его соперник освоился с более выгодным для него характером зарождавшейся монархии. Но царедворец всегда бывает раболепен и покорен, и Капитон редко осмеливался отступать от мнений или, по меньшей мере, от заявлений своих предшественников, между тем как смелый республиканец, высказывал свои самостоятельные мнения, не опасаясь ни парадоксов, ни нововведений. Впрочем, свобода Лабеона была стеснена строгостью его собственных выводов, и он разрешал согласно букве закона те самые вопросы, для объ-

яснения которых его снисходительный соперник, ничем не стесняясь, принимал в руководство чувство справедливости, более согласное с здравым смыслом и с влечениями человечества. Если за приобретенную вещь вместо денег давали другой равноценный предмет, Капитон считал эту сделку за легальную продажу[65], а при определении совершеннолетия сообразовывался со степенью физического развития, не стесняясь установленным условием двенадцати- или четырнадцатилетнего возраста[66]. Эта противоположность взглядов высказывалась и в сочинениях, и в поучениях двух ведущих правоведов; школы Капитона и Лабеона не прекращали своей закоренелой вражды со времен Августа до времен Адриана[67], и эти две школы были названы по именам двух самых знаменитых своих преподавателей — Сабина и Прокулия. Тем же партиям давали названия *кассианцев* и *пегасианцев*, но в силу какого-то странного обмена ролей народные интересы очутились в руках робкого Домицианова раба Пегаса[68], между тем как заступником за Цезарей выступил Кассий[69], гордившийся своим происхождением от убийцы-патриота. Вечный Эдикт в значительной мере разрешил разномыслие школ. Для этой важной работы император Адриан предпочел вождя сабинианцев; друзья монархии взяли верх; но умеренность Сальвия Юлиана мало-помалу примирила победителей с побежденными. Подобно современным философам, юристы времен Антонинов отвергали авторитет какого-либо наставника и брали из каждой системы те теории, которые находили самыми правдоподобными[70]. Но их сочинения были бы менее объемисты, если бы их выбор делался более единодушно. Совесть судьи приводили в замешательство многочисленность и вескость разноречивых свидетельств, и для каждого из его приговоров, внушенных страстями или личными интересами, можно было найти оправдание в санкции какого-нибудь почтенного имени. Снисходительный Эдикт Феодосия Младшего освободил его от обязанности сравнивать и взвешивать противоречивые аргументы. Пять юристов — Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан и Модестин — были назначены оракулами юриспруденции; их решения постановлялись большинством голосов; но, в случае их разномыслия, решающий голос был предоставлен высшей мудрости Папиниана[71].

Когда Юстиниан вступил на престол, реформа римской

юриспруденции представлялась хотя и трудной, но неизбежной задачей. В течение десяти столетий бесконечное разнообразие законов и одинаково веских юридических мнений наполнило несколько тысяч сочинений, которых самый богатый человек не был в состоянии купить и которых самый способный человек не был в состоянии изучить. Добывать книги было нелегко, и судьи, жившие бедняками среди стольких богатств, были вынуждены решать дела по своему невежественному усмотрению. Подданным, жившим в греческих провинциях, не был знаком язык законов, от которых зависели их жизнь и состояние, а *варварский* диалект латинов они лишь слегка изучали в академиях Бейрутской и Константинопольской[72]. В качестве воина, жившего в иллирийских лагерях, Юстиниан был с детства хорошо знаком с этим диалектом; в своей молодости он изучал юриспруденцию и, сделавшись императором, избрал самых ученых восточных юристов для того, чтобы они помогали своему государю в задуманной реформе[73]. Теоретическим познаниям преподавателей содействовали практика адвокатов и опытность судей, а все предприятие воодушевлялось дарованиями Трибониана[74]. Этот необыкновенный человек, бывший предметом стольких похвал и стольких порицаний, родился в Сиде, в Памфилии, и его гений, подобно гению Бэкона, усвоил все деловые и теоретические познания того времени. Трибониан писал и в прозе, и в стихах, выбирая самые разнообразные сюжеты, отличавшиеся и своей оригинальностью, и своей неясностью[75]; он был автором двух панегириков Юстиниану, жизнеописания философа Феодота и сочинений о свойствах счастья и об обязанностях правительства; сверх того он издал каталог Гомера и двадцать четыре стихотворных размера, астрономические формулы Птолемея, перемены Луны, жилища планет и гармоническую систему мира. Будучи хорошо знаком с греческой литературой, он при этом владел и латинским языком; произведения римских юристов хранились и в его библиотеке, и в его голове, и он усердно изучал все, что открывало путь к богатствам и отличиям. Из звания адвоката при трибунале преторианских префектов он возвысился до почетных должностей квестора, консула и государственного чиновника; его красноречию и мудрости внимали на происходивших у Юстиниана совещаниях, а зависть утихала от его вежливого и приветливого об-

хождения. Обвинения в нечестии и в корыстолюбии запятнали добродетели или репутацию Трибониана. При дворе, зараженном ханжеством и религиозною нетерпимостью, главного чиновника обвиняли в тайном отвращении к христианской религии и полагали, что он придерживается тех же атеистических и языческих убеждений, которые, без достаточного основания, приписывались последним греческим философам. Его корыстолюбие было более ясно доказано и сильнее давало себя чувствовать. Если при заведовании правосудием он действительно подчинялся влиянию подарков, то мы видели такой же пример на Бэконе, его достоинства не могли искупать его подлости, если он унижал святость своей профессии и если законы ежедневно издавались, изменялись или отменялись из низких расчетов на его личную денежную выгоду. Когда в Константинополе вспыхнул мятеж, громкие требования народа и, быть может, справедливое его негодование были удовлетворены удалением Трибониана от должности; но квестору скоро возвратили его прежнее официальное положение и до самой своей смерти, то есть в течение двадцати с лишком лет, он пользовался милостями и доверием императора. За свою пассивную и почтительную покорность он был удостоен похвал от самого Юстиниана, который был так тщеславен, что не замечал, как часто эта покорность переходила в самую грубую лесть. Трибониан преклонялся перед добродетелями своего милостивого повелителя, находил, что земля не достойна такого монарха, и высказывал верноподданническое опасение, что Юстиниана, подобно Илии или Ромулу, вознесут на воздух и переселят живым в обитель вечного блаженства[76].

Если бы Цезарь довел до конца преобразование римского законодательства, его творческий гений, просвещенный размышлением и познаниями, дал бы миру правильную и самобытную систему юриспруденции. Что бы ни говорила лесть, восточный император не осмелился сделать из своего личного мнения основу правосудия; держа в своих руках всю законодательную власть, он обращался за помощью к прошлым временам и к чужим мнениям, и составленные им с таким тщанием компиляции охраняются авторитетом древних мудрецов и законодателей. Вместо статуи, вылитой с одного слепка, сделанного рукою художника, произведения Юстиниана представляют мозаичную работу из древних и доро-

гих, но слишком часто неподходящих один к другому обломков. На первом году своего царствования он поручил верному Трибониану и девяти ученым сотрудникам пересмотреть постановления его предшественников, изложенные со времен Адриана в Кодексах Грегория, Гермогена и Феодосия, очистить их от ошибок и противоречий, выбросить из них все, что устарело или оказывалось излишним, и выбрать из них мудрые и благотворные законы, всего более соответствующие установившейся в судах практике и пользе его подданных. Эта работа была исполнена в четырнадцать месяцев, а новые децемвиры, издавая свой труд в форме двенадцати книг, или таблиц, быть может, желали подражать своим знаменитым предшественникам. Новый *Кодекс* был почтен названием Кодекса Юстиниана и утвержден императорскою подписью; с него были сняты многочисленные копии руками нотариев и переписчиков; они были разосланы судьям европейских, азиатских, а впоследствии и африканских провинций, и эти законы империи были обнародованы у входов церквей в торжественные праздничные дни. Более трудная работа еще была впереди: предстояло извлечь общий принцип юриспруденции из решений и догадок, из вопросов и споров римских юристов. Семнадцати юристам, с Трибонианом во главе, император предоставил безусловную юрисдикцию над произведениями их предшественников. Если бы они исполнили его желание в десять лет, Юстиниан был бы доволен их усердием, а быстрое составление Дигеста, или *Пандекта*[77], в три года может быть предметом похвалы или порицания, смотря по достоинству труда. Из библиотеки Трибониана они выбрали сорок самых знаменитых юристов прошлых времен[78]: из двух тысяч трактатов было сделано сокращение, уместившееся в пятидесяти томах, и было настоятельно обращено внимание потомства на то, что три миллиона строк, или сентенций[79], были доведены в этом извлечении до скромной цифры ста пятидесяти тысяч. Издание этого обширного труда появилось лишь через один месяц после *Институций* и действительно казалось вполне основательным, что элементы римской юриспруденции должны предшествовать Дигестам. Когда император одобрил их труды, он утвердил своею законодательною властью умозрения этих частных граждан; их комментарии на законы Двенадцати Таблиц, на Вечный Эдикт, на законы, изданные народом, и на

декреты Сената заменили авторитет подлинного текста, и этот текст был отложен в сторону как бесполезная, хотя и почтенная, древняя святыня. *Кодекс, Пандекты* и *Институции* были публично признаны за легальную систему гражданской юриспруденции; на них одних позволено было ссылаться в судах, и их одних стали преподавать в академиях римской, константинопольской и бейрутской. Юстиниан сообщил сенату и провинциям свои *вечные оракулы*, а его гордость, прикрываясь благочестием, приписала довершение этого великого предприятия поддержке и внушениям Божества.

Так как император отклонил от себя честь и опасность оригинального произведения, то мы можем требовать от него только тех скромных достоинств, которые необходимы в компиляторе,— методы, умения выбирать и точности. В разнообразном сочетании идей трудно отдать основательное предпочтение которому-нибудь из них; но так как Юстиниан придерживался различной методы в трех своих произведениях, то есть основание полагать, что все три произведения дурно составлены, а что два из них негодны, можно утверждать положительно. При выборе старинных законов он, повидимому, относился к своим предшественникам без зависти и с одинаковым вниманием; ряд этих законов не мог восходить далее Адрианова царствования, а введенное суеверием Феодосия стеснительное различие между язычеством и христианством было упразднено с общего согласия всего человеческого рода. Но юриспруденция Пандектов вставлена в рамки столетнего периода времени, который начинается изданием Вечного Эдикта и кончается смертью Александра Севера; юристам, жившим при первых Цезарях, редко предоставляется право голоса, и только три имени принадлежат ко временам республики. Любимец Юстиниана (на это делались настоятельные указания) боялся встретиться с лучом свободы и с важностью римских мудрецов. Трибониан осудил на забвение неподдельную и прирожденную мудрость Катона, Сцеволов и Сульпиция, а между тем обращался за помощью к людям, более сходным с ним самим по складу своего ума, к тем сирийцам, грекам и африканцам, которые стекались толпами к императорскому двору для того, чтобы изучать латинский язык как совершенно им чуждый и юриспруденцию как выгодную профессию. Впрочем, на чиновников Юс-

тиниана[80] была возложена работа не для удовлетворения любознательности антикваріев, а для пользы его подданных. Они должны были выбирать самые полезные и самые приемлемые из римских законов, а сочинения древних республиканцев, как бы они ни были интересны или превосходны, уже не могли быть приспособлены к новой системе нравов, религии и управления. Если бы наставники и друзья Цицерона еще были живы, наше беспристрастие, быть может, заставило бы нас сознаться, что, за исключением чистоты языка[81], их действительные достоинства были превзойдены школами Папиниана и Ульпиана. Наука правоведения медленно зреет вместе со временем и с опытностью, и преимущества, как относительно методы, так и относительно материалов, естественно, находятся на стороне позднейших писателей. Юристы, жившие в царствование Антонинов, изучали произведения своих предшественников; их философский ум смягчал свойственную древности суровость, упрощал формы судопроизводства и стоял выше зависти и предубеждений, свойственных соперничающим школам. Выбор авторитетов, вошедших в состав Пандектов, зависел от усмотрения Трибониана, но власть его государя не могла снять с него священную обязанность быть правдивым и точным. В качестве законодателя империи Юстиниан мог отвергать постановления Антонинов или считать мятежными свободные принципы, которых держались древние римские юристы[82]. Но прошлое не может быть уничтожено рукою деспотизма, и император совершал обман и подлог, когда извращал подлинность их текста, ставил их почтенные имена под выражениями и идеями своего раболепного царствования[83] и пользовался своею властью для того, чтобы уничтожать достоверные копии, в которых были выражены их мнения. Сделанные Трибонианом и его сотрудниками перемены и вставки извиняют тем, что этого требовало однообразие; но их усилия оказались недостаточными, и над встречающимися в Кодексе и в Пандектах *антиномиями*, или противоречиями, новейшие юристы до сих пор упражняют свою терпеливость и догадливость[84].

Враги Юстиниана распространили не подкрепленный никакими свидетельствами слух, будто автор Пандектов обратил в пепел всю юриспруденцию древнего Рима из тщеславного убеждения, что она уже не может иметь практического

применения или сделалась излишней. Император мог бы не принимать на себя этой гнусной роли и поручить невежеству и времени исполнение такого разрушительного намерения. До изобретения книгопечатания и фабрикации бумаги только богатые люди были в состоянии покупать труд переписчиков и нужные для переписки материалы, и по имеющимся данным можно рассчитать, что в ту пору цена книг была во сто раз выше теперешней[85]. Копии медленно размножались и с осторожностью переделывались заново; жажда барышей побуждала нечестивых переписчиков выскабливать древний шрифт, так что Софокл или Тацит бывали вынуждены уступать свой пергамент требникам, проповедям и золотой легенде[86]. Если такова была участь самых прекрасных созданий гения, то какой долговечности можно было ожидать от скучных и бесплодных произведений устарелой учености? Книги юридического содержания были интересны для немногих, а занимательны не были ни для кого; их ценность зависела от временной необходимости справляться с ними, и они навсегда предавались забвению с той минуты, как нововведения моды, превосходство достоинств или общественная власть делали их ненужными. В эпоху внутреннего спокойствия и учености, то есть в промежуток времени между Цицероном и последним из Антонинов, уже было понесено много потерь этого рода, и некоторые юристы, бывшие светилами школы или форума, были знакомы только любознательным людям, и то лишь по преданиям и по слухам. Триста шестьдесят лет беспорядков и упадка ускорили успехи забвения, и можно с полным основанием полагать, что из числа тех сочинений, в пренебрежении к которым обвиняли Юстиниана, многих уже нельзя было отыскать в восточных библиотеках[87]. Копии с подвергнутых реформатором опале произведений Папиниана или Ульпиана не считались достойными интересовать потомство; законы Двенадцати таблиц и преторианские эдикты мало-помалу исчезли, а памятники древнего Рима были оставлены в пренебрежении или уничтожены завистью и невежеством греков. Даже Пандекты с трудом и с опасностью уцелели от этого всеобщего кораблекрушения, и критика решила, что имеющиеся на Западе издания и рукописи произошли от *одного* оригинала[88]. Этот оригинал был списан в Константинополе в начале седьмого столетия[89]; благодаря случайностям войны и торговли он попал сначала

в Амальфи[90], потом в Пизу[91], и затем во Флоренцию[92], а теперь хранится как святыня[93] в старинном дворце республики[94].

Всякий преобразователь прежде всего заботится о том, чтобы после него не было сделано новых преобразований. Чтобы сохранить во всей его чистоте текст Пандектов, Институций и Кодекса, было строго запрещено употребление численных знаков и сокращений, и так как Юстиниан не позабывал, что Вечный Эдикт совершенно исчез под грудой комментариев, то он объявил, что будет наказывать за подлог тех опрометчивых юристов, которые осмелятся перетолковывать или извращать волю своего государя. Ученикам Аккурсия, Бартола или Куяциуса пришлось бы сознаться во множестве преступлений, если бы они не осмелились оспаривать присвоенное императором право стеснять и власть его преемников, и прирожденную свободу человеческого ума. Но император не был в состоянии сдерживать своего собственного непостоянства, и в то время, как он хвастался тем, что, подобно Диомеду, превращает медь в золото[95], он пришел к убеждению, что необходимо очистить это золото от примеси менее ценной лигатуры. Не прошло шести лет со времени издания кодекса, когда он сознался в несовершенстве своего труда, приступив к новому и более тщательному изданию того же произведения, которое он обогатил двумястами изданными им самим законами и пятьюдесятью разрешениями самых неясных и самых сложных юридических вопросов. Каждый год или, по словам Прокопия, каждый день его продолжительного царствования был отмечен каким-нибудь юридическим нововведением. Многие из его постановлений были отменены им самим; многие другие были уничтожены его преемниками, а иные вышли из употребления с течением времени; но шестнадцать *Эдиктов* и сто шестьдесят восемь *Новелл*[96] были помещены в подлинном сборнике гражданской юриспруденции. В глазах философа, стоявшего выше предрассудков своей профессии, эти беспрестанные и большею частью мелочные перемены могут быть объяснены только продажностью монарха, не стыдившегося торговать своими мнениями и своими законами[97]. Тайный историк действительно и точен, и горяч в своих обвинениях; но он приводит только один факт, который можно приписать столько же благочестию, сколько корыстолюбию Юстиниана. Один богатый ханжа за-

вещал все свое состояние в пользу Эмезской церкви, а ценность этого состояния очень увеличилась от того, что какой-то ловкий мошенник подписал именами самых богатых сирийцев долговые обязательства и обещания денежных уплат. Сирийцы стали ссылаться на установленную законом тридцати- или сорокалетнюю давность; но их доводы были ниспровергнуты обратно действующим законом, назначавшим для исковых взысканий в пользу церкви столетний срок; этот Эдикт мог сделаться источником стольких несправедливостей и затруднений, что он был отменен в то же царствование, после того как исполнил в приведенном случае свое назначение[98]. Если бы беспристрастие и дозволяло оправдывать самого императора и возложить ответственность за корыстные мотивы на его жену и на его любимцев, все-таки одно подозрение в столь гнусном пороке должно пятнать достоинство его узаконений, и защитники Юстиниана должны сознаться, что, каков бы ни был мотив такого легкомыслия, оно недостойно ни законодателя, ни мужчины.

Монархи редко нисходят до того, чтобы принимать на себя роль наставников своих подданных, и Юстиниан заслуживает некоторой похвалы за то, что, по его приказанию, пространная система была обращена в краткий и элементарный трактат. Между различными Институциями римского права[99], Институции Гая[100] были самыми популярными и на Востоке, и на Западе, а их кредит может быть принят за доказательство их достоинства. Именно их выбрали императорские делегаты Трибониан, Феофил и Дорофей, а свободу и нравственную чистоту века Антонинов прикрыли самыми грубыми материалами развращенного века. Этот том, подготовлявший юношество римское, константинопольское и бейрутское к постепенному изучению Кодекса и Пандектов, до сих пор дорог и для историка, и для философа, и для судьи. Юстиниановы Институции разделяются на четыре книги: они, не без некоторой правильности метода, переходят от I. *Лиц* к II. *Вещам* и от вещей к III. *Действиям*, а статья IV. о *Личных обидах* заканчивается принципами *Уголовного Права*[101].

1. Различие рангов и лиц есть самая твердая основа смешанного и ограниченного управления. Во Франции остатки свободы охраняются мужеством, почетными отличиями и даже предрассудками пятидесяти тысяч дворян[102]. Двести се-

мейств, права которых переходят в прямой нисходящей линии, образуют вторую ветвь английского законодательного собрания, поддерживая конституционное равновесие между королем и общинами. Отличия, отделявшие патрициев от плебеев, иностранцев от подданных, поддерживали существование аристократии в Генуе, Венеции и древнем Риме. Полное равенство людей есть тот пункт, на котором сходятся две крайности — демократия и деспотизм, так как величие и монарха, и народа было бы унижено, если бы кто-либо возвысился над уровнем своих со-рабов или своих со-граждан. Во времена упадка римского владычества республиканские почетные отличия были мало-помалу уничтожены и Юстиниан сознательно или инстинктивно завершил переход к безыскусственным формам абсолютной монархии. Император не был в состоянии искоренить того уважения, с которым народ всегда относится к обладанию унаследованными богатствами и к памяти славных предков. Он находил удовольствие в том, что награждал своих командиров, должностных лиц и сенаторов титулами и увеличением жалованья; а его непрочное милостивое расположение переносило некоторые лучи их блестящего положения на их жен и детей. Но в глазах закона все римские граждане были равны и все подданные империи были римскими гражданами. Это когда-то неоценимое звание было унижено до того, что сделалось устарелым и пустым названием. Голос римлянина уже не участвовал в издании его законов или в назначении годичных представителей его власти; его конституционные права могли бы стеснять самовластие повелителя, и выходивших из Германии и Аравии отважных искателей приключений стали облекать той гражданскою и военною властью, которою в былые времена только граждане могли пользоваться над завоеваниями своих предков. Первые Цезари строго соблюдали различие между *благородным* и *рабским* происхождением, которое определялось общественным положением матери, и беспристрастие законов бывало удовлетворено, если можно было удостоверить, что *она* была свободна хоть только в течение одного мгновения между зачатием и разрешением от бремени. Рабы, отпущенные на волю великодушным владельцем, немедленно вступали в средний класс libertini, или вольноотпущенников; но они никогда не освобождались от обязанности повиновения и признательности: каковы бы ни были пло-

ды их трудолюбия, к их патрону и к его семейству переходила по наследству третья часть их состояния и даже все состояние, если они умирали бездетными и не оставляли завещания. Юстиниан оставил неприкосновенными права патронов, но он снял клеймо с двух низших разрядов вольноотпущенников: всякий, переставши быть рабом, становился, без всяких оговорок или отсрочек, гражданином, и в конце концов всемогущество императора стало создавать или предполагать благородство происхождения, в котором отказала натура. Он окончательно отменил все ограничения касательно возраста и числа отпускаемых на волю и касательно соблюдения различных формальностей — ограничения, которые были введены в старину для того, чтобы воспрепятствовать злоупотреблениям и слишком быстрому размножению нищих римлян, и вообще дух его законов способствовал уничтожению домашнего рабства. Впрочем, в восточных провинциях во времена Юстиниана еще было множество рабов, родившихся или купленных на служение своим господам, а их цена, восходившая от десяти золотых монет до семидесяти, определялась их возрастом, крепостью телосложения и образованием[103]. Но влияние правительства и религии постоянно уменьшало тягость этого зависимого положения, и подданный империи уже не мог гордиться своею абсолютною властью над жизнью и благосостоянием своих рабов[104].

Закон природы научает почти всех животных лелеять и воспитывать их детенышей. Закон рассудка внушает людям признательность и сыновнюю преданность. Но исключительное, безусловное и вечное владычество отца над его детьми составляет особенность римской юриспруденции[105] и, как кажется, ведет свое начало с основания города[106]. Отцовскую власть установил или подкрепил сам Ромул, и после трехсотлетнего опыта она была занесена на четвертую таблицу децемвиров. На форуме, в сенате или в лагере взрослый сын римского гражданина пользовался публичными и личными правами *человека*, а в доме своего отца он был не более как *вещью*, принадлежавшей в силу закона к одному разряду с движимостью, рогатым скотом и рабами, которых своенравный владелец мог отчуждать или уничтожать, не подвергаясь за это ответственности ни перед каким земным судилищем. Та же самая рука, которая давала ему дневное пропитание, могла обратно отбирать этот добровольный дар, и все,

что сын приобретал трудом или удачей, немедленно присоединялось к собственности отца. Похищенную собственность — все равно, шла ли речь о похищении его волов или его детей — отец отыскивал одним и тем же способом, предъявлял иск о краже[107], а если те или другие провинились в том, что перешли за границу чужого владения, то от произвола отца зависело или уплатить вознаграждение за убытки, или уступить обиженной стороне провинившееся животное. Под влиянием нищеты или корыстолюбия глава семейства мог располагать своими детьми точно так же, как располагал своими рабами. Но положение раба было гораздо более выгодно, так как первое manumissio возвращало ему утраченную свободу; напротив того, сына возвращали в подобном случае жестокосердому отцу; он мог быть отдан в рабство и во второй и в третий раз и только после троекратной продажи и троекратного отпущения на волю[108] он освобождался от отцовской власти, которая была столько раз употреблена во зло. За действительные или мнимые проступки своих детей отец мог наказывать их по своему усмотрению бичеванием, тюремным заключением, ссылкой или отправкой в деревню, для того чтобы они работали там в цепях вместе с самыми низкими из его слуг. Отцовское достоинство было вооружено даже правом жизни и смерти[109], и примеры кровавой расправы, иногда вызывавшей похвалы, но никогда не подвергавшейся наказанию, можно найти в римских летописях до времен Помпея и Августа. Ни возраст, ни ранг, ни консульское звание, ни почести триумфа не снимали с самого знаменитого гражданина уз сыновней покорности[110]; его собственное потомство входило в состав семьи их общего предка, а усыновление давало не менее священные и не менее суровые права, чем те, которые были основаны на происхождении. Римские законодатели без всякого страха, хотя и не без опасности вызвать злоупотребления, возлагали безграничное доверие на чувства отцовской любви, а этот гнет смягчала уверенность, что каждое поколение будет в свою очередь пользоваться страшными правами отца и властелина.

Первое ограничение отцовской власти приписывают справедливости и человеколюбию Нумы, и девушка, выходя замуж за свободного человека с согласия *его* отца, была ограждена от позора сделаться женою раба. В первые века, когда соседние жители Лациума и Тусции теснили городское насе-

ление и нередко доводили его до голода, продажа детей могла быть явлением нередким; но так как закон не дозволял римлянину покупать свободу своих сограждан, то вследствие завоеваний республики рынок этого рода должен был мало-помалу совершенно опустеть и эта торговля должна была прекратиться. Наконец, сыновьям было предоставлено неполное право собственности, и юриспруденция Кодекса и Пандектов установила его в трех видах: profecticius, adventicius и professionalis[111]. Когда отец что-либо уделял своим детям, он предоставлял им лишь право пользования, но удерживал за собою безусловное право собственности; однако, если его имущество поступало в продажу, детская доля не шла на удовлетворение кредиторов в силу благоприятного для детей истолкования закона. Все, что приобреталось путем вступления в брак, дара или наследования в боковой линии, считалось собственностью сына; но если отец не был положительно устранен, ему принадлежало право пользования в течение всей его жизни. Было признано благоразумным и справедливым, чтобы легионер, получивший в награду за свои воинские доблести часть отнятой у неприятеля добычи, самостоятельно владел ею и отказывал ее по завещанию кому пожелает; тот же принцип был по аналогии распространен на доходы, доставляемые какой-либо либеральной профессией, на жалованье за государственную службу и на священные щедроты императора или императрицы. Жизнь гражданина была менее подвержена злоупотреблениям отцовской власти, чем его состояние. Однако его жизнь могла быть препятствием для удовлетворения личных интересов и страстей порочного отца; те же самые преступления, которые происходили от нравственной испорченности времен Августа, оскорбляли существовавшие в ту пору понятия о человеколюбии, и жестокосердый Эриксон, забивший своего сына до смерти, был спасен императором от справедливой ярости народной толпы[112]. Римский отец был принужден отказаться от владычества над детьми как над рабами и должен был ограничиться ролью степенного и умеренного судьи. Присутствие и личное мнение Августа утвердили приговор об изгнании, постановленный над Арием за то, что он совершил преднамеренное убийство, пользуясь своею отцовскою властью. Адриан сослал на далекий остров ревнивого отца, который, подобно разбойнику, воспользовался охотой для того,

чтобы убить юношу, находившегося в кровосмесительной любовной связи с своей мачехой[113]. Юрисдикция частных людей претит духу монархии; отец еще раз снизошел с своего положения и вместо того, чтобы быть судьей, должен был удовольствоваться ролью обвинителя, а Александр Север приказал судьям выслушивать его жалобы и приводить в исполнение его приговоры. Он уже не мог лишить сына жизни, не подвергаясь обвинению и наказанию как убийца, а Константин окончательно подверг его тем наказаниям за смертоубийство, от которых он был избавлен законом Помпея[114]. Такое же покровительство было оказано всем возрастам детей, и рассудок должен одобрять человеколюбие Павла, признавшего убийцей того отца, который удавил своего новорожденного ребенка, уморил его голодом, бросил его или принес в публичное место для того, чтобы возбудить то сострадание, которого сам не чувствовал. Впрочем, обыкновение выставлять детей в публичных местах было очень распространенным и закоренелым пороком древности; оно иногда предписывалось, часто дозволялось и почти всегда оставалось безнаказанным у тех народов, которые никогда не имели римских понятий об отцовской власти, а обращающиеся к человеческому сердцу драматические писатели равнодушно описывают народный обычай, который оправдывали ссылкой на бережливость и на сострадание[115]. Если отец был в состоянии заглушить свои собственные чувства, он мог избежать если не порицания законов, то по меньшей мере установленного ими наказания, и Римская империя обагрялась кровью детей до тех пор, пока эти убийства не были внесены Валентинианом и его соправителями в текст и в душу Корнелиева закона. Наставления юриспруденции[116] и христианства не были в состоянии искоренить это бесчеловечное обыкновение до тех пор, пока их мягкое влияние не было подкреплено страхом смертной казни[117].

Опыт доказал, что дикари обыкновенно бывают тиранами женского пола и что положение женщины улучшается по мере того, как улучшаются условия общественной жизни[118]. Ликург отложил заключение браков до более зрелого возраста в надежде, что от этого будут родиться более здоровые дети, а Нума дозволил женщинам выходить замуж с двенадцатилетнего возраста для того, чтобы муж мог по своему вкусу воспитать непорочную и послушную девушку[119]. По

древнему обычаю, жених покупал свою невесту у ее родителей, а она совершала coemptio, то есть покупала за три медных монеты право вступить в дом жениха и пользоваться покровительством его домашних богов. Жрецы приносили в жертву богам плоды в присутствии десяти свидетелей; супруги оба садились на одну и ту же баранью кожу; они вкушали соленого пирога, сделанного из far или пшена, и эта confarreatio[120], свидетельствовавшая о том, чем в древности питались в Италии, служила эмблемой их мистического союза —и духовного, и телесного. Но этот союз был для женщины и тяжелым, и неравноправным, и она отказывалась от отцовского имени и от отцовских пенатов для того, чтобы поступить в новое рабство, лишь приукрашенное названием удочерения. Легальная фикция, и не остроумная, и не изящная, придавала матери семейства[121] (таково было ее настоящее название) характер сестры ее собственных детей и дочери ее супруга или господина, который был облечен отцовскою властью во всей ее полноте. По своему усмотрению или по своему капризу он или одобрял, или порицал, или подвергал наказанию ее поступки; он имел право жизни и смерти и в случаях прелюбодеяния или пьянства[122] мог постановлять на этом основании приговоры. Чтобы она ни приобрела или ни наследовала, все обращалось в исключительную собственность ее господина и положение женщины как *вещи*, а не как личности, было так ясно установлено, что в случае утраты подлинного документа на нее можно было предъявлять свои права, как и на всякую движимость, на основании продолжавшегося целый год *пользования* и обладания ею. Римский супруг исполнял по склонности супружеские обязанности, которые были с такой точностью определены афинскими и иудейскими законами[123]; но так как многоженство не допускалось, то он никогда не мог разделять своего ложа с более красивой или более симпатичной подругой.

После того как Рим одержал верх над Карфагеном, римские матроны пожелали пользоваться со всеми наравне теми благами, которые доставляла свободная и богатая республика; их желания были исполнены снисходительными отцами и любовниками, и суровость цензора Катона безуспешно пыталась воспротивиться их честолюбивым замыслам[124]. Они устранили торжественные обряды, совершавшиеся при старинных бракосочетаниях, заменили годичную давность

трехдневным отсутствием и стали подписывать более выгодные и более ясные условия супружеского договора, не утрачивая ни своего прежнего имени, ни своей независимости. С мужем они разделяли пользование своим личным состоянием, но право собственности удерживали за собою; расточительный муж не мог ни отчуждать состояния жены, ни закладывать; недоверчивость законодательства запрещала супругам взаимные подарки, а дурное поведение одного из них могло служить поводом для иска о краже лишь под другим названием. При таких нестеснительных и добровольных договорах религиозные и гражданские обряды уже не имели существенного значения, а для лиц одинакового ранга их жизнь под одною кровлей считалась достаточным доказательством того, что они состояли между собою в браке. Достоинство брака было восстановлено христианами, полагавшими, что источником для всех духовных благ служат молитвы верующих и благословение священника или епископа. Происхождение этого священного установления, его законная сила и налагаемые им обязанности были регулированы традицией синагоги, правилами Евангелия и постановлениями вселенских и провинциальных соборов[125], а совесть христиан держали в страхе церковные декреты и кары. Однако Юстиниановы судьи не были подчинены авторитету церкви: император сообразовывался с мнениями неверующих юристов древности, и при выборе помещенных в Кодексе и в Пандектах законов о браке были приняты в руководство земные понятия о справедливости, политические соображения и природная свобода лиц обоего пола[126].

Кроме согласия обеих сторон, составляющего существенную принадлежность всякого правильного договора, для римского брака требовалось предварительное одобрение со стороны родителей. В силу некоторых позднейших законов отца можно было принудить давать достигшей зрелого возраста дочери средства существования; но даже его умопомешательство не всегда устраняло необходимость его согласия на ее брак. Поводы, считавшиеся у римлян достаточными для расторжения браков, не всегда были одинаковы[127]; но обязательная сила самых торжественных брачных обрядов и даже самой confarreatio всегда могла быть уничтожена совершением обрядов противоположного направления. В первые века римской истории отец семейства мог продавать своих детей,

а его жена принадлежала к числу этих детей; этот домашний верховный судья мог осуждать ее на смерть или, из милосердия, удалять ее от своего ложа и из своего дома; но рабство несчастной женщины было безысходно и вечно, если он сам не желал воспользоваться правом развода ради своего собственного удобства. Добродетель римлян была предметом самых горячих похвал, оттого что они не пользовались этим соблазнительным правом в течение пятисот с лишком лет[128]; но этот же самый факт ясно доказывает, как были неравны условия связи, в которой раба не имела возможности отделаться от своего тирана, а тиран не имел желания выпустить на волю свою рабу. Когда римские матроны сделались равными и добровольными подругами своих мужей, были введены новые законы и брак стали расторгать, подобно всякому другому товариществу, вследствие отказа одного из соучастников. В течение трех столетий благосостояния и нравственной распущенности этот принцип получил широкое применение и вызвал пагубные злоупотребления. Страсти, личные интересы и прихоть ежедневно могли служить мотивами для расторжения браков; требование развода можно было заявить словом, телодвижением, уведомлением через посланца, письмом и устами вольноотпущенника, и самая нежная из человеческих связей была низведена до временного сожития ради денежных выгод или удовольствия. Лица обоего пола терпели унижение и вред от таких порядков; непостоянная в своих привязанностях супруга переносила свое состояние в другую семью, оставляя на руках своего последнего мужа многочисленных детей, которые, быть может, не были его собственными детьми; женщина, вступившая в семью, когда была красивой девушкой, нередко оставалась в старости и без средств существования, и без друзей; но нежелание римлян исполнять требования Августа о заключении браков служат достаточным доказательством того, что действовавшие в ту пору постановления были всего менее благоприятны для мужчин[129].

Для некоторых благовидных теорий служит опровержением этот свободный и всесторонний опыт, доказывающий нам, что свобода развода не доставляет счастья и не располагает к добродетели. Легкость, с которой можно расходиться, совершенно уничтожает взаимное доверие и разжигает всякую ничтожную ссору; тогда различие между мужем и посторон-

ним мужчиной так легко уничтожается, что может быть еще легче совсем позабыто, и та матрона, которая в течение пяти лет могла восемь раз перейти из объятий одного супруга в объятия другого, должна была утратить всякое уважение к своему собственному целомудрию[130]. Недостаточные средства исцеления выступали мешкотными и запоздалыми шагами вслед за быстрым развитием этого недуга. В древней религии римлян была особая богиня для того, чтобы выслушивать жалобы и примирять супругов; но ее название Viriplaca[131], укротительница мужей, слишком ясно доказывает, с которой стороны всегда ожидали покорности и раскаяния. Всякий поступок гражданина подлежал суду цензоров; от первого пожелавшего воспользоваться правом развода они требовали объяснения причин такого образа действий[132]; а один сенатор был лишен этого звания за то, что отослал назад еще остававшуюся девственницей супругу без ведома или без одобрения своих друзей. Всякий раз, как возникал процесс из-за возвращения приданого, претор, в качестве стража справедливости, рассматривал обстоятельства дела и личные свойства тяжущихся и осторожно наклонял весы правосудия на сторону того, кто был невинен и обижен. Август, соединявший в своем лице и цензора, и претора, усвоил их различные способы сдерживать или карать своевольные разводы[133]. Для того чтобы этот торжественный и зрело обдуманный акт имел законную силу, стали требовать присутствия семи свидетелей из римлян: если муж провинился перед женой, то вместо двухлетней отсрочки от него стали требовать возвращения приданого или немедленно, или в течение шести месяцев; если же он мог доказать, что его жена нарушила свой долг, то она искупала свою вину или ветреность утратой шестой или восьмой части своего приданого. Христианские монархи впервые установили законные мотивы для разводов между частными людьми; их постановления со времен Константина до времен Юстиниана, по-видимому, колебались в выборе между господствовавшими в империи обычаями и желаниями церкви[134], и автор Новелл слишком часто вносит перемены в юриспруденцию Кодекса и Пандектов. В силу самых строгих законов жена должна была выносить сожительство с игроком, пьяницей или распутником, если только он не совершал ни человекоубийства, ни отравления, ни святотатства, в каковых случаях брак, как каза-

лось бы, мог бы быть расторгнут рукою палача. Но священное право мужа неизменно поддерживалось для того, чтобы позор прелюбодеяния не пал на его имя и на его семейство: список *смертных* грехов со стороны и мужа, и жены то сокращался, то расширялся последующими постановлениями, и было решено, что неизлечимая импотенция, продолжительное отсутствие и поступление в монастырь отменяют супружеские обязанности. Кто заходил за пределы того, что разрешалось законом, подвергался разнообразным и тяжелым наказаниям. У женщины отбирали ее состояние и ее украшения, не исключая даже шпилек, которые она носила в волосах; если мужчина принимал в свое брачное ложе новую невесту, то ее состояние могло быть законным образом отобрано покинутой женой. Конфискация имущества иногда заменялась денежным штрафом; к штрафу иногда присовокупляли ссылку на какой-нибудь остров или заключение в монастырь; обиженная сторона освобождалась от брачных уз, но обидчик лишался на всю жизнь или на известное число лет права снова вступать в брак. Преемник Юстиниана уступил просьбам своих несчастных подданных и восстановил свободу развода по взаимному согласию; юристы* были на этот счет все одного мнения[135]; богословы расходились в своих взглядах[136], а двусмысленное слово, в котором выражено учение Христа, поддается под всякое толкование, какого только могла бы пожелать мудрость законодателя.

Свобода любви и брака ограничивалась у римлян и натуральными, и гражданскими препятствиями. Инстинкт, который, как кажется, можно назвать и врожденным, и всеобщим, воспрещает кровосмесительную связь[137] между родителями и детьми во всем бесконечном ряде восходящих и нисходящих поколений. Касательно боковых линий родства натура равнодушна, рассудок молчит, а обычаи и разнообразны, и произвольны. В Египте брак между братом и сестрой допускался без колебаний и без ограничений; спартанец мог жениться на дочери своего отца, афинянин — на дочери своей матери, а брак дяди с племянницей считался в Афинах за счастливый союз между любящими друг друга родственниками. Светские законодатели римлян никогда не умножали запрещенных степеней родства под влиянием своих личных интересов или суеверий; но они непреклонно запрещали

* Знатоки и толкователи норм гражданского права.

брак между сестрами и братьями, колебались на счет того, не следует ли распространить то же запрещение на браки между двоюродными братьями и сестрами, признавали отеческий характер за дядями и тетками и усматривали в свойстве и в усыновлении сходство с кровными узами. В силу гордых республиканских принципов в законный брак могли вступать только свободные граждане; для супруги сенатора требовалось знатное или, по меньшей мере, благородное происхождение; но кровь царей никогда не могла смешиваться путем законного бракосочетания с кровью римлянина, а звание *иностранок* низвело Клеопатру и Беренику[138] до положения *наложниц* Марка Антония и Тита[139]. Однако, как бы ни было оскорбительно такое название для достоинства этих восточных цариц, оно не могло быть применено к их нравам без некоторой снисходительности. Наложница — в том строгом смысле слова, в каком его понимали юристы,— была женщина рабского или плебейского происхождения и единственная верная подруга римского гражданина, жившего в безбрачии. Ее скромное положение было ниже почетного положения жены и выше позорного положения проститутки; оно было признано и одобрено законами, а со времен Августа до десятого столетия эти второстепенные браки были в большом ходу и на Западе, и на Востоке, и скромным добродетелям наложницы нередко оказывалось предпочтение перед пышностью и наглостью знатной матроны. Оба Антонина, эти лучшие из монархов и людей, наслаждались семейными привязанностями именно в связях этого рода, а их примеру следовали те граждане, которые тяготились безбрачием, но не желали вступать в неравные браки. Если у них являлось желание усыновить своих незаконных детей, это превращение совершалось путем бракосочетания с той подругой, плодовитость и верность которой уже были испытаны[140]. Но родившиеся от наложницы дети отличались этим эпитетом *незаконных* от тех, которые были плодом прелюбодеяния, проституции и кровосмешения и за которыми Юстиниан неохотно признавал право на пропитание, и только эти незаконные дети могли получать шестую часть наследства, оставшегося после того, кто считался их отцом. По строгому смыслу закона побочные дети получали имя и положение матери и, смотря по тому, чем была мать, поступали в разряд или рабов, или иностранцев, или граждан. А тех детей,

которых не принимала в свою среду никакая семья, государство принимало, без всяких порицаний, под свое попечение[141].

Отношения между опекуном и находящимся под опекою малолетним, или, как выражались римляне, между tutor'ом и pupillus'ом, служат содержанием для множества титулов в Институциях и в Пандектах[142], но по своему характеру очень несложны и однообразны. И личность, и собственность сироты всегда вверялись охране какого-нибудь надежного доброжелателя. Если отец, умирая, не сделал выбора, то *агнаты*, или ближайшие родственники с отцовской стороны, считались естественными опекунами; афиняне опасались отдавать ребенка под власть того, кому была бы особенно выгодна его смерть; но в римской юриспруденции признавалось за аксиому, что бремя опекунства всегда должно падать на тех, кого ожидают выгоды наследования. Если отец не назначил опекуна и не было налицо ни одного единокровного родственника, обязанного принять на себя это звание, то опекун назначался претором или наместником* провинции. Но тот, кого они назначали на эту *общественную* должность, имел законное право отказаться, ссылаясь на умопомешательство или на потерю зрения, на свое невежество или на свою неспособность, на старую вражду или на противоположность интересов, на многочисленность своих собственных детей или на принятые прежде того другие опекунские обязанности и, наконец, на льготы, установленные в пользу судей, юристов, докторов** и профессоров для того, чтобы они не прерывали своих полезных занятий. Пока малолетний не был в состоянии сам за себя говорить и думать, его представителем считался опекун, власть которого оканчивалась, когда опекаемый достигал совершеннолетия. Никакой акт, совершенный без согласия опекуна, не мог связывать опекаемого в ущерб его интересам, хотя и мог связывать других в том, что клонилось к его личной выгоде. Едва ли нужно к этому добавлять, что опекун нередко представлял залог и всегда подвергался отчетности и что при недостатке усердия или добросовестности он подвергался гражданской и чуть ли не уголовной ответственности за нарушение своих священных обязанностей.

* С сер. II в. появился неофициально титул *презид* (praeses), впоследствии стал официальным титулом наместника провинции из всадников или сенаторов.

** Doctor, professor *(лат.)* — учитель, преподаватель, наставник.

Юристы непредусмотрительно определили возраст совершеннолетия четырнадцатью годами[143]; но так как умственные способности развиваются более медленно, чем физические, то на *попечителя* возлагали обязанность охранять состояние римских юношей от их собственной неопытности и от их пылких страстей. Такие кураторы первоначально назначались претором для того, чтобы охранять семьи от разорения, в которое их мог вовлечь мот или безумец, а впоследствии закон стал требовать таких же порук в действительности актов, совершенных малолетними, пока эти последние не достигали двадцатипятилетнего возраста. Женщины были осуждены на вечную зависимость от своих родителей, мужей или опекунов, так как предполагалось, что пол, созданный для того, чтобы нравиться и повиноваться, никогда не достигал возраста рассудка и опытности. Таков, по крайней мере, был суровый и высокомерный дух древнего закона, который уже успел мало-помалу смягчиться до вступления на престол Юстиниана.

II. Для первоначального права собственности могут служить оправданием лишь случайность или личный труд, благодаря которым впервые произошло завладение, и философия юристов благоразумно утверждает его именно на этом фундаменте[144]. Дикарь, выдалбливающий дерево, вставляющий заостренный камень в деревянную рукоятку или прикрепляющий тетиву к гибкому суку, становится по праву собственником челнока, лука или топора. Материалы принадлежали всем, но ему одному принадлежит та новая их форма, на которую он потратил свое время и свое нехитрое искусство. Его проголодавшиеся товарищи не могут, без сознания своей собственной несправедливости, отнять у охотника лесную дичь, которую он поймал или убил благодаря своей личной физической силе или ловкости. Если его предусмотрительная заботливость заготовляет для будущего и размножает ручных животных, способных по своей природе приучаться к послушанию, то он навсегда приобретает право распоряжаться их приплодом, который обязан своим существованием ему одному. Если он огораживает и возделывает поле для их прокормления и для своего собственного, бесплодная пустыня превращается в плодородную землю; посев, удобрение и работа создают новую ценность, и собранная в поте лица жатва служит наградой за труды целого года. При всех сле-

дующих фазах общественной жизни и охотник, и пастух, и землепашец могут отстаивать свои владения двумя мотивами, перед которыми невольно должен преклоняться человеческий рассудок, что все, чем они пользуются, есть плод их собственного трудолюбия и что тот, кто завидует их благополучию, может приобрести такие же блага, приложив к делу такое же старание. Таковы могут быть на самом деле причины свободы и достатка маленькой колонии, случайно поселившейся на плодоносном острове. Но число колонистов увеличивается, между тем как занятое ими пространство остается таким, каким было; смелые и хитрые люди захватывают те права, которые составляют общее наследственное достояние всего человеческого рода; недоверчивые владельцы окружают каждое поле и каждый лес межами, и римской юриспруденции принадлежит та заслуга, что она признала право на живущих на земле и в воде диких животных за теми, кто прежде всех завладел ими. При постепенном переходе от первоначальной справедливости к окончательной несправедливости шаги не слышны, оттенки почти не заметны и абсолютная монополия наконец утверждается на положительных законах и на искусственных доводах. Только деятельный и ненасытный принцип себялюбия способен удовлетворять требования роскоши и оплачивать труд промышленника, а лишь только вводятся гражданское управление и исключительная собственность, они делаются необходимыми для существования человеческого рода. За исключением странных спартанских учреждений, самые мудрые законодатели считали аграрный закон неосновательным и опасным нововведением. У римлян громадное неравенство состояний далеко выходило из границ, указанных сомнительной традицией и устарелым законом, той традицией, что самым бедным приверженцам Ромула было дано по два югера[145]* в вечную наследственную собственность, и тем законом, что земельная собственность самого богатого гражданина не могла превышать пятисот югеров, или трехсот двенадцати акров. Вначале римская территория состояла только из нескольких миль лесов и лугов вдоль берегов Тибра, а обмен домашних продуктов ничего не мог прибавлять к этому национальному основному капиталу. Но чужое или неприятельское добро могло законным образом переходить в руки того, кто прежде всех

* Югер — ед. земельной площади, равная 25 м² (около).

завладел им; город стал обогащаться благодаря выгодному занятию войной, и кровь его сыновей была единственной ценой, уплаченной за взятых у Вольсков баранов, за вывезенных из Британии рабов и за драгоценные камни и золото, добытые из азиатских царств. На языке древней юриспруденции, который извратился и был позабыт до времен Юстиниана, эта добыча называлась manceps, или mancipium, то есть захваченные руками, а всякий раз, как она продавалась или *эмансипировалась*, покупатель требовал удостоверения, что она первоначально была собственностью врага, а не кого-либо из сограждан[146]. Гражданин мог утратить свои права на то, что ему принадлежало, только путем явного отречения, но нелегко было предположить такое отречение от ценной собственности. Впрочем, по законам Двенадцати таблиц, давность одного года для движимого имущества и двух лет для недвижимого уничтожала права прежнего владельца, если настоящий владелец приобрел их путем правильной сделки от такого лица, которое он считал законным собственником[147]. Членам маленькой республики лишь в редких случаях могла причинять вред такая сознательная несправедливость, в которой не было ни малейшей примеси обмана или насилия; но установленные Юстинианом разнообразные сроки трехлетней, десятилетней и двадцатилетней давности были более пригодны для обширной империи. Только при назначении сроков давности юристы делали различие между недвижимой собственностью и движимой, а их общее понятием о собственности было понятие о простом, однообразном и безусловном владении. Зависящие отсюда исключения о постоянном или временном пользовании[148] и о *сервитутах*[149], которые налагались в пользу соседа на земли и дома, подробно изложены учеными-правоведами. А изменения, которым подвергается право собственности от смешения, разделения или перерождения веществ, исследованы с метафизической тонкостью теми же юристами.

Личное право первого собственника должно прекращаться его смертью; но оно продолжается, без всякой видимой перемены, в его детях, которые были помощниками в его трудах и участниками в приобретении его состояния. Этот натуральный порядок наследования охранялся законодателями всех стран и всех веков, и благодаря ему отец предпринимает медленные и не скоро вознаграждаемые улучшения в слад-

кой надежде, что длинный ряд его потомков будет пользоваться плодами его трудов. *Принцип* перехода собственности по наследству был признан повсюду, но *порядок* этого перехода изменялся сообразно с удобствами или с прихотями, с духом национальных учреждений или с каким-нибудь антцедентом, возникшим из обмана или насилия. Римская юриспруденция уклонилась от природного равенства, по-видимому, гораздо менее, чем учреждения иудейские[150], афинские[151] и английские[152]. После смерти гражданина все его потомки, еще не высвободившиеся из-под отцовской власти, призывались к наследованию его собственности. Оскорбительная привилегия первородства была неизвестна; оба пола были поставлены на одном уровне; все сыновья и все дочери имели право на равную часть отцовского достояния; а если один из сыновей не мог участвовать в разделе наследства вследствие преждевременной смерти, то оставшиеся в живых его дети считались его представителями и делили между собой его часть. Когда пресекалось потомство в прямой нисходящей линии, право наследования переходило в боковые линии. Юристы перечисляют степени родства[153], восходя от последнего собственника к общему прародителю и нисходя от общего прародителя к ближайшему наследнику; мой отец принадлежит к первой степени родства, мой брат — ко второй, его дети — к третьей, а остальные степени нетрудно дорисовать воображением или проследить по какой-нибудь генеалогической таблице. При этом исчислении степеней соблюдалось одно различие, имевшее существенную важность в римском законодательстве и даже в римских государственных учреждениях; *агнаты*, или лица, принадлежащие к мужской линии, призывались к равному участию в дележе наследства сообразно со степенью родства; но женщина не могла передавать другим никаких законных прав на наследство, и законы Двенадцати Таблиц не признавали наследственных прав за *когнатами* всякого разряда, считая их как бы чужеземцами и посторонними людьми и даже не делая исключения в пользу нежной привязанности, связывающей мать с сыном. У римлян одно общее *имя* и одни домашние *обряды* служили внутренней связью для gens, или рода: cognomen* или прозвания Сципиона или Марцелла различали одну от

* Одно из трех имен у римлян — когномен, стояло на третьем месте после имени собственного и имени рода.

другой побочные ветви или семейства родов Корнелиева или Клавдиева; в случае, если не было агнатов с тем же прозванием, их заменяли родственниками, которые носили более общее название Gentiles, и бдительность законов сохраняла за теми, кто носил одно имя, постоянную наследственную передачу и религии, и собственности. Тот же самый принцип вызвал издание Вокониева закона[154], отнявшего у женщин право наследования. Пока девицы отдавались или продавались в жены, удочерение жены упраздняло надежды дочери. Но равноправное наследование независимых матрон поддерживало их гордость и роскошь и могло переносить в чужой дом богатства их отцов. Пока принципы Катона[155] пользовались уважением, они клонились к обеспечению за каждым семейством честных и скромных средств существования; но женские ласки с течением времени одержали верх, и все благотворные стеснения, в безнравственном величии республики. Суровость децемвиров смягчалась справедливостью преторов. Эдикты этих последних возвращали эмансипированным и рожденным после смерти отца детям их натуральные права, а когда не было налицо агнатов, они предпочитали кровное родство когнатов названию Gentiles*, название и характер которых были мало-помалу преданы забвению. Взаимное наследование матерей и сыновей было установлено декретами Тертуллиевым и Орфициевым благодаря человеколюбию сената. Новый и более беспристрастный порядок был введен Новеллами Юстиниана, как будто старавшегося восстановить юриспруденцию Двенадцати Таблиц. Линии мужского и женского родства были смешаны между собой: нисходящие, восходящие и боковые линии были тщательно определены, и каждая степень родства, сообразно с ее близостью по крови и по привязанности, стала участвовать в открывавшемся после римского гражданина наследстве[156].

Порядок наследования устанавливается самой природой или, по меньшей мере, общим и неизменным здравым смыслом законодателей; но этот порядок часто нарушается произвольными и пристрастными завещаниями, путем которых завещатель удерживает за собой право собственности даже за могилой[157]. Это пользование или злоупотребление правами собственника редко допускалось при первоначальной бе-

* Gentiles *(лат.)* — родственники, т.е. принадлежавшие к одному роду.

зыскусственной организации гражданского общества; оно было введено в Афинах законами Солона, а законы Двенадцати таблиц также позволили отцам семейств совершать завещания. До времен децемвиров[158] римский гражданин излагал свои желания и свои мотивы перед собранием тридцати курий, или общин, и изданный по этому поводу законодательный акт приостанавливал действие общих законов о наследовании. Децемвиры позволили каждому гражданину излагать словесно или письменно содержание его завещания в присутствии пяти граждан, которые были представителями пяти классов римского народа; шестой свидетель удостоверял их присутствие; седьмой взвешивал медную монету, которая уплачивалась воображаемым покупателем, и имущество эмансипировалось путем фиктивной продажи и немедленной передачи. Этот странный обряд[159], возбуждавший удивление в греках, еще был в употреблении во времена Севера; но преторы уже ввели более простые завещания, для совершения которых они требовали приложения печатей и подписи семи свидетелей, не подходивших под установленные законом исключения и нарочно созванных для совершения этого важного акта. Властелин семьи, распоряжавшийся и жизнью, и достоянием своих детей, мог распределять между ними доли наследства соразмерно с их достоинствами или привязанностью: он мог по своему усмотрению наказать недостойного сына лишением наследства и оскорбительным предпочтением постороннего лица. Но опыт доказал, что бывают такие жестокосердые отцы, которых необходимо стеснить в их правах завещателей. Сыновья и, в силу Юстиниановых законов, даже дочери уже не могли быть лишены наследства вследствие того, что отец не упомянул о них; от этого последнего стали требовать, чтобы он назвал виновного и объяснил, в чем заключалась вина, а император установил те случаи, которые могли бы оправдывать такое нарушение первых принципов природы и общественной жизни[160]. Если детям не была предоставлена их законная четвертая часть, то они могли оспаривать "несправедливое" завещание, ссылаясь на то, что их отец был не в здравом уме вследствие болезни или старости, и могли почтительно просить беспристрастного судью об отмене сурового отцовского приговора. В римской юриспруденции признавалось существенное различие между наследованием по закону и наследованием по за-

вещанию. Наследники, получившие все состояние или одну двенадцатую часть состояния завещателя, делались его представителями, и в гражданском, и в религиозном отношении, вступали в его права, исполняли его обязанности и уплачивали подарки, которые он из дружбы или из щедрости назначил в своем завещании. Но так как неосмотрительность или расточительность умирающего могла превысить ценность оставляемого имущества и не оставить наследнику ничего, кроме риска и труда, то этому последнему позволили удерживать до уплаты завещанных выдач Фальцидиеву, то есть четвертую часть в свою собственную пользу[161]. Ему дали достаточно времени для того, чтобы он мог привести в ясность размер долгов и ценность имущества и решить, принимает ли он наследство или отказывается от него; а если он пользовался правом составить опись, то требования кредиторов не могли превышать ценности оставшегося имущества. Последняя воля гражданина могла быть изменена при его жизни и могла быть уничтожена после его смерти; лица, назначенные им в завещании, могли умереть прежде него, могли отказаться от наследства или могли быть устранены по каким-нибудь легальным причинам. Ввиду этих случайностей ему дозволяли назначать вторых и третьих наследников, заменять одних другими согласно с указанным в завещании порядком, а неспособность умалишенного или несовершеннолетнего распоряжаться по завещанию своей собственностью была восполнена такой же заменой одних лиц другими[162]. Но влияние завещателя прекращалось с момента принятия наследства; каждый совершеннолетний и правоспособный римлянин делался полным хозяином того, что ему досталось в наследство, и ясность гражданских законов никогда не затемнялась длинными и сбивчивыми оговорками, которые в наше время стесняют благополучие и свободу будущих поколений.

Завоевания и установленные законом формальности ввели в употребление приписи к духовным завещаниям. Если римлянин чувствовал приближение смерти в то время, как находился в одной из отдаленных провинций империи, он обращался с коротеньким посланием к тому, кто был его наследником или по закону, или по завещанию; этот последний или честно исполнял, или безнаказанно оставлял без всякого внимания это предсмертное желание, которому судьи до вре-

мен Августа не имели права придавать законную силу. Припись могла быть сделана в какой бы то ни было форме и на каком бы то ни было языке, но требовалась подпись пяти свидетелей в удостоверение того, что этот документ был действительно написан самим завещателем. Его желания, как бы они ни были похвальны, могли быть противозаконны, и существование душеприказчиков (fidei commissa) возникло из столкновений между натуральной справедливостью и положительным законодательством. Другом или благодетелем бездетного римлянина мог быть какой-нибудь уроженец Греции или Африки; но никто, кроме его сограждан, не мог действовать в качестве его наследника. Вокониев закон, отнявший у женщин право наследовать, дозволил им получать по завещаниям не более ста тысяч сестерций[163], и единственная дочь была почти чужой в отцовском доме. Усердие, внушенное дружбой и родственной привязанностью, навело на мысль о следующей уловке: завещание составлялось в пользу какого-нибудь полноправного гражданина с просьбой или с требованием передать наследство тому, кому оно назначалось на самом деле. В этом затруднительном положении душеприказчики не всегда держались одного образа действий: они были связаны клятвой, что будут соблюдать законы своего отечества, но честь заставляла их нарушить эту клятву; если же они, под маской патриотизма, отдавали предпочтение своим личным интересам, они утрачивали уважение всех добродетельных людей. Декларация Августа положила конец их недоумениям, дала легальную санкцию основанным на доверии завещаниям и приписям и уничтожила формы и стеснения, наложенные республиканским законодательством[164]. Но так как новые постановления касательно душеприказчиков подали повод к некоторым злоупотреблениям, то декреты Требеллиев и Пегасиев уполномочили душеприказчиков удерживать одну четвертую часть имущества или возлагать на настоящего наследника все долги и процессы, лежавшие на наследстве. Истолкование завещаний было строго буквальное; но способ выражения при назначении душеприказчиков и при изложении приписей не был подчинен мелочной и технической точности юристов[165].

III. Общие обязанности всех людей налагаются их общественными или частными сношениями, но их взаимные специфические "обязательства" могут истекать лишь 1) из обе-

щания, 2) из благодеяния и 3) из обиды, а когда эти обязательства утверждены законом, заинтересованная сторона может принудить к их исполнению путем судебного процесса. На этом принципе юристы всех стран построили однообразную юриспруденцию, которая есть плод всеобщего разума и всеобщей справедливости[166].

1. Богине верности* (верности и в частной, и в общественной жизни) римляне поклонялись не только в ее храмах, но и во всем, что они делали, и если этой нации недоставало более привлекательных качеств — благосклонности и великодушия, зато она удивляла греков добросовестным и простодушным исполнением самых тяжелых обязательств[167]. Однако у того же самого народа согласно со строгими правилами патрициев и децемвиров "бесформенное условие", обещание и даже клятва не создавали гражданского обязательства, если не были облечены в легальную форму договора — stipulatio. Какова бы ни была этимология этого латинского слова, с ним было связано понятие о прочном и ненарушимом договоре, которое всегда выражалось в форме вопроса и ответа. Так, например, Сей спрашивал: "Обещаете ли вы уплатить мне сто золотых монет?" Семпроний отвечал: "Обещаю". Сей мог по своему усмотрению предъявлять иск в отдельности к каждому из друзей Семпрония, поручившихся за его состоятельность и за его добросовестность, а пользование этим разделением или порядком обоюдных исков мало-помалу отклонилось от точных требований стипуляции. Чтоб добровольное обещание имело законную силу, стали основательно требовать самое осмотрительное и обдуманное согласие, и тот гражданин, который мог бы добыть легальное обеспечение, но не сделал этого, возбуждал подозрение в намерении обмануть и подвергался ответственности за свою небрежность. Но изобретательность юристов сумела придать простым обязательствам форму торжественных стипуляций. Преторы, в качестве стражей общественной добросовестности, стали допускать всякое рациональное доказательство добровольного и сознательного акта, который получал перед их трибуналом законную силу обязательства, и стали давать право иска об исполнении и о вознаграждении[168].

2. Обязательствам второго разряда юристы дали название

* Римская богиня Верность (Fides) олицетворяла верность договору. Ей был посвящен храм на Палатине.

вещественных, так как они проистекают из вручения какой-нибудь вещи[69]. Тот, кто оказал такую услугу, имеет право на признательность, а тот, кому доверили чужую собственность, принял на себя священную обязанность возвратить ее. Если речь идет о ссуде по дружбе, то заслуга великодушного поступка принадлежит только тому, кто ссудил; в случае отдачи чего-либо на хранение вся заслуга на стороне получателя; но в случае залога или какой-либо другой сделки, основанной на взаимных интересах, услуга вознаграждается соответствующей выгодой, а обязанность обратной отдачи видоизменяется сообразно с характером сделки. Латинский язык очень удачно выражает основное различие между commodatum* и mutuum**, между тем как бедность нашего языка смешивает эти оба понятия под одним неточным названием займа. В первом случае заемщик был обязан возвратить ту самую вещь, которою его *снабдили* для временного удовлетворения его нужд; во втором случае эта вещь назначалась для его потребления и он исполнял это *взаимное* обязательство, возвращая вместо нее цену сообразно с точным определением числа, веса и меры. В договоре о *продаже*, право безусловного распоряжения передается покупателю, который уплачивает за эту выгоду соответствующим количеством золота или серебра, служащего всеобщим мерилом всякой земной собственности.

Обязанности, налагаемые договором о *найме*, более сложны. Можно брать на определенный срок внаймы земли и дома, труд и таланты; по истечении срока самый предмет найма должен быть возвращен его владельцу вместе с вознаграждением за выгодное занятие или пользование. В этих прибыльных сделках, к которым можно причислить договоры о товариществе и комиссионерстве, юристы иногда предполагают воображаемую выдачу предмета договора, а иногда согласие сторон. Вещественный залог был мало-помалу заменен невидимыми для глаз правами *ипотеки*, и согласие на продажу за определенную цену переносит с этого момента шансы барыша или убытка на счет покупателя. Можно с основанием предполагать, что всякий готов подчиняться требованиям своей личной пользы и что если он получает выгоду, то обязан взять на себя расходы сделки. В этом неистощимом сюжете историк остановит свое внимание на *найме* земли и

* Предоставление вещи во временное пользование.
** Ссуда, заем.

денег, на доходе с первой и на процентах со вторых, так как эти вопросы имеют существенную связь с успехами земледелия и торговли. Землевладелец нередко бывал вынужден давать вперед земледельческие запасы и орудия и довольствоваться частию жатвы. Если арендатор терпел убытки от какой-нибудь несчастной случайности, от заразной болезни или от неприятельского нашествия, он взывал к справедливости законов о соразмерном пособии; пять лет были обычным сроком найма, и нельзя было ожидать никаких солидных или ценных улучшений от такого фермера, который ежеминутно мог быть устранен вследствие продажи имения[170]. Отдача денег в рост[171], которая была закоренелым злом во времена республики, не нашла поддержки в *Двенадцати Таблицах*[172] и была уничтожена народным негодованием. Но нужды и леность народа воскресили ее; она допускалась произволом преторов и наконец была урегулирована кодексом Юстиниана. Лица высшего ранга были принуждены ограничиваться умеренным размером четырех процентов; шесть процентов были признаны за обыкновенный и легальный размер дохода; восемь дозволялись для пользы промышленников и торговцев; двенадцать можно было брать за страхование от несчастий на море, размер которых древние из благоразумия и не пытались определять; но, за исключением этих несчастных случайностей, чрезмерные проценты были строго запрещены[173]. Духовенство и восточное, и западное осуждало взимание самых ничтожных процентов[174]; но сознание взаимной выгоды, одержавшее верх над законами республики, оказало такое же упорное сопротивление и декретам церкви, и даже предрассудкам человечества[175].

3. И натура, и общество налагают неизбежную обязанность загладить причиненный вред, а тот, кто пострадал от личной обиды, приобретает особые личные права и может вчинать законное преследование. Если нашему попечению была вверена чужая собственность, то степень нашей заботливости зависит от того, как велика выгода, которую мы извлекаем из такого временного пользования; лишь в редких случаях мы можем быть подвергнуты ответственности за такую случайность, которой нельзя было избежать, но последствия добровольного недосмотра всегда должны падать на ответственность того, кто в нем провинился[176]. Римлянин отыскивал украденные вещи путем гражданского иска; они мог-

ли перейти в чистые и невинные руки, но ничто, кроме тридцатилетней давности, не могло уничтожить его первоначального права на них. Они возвращались ему по приговору претора, и причиненный ему вред вознаграждался вдвое, втрое и даже вчетверо, смотря по тому, было ли совершено похищение втайне или с явным насилием и был ли похититель пойман на месте преступления или открыт после произведения розысков. Аквилиев закон[177] ограждал принадлежащих гражданину рабов и рогатый скот от злонамеренности или небрежности, и за домашнее животное взыскивалась самая высокая цена, какую оно имело в какой-либо момент в том году, который предшествовал его смерти; в случае уничтожения каких-либо других ценных предметов, основанием для их оценки служил тридцатидневный период времени. Личное оскорбление бывает более или менее тяжелым, смотря по тому, каковы современные нравы и какова восприимчивость обиженного, и нелегко определить размер денежного вознаграждения за скорбь или за унижение, причиненные оскорбительным словом или нанесением удара. Грубая юриспруденция децемвиров смешала в одно все неосторожные обиды, не доходившие до повреждения какого-либо члена тела, и осудила виновного на уплату двадцати пяти ассов. Но через три столетия монета, носившая то же самое название, понизилась с одного фунта весу на пол-унции, и наглость богатого римлянина могла находить дешевое развлечение в нарушении и в удовлетворении закона Двенадцати Таблиц. Вератий бегал по улицам, нанося прохожим удары в лицо, а шедший вслед за ним с кошельком в руках слуга тотчас прекращал их жалобы, выдавая каждому законное вознаграждение в двадцать пять медных монет, то есть около одного шиллинга[178]. Преторы на основании справедливости рассматривали и взвешивали различные свойства каждой личной жалобы. Присуждая к уплате вознаграждения, судья позволял себе принимать в соображение разнообразные условия времени и места, возраста и общественного положения, которые могли увеличивать позор или физические страдания обиженного; но если бы он дозволил себе наложить денежный штраф или какое-нибудь примерное наказание, он вторгнулся бы в сферу уголовного законодательства, хотя и восполнил бы этим путем его недостатки.

О казни диктатора Альбы, который был разорван в куски

восемью лошадьми, Ливий говорит как о первом и последнем примере римского жестокосердия при наказании за самые ужасные преступления[179]. Но этот акт правосудия или мщения был совершен над иноземным врагом в пылу победы и по приказанию одного человека. Законы Двенадцати Таблиц представляют более ясное доказательство того, каков был дух нации, так как они были составлены самыми мудрыми членами сената и были одобрены свободным народным голосованием; однако эти законы, подобно постановлениям Дракона[180], написаны кровью[181]. Они утверждают бесчеловечный и несправедливый принцип возмездия и строго приказывают отнимать око за око, зуб за зуб и член тела за член тела, если виновный не купит помилования уплатой пени в триста фунтов меди. Децемвиры распределили с большой щедростью более легкие наказания бичеванием и отдачей в рабство, а следующие девять преступлений разнородного характера были признаны достойными смерти: 1. Всякий поступок, в котором обнаруживалась государственная *измена* или сношение с общественным врагом. Способ наказания был и мучителен, и позорен: на голову преступного римлянина накладывали покрывало, его руки связывали позади спины, и после того, как ликтор наказал его плетьми, его вешали посреди форума на кресте или на зловещем дереве. 2. Ночные сходки в городе, все равно, собирались ли они под предлогом удовольствия, религии или общественной пользы. 3. Убийство гражданина, за которое, по врожденным чувствам всех людей, требуется кровь убийцы. Отрава еще более отвратительна, чем убийство мечом или кинжалом, и мы с удивлением узнаем из двух гнусных преступлений, с каких древних времен этот вид утонченного злодейства заразил чистоту республиканских нравов и скромные добродетели римских матрон[182]. Отцеубийцу, нарушившего законы природы и признательности, бросали в мешке в реку или в море, а впоследствии было приказано класть с ним в мешок петуха, ехидну, собаку и обезьяну как самых приличных для него товарищей[183]. В Италии не водятся обезьяны, но этого не замечали до половины шестого столетия, когда впервые случилось отцеубийство[184]. 4. Преступление *поджигателя*. Его предварительно подвергали телесному наказанию, а потом сжигали, и только в этом единственном случае наш рассудок готов признать справедливость возмездия. 5. *Ложная клятва*

на суде. Свидетеля, дававшего показания под влиянием подкупа или личного недоброжелательства, сбрасывали с Тарпейской скалы в наказание за вероломство, которое могло быть тем более пагубно, что уголовные законы были очень суровы, а письменные доказательства еще не были в употреблении. 6. Подкупность судьи, принявшего взятку для того, чтобы постановить несправедливый приговор. 7. Пасквили и сатиры, иногда нарушавшие своими резкими выходками спокойствие необразованного городского населения. Автора таких произведений били дубиной, чего он был вполне достоин; но нам неизвестно положительно, били ли его до тех пор, пока он не умирал под ударами палача[185]. 8. Совершенное ночью повреждение или истребление зернового хлеба, принадлежащего соседу. Преступника вешали, полагая, что такая жертва будет приятна Церере. Но лесные божества были менее жестокосердны, и за уничтожение самого ценного дерева взыскивалось лишь умеренное вознаграждение в двадцать пять фунтов меди. 9. Волшебные чары, с помощью которых, по мнению латинских пастухов, можно было истощить физические силы врага, прекратить его жизнь и перенести на другое место посаженные им деревья, хотя бы эти деревья уже пустили глубокие корни. Мне остается упомянуть о жестокости, с которой законы Двенадцати Таблиц относились к несостоятельным должникам, и я позволю себе предпочесть буквальный смысл древних постановлений благовидным тонкостям новейшей критики[186]. После того как существование долга было удостоверено на суде доказательствами или собственным признанием, римлянину давали тридцатидневную отсрочку, а затем отдавали его в руки кредитора, который держал его в заключении, давал ему ежедневно по двенадцати унций рису и мог надеть на него цепи весом в пятнадцать фунтов; сверх того этого несчастного выводили три раза на рыночную площадь для того, чтобы он мог взывать к состраданию своих друзей и соотечественников. По прошествии шестидесяти дней долг уплачивался утратой или свободы, или жизни; несостоятельного должника или лишали жизни, или продавали в рабство к иноземцам по ту сторону Тибра; но если несколько кредиторов были одинаково упорны и безжалостны, закон предоставлял им право разделить его тело на части и удовлетворить свою мстительность этим отвратительным дележом. Защитники этого вар-

варского закона утверждали, что он удержит лентяев и мошенников от таких долгов, которых они не в состоянии уплатить; но опыт доказывает, что было бы неосновательно рассчитывать на такое полезное запугивание, так как ни один кредитор не захотел бы пользоваться таким правом, которое не доставляло ему никакой выгоды. По мере того как римские нравы стали смягчаться, уголовные законы децемвиров отменялись человеколюбием и обвинителей, и свидетелей, и судей, и в результате чрезмерной строгости оказалась безнаказанность. Законы Порциев и Валериев запретили судьям подвергать свободных граждан каким-либо уголовным или даже телесным наказаниям, и устаревшие кровожадные законы были из коварства, а может быть, и не без основания, приписаны не патрицианской, а царской тирании.

За неимением уголовных законов и при недостаточности гражданских исков спокойствие города и справедливость находили для себя не вполне удовлетворительную охрану в частной юрисдикции граждан. Преступники, которыми наполняются наши тюрьмы, принадлежат к отбросам общества, а преступления, за которые их наказывают, могут быть большей частью приписаны невежеству, бедности и животным влечениям. Совершивший такое преступление низкий плебей мог употреблять во зло священный характер члена республики и пользоваться безнаказанностью; но раба или чужеземца, уличенного или заподозренного в преступлении, распинали на кресте, а такое краткое и быстрое отправление правосудия можно было, ничем не стесняясь, применять к большинству римской черни. В каждом семействе находился домашний трибунал, который не ограничивался, подобно трибуналу претора, разбирательством одних внешних преступных деяний: добродетельные принципы и привычки внушались дисциплиной воспитания, и римский отец отвечал перед государством за нравы своих детей, так как безапелляционно распоряжался их жизнью, свободой и наследственным имуществом. В некоторых крайних случаях гражданину предоставлялось право отмщать за свои личные обиды или за обиды, причиненные всему обществу. Еврейские, афинские и римские законы единогласно дозволяли убивать ночного вора, хотя среди белого дня вора нельзя было убить, если не было налицо доказательств, что убийство совершено во избежание опасности. Кто находил прелюбодея на своем брачном

ложе, тот мог давать полную волю своей мстительности[187]; для самого жестокого оскорбления служил оправданием вызов[188], и только со времен Августа стали требовать от мужа, чтобы он принимал в соображение ранг оскорбителя, или от отца, чтобы он жертвовал своей дочерью вместе с ее преступным соблазнителем. После изгнания царей стали обрекать в жертву подземным богам всякого честолюбивого римлянина, осмелившегося усвоить их титул или подражать их тирании; каждый из его сограждан был вооружен мечом правосудия, и деяние Брута, как бы оно ни было противно признательности или благоразумию, было заранее одобрено во мнении его соотечественников[189]. Римляне не были знакомы ни с варварским обычаем носить при себе оружие среди всеобщего спокойствия[190], ни с кровожадными принципами чести, и в течение двух самых добродетельных веков республики — со времени введения равной для всех свободы и до окончания Пунических войн — спокойствие города ни разу не нарушалось мятежом и в нем редко случались зверские преступления. Несостоятельность уголовного законодательства стала чувствоваться сильнее, когда порочные наклонности воспламенились от внутренней борьбы политических партий и от внешнего могущества. Во времена Цицерона каждый гражданин пользовался привилегией анархии, каждый сановник республики мог соблазниться надеждой достигнуть царской власти, и их добродетели достойны самых горячих похвал, так как они были продуктом или природы, или философии. После того как тиран Сицилии Веррес предавался в течение трех лет разврату, хищничеству и разным жестокостям, от него потребовали судом возврата лишь трехсот тысяч фунтов стерлингов, и такова была мягкость законов, судей и, может быть, самого обвинителя[191], что, возвратив тринадцатую часть награбленных им богатств, он мог удалиться в ссылку, чтобы жить на воле и в роскоши[192].

Первая неполная попытка восстановить соразмерность между преступлениями и наказаниями была сделана диктатором Суллой, который среди своих кровавых триумфов стремился не столько к ограничению свободы римлян, сколько к обузданию их своеволия. Он хвастался тем, что по своему личному произволу подверг проскрипции четыре тысячи семьсот граждан[193]. Но в качестве законодателя он уважал предрассудки своего времени, и вместо того, чтобы постанов-

лять смертный приговор над вором или убийцей, над полководцем, погубившим свою армию, или над сановником, разорившим провинцию, Сулла ограничивался тем, что к денежным взысканиям присовокуплял ссылку или, выражаясь более конституционным языком, запрещение огня и воды. Сначала Корнелиев закон, а впоследствии законы Помпеев и Юлиев ввели новую систему уголовных законов[194], и императоры от Августа до Юстиниана стали прикрывать их усиливавшуюся строгость именами их первоначальных составителей. Но введение и частое применение *чрезвычайных наказаний* исходили из желания увеличить и скрыть успехи деспотизма. При осуждении знатных римлян Сенат всегда был готов, в исполнение желаний своего повелителя, смешивать судебную власть с законодательной. На наместниках лежала обязанность охранять внутреннее спокойствие провинции путем произвольного и сурового отправления правосудия; громадность империи уничтожила свободу столицы, и тот преступный испанец, который заявил притязание на привилегии римлянина, был распят по приказанию Гальбы на более красивом и более высоком кресте[195]. Рескрипты, исходившие по временам от верховной власти, разрешали те вопросы, которые по своей новости или важности, по-видимому, превышали власть и компетентность проконсулов. Ссылке и отсечению головы подвергали только самых почетных лиц, а менее знатных преступников или вешали, или жгли, или закапывали в рудниках, или отдавали в амфитеатр на съедение диким зверям. Тех, кто грабил с оружием в руках, преследовали и истребляли как врагов всего общества; увести чужих лошадей или чужой рогатый скот считалось уголовным преступлением[196]; но простое воровство считалось за простое гражданское правонарушение и за личную обиду. Степени виновности и способы наказания слишком часто устанавливались произволом правителей, и подданные оставались в неведении насчет того, какой опасности они подвергали себя, совершая то или другое деяние.

Прегрешения, пороки и преступления принадлежат к ведомству теологии, этики и юриспруденции. Когда эти науки сходятся во взглядах, они подкрепляют одна другую; но когда они расходятся, осмотрительный законодатель определяет степень виновности и наказание сообразно с причиненным обществу вредом. На основании этого принципа самое дерз-

кое покушение на жизнь и на собственность простого гражданина считается менее ужасным преступлением, чем государственная измена или восстание, которым оскорбляется величие республики: услужливые юристы единогласно решили, что республика олицетворяется в своем высшем сановнике и лезвие Юлиева закона точилось непрерывным усердием императоров. Можно допускать свободу в любовных связях на том основании, что эти связи возникают из врожденных влечений; можно стеснять ее на том основании, что она служит источником бесчинства и разврата; но неверность жены наносит вред репутации мужа, его карьере и его семейству. Мудрость Августа, ограничив свободу мщения, подвергала эти семейные преступления законным наказаниям, и оба виновника после уплаты тяжелых штрафов и пеней осуждались на продолжительную или вечную ссылку на два различных острова[197]. Религия одинаково осуждает и неверность мужа; но так как эта неверность не сопровождается такими же гражданскими последствиями, как неверность жены, то этой последней не дозволялось мстить за такие обиды[198], а различие между простым и двойным прелюбодеянием, которое так часто встречается в церковных постановлениях и играет в них такую важную роль, не было знакомо юриспруденции Кодекса и Пандектов. Есть еще более отвратительный порок, называть который не дозволяет приличие и о котором даже противно подумать; поэтому я коснусь его неохотно и по возможности вкратце. Древние римляне заразились примером этрусков[199] и греков[200]; в безумном упоении от счастья и могущества они считали всякое невинное наслаждение пошлым, и Скатиниев закон[201], издание которого было вызвано насилием, был мало-помалу устранен течением времени и огромным числом преступников. В силу этого закона изнасилование или, быть может, обольщение простодушного юноши вознаграждалось как личная обида, уплатой небольшой суммы в десять тысяч сестерций, или в восемьдесят фунт. ст.; целомудренному юноше дозволялось убить насилователя при сопротивлении или из мщения, и я готов верить тому, что в Риме и в Афинах тот, кто добровольно отказывался ради разврата от своего пола, лишался почетных отличий и прав гражданина[202]. Но общественное мнение не клеймило этот порок с той строгостью, какой он заслуживал: этот неизгладимый позор ставили на один уро-

вень с более извинительными пороками блуда и прелюбодея, и развратный любовник не подвергался тому же бесчестию, какому он подвергал своих сообщников мужского и женского пола. Начиная с Катулла и кончая Ювеналом[203] поэты то нападали на разврат своего времени, то воспевали его; рассудок и авторитет юристов делали лишь слабые попытки преобразовать нравы до тех пор, пока самый добродетельный из Цезарей не признал противоестественный порок преступлением против общества[204].

Вместе с религией Константина возник в империи и новый дух законодательства, достойный уважения даже в своих заблуждениях[205]. Законы Моисея были признаны за божественный образец справедливости, и их уголовные постановления были приспособлены христианскими монархами к различным степеням нравственной и религиозной испорченности. Прежде всего прелюбодеяние было признано уголовным преступлением; слабости лиц обоего пола были поставлены на один уровень с отравлением и убийством, с колдовством и отцеубийством; одни и те же наказания грозили и тому, кто был виновником мужеложества, и тому, кто был его жертвой, и всех преступников, все равно, были ли они по своему происхождению свободными людьми или рабами, стали или бросать в воду, или обезглавливать, или сжигать живьем. Прелюбодеев щадило общее сочувствие человеческого рода; но любителей своего собственного пола преследовало общее и благочестивое негодование; грязные нравы греков еще господствовали в азиатских городах, и порочные влечения разжигались вследствие безбрачия монахов и духовенства. Юстиниан ослабил наказание по меньшей мере женской неверности; провинившаяся супруга осуждалась только на уединение и покаяние, а по прошествии двух лет сжалившийся над ней супруг мог снова призвать ее в свои объятия. Но тот же самый император выказал себя непримиримым врагом противоестественного сладострастия, жестокость его постановлений едва ли может быть оправдана чистотою его мотивов[206]. Наперекор всем принципам справедливости он распространил действие своих эдиктов не только на будущие, но и на прошедшие преступления, назначив непродолжительную отсрочку, чтобы дать время для осознания своей вины и для испрошения помилования. Смертная казнь преступника была очень мучительна, так как у него отсекали тот член,

который был орудием преступления, или втыкали острые иглы в проходы, одаренные самой нежной чувствительностью, а Юстиниан защищал такое жестокое наказание тем, что если бы эти люди были уличены в святотатстве, то у них отсекли бы обе руки. Именно в таком позорном состоянии и в таких предсмертных страданиях влачили по улицам Константинополя двух епископов, Исаию Родосского и Александра Диосполийского, между тем как голос глашатая приглашал их собратьев воспользоваться этим страшным уроком и не осквернять святость своего звания. Быть может, эти духовные особы были невинны. К смертной казни и к публичному позору нередко присуждали на основании поверхностных и подозрительных свидетельских показаний ребенка или прислуги; судья предрешал виновность членов партии *зеленых*, богачей и врагов Феодоры, и мужеложество сделалось преступлением тех, кого нельзя было уличить ни в каком другом преступлении. Один французский философ[207)] осмелился заметить, что все, что тайно, должно считаться сомнительным и что нашим врожденным отвращением к пороку можно злоупотреблять, делая из него орудие тирании. Но снисходительное мнение того же писателя, что законодатель может полагаться на вкус и на здравый смысл человеческого рода, опровергается тем, что нам известно о древних нравах и об обширных размерах упомянутого зла[208)].

Свободные афинские и римские граждане пользовались той неоценимой привилегией, что во всех уголовных делах подлежали суду своих сограждан[209)]. 1. Отправление правосудия издревле считалось обязанностью монарха; римские цари исполняли ее, а Тарквиний употребил ее во зло; он самовольно постановлял свои приговоры, не справляясь с законами и не спрашивая ничьего мнения. Первые консулы унаследовали эту царскую прерогативу; но священное право апелляции отменило юрисдикцию судей, и верховный народный трибунал стал разрешать все тяжбы. Однако необузданная демократия, пренебрегающая формами правосудия, нередко пренебрегает и его существенными принципами: плебейская зависть подливала яду к гордости деспотизма, и афинские герои в иных случаях могли превозносить благополучие перса, судьба которого зависела от прихоти только *одного* тирана. Некоторые благотворные стеснения, наложенные народом на его собственные страсти, были в одно и то же

время и причиной и последствием степенности и сдержанности римлян. Право обвинения было предоставлено одним должностным лицам. Тридцать пять триб могли налагать денежный штраф путем подачи голосов; но в силу основного закона все уголовные преступления судили в собрании центурий, в котором всегда имели перевес личные влияния и богатство. Неоднократные прокламации и отсрочки были введены для того, чтобы предубеждения и личное недоброжелательство имели время охладеть; все судопроизводство могло быть уничтожено каким-нибудь предзнаменованием или оппозицией трибуна, и такие народные суды были не столько страшны для невинных, сколько благоприятны для виновных. Но при таком сочетании властей судебной и законодательной было трудно решить, был ли обвиняемый помилован или оправдан, а ораторы римские и афинские, защищая какого-нибудь знаменитого клиента, обращались со своими аргументами столько же к политике и к милосердию своего государя, сколько к его справедливости. 2. Обязанность созывать граждан для суда над преступником становилась более трудной по мере того, как возрастало число и граждан, и преступников, и пришлось прибегнуть к простому средству — к передаче народной юрисдикции обыкновенным судьям или экстраординарным *инквизиторам**. В древние времена разбирательства этого рода были редки и случайны. В начале седьмого столетия со времени основания Рима они сделались постоянными; на четырех преторов стали ежегодно возлагать обязанность решать важные дела об измене, вымогательствах, присвоении общественной собственности и взяточничестве, а Сулла увеличил число преторов и расширил сферу их ведомства теми преступлениями, которые более непосредственно грозят безопасности частных людей. Эти *инквизиторы* подготавливали и направляли судебное разбирательство; но они могли постановлять приговоры не иначе как по большинству голосов *судей*, которых иные сравнивали с английскими присяжными не без некоторого основания, но и не без большой натяжки[210]. Для исполнения этой важной, хотя и обременительной, обязанности претор ежегодно составлял список старинных и уважаемых граждан. После продолжительной борьбы между различными органами власти они выбирались

* В римском судопроизводстве — расследующий обстоятельства дела, собирающий улики или доказательства.

в равном числе из членов Сената, из всадников и из народа; для каждого разряда дела они назначались в числе четырехсот пятидесяти, а различные списки, или *декурии*, таких судей должны были заключать в себе имена нескольких тысяч римлян, олицетворявших судебную государственную власть. В каждом особом деле их имена вынимались в достаточном количестве из урны; а их беспристрастию была порукой принесенная ими клятва; способ, которым они подавали мнения, обеспечивал их самостоятельность; подозрение в пристрастии устранялось отводом по требованию обвинителя или защитника, а во время суда над Милоном отвод пятнадцати судей с каждой стороны уменьшил до пятидесяти одного число голосов или табличек, в которых высказывалось или оправдание обвиняемого, или его осуждение, или благоприятное для него недоумение[211]. В своей гражданской юрисдикции римский претор был настоящим судьей и почти законодателем; но после того, как он установил, какой закон должен быть применен к данному случаю, он нередко поручал делегату удостоверение факта. Суд центумвиров, в котором он председательствовал, приобретал более веса и известности по мере того, как увеличивалось число судебных разбирательств. Но все равно, действовал ли он по личному усмотрению или сообразно с мнениями своих советников, самые абсолютные права могли быть вверяемы такому должностному лицу, которое ежегодно избиралось народным голосованием. Правила и предосторожности, введенные при политической свободе, требовали от нас некоторых объяснений; но порядки, введенные деспотизмом, были не сложны и безжизненны. До вступления на престол Юстиниана или, может быть, до вступления на престол Диоклетиана декурии римских судей утратили свое прежнее значение и превратились в пустое название; почтительные мнения асессоров можно было принимать в соображение и можно было оставлять без внимания, и в каждом трибунале разбирательством гражданских и уголовных дел занималось одно должностное лицо, назначение и увольнение которого зависели от произвола императора.

Римлянин, обвиненный в каком бы то ни было уголовном преступлении, мог избежать законного наказания добровольным изгнанием или самоубийством. Пока его виновность не была законным образом доказана, предполагалось,

что он невинен, и он пользовался полной свободой; пока голоса последней центурии не были сочтены и пока результат голосования не был объявлен, он мог спокойно удалиться в один из союзных городов Италии, Греции или Азии[212]. Такая гражданская смерть оставляла неприкосновенными — по меньшей мере для его детей,— и его честное имя, и его состояние, и он еще мог пользоваться всеми умственными и чувственными наслаждениями, если его честолюбие и привычка к шумной римской жизни могли уживаться с однообразием и спокойствием, которые он находил на Родосе или в Афинах. Чтоб спастись от тирании Цезарей, требовалось более неустрашимости; но с такой неустрашимостью успели свыкнуться благодаря принципам стоиков, примеру самых храбрых римлян и легальному поощрению самоубийств. Трупы казненных преступников выставлялись на публичный позор, и — что было более существенным злом,— их дети ввергались в нищету вследствие конфискации их собственности. Но если жертв Тиберия и Нерона предупреждали постановление смертного приговора императором или сенатом, то их мужество и торопливое прекращение собственной жизни вознаграждались общим одобрением, приличными похоронными почестями и тем, что их завещания получали законную силу[213]. Утонченная жадность и жестокость Домициана, как кажется, отняли у несчастных это последнее утешение, и в нем отказало им даже милосердие Антонинов. Добровольная смерть, случившаяся во время уголовного процесса, в промежутке между обвинением и приговором, считалась за сознание виновности, и безжалостная государственная казна забирала все, что оставалось после умершего[214]. Однако юристы всегда уважали природное право гражданина располагать своей жизнью, а посмертный позор, который был придуман Тарквинием[215] с целью сдерживать отчаяние его подданных, никогда не вызывал подражания со стороны властвовавших после него тиранов. Действительно, над тем, кто решился умереть, бессильны все земные власти, и один только религиозный страх будущей жизни способен удержать его руку. Вергилий причислял самоубийц скорее к разряду несчастных, чем к разряду преступников[216], а поэтические вымыслы о блуждающих в аде тенях не могли иметь серьезного влияния на людские верования или обычаи. Но правила евангелия или церкви наконец наложили

узду благочестия на умы христиан и заставили их безропотно ожидать смерти от болезни или от руки палача.

Уголовные постановления занимают очень небольшое место в шестидесяти двух книгах Кодекса и Пандектов, и вся судебная процедура разрешает вопросы о жизни или смерти гражданина с меньшей осмотрительностью и с меньшими проволочками, чем самые обыденные вопросы о договорах или о наследовании. Хотя это странное различие и может быть иногда оправдываемо необходимостью как можно скорее предохранить общество от нарушения внутреннего спокойствия, но оно, в сущности, истекает из самого характера уголовного и гражданского законодательства. Наши обязанности по отношению к государству просты и однообразны; закон, осуждающий преступника, написан не только на меди или на мраморе, но также в его собственной совести, и его виновность обыкновенно доказывается удостоверением только одного факта. Но наши отношения одних к другим разнообразны до бесконечности: наши обязанности создаются, отменяются и видоизменяются оскорблениями, благодеяниями и обещаниями, а истолкование добровольно подписанных договоров и завещаний, нередко продиктованных обманом или невежеством, требует от прозорливости судьи продолжительного и тяжелого напряжения. Житейские заботы становятся более сложными от расширения торговли и владычества, а пребывание тяжущихся в отдаленных провинциях империи влечет за собой недоразумения, отсрочки и обращение к верховному судье с жалобами на местного судью. Царствовавший в Константинополе и на Востоке греческий император Юстиниан был законным преемником того родившегося в Лациуме пастуха, который поселил колонию на берегах Тибра. В течение тринадцати столетий законы как бы поневоле приспособлялись к переменам в управлении и в нравах, а похвальное желание согласовать старинные названия с новейшими учреждениями уничтожило гармонию и увеличило сложность неясной и неправильной системы управления. Законы, дозволяющие тому, кто им подчинен, не знать их содержания, тем самым сознают свою негодность; гражданская юриспруденция, в том виде, как она была сокращена Юстинианом, оставалась таинственной наукой и выгодным ремеслом, а трудность изучить ее удесятерялась вследствие того, что люди, занимавшиеся ее практическим применением,

старались сгущать покрывавший ее мрак. Расходы на ведение процесса иногда превышали ценность иска, и обиженные отказывались от своих самых бесспорных прав по бедности или из благоразумия. Такая дорогостоящая юстиция может ослабить наклонность к сутяжничеству, но ее неравномерное давление лишь усиливает влияние людей богатых и бедственное положение бедняков. Такое затянутое и дорогостоящее ведение судебных дел доставляет богатому тяжущемуся более верные выгоды, чем те, которых он мог бы ожидать от случайного подкупа судьи. Кому приходится испытать на самом себе это зло, от которого мы не вполне ограждены в нашем веке и в нашем отечестве, тот способен, в минуту благородного негодования, высказать опрометчивое желание, чтобы наше сложное судопроизводство было заменено безыскусственными и краткими декретами турецких *кади*. При более спокойном размышлении мы убеждаемся, что такие формальности и такая медлительность необходимы для ограждения личности и собственности гражданина, что произвол судьи есть главное орудие тирании и что законы свободного народа должны предусматривать и разъяснять всякий вопрос, который может возникнуть при пользовании нашими способностями и при усложнении нашей предприимчивости. Но управление Юстиниана соединяло в себе все, что есть дурного и в свободе, и в рабстве, и римляне страдали в одно и то же время и от многочисленности своих законов, и от произвола своего повелителя.

---

1) Юристы веков невежества ввели нелепую и сбивчивую манеру цитировать римские законы, которая упрочилась благодаря авторитету писателей и благодаря привычке. В своих ссылках на Кодекс, Пандекты и Институции они указывают номер не книги, а только закона и ограничиваются приведением первых слов того титула, к которому принадлежит этот закон; а титулов более тысячи, Ludwig (Vit. Justiniani.) высказывает желание, чтобы было сброшено это иго педантизма, а я позволил себе держаться простой и рациональной методы указывать номер и книги, и титула, и закона. (На эту главу обратили большое внимание германские юристы. В 1789 году профессор Hugo издал ее в переводе с оригинальными примечаниями, а в 1821 вышел другой ее перевод, сделанный профессором Warnkönig'ом. Гуго говорит, что гиббоновская манера делать цитаты очень неудобна для неспециалистов, но что для германских юристов, которые должны бы были знать на память, по меньшей мере, Пандекты и Институции, их манера делать ссылки самая лучшая.— Издат.

2) Германия, Богемия, Венгрия, Польша и Шотландия усвоили их как

обычное право или как законы здравого смысла; во Франции, в Италии и проч. они имеют прямое или косвенное влияние, а в Англии они пользовались уважением со времен Стефана до Эдуарда I, который был нашим национальным Юстинианом (Duck, de Usu et Auctoritate Juris Civilis, кн.2, гл.1. Heineccius, Hist. Juris Germanici, гл.3, 4, N 55-124); то же уважение питают к ним во всех странах те, которые изучают историю юриспруденции.

(Во Франции шел спор о том, было ли римское законодательство основано на положительных эдиктах или только на raison écrite.— Гуго.)

(Во времена Гиббона были лишь неполные сочинения о римском законодательстве. Сочинение Arthur'a Duck'a очень ничтожно. Этот предмет осветили своими интересными исследованиями. Sarti, Tiraboschi, Fantuzzi, Savioli и Savigny; им постоянно занимались после времен Юстиниана, но вся Европа познакомилась с ним благодаря неутомимому рвению глоссаторов.— Warnkönig.)

(Первые итальянские юристы, писавшие о римском законодательстве, были названы *глоссаторами*, истолкователями или переводчиками; это название происходит от названия Glossae, которое главный из них, по имени Bulgarus, дал своему сочинению De Jure Civili. Вместе с Jacobus Bononiensis'ом, носившим прозвище Старого Глоссатора, и с Ugolino à Porta он поддерживал в 1158 г. в Ронкальи притязания императора Фридриха Барбароссы на Италию в качестве его легального адвоката. Это придало и им самим, и их ученым трудам особую важность. Галлам говорит (Ист. средн. век. ч.III.), что в начале двенадцатого столетия Guarnarius открыл в Болонье школу гражданского права и что глоссаторы были его учениками. Но Галлам не счел нужным долго "останавливаться на всеми позабытых преподавателях такой науки, которая, вероятно, будет скоро также позабыта".— Издат.)

3) Ученый и искусный правовед шестнадцатого столетия Франц Готоман старался сделать неприятность юристу Cujas'y и угодить канцлеру Л'Опиталю. Его Anti-Tribonianus (которого я никак не мог добыть) был издан на французском языке в 1609 г., и его школа распространилась по Германии. (Heineccius, Opp. том III, silloge 3.)

4) Во главе этих руководителей я должен с уважением поставить ученого и прозорливого Гейнеция — германского профессора, умершего в Галле в 1741 году (см. похвальный о нем отзыв в Nouvelle Bibliothèque Germanique, том II.). Его обширные сочинения были собраны в восьми томах in 4-to. Женева, 1743-1748. Вот те отдаленные трактаты, которыми я всего чаще пользовался: I. Historia Juris Romani et Germanici, Lugd. Batav. 1740, in 8-vo. 2. Syntagma Antiqui atum Romanam Jurisprudentiam Illustrantium, 2 вол. in 8-vo Traject. ad Rhenum. 3. Elementa Juris Civilis secundum Ordinem Institutionum, Lugd. Bat. 1751, in 8-vo. 4. Elementa J. C. secundum Ordinem Pandectarum, Traject. 1772, in 8-vo, 2 вол.

(Гейнецций имеет то достоинство, что знакомит с произведениями французских и голландских юристов; а Bach очень хорош, когда он излагает господствовавшие заблуждения. — Hugo.)

(Так как сам Гиббон не был юристом, то он мог только руководствоваться мнениями тех писателей, которые пользовались в его пору

самым большим авторитетом. Гейнецций считался глубоким знатоком римского законодательства, но он знал об этом законодательстве только то, что мог извлечь из компиляции других писателей. Вот почему Гиббон вовлекся в заблуждения, которые мы в состоянии теперь исправить. Но только его перо могло бы придать этим более точным сведениям такие же блеск, силу и живость, с какими он изложил мнения Гейнецция и его современников.— Warnkönig.)

5) Подлинным текстом служит для нас отрывок de Origine Juris (Pandect. кн.1, тит.2) Помпония — римского юриста, жившего при Антонинах. (Heinecc. том III, syll. 3.) Трибониан сократил его и, вероятно, извратил, а Bynkershoek впоследствии восстановил его в первоначальном виде. (Opp. том1.)

6) Историю управления римских царей можно изучить по первой книге Ливия и еще более подробно по сочинениям Дионисия Галикарнасского (кн.2, стр.83-96, 119-130; кн.4, стр.198-220), в котором иногда виден ритор и грек.

(Касательно этого предмета следует справиться с сочинениями Beaufort'a, Нибура и Wachsmuth'a.— Warnkönig.)

(Бофорова Dissertation sur le Ancertitude des cinq premiers siecles de l'Histoire Romaine вышла в 1738 г., а его Republique Romaine, которая вначале ценилась очень высоко, в 1766 г. Гиббон ссылается на эти оба сочинения. Нибур (Лекции 1, стр.3 и 72) находит, что это сочинение Бофора послужило "основой для всего, что впоследствии писалось по этому предмету".— Издат.)

7) Это разделение римского законодательства на три отдела было применено к римским царям Юстом Липсием (Op. том IV.), было принято Гравиной (Origines Juris Civilis, стр.28, изд.Лейпц. 1737) и неохотно допущено его германским издателем Маску. (Jus Gentium относилось к римским gentes, которые были составлены частями римского народа. См. Лекции Нибура, 1, стр.156-161. Но Гуго делает возражения против такой классификации римского законодательства и говорит, что к ней едва ли можно относиться серьезно.— Издат.)

8) Самый древний Кодекс, или Дигест, назывался Jus Papirianum, по имени первого компилятора Папирия, славившегося или незадолго до изгнания царей, или вскоре после того. (Pandect. кн.1, тит.2). Лучшие критики, даже Bynkershoek (том1, стр.284, 285) и Heineccius (Hist J.C.R., кн.1, гл.16, 17 и Op. том VIII, sylloge 4, стр.1-8) верят этому вымыслу Помпония, не обращая достаточного внимания на то, как ценен и редок такой памятник третьего столетия необразованного города. Я сильно подозреваю, что Pontifex Maximus Гай Папирий, восстановивший законы Нумы (Дионис. Галик. кн.3, стр.171), оставил только словесное предание и что Jus Papirianum Грания Флакка (Pandect. кн 50, тит.16, зак.144) было не комментарием, а оригинальным произведением, составленным во времена Цезаря. (Censorin. de Die Natali, кн.3, стр. 13. Duker, de Latinitate J. C. стр.157). (Неважные отрывки, дошедшие до нас от Jus Papirianum и от написанных на него комментарий, не могут быть серьезным сюжетом споров. В этих последних — согласно вышеуказанной ссылки на Ценсорина — речь шла главным образом De Indigitamentis. Варрон — как это видно из ссылки, которую делает на него Сервий в

своем примечании к Вергилию (Georg.1, 21),— говорит, что это были Libri Pontificales, в которых излагались формы, соблюдавшиеся при жертвоприношениях и при взывании к богам. — Издат.).
9) Самонадеянная, но слабая попытка восстановить подлинник, сделана в Histoire de la Jurisprudence Romaine de Terasson, стр.22-72. Paris, 1750, in folio; это сочинение обещает более того, что оно дает на самом деле.
10) В 1444 году семь или восемь медных таблиц были выкопаны между Кортоной и Губио. Часть этих таблиц (так как на остальных были этрусские надписи) представляет в их первобытном состоянии буквы и язык пелазгов, приписываемые Геродотом этой итальянской местности (кн.1, гл.56-58), хотя это трудное место у Геродота можно объяснить, отнеся его к фракийской Крестоне. (Notes de Larcher, том1, стр.256-261). Варварский язык Эвгубийских таблиц упражнял догадливость критиков, но до сих пор не объяснен; однако его корень, без сомнения, латинский, относящийся к тому же веку и имеющий такой же характер, как Saliare Carmen, которого никто не мог понять во времена Горация. Римский идиом, вследствие примеси идиомов дорического и греческого эолийского, мало-помалу созрел в язык Двенадцати таблиц, Дуэллиевой колонны, Энния, Теренция и Цицерона. (Gruter, Inscript., том1, стр.142. Scipion Maffei, Istoria Diplomatica, стр.241-258. Bibliothèque Italique, том III, стр.30-41, 174-205; том XIV, стр.1-52). (Эвгубий, или Игувий, был древний город Умбрии, покоренный Римом, A.U.C. 434 или 320 B.C.; на его месте стоит теперь Губбио. Он называется Ikovina и Iovina на знаменитых таблицах, которые были найдены в подземном своде крестьянином соседней деревни La Schioggia. Они сделаны из чистой меди и имеют различные размеры, от 1 1/2 до 2 3/4 футов в вышину и от 1 до 1 3/4 в ширину. Надписи вырезаны очень ясно и разборчиво. Содержание их долго оставалось тайной для самых ученых людей. Но в последние двадцать лет германское трудолюбие и искусство сумело объяснить их смысл.
Произведение О.Миллера Die Etrusker проложило в 1828 г. путь к правильному их пониманию. Вслед за ним Dr. R. Lepsius издал в 1833 г. в Берлине свой трактат De Tabulis Eugubinis. В том же году вышло в Бонне сочинение профессора Лассера Beiträge zur Deutung der Eugubinischen Tafeln. Вслед за тем вышло сочинение G.F.Grotefend'a Rudimenta Linguae Umbricae ex Inscriptionibus Antiquis enodata. Ганов. 1835-1839, в восьми частях.
Через два года после того Dr. Lepsius издал в Лейпциге другое сочинение под заглавием Inscriptiones Umbricae et Oscae, quotquot adhuc repertae sunt omnes. Этот последний писатель осмотрел и списал эти памятники древности во время своего пребывания в Италии и доставил профессорам Ersch'y и Gruber'y статьи по этому предмету, которые были помещены в их сочинения (Allgem. Encyc. Part. 39, стр.49). Это сочинение представляет самое позднее по времени и самое достоверное объяснение того, что, по мнению Гиббона, было достойно особого внимания. Содержание этих надписей едва ли вознаградило труд, который был потрачен на то, чтобы их разобрать. Это было не что иное, как список жертвоприношений, совершенных в честь различных богов, и изложение формы молитв, которые про-

износились в этих случаях и видоизменялись сообразно с разграничением ведомства двух жреческих коллегий. Тем не менее они дают понятие о том, каким путем "варварский диалект" совершенствовался и превращался в изящный и благородный язык. Первые четыре надписи были, как полагают, вырезаны около 400 В.С. или почти столетие до римского завоевания. Они написаны на диалекте древних умбров или осков, который имеет некоторое сходство с латинским, но в нем буквы пелазгические, происходящие от этрусских. Шестая и седьмая надписи были вырезаны лет около двухсот позднее и имеют гораздо более сходства с латинским языком, буква r вообще заменяет букву s, а oe заменяет ai; буквы также римские. Пятая надпись обнаруживает более несовершенное переходное состояние языка между этими двумя периодами. Нибур (Лекции, 1, 105) считает латинский язык за сочетание языка осков с сицилийско-пелазгическим. Первый из них, быть может, имеет такую же связь с кельтским, какую последний имеет с греческим, и каждый из них имеет свои провинциальные видоизменения, которые — по мере того, как возрастало влияние Рима,— стекались в этот общий центр. В этом исследовании Эвгубийские Таблицы служат ценным пособием.— Издат.)

11) Сравн. Ливия (кн.3, гл.31-59) с Дионисием Галикарнасским (кн.10, стр.644; XI, 691). Как краток и полон жизни римлянин — как многословен и безжизнен грек! Тем не менее этот последний сделал превосходную оценку знатоков исторической композиции и установил ее правила. (Со времен Гиббона Дионисий возвысился во мнении самых опытных судей и к нему стали чаще обращаться за справками. Мастерская параллель между ним и Ливием, которую провел Нибур в своих Лекциях (1, стр.38-40), достойна внимания, в особенности в том, что касается Дионисия.— Издат.)

12) Согласно с тем, что говорят историки, Гейнеций (Hist. J. C. R. кн.1, N 26) держится мнения, что Двенадцать таблиц были сделаны из меди aeneas; в тексте Помпония стоит слово eboreas, которое Скалигер заменил словом roboreas (Bynkershoek, стр.286). Они могли быть сделаны сначала из дерева, потом из меди и наконец из слоновой кости.

(Гораздо более важное значение имеет вопрос, были ли законы Двенадцати таблиц заимствованы от Греции. Мнение Гиббона, что они не были заимствованы оттуда, разделяется теперь всеми, и в особенности Нибуром и Гуго. См. мои Institutiones Juris Romani privati, стр.311.— Warnkönig.)

(Нибур в своих Лекциях (1, 295) несколько изменил свое прежнее убеждение. "Я отказываюсь,— говорит он,— от мнения, высказанного в первом издании моей Римской Истории"; затем он присовокупляет, что хотя римские законы и не были заимствованы из Аттики, однако существует вероятие, что из Рима посылали уполномоченных в Афины для собирания сведений.— Издат.)

13) О его изгнании упоминает Цицерон (Tusculan. Quaestion. 5, 36), а о его статуе Плиний (Hist. Nat., 34, 11). И письмо, и сновидение, и предсказание Гераклита одинаково подложны (Epistolae Graec. Divers. стр.337).

(См. Mémoires de l'Acad. des Inscript., том XXII. Нельзя отвергать

тот факт, что какой-то Гермодор принимал участие в составлении законов Двенадцати Таблиц. Помпоний говорит, что он был автором двух последних из этих законов, а Плиний называет его толкователем, состоявшим при децемвирах, из чего можно заключить, что он помогал им в их занятиях. Gratama (Annal. Acad. Gott. 1817-1818) слишком смело приписал ему составление всех этих законов. Положение римских патрициев было в ту пору таково, что они не дозволили бы чужеземному изгнаннику диктовать для них законы.— Warnkönig.).

(Не лишним будет привести окончательное мнение Нибура об этом предмете, выраженное в его Лекциях (1. 297). Он приходит к тому заключению, что Гермодор во время своих странствований случайно прибыл в Рим именно в то время, когда жители были серьезно озабочены реформой своего законодательства; что к нему обращались за советом и он рекомендовал собрать сведения о греческих кодексах; что с этой целью римляне отправили не формальное посольство, а простых поверенных; что эти последние привезли с собой копии с различных законодательств, написанные на греческом языке, а Гермодор перевел их, и потому данное ему Плинием название Interpres следует понимать не в переносном, а в буквальном смысле; что он оказался очень ценным и полезным советником, и общественная признательность выразилась в сооружении ему памятника; но что римляне, вместо того чтобы составлять свои законы по образцу добытых документов, приспособили их к своим собственным обычаям.— Издат.).

14) Запутанный вопрос о сицилийских и римских монетах талантливо рассмотрен доктором Bentley (Dissertation on the Epistles of Phalaris, стр.427-479); этот писатель выказал в этом споре все свои дарования, так как его побуждали к тому и честь, и желание мщения.

15) Римляне или их союзники доплывали до Красивого мыса в Африке. (Полиб. кн.3, стр.177, edit. Casaubon. in folio). Об их поездках в Кумы и пр. упоминают Ливий и Дионисий. (В то время, когда писал Полибий, африканский мыс, находящийся напротив юго-восточного, или Лилибейского, мыса Сицилии, назывался Красивым. Латины впоследствии назвали его Mercurii Promontorium (Cellarius, 2, 887), а теперь его называют мысом Бон. Обстоятельства, при которых упоминает о нем Полибий, не соответствуют тому, как относились римляне к мореплаванию. В первые годы существования Римской республики с карфагенянами был заключен мирный договор, в силу которого никакой принадлежавший римлянам или их союзникам корабль не смел плыть далее этого пункта, если только его не принуждали к тому свирепость ветра или преследование неприятеля; а перейдя за эту черту, корабль не имел права оставаться там долее пяти дней. На это унизительное условие карфагеняне заставили согласиться римлян с целью скрыть от глаз европейцев плодородие Бизакия и окрестной страны, которая, как рассказывали, вознаграждала труд земледельца урожаем сам-сто. (Sil. Ital. 9, 204.— Издат.)

16) Одного этого факта достаточно, чтобы доказать древность Харонда, который был законодателем Регия и Катаны и которого (по странной ошибке) Диодор Сицилийский (том1, кн.12) прославляет гораздо позднее как автора политических учреждений Фурия.

17) Залевку, существование которого некоторые писатели опрометчиво отвергали, принадлежит та заслуга и та честь, что из шайки разбойников (локрян) он организовал самую добродетельную и самую благоустроенную из греческих республик. См. два мемуара барона St. Croix, sur la Lègislationde la Grande Grè ce; Mém. de l'Académie, том XLII, стр.276-333). Но законы Залевка и Харонда, внушавшие такое уважение Диодору и Стобеусу, были подделаны одним пифагорским софистом, подлог которого Bentley обнаружил благодаря прозорливости своей критики (см.335-377).

18) Я пользуюсь этим случаем, чтобы указать, как мало-помалу установились отношения между римлянами и греками. 1. Геродоту и Фукидиту (A. U. C. 300-350), по-видимому, вовсе не были знакомы ни имя, ни существование Рима (Joseph, contra Apion, том II, кн.1, стр.444, изд. Haver camp). 2. Феопомп (A.U.C. 400, Плин.3. 9.) упоминает о нашествии галлов, о котором говорит в менее ясных выражениях Гераклит Понтийский (Плутарх In Camillo, стр.292, изд. H.Stephan.) 3. О действительном или вымышленном отправлении римского посольства к Александру (A.U.C. 430) свидетельствуют: Клитарх (Плин. 3. 9.), Арист и Асклепиад (Арриан, кн.7, стр.294, 295) и Мемнон Гераклейский (apud Photium, cod. 224, стр.725), хотя молчание Ливия об этом факте может быть принято за его опровержение. 4. Theophrastus (A.U.C. 440) primus externo rum aliqua de Romanis diligentius scripsit (Плин. 3. 9.) 5. Ликофрон (A.U.C. 480-500) первый стал распространять мысль о троянской колонии и о басне, рассказанной в Энеиде; (Cassandra, 1226-1280).

Это было смелое предсказание перед окончанием первой Пунической войны. Первые сношения между Римом и греками проследил Нибур (Лекции 1. 458); он (стр.469) сильно настаивает на том, что к Александру Македонскому было отправлено римское посольство. Клитарх,— говорит он,— через посредничество которого дошло к нам это известие, был изящный писатель, писавший тотчас после совершившегося события. Неясный и таинственный характер Ликофроновой Александры возбудил неосновательные сомнения касательно цитированного Гиббоном места и "смелого предсказания", вложенного в уста Кассандры. Этот поэт писал в царствование Птолемея Филадельфа, умершего в 246 В.С. Римляне были в эту пору хорошо известны на Востоке, так как они заключили в 273 В.С. союз с этим монархом. Пирр после своего поражения при Таренте (274 В.С.) распространил среди греков слух об их храбрости. Вскоре после этого события они овладели почти всей Италией и образовали "самое могущественное и крепко сплоченное государство во всем известном в ту пору мире". (Ниб. Лекц. 1, 571.)

Морская победа Дуэллия была одержана в 259 В.С., а через два года после того, вслед за победой, одержанной Манлием и Регулом, победители высадились в Африке. При таком быстро усиливавшемся могуществе Рима не было ничего необычайного в предсказании, которое Гиббон находит "смелым" и которое, по мнению ученых-критиков, было написано в более поздние времена каким-нибудь другим поэтом. По словам Клинтона (F.H.III, 13), Ликофрон славился от 280 В.С. до 250 В.С.— Издат.).

19) Содержание десятой таблицы, de modo sepulturae, было заимст-

вовано от Солона (Cicero de Legibus, 2, 23-26), a furtum per lancem et licium conceptum было заимствовано, по мнению Гейнеция, из афинских нравов (Antiquitat. Rom.том II, стр.167-175.) Право убивать ночного вора было признано и Моисеем, и Солоном, и децемвирами (Исход, XXII, 3). Демосфен contra Timocratem, том1, стр.736, изд Reiske. Macrob. Saturnalia, кн.1, гл.4. Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum, тит.7, N 1, стр. 218, изд. Cannegieter. (Разве первые фразы государственного устройства не отличаются у всех народов сходством их законов? — Warnkŏnig.)

20) Таков похвальный отзыв Диодора (том1, кн.12), который можно хорошо перевести словами Авла Геллия: eleganti atque absoluta brevitate verborum (Noct. Attic. 21,1)

21) Послушайте, что говорит Цицерон (de Legibus, 2, 23) и что он вкладывает в уста Красса (de Oratore,1, 43, 44).(Для тех, кто будет с вниманием читать эту главу, послужит пособием изложение титулов этих законов в том виде, как их изложил Jacob Gothofredus в своем сборнике их отрывков:

Таблица	Законы	Главы
I. De in Jus vocando	3	10
II. De Judiciis et Furtis	4	10
III. De Rebus Creditis	4	9
IV. De Jure Patrio et Jure Connubii	2	4
V. De Haereditatibus et Tutelis	3	6
VI. De Jure Dominii et Possessionis	7	8
VII. De Delictis	6	16
VIII. De Juribus Praediorum	7	11
IX. De Jure Publico	7	7
X. De Jure Sacro. De Jurejurando. De Sepulchris		12
XI. Supplementum 5 Priorum	3	3
XII. Idem 5 Posteriorum	4	4

— Издат.)

22) Heineccius (Hist. J.R. N 29-33.) Я придерживался содержания Двенадцати таблиц в том виде, как его восстановили Gravina (Origines J.C. стр.280-307) и Terasson (Hist. de la Jurisprudence Romaine, стр.94-205.)

23) Finis aequi juris (Тацит, Летоп. 3, 27.) Fons omnis publici et privati (Т.Лив. 3, 34).(Комментаторы различно объясняли эти три слова Тацита, хотя смысл их будет вполне ясен, если поставить их в связь с содержанием его предыдущей главы. Смысл их тот, что эти таблицы, охранявшие свободу и вводившие внутреннюю гармонию тем, что сдерживали козни патрициев, достигали "цели справедливого законодательства". Гораций объясняет нам, что разумеется под словами aequa lege. (Carm.3. 1.)-Издат.)

24) De principiis juris, et quibus modis ad hanc multitudinem infinitam ac varietatem legum perventum sit altius disseram. (Тацит, Летоп. 3.)

25) Это глубокомысленное исследование занимает только две страницы, но эти страницы написаны пером Тацита. В том же смысле, но не с такой же энергией выражался Ливий (3,34): in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, etc.

25) Светоний in Vespasiano, гл.8.

26) Cicero ad Familiares, 8, 8.

27) Дионисий вместе с Arbuthnot и большинством новейших писате-

лей (за исключением Eisenschmidt'a de Ponderibus, etc. стр.137-140) оценивают сто тысяч ассов в десять аттических драхм или с небольшим в триста фунтов стерлингов. Но их расчет мог бы относиться только к позднейшему времени, когда асс уменьшился до одной двадцать четвертой части своего прежнего веса; и не могу я поверить, чтобы в первые времена республики, несмотря на чрезвычайную редкость драгоценных металлов, одна унция серебра могла стоить семьдесят фунтов бронзы или меди. Более просто и более рационально оценить самую медь по ее теперешней стоимости; а если мы сравним номинальную цену монеты с ее рыночной ценой, римский фунт с avoirdupois, то мы найдем, что первоначальный асс или римский фунт меди может быть оценен в один английский шиллинг и что сто тысяч ассов первого класса стоили пять тысяч фунтов стерлингов. Из того же расчета явствует, что бык продавался в Риме за 5 фун. стер., овца за 10 шил., а четверть пшеницы за 1 фун. 10 шиллинг. (Festus, стр.330, изд.Dacier; Плин. Hist. Natur. 18,4); я не нахожу никакого основания отвергать эти выводы, хотя они и умеряют наши понятия о бедности первых римлян.

28) Справ. с писателями, говорившими о римских комициях, в особенности с Сигонием и Бофором. Шпангейм (de Praestantia et Usu Numismatum, том II, диссерт. 10, стр.192, 193) указывает на одной драгоценной медали и Cista, и Pontes, и Septa, и Diribitor, и пр. (Septa были отделения или огороженные места на форуме; каждая триба собиралась в таком месте, которое тоже называлось ovilia, или овечьим загоном. (Lucan. Phars. 2, 197). Они отделялись одно от другого сначала простыми веревками, потом деревянными перегородками и наконец мраморными стенами. После того как была введена тайная подача голосов, из каждого septum шли по высокой узкой доске, называвшейся pons, мостиком, к cista — к урне или ящику, в который опускались записки. При входе в этот проход стоял diribitor, или поверщик, который вызывал каждого по очереди и давал ему tabellae, или билетики, из которых один опускался в cista и служил выражением воли подающего голос. Эти pontes были бы бесполезны и едва ли существовали в то время, когда голоса подавались viva voce.— Издат.).

29) Цицерон (de Legibus, 3, 16-18) обсуждает этот конституционный вопрос и приписывает своему брату Квинту самую непопулярную роль.

30) Prae tumultu recusantium perferre non potuit. (Светон. in August. гл.34) См. Проперция, кн.2, элег.6. Гейнецций в особом историческом сочинении исчерпал все, что касалось законов Julia и Papia Popproea. (Op. том VII, часть 1, стр.1-479).

31) Тацит, Летоп. 1. 15. Lipsius, Excursus E. in Tacitum.

(Во времена Тиберия несколько законов были утверждены народом. Comitia, право которых он передал Сенату, были ежегодные народные собрания для назначения должностных лиц.— Hugo).

(В этом случае Гиббон ошибается. И в царствование Тиберия, и в царствование Клавдия были законы, которые утверждались народом. Доказательством того служит Lex Julia Norbana, Lex Villeia и Lex Claudia de tutela feminarum. Comitia были мало-помалу упраздне-

ны вместе с другими республиканскими учреждениями.— Warnkönig)

(Сжатые выражения Гиббона не точны только по внешней форме, но в сущности верны. Ему можно ставить в вину только то, что он упреждает несколькими годами факт, уже приближавшийся к тому, чтобы окончательно совершиться. Почти то же самое и почти в тех же выражениях было сказано ранее (в главе III) и не было принято профессором Венком за ошибку. В своем примечании Венк только говорит, что ***формы*** комиций сохранялись, но не приписывает им никакого влияния. Они собирались для разных целей даже во времена М.Антонина; Авл Геллий (5.19) описывает arrogatio, или усыновление наследника, как такой акт, который совершался в ту пору на публичных народных сходках: per populi rogationem fit. Это подтверждается двумя местами в лекциях Нибура (3, стр.118, 119 и 169). В последнем Нибур говорит: "Вскоре после вступления Тиберия на престол произошла важная перемена. Народные выборы были уничтожены, и право выбора было передано Сенату. Впрочем, эта перемена была такой пустой формальностью и фарсом, что Тацит едва упоминает о ней в нескольких словах".— Издат.).

32) Non ambigitur senatum jus facere posse — таково решение Ульпиана (кн.16, ad Edict. in Pandect. кн.1, тит.3, зак.9). Помпоний называет народные комиции turba hominum (Pandect кн.1, тит.2, зак.9).

(Во времена республики и Сенат утверждал законы точно так же, как их издавал народ в своих комициях. См. Bach, Hist. Jurispr. Rom. кн.2, гл.2, отд.2.— Hugo).

(Из слов Гиббона можно бы было заключить, что до времен империи сенат никогда не принимал никакого участия в издании законов. Но до нас дошли Senatus-consulta касательно сферы гражданского права. Они были более часты во времена империи, потому что сенаторам было в ту пору предоставлено право обсуждать такие дела, которые не касались исполнительной власти императоров.— Warnkönig).

(По мнению Нибура (Лекции, 1, 271), законодательная власть сенаторов во времена республики имела характер veto, которым, однако, они опасались пользоваться. "Когда трибы постановляли какое-либо решение, оно могло быть отвергнуто патрициями, подобно тому как в Великобритании Верхняя палата или король может отказать в своем согласии на закон, принятый Палатой общин. Однако, когда народ горячо и твердо решился провести какой-либо закон, сопротивляться ему было бы опасно, если не совсем невозможно. Сенаторы всегда старались избегать такой крайности тем, что останавливали неприятный им закон при самом его зарождении". — Издат.).

33) Jus honorarium преторов и других должностных лиц с точностью определено в латинском тексте Институций (кн.1, тит.2, N 7) и менее удовлетворительно объяснено в греческом истолковании Феофила (стр.33-38, изд.Reitz), опустившего важное слово honorarium.

(В настоящем случае Гиббон руководствовался Гейнеццием, державшимся мнения своего наставника Томазия, что должностные лица, на которых возложены судебные обязанности, не должны иметь никакой законодательной власти. Это и побудило его осуждать эдикты преторов (см. его Hist. Juri. Rom.,стр.69). Но Гейнецций составил се-

бе совершенно неверное понятие об этом важном учреждении, которому римляне были много обязаны превосходствами своей юриспруденции. Мнение Гейнеццция опровергали профессор Виттенбергский Риттер, ученый Бах и Гуго. Эти писатели доказали, что этим путем законодательные постановления приводились в гармонию с духом времени. В голосе претора слышался настоящий голос общественного мнения. Когда он приготовлял свой годичный закон, он обращался за помощью ко всем опытным римским правоведам. Это было не самовольно присвоенное право; при своем вступлении в должность он был обязан изложить в прокламации те принципы, которыми он будет руководствоваться в своих решениях, для того чтобы предотвратить всякое подозрение в пристрастии. Если он издавал какой-нибудь пристрастный эдикт, его могли подвергнуть обвинению с трибуны. Эти эдикты пользовались таким всеобщим уважением, что они редко отменялись каким-либо народным решением. Всякий раз, как публичный устав оказывался недостаточным, или непримиримым к народным обычаям, или несогласным с духом более просвещенного времени, претор старался, не нарушая буквы закона, разрешить данное затруднение при помощи какой-нибудь ведущей к цели фикции. Эти эдикты обнимают всю систему римского законодательства; они, по самому существу своему, отличались разнообразием, и потому объяснением их занимались самые знаменитые юристы. Их обширный сборник и послужил фундаментом для Юстиниановых Дигест. Такова точка зрения Schrafer'a на это способ издания законов; а для того, чтобы незрело обдуманные декреты не сделались постоянным источником вреда, он советует нам подражать этому примеру насколько он совместим с нашими обычаями и насколько он может быть согласован с нашими политическими учреждениями. В Institutiones Literariae Haubold'a названы сочинения, в которых можно найти самые достоверные сведения о способе составления и о форме этих эдиктов.— Warnkönig).

(Мнения наших английских судей и декреты наших Chancery courts, по-видимому, имеют некоторое сходство с эдиктами преторов. В их лице мы видим то соединение в одних руках судебной власти с законодательной, которое некоторые находят опасным и которое проходит через всю систему нашего государственного устройства.— Издат.)

34) Дион Кассий (том1, кн.36) относит Вечные эдикты к 686 году от основания Рима. Но в Acta Diurna, которые были изданы по бумагам Ludovicus'a Vives'a, их введение относится к 585 году. Подлинность этих актов признают или допускают Pighius (Annal.Roman. том II), Graevius (ad Sueton. стр.778), Dodwell (Praelection. Camden. стр.665) и Heineccius; но только одно выражение Scutum Cimbricum обнаруживает их подложность. (Moyle's Works, ч.1, стр.303)

35) Гейнеццций (Opp. том VII, часть 2) мастерски изложил историю эдиктов и восстановил текст Вечного эдикта, и я могу с полным доверием полагаться на его исследования. В сборнике Академии Надписей Bouchaud поместил ряд мемуаров касательно этого предмета, столь интересного и в юридическом, и в литературном отношениях.

(Это восстановление текста есть недоконченный труд Гейнеццция, найденный в его бумагах и изданный после его смерти. Гиббон сос-

тавил себе слишком высокое понятие и о нем, и о Вечном эдикте. Замысел Цезаря был гораздо более широк.— Hugo). (И в этом случае Гиббон вместе с большинством писателей был вовлечен Гейнецием в неправильное понимание того, что называют ***Вечным эдиктом*** Адриана. В силу Корнелиева закона все эдикты были признаны вечными в том смысле, что издававшие их преторы не могли изменять их, пока состояли в должности. Они были собраны, по приказанию Адриана, юристом Юлианом или при его содействии, подобно тому, как это было сделано ранее того Офилием. Но нет никаких удовлетворительных доказательств в подкрепление общего мнения, будто Адриан объявил их вечно неизменными. Ни Институции Гая, ни какие-либо другие законодательные труды не указывают на такую перемену, на которую они непременно обратили бы внимание, если бы она действительно произошла. В своих дальнейших комментариях юристы, как кажется, всегда придерживались текста своих предшественников. Труды стольких ученых усовершенствовали Эдикт в такой мере, что дальнейшие усовершенствования едва ли были возможны. См. ученую диссертацию Biener'a De Salvii Juliani meritis, in Edict. Praet. aestimandis, 4-to, Лейпциг, 1809.— Warnkönig.)

(Нибур иначе взглянул на этот вопрос. (См.Лекции, III, 78 и 231). Он говорит: "К числу замечательных событий Адрианова царствования принадлежит то, что система римской юриспруденции в своей позднейшей форме была утверждена на новом основании. Это совершилось вследствие издания edictum perpetuum и развития законодательства путем императорских эдиктов; этим обозначается начало новой эпохи в римском законодательстве". Однако слово perpetuum, конечно, не значит, "вечно неизменный", как понимал Warnkönig. Это значило ***постоянный или прочный***, в противоположность тому отсутствию однообразия, которое — как с этим соглашается и Warnkönig — вызывало столько комментариев и споров между юристами различных школ.— Издат.)

36) Его законы стоят первыми в Кодексе. См. Dodwell (Praelect. Camden. стр.319-340), который, отклоняясь от своего сюжета, неясно толкует текст и впадает в слабые парадоксы.

(Придерживаясь того же руководителя, и Гиббон, и многие другие еще раз были вовлечены в этом случае в заблуждение. Их ошибка заключается в том, что неважный Адрианов Эдикт, помещенный в Юстиниановом Кодексе (кн. VI. тит.23, гл,11), они приняли за первое constitutio principis и не обратили внимания на Пандекты, в которых могли бы найти немало конституций, введенных императорами, начиная с Юлия Цезаря. Гуго заметил (Hist. Juris. Rom. том II, стр.24-27), что одобренные сенатором Acta Суллы были равносильны с конституциями тех, кто после него захватывал в свои руки абсолютную власть.— Warnkönig.)

("Сулла был первый,поставивший административное и уголовное законодательство в сколько-нибудь сносное положение". (Нибур, Лекции. II, 388). Это были те самые Acta, о которых упомянуто выше.— Издат.)

37) Totam illam veterem et squallentem sylvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securibus truncatis et caeditis. (Apologet. гл.4, стр.50, изд. Havercamp.) Вслед за тем он хвалит непоколеби-

мость Севера, отменившего бесполезные или вредные законы, несмотря на их древность или авторитет, которым они пользовались.
38) Конституционное выражение legibus solutus неверно объяснил Дион Кассий или с коварным намерением, или по невежеству (том 1, кн. LIII). По этому вопросу издатель его сочинений Реймар присоединяется к порицанию, которому подвергли этого раболепного историка свобода и критика.
39) Gravina (Opp. стр.501-512) и Republique Romaine, том 1). Этот последний искусно воспользовался двумя диссертациями John Frederic Gronovis'a и Noodt'a, которые Барбейракл перевел и снабдил ценными примечаниями, 2 вол. in 12-mo, 1731.
40) Слово (lex regia) было еще более ново, чем то, что оно обозначало. Рабы Коммода и Каракаллы содрогнулись бы при слове "царский". (За сто лет перед тем и у Марциала, и в публичных документах Домициана называли Dominus et deus noster. Sueton. Domit. гл.13.— Hugo).
(Но оскорбительный для римлян титул царя никогда не употреблялся. И в более раннюю пору Гораций называл Августа первым из всех земных монархов (Carm. 4, 14) и говорил ему, что римский народ принадлежит ему: Tuus hic populus. Epist. 2, 1, 18.— Издат.)
41) Institut. кн.1, тит.2, N 6; Pandect. кн.1, тит.4, зак.1; Cod. Justinian. кн.1, тит.17, зак.1, N 7. В своих Древностях и Элементах Гейнецций подробно рассмотрел вопрос о constitutionibus principum, который разъяснили Годефруа (Comment. ad Cod. Theodos. кн.1, тит.1-3) и Гравина (стр.89-90.)
42) Theophilus, in Paraphras. Graec. Institut. стр.33, 34 изд. Reitz (2 вол. 4-to, Hag. Com. 1751). Касательно личности этого писателя, времени, в которое он писал, и его произведений см.Theophilus J.H.Mylius'a, Excurs. 3, стр.1034-1073. (К числу пустых споров, которыми занимались ученые в самом начале прошлого столетия, принадлежат споры о том, в какое время жил Феофил. Эти споры вызвали появление ученого и вполне убедительного сочинения. J.H.Mylius'a Theophilus. Это сочинение разрешило спор и доставило своему автору большую известность. Высокие понятия Феофила об императорской прерогативе были на руку Юстиниану, который назначил его в должность Comes Consistorii, или президента совета, и поставил его наряду е viris intimae admissionis, то есть самых близких советников. Рассказывают, будто монарх заставил его написать Paraphrasis Institutionum, которая не оставляет неразъясненным ни одного слова в оригинале и считается таким авторитетным, что знакомство с ней необходимо для всякого, кто изучает римское законодательство.— Издат.)
43) В следующей жалобе Макрина более зависти, чем здравого смысла (Jul. Capitolin. гл.13): Nefas esse leges 'videri Commodi et Caracallae et hominum imperitorum Voluntates. Север возвел Коммода в звание Divus (Dodwell, Praelect. 8, стр.324, 325.) Однако Пандекты упоминают о нем только два раза.
44) В Кодексе помещено двести постановлений, изданных одним Каракаллой и сто шестьдесят, изданных им вместе с его отцом. Этих двух монархов цитируют пятьдесят раз в Пандектах и восемь раз в Институциях. (Terasson, стр.265).

45) Плиний Младший, Epistol. 10, 66. Светон. in Domitian. гл.23.
46) Константин держался правила: contra jus rescripta non valeant. (Код. Феод. кн.1, тит.2, зак.1.) Императоры неохотно допускали проверки закона и факта, отсрочки, петиции и пр.; но эти недостаточные средства облегчения вполне зависели от произвола судьи, и он мог пользоваться ими с личной для себя опасностью.
47) Это была смесь алой краски с киноварью; ею подписывались императорские грамоты со времен Льва I (A.D.470) до падения Греческой империи. (Bibliothèque Raisonnée de la Diplomatique, том1, стр. 509-514. Lami, de Eruditione Apostolorum, т. II, стр.720-726.)
48) Schulting, Jurisprudentia Ante-Justinianea, стр.681-718. Cujacius говорит, что Григорий собирал законы, вышедшие в промежутке времени между царствованиями Адриана и Галлиена, а его сотрудник Гермоген продолжал эту работу. Быть может, действительно существовало такое распределение занятий, но они часто вторгались за пределы территории один другого.
49) Сцевола,— по всему вероятию, тот Q.Cervidius Scaevola, который был наставником Папиниана,— считает это принятие огня и воды за сущность бракосочетания. (Pandect. кн.24, тит.1, зак.66. См. Heineccius, Hist. J.R. N 317).
50) Цицерон (de Officiis, 3, 19) мог высказывать лишь одно предположение; но св.Амвросий (de Officiis, 3, 2) ссылается на существование в его время обыкновение, с которым он был знаком и в качестве юриста, и в качестве должностного лица. (Schulting, ag Ulpian. Fragment. тит.22, N 28, стр.643, 644.)
При всякой формальной передаче имущества предполагались продажа и покупка и отвешивание денег. Гиббон собрал здесь все символические легальные формальности, какие только мог отыскать. При этих поисках он неверно понял то, что говорит Цицерон.— Hugo).
Schulting, на которого ссылается Гиббон, решительно протестует против истолкования слов Цицерона и указывает на правильное их истолкование Graevius'ом. Формулу, в которой совершалось cretio hoereditatis, можно найти у Gaius'a. (Instit. кн.II, стр.166.)-Warnkönig).
Мы находим здесь поучительный пример того, как распространяются заблуждения. Цицерон насмехался над жадностью тех, кто гонялся за наследствами, и над унизительными уловками, к которым они были готовы прибегать, чтобы достигать своей цели. Куяциус принял эту насмешку за серьезное описание формы получения наследств. Гравина поверил ему и был рад случаю посмеяться над совершавшимися в старину бессмыслицами. Гиббон был введен в заблуждение, вероятно, этим последним писателем и по ошибке сослался на Шультинга. Если бы он справился с подлинником, он, вероятно, заметил бы, с каким негодованием Гревиус говорил, что Туллия следовало бы "притаскать за бороду".— Издат.)
51) Во времена Антонинов уже не понимали значения форм, соблюдавшихся при furtum lange licioque conceptum. (Aulus Gellius, 16, 10). В подтверждение того, что эти формы имели аттическое происхождение (Antiquitat. Rom. кн.4, тит.1, N 13-24) Гейнецций ссылается на истолкователя произведений этого поэта Аристофана и на Поллукса. Об этой форме судопроизводства ничего более не известно. Она

была предметом презрения во времена Гайя (см. кн.3, стр.192, отд.293). Из этого места видно, что сосуд употреблялся не для того, чтобы им закрываться, как это думали многие писатели, полагавшиеся на авторитет Феста.— Warnkönig.)

52) В своей речи в защиту Мурены (гл.9-13) Цицерон насмехается над формами и мистериями юристов, а Авл Геллий (Noct. Attic. 20, 10), Гравина (Opp. стр.265-267) и Гейнецций (Antiquitat. кн.4, тит.6) отзываются о них с большим беспристрастием. (При помощи этих форм древние римские патроны делали закон понятным для своих клиентов. Тяжелая ответственность, лежавшая на патронах, принуждала их требовать точного соблюдения обрядов, которые служили уздой для их необразованных подчиненных. Когда юристы сделались отдельным классом, в который допускались и плебеи, привычка сохранила то, что когда-то было полезно, но с течением времени сделалось излишним.— Hugo.)

(Гиббон слишком строго отзывается о легальных формах, существовавших в древнем Риме. У всех народов обязательная сила закона основывалась на таких торжественных формальностях. С их характером можно познакомиться из сочинения Savigny ***О призвании нашего времени к законодательству и к юриспруденции.*** Гейдельберг, 1814, стр.9, 10.— Warnkönig.)

(Мурена был обвинен в том, что достиг консульского звания подкупом. Так как кандидат, бывший его соперником, был юрист, то Цицерон старался доказать, что характер воинов более популярен. Его выходки против тех, кто занимался юридической практикой на форуме, доставили обильный материал для тех, кто нападал на римское законодательство.— Hugo.)

53) Помпоний перечисляет знатоков гражданского права (de Origine Juris Pandect. кн.1, тит.2.) Новейшие писатели со знанием дела и критической разборчивостью изучали эту отрасль истории литературы; между ними для меня служили главными руководителями Гравина (стр.41-79) и Гейнецций (Hist. J.R. N113-351.) Много достоверных и интересных сведений можно найти у Цицерона, в особенности в его сочинениях de Oratore, de Claris Oratoribus, de Legibus и в Clavis Ciceroniana Эрнести (под именами Муция и пр.). Гораций часто намекает на утренние занятия юристов (Serm. I, 1, 10; Epist. II, 1, 103 и сл.)

Agricolam laudat juris legumque peritus
Sub galli cantum, consultor ubi ostia pulsat.
. . . . . .
Romae dulce diu fuit et solemne reclusa
Mane domo vigilare, clienti promere jura.

(Эпохи, на которые здесь разделена история римской юриспруденции, обнаруживают ясность и обширность Гиббонова взгляда на этот предмет. В своей истории Гуго усвоил это самое деление на эпохи.— Warnkönig.)

54) (Под руководством этого знаменитого правоведа учился Цицерон. У оратора не было систематического знания права, но он приобрел такие фундаментальные познания, посещая atrium своего наставника, что однажды ответил тем, которые упрекали его за отсутствие: "Если бы мне понадобилось приобрести все эти сведения, это

стоило бы мне только несколько месяцев прилежной работы". (Нибур, Лекции, III, 16.)-Издат.)

55) Касательно искусства или науки юриспруденции Красс или, скорее, сам Цицерон предлагает (de Oratore, 1, 41, 42) мысль, которую старается осмеять красноречивый, но малообразованный Антоний (1. 58). Эта мысль была отчасти приведена в исполнение Сервием Сульпицием (in Bruto, гл.41), которого Гравина осыпает на своем классическом латинском языке изысканными и разнообразными похвалами (стр.60).

(Гуго держится того мнения, что Сервий Сульпиций первым придумал остроумную систему Институций, которая была усвоена многими из древних юристов прежде, нежели ею воспользовался Юстиниан. (Histoire du Droit Romain, том II. — Warnkönig).

("Друг Туллия", о котором говорит Гиббон, назывался Servius Sulpicius Leovina Rufus. Среди политических партий, в ту пору нарушавших внутреннее спокойствие, он вел себя с таким беспристрастием и так искренне хлопотал о примирении противников, что получил прозвища Defensor Pacis и Pacificator. В то время как Антоний осаждал Деция Брута в Мутине, он упросил Сенат отправить посольство для примирения враждовавших между собой вождей и сам был послан для ведения переговоров. Но усталость от путешествия истощила его организм, ослабевший от недавней болезни, и он умер по приезде в лагерь Антония. Сенат декретировал ему публичные похороны, а красноречие Цицерона (в девятой Филиппике, гл.7) побудило сенат почтить его память сооружением бронзовой статуи, которая была поставлена на форуме.— Издат.).

56) Perturbatricem autem omnium harum rerum academiam, hanc ab Arcesila et Carneade recentem, exoremus ut sileat, nam si invaserit in haec, quae satis scite instructa et composita videantur, nimis edet ruinas, quam quidem ego placare cupio, submovere non audeo (de Legibus, 1, 13). Из одних этих слов Bentley (Remarks on Freethinking, стр.250) мог бы узнать, как твердо верил Цицерон в ту благовидную теорию, которую он постарался разукрасить.

57) Стоическую философию впервые преподавал в Риме друг Сципиона Младшего Панеций. См. его биографию в Mem. de l'Academie des Inscriptions, том X, стр.75-89).

58) В том виде, как оно цитировано Ульпианом (зак.40, ad Sabinum in Pandect. кн.47, тит.2, зак.21). Однако Требаций, бывший сначала руководящим юристом, qui familiam duxit, впоследствии сделался эпикурейцем. (Cicero ad Fam. 7, 5). Быть может, он не был постоянен или искренен после своего поступления в эту школу. (По поводу этих слов Warnkönig говорит, что выражения Цицерона были истолкованы совершенно неправильно. Но его собственное объяснение, на которое его впервые навел G.Menage (Amoenit. Juris Civilis, гл.14) и которое было повторено в Sheller's Dictionary, сл. Familia и в Истории Римского Права Гуго, нельзя назвать удовлетворительным. Цицерон обрисовал личность Требация в письме к Юлию Цезарю, рекомендуя своего юного друга, который отправлялся в ту пору в армию, находившуюся в Галлии (Epist. ad div. 7, 4) и в это время уже не был "студентом, изучавшим гражданское право"; о его singularis memoria упоминается не как об отличии для подкрепления его просьбы, а как

о способе удержать в памяти то, чему он научился от П.Корнелия Максима, под руководством которого его высокие познания, summa scientia, собирали вокруг него поклонников, приверженцев и учеников, составлявших ту familia, во главе которой он находился. С другой стороны, он не был в ту пору "руководящим юристом", как его называет Гиббон, и он не достиг этого положения при жизни Цицерона. Он крепко привязался к Цезарю, и в то время как он посвящал себя военной карьере, оратор писал ему те дружеские письма, которые дошли до нас. Тон этих писем в высшей степени фамильярный и игривый. В одном из них (7, 11) Цицерон говорит: de re severissima tecum, ut soleo, jocor. Не получая ответа, он стал из шутки выдумывать причины такого молчания; он говорил, что Требаций слишком увлекся военными подвигами в Британии, что он занялся с jurisconsulti Britannici и наконец (7, 12), по сведениям, будто бы доставленным Пансой, что он сделался эпикурейцем и так занят своими поисками наслаждений, что не имеет времени писать. В этой шутке серьезные критики усмотрели положительное утверждение, что Требаций сделался последователем особой философской школы. Точно с такой же основательностью они могли бы заключить, что в Британии были в ту пору суды и адвокаты. По возвращении в Рим Требаций снова занялся изучением юриспруденции, но сделался знаменитым лишь после умерщвления Цицерона. Через восемнадцать лет после этого трагического происшествия Гораций в первой Сатире своей второй книги выводит на сцену Требация, который будто бы отговаривает его от занятия поэзией, и, вероятно, еще позднее Август советовался с ним насчет легальности приписей к духовным завещаниям. Все эти факты должны уничтожить те ложные выводы, которые были сделаны из вполне ясных выражений Цицерона, и должны возвратить этим последним их настоящий смысл. Только проходя обычные степени, Требаций мог возвыситься до такого положения, что сделался авторитетом, к которому — как нам это известно от Аммиана Марцеллина (30, 4) — еще относились с уважением в четвертом столетии.— Издат.).

59) См. Гравину (стр.45-51) и бесплодные ухищрения Маску. Гейнеций (Hist. J.R. N 125) цитирует и ободряет диссертацию Эверарда Отто de Stoica Jurisconsultorum Philosophia.

60) Делались ссылки на правила Катона, на постановления Аквилия, на формы Манилия, на двести одиннадцать принципов и двести сорок семь определений. (Pandect. кн.50, тит. 16, 17).

61) Прочтите Цицерона, кн.I, de Oratore, Topica, pro Murena.

62) См. Помпония (de Origine Juris Pandect. кн.I, тит.2, зак. 2, N 27), Гейнеция (ad Institut. кн.1, тит.2, N 8; кн.2, тит.25, in Element. et Antiquitat) и Гравину (стр.41-45). Впрочем, хотя монополия Августа и была очень резкой мерой, современники смягчают ее в своих отзывах и она, вероятно, была прикрыта сенаторским декретом.

(Гиббон придерживается в настоящем случае мнения Гейнеция, которое в ту пору считалось самым основательным. Подтверждение этого мнения можно найти в Дигестах и в Институциях; там говорится о привилегии, которой пользовались некоторые юристы со времен Августа до времен Адриана. Гуго отвергает выводы, которые были сделаны из этого Гейнеццием, Бахом и почти всеми его пред-

местниками. Но мы имеем Институции Гая, из которых видно, что Responsa Prudentum были мнения тех, quibus concessum est jus condere. Эти мнения получали в некоторых случаях обязательную силу законов, а Rescriptum Hadriani регулировал и подтвердил силу этих законов. Возражения, которые делает Гуго против этого факта и против цитированного выше выражения Помпония, не имеют основания. Нет возможности опровергнуть тот факт, что юристы с мнениями которых справлялись судьи, получали от императоров какие-то предварительные полномочия. Но каков был размер этих полномочий — это вопрос, на который нельзя дать положительного ответа по недостатку исторических указаний.— Warnkönig).

(Нибур познакомился с содержанием Институций Гая и, вероятно, на них основывал мнение, которое было цитировано из его Лекций (3, 231) в одном из предыдущих примечаний.— Издат.)

63) Я прочел едкую критику Готфрида Масковия (ученого Маску) de Sectis Jurisconsultorum (Лейпциг, 1728, in 12-mo, стр.276); это — ученый трактат, выросший на узкой и бесплодной почве.

64) Касательно характера Антистия Лабеона см.Тацита (Annal. 3, 75) и послание Атея Капитона (Aul. Gellius, 13, 12), который обвиняет своего соперника в libertas nimia et vecors. Однако Гораций не стал бы бичевать добродетельного и почтенного сенатора, и я вынужден допустить поправку Бентлея, который читает Labieno insanior. (Serm. кн.3. 82. См. Mascou de Sectis. гл. I, стр.1-24). (Первая книга Горациевых Сатир была самым ранним его произведением. Если не вся она, то большая ее часть была написана до битвы при Акциуме и до присвоения Августом императорской власти. Это не было принято в соображение теми, которые полагают, что "упорное, хотя и бесплодное сопротивление" этой власти со стороны Лабеона побудило Горация обвинять его в умопомешательстве.— Издат.)

65) Юстиниан (Institut. кн.3, тит.23 и Pheophil. Vers. Graec. стр.677, 680) упомянул об этом важном споре и о стихах Гомера, на которые ссылались обе стороны как на легальный авторитет. Этот спор был решен Павлом (зак.33, ad Edict. in Pandect. кн.18, тит.1, зак.1) тем, что при простой мене покупателя нельзя отличить от продавца.

(Многим кажется непонятным, почему республиканец должен быть нововводителем, а поклонник деспотизма должен быть сторонником старинной системы законов. Мы не имеем достаточных сведений, чтобы быть в состоянии решить, кому из них следует отдавать предпочтение, а история школ и партий доказывает нам, что нередко после столетней борьбы они становились именно на ту почву, которая служила точкой отправления для их противников.— Hugo).

66) От этого спора прокулианцы также отказались для того, чтобы избежать непристойных расследований, и для того, чтобы приноровиться к афоризму Гиппократа, который держался седмеричного числа двух недель годов или семисот недель дней. (Institut. кн.1, тит.22). Плутарх и стоики (de Placit. Philosoph. кн.5, гл.24) указывают более естественную причину. Четырнадцати лет peri gen o spermaticos krinetai orros.

См. vestigia школ у Mascon. гл.9, стр.145-276.

67) Mascou (гл.2-7, стр.24-120) излагает историю школ и их конец, и

было бы почти бессмысленно хвалить его за беспристрастную оценку этих отживших школ.

В произведении Гая, принадлежавшем к более поздней эпохе, чем царствование Адриана, есть некоторые сведения об этих школах и об их спорах. Он признавал самого себя последователем Сабина и Гая. См. Hugo. том II, стр.106.— Warnkönig).

Нибур (Лекции, 3, 237) полагает, что Гай писал в последние годы царствования Антонина Пия, которое было "золотым веком юриспруденции". В лексиконе Зедлера (21, 454), в котором статьи о римском законодательстве очень богаты сведениями, говорится, что Гай принадлежал к одной из умеренных или эклектических школ.— Издат.).

68) По первому зову он спешил на совещание о палтусе. Однако Ювенал (Sat. 4, 75-81) называет римского префекта, или управителя, sanctissimus legum interpres. За его ученость, как говорит старый схоласт, его называли не мужчиной, а книгой. Свое странное имя Пегас заимствовал от названия галеры, которой командовал его отец.

69) Тацит, Annal. 17, 7. Светон. in Nerone, гл. 37.

70) Mascou, de Sectis гл.8, стр.120-144, de Herciscundis; это был легальный термин, которым обозначали этих эклектических юристов; herciscere есть синоним слова dividere. (Warnkönig утверждает, что слово herciscundi вовсе не существовало до тех пор, пока Cujacius не выдумал его и не заменил им слов terris condi, которые употреблял Servius ad Virgilium. Впрочем, о происхождении и старинном употреблении этого слова можно найти указания в Двенадцати Таблицах (Таб.5, зак.2), у Дюканжа (3. 1127), у Зедлера (1.407, Actio Familiae herciscundae) и у Варнкенига в его сочинении (Inst. Juris. Rom. Priv. кн.4, гл.2, стр.438). Cujacius, без сомнения, неправильно отнес его (Op. том III, Observat. кн.10, гл.4) к Miscelliones или к старинной юридической школе, которая никогда не носила названия Herciscundi. Но он был не первый писатель, неправильно понимавший выражение Сервия. Burmann, цитируя этого старинного критика (ad Aeneid, 3, 67) в числе Variae Lectiones слов terris condi, пишет herciscundi, L. Fab. Стало быть, это слово было внесено в какую-нибудь рукопись или в одно из неудовлетворительных изданий сочинения Сервия, прежде чем вышло в 1600 году издание Даниеля. Cujacius заимствовал оттуда это слово; оно было переписано Mascon, который и ввел в заблуждение Гиббона. — Издат.).

71) См. Кодекс Феодосия, кн. 1 тит. 4, с Комментарием Годефруа, том 1, стр. 30-35. Этот декрет мог служить поводом для лицемерных споров (похожих на те, о которых идет речь в Lettres Provinciales) о том, обязан ли судья держаться мнений Папиниана или мнений большинства наперекор своему собственному разумению и своей собственной совести, и пр. Впрочем, законодатель мог придать этим мнениям — если бы даже они были неосновательны — силу не истины, а закона.

(Было бы лучше, если бы один из этих юристов был официально признан за неизменный авторитет, подобно тому как это было сделано ранее того относительно Юлия Павла.— Hugo).

(Тюбингенский Closius сообщил мне две конституции императора Константина, найденные им в Милане в Амвросианской библиотеке; первая, помеченная A.D. 321 годом, устраняет все, что было написано Ульпианом и Павлом, а вторая (A.D. 327) предписывает повсюду

принимать все сочинения Павла за критерий юриспруденции.— Warnkönig).
(Клинтон (F.R.1, стр. 375) сообщает содержание первого из этих эдиктов Константина, взятое из Код. Феодосия. Wenck. стр. 24. Касательно второго см. Ib. стр. 382.— Издат.)
72) (Юстиниановы сборники законов не исправили этого недостатка. Впрочем, я не вижу дурного в том, что законы какой-либо страны излагаются на чужом языке. Благодаря этому в Германии не перестали изучать латинский язык, а в среде населения сдерживалась склонность к ведению тяжб. Мне рассказывали, что чтение простым народом юридических сочинений на нашем родном языке вызвало в некоторых местах множество процессов.— Hugo).
73) Чтобы познакомиться с законодательной деятельностью Юстиниана, я изучил предисловие к Институциям, первое, второе и третье предисловия к Пандектам, первое и второе предисловия к Кодексу и самый Кодекс (кн.1, тит. 17, de Veteri Jure enucleando). Кроме этих подлинников я справлялся с произведениями новейших писателей, как-то: "Гейнеция (Hist. J.R. N 383-404), Терассона (Hist. de la Jurisprudence Romaine, стр. 295-356), Гравины (Opp. стр. 93-100) и Лудвига в его биографии Юстиниана (стр. 19-123, 318-321; в том, что касается Кодекса и Новелл, стр. 209-261 в том, что касается Дигест или Пандектов, стр. 262-317.
74) Касательно характера Трибониана см. свидетельства Прокопия (Persic. кн. 1, гл. 23, 24 Anecdot, гл. 13, 20) и Свиды (том. III, стр. 501, изд. Kuster'a. Ludwig) in Vit. Justinian. стр. 175-209 задает себе много труда с целью обелить то, что черно.
75) Я отношу оба указания Свиды к одному и тому же лицу, так как все подробности очень точно к нему применимы. Однако правоведы не обратили на это внимания, а Фабриций склоняется к тому мнению, что это были две отдельные личности. (Bibliot. Graec. том. 1, стр. 341; II, стр. 518; III, стр. 418; XII, стр. 346, 353, 474).
76) Эту историю рассказывают Hesychius (de Viris Illustribus), Прокопий (Анекд, гл. 13) и Свида. (том III, стр. 501). Такая лесть невероятна!
Nihil est quod credere de se
Non poterit cum laudatur Diis aequa potestas.
Фонтенель (том. 1, стр. 32-39) выставлял на смех бесстыдство скромного Вергилия. Но тот же самый Фонтенель ставит своего короля выше божественного Августа, а благоразумный Буало не постыдился сказать: "Ledestin a ses yeux n'oseroit balancer". Однако ни Август, ни Людовик XIV не были глупцами
77) Pandektai (общие сборники) были обычным названием греческих смешанных произведений (Plin. Praefat. ad Hist. Natur). Дигесты Сцеволы, Марцеллина и Цельса уже были хорошо знакомы юристам; но Юстиниан был не прав, употребляя эти два названия как синонимы. Слово Пандекты есть ли слово греческое или латинское, и какого оно рода, мужского или женского? Трудолюбивый Бренкман не берется решить эти важные спорные вопросы. (Hist. Pandect. Florentin. стр. 300-304.)
Слово Pandektai встречается часто. См. предисловие к сочинениям Авла Геллия.— Warnkönig.
(Оно было в употреблении, но не было общепринятым. Плиний не одобряет его употребления, так как оно слишком многозначительно и обещает слишком много. Оно изредка употребляется Авлом Гел-

лием в его предисловии и упоминается им (кн. 13, гл.9) как название главного сочинения, написанного вольноотпущенником и учеником Цицерона Туллием Тироном, все произведения которого утрачены. Самые авторитетные писатели отвечают на вопрос Гиббона, относя это слово к мужскому роду. Scapula в своем Лексиконе делает то же без всяких комментарий. Gesner (Linguae Latinae Thesaurus, 2, 674) считает слово Pandectes за имя существительное в единственном числе и замечает, что — согласно с мнением Прискиана — все греческие слова первого склонения, оканчивающиеся на es, суть мужского рода.— Издат).

78) Angelus Politianus (кн. 5, Epist. ult) насчитывает тридцать семь (стр. 192-200) юристов, на которых делаются ссылки в Пандектах,— это был для его времени чрезвычайно большой список ученых. Греческий указатель к Пандектам насчитывает тридцать девять, а по мнению неутомимого Фабриция, их было сорок. (Bibliot. Graec. том III, стр. 488-502) Утверждают, что Антонин Август (de Nominibus Propriis; Pandect. apud Ludwig, стр. 283) прибавил еще пятьдесят четыре имени; но это, должно быть, были неясные или непрямые ссылки

79) Etikoi древних манускриптов могут быть с точностью определены; это были сентенции или периоды с законченным смыслом, занимавшие в ширину свертков или волюмов пергамента известное число строк неравной длины. Число этих Etikoi в каждой книге удерживало переписчиков от ошибок. (Ludwig. стр. 211-215 и Suicer (от которого он заимствовал свои сведения), Thesaur. Ecclesiast. том. 1, стр. 1021-1036.

80) Остроумная и ученая речь Schultingius'a (Jurisprudentia Ante-Justinianea, стр. 883-907) защищает выбор Трибониана против страстных нападок Франциска Готомана и его последователей.

81) Если снять с Трибониана его ученую оболочку и отложить в сторону технические выражения, то латинский язык Пандектов окажется не недостойным ***серебряного века***. На этот язык горячо нападали: придирчивый грамматик пятнадцатого столетия Laurentius Valla и его защитник Floridus Sabinus. Его защищали: Alciat и другой безымянный адвокат (по всему вероятию, Иаков Капелл). Duker собрал их противоречивые трактаты. (Opuscula de Latinitate veterum Jurisconsultorum, Lugd. Bat. 1721. in 12-mo)

Бедный Valla! Конечно, он указал несколько слов, неправильно употребленных Юстинианом и его помощниками; но в то время, как он строго порицал варваризмы живших в одно время с ним юристов, он рекомендовал язык древних писателей ради его чистоты. См. его Elegantiarum, in Proemio, кн.3.— Hugo.

Эразм, Давид Юм, Runkhen и другие первоклассные писатели признавали достоинства Валлы.— Warnkönig.

Нибур имел о достоинствах Лоренцо Валлы совершенно иное мнение, чем Гиббон. Он говорит (Лекции I, стр. 3 и 56), что "его ученость носила на себе настоящий философский отпечаток" и что открытие его могилы "было одним из самых приятных напоминаний о его жизни".— Издат.

82) Nomina quidem veteribus, servavimus legum autem veritatem nostram fecimus. Itaque siquid erat in illis seditiosum, multa autem talia erantibi reposita, hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem deducta est quaeque lex. (Код. Юстин., кн. 1, тит. 17, зак. 3, N10). Какое откровенное признание! (Здесь слово seditiosum значит оспари-

ваемый или нерешенный, а не мятежный,— как это ясно видно из Предисловия к Дигестам: Et omnes ambiguitates decisae, nullosedilioso relicto.— Издат.)

83) Byncerschoek в четырех последних книгах своих Заметок очень уменьшил число этих emblemata (какое деликатное название для подлогов); он приводит очень слабые мотивы, стараясь доказать, что Юстиниан имел право этого требовать, а Трибониан был обязан ему повиноваться.

Я разделяю мнение Byncershoek'a. За исключением того, что нам известно из отрывков сочинений Ульпиана, мы не имеем данных, чтобы решить, ко второму или к шестому столетию принадлежит то или другое место и какие изменения могли быть сделаны переписчиками и переводчиками,— изменения, за которые нельзя возлагать ответственность на Юстиниана; притом мы не должны забывать, что он старался не столько объяснять непонятное, сколько извлекать удобоприменимое.— Hugo.

84) ***Антиномии***, или противоречивые постановления, Кодекса и Пандектов иногда бывают причиной, а нередко и оправданием той знаменитой неточности гражданского законодательства, которая так часто создает то, что Монтень называет Questions pour l'Ami. См. прекрасные выражения Франциска Балдуина in Justinian. (кн. 2, стр. 259 и сл. apud Ludwig, стр. 305, 306.

85) Когда Faust, или Faustus, стал продавать за манускрипты первые печатные библии, цена копий на пергамент упала с четырех или пятисот крон на шестьдесят, пятьдесят и даже сорок крон. Публика сначала была очень довольна такой дешевизной, но в конце концов, когда открылся обман, пришла в негодование. (Maittaire, Annal. Typograph. Том. 1, стр. 12, первое издание.)

86) Это отвратительное обыкновение возникло с восьмого столетия, а в двенадцатом столетии оно распространилось почти повсюду. (Montfaucon в Mémoires de l'Académie, том IV, стр. 606 и сл. Bibliothé que Raisonnèe de la Diplomatique, том. 1, стр. 176.)

87) Помпоний (Пандекты, кн. 1, тит. 2, зак. 2) замечает, что от трех основателей науки гражданского права Муция, Брутта и Манилия extant volumina, scripta Manilii monumenta; а о некоторых старых республиканских юристах говорит: haec versantur eorum scripta inter manus hominum. От восьми ученых-правоведах времен Августа остался только compendium, от Cascellius'a scripta non extant sed unus liber, etc.; о Trebatius'e он говорит: minus frequentantur, о Тубероне libri parum grati sunt. В Пандектах есть много цитат из таких книг, которых Трибониан никогда не видал, и в том, что касается длинного периода времени от седьмого до тринадцатого столетия с основания Рима, кажущаяся начитанность новейших писателей зависит от образования и добросовестности их предшественников.

88) Во многих случаях все издания и рукописи повторяют ошибки переписчиков и перестановки некоторых листов, встречаемые в хранящихся во Флоренции Пандектах. Этот факт — если он верен — имеет решающее значение. Однако на Пандекты ссылаются: Yves de Chartres (умерший в 1117 г.), архиепископ Кентерберийский Теобальд и первый профессор, читавший в 1140 г. гражданское право в Англии, Vacarius. (Selden ad Fletam, гл. 17, том II, стр. 1080-1085). Сличали ли наши британские манускрипты Пандектов с манускриптами, хранящимися в других странах?

89) См. описание этого оригинала у Brenckman'a (Hist. Pandect.

Florent. кн. 1, гл. 2, 3, стр. 4-17 и кн.2). Энтузиаст Poliziano считал его за подлинник Юстинианова кодекса (стр. 407, 408), но этот парадокс опровергается сокращениями флорентинского манускрипта (кн. 2, гл. 3, стр. 117-130). Он состоит из двух томов в четвертую долю листа с широкими полями; он написан на тонком пергаменте, а формы латинских букв обнаруживают почерк греческого переписчика.

90) Brenckman поместил в конце своей истории две диссертации о республике Амальфи и о Пизанской войне в 1135 г.; и т.д.

91) Об открытии Пандектов в Амальфи (A.D. 1137) впервые упоминает (в. 1501 г.) Ludovicus Bologninus (Brenckman, кн. 1, гл. 11, стр. 73, 74; кн.4 гл.2, стр. 417-425) на основании одной Пизанской хроники (стр. 409, 410), на которой нет ни имени автора, ни пометки времени. Хотя вся история была неизвестна в двенадцатом столетии, хотя она была разукрашена невежеством многих столетий и возбуждала недоверие строгих критиков, она все-таки не лишена по своему содержанию значительного правдоподобия (кн. 1, гл. 4-8, стр. 17-50). Не подлежит сомнению, что великий Бартол (стр. 406, 407. См. кн. 1, гл.9, стр. 50-62) справлялся в четырнадцатом столетии с находившимся в Пизе Liber Pandectarum. (Это открытие, по словам Галлама, "хотя и не неправдоподобно, но,по-видимому,не подтверждается удовлетворительными свидетельствами". Однако именно с этого времени глоссаторы вновь оживили изучение римского права. Было ли это оживление вызвано открытием Пандектов или же оно вызвало Пандекты из забвения, которому они были преданы,— это такие вопросы, между которыми разница очень невелика. Тогда уже начиналось переустройство общества, и все начинали понимать, что необходимым элементом такого переустройства должна быть обеспеченность собственности. Поэтому стали чувствовать потребность в "более обширном и более точном кодексе писаных законов". До этого периода большая часть Западной Европы имела лишь компиляцию из Кодекса Феодосия, составленную около 500 года по приказанию короля вестготов Алариха. Недостаточность этих законов обратила внимание юристов на Юстинианову систему юриспруденции, и введение Пандектов было равносильно с их открытием. (Галлам, Средние Века, ч. 2, стр. 513-515).— Издат.)

92) Пиза была взята флорентийцами в 1406 году, а в 1411 году Пандекты были перевезены в столицу. Эти события и достоверны, и знамениты.

93) Их заново переплели в обертку пурпурового цвета и положили в дорогой ящик; а монахи и судьи показывали их любопытным, обнажив свои головы и держа в руках зажженные светильники. (Brenckman, кн. 1, гл. 10-12, стр. 62-93.)

94) Голландец Henry Brenckman, сравнив тексты Politian'a Bologninus'a и Антонина Augustinus'a и великолепное издание Пандектов Taurellus'a (в 1551г.), предпринял поездку во Флоренцию и провел там несколько лет, изучая только одну рукопись. Его Historia Pandectarum Florentinorum (Утрехт, 1722, in quarto) хотя и свидетельствует о его трудолюбии, но исполняет лишь небольшую часть его первоначального плана.

95) Chrusea Chalkeiδn, gekatomboi enncaboiδn, apud Homerum patrem omnis virtutis (первое Предисловие к Пандектам). Строка из Мильтона или из Тассо удивила бы нас, если бы встретилась в каком-нибудь парламентском акте. Quae omnia obtinere sancimus in omne aevum. O

первом кодексе он говорит (2-е Предисловие) in aeternum valiturum. Человек, который говорит о вечности!

96) Слово Novellae — прилагательное на классическом латинском языке, но на варварском латинском языке — существительное. (Ludwig, стр. 245). Юстиниан никогда сам не собирал их: девять сборников, служащих руководством для новейших судов, состоят из девяносто восьми Новелл; но это число увеличили своими трудолюбивыми исследованиями Julian, Haloander и Contius. (Ludwig, стр. 249, 258. Aleman. Not. in Anecdot. стр. 98.)

97) Montesquieu, Considérations sur la Grandeur et la Décadence des Romains, гл. 20, том III, стр. 501, in 4-to. В этом случае он отбрасывает в сторону и мантию, и шапку президента.

98) Прокопий, Anecdot. гл. 28. Такая же привилегия была дарована римской церкви. (Новел. 9). Касательно всеобщей отмены этих вредных привилегий. см. Новел. III и эдикт 5.

99) В своем изящном и ясном произведении Институции Христианства Лактанций принимает за образец и заглавия, и методу юристов. Quidam prudentes et arbitri aequitatis Institutiones Civilis Juris compositas ediderunt. (Institut. Divin. кн. 1, гл. 1). Он разумеет Ульпиана, Павла, Флорентина и Маркиана.

100) Император Юстиниан называет его suum, хотя он умер в конце второго столетия. Servius, Boethius, Priscian и др. ссылаются на его Институции, и до нас дошло извлечение, сделанное из них Арианом. (См. Prolegomena и примечания к изданию Schulting'a в Jurisprudentia Ante-Justinianea, Lugd.Bat. 1717. Heineccius, Hist. J.R. N313. Ludwig. in Vit. Just., стр. 199.)

101) Юстиниан разделил свои Институции только на три части: 1. Личные права, как то рабство, брак, отцовская власть и опекунская. 2. Право собственности или владения и 3. Обиды или поводы к жалобам как со стороны частных людей, так и со стороны государства. Из некоторых отделов второй и третьей части Гиббон составил четвертую часть.— Hugo.

В этом разделении Институций Гиббон сделал четвертую и особую часть из приложений к уголовным законам последнего титула.— Warnkönig.

102) См. Annales Politiques de l'Abbéde St. Pierre, том 1, стр. 25, изданные в 1735 г. Самые древние семейства гордятся тем, что их гербы и поместья принадлежат им с незапамятных времен. Со времени крестовых походов некоторые из самых почтенных семейств были возведены в дворянское звание королями в награду за свои достоинства и заслуги. Недавно возведенная в это звание толпа дюжинных людей приобрела его благодаря существованию продажных должностей, для занятия которых нет надобности заслуживать доверие и которые постоянно облагораживают богатых плебеев.

103) Если выбор раба был предоставлен по завещанию нескольким лицам, то они бросали жребий, и те, которые не имели успеха, все-таки получали свою долю из ценности раба; обыкновенные раб и рабыня в возрасте до десяти лет ценились в десять золотых монет; если они перешли этот возраст — в двадцать; если они знали какое-нибудь ремесло — в тридцать; если они были нотариусами или писцами — в пятьдесят; если они были акушеры или доктора — в шестьдесят; евнухи, не достигшие десяти лет, стоили тридцать таких монет, выше этого возраста — пятьдесят, а торговцы — семьдесят. (Код.

кн.6, тит. 43, зак. 3). Эти легальные цены вообще были ниже рыночных.

104) Касательно положения рабов и вольноотпущенников см. Институции, кн. 1, тит. 3-8; кн.2, тит 9; кн.3, тит. 8,9. Пандекты или Дигесты, кн. 1, тит. 5, 6; кн. 38, тит. 1-4 и вся сороковая книга. Кодекс, кн. 6, тит. 4, 5; кн. 7, тит. 1-23. Прошу заметить, что впредь, цитируя подлинный текст Институций и Пандектов, я буду подразумевать и соответствующие статьи в Древностях и в Элементах Гейнеция, а цитируя двадцать семь первых книг Пандектов, буду подразумевать ученые и рациональные комментарии Gerard Noodt'a (Opera, том II, стр. 1-590, в конце. Lugd. Bat. 1724).

105) См. patria potestas в Институциях (кн. 1, тит. 9), в Пандектах (кн. 1, тит. 6,7) и в Кодексе (кн. 8, тит. 47-49). Jus potestatis quod in liberos habemus proprium est civium Romanorum. Nulli enim alii sunt homines qui talem in liberos habeant potestatem qualem nos habemus,

106) Дионисий Галикарнасский, кн. 2, стр. 94,95. Гравина (Opp. стр. 286) приводит слова Двенадцати Таблиц. Папиниан (in Collatione Legum Roman. et Mosaicarum, тит. 4, стр. 204) называет эту patria potestat словами lex regia. Ульпиан (ad Sabin. кн. 26 in Pandect. кн. 1, тит. 6 зак. 8) говорит: jus potestatis moribus receptum, и furiosus filium in potestate habebit. Какая священная, или, верней, какая нелепая власть!

Эта власть вполне соответствовала характеру римлян.— Warnkönig.

Касавшиеся этого предмета римские законы не только поощряли зверскую свирепость, но даже старались усилить ее. Законы Двенадцати Таблиц приказывали отцу убивать уродливых детей. На таблице 4-й сказано: Pater insignem ad deformitatem puerum cito necato.— Издат.

107) Пандекты, кн. 47, тит. 2, зак. 14, N13; зак. 38, N 1. Таково было решение Ульпиана и Павла.

108) Trina mancipatio более ясно определена Ульпианом (Fragment. 10, стр. 591, 592, изд. Schulting) и всего лучше объяснена в Древностях Гейнеция.

Сын, проданный отцом, делался не вполне рабом; он сохранял statu liber, то есть мог во всякое время требовать освобождения, внеся ту сумму, за которую был куплен.— Warnkönig.

109) Юстиниан приводит и порицает старинный закон, предоставлявший римским отцам jus necis (Институции, кн. 4, тит. 9, N7). Некоторые следы этого закона сохранились в Пандектах (кн. 43, тит. 29, зак. 3, N 4) и в Collatio Legum Romanarum et Mosai carum (тит.2, N 3, стр. 189).

110) За исключением публичных мест и нахождения при исполнении своей должности. In publicis locis atque muneribus, atque actionibus patrum, jura cum filiorum qui in magistratu sunt, potestatibus collata interquiescere paululum et connivere, etc. (Aul. Gellius, Noctes Atticae, 2. 2). Наставления философа Taurus'a оправдывались на старинном и достопамятном примере Фабия, и мы можем читать ту же историю на языке Ливия (24. 44) и на грубом диалекте летописца Клавдия Quadrigarius'a.

111) О том, как peculium сына постепенно увеличивалось и обеспечивалось, см. Институции (кн. 2, тит. 9), Пандекты (кн. 15, тит. 1; кн. 41, тит. 1) и Кодекс (кн. 4, тит. 26, 27).

112) Об Эриксоне и Арии рассказывает Сенека (de Clementia, кн. 4, 15) — о первом с отвращением, о втором с одобрением.

113) Quod latronis magis quam patris jure eum interfecit, nam patria potestas in pietate debet non in atrocitate consistere. (Marcian, Institut. кн. 14, in Pandect. кн. 48, тит. 9, зак. 5.)
114) Законы Помпея и Корнелия de sicariis и de parricidis повторены, или, верней, сокращены вместе с позднейшими дополнениями Александра Севера, Константина и Валентиниана, в Пандектах (кн. 48, тит. 8,9) и в Кодексе (кн. 9, тит. 16, 17).См. также Кодекс Феодосия (кн. 9, тит. 14, 15) с Комментарием Годефруа (том III, стр. 84-113), который проливает на эти уголовные законы целые потоки древней и новейшей учености.
115) Когда в одной из комедий Теренция Хремет упрекает свою жену за то, что она не послушалась его и не выставила в публичном месте их ребенка, он выражается как отец и как властелин и заставляет безрассудную женщину заглушить угрызения совести. Апулей (Metamorph. кн. 10, стр. 337, изд. Delphin).
116) Мнения юристов и благоусмотрение судей ввели во времена Тацита, некоторые легальные ограничения, которыми оправдывался указанный этим писателем контраст между boni mores германцев и bonae leges alibi — то есть в Риме (De Moribus Germanorum, гл. 19). Тертуллиан (ad Nationes, кн. 1, гл. 15) опровергает и свои собственные неодобрительные отзывы о языческой юриспруденции и нападки своих собратьев
117) Gerard Noodt (Opp. том. 1, in Julius Paulus, стр. 567-588, и Amica Responsio, стр. 591-606), разделяя мнение Юста Липсия (Opp., том II. стр. 409, ad Belgas, cent. 1, epist 85), считает за простой нравственный принцип мудрую и человеколюбивую сентенцию юриста Павла (кн. 2, Sententiarum, in Pandect. кн. 25, тит. 3, зак. 4); а Bynkershoek (de Jure occidendi Liberos, Opp., том I, стр. 318-340. Curae Secundae, стр. 391-427) считает ее за положительный и обязательный закон. В своем ученом, но горячем споре два друга впали в противоположные крайности,
118) Однако у *диких* германцев женщина пользовалась уважением, а у цивилизованных римлян она находилась под тиранической властью и была вовлечена в разврат. Сверх того мы находим, что во все следующие века у потомков этих дикарей женский пол всегда занимал самое высокое положение в обществе. Даже французская любезность не могла создать таких подруг жизни, какие украшают семейную жизнь готского потомства.— Издат.
119) Дионис. Галик. кн. 2, стр. 92, 93. Плутарх, in Numa, стр. 140, 141.
120) К числу зимних frumenta принадлежали: triticum, или волосатая пшеница; siligo, или озимая пшеница; far, adorea, oryza, которые по описанию совершенно сходны с испанским и итальянским рисом. Я допускаю это сходство, полагаясь на полезную и ученую Métrologie Pauctоn'a (стр. 517-529). (Рис был пересажен в Южную Европу с Востока, откуда происходит и его название. По-арабски он называется Варуз, а по-малабарски *аризи*. Греки и латины дали этому названию форму oryza. Испанцы называют его arroz, вероятно, по указанию своих арабских завоевателей. Аделунг (Wörterbuch, 3, 1385) предполагает, что в то время, как язык был еще в раннем периоде своего развития, это название произошло из одного источника с греческим словом и с немецким reissen и обозначало обрывание шелухи перед тем, чтобы употреблять зерно в пищу.— Издат.
121) Aulus Gellius (Noctes Atticae, 18 6) приводит странное определение, сделанное Элием Мелиссом: Matrona, quae semel materfamilias

quae saepius peperit,— точно будто речь идет о свиньях, о porcetra и о scropha. Затем он объясняет ее настоящее значение: quae in matrimonium vel in manum convenerat. (Смысл слов Авла Геллия не полон без остальной части его сентенции: quoad in eo matrimonio maneret, etiamsi liberi nondum nati forent; dictamque esse ita a matris nomine, non adepta jam, sed cum spe et omine mox adipiscendi. Название ***матроны*** обозначало не вступление в супружество, а пребывание в нем.— Издат.

122) Достаточно было отведать вина или украсть ключ от винного погреба. (Плин. Hist. Nat. XIV, 14.)

123) Солон требует исполнения супружеских обязанностей три раза в месяц. Мишна налагает его ежедневно на праздного и сильного молодого мужа, два раза в неделю на гражданина, один раз на крестьянина, один раз в тридцать дней на погонщика верблюдов, один раз в шесть месяцев на моряка. Но учащиеся и доктора были освобождены от этого долга, и женщина, получавшая уплату этого долга еженедельно, не имела права требовать развода; дозволялось давать обет воздержания на одну неделю. Многоженство не умножало, а лишь разделяло обязанности мужа. (Selden Uxor Ebraica, кн. 3, гл. 6, в собрании сочинений ч. II, стр. 717-720).

124) Касательно Оппиева закона против роскоши женщин до нас дошли снисходительная речь Валерия Флакка и строгая цензорская речь старшего Катона (Ливий, XXXIV, 1-8). Но грубые ораторы, жившие в шестом столетии от основания Рима, не имели того изящного слога, которым отличался историк, живший в восьмом столетии. Авл Геллий (10.23) всех точнее сохранил принципы Катона и даже его слог.

125) О том, как совершались браки у иудеев и у католиков, говорят: Selden (Uxor Ebraica, Op. ч. II., стр. 529-860), Bingham (Chistian Antiquities, кн. 22) и Chardon (Hist. des Sacremens, том VI).

126) Гражданские законы о браке изложены в Институциях (кн. 1, тит. 10), в Пандектах (кн. 23-25) и в Кодексе (кн. 5); но так как титул Deritu nuptiarum не полон, то мы вынуждены изучать Отрывки Ульпиана (тит. 9, стр. 590, 591) и Collatio Legum Mosaicarum (тит. 16, стр. 790, 791) с примечаниями Pithaeus'a и Schulting'a. В Комментарии Сервия (о первой книге Георгики и о четвертой книге Энеиды) есть два интересных места.

127) По словам Плутарха (стр. 57), Ромул допускал только три мотива для развода — пьянство, прелюбодеяние и подделку ключей. Если же муж употреблял во зло свою верховную власть, у него отбирали одну половину его состояния в пользу его жены, другую в пользу богини Цереры, и он сверх того (вероятно, из остатков) должен был совершить жертвоприношение в честь земных богов. Этот странный закон был или выдуман, или существовал недолго.

128) В 523 году от основания Рима Спурий Карвилий Руга развелся с красивой, доброй, но бездетной женой. (Дионис, Галик., кн., 2, стр. 93. Плутарх in Numa. стр. 141. Валерий Максим, кн. 2, гл. 1. Авл Геллий, 4, 3). По этому поводу цензоры подвергали его допросу, а народ возненавидел его; но закон оставил в силе его развод.

(Монтескье иначе рассказывает и иначе объясняет этот факт Esprit des Lois, кн. XVI, гл. 16.— Гизо.)

Плутарх не подтверждает того факта, что в Риме не было ни одного развода в течение пятисот лет. Он два раза упоминает о разводе Карвилия,— в первый раз, когда сравнивает Ромула с Тезеем, и во

второй раз, когда сравнивает Нуму с Ликургом (Op. том I, стр. 155 и 309, изд. Reiske). В обоих местах он называет A.U.C. 230 год, прибавляя в последнем месте, что это случилось в царствование второго Тарквиния. Все другие писатели указывают A.U.C. 520 или 523 год. Между ними всех более заслуживает доверия Авл Геллий, так как он утверждает, что заимствовал этот факт из сочинения Сервия Сульпиция De Dotibus. Добросовестность этого юриста служит ручательством за его точность. Монтескье принимает год, указанный Плутархом, и затем вовсе некстати цитирует из сочинений Дионисия Галикарнасского данный Кориоланом, перед своим отправлением в изгнание, совет, чтобы его жена искала себе другого мужа. Так как Волумния не воспользовалась этим разрешением, то здесь и не было развода. Но, заявив о правильности указания на A.U.C. 230 год, он говорит, что гнев народа был возбужден против Карвилия не за то, что он развелся с женой, а за то, что подчинился приказаниям цензоров; но Рим не знал этих должностных лиц до A.U.C. 443. Также ошибочна его заключительная антитеза: Plutarque a examine un fait, les autres ont raconte une merveille. Такой прозорливый и сведущий юрист, как Сервий Сульпиций, не остановил бы своего внимания на том, что сверхъестественно, и истина была бы открыта через двести лет после того Плутархом. Гиббон также ошибается, говоря, что цензоры подвергали Карвилия допросу. Авл Геллий утверждает, что они настаивали на разводе: a censoribus coactus est; сверх того слова Валерия Максима reprehensione non tamen caruit не оправдывают выражения, что народ ненавидел прочность брачных уз. Впрочем, Нибур (Ист. Рима, гл. 61) говорит, что разводы случались у римлян в более раннюю эпоху и что Л.Антоний был изгнан из Сената в A.U.C. 446 году за то, что развелся с женой, не исполнив обычных формальностей.— Издат.

129) Это нежелание приписывается Нибуром совершенно иным мотивам. Он говорит: "Хотя расторгать браки было вовсе не трудно, мужчины большею частью питали к ним ненависть. Повсюду распространилось отвращение к законному супружеству. Нравственная испорченность и распутство свободнорожденных римских женщин приняли такие размеры, что многие из мужчин, которые сами не были распутны, находили в рабынях более верных и более достойных уважения подруг, чем в девушках знатного происхождения; поэтому считалось долгом совести не вступать в брак. Дети, происходившие от таких сожительств, поступали в разряд рабов и большею частью оставались в нем или же поступали в разряд вольноотпущенников. Многочисленные libertini, имена которых встречаются в надписях того времени, были дети, родившиеся от сожительства господ со своими рабынями. В этом усматривали главным образом то зло, что от этого уменьшалось свободное население или число тех, кто рождался гражданином. Чтобы помочь этому злу, было ограничено право отпускать рабов на волю и были изданы законы Aelia Sentia, Julia de Adulterio u Papia Popproea; но это были большей частью негодные средства — и честь, и jus trium liberorum оставались в одинаковом пренебрежении". (Лекции, ч. III, стр. 122, 163, 187).— Издат.

130) ...sic fiunt octo mariti
Quinque per auctumnos. Ювенал, Сатира 6, 229-230.
Хотя такие переходы и быстры, их все-таки нельзя назвать неправдоподобными точно так же, как нельзя назвать неправдоподобными слова Сенеки (De Beneficiis, 3, 16): non consulum numero, sed

maritorum annos suos computant. Иероним видел в Риме одного супруга, хоронившего свою двадцать первую жену, которая уже похоронила двадцать двух менее сильных его предшественников. (Ор. том. I, стр. 90, ad Gerontiam). Но десять мужей в один месяц, о которых говорит поэт Марциал, были нелепой гиперболой (кн. 4, эпигр.7).

131) Публий Виктор в описании Рима называет Sacellum Viriplacae (Валерий Максим, кн. 2, гл. 1), находившийся в Палатинском квартале во времена Феодосия.

132) Валерий Максим, кн. 2, гл. 9 Не без некоторого основания он считает развод более преступным делом, чем безбрачие: illo namque conjugalia sacra spreta tantum, hoc etiam injuriose tractata.

133) См. законы Августа и его преемников у Гейнецция, ad Legem Papiam Poppaeam, гл. 19, in Op. том VI, часть 1, стр. 323-333.

134) Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi; aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit. (Jerom, том I, стр. 198. Selden, Uxor Ebraica, кн. 3, гл. 31, стр. 847-853.)

135) Институции на этот счет молчат, но мы найдем об этом сведения в Кодексах Феодосия (кн. 3, тит. 16, с комментарием Годефруа, том 1, стр. 310-315) и Юстиниана (кн. 5, тит. 17), в Пандектах (кн. 24, тит. 2) и в Новеллах (22, 117, 127, 134, 140). Юстиниан до последней минуты колебался в выборе между законами гражданскими и церковными.

136) На чистом греческом языке слово не было общеупотребительным, и настоящий его смысл (любодеяние) не может быть с точностью применен к нарушению супружеской верности. В его иносказательном смысле как широко его значение и к каким преступлениям оно может быть отнесено? Говорил ли Христос на языке раввинов или на сирийском? Для какого слова служит переводом? Сколько различных значений дают этому греческому слову в древних и новых переводах! Двое (Марк, X, II; Лука, XVI, 18) против одного (Матфей, XIX, 9) полагают, что такой повод для развода не был допущен Иисусом. Некоторые критики позволили себе высказывать предположение, что он дал уклончивый ответ для того, чтобы не обидеть ни последователей Саммаи, ни последователей Гиллеля. (Selden, Uxor Ebraica, кн. 3, гл. 18-22, 28, 31). (По этому случаю нам еще раз приходится пожалеть об утрате подлинного текста см.Матфея. Если бы он уцелел, то всякое двусмысленное слово в написанных на греческом языке евангелиях могло бы быть удовлетворительно объяснено.— Издат.)

137) Принципы римской юриспруденции изложены Юстинианом (Institut. кн. 1, тит. 10), а законы и обычаи древних народов относительно запрещенных степеней родства и пр. подробно объяснены в сочинении докт. Taylora ***Начала Гражданского Права*** (стр. 108, 314-339); это сочинение интересно и разнообразно по содержанию, но его нельзя похвалить за философическую точность.

138) Когда ее отец Агриппа умер (A.D. 44), Беренике было шестнадцать лет. (Иосиф, том I, Antiquit. Judaic. кн. 19, гл. 9, стр. 952, изд. Havercamp). Стало быть, ей было более пятидесяти лет, когда Тит (A.D.79) invitus invitam invisit. Такие года не произвели бы хорошего впечатления в трагедии или в пастушеской поэзии нежного Расина.

139) Вергилиева Aegyptia conjux (Энеида, 8, 688), как кажется, была причислена к тем чудовищам, которые вместе с Марком Антонием вели войну против Августа, против Сената и против богов Италии.

140) Это право было впервые дано одним из законов Константина, так как Август запретил внебрачное сожитие с такой женщиной, на

которой можно было жениться. Бракосочетание, совершенное после рождения детей, не давало им никаких новых прав. Тогда стали прибегать к усыновлению или, вернее, к arrogatio.— Hugo.
(Arrogatio допускалась только тогда, когда усыновляемый достиг совершеннолетия, был vesticeps, облекся в toga virilis и мог отвечать сам за себя. Обе стороны должны были предстать перед комициями, где предлагались вопросы, от которых и самый обряд получил свое название: Arrogatio per populi rogationem fit. Авл Геллий (5, 19) описал все формальности, соблюдавшиеся при этом обряде. Отсюда видно, что в его время эти народные собрания еще созывались для некоторых целей. Диоклетиан передал все производство этих дел преторам; это, вероятно, и было окончательным смертельным ударом для комиций.— Издат.
141) Скромные, но легальные права наложниц и незаконных детей определены в Институциях (кн. 1, тит. 10), в Пандектах (кн. 1, тит. 7), в Кодексе (кн. 5, тит. 25) и в Новеллах (кн. 74, 89). Heineccius u Giannone в своих исследованиях (ad Legem Juliamet Papiam Poppaeam, гл. 4, стр. 164-175; Opere Posthume, стр. 108-158) уяснили этот интересный вопрос из семейных нравов.
142) См. титулы об Опекунах и об Опекаемых в Институциях (кн. 1, тит. 13-26), в Пандектах (кн. 26, 27) и в Кодексе (кн. 5, тит. 28-70).
143) Юристов нельзя обвинять в том, что будто они опрометчиво определили возмужалость четырнадцатилетним возрастом. На этот предмет не было никакого закона до издания Юстинианова. Ульпиан рассказывает, какие происходили об этом законе прения между различными юридическими школами. См. Институции (кн. 1, тит. 22) и Ульпиановы Отрывки. И нельзя сказать, что каждый малолетний был обязан иметь опекуна.— Warnkönig.
Хотя и не было закона, определявшего возраст совершеннолетия, обычай делал мужчину с ранних лет полным хозяином своей жизни. По словам Горация, "безбородый юноша" освобождался от опекунского надзора и мог делать все, что хотел.
Imberbis juvenis, tandem custode remoto,
Gaudet *** monitoribus asper.— De Arte Poet. 161.— Издат.
144) Institut. кн. 2, тит. 1, 2. Сравн. ясные и точные рассуждения Гая и Гейнеция (кн. 2, тит. 1, стр. 69-91) с бессодержательным многословием Феофила (стр. 207-265). Мнения Ульпиана сохранились в Пандектах (кн. 1, тит. 8, зак. 41, N1.)
145) Варрон (de Re Rustica, кн. 1, гл. 2, стр. 141; гл. 10, стр. 160, 161, изд. Gesner) ясно определил heredium первых римлян, а Плиний затемнил этот предмет своей декламацией (Hist. Natur. 18,2). Основательные и ученые замечания относительно этого предмета можно найти в Administration des Terres chez les Romains (стр. 12-66). Диссертации Нибура о jus Agrarium (Лекции, ч. 1, стр. 249-257, 398; II, стр. 271-277) достойны внимания, так как этот сюжет навел его на Критические Исследования о Римской Истории. Он доказывает, что ограничения, на которые указывает Гиббон, относились только к ager puplicus или к общественным землям, которые были частью (обыкновенно третьей) завоеванных территорий, поступивших в собственность государства. Когда это оказывалось нужным, посылались триста колонистов, по одному из каждого gens, и каждому из них отводили сад величиною в два югера. Но они могли по частям нанимать для обрабатывания остальные земли, которые раздавались государством с условием ежегодного взноса decuma, или десятой час-

ти собранного хлеба, quinta, или пятой части собранных плодов, и других податей, которыми облагали пастбища и скот. Пользуясь доброжелательством властей, патриции поделили между собой такую значительную часть этих земель, что вызвали так хорошо всем известные и так долго продолжавшиеся раздоры между ними и плебеями. Около A.U.C. 380 года был издан Лициниев закон, запрещавший кому бы то ни было владеть более чем пятьюстами югер. Так как этот закон обходили или не соблюдали, то возникли продолжительные споры, и почти через 240 лет после того он был пересмотрен Тиберием Гракхом, но до такой степени изменен, что в придачу к своей собственной доле отец семейства мог приобретать по 250 югеров для каждого из своих двух сыновей, еще находившихся in patria potestate, что составляло все вместе тысячу югеров. Поэтому это не было, как предполагали, нарушением или ограничением частной собственности, так как этим лишь обеспечивалось более общее распределение того, что называлось ager publicus. Всякую другую земельную собственность гражданин мог, ничем не стесняясь, приобретать сообразно со своими средствами. К этому Нибур присовокупляет: "Пятьсот югер равняются теперешним семидесяти rubbii, а это считается в Италии за хорошее состояние. Более обширных поместьев и не требуется в этой стране. Там, где земля плодородна, такое поместье при хорошем управлении дает пять тысяч крон ежегодного дохода, если отдается в аренду фермерам".— Издат.

146) Ульпиан (Fragment., тит. 18, стр. 618 и 619) и Bynkershoek (Opp. том. I, стр. 306-315) объяснили res mancipi на основании слабых и заимствованных издалека соображений. Их определение несколько произвольно, а так как никто, кроме меня, не указывал основательных мотивов, то я не вполне полагаюсь на мои собственные. (Чтобы установить право собственности на твердом фундаменте, римские законы признавали только ту передачу имеющей законную силу, которая совершалась публично или в присутствии назначенных для этого комиссионеров. Это было неисполнимо в таких сделках, как покупка провизии, одежды и пр., и потому в этих случаях не требовалось исполнения таких формальностей. Отсюда возникло различие между res mancipi, или такой собственностью, для приобретения которой требовалось исполнение установленного обряда, и nec mancipi, или такой собственностью, для которой нужен был только факт владения. К первому разряду принадлежало все, что имело значительную ценность, как-то земли, дома, рабы и рогатый скот; а так как к этому же разряду относились здания внутри Рима, то этим опровергается предположение Гиббона, что сюда относилась приобретенная войной добыча. Никто, кроме граждан, не был в состоянии исполнить формальности, которых требовала mancipatio, поэтому чужестранцы не могли приобретать такой собственности.— Hugo. (Примечание, написанное по этому поводу Варнкёнигом, слишком длинно и потому неудобно для помещения здесь; сверх того он имел в виду лишь своих отечественных юристов. Он извлек из Институций Гая много мелких и малоизвестных подробностей. Более краткое примечание Hugo ясно, но не дает вполне удовлетворительного объяснения слова mancipatio. Этот обряд требовал присутствия пяти совершеннолетних римских граждан в качестве свидетелей и шестого, который назывался libripens и держал пару медных весов. Покупатель клал деньги на эти весы и затем клал свою руку на то, что купил, произнося установленную формулу. Это было то, что на-

зывалось in manum capere, откуда произошло и слово mancipatio. На следующей странице Гиббон упоминает об этом обряде как о таком, который соблюдался при передаче земельной собственности. Но словом mancipia не переставали называть в средние века (Ducange, 4, 390) servi homines, а отсюда и освобождение от рабства получило название manumissio u emancipatio.— Издат.)

147) Из этого краткого срока давности Юм (Essays, ч. 1, стр. 423) заключил, что в ту пору в Италии право земельной собственности было не более прочно, чем теперь у татар. Но его противник Валлас упрекает его, и не без основания, в том, что он не обратил внимания на условия, которыми была обставлена эта давность. (Institut. кн. 2, тит. 6.)

148) См. Институции (кн. 1, тит. 4, 5) и Пандекты (кн. 7) Noodt написал ученый и ясный трактат de Usufructu (Opp. том I, стр. 387-478).

149) Вопросы de Servitutibus обсуждаются в Институциях (кн. 2, тит. 3) и в Пандектах (кн. 8). Цицерон (pro Murena,гл. 9) и Лактанций (Institut. Divin. кн. 1, гл. 1) насмехаются над мелочной теорией de aqua pluvia arcenda, etc. Однако эта теория могла иметь частное применение при разрешении споров между соседями как в городах, так и в деревнях.

150) У патриархов старший сын пользовался правами мистического и духовного первородства. (Книга Бытия, XXV, 31). В Ханаанской земле он имел право на двойную долю наследства. (Второзаконие, XXI, 17, с прекрасным комментарием Ле Клерка.

151) В Афинах сыновья получали поровну, но бедные дочери должны были довольствоваться тем, что им давали братья. См. доводы Исея (в седьмом томе Греческих Ораторов), изложенные в периоде и в комментарии сэра Виллиама Джонса — ученого-юриста и даровитого человека.

152) В Англии один старший сын наследует землю; этот закон, по словам православного судьи Блекстона (Commentaries on the Laws of England, ч. II, стр. 215), несправедлив только по мнению младших братьев. Он может иметь некоторое достоинство потому, что возбуждает их к предприимчивости.

153) Blackstone's Tables (ч. II, стр. 202) описывают степени родства, установленные гражданскими законами, и сравнивают их с теми, которые установлены церковью и обычным правом. Отдельный трактат Юлия Павла de gradibus et affinibus помещен вполне или в сокращении в Пандектах (кн. 38, тит. 10). В седьмых степенях он насчитывает (N18) тысячу двадцать четыре лица.

154) Вокониев закон был издан в 584 году от основ. Рима. Младший Сципион, которому было в ту пору семнадцать лет (Freinshemius, Supplement. Livian. XLVI, 40), воспользовался этим случаем, чтобы выказать свое великодушие в отношении к матери, сестрам и пр. (Полибий, том II, кн. 31, стр. 1453-1464, изд. Gronov.,— живя в его доме, был свидетелем этого поступка.)

155) Legem Voconiam (Ernesti, Clavis Ciceroniana magna voce bonis lateribus (шестидесяти пяти лет) suasissem, сказал Старший Катон (De Senectute, гл. 5). Авл Геллий (VII, 13; XVII, 6) сохранил некоторые отрывки оттуда.

156) См. законы о наследовании в Институциях Гая (кн. 2, тит. 8,стр. 130-144) и Юстиниана (кн. 3, тит. 1-6 с греческим переводом Феофила, стр. 515-575, 588-600), в Пандектах (кн. 38, тит.6-17), в Кодексе (кн. 6, тит. 55-60) и в Новеллах (118).

157) Что наследование было правилом, а завещание исключением, доказал Taylor (Elements of Civil Law, стр. 519-527)— ученый и бойкий писатель, иногда впадавший в сбивчивость. Во второй и в третьей книгах метода Институций, бесспорно, нелепа, и канцлер Дагессо (Oevres том 1, стр. 275) выразил сожаление о том, что его соотечественник Domat не был на месте Трибониана. Однако помещение договора прежде наследования, конечно, не может считаться за натуральный порядок изложения гражданских законов.

158) Завещания, совершавшиеся до этого времени, быть может, должны быть отнесены к вымыслам. В Афинах только тот, кто умирал бездетным, мог оставлять после себя завещание. (Плутарх, in Solon., том. I, стр. 164. См. Isaeus и Jones).

159) О завещании Августа упоминает Светоний (in August. гл. 101 in Neron. гл. 4), произведения которого можно изучать как сборник римских древностей. Плутарх (Opuscul. том. II, стр. 976) удивлен. Выражение Ульпиана (Fragment. тит. 20, стр. 627, изд. Schulting) кажется слишком исключительным — Solum in usu est.

160) Юстиниан (Новел. 115, N 3, 4) перечисляет только общественные и семейные преступления, за которые сын также мог лишить своего отца прав наследования.

161) После того как Двенадцать Таблиц дозволили свободно завещать свое состояние, за право стали употреблять во зло ко вреду семейств и законных наследников. Еще в A.U.C. 450 г. была сделана попытка воспрепятствовать этим злоупотреблениям, и с этой целью был издан Lex Furia Testamentaria (Лекции Нибура, 1, 303). В последние времена республики, около A.U.C. 715 г., трибун Фалцидий предложил и провел закон, который запрещал гражданину располагать по завещанию более чем тремя четвертями своего состояния и таким образом обеспечил за его законным наследником или наследниками право на остальную четверть. Это и была та Фалцидиева часть, о которой говорит Гиббон.— Издат.

162) Так называемые Substitutions fidei — commissaires, о которых говорится в новейших гражданских законодательствах, имеют феодальный характер и заимствованы из римской юриспруденции, но едва ли имеют какое-либо сходство с древними fidei commissa. (Institutions du Droit François, том 1, стр.347-383. Dénissart, De'cisions de Jurissprudence, том IV, стр. 577-604). Их распространили до четвертой степени родства вследствие употребления во зло сто пятьдесят девятой Новеллы — закона пристрастного, неясного и написанного напыщенным слогом.

163) Дион Кассий (том II, кн. 56, стр.814, с примечаниями Реймара) определяет эту сумму на греческие деньги в двадцать пять тысяч драхм. (Этот закон подвергался многоразличным и подробным толкованиям. Под словами "право женщин наследовать" Гиббон, очевидно, разумеет общее право наследовать такую собственность, о которой не было духовного завещания. Doujat, в своем издании Ливия Ad usum Delphini, утверждает в длинном примечании к Epitome, гл. 41, что устранение от наследования распространялось только на наследниц из первоклассных граждан — non guorum vis civium, sed locupletiorum, primae classis, gui 125 millia aeris, ampliusve, censi erant. С другой стороны, Нибур полагает, что этим законом запрещалось наследование в каком бы то ни было размере. Он, должно быть, просмотрел вышеприведенное место из Диона Кассия. Он так объясняет в своих Лекциях (2, 225) этот закон в том, что касается

единственной дочери: "Lex Voconia запрещал всякое завещание собственности в пользу женщины, за исключением того случая, когда не было других детей, кроме одной дочери. Это постановление было основано на родственных связях между членами одного рода, так как эта единственная дочь, подобно тому как делалось в Аттике, была обязана выйти замуж за одного из членов ее собственного рода (gens), так что состояние не переходило в чужой род".— Издат.

164) Монтескье (Esprit des Loix, кн. 27) объясняет — иногда остроумно, иногда по фантазии — перемены, происходившие в римском законодательстве о наследовании.

165) Основные правила гражданского законодательства относительно наследств, завещаний, приписей к завещаниям, завещанных имуществ и душеприказчиков изложены в Институциях Гая (кн. 2, тит. 2-9, 91-144), Юстиниана (кн. 2, тит. 10-25) и Феофила (стр.328-514); а в Пандектах (28-39) эти обширные подробности занимают двенадцать книг.

166) Институции Гая (кн. 2, тит. 9, 10, стр.144-214), Юстиниана (кн. 3, тит. 14-30; кн. 4, тит. 1-6) и Феофила (стр.616-837) различают четыре рода обязательств — aut re, aut verbis, aut literis, aut consensu; но признаюсь, что я предпочитаю мое собственное разделение.

167) Насколько хладнокровное и основательное свидетельство Полибия (кн.6, стр.693; кн. 31, стр. 1459, 1460) выше неопределенных и ни на чем не основанных похвал — omnium maxime et praecipue fidem coluit! (A.Gellius, 20, 1).

168) Gerard Noodt написал специальный трактат: Jus Praetorium de Pactis et Transactionibus (Op. том 1, стр. 483-564). По этому случаю я могу заметить, что в начале текущего столетия гражданское право преподавалось в университетах Голландии и Бранденбурга на самых основательных и благородных принципах.

(Простые соглашения (pacta) были так же обязательны, как и формальные договоры. Но не всякое соглашение давало одинаковые права на иск или на прямое обращение к суду. Во всех других отношениях судья должен был поддерживать обязательную силу pactum'a. Всякая форма соглашения должна заключать в себе ***стипуляцию***, от которой исходит право предъявления иска.— Warnkönig.

169) Все, что касается интересного и разнообразного вопроса о договорах по соглашению, разбросано в четырех книгах (17-20) Пандектов; этот сюжет заслуживает особенного внимания со стороны английских юристов.

170) Условия относительно арендной платы определены в Пандектах (кн. 19) и в Кодексе (кн. 4, тит.65). Quinquennium, или пятилетний срок, был, как кажется, установлен скорей обычаем, чем законом; но во Франции все договоры об отдаче земель в аренду делались на девять лет. Это стеснение было устранено только в 1775 году (Encyclopèdie Methodique, том 1, de la Jurisprudence, стр. 668, 669), и я с сожалением замечаю, что оно еще до сих пор соблюдается в прекрасной и счастливой стране, в которой я живу в настоящее время.

171) Я мог бы с полным доверием положиться на мнения и ученые исследования G.Noodta, заключающиеся в его трех книгах de Foenore et Usuris (Opp. том 1, стр. 175-268). Лучшие критики и юристы определяют asses или centesimae usurae в двенадцать процентов, а unciariae — в один процент; Noodt (кн. 2, гл. 2, стр.207), Gravina

(Opp. стр. 295 и сл., 210), Heineccius (Antiquitat ad Institut. кн. 3, тит. 15), Montesquieu (Esprit des Loix, кн. 22, гл. 22, том II, стр.36. Défense de l Esprit des Loix том III, стр. 478 и сл.) и в особенности Gronovius (De Pecunia Veteri, кн.3, гл. 13, стр.213-227) и его три Antexegeses (стр. 455-655); он впервые высказал или, по меньшей мере, поддерживал это правдоподобное мнение, которое, впрочем, затемняется некоторыми затруднениями.

172) Primo duodecim tabulis sancitum est ne quis unciario foenore amplius exerceret. (Тацит, Летоп. 6.16). Pour peu (говорит Монтескьё, Esprit des Loix, кн. 22, гл.22) gu on soit verse dans l Histoire de Rome on verra gu une pareille loi ne devoit pas etre l ouvrage des decemvirs. Разве Тацит был несведущ или бестолков? Но самые благоразумные и самые добродетельные патриции могли принести свое корыстолюбие в жертву своему честолюбию и могли попытаться положить конец отвратительному обыкновению, назначив такой процент, за который никто не согласился бы дать взаймы деньги, и такое наказание, которому ни один должник не захотел бы себя подвергнуть.

Теперь уже положительно доказано, что foenus unciarium доходил до ежегодного дохода в десять процентов. В Сборнике гражданского законодательства Hugo (ч.V, стр. 180) есть статья, в которой Schrader оправдывает догадки Нибура, Hist. Rom. II, стр.431.— Warnkönig.

Мнения Нибура как об этом предмете, так и о многих других можно найти в его Лекциях. Сославшись (ч. 1, стр.337) на этот размер процентов (а его мнение подтверждает его ученик Schrader), он исправляет прежнюю ошибку, допуская, что foenus unciarium был внесен, как о том свидетельствует Тацит, в Двенадцать Таблиц, но что закон против чрезмерных процентов был возобновлен через сорок лет после взятия Рима галлами. Затем, говоря о периоде, непосредственно предшествовавшем Тарентинской войне A.U.C. 470 г., он говорит (стр. 541): "В эту пору было запрещено взимание процентов, и тот, кто давал взаймы деньги, был вынужден пользоваться чужеземцами как ширмами. Когда заводились переговоры о займе, за который нужно было уплачивать проценты, обе стороны отправлялись в Пренест и в Тибур. Некоторые из жителей Тибура гласно давали взаймы деньги, а если из этих сделок возникал спор, он разрешался на местном форуме. Таким образом, запрещение чрезмерных процентов может быть согласовано с тем фактом, что они все-таки взимались". Через сто лет после того, когда окончилась продолжительная борьба с Карфагеном (II, 192), "вопрос о процентах приобрел особую важность. Приобретение Сицилии открыло широкое поле для помещения капиталов, и предприимчивые люди отправлялись в провинции с целью нажиться. В Риме всякие проценты были противозаконными; но запрещение взимать их обходилось и не соблюдалось. Подобно тому как в Средние века дела этого рода устраивались через посредство евреев, в Риме ими занимались иноземцы и вольноотпущенники, а в провинциях для них не было никаких препятствий. Собственность (publicanum) Римского государства разрослась до таких размеров, что она отдавалась в аренду такими большими участками, как руды в Испании, как десятины на Сицилии или в Иллирии, или как ловля скумбрии у берегов Сардинии. Бравшие их в аренду фермеры извлекали громадные выгоды и богатели так быстро, как не могли богатеть те, которые пускали в оборот денежные капиталы. Если с какого-нибудь государства взыскивалась военная

контрибуция, иной publicanus охотно давал взаймы деньги за двенадцать процентов, и это был самый низкий размер вознаграждения, так как он иногда доходил до двадцати четырех и даже до тридцати шести процентов. Тогда губернаторы провинций заботились о том, чтобы заимодавец получил все, что ему должны. Отсюда возникло опрометчивое помещение капиталов". — Издат.

173) Юстиниан не соблаговолил уделить чрезмерным процентам место в своих Институциях; но правила и стеснения, касающиеся этого предмета, помещены в Пандектах (кн.22, тит. 1, 2) и в Кодексе (кн. 4, тит. 32, 33).

174) Все отцы церкви одинаково смотрят на этот предмет (Barbeyrac Morale des Peres, стр. 144 и сл.), и Киприан, и Лактанций, и Василий, и Златоуст (см. его легкомысленные аргументы у Noodta, кн. 1, гл. 7, стр.188), и Григорий Нисский, и Амвросий, и Иероним, и Августин, и множество соборов и казуистов.

175) Катон, Сенека и Плутарх решительно осуждали помещение денег в рост или злоупотребление этим обыкновением. Согласно с этимологией слов foenus и tokos, предполагают, что капитал должен приносить доход. ***Потомство бесплодного металла***!— восклицает Шекспир, а театр служит отголоском общественного мнения

176) Сэр William Jones написал остроумный и дельный трактат относительно законов о доверителях. (Лондон, 1781, стр. 127, in 8-vo). Он едва ли не единственный юрист, одинаково хорошо знакомый и с Вестминстерскими регистрами, и с комментариями Ульпиана, и с аттическими речами Исея, и с приговорами судей арабских и персидских.

177) Noodt (Opp. том 1, стр.137-172) написал особый трактат ad Legem Aquilliam. (Пандекты кн. 9, гл.2.)

178) Aulus Gellius (Noct. Attic. 20.1) заимствовал эту историю из Комментариев К. Лабеона к Двенадцати Таблицам.

179) Рассказ Ливия (1. 28) серьезен и положителен. At tu dictis Albane maneres — жестокосердное размышление, недостойное Виргилиева человеколюбия. (Энеида, 8.643). Гейне, с своим обычным изящным вкусом, замечает, что этот сюжет слишком отвратителен для щита Энея (том III, стр. 229).

180) Эпоху, в которую жил Дракон (Олимпиада 39, 1), выяснили: Sir John Marsham (Canon Chronicus, стр. 593 — 593) и Corsini (Fasti Attici, том III, стр. 62). Что же касается его законов, то следует обратиться к тем авторам, которые писали об афинском управлении,— к Сигонию, Меурсию, Поттеру и др.

181) Гравина (Opp. стр. 292, 293 с Комментарием, стр. 214 — 230) объяснил то, что изложено в седьмой из Двенадцати Таблиц de delictis. У Авла Геллия (20. 1) и в Collatio Legum Mosaicarum et Romanorum много оригинальных сведений.

182) Ливий упоминает о двух замечательных и гнусных эрах, когда три тысячи человек были подвергнуты обвинению в отравлении и сто девяносто знатных матрон были уличены в этом преступлении (40, 43, 8, 18). Юм устанавливает различие между веками семейных добродетелей и веками добродетелей общественных (Essays, ч. 1, стр. 22, 23). Я готов думать, что такие взрывы преступных наклонностей (как то было во Франции в 1680 году) суть случайные и необычайные явления, не оставляющие никаких следов на народных нравах.(Сам Ливий сомневается в достоверности более раннего из этих преступлений: non omnes auctores sunt. В Риме, в A.U.C. 422, было много

больных и умиравших, и жены 190 патрициев, как рассказывают, были уличены, на основании показаний одной ancilla (служанки), в том, что они или дали всем своим родственникам яду, или только приготовили этот яд. Не было указано никакого мотива для такого ужасного замысла, и вся эта история так бессмысленна, что Нибур даже не упомянул о ней. (См. Приложение к его Римской Истории, ч.II, стр.262, изд. Bohn.) Другое происшествие случилось в Сардинии A.U.C. 574, когда К. Мэний был послан туда в качестве претора. О нем рассказывают с полнейшим равнодушием. Если бы 3000 людей были обвинены в таком преступлении, то, конечно, сохранились бы какие-нибудь положительные сведения об их вине и об их наказании. Эти преступники и их жертвы оставили бы остров почти совсем без жителей.— Издат.

183) Двенадцать Таблиц и Цицерон (pro Roscio Amerino, гл. 25, 26) довольствуются одним мешком; Сенека (Excerpt. Controvers. 5, 4) прибавляет для украшения змей; Ювенал жалеет о невинной обезьяне (innoxia simia — Satir. 13. 156). Адриан (apub Dositheum Magistrum, кн. 3, гл. 16, стр. 874 — 876 с примечанием Schulting'a), Модестин (Пандекты 48, тит. 9, зак. 9), Константин (Код. кн. 9, тит. 17) и Юстиниан (Institut. кн. 4, тит. 18) перечисляют всех товарищей отцеубийцы. Но эта фантастическая казнь была упрощена на практике. Hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur (Paul. Sentent. Recept. кн. 5, тит. 24, стр. 512, изд. Schulting).

184) Первым отцеубийцей в Риме был L. Ostius, после второй Пунической войны. (Плутарх, in Romulo, том 1, стр. 57). Во время войны с кимврами P. Malleolus впервые совершил матереубийство (Liv. Epitom. кн. 68).

185) Гораций говорит о formidine fustis (кн. 2, посл. 2, 154); но Цицерон (de Republica, кн. 4, apud Augustin, de Civitat. Dei, кн. 2, гл. 9, in Fragment. Philosoph. том III, стр. 393, изд. Olivet) утверждает, что децемвиры признали сочинение пасквилей за уголовное преступление: cum perpaucas res capite sanxissent.— Perpaucas!

186) Bynkershoek (Observat. Juris Rom. кн. 1, гл.1, in Opp. том 1, стр. 9-11) старается доказать, что кредиторы могли разделять между собой не тело несостоятельного должника, а его цену. Но его толкование есть непрерывная грубая метафора и не может ниспровергнуть свидетельства римлян Квинтилиана, Цецилия, Фавония и Тертуллиана. См. Anlus Gellius, Noct. Attic. 20. 1. (В одном вымышленном разговоре Авл Геллий нападает на варварство первоначального языка, осмеивая вольный перевод слова secanto, находящегося в Двенадцати Таблицах. Цецилий и Фавоний выступают в этом разговоре только в качестве собеседников, и их никак нельзя принимать за доказательство существования отвратительного законного права, которого на самом деле никогда не существовало. Ни один римский юрист никогда не вступался за него, и Гиббон отзывается о нем с такой же иронией, как и Авл Геллий, который говорит в заключение: Dissectum esse antiquitus neminem, equidem, negue legi, neque audivi. Если бы на этот вопрос когда-либо смотрели иначе, то Монтескье не преминул бы упомянуть о нем, когда так горячо нападал на жестокосердие римского законодательства, обрекавшего несостоятельных должников на рабство (Esprit des Loix, 12, 21). Нибур, который в своей Истории (гл.40) принял слово secanto в его буквальном смысле, впоследствии выставил римский закон о должниках в его ясном и правильном значении (Лекции 1.224-238): "Должник мог в

обеспечение долга отдавать в залог и самого себя, и свое семейство. В случае неуплаты долга все они делались рабами или, выражаясь точнее, nexi. Иногда самого должника заключали в тюрьму и обходились с ним сурово, в надежде, что его родственники уплатят долг и возвратят ему свободу; или их всех продавали, или употребляли на работы, пока вознаграждение за их труд не покроет взыскания, и тогда их выпускали на волю. В двух последних случаях, если было налицо несколько кредиторов, каждый из них получал свою долю — в этом-то и заключался тот ***дележ личности***, который, при буквальном понимании закона, мог быть ошибочно принят ***за дележ членов тела***. Тот, кто поступал этим путем в личную зависимость, назывался не servus, а nexus, так как находился в условной зависимости и мог во всякое время получить полную свободу, внеся свой долг. Это вовсе не совместимо с безжалостным правом лишать его жизни.— Издат.

187) Первая речь Лисия (Reiske, Orator. Graec. том V, стр. 2-48) была произнесена в защиту мужа, который убил прелюбодея. Права мужей и отцов в Риме и в Афинах служат сюжетом ученого сочинения докт. Taylor'a (Lectiones Lysiacae, гл. II, in Reiske, том VI, стр. 301-308).

188) См. Casaudon ad Athenaeum (кн. 1, гл. 5, стр. 19). Percurrent raphanique mugilesque (Catull., стр. 41, 42, изд. Vossian). Hunc mugilis intrat. (Ювенал, Сатира 10, 317). Hunc perminxere calones (Горац. кн. 1, Сат. 2, 44) Familiae stuprandum dedit... fraudi non fuit (Вал. Максим, кн. 6, гл. 1, N 13).

189) Об этом законе упоминают Ливий (2, 8) и Плутарх (in Publicola, том 1, стр. 187), и он вполне оправдывает общественное мнение о смерти Цезаря, которое Светоний мог публично высказать под императорским управлением. Jure caesus existimatur (in Julio, гл. 76). Прочтите переписку, происходившую между Цицероном и Матием через несколько месяцев после мартовских ид (ad Fam. 11, 27, 28).

190) Фукидид, кн. 1, гл.6. Историк, который судит по этим фактам о степени цивилизации страны, отнесется с пренебрежением к варварству, которое господствует при европейских дворах. (Враждовавшие между собой политические партии носили скрытое под одеждой оружие, чтобы быть готовыми на всякий случай. См. Горация Epod. 7, Carm. 4, 15.— Издат).

191) Цицерон исчислял причиненные Сицилии убытки в millies (в 800000 фунт. стерл. Divinatio in Caecilium, гл. 5), потом уменьшил их на quadringenties (320000 ф.ст. I Actio in Verrem, гл.18) и наконец удовольствовался взысканием tricies (24000 ф.ст.). Плутарх (in Ciceron, том III, стр. 1584) не скрывал ходивших в народе подозрений и слухов.

192) Веррес жил почти тридцать лет после этого суда — до второго триумвирата; тогда он был подвергнут проскрипции по прихоти Марка Антония, которому очень понравилась его коринфская посуда (Плин. Hist. Natur., 34, 3).

193) Это число указано Валерием Максимом (кн. 9, гл. 2, N 1). Флор (4, 21) говорит, что были сосланы две тысячи сенаторов и всадников; Аппиан (de Bell. Civil. кн. 1, гл. 95, том II, стр. 133, изд. Scheweighaeuser) более точен: он насчитывает сорок сосланных сенаторского звания и тысячу шестьсот всаднического ценза, или сословия. (На склонность к пролитию крови уже было указано как на особенность римского характера. Нибур (Лекции, II, 383) говорит:

"Сулла впервые подал пример проскрипций, то есть он первый составил список тех, кого можно было безнаказанно убить и за чью голову даже была назначена награда. Однако его жертвы были немногочисленны в сравнении с жертвами Мария и Цинны, хотя его мстительность была страшна тем, что причиняла самые сильные страдания. Его проскрипция грозила жизни многих тысяч людей; ей, как рассказывают, подверглись только между всадниками две тысячи четыреста человек; но эта цифра кажется мне сомнительной. Аппиан говорит: "две тысячи шестьсот; он включает в это число всех, кто погиб сражаясь".— Издат.

194) Относительно уголовных законов (Leges Corneliae, Pompeiae, Juliae, законов Суллы, Помпея и Цезарей) см. Сентенции Павла (кн. 4, тит. 18-30, стр. 497-528, изд. Schulting), Кодекс Грегория (Fragment. кн. 19, стр.705, 706 in Schulting); Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum (тит. 1-15); Кодекс Феодосия (кн. 9); Кодекс Юстиниана (кн. 9); Пандекты (48); Институции (кн. 4, тит. 18) и греческий текст Феофила (стр. 917-926).

195) Это был опекун, отравивший опекаемого. Преступление было ужасно; однако Светоний (гл. 9) относит наказание к таким актам, в которых Гальба высказал себя acer, vehemens, et in delictis coercendis immodicus.

196) Abactores, или abigeatores, которые увели лошадь, или двух кобыл, или двух волов, или пять свиней, или десять коз, подвергались смертной казни (Paul. Sentent. Recept., кн. 4, тит. 18, стр. 497, 498). Адриан (ad Concil. Boeticae), который был особенно строг ввиду частого повторения преступлений, осуждал виновных ad gladium, ludi damnationem (Ulpian de Officio Proconsulis, кн. 8, in Collatione Legum Mosaic. et Rom., тит. 11, стр. 235).

197) До выхода в свет изданных Шультингом произведений Юлия Павла (кн. 2, тит. 26, стр. 317 — 323) все утверждали и верили, что Юлиевы законы наказывали за прелюбодеяние смертью, а это заблуждение возникло из плутовства или из ошибки Трибониана. Однако Липсий угадывал правду на основании рассказа Тацита (Летоп. 2, 50; 3, 24; 4, 42) и даже на основании обыкновения Августа, который различал изменнические слабости своих родственниц.

198) В случаях прелюбодеяния Север признавал право публичного обвинения только за мужем. (Код. Юстин. кн. 9, тит. 9, зак. 1). И нельзя назвать такую привилегию несправедливой — так различны последствия мужской и женской неверности.

199) Тимон (кн. 1) и Феопомп (кн. 43, apud Athenaeum, кн. 12, стр. 517) описывают роскошь и разврат этрусков. Около того же времени (A.U.C.445) римские юноши учились в Этрурии. (Лив. 9. 36).

200) Персы развратились в той же школе (Геродот, кн. 1, гл.35). Можно бы было написать интересную диссертацию о возникновении противоестественного греха после времен Гомера, о его распространении между азиатскими и европейскими греками, о пылкости их страстей и о нехитрых затеях добродетели и дружбы, которыми потешали себя афинские философы. Но scelera ostendi oportet dum punintur abscondi flagitia.

201) И название, и время издания, и содержание этого закона одинаково сомнительны. (Gravina, Op. стр. 432, 433. Heineccius, Hist. Jur. Rom. N 108. Ernesti, Clav. Ciceron. in Indice Legum). Но я должен заметить, что nefanda Venus честного немца называется более вежливым итальянцем aversa.

202) См. речь Эсхина против катамита Тимарха (in Reiske, Orator. Graec., том III, стр. 21-184).
203) Читателю, знакомому с произведениями классических писателей, само собой придет на ум множество постыдных выражений. Я напомню ему только о хладнокровном замечании Овидия:
Odi concubitus qui non utrumque resolvunt.
Hoc est guod puerum tangar amore minus.
204) Элий Лапмпридий (in Vit. Heliogabal. in Hist. August. стр. 112), Аврелий Виктор (in Philippo, Codex Theodos. кн. 9, тит. 7 и зак. 7) и Комментарий Годефруа, том III, стр. 63. Феодосий приказал закрыть в Риме подземные притоны разврата, в которых лица обоего пола безнаказанно предавались проституции.
205) См. законы Константина и его преемников против прелюбодеяния, мужеложества и пр. в Кодексах Феодосия (кн. 9, тит. 7, зак. 7; кн.11, тит. 36, зак. 1.4) и Юстиниана (кн. 9, тит. 9, зак. 30, 31). Эти императоры говорят столько же языком страсти, сколько языком справедливости, и недобросовестно приписывают первым Цезарям свою собственную строгость.
206) Юстиниан, Новеллы 77, 134, 141. Прокопий, in Anecdot. гл. 11, 16, с Примечаниями Алеманна. Феофан, стр. 151. Кедрин*, стр. 368. Зонара, кн. 14, стр. 64.
*) В предыдущих томах этот писатель по недосмотру назван Цедреном, тогда как уже давно установилось на нашем языке обыкновение называть его Кедриным. Впредь и мы будем так его называть. — Примеч.пер.
207) Монтескье, Esprit des Loix, кн. 12, гл. 6. Этот красноречивый философ старается согласовать права свободы с правами природы, которые никогда не должны бы были противоречить одни другим.
208) Относительно того, как были развратны жители Палестины за две тысячи лет до начала христианской эры, см. историю Моисея и его законы. О разврате Древней Галлии говорит Диодор Сицилийский (том 1, кн. 5, стр. 356); о разврате Китая говорят магометанские и христианские путешественники (Древние рассказы об Индии и Китае, стр. 34, в переводе Renaudot и его желчного критика Père Premare, Lettres Edifiantes, том XIX, стр. 435); о разврате американских уроженцев рассказывают испанские историки. (Garcilaso de la Vega, кн. 3, гл. 13, перевод Rycaut, и Диксионер Бэйля, том III, стр. 88). Я верю и надеюсь, что негры не были знакомы на своей родине с этой нравственной заразой.
209) Важный сюжет публичных допросов и судебных разбирательств в Риме объяснен с большой ученостью и классическим слогом Шарлем Сигонием (кн. 3, de Judiciis, in Op. том III, 679-864); хорошее сокращение его сочинения можно найти в Republique Romaine de Beaufort (том II, кн. 5, стр. 1-121). Для того, кто пожелал бы иметь более подробные сведения, могут служить пособием: Noodt (de Jurisdictione et Imperio Libri duo, том 1, стр. 93-134), Heineccius (ad Pandect, кн. 1 и 2, ad Institut., кн.4, тит. 17. Element. de Antiquitat) и Gravina (Op. 230-251).
210) И в Риме, и в Англии обязанности этих судей должны быть отнесены к числу случайных и не должны быть принимаемы за судейское звание или за судейскую профессию. Но обязанность единогласного приговора составляет отличительную особенность нашего законодательства, которое обрекает присяжных на такие мучения, от которых избавлен преступник. (Должность судьи подвергалась у римлян многим переменам. Сначала ее исполнял народ; потом ее мало-помалу присвоили себе сенаторы, пока Гай Гракх, около A.U.C. 628, не добился издания закона, устанавливавшего нечто вроде суда при-

сяжных, которые выбирались из трехсот всадников. Затем, A.U.C 653, Lex Servilia установил, что вместе с всадниками должно быть такое же число сенаторов. Но это продолжалось только девять лет, по истечении которых Lex Livia назначил из этого смешанного собрания постоянную комиссию; она называлась Quaestiones Perpetuae, судила преступников и разбирала тяжбы. Сулла передал, около A.U.C. 670, эту власть преторам, число которых увеличил до восьми. Они не только разрешали вопрос о невинности или виновности, но после того как постановили свой приговор, имели право миловать. (Нибур, Лекции, ч. II, стр. 297, 345, 389; ч. Ш, стр. 21.— Издат.)

211) Мы обязаны этим интересным фактом отрывку Аскония Педиана, который славился в царствование Тиберия. Утрата его комментарий на Речи Цицерона лишила нас ценных исторических и юридических сведений.

212) Полиб., кн. 6, стр. 643. Расширение пределов империи и города Рима принудило изгнанников искать более отдаленных убежищ.

213) Qui de se statuebant, humabantur corpora manebant testamenta; pretium festinandi. Тацит, Летоп. 6.25, с примечаниями Липсия.

214) Юлий Павел (Sentent. Recept. кн. 5, тит. 12, стр. 476), Пандекты (кн. 48, тит. 21), Кодекс (кн. 9, тит. 50), Bynkershoek (том 1, стр. 59. Observat. J.C.R. 4. 4) и Монтескье (Esprit des Loix, кн. 29, гл.9) указывают гражданские ограничения свободы и привилегии самоубийц. Наложенные на этих последних посмертные наказания были продуктом позднейших и менее просвещенных веков.

215) Плин. Hist. Natur. 36. 24. Когда он измучил своих подданных постройкой Капитолия, работники с отчаяния лишали себя жизни; он приказал распять их трупы на крестах.

216) Сходство между насильственной смертью и смертью рановременной побудило Вергилия (Энеида, 6, 434-439) смешать самоубийц с детьми, с теми, кто умирает от любви, и с невинно осужденными. Лучший издатель его произведений Гейне не в состоянии понять основную мысль или систему юриспруденции римского поэта.

ГЛАВА XLV

Царствование Юстина Младшего.— Посольство от авар.— Их поселение на Дунае.— Завоевание Италии лангобардами.— Усыновление Тиберия и его царствование.— Царствование Маврикия.— Положение Италии под властью лангобардов и равеннских экзархов.— Бедственное положение Рима.— Характер и правление папы Григория 1-го.

В последние годы царствования Юстиниана его одряхлевший ум витал в небесных пространствах и пренебрегал делами этого мира. Его подданные с нетерпением ожидали конца его продолжительной жизни и продолжительного царствования; однако те из них, которые были способны здраво мыслить, опасались, что с момента его смерти в столице вспыхнет мятеж, а в империи междоусобная война. Семь племянников[1] бездетного монарха — сыновья или внуки его брата и сестры были воспитаны в царской роскоши; провинции и армии видели их на самых высоких постах; их личные качества были всем известны; их приверженцы были деятельны, а так как недоверчивый старик медлил выбором своего преемника, то каждый из них имел одинаковое основание надеяться, что будет наследником своего дяди. Юстиниан испустил дух в своем дворце после тридцативосьмилетнего царствования, и этой решительной минутой воспользовались друзья сына Вигиланции Юстина[2]. В полночь его прислугу разбудила шумная толпа людей, громко стучавшихся в двери; оказалось, что это были самые влиятельные члены Сената, и им позволили войти. Эти депутаты сообщили ему важную тайну о смерти императора, передали ему или, быть может, выдумали, что перед смертью его выбор пал на самого любимого и самого достойного из его племянников и умоляли Юстина предотвратить беспорядки, которые неминуемо возникнут, если на рассвете народ узнает, что он остался без повелителя. Выразив приличные в таком случае удивление, скорбь и застенчивость, Юстин, по совету своей жены Софии, подчинился воле Сената. Его поспешно и без шума отвезли во дворец; гвардейцы отдали честь своему новому государю, и затем были торопливо исполнены воинские и религиозные об-

ряды коронования. Офицеры, на которых специально лежала эта обязанность, надели на него императорские украшения — красные полусапожки, белую тунику и пурпуровую мантию. Один счастливый солдат, которого Юстин немедленно возвел в звание трибуна, надел на его шею воинское ожерелье; четверо здоровых юношей подняли его на щит; он стоял на этом щите твердо и прямо, принимая изъявления преданности от своих подданных, а выбор этих последних был освящен благословением патриарха, возложившего диадему на голову православного монарха. Ипподром уже был наполнен бесчисленными зрителями, и лишь только император воссел на своем троне, голоса и синих, и зеленых смешались в одних и тех же верноподданнических возгласах. В речах, с которыми Юстин обратился к Сенату и к народу, он обещал прекратить злоупотребления, позорившие старость его предшественника, держаться принципов справедливого и милостивого управления и с наступлением приближавшихся январских календ[3)] воскресить в своем собственном лице и название, и щедрость римских консулов. Немедленная уплата долгов его дяди была солидным ручательством за его добросовестность и великодушие; целый ряд носильщиков с наполненными золотом мешками выступил в самую середину ипподрома, и утратившие всякую надежду Юстиниановы кредиторы приняли эту справедливую уплату за добровольный дар. По прошествии почти трех лет императрица София последовала его примеру и даже превзошла его, избавив многих бедных граждан от тяжести долгов и чрезмерных процентов,— это было такого рода благодеяние, которое дает полное право на признательность, облегчая самую тяжелую нужду, но которое доставляет расточительным и нечестным людям случай употреблять во зло добросердечие монарха[4)]. В седьмой день своего царствования Юстин давал аудиенцию послам от авар, и эта церемония была обставлена необыкновенной пышностью, рассчитанной на то, чтобы внушить варварам и удивление, и уважение, и страх. Начиная от входа во дворец на всех обширных площадках и во всех длинных портиках блестели высокие шлемы и позолоченные щиты выстроившихся рядами гвардейцев, которые салютовали своими копьями и секирами с такой самоуверенностью, какой едва ли можно было ожидать от них на поле сражения. Офицеры, занимавшие высокие должности или состоявшие

при особе монарха, нарядились в самые богатые одеяния и разместились сообразно с тем, к какому рангу военной или гражданской иерархии они принадлежали. Когда занавес святилища открылся, послы узрели восточного императора, восседавшего на троне под балдахином, или куполом, который поддерживали четыре колонны и на вершине которого находилась крылатая фигура Победы. Под впечатлением возбужденного в них удивления они подчинились тому, чего требовал от них установленный при византийском дворе обряд поклонения; но лишь только они встали на ноги, начальник посольства Таргеций заговорил вольным и гордым языком варвара. Он превозносил устами состоявшего при нем переводчика величие кагана, милосердию которого южные царства обязаны своим существованием и который владычествует над непобедимыми подданными, перешедшими через замерзшие реки Скифии и в настоящее время покрывшими берега Дуная своими бесчисленными палатками. Покойный император поддерживал ежегодными и дорогими подарками дружеские сношения с их признательным монархом, и враги Рима уважали союзников авар. Такое же благоразумие должно побудить Юстинианова племянника подражать щедрости его дяди и купить благодеяния мира у непобедимого народа, который отличается необыкновенным искусством в военных упражнениях, составляющих его наслаждение. Император отвечал в таком же тоне высокомерной угрозы и объявил, что его самоуверенность основана на покровительстве Бога христиан, на древней славе Рима и на недавних триумфах Юстиниана. "В империи, — сказал он,— достаточно людей, лошадей и оружия, чтобы защитить наши границы и наказать варваров. Вы предлагаете вашу помощь и грозите войной; мы презираем и вашу вражду, и вашу помощь. Нашего союза ищут победители авар; неужели же мы будем бояться их дезертиров и изгнанников?[5] Милости моего дяди были вызваны вашим бедственным положением и вашими смиренными мольбами. Что же касается меня, то я окажу вам более важное одолжение — я познакомлю вас с вашим собственным бессилием. Удалитесь от моих глаз; жизнь послов не подвергнется никакой опасности, если же вы возвратитесь для того, чтобы молить о прощении, то, быть может, вы испытаете на себе мое милосердие"[6]. По донесениям своих послов каган убоялся наружной непоколебимости римско-

го императора, с характером и ресурсами которого был вовсе не знаком. Вместо того чтобы привести в исполнение свои угрозы против Восточной империи, он направился в бедные и варварские страны Германии, находившиеся в ту пору под владычеством франков. После двух нерешительных сражений он согласился отступить, а австразийский король облегчил господствовавшую в его лагере нужду немедленной доставкой хлеба и скота[7]. Эти неоднократные разочарования охладили заносчивость авар, и все их могущество, вероятно, расплылось бы по сарматским степям, если бы союз с королем лангобардов Альбоином не направил их оружие на новую цель и не прикрепил их истощенную фортуну к прочному поселению.

В то время как Альбоин служил под знаменем своего отца, он столкнулся в одном сражении против гепидов с сыном их короля и пронзил его своим копьем. Восхищавшиеся храбростью юноши-лангобарды стали единогласно требовать от его отца, чтобы геройский сын, разделявший с ним опасности битвы, был допущен к участию в пиршестве, устроенном по случаю победы. "Вы, конечно, не позабыли, — возразил непреклонный Аудоин,— мудрых обычаев наших предков. Каковы бы ни были заслуги сына короля, он не может сесть за стол вместе со своим отцом, пока не получит своего оружия из рук иноземного короля". Альбоин почтительно подчинился законам своего отечества, собрал сорок товарищей и смело отправился ко двору короля гепидов Туризинда, который, исполняя долг гостеприимства, обнял убийцу своего сына и обошелся с ним любезно. За пиром, во время которого Альбоин занимал место убитого им юноши, в душе Туризинда заговорили трогательные воспоминания о прошлом. "Как мило мне это место и как ненавистен мне тот, кто теперь его занимает"— таковы были слова, вырвавшиеся вместе со вздохом из груди негодующего отца. Его скорбь расшевелила национальную ненависть гепидов, и оставшийся в живых его сын Кунимунд, разгорячившись от вина или от грусти по брату, увлекся жаждой мщения. "Лангобарды, — сказал грубый варвар,— похожи и наружностью, и запахом на кобыл с наших сарматских степей". Это был оскорбительный намек на белые перевязки, которыми были обвернуты их ноги. "Прибавь еще одно сходство,— возразил смелый лангобард,— ведь вам известно, как они лягаются. Побывай на Асфельд-

ской равнине и поищи костей твоего брата: они смешались с костями самых низких животных". Гепиды, отличавшиеся свойственной воинственным народам храбростью, вскочили со своих мест, а Альбоин и его сорок товарищей схватились за свои мечи. Смятение было прекращено вмешательством почтенного Туризинда. Он сохранил и свою собственную честь, и жизнь своего гостя и, по исполнении торжественных обрядов усыновления на оружии*, отпустил чужеземца в окровавленных доспехах своего сына, которые были подарком от огорченного отца. Альбоин с торжеством возвратился домой, а превозносившие его беспримерную неустрашимость лангобарды были вынуждены отдать справедливость добродетелям их врага[8]. Во время этого необыкновенного посещения Альбоин, вероятно, имел случай видеть дочь Кунимунда, вскоре после того вступившего на престол гепидов. Она носила имя Розамунды, которым выражается понятие о женской красоте и которое нередко встречается в нашей истории и в наших романах при описании любовных приключений. Король лангобардов (отца Альбоина уже не было в живых) был помолвлен с внучкой Хлодвига; но узы чести и политики не устояли против желания достигнуть обладания прекрасной Розамундой и нанести оскорбление ее семейству и ее нации. Он безуспешно пытался действовать путем убеждений, и нетерпеливый влюбленный наконец достиг своей цели силой и хитростью. Последствием этого была война, которую он предвидел и которой желал; но лангобарды не были в состоянии долго отражать яростные нападения гепидов, которых поддерживала римская армия. А так как предложение вступить в брак с Розамундой было презрительно отвергнуто, то Альбоин нашелся вынужденным отказаться от захваченной им добычи и разделить с семейством Кунимунда нанесенное этому последнему бесчестие[9].

Когда национальную вражду разжигают личные оскорбления, то всякий удар, который не смертелен или не решителен, ведет лишь к непродолжительному перемирию, во время которого потерпевшая неудачу сторона точит свое оружие для новой борьбы. Силы Альбоина оказались недостаточными для удовлетворения его любовного влечения, его честолюбия и его мстительности; поэтому он низошел до того, что

* Усыновление на оружии — древнегерманский обычай, которым скреплялся военно-политический союз. Обряд совершал король, вручая оружие в надежде, что сын не поднимет его на отца.

обратился с просьбой о помощи к кагану, а аргументы, которые он употребил в дело, знакомят нас с хитрыми приемами и с политикой варваров. Его нападение на гепидов,— говорил он,— было вызвано благоразумным желанием истребить народ, который, вступив в союз с Римской империей, сделался врагом всех народов и личным недругом кагана. Если военные силы авар и лангобардов будут действовать в этой славной борьбе сообща, то победа будет несомненна, а награда неоценима; тогда Дунай, Гебр*, Италия и Константинополь ничем не будут защищены от их победоносных армий. Если же они будут колебаться и не поспешат предотвратить исполнение коварных замыслов римлян, то авар будет преследовать до самых крайних земных пределов та же самая политика, которая подвергала их до сих пор оскорблениям. Эти благовидные доводы были выслушаны каганом с равнодушием и с пренебрежением: он задержал лангобардских послов в своем лагере, стал тянуть переговоры и попеременно ссылаться то на свое нежелание пускаться на такое важное предприятие, то на недостаточность своих средств. Наконец, он объявил послам, какой ценой может быть куплен его союз: он потребовал, чтобы лангобарды немедленно уступили ему десятую часть своего рогатого скота, чтобы добыча и пленники делились поровну, но чтобы земли гепидов перешли в исключительную собственность авар. Действовавший под влиянием своих страстей, Альбоин охотно принял эти тяжелые условия, а так как римляне были оскорблены неблагодарностью и вероломством гепидов, то Юстин перестал интересоваться судьбой этого безнравственного народа и остался спокойным зрителем этой неравной борьбы. В своем отчаянном положении Кунимунд был деятельным и опасным противником. Его уведомили, что авары перешли границу его владений; но, будучи уверен, что после поражения лангобардов ему нетрудно будет справиться с этими пришельцами, он устремился навстречу непримиримому врагу его рода и его семьи. Однако неустрашимость гепидов доставила им лишь почетную смерть. Самые храбрые воины этого народа легли на поле сражения; король лангобардов с наслаждением смотрел на отрубленную голову Кунимунда, а из черепа убитого был сделан кубок, для того чтобы насытить ненависть победителя или, быть может, для того чтобы не нару-

* Древнее название реки Марица.

шать варварского обычая его соотечественников[10]. После этой победы ничто не препятствовало дальнейшим успехам союзников, и они в точности исполнили условия своего соглашения[11]. Прекрасные страны Валахии, Молдавии, Трансильвании и той части Венгрии, которая лежит по ту сторону Дуная, были без всякого сопротивления заняты новой скифской колонией, и владычество каганов над Дакией с блеском продержалось в течение более двухсот тридцати лет. Народ гепидов исчез; но при дележе пленников те, которые поступили в рабство к аварам, были менее счастливы, чем те, которые достались лангобардам, так как великодушие заставляло этих последних усыновлять храбрых врагов, а их любовь к свободе была несовместима с хладнокровной и предумышленной тиранией. Половина добычи внесла в лагерь Альбоина такие богатства, которым варвары едва ли были в состоянии определить цену. Прекрасную Розамунду убедили и принудили признать права ее победоносного любовника, и дочь Кунимунда, по-видимому, простила те преступления, которые можно было приписать непреодолимому влиянию ее собственных прелестей.

Разрушение могущественного королевства упрочило славу Альбоина. Во времена Карла Великого и бавары, и саксы, и другие племена, говорившие на тевтонском языке, еще повторяли песнопения, в которых описывались геройские доблести, храбрость, щедрость и счастье короля лангобардов[12]. Но его честолюбие еще не было насыщено, и победитель гепидов обратил свои взоры от берегов Дуная к более богатым берегам По и Тибра. Еще не прошло пятнадцати лет с тех пор, как его подданные познакомились, в качестве союзников Нарсеса, с прекрасным климатом Италии; о ее горах, реках и больших дорогах они еще сохраняли живые воспоминания, а рассказы об их военных успехах и, может быть, вид вывезенной ими оттуда добычи возбуждали в подраставшем поколении соревнование и дух предприимчивости. Своим мужеством и красноречием Альбоин разжигал эти влечения и, как рассказывают, постарался повлиять на чувственные наклонности своих подданных, познакомив их за королевской трапезой с самыми красивыми и самыми вкусными плодами, какие зреют на открытом воздухе в этом саде здешнего мира. Лишь только он объявил о походе, отважное германское и скифское юношество увеличило военные силы лангобардов.

Здоровые поселяне Норика и Паннонии снова усвоили нравы варваров, и названия гепидов, болгар, сарматов и баваров оставили в итальянских провинциях ясно распознаваемые воспоминания[13]. Старинные союзники лангобардов саксы приняли приглашение Альбоина и прислали ему двадцать тысяч воинов вместе с их женами и детьми. Храбрость этих союзников способствовала его успехам, но его армия была так многочисленна, что их присутствие или отсутствие было бы не очень заметно. Всякому было дозволено исповедовать такую религию, какую желал. Король лангобардов был воспитан в арианской ереси; но католикам, при отправлении их богослужения, он позволял молиться о его обращении в истинную веру, а более упорные варвары могли приносить в жертву богам своих предков[14] козу или, быть может, пленников. Лангобардов связывала с их союзниками общая привязанность к вождю, отличавшемуся всеми добродетелями и пороками варварского героя, а предусмотрительный Альбоин заготовил для экспедиции огромные запасы всякого рода оружия. Лангобарды везли с собой всю свою движимость, а свои земли охотно уступили аварам вследствие данного этими последними торжественного обещания, которое было и дано и принято без усмешки, что, если лангобардам не удастся завоевать Италию, этим добровольным изгнанникам будет возвращена их прежняя земельная собственность.

Они, вероятно, и не имели бы успеха, если бы им пришлось иметь дело с Нарсесом, а заслуженные воины, когда-то участвовавшие в победах римского полководца над готами, неохотно шли бы против врага, которого и боялись и уважали. Но слабость византийского двора была благоприятна для варваров, и лишь ко вреду Италии император в первый раз внял жалобам своих подданных. Доблести Нарсеса были запятнаны корыстолюбием, и он накопил в течение пятнадцатилетнего управления такие сокровища из золота и серебра, которые далеко превышали размер состояний, приличный для честных людей. Его управление было тягостно и непопулярно, и римские послы выразили без всяких стеснений общее неудовольствие. Они смело заявили перед троном Юстина, что их рабство под готским владычеством было более сносно, чем деспотизм греческого евнуха, и что, если их тиран не будет немедленно удален, они будут руководствоваться при выборе нового повелителя требованиями своего собст-

венного благополучия. К опасениям восстания присоединился голос зависти и клеветы, так еще недавно восторжествовавший над заслугами Велисария. Новый экзарх по имени Лонгин был назначен преемником завоевателя Италии, а низкие мотивы этой отставки обнаружились в оскорбительном письме императрицы Софии. Она приказывала Нарсесу "предоставить *мужчинам* занятие военными делами и возвратиться на свое настоящее место среди дворцовых служанок, где ему снова дадут в руки прялку". "Я впряду ей такую нитку, которую она не скоро выдернет!"— таков был, как рассказывают, ответ, вызванный из уст героя негодованием и сознанием своих заслуг. Вместо того чтобы явиться у входа в византийский дворец в качестве раба или жертвы, он удалился в Неаполь, откуда (если можно верить тому, что рассказывалось в его время) пригласил лангобардов наказать и монарха, и народ за их неблагодарность[15]. Но народные страсти столько же изменчивы, сколько они свирепы, и римляне скоро вспомнили о заслугах своего победоносного главнокомандующего или убоялись его мщения. Они раскаялись и получили прощение через посредство папы, предпринимавшего для этой цели благочестивое странствование в Неаполь; тогда Нарсес принял более мягкий вид, стал выражаться более приличным для верноподданного языком и согласился избрать постоянным местом своего пребывания Капитолий. Хотя смерть[16] и постигла его в последнем периоде старости, она была и несвоевременна, и преждевременна, так как только его гений был способен загладить последнюю и пагубную ошибку его жизни. Действительное или мнимое существование заговора обезоружило и разъединило италийцев. Солдаты были раздражены опалой своего главнокомандующего и оплакивали его смерть. Они не были знакомы со своим новым экзархом, а Лонгин, со своей стороны, не был знаком с положением армии и страны. В предшествовавшем году Италия была опустошена мировой язвой и голодом, и недовольный народ приписывал эти ниспосланные природой бедствия вине и безрассудству своих правителей[17].

Каковы бы ни были причины его самоуверенности, Альбоин полагал, что ему не придется померяться с римской армией на поле сражения, и это ожидание оправдалось на деле. Он поднялся на Юлийские Альпы и оттуда с презрением и с жадностью окинул взором плодоносные равнины, за которы-

ми его победа навсегда закрепила название Ломбардии. Избранный отряд под начальством надежного герцога был поставлен в Forum Julii, теперешнем Фриуле, для того чтобы охранять горные проходы. Лангобарды не попытались завладеть сильно укрепленной Павией и вняли мольбам жителей Тревизо; медленно подвигаясь вперед во главе обремененной обозом массы людей, Альбоин занял дворец Вероны и самый город и через пять месяцев после своего выступления из Паннонии осадил Милан, восставший в ту пору из своих развалин. Его приближение повсюду наводило ужас; он повсюду или находил, или оставлял после себя печальную пустыню, а малодушные италийцы считали его непобедимым, не пытаясь проверить это предубеждение на опыте. Объятые страхом жители искали убежища среди озер, утесистых гор и болот, унося с собой самые ценные пожитки и только отсрочивая момент своего порабощения. Патриарх Аквилеи Павлин перевез все свои сокровища, и церковные и мирские, на остров Градо[18], и его преемников усыновила юная Венецианская республика, которую постоянно обогащали общественные бедствия. Занимавший кафедру св. Амвросия, Гонорат легкомысленно принял вероломное предложение капитуляции, и коварный Альбоин принудил архиепископа вместе с миланским духовенством и миланской знатью искать убежища за более надежными стенами Генуи. Вдоль морского побережья мужество жителей поддерживалось тем, что они легко добывали съестные припасы, не утрачивали надежды на скорую помощь и могли в крайнем случае спастись бегством; но внутренними итальянскими провинциями, от возвышенностей Триента до ворот Равенны и Рима, лангобарды завладели, не дав ни одного сражения и не предприняв ни одной осады. Покорность населения побудила варвара принять на себя роль законного государя, а беспомощный экзарх ограничился исполнением той обязанности, что известил императора Юстина о быстрой и непоправимой утрате его провинций и городов[19]. Только один старательно укрепленный готами город оказал сопротивление завоевателю, и в то время, как летучие отряды лангобардов покоряли Италию, королевский лагерь был в течение трех с лишком лет раскинут перед западными воротами Тицина, или Павии. То же самое мужество, которое внушает уважение цивилизованному врагу, возбуждает ярость в варварах, и выведенный

из терпения Альбоин связал себя страшной клятвой, что при общей резне не будет оказано пощады ни возрасту, ни полу, ни личным достоинствам. При помощи голода он наконец получил возможность исполнить свой кровожадный обет; но в то время, как он въезжал в городские ворота, его лошадь споткнулась, упала, и ее никак не могли поднять. Кто-то из его свиты, движимый состраданием или благочестием, заметил, что этот факт есть признак гнева небес; завоеватель призадумался и смягчился: он вложил в ножны свой меч, расположился для отдыха во дворце Теодориха и объявил объятому страхом населению, что оно должно жить и повиноваться. Восхищаясь положением города, который стал тем более дорог для его гордости, что достался ему нелегко, он отнесся с пренебрежением к древнему величию Милана, и Павия пользовалась при нескольких поколениях почетом столицы Итальянского королевства[20].

Царствование основателя этого королевства было блестяще и непродолжительно, и прежде чем Альбоин успел ввести порядок во вновь завоеванных землях, он сделался жертвой домашней измены и женского мщения. В одном дворце подле Вероны, построенном вовсе не для варваров, он угощал своих ратных товарищей; опьянение служило наградой за храбрость, и сам король, из склонности к вину или из тщеславия, вышел из обычных границ своей невоздержанности. Осушив несколько больших кубков рецийского и фалернского вина, он приказал принести череп Кунимунда, служивший самым гордым и самым ценным украшением для его столовой посуды. Сидевшие за столом вожди лангобардов выразили свирепый восторг при виде этой чаши победы. "Налейте еще раз эту чашу,— воскликнул безжалостный завоеватель,— налейте ее до краев, поднесите ее королеве и попросите ее от моего имени повеселиться вместе с ее отцом". Задыхавшаяся от скорби и от гнева Розамунда имела достаточно присутствия духа, чтобы ответить: "Воля моего господина да будет исполнена", и, прикоснувшись к чаше губами, дала в глубине своей души клятву, что смоет это оскорбление кровью Альбоина. В качестве оскорбленной дочери она могла бы иметь некоторое право на снисходительность, если бы она не нарушала обязанностей жены. Непримиримая в своей ненависти и непостоянная в своих любовных привязанностях, королева Италии спустилась с высоты престола в объятия подданного,

и королевский оруженосец Гельмигис сделался тайным орудием и ее наслаждений, и ее мщения. На приглашение убить короля Гельмигис уже не мог возражать ссылкой на долг верности или признательность; но он трепетал при мысли как о преступности, так и об опасности предприятия, так как ему были хорошо известны необыкновенная физическая сила и неустрашимость воина, при котором он так часто находился на полях сражений. По его настоятельной просьбе ему дали в помощники одного из самых храбрых лангобардских бойцов; но от великодушного Передея не могли добиться ничего другого, кроме обещания хранить тайну, а способ, которым Розамунда вовлекла его в преступление, доказывает, до какого бесстыдства она доходила и в делах чести, и в делах любовных. Она легла в постель одной из прислужниц Передея, с которой тот находился в любовной связи, и под разными предлогами не зажигала огня и не говорила ни слова до тех пор, пока не получила права объявить своему компаньону, что он насладился королевой лангобардов и что это изменническое прелюбодеяние должно иметь последствием, или его собственную смерть, или смерть Альбоина. Он предпочел быть сообщником, а не жертвой Розамунды[21)], которая была одарена такой неустрашимостью, что не была доступна ни для страха, ни для угрызений совести. Она стала выжидать благоприятную минуту и скоро нашла ее: король, встав из-за стола с отяжелевшей от вина головой, лег по своему обыкновению вздремнуть. Его вероломная супруга, по-видимому, заботившаяся о его здоровье и спокойствии, приказала запереть дворцовые ворота и унести оружие, распустила прислугу и, убаюкавши мужа своими нежными ласками, отворила дверь спальни и потребовала от заговорщиков, чтобы они немедленно привели в исполнение свой кровавый замысел. Услышав шум, воитель вскочил со своего ложа; он схватился за свой меч, но не мог обнажить его, потому что он был прикреплен к ножнам рукою Розамунды, а небольшой стул, который был единственным попавшимся ему под руку оружием, не мог долго защищать его от вооруженных копьями убийц. Дочь Кунимунда улыбнулась, когда он упал мертвым; его похоронили под лестницей, которая вела во дворец, и признательное потомство лангобардов долго чтило гробницу и память их победоносного вождя.

Честолюбивая Розамунда желала царствовать от имени

своего любовника; и в городе Вероне, и в тамошнем дворце все боялись ее могущества, а преданный ей отряд ее соотечественников-гепидов был готов рукоплескать мщению своей королевы и содействовать исполнению ее желаний. Но вожди лангобардов, обратившиеся в бегство в первые минуты общего смятения и беспорядка, снова ободрились и собрались с силами, а весь народ, вместо того чтобы подчиниться владычеству Розамунды, стал единогласно требовать наказания преступной супруги и убить короля. Розамунда нашла убежище у врагов своей родины, и себялюбивая политика экзарха оказала покровительство такой преступнице, которая должна была внушать отвращение всему человеческому роду. Вместе со своей дочерью, наследницей трона лангобардов, вместе с двумя своими любовниками, со своими верными гепидами и с вывезенной из веронского дворца добычей Розамунда спустилась по рекам Адидже и По и затем переехала на греческом корабле в Равеннскую гавань. Лонгин пришел в восторг от прелестей и от сокровищ вдовы Альбоина; ее положение и ее прежнее поведение могли служить оправданием для самых бесстыдных предложений, и она охотно удовлетворила любовную страсть экзарха, который, даже при упадке империи, пользовался почетом наравне с королями. Ей не стоило большого труда принести ему в жертву ревнивого любовника, и Гельмигис, выйдя из бани, принял отравленный напиток из рук своей любовницы. И вкус напитка, и его быстрое действие, и приобретенное на опыте знакомство с характером Розамунды убедили его, что он отравлен; он приставил свой меч к ее груди, принудил ее выпить до дна все, что оставалось в чаше, и через несколько минут после того испустил дух в утешительной уверенности, что она не переживет его и не будет наслаждаться плодами своего преступления. Дочь Альбоина и Розамунды была отправлена морем в Константинополь вместе с самой богатой добычей лангобардов; необычайная физическая сила Передея сначала забавляла императорский двор, а потом стала наводить на всех страх, а его слепота и мщение отчасти напоминали приключения Самсона. На созванном в Павии собрании свободный выбор народа возвел одного из самых знатных вождей по имени Клеф в преемники Альбоина. Не прошло и восемнадцати месяцев, как престол был снова запятнан смертоубийством; Клеф был заколот одним из своих

служителей; во время малолетства его сына Автари, в течение десяти с лишним лет, исполнение королевских обязанностей было приостановлено, и аристократия из тридцати герцогов поделила Италию и угнетала ее[22].

Когда племянник Юстиниана вступил на престол, он объявил о наступлении новой эры благоденствия и славы. Но летописи царствования Юстина Второго[23] отмечены внешним позором и внутренними бедствиями. На Западе римское могущество пострадало от потери Италии; Африка была опустошена, а персы расширяли свои завоевания. Несправедливость господствовала и в столице, и в провинциях; богатые дрожали за свою собственность, бедные — за свою личную безопасность; судьи были несведущи или продажны; средства, которыми иногда пытались исцелить это зло, отличались произволом или насилием, и народных жалоб уже нельзя было заглушить блестящими названиями законодателя и завоевателя. Историк может поддерживать как серьезную истину или как благотворный предрассудок то мнение, что монарх всегда виновен в общественных бедствиях своего времени. Тем не менее есть некоторое основание предполагать, что намерения Юстина были чисты и благотворны и что он мог бы с честью занимать свой высокий пост, если бы умственные способности не пострадали от недуга, который лишил его употребления обеих ног и принудил его никогда не покидать дворца, так что он ничего не знал ни о жалобах народа, ни о недостатках своего управления. Запоздалое сознание своего бессилия побудило его сложить с себя бремя верховной власти, а в выборе достойного заместителя он обнаружил некоторые признаки прозорливости и даже великодушия. Единственный сын Юстина и Софии умер в детстве; их дочь Арабия была в супружестве за Бадуарием[24], который сначала занимал должность главного смотрителя дворца, а потом должность главного начальника италийских армий и тщетно желал подкрепить свои супружеские права теми правами, которые давало усыновление. В то время, когда Юстин еще только мечтал об императорском престоле, он привык относиться к своим родным и двоюродным братьям с недоверием и с ненавистью, так как видел в них своих соперников, и он не мог рассчитывать на признательность родственников, которые приняли бы от него императорское звание не как дар, а как восстановление их законных прав. Между этими

соискателями престола один был устранен изгнанием и вслед за тем смертью, а другому император нанес такие жестокие оскорбления, что должен бы был или опасаться мщения, или презирать его за терпеливость. Эта семейная вражда навела Юстина на великодушное намерение найти себе преемника не в своем семействе, а в государстве, и коварная София обратила его внимание на преданного ей начальника императорской гвардии Тиберия[25], добродетель и блестящую фортуну которого император мог бы считать за плод своего благоразумного выбора. Обряд возведения Тиберия в звание Цезаря, или Августа, был совершен в портике дворца в присутствии патриарха и Сената. Юстин собрал остатки своих умственных и физических сил; но ходившее в народе мнение, будто его речь была внушением Божества, доказывает, какое низкое понятие имели в ту пору и о самом императоре, и той эпохе[26]. "Вы видите перед собой,— сказал император,— внешние отличия верховной власти. Вы сейчас примете их не из моих рук, а из рук Божьих. Воздавайте им честь, и вы извлечете из них честь для вас самих. Уважайте императрицу, вашу мать; теперь вы ее сын, а до сих пор были ее слугой. Не ищите наслаждения в пролитии крови; воздерживайтесь от мщения; избегайте тех деяний, которые навлекли на меня общую ненависть, и руководствуйтесь опытностью вашего предшественника, а не его примером. Как человек, я грешил; как грешник, я был строго наказан даже в этой жизни; но эти служители,— и он указал на своих министров,— злоупотреблявшие моим доверием и разжигавшие мои страсти, предстанут вместе со мной перед трибуналом Христа. Я был ослеплен блеском диадемы: будьте мудры и скромны и не забывайте, чем вы были прежде и что вы теперь. Вы видите вокруг нас ваших рабов и ваших детей; вместе с властью над ними примите на себя и отеческую нежность. Любите ваш народ, как самого себя; старайтесь внушить армии преданность и поддерживайте в ней дисциплину; охраняйте собственность богатых людей и помогайте нуждам бедняков"[27]. Присутствовавшие молча и в слезах восхищались наставлениями своего государя и были тронуты его раскаянием; патриарх произнес церковные молитвы; Тиберий принял диадему, стоя на коленях, и Юстин, выказавший себя более всего достойным верховной власти в то время, как отказался от нее, обратился к новому монарху со следующими словами:

"Я буду жить, если вы дозволите; я умру, если вы прикажете: молю Отца небесного и земного, чтобы он вложил в ваше сердце все то, что я оставил без внимания или позабыл". Последние четыре года своей жизни Юстин провел в безмятежной неизвестности; его совесть уже не мучили воспоминания о тех обязанностях, которых он не был в состоянии исполнить, и его выбор был оправдан сыновним уважением и признательностью Тиберия.

Между добродетелями Тиберия[28] его красота (он был один из самых высоких ростом и самых красивых римлян), быть может, и была именно та, которая доставила ему милостивое расположение Софии, так как вдова Юстина была убеждена, что она сохранит и свое высокое положение, и свое влияние под верховной властью второго и более молодого супруга. Но если честолюбивое желание достигнуть престола вовлекло Тиберия в лесть и в притворство, он не был в состоянии оправдать ожидания Софии или исполнить свои обещания. Партии ипподрома требовали с некоторым нетерпением, чтобы им назвали имя их новой императрицы, и как народ, так и сама София были поражены удивлением, когда услышали имя Анастасии,— хотя и тайной, но законной супруги Тиберия. Преданность усыновленного ею человека щедро доставила вдовствующей императрице все, что могло смягчить ее досаду,— и почести, и великолепный дворец, и многочисленный придворный штат; в важных случаях он сопровождал вдову своего благодетеля и обращался к ней за советами; но ее честолюбие гнушалось пустым призраком верховной власти, и почтительное название матери не смягчало, а разжигало ярость оскорбленной женщины. В то время как она принимала и вознаграждала ласковой улыбкой непритворные изъявления уважения и доверия, она вступила в тайный союз со своими старыми врагами, и сын Германа Юстиниан был избран орудием ее мщения. Гордость царствующего дома неохотно преклонялась перед владычеством чужеземца; юный Юстиниан был популярен и был этого достоин; после смерти Юстина его имя было произнесено партией недовольных, а то, что он в ту пору с покорностью преклонил свою голову и предложил отобрать его состояние в шестьдесят тысяч фунт. ст., может считаться за доказательство его виновности или, по меньшей мере, его страха. Юстиниан получил великодушное помилование и главное начальство над восточной

армией. Персидский монарх был обращен им в бегство, и радостные возгласы, сопровождавшие его триумф, объявили его достойным престола. Его коварная покровительница выбрала тот месяц, когда происходит сбор винограда, так как в эту пору император обыкновенно наслаждался в сельском уединении такими же удовольствиями, какими наслаждались его подданные. При первом известии о ее замыслах он возвратился в Константинополь, и заговор был подавлен благодаря его личному присутствию и твердости. От роскоши и почестей, которые она употребила во зло, София должна была перейти к скромному образу жизни; Тиберий распустил ее штат, приказал перехватывать ее письма и поручил доверенному лицу держать ее в заключении. Но этот превосходный государь не счел заслуги Юстиниана за усиливающие его виновность обстоятельства и после мягких упреков простил ему его измену и неблагодарность, а в обществе сложилось убеждение, что император намеревался заключить двойственный союз с этим претендентом на его престол. Голос ангела (как рассказывали в то время) поведал императору, что он всегда будет торжествовать над своими домашними врагами; но Тиберий более полагался на невинность и великодушие своего собственного сердца.

К ненавистному имени Тиберий он присоединил более популярное имя Константин и принял за образец самые чистые добродетели Антонинов. После того как мы описывали пороки и безрассудства стольких римских монархов, нам приятно остановиться на минуту на таком характере, который отличался человеколюбием, справедливостью, умеренностью и твердостью, и приятно посмотреть на такого монарха, который был приветлив в своем дворце, благочестив в церкви, беспристрастен в качестве верховного судьи и победоносен в войне с персами — хотя бы благодаря дарованиям своих военачальников. Самым блестящим его трофеем была масса пленников, которых Тиберий содержал, выкупал на волю и отпускал на родину с милосердием христианского героя. Заслуги или несчастья его собственных подданных имели еще более прав на его благотворительность, и он соразмерял свои щедроты не с тем, чего у него просили, а со своим собственным достоинством. Хотя такой принцип опасен, если его придерживается тот, кому вверено народное достояние, но ему служил противовесом принцип человеколюбия и спра-

ведливости, заставлявший Тиберия с отвращением смотреть на извлекаемое из слез народа золото как на самый низкопробный металл. Всякий раз как его подданные страдали от ниспосылаемых природой общественных бедствий или от неприятельских нашествий, он спешил сложить с них недоимки или уменьшить размеры налогов; он решительно отвергал предложения своих министров, придумывавших такие источники доходов, которые становились вдесятеро более обременительными вследствие способа их взыскания, и мудрые, справедливые законы Тиберия сделались предметом похвал и сожалений для следующих веков. В Константинополе все были уверены, что император нашел сокровище; но его настоящее сокровище заключалось в благородной бережливости и в презрении ко всем тщеславным и излишним тратам. Восточные римляне были бы счастливы, если бы самый лучший дар небес — любящий свое отечество монарх — никогда не покидал этого мира. Но не прошло и четырех лет по смерти Юстина, как его достойного преемника постигла смертельная болезнь, и Тиберий едва успел возложить свою диадему — точно так же, как сам получил ее,— на самого достойного из своих сограждан. Он выбрал Маврикия, и этот выбор был ценнее самой короны; патриарх и Сенат были приглашены к постели умирающего монарха; он передал Маврикию и свою дочь, и империю, а его последний совет был торжественно выражен устами квестора. Тиберий высказал надежду, что добродетели его сына и преемника будут служить для него самым благородным надгробным памятником. Память о нем была увековечена общей горестью; но самая искренняя скорбь испаряется среди суматохи нового царствования, и как взоры, так и приветствия человеческого рода скоро обратились к восходящему солнцу.

Император Маврикий происходил от древнего римского рода[29], но его родители имели постоянное жительство в Арабиссе, в Каппадокии, и на их долю выпало то редкое счастье, что они еще были в живых и могли созерцать и разделять блестящую судьбу своего *августейшего* сына. Свою молодость Маврикий провел в занятиях военным ремеслом; Тиберий поручил ему главное начальство над вновь организованным и любимым легионом из двенадцати тысяч союзников; он отличился своей храбростью и своим поведением в персидской войне и по возвращении в Константинополь получил

в награду за свои заслуги императорскую корону. Маврикий вступил на престол в зрелом, сорокатрехлетнем возрасте и царствовал двадцать с лишним лет, и над Востоком, и над самим собою[30], изгоняя из своей души необузданную демократию страстей и утверждая в ней (по изысканному выражению Эвагрия) полнейшую аристократию рассудка и добродетели. Однако свидетельство подданного внушает некоторое недоверие, хотя он и заявляет, что его тайные похвалы никогда не дойдут до слуха его государя[31], а некоторые ошибки Маврикия заставляют думать, что его характер не мог равняться с более безупречными достоинствами его предшественника. Его холодное и сдержанное обхождение могло быть приписано высокомерию; его справедливость иногда отзывалась жестокосердием, его милосердие иногда походило на малодушие, а его строгая бережливость слишком часто навлекала на него упреки в жадности. Но благоразумные желания абсолютного монарха должны клониться к тому, чтобы доставлять счастье своему народу; Маврикий имел достаточно прозорливости и мужества, чтобы достигнуть этой цели, и в своем управлении он руководствовался принципами и примером Тиберия. Малодушие греков ввело такое полное различие между обязанностями монарха и обязанностями полководца, что человек военного звания, достигший своими заслугами престола, или редко показывался во главе своих армий, или никогда. Впрочем, император Маврикий прославил себя тем, что восстановил персидского монарха на его трон; его полководцы вели с сомнительным успехом войну с жившими на Дунае аварами, а на униженное и бедственное положение своих италийских провинций он взирал с состраданием, которое было совершенно бесплодно.

Из Италии императора беспрерывно докучали жалобами на бедственное положение и просьбами о помощи, вынуждавшими их на унизительное признание в их собственном бессилии. Издыхавшее величие Рима обнаруживалось лишь в свободе и энергии, с которыми он излагал свои жалобы. "Если вы не способны,— говорили римляне,— избавить нас от меча лангобардов, то по крайней мере спасите нас от голода". Тиберий извинил этот упрек и помог нужде: запасы хлеба были перевезены из Египта к устью Тибра, и жители Рима, взывая не к Камиллу, а к св. Петру, отразили варваров от своих стен. Но помощь была случайна, а опасность была

нспрерывна и настоятельна; поэтому духовенство и Сенат собрали остатки своих прежних богатств — сумму в три тысячи фунтов золота — и отправили патриция Памфрония с поручением положить их подарок к подножию византийского трона и изложить их жалобы. И внимание двора, и военные силы Востока были в ту пору заняты войной с персами; но справедливый Тиберий употребил привезенную ему субсидию на оборону города и, отпуская патриция, не мог дать лучшего совета, как тот, чтобы римляне попытались подкупить лангобардских вождей или купить помощь франкских королей. Несмотря на то, что этот вновь придуманный способ доставил некоторое облегчение, положение Италии не улучшилось, Рим был снова осажден, а находившееся только в трех милях от Равенны предместье Класс было разграблено и занято войсками простого герцога Сполетского. Маврикий дал аудиенцию второй депутации, состоявшей из лиц духовного звания и сенаторов; в письмах от римского первосвященника с энергией говорилось о долге, налагаемом религией, и произносились от ее имени угрозы, а папский посол диакон Григорий был уполномочен взывать к властям и небесным и земным. Император прибегнул к мерам своего предшественника, но с более блестящим успехом: нескольких варварских вождей убедили принять сторону римлян, а один из них, отличавшийся особенной мягкостью характера и преданностью, провел и окончил свою жизнь на службе при экзархе; альпийские проходы были отданы в руки франков, и папа поощрял их нарушить без всяких угрызений совести клятвы и обещания, данные неверующим. Правнуку Хлодвига, Хильдеберту, заплатили пятьдесят тысяч золотых монет, с тем чтобы он вторгся в Италию, а когда король Австразии прельстился видом византийских монет, весом в один фунт золота, он потребовал, чтобы несколько таких почтенных монет были включены в полученную им сумму, для того чтобы сделать подарок еще более достойным принятия. Лангобардские герцоги раздражали своих могущественных галльских соседей своими частыми нашествиями.

Лишь только им стало грозить заслуженное возмездие, они отказались от своей самостоятельности, которая была причиной слабости и неурядицы, единогласно сознали выгоды, доставляемые королевским управлением,— единство, сдержанность и энергию, и подчинились сыну Клефа Автарису, уже

успевшему приобрести репутацию хорошего воина. Под знаменем своего нового короля завоеватели Италии отразили три следовавшие одно вслед за другим нашествия, из которых одно было предпринято под начальством самого Хильдеберта — последнего из Меровингских королей, переходившего через Альпы. Первая экспедиция не имела успеха по причине взаимной зависти и вражды между франками и аллеманнами. Во вторую экспедицию побежденные в кровопролитной битве франки понесли такие потери и такой позор, каких еще не испытывали со времени основания их монархии. В нетерпении отмстить за это поражение, они возвратились в третий раз с более многочисленными силами, и Автари не устоял против ярости этого потока. Войска и сокровища лангобардов были размещены по обнесенным стенами городам, лежащим между Альпами и Апеннинами. Будучи более способными бороться с опасностями войны, чем выносить усталость и проволочки, франки скоро стали роптать на безрассудство своих двадцати вождей, а от нагретого итальянским солнцем воздуха стали развиваться болезни между людьми, которые привыкли к иному климату и здоровье которых уже было потрясено частыми переходами от голода к невоздержанности. Но военные силы, недостаточные для завоевания страны, были более чем достаточны для ее опустошения, а объятые ужасом жители не были в состоянии различать своих врагов от своих защитников. Если бы армия меровингов соединилась с императорской армией в окрестностях Милана, она, быть может, ниспровергла бы владычество лангобардов; но франки тщетно ожидали в течение шести дней условного сигнала — пожара одной деревни, а греческая армия тем временем бесполезно тратила свои силы на взятие Модены и Пармы, которые были отняты у нее после отступления ее заальпийских союзников. Победоносный Автари заявил притязания на владычество над всей Италией. У подножия Ретийских Альп он овладел уединенным островом на Комском озере и захватил спрятанные там сокровища. На крайней оконечности Калабрии он прикоснулся своим копьем к колонне, стоявшей на берегу моря близ Регия[32], и объявил, что это старинное сооружение будет неподвижным пределом его владений[33].

В течение двухсот лет Италия была неравномерно разделена между королевством лангобардов и Равеннским экзарха-

том. Снисходительность Юстиниана стала снова соединять в одном лице те должности и профессии, которые были отделены одна от другой недоверчивостью Константина, и во время упадка империи восемнадцать экзархов были один за другим облечены всеми остатками гражданской, военной и даже церковной власти, какими еще могли располагать царствовавшие в Византии императоры. Их непосредственная юрисдикция, впоследствии освященная названием церковной области, обнимала теперешнюю Романью, болота и равнины Феррары и Комаккьо[34], пять приморских городов между Римини и Анконой и другие пять внутренних городов между берегами Адриатического моря и возвышенностями Апеннин. Три провинции — римская, венецианская и неаполитанская, отделенные от равеннского дворца неприятельскими владениями, признавали над собой верховную власть экзарха и в мирное, и в военное время. Римское герцогство, как кажется, заключало в себе завоевания, сделанные Римом в первые четыреста лет его существования в Этрурии, в земле сабинов и в Лациуме, а границами для него, очевидно, служили морское побережье от Чивитавеккии до Террачины и течение Тибра от Америи и Нарни до порта Остии. Многочисленные острова между Градо и Хиоццой составляли первоначальные владения Венеции; но более доступные города, которыми она владела на континенте, были разрушены лангобардами, с бессильной яростью взиравшими на то, как из морских волн вставала новая столица. Владения неаполитанских герцогов граничили заливом и соседними островами, находившейся в руках неприятеля территорией Капуи и римской колонией Амальфи[35], трудолюбивые граждане которой, изобретя компас для моряков, сняли завесу, скрывавшую от наших глаз поверхность земного шара. Три острова, Сардиния, Корсика и Сицилия, еще входили в состав империи, а приобретение самой отдаленной части Калабрии отодвинуло границу владений Автари от берегов Регия к перешейку Консенции. В Сардинии дикие горцы сохраняли свободу и религию своих предков; но сицилийские земледельцы были прикованы к своей богатой и хорошо возделанной почве. Рим страдал под железной властью экзархов, и какой-нибудь грек или даже евнух мог безнаказанно издеваться над развалинами Капитолия. Но Неаполь скоро приобрел право выбирать своих герцогов[36]; независимость, которой пользо-

валась колония Амальфи, была плодом торговли, а добровольная привязанность Венеции была в конце концов облагорожена равноправным союзом с Восточной империей. На географической карте Италии экзархат занимал небольшое место, но на его стороне были преимущества богатства, трудолюбия и многолюдности. Самые верные и самые ценные подданные империи спаслись от ига варваров, и эти новые обитатели Равенны выставляли в занимаемых ими кварталах знамена Павии и Вероны, Милана и Падуи. Остальная Италия была во власти лангобардов, и их владычество простиралось от королевской резиденции Павии на восток, север и запад до пределов владений авар, бавар и господствовавших в Австразии и в Бургундии франков. На язык новейшей географии в состав их королевства входили: Terra Firma Венецианской республики, Тироль, миланская провинция, Пьемонт, Генуэзский берег, Мантуя, Парма, Модена, великое герцогство Тосканское и значительная часть папских владений от Перуджи до Адриатического моря. Герцоги Беневентские, впоследствии носившие титул князей, пережили монархию лангобардов и поддержали их славу. От Капуи до Тарента они в течение почти пятисот лет владели большой частью теперешнего Неаполитанского королевства[37].

При сравнении числа победителей с числом побежденных самым надежным указанием служат перемены, происшедшие в их языке. Прилагая это мерило, мы находим, что итальянские лангобарды и испанские вестготы были менее многочисленны, нежели франки или бургунды, а завоеватели Галлии должны, в свою очередь, уступить в этом отношении первенство саксам и англам, которые почти совершенно искоренили британские диалекты. Новейший итальянский язык образовался мало-помалу, под влиянием различных наций: неумение варваров владеть склонениями и спряжениями принудило их употреблять предлоги и вспомогательные глаголы, а многие из новых понятий были выражены старогерманскими словами. Однако главный запас технических и самых употребляемых слов оказывается латинского происхождения[38], и если бы мы были достаточно хорошо знакомы с устарелыми деревенскими и городскими диалектами древней Италии, мы могли бы отыскать происхождение многих слов, которые, быть может, были бы отвергнуты классической чистотой римских писателей. Многочисленная армия

составляла лишь небольшую нацию, а военные силы лангобардов скоро уменьшились вследствие удаления двадцати тысяч саксов, которые гнушались своего зависимого положения и после многих отважных и опасных похождений возвратились к себе на родину[39]. Лагерь Альбоина имел широкие размеры, но всякий лагерь легко может уместиться внутри городских стен, а его воинственные обитатели могли бродить по обширной завоеванной стране лишь незначительными отрядами. Когда Альбоин спускался с Альп, он поручил верховную власть над Фриулем и над местным населением своему племяннику, который был первым герцогом Фриульским; но осторожный Гизульф принял эту опасную должность лишь с тем условием, что ему будет дозволено выбрать между лангобардской знатью достаточное число семейств[40], чтобы организовать колонию солдат и подданных. При расширении завоеваний нельзя было давать такого же права герцогам Брешии или Бергамо, Павии или Турина, Сполето или Беневента; но каждый из этих герцогов и каждый из их товарищей поселял в отведенном ему округе отряд приверженцев, которые становились под его знамя в случае войны и обращались к его трибуналу в мирное время. Зависимость этих поселенцев была добровольная и почетная: они могли возвратить все, что было ими получено в виде дара или привилегий, и могли переселиться вместе со своими семьями в округ другого герцога; но их удаление из пределов королевства считалось за военное дезертирство и наказывалось смертью[41]. Потомство первых завоевателей пустило более глубокие корни в ту почву, которую его заставляли защищать и личные интересы, и чувство чести. Лангобард был от самого рождения солдатом своего короля и своего герцога, и гражданские народные собрания развертывали знамена регулярной армии и носили ее название. Жалование и награды этой армии извлекались из завоеванных провинций, а распределение завоеванных земель, состоявшееся лишь после смерти Альбоина, было запятнано несправедливостью и хищничеством. Многие из самых богатых италийцев были убиты или изгнаны; остальные были разделены в качестве данников между иноземцами, и на них была наложена обязанность (прикрытая названием гостеприимства) отдавать лангобардам третью часть земных продуктов. Менее чем через семьдесят лет эта искусственная система была заменена более

простой и более прочной ленной зависимостью[42]. Или римского землевладельца выгонял его сильный и наглый гость, или ежегодная уплата трети продуктов заменялась более справедливой сделкой — уступкой соответствующей части земельной собственности. Под управлением этих иноземных повелителей возделыванием хлебных полей и разведением винограда и оливковых деревьев занимались рабы и туземные жители с меньшим против прежнего искусством и старанием; а склонным к праздности варварам более нравились занятия пастушеской жизни. На роскошных лугах венецианской провинции они снова развели и улучшили породу лошадей, которыми когда-то славилась эта местность[43], и италийцы с удивлением смотрели на незнакомую им породу быков или буйволов[44].

Уменьшение народонаселения в Ломбардии и увеличение лесов доставляли большой простор для занятия охотой[45]. Изобретательность греков и римлян никогда не доходила до того удивительного искусства, которое учит летающих в воздухе птиц распознавать голос своего господина и исполнять его приказания[46]. В Скандинавии и в Скифии водились самые смелые и самые послушные соколы[47]: их приучали и дрессировали жители этих стран, беспрестанно рыскавшие по полям то верхом, то пешком. Эта любимая забава наших предков была введена варварами в римских провинциях, а по италийским законам меч и сокол имели одинаковое достоинство и важность в руках знатного лангобарда[48].

Влияние климата и примера соседей было так быстро, что четвертое поколение лангобардов смотрело с удивлением и с отвращением на изображения своих диких предков[49]. Их головы были выбриты на затылке, но их косматые пряди волос падали им на глаза и на губы, и их длинные бороды были выражением имени и характера нации. Их одежда состояла, по примеру англосаксов, из просторного полотняного платья, украшенного, смотря по вкусу, широкими разноцветными каймами. Их голени и ноги были одеты в длинные чулки и в открытые сандалии, а верный меч всегда висел у них на поясе даже в мирное время. Впрочем, под этим странным костюмом и свирепой внешностью нередко скрывались кротость и великодушие, и лишь только утихало вызванное битвой ожесточение, человеколюбие победителей иногда поражало удивлением и пленников и подданных. Пороки лангобардов

происходили от их страстей, невежества и склонности к пьянству, а их добродетели тем более достойны похвалы, что на них нисколько не влияло лицемерие общественных нравов и что они не были плодом строгих стеснений, налагаемых законами и воспитанием. Я не побоялся бы уклониться от моего сюжета, если бы был в состоянии обрисовать домашнюю жизнь завоевателей Италии; но я с удовольствием расскажу любовное приключение Автари, которое отзывается настоящим духом рыцарства и романтизма[50].

После смерти Меровингской принцессы, своей невесты, он стал искать руки дочери короля Баварского, и Гарибальд согласился на родственный союз с итальянским монархом. Выведенный из терпения медленностью переговоров, пылкий любовник покинул свой дворец и посетил баварский двор в свите своего собственного посла. На публичной аудиенции этот никому не знакомый чужеземец приблизился к трону и сообщил Гарибальду, что посол действительно был государственный министр, но что он один пользовался личной дружбой Автари, который возложил на него деликатное поручение доставить ему верное описание прелестей его будущей супруги. От Теоделинды потребовали, чтобы она подвергла себя этому важному осмотру; простояв минуту в безмолвном восторге, Автари приветствовал ее титулом королевы Италии и смиренно попросил, чтобы согласно обычаям нации она поднесла кубок вина первому из своих новых подданных. По приказанию отца она исполнила эту просьбу; Автари взял в свою очередь кубок и, возвращая его принцессе, тайно прикоснулся к ее руке и затем приложил свой палец к своему лицу и к губам. Вечером Теоделинда рассказала своей кормилице о нескромной фамильярности чужеземца и была утешена уверением, что такую смелость мог дозволить себе только король, ее будущий супруг, который по своей красоте и своему мужеству, по-видимому, был достоин ее любви. Послы отправились в обратный путь, и, лишь только они достигли границы Италии, Автари привстал на своих стременах и пустил свою боевую секиру в дерево с необыкновенной силой и ловкостью. "Вот,— сказал он удивленным баварам,— какие удары наносит король лангобардов". При приближении франкской армии Гарибальд и его дочь укрылись во владениях своего союзника, и брак был совершен в Веронском дворце. По прошествии одного года он был расторгнут

смертью Автари; но своими добродетелями Теоделинда[51] снискала любовь нации и ей дозволили отдать вместе с ее рукой скипетр итальянского королевства.

Из этого факта и из других ему подобных[52], несомненно, явствует, что лангобарды имели право выбирать своего монарха, но что у них было достаточно здравого смысла, чтобы воздерживаться от частного пользования этой опасной привилегией. Источником государственных доходов были возделанные земли и отправление правосудия. Когда самостоятельные герцоги изъявили свое согласие на то, чтобы Автари вступил на престол своего отца, они уделили по меньшей мере половину своих доходов на покрытие королевских расходов. Самая гордая знать искала чести служительских должностей при особе своего государя; он награждал преданность своих вассалов* по своему усмотрению денежными пенсиями и *бенефициями* и старался загладить бедствия войны основанием богатых монастырей и церквей. Он исполнял обязанности судьи в мирное время и обязанности главнокомандующего во время войны, но никогда не присваивал себе прав единственного и самовластного законодателя. Король Италии созывал народные собрания в Павийском дворце или, всего вероятнее, на полях вблизи от столицы; его высший совет состоял из лиц самого знатного происхождения и самого высокого звания; но законная сила и исполнение их постановлений зависели от одобрения *верного* народа и *счастливой* армии лангобардов. Лет через восемьдесят после завоевания Италии их традиционные обычаи были записаны на тевтонском латинском языке[53] и утверждены согласием монарха и народа; при этом были введены некоторые новые постановления, соответствующие их новому положению; примеру Ротари следовали самые мудрые из его преемников, и из всех варварских кодексов законы лангобардов считались менее всех несовершенными[54]. Находя в своем мужестве достаточное обеспечение для своей свободы, эти грубые и легкомысленные законодатели не были способны уравновешивать законное влияние различных органов верховной власти или обсуждать замысловатые теории государственного управления. Преступления, направленные против жизни государя или против безопасности государства, они признали достой-

* Дружинники лангобардского короля, исполнявшие службу по его поручению, назывались *газиндами*. В лангобардскую эпоху вассалитет как феодальный политический и правовой институт еще не был оформлен.

ными смертной казни; но их внимание было главным образом сосредоточено на охране личности и собственности подданных. Согласно со странной юриспруденцией того времени, преступное пролитие крови могло быть искуплено денежной пеней*; впрочем, огромная пеня в девятьсот золотых монет, назначенная за убийство простого гражданина, доказывает, как высоко ценилась человеческая жизнь. Менее отвратительные преступления — нанесение раны, перелом кости, удар, оскорбительное слово — были оценены с самой тщательной и доходившей до смешного точностью, и законодатель поддерживал позорное обыкновение променивать честь и мщение на денежное вознаграждение. Невежество лангобардов, и до и после их обращения в христианство, внушало им слепую веру в коварные и вредные проделки колдунов; но судьи семнадцатого столетия могли бы найти полезное поучение и заслуженное порицание в мудрых законах Ротари, который насмехался над этими нелепыми суевериями и оказывал покровительство несчастным жертвам народной или судейской жестокости[55]. Такую же мудрость законодателя, стоящего выше своего века и умственного развития своей страны, мы находим у Лиутпранда, который, хотя и допускал, но подвергал наказаниям нечестное и застарелое обыкновение драться на поединках[56] и замечал, по собственному опыту, что над самым справедливым делом нередко брали верх удача и сила. Каковы бы ни были достоинства, усматриваемые нами в лангобардских законах, они во всяком случае были неподдельным плодом здравого смысла варваров, которые никогда не допускали итальянских епископов к участию в своих законодательных собраниях. Но целый ряд их королей отличался добродетелями и дарованиями; описанные в их летописях смуты прерывались длинными промежутками спокойствия, порядка и внутреннего благоденствия, и италийцы пользовались таким мягким и справедливым управлением, какого не знало ни одно из королевств, основанных на развалинах Западной империи[57].

Среди завоеваний лангобардов и под деспотизмом греков Рим[58] был доведен к концу шестого столетия до последней степени унижения. Вследствие перенесения императорской столицы и постепенной утраты провинций источники общественного и частного богатства иссякли; величественное де-

* Имеется в виду вергельд, т.е. возмещение за жизнь свободного человека.

рево, под тенью которого искали отдыха все народы, лишилось своих листьев и ветвей, а его бессочный ствол лежал на земле и сох. Исполнители правительственных распоряжений и вестники побед уже не встречались на Аппиевой, или на Фламиниевой, дороге, а приближение лангобардов часто чувствовалось и всегда наводило страх. Жители большой и мирной столицы, прогуливающиеся без всяких тревожных мыслей по окружающим ее садам, едва ли в состоянии представить себе, как было бедственно положение римлян; они дрожащей рукой запирали и отворяли двери своих домов; с высоты городских стен они видели пламя, уничтожающее их загородные жилища и слышали вопли своих собратьев, которых связывали попарно, как собак, и уводили в рабство за моря и горы. При таких непрерывных тревогах нельзя было думать об удовольствиях, и приходилось прекращать сельские работы, и римская Campagna* скоро превратилась в бесплодную пустыню, в которой земля ничего не производила, воды были нечисты, а воздух был заразен. Любопытство и честолюбие уже не привлекали в столицу мира толпы пришельцев; если же случайность или необходимость направляла туда стопы странствующего иноземца, он с ужасом взирал на эту обширную пустыню и мог бы спросить: где же Сенат? где же народ? Во время сильных дождей Тибр вышел из своих берегов и устремился с непреодолимой яростью в долины семи холмов. От стоячих вод возникла заразная болезнь, и ее успехи были так быстры, что восемьдесят человек умерли в течение одного часа среди торжественной процессии, устроенной для умилостивления небес[59]. В обществе, которое поощряет браки и отличается трудолюбием, скоро заглаживаются потери, причиняемые случайными бедствиями моровой язвы или войны; но так как большинство римлян было обречено на безвыходную нищету и на безбрачие, то уменьшение населения было непрерывно и заметно, а мрачное воображение энтузиастов предвидело предстоящее пресечение человеческого рода[60]. Однако число жителей все еще было слишком велико в сравнении со средствами существования; им поставляли ничем не обеспеченное пропитание плодоносные поля Сицилии и Египта, а часто случавшийся неурожай доказывает, как невнимательны были императоры к нуждам этой отдаленной провинции. Такому же разрушению и упад-

* Кампания — одна из самых богатых и плодородных провинций Италии.

ку подверглись римские здания; наводнения, бури и землетрясения легко разрушали разваливающиеся сооружения, а занявшие самые выгодные места монахи злобно радовались исчезновению памятников старины[61]. Существует общее убеждение, что папа Григорий I не щадил римские храмы и уродовал статуи, что, по приказанию этого варвара, Палатинская библиотека была обращена в пепел и что история Ливия была избранной жертвой его нелепого и зловредного фанатизма. Сочинения самого Григория обнаруживают его непримиримую ненависть к произведениям классических писателей, и он подверг самым строгим порицаниям светскую ученость того епископа, который преподавал грамматику, изучал латинских поэтов и произносил одним и тем же голосом похвалы Юпитеру и похвалы Христу. Но свидетельства о его разрушительной ярости сомнительны и появились в более позднюю эпоху; рука времени медленно разрушала храм Мира и театр Марцелла, а формальное запрещение размножило бы списки произведений Вергилия и Ливия в тех странах, которые не были подчинены этому духовному диктатору[62].

Рим, быть может, был бы стерт с лица земли подобно Фивам, Вавилону или Карфагену, если бы его не одушевлял жизненный принцип, возвративший ему и почет и владычество. Существовало смутное предание, что два иудейских проповедника, из которых один делал палатки, а другой был рыбаком, были когда-то казнены в цирке Нерона, а по прошествии пятисот лет их действительные или мнимые мощи стали чтить, как Палладиум христианского Рима. Пилигримы стали стекаться с Востока и с Запада на порог этого святилища; но доступ к раке апостолов охраняли чудеса и незримые ужасы, и благочестивый католик не без страха приближался к предмету своего поклонения. Прикосновение к телам святых вело к гибели, и даже смотреть на них было опасно, а те, которые осмеливались из самых безупречных мотивов нарушить спокойствие святилища, приходили в ужас от видений или были наказаны внезапной смертью. Неблагоразумное требование одной императрицы, пожелавшей отнять у римлян их священное сокровище, голову св. Павла, было отвергнуто с самым глубоким негодованием, а папа утверждал,— по всей вероятности, с достаточным основанием,— что холстина, освященная близостью тела святого или колец

его цепей (которые иногда было легко достать, а иногда невозможно), была в равной степени одарена чудотворной силой[63]. Но как добродетели, так и власть апостолов сохраняли свою живучую энергию в душе их преемников, и престол св. Петра был занят, в царствование Маврикия, первым и самым великим из пап, носившим имя Григория[64]. Его дед Феликс сам был папой, а так как в ту пору епископы уже были подчинены закону безбрачия, то его возведению в папское достоинство должна была предшествовать смерть его жены. Родители Григория, Сильвия и Гордиан, принадлежали к одной из самых знатных сенаторских семей и были из числа самых благочестивых членов римской церкви; между его родственницами было много святых и девственниц, а его собственное изображение вместе с изображениями его отца и матери можно было в течение почти трехсот лет видеть на фамильном портрете[65], который был подарен им монастырю св. Андрея. Рисунок и колорит этого портрета служат доказательством того, что италийцы с успехом занимались в шестом столетии живописью; но об их вкусе и знании дают самое низкое понятие и послания Григория, и его проповеди, и его диалоги, которые были произведениями такого человека, которому не было никого равного по учености между его современниками[66]; благодаря знатности своего происхождения и своим дарованиям он возвысился до звания городского префекта, и ему принадлежит та заслуга, что он отказался от блеска и суеты здешнего мира. Свое большое наследственное состояние он употребил на основание семи монастырей[67] — одного в Риме[68] и шести на Сицилии и постоянно обнаруживал желание жить в этом мире в неизвестности и приобрести славу только в загробной жизни. Тем не менее его благочестие, которое, быть может, было искренне, вело его по такой дороге, которую избрал бы хитрый и честолюбивый государственный человек. Благодаря своим дарованиям и блеску, с которым совершалось его удаление от мира, он сделался дорогим и полезным для церкви: ведь он был обязан исполнять данные ему приказания, так как слепое повиновение всегда считалось главной обязанностью монаха. Лишь только Григорий получил звание диакона, его послали к византийскому двору в качестве нунция, или папского посла, и он присвоил себе там право говорить от имени св. Петра с такой самостоятельностью и с таким достоинством, которые были бы пре-

ступны и опасны в самых знатных из мирян. Он возвратился в Рим с репутацией еще более прежнего блестящей и после непродолжительного промежутка времени, посвященного на добродетели монашеской жизни, был принужден покинуть монастырь и вступить на папский престол по единодушному желанию духовенства, Сената и народа. Он один протестовал или делал вид, что протестует, против своего возвышения, а его униженная просьба, чтобы Маврикий соблаговолил не одобрять выбора римлян, могла лишь возвысить его личность в глазах императора и публики. Когда было обнародовано роковое повеление императора, Григорий упросил каких-то преданных ему торговцев отправить его спрятанным в корзине за ворота Рима, и в течение нескольких дней укрывался в лесах и горах, пока его убежище не было открыто, как рассказывали, благодаря падавшему на него с небес свету.

Управление Григория *Великого*, продолжавшееся тринадцать лет шесть месяцев и десять дней, составляет один из самых назидательных периодов в истории церкви. Его добродетели и даже его пороки, представлявшие странную смесь добродушия и лукавства, гордости и смирения, здравого смысла и склонности к суевериям, были очень удачно приспособлены и к его положению, и к характеру его времени. В своем сопернике, патриархе Константинопольском, он осуждал противохристианский титул всемирного епископа, которого по гордости преемник св. Петра не мог никому уступить, но которого по слабости он не мог присвоить самому себе,— и церковная юрисдикция Григория ограничилась тройственной ролью римского епископа, италийского примаса и распространителя христианства на Западе. Он часто всходил на церковную кафедру и своим, хотя грубым, но трогательным, красноречием разжигал врожденные страсти своих слушателей, объяснял и применял поучения иудейских пророков и направлял умы подавленного своим бедственным положением народа к надеждам и наказаниям невидимого мира. Своими наставлениями и примером он установил образцовую римскую литургию[69)], распределение приходов, календарь праздничных дней, порядок процессий, службу священников и диаконов, разнообразие и перемены священнических облачений. До последних дней своей жизни он сам совершал богослужение, продолжавшееся более трех часов, и

ввел так называемый Григорианский напев[70], в котором сохранилась исполнявшаяся на театре вокальная и инструментальная музыка, а грубые голоса варваров старались подражать мелодии римской школы[71]. Опыт убедил его, что торжественные и пышные обряды облегчают страдания, укрепляют веру, смягчают свирепость и заглушают мрачное исступление простого народа, и он охотно извинял этому народу его готовность подчиниться владычеству духовенства и суеверий. Епископы Италии и соседских островов признавали римского первосвященника за своего высшего духовного начальника. Даже существование епископских должностей, их соединение в одном лице или перенесение из одного места в другое, безусловно, зависели от его усмотрения, а его успешные вторжения в церковное управление Греции, Испании и Галлии впоследствии служили поддержкой для более гордых притязаний следующих пап. Он вмешивался в народные выборы с целью предотвратить их злоупотребления, с бдительной заботливостью охранял чистоту верований и церковного благочестия и в качестве заменявшего апостолов пастыря усердно наблюдал за верованиями и поведением подчиненного ему духовенства. В его управление итальянские и испанские ариане примирились с католической церковью, а подчинение Британии покрыло имя Григория I более блестящей славой, чем имя Цезаря. Вместо шести легионов на этот отдаленный остров были отправлены морем сорок монахов, и первосвященник скорбел о том, что его суровый долг не дозволяет ему разделять с ними опасности священной войны. Менее чем через два года он мог сообщить архиепископу Александрийскому, что эти монахи окрестили Кентского короля вместе с десятью тысячами подвластных ему англосаксов и что римские миссионеры, подобно миссионерам первобытной церкви, действовали только духовным и сверхъестественным оружием. Из легковерия или из благоразумия Григорий всегда был готов подкреплять истины религии ссылкой на видения, чудеса и воскресение мертвых[72], а потомство отплатило его памяти такой же данью, какую он щедро уплачивал добродетелям своих современников и прошлого поколения. Папы щедро осыпали его небесными почестями, но Григорий был последний римский первосвященник, которого они осмелились внести в календарь святых.

Их светская власть мало-помалу разрасталась от обще-

ственных бедствий того времени, и римские епископы, впоследствии затопившие Европу и Азию в человеческой крови, были принуждены властвовать в качестве представителей милосердия и мира. 1. Римская церковь, как уже было замечено ранее, была наделена богатыми поместьями в Италии, на Сицилии и в более отдаленных провинциях, а ее агенты, обыкновенно выбиравшиеся из поддиаконов, приобрели над своими арендаторами и землепашцами право суда не только в гражданских, но и в уголовных делах. Преемник св. Петра управлял своими наследственными вотчинами с заботливостью бдительного и скромного землевладельца[73], и послания Григория наполнены полезными наставлениями избегать сомнительных и придирчивых процессов, оберегать правильность весов и мер, соглашаться на всякие благоразумные требования отсрочки в платежах и уменьшать подушную подать тех прикрепленных к земле рабов, которые уплатили произвольно наложенную на них пеню за право вступления в брак[74]. Ренту, или доход, с этих поместьев доставляли к устью Тибра на риск папы и на его счет, а в расходовании этих сумм он действовал как верный эконом церкви и бедных и щедро тратил на их нужды те неистощимые средства, которые извлекал из своей воздержанности и аккуратности. Многотомные счета о его доходах и расходах сохранялись более трехсот лет в Латеранском дворце как образец христианской бережливости.

В четыре больших церковных праздника он раздавал за четверть года деньги на содержание духовенства, своей прислуги, монастырей, церквей, кладбищ, богаделен, римских госпиталей и других учреждений своей епархии. В первый день каждого месяца он раздавал бедным, смотря по времени года, определенное количество хлеба, вина, сыра, овощей, оливкового масла, рыбы, свежих провизий, одежды и денег; и кроме того, из его казны беспрестанно отпускались суммы на непредвиденные требования нужды или личной заслуги. Не терпящие отлагательства нужды больных и беспомощных людей, иностранцев и пилигримов удовлетворялись ежедневными и ежечасными подаяниями, и первосвященник сам не садился за свой скромный обед до тех пор, пока не отнесут несколько блюд с его собственного стола каким-нибудь достойным сострадания беднякам. Бедствия того времени довели римскую знать и римских матрон до того, что они не крас-

нея принимали церковные подаяния: три тысячи девственниц получали от своего благодетеля пищу и одежду, и многие из спасшихся от варваров итальянских епископов находили гостеприимство в Ватикане. Григория основательно называли отцом его страны, и такова была необыкновенная щекотливость его совести, что он сам наложил на себя на несколько дней запрещение исполнять свои первосвященные обязанности за то, что один нищий умер на улице. II. Бедствия Рима вовлекли заменявшего апостолов пастыря в занятие и мирными делами, и военными, и он едва ли отдавал сам себе отчет в том, что побуждало его заменять своего отсутствующего государя — благочестие или честолюбие. Григорий пробуждал императора из продолжительного усыпления, обращал его внимание на неправильные действия или на неспособность экзарха или его чиновников, жаловался на то, что ветеранов вывели из Рима для защиты Сполето, поощрял италийцев охранять свои города и алтари, и в минуту крайней опасности согласился назначить трибунов местной армии и руководить ее военными действиями. Но колебания, вызванные человеколюбием и религией, сдерживали воинственный пыл папы; он осуждал всякого рода подати, даже те, которые налагались для покрытия военных расходов, так как считал их гнусными и обременительными, и в то же время защищал против императорских Эдиктов благочестивую трусость солдат, отказывавшихся от военной службы для поступления в монахи. Если верить заявлениям самого Григория, он мог бы без большого труда истребить лангобардов при помощи их внутренних раздоров, и истребить так, что не осталось бы в живых ни короля, ни какого-либо герцога или графа, способного спасти этот несчастный народ от мщения его врагов. Но в качестве христианского епископа он предпочел благотворные заботы о внутреннем спокойствии; благодаря его посредничеству стихла военная тревога; но он был слишком хорошо знаком с хитростью греков и с раздражительностью лангобардов, чтобы поручиться за исполнение условий перемирия. Обманувшись в своей надежде достигнуть заключения повсеместного и прочного мира, он осмелился спасти свое отечество, не испросив на то согласия императора или экзарха. Неприятельский меч висел над Римом, но был отклонен мягким красноречием и благовременными подарками первосвященника, умевшего внушать ува-

жение и еретикам и варварам. К заслугам Григория византийский двор отнесся с упреками и оскорблениями, но папа нашел в преданности признательного населения самую благородную награду гражданина и самое лучшее право на верховную власть[75].)

---

1) О том, что касается родственников Юстина и Юстиниана, можно найти сведения в Familiae Bysantinae Ducangea, стр. 89-101. Преклонявшиеся перед Юстинианом юристы Ludwig (in. Vit. Justinian, стр. 131) и Heineccius (Hist. Juris. Roman. стр. 374) впоследствии выяснили все, что касается происхождения их любимого монарха.

2) В рассказе о возведении на престол Юстина я перевел простой и сжатой прозой восемьсот стихов из двух первых книг Кориппа, de Laudibus Justini, Appendix Hist. Byzant. стр. 401-416. Рим, 1777.

3) Я удивляюсь, как мог Pagi (Critica in Annal. Baron. том II, стр. 639) увлечься какой-либо хроникой до того, чтобы отвергать ясный и положительный текст Кориппа (Vicina dona, кн. 2, 354; Vicina dies, кн. 4. 1) и отлагать консульство Юстина до A.D. 567.

4) Theophan. Chronograph. стр. 205. Всякий раз, как Кедрин и Зонара выступают в качестве простых компиляторов, я нахожу излишним ссылаться на их свидетельство.

5) Corippus, кн. 3,390. Здесь, бесспорно, подразумеваются победившие авар турки; но слово scultor не имеет ясного значения, а единственного манускрипта Кориппа, с которого печаталось первое издание (1581, apud Plantin), нельзя отыскать. Последний издатель, римлянин Фоггини, по догадке изменил это слово в soldan; но доказательства, приводимые Дюканжем (Joinville, Dissert. 16, стр. 238-240) в защиту того мнения, что этот титул был издревле в употреблении у турок и у персов, слабы и двусмысленны. Поэтому я вынужден положиться на авторитет D. Herbelot (Bibliothèque Orient. стр. 825), который относит это слово к языкам арабскому и халдейскому и полагает, что оно вошло в употребление с начала одиннадцатого столетия, когда багдадский халиф дал этот титул Махмуду, принцу Газны и завоевателю Индии.

6) Касательно этих характеристических речей сравн. стихи Кориппа (кн. 3, 251-401) с прозой Менандра (Excerpt. Legation. стр. 102, 103) То, в чем они расходятся, доказывает, что они не списывали один у другого, а то, в чем они сходятся, доказывает, что они извлекали свои сведения из одного источника.

7) Касательно австразийской войны см. Менандра (Excerpt. Legat. стр. 110), Григория Турского (Hist. Franc. кн. 4, гл.29) и Павла Диакона (de Gest. Langobard. кн. 2, гл. 10).

8) Бывший диаконом в Фриуле Павел Варнефрид, de Gest. Langobard. кн. 1, гл. 23, 24. Его описания национальных нравов хотя и грубы по форме, но более живы и более верны, нежели описания Беды или Григория Турского.

9) Эта история рассказана писателем, склонным ко лжи (Theophylact. Simocat. кн. 6, гл. 10), но у него было достаточно искусства для того,

чтобы основывать свои вымыслы на публичных и всем известных фактах.

10) Из сочинений Страбона, Плиния и Аммиана Марцеллина видно, что такое же обыкновение существовало у скифских племен (Muratori, Scriptores Rer. Italic. том 1, стр. 424). Содранная с черепа кожа с волосами также считается у жителей Северной Америки за победный трофей. Череп Кунимунда сохранялся у лангобардов более двухсот лет, и сам Павел был в числе тех гостей, которым герцог Ratchis (Ратхис показывал во время пира этот кубок (кн. 2, гл. 28).

11) Павел, кн. 1, гл.27. Менандр, in Excerpt. Legat. стр. 110, 111.

12) Ut hactenus etiam tam apud Bajoariorum qentem, quam et Saxonum, sed et alios ejusdem linguae homines... in corum carminibus celebretur, Paul. кн. 1, гл. 27.Он умер A. D. 799. (Muratori, in Praefat. том 1, стр. 397). Эти германские песнопения, из которых некоторые были так же древни, как Тацит (de Moribus Germ. гл. 2), были собраны и переписаны по приказанию Карла Великого. Barbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus et bella canebantur, scripsit, memoriaeque mandavit. (Eginard, in Vit. Carol. Magn. гл. 29, стр. 130). Поэмы, которые хвалит Goldast (Animadvers. ad Eginard. стр. 207), как кажется, были новейшими и достойными презрения произведениями.

13) О других народах упоминает Павел (кн. 2, гл. 6. 26). Муратори Antichita Italiane, том 1, dissertat. 1, стр.4) отыскал в трех милях от Модены баварское селение.

14) Григорий римлянин (Dialog. кн. 3, гл. 27, 28 apud Baron. Annal. Eccles. A.D. 579, N 10) предполагает, что они эту козу вместе с тем боготворили. Мне известна только одна религия, в которой Бог отождествляется с жертвой.

15) Обвинения, которые диакон Павел взводит на Нарсеса (кн. 2, гл.5), быть может, были неосновательны; но слабую апологию кардинала (Baron. Annal. Eccles. A.D. 567, N 8-12) отвергают лучшие критики, как то Pagi (том II, стр. 639, 640), Muratori (Annali d'Italia, том V, стр. 160-163) и позднейшие издатели Horatius Blancus (Script. Rerum Italic., том 1, стр. 427, 428) и Philip Argelatus (Sigon. Opera, том II, стр. 11, 12). Тот Нарсес, который присутствовал при коронованиии Юстина (Corippus, кн. 3. 221), очевидно, был другой человек.

16) О смерти Нарсеса упоминают: Paul, кн. 2, гл. 11; Anastas in Vit. Johan. 3, стр. 43; Agnellus, Liber Pontifical. Raven in Script. Rer. Italicarum, том II, ч. 1, стр. 114, 124. Однако я никак не могу разделять мнение Agnellus'a, что Нарсесу было девяносто пять лет. Разве правдоподобно, что он совершил все свои воинские подвиги, имея восемьдесят лет от роду?

17) Замыслы Нарсеса и лангобардов касательно вторжения этих последних в Италию изложены у Павла Диакона в последней главе его первой книги и в первых семи главах второй книги.

18) Вследствие этого перенесения сокровищ Градо был назван Новой Аквилеей (Chron. Venet. стр. 3). Патриарх острова Градо скоро сделался первым гражданином республики (стр. 9 и сл.), но он перенес свое местопребывание в Венецию не прежде 1450 года. В настоящее время он осыпан титулами и почестями; но гений церкви преклонился перед гением государства, и система управления католиче-

ского города строго пресвитерианская. Thomassin, Discipline de l' Eglise, том 1, стр. 156, 157, 161-165. Amelot de la Houssaye, Gouvernement de Venise, том 1, стр. 256-261.

19) Павел описал Италию с тогдашним ее разделением на восемнадцать округов (кн. 2, гл. 14-24). Я с пользой для себя справлялся с Dissertatio Chronographica de Italia Medii Aevi — произведением бенедиктинского монаха и профессора павийского университета Беретти.

20) Касательно завоевания Италии см. подлинные материалы, собранные Павлом Диаконом (кн. 2, гл. 7-10. 12. 14.25-27), красноречивый рассказ Сигония, том II, de Regno Italiae (кн. 1, стр. 13-19) и точный критический разбор Муратори (Annali d'Italia, том V, стр. 164-180).

21) Знакомому с классиками читателю, конечно, придет по этому случаю на память жена Кандавла и его убийство, так интересно рассказанное в первой книге Геродота. Выбор Гигеса может служить оправданием Передея, и этого способа смягчать отвратительную идею придерживались лучшие из древних писателей. Graevius, ad Ciceron. Orat. pro Milone., гл. 10).

22) См. Историю Павла, кн. 2, гл. 28-32. Я заимствовал некоторые подробности из Liber Pontificalis Agnellus'a, in Script. Rer. Ital. том II, стр. 124. В том, что касается хронологии, самый надежный руководитель Муратори.

23) Следующие писатели служат для нас источником оригинальных сведений о царствовании Юстина Младшего: Evagrius, Hist. Eccles. кн. 5, гл. 1-12. Theophanes, in Chronograph. стр. 204-210. Zonaras, том II, кн. 14, стр. 70-72. Cedrenus, in Compend. стр. 388-392.

24) Dispositorque novus sacrae Baduarius aulae.
Successor soceri mox factus cura — palati.
Corippus.
Бадуария причисляют к потомкам и родственникам Юстинианова рода. Знатное венецианское семейство (Casa Badoero) строило церкви и давало республике герцогов еще в девятом столетии, и если можно считать его происхождение ясно доказанным, то ни один из европейских королей не в состоянии похвастаться такой древней и блестящей родословной. Ducange Fam. Bysantin. стр. 99 Amelot de la Houssaye, Geuvernement de Venise, том II, стр. 555.

25) Похвалы, которыми осыпают членов царствующих домов до их вступления на престол, самые чистые и самые веские. Корипп восхвалял Тиберия во время восшествия на престол Юстина (кн. 1, 212-222). Однако даже начальник гвардии мог вызвать лесть со стороны африканнского изгнанника.

26) Эвагрий (кн. 5, гл. 13) присовокупил упрек, обращенный Юстином к его министрам. Он полагает, что эта речь была произнесена во время возведения Тиберия в звание Цезаря. Не столько по ошибке, сколько по причине неточности выражений, Феофан относит ее к тому времени, когда Тиберий был возведен в звание Августа, а это случилось перед самой смертью Юстина.

27) Theophylact Simocatta (кн. 3, гл. II) объявляет, что он передаст потомству содержание речи Юстина в том виде, как она была произнесена, и что он не будет исправлять ошибок против правил языка или

риторики. Этот пустой софист едва ли был бы способен высказать такие мысли.

28) Касательно характера и царствования Тиберия см. Эвагрия, кн. 5, гл. 13; Феофилакта, кн. 3, гл. 12 и сл.; Феофана, in Chron. стр. 210-213; Зонару, том II, кн. 14, стр. 72; Кедрина, стр. 392; Павла Варнефрида, de Gestis Longobard. кн. 3, гл. II, 12. Этот последний, будучи диаконом в Forum Julii, кажется, узнал несколько интересных и достоверных фактов.

29) Поэтому нам кажется очень странным, что Павел (кн. 3, гл. 15) называет его первым греческим императором — primus ex Graecorum genere in imperio constitutus. Его непосредственный предшественник действительно родился в латинских провинциях Европы; быть может, следует читать in Graecorum imperio; тогда этот эпитет относился бы не к монарху, а к империи.

30) Относительно характера и царствования Маврикия можно найти сведения в пятой и шестой книгах Эвагрия, в особенности в 6-й, гл. 1, и в восьми книгах многословной и цветистой истории, автором которой был Theophylact Simocatta*, а также у Феофана, стр. 213 и сл., Зонары, том II, кн. 14, стр. 73 и Кедрина, стр. 394. (* Феофилакт Симокатта.)

31) Эвагрий написал свою историю на двадцатом году Маврикиева царствования и был так благоразумно нескромен, что император узнал о его лестных отзывах и наградил их (кн. 6, гл. 24).

32) Древние географы часто упоминают о Columna Rhegina*, стоявшей в самом узком месте мессинского Faro, на расстоянии ста стадий от самого Регия. Cluver., Ital. Antiq., том II, стр. 1295. Lucas Holsten. Annotat. ad Cluver. стр. 301. Wesseling, Itinerar., ст. 106 (Columna Rhegina стояла на самом конце Антониновой дороги, проходившей от Медиолана во всю длину Италии. Эта колонна стояла там, где теперь находится деревня Catona и где небольшая речка Цессис впадает в Мессинский пролив.— Издат.) (* Царская колонна.)

33) Греческие историки дают нам лишь поверхностные сведения о войнах, которые велись в Италии (Менандр, in Excerpt. Legat. стр. 124. 126. Феофилакт, кн. 3, гл. 4). Более удовлетворительные сведения можно найти у латинских писателей, и в особенности у Павла Варнефрида (кн. 3, гл. 13 — 34), который читал более древнюю историю Секунда и Григория Турского. Бароний знакомит нас с содержанием нескольких папских писем и пр., а в том, что касается указаний времени, Пажи и Муратори могут служить надежными руководителями.

34) Защитники папских интересов Цаканьи и Фонтанини имели полное основание заявлять притязания на равнину или болота Commachio*, как на составную часть экзархата. Но их притязания на Модену, Реджо, Парму и Плаценцию еще более затемнили географический вопрос, который и без того уже был запутан и неясен. Даже Муратори, в качестве слуги дома Эсте, не был способен отделаться от пристрастия и предубеждений (Тассо указал, где находилось Commachio:

... dove impaluda
Ne'seni di Commachio il nostro mar.

Gerusalemme Liberata, 7. 46. (* Комаккьо.)
Это был один из старинных островков, образуемых слиянием двух рукавов реки По; он называется теперь di Volana и di Primaro; а галлы дали ему обычное кельтическое название "слияние вод".— Издат.)
35) См. Brenckman, Dissert. I-ma de Republica Amalphitana, стр. 1-42, ad calcem Hist. Pandect. Florent. (В настоящее время уже никто не верит тому, что будто Flavio Gioja изобрел компас в Амальфи в 1302 году. Трудно поверить, чтобы такое открытие могло быть сделано в городе, который находился в упадке и перестал заниматься торговлей с тех пор, как за полтора с лишком столетия перед тем (A. D. 1137, Sismondi, Repub. du Moyen Age, том I, стр. 303) был взят пизанцами и совершенно разрушен. Английский читатель может узнать из сочинения Галлама (Средние Века, III, 394), что это важное пособие для мореплавателей было известно еще в 1100 году, а немецкий читатель может справиться с диссертацией Ваксмута (Ersch und Gruber. Allg. Encyc. 3. 302), которая относит это изобретение к 1250 году, когда оно принадлежало к числу научных нововведений, пользовавшихся покровительством шведского регента Биргера. Итальянское слово bussola происходит от французского boussole, а это последнее от голландского или фламандского boxel (ящик). Вероятно, какие-нибудь нидерланские торговцы привезли эту новинку издалека, но они никогда не выдавали самих себя за ее изобретателей.— Издат.
36) Gregor. Magn. кн. 2, посл. 23. 25-27.
37) Я описал положение Италии, руководствуясь превосходной диссертацией Беретти. Giannone (Istoria Civile, том I, стр. 374-387), в том, что касается географии Неаполитанского королевства, следовал по стопам ученого Camillo Pellegrini. После утраты настоящей Калабрии греки из тщеславия заменили этим именем низкое название Бруттия, а эта перемена, как кажется, произошла до времен Карла Великого (Eginard, стр. 75). (Почему название Бруттия было низко? и почему название Калабрия могло польстить тщеславию греков? Юго-восточный полуостров Италии первоначально получил от них название Япигии, а потом Мессапии. Слово Калабрия было латинского изобретения. Если древность облагораживает, то бруттии с юго-западного полуострова имеют право на известность, так как они принадлежали к числу древних обитателей стран. (Нибур, Лекц. I, 120, 419). Их именем страна называлась во все времена римского владычества. В шестом столетии она была описана Кассиодором (Var. VIII, 31), а в восьмом Павлом Диаконом. В следующем столетии Зонара назвал ту же местность Калабрией. Это название было перенесено на другую местность незадолго до нашествия сарацинов и, вероятно, было усвоено эмигрантами, или беглецами, покинувшими один полуостров для того, чтобы искать убежища в менее доступной гористой местности другого полуострова. Страна, первоначально носившая название Калабрии, называется теперь La Terra di Otranto. Прежний Ager Bruttius — теперешняя Calabria Oltra, а южная часть Лукании — Calabria Citra.— Издат.
38) Маффеи (Verona Illustrata, ч. I, стр. 310-321) и Муратори (Antichita Italiane, том II, Dissertazione 32, 33, стр. 71-365) отстаивали притяза-

ния итальянского языка на самостоятельность, первый с энтузиазмом, второй очень сдержанно, и оба со знанием дела, остроумием и добросовестностью.

39) Павел Диакон, De Gest. Langobard. кн. 3, гл. 5-7.

40) Павел Диакон, кн. 2, гл. 9. Он дает этим семействам или поколениям тевтонское название Faras, которое также употребляется в лангобардских законах. Скромный диакон не был равнодушен к знатности своего рода. См. кн. 4, гл. 39. (Кто же из готов не имел права гордиться своим происхождением? В те времена, когда народы вели жизнь кочевников, слово faras обозначало тех, которые вместе пускались в путь. Корнем для него служило готское foera, от которого англосаксы произвели свое слов repan, германцы — слово fahren, голландцы — vaarem, итальянцы — Faro di Messina, а англичане — thorough-fare, way-farer, ferry и т. д. Сначала оно обозначало передвижение людей, а впоследствии (Лексикон Соммера) дикие кочевники стали обозначать этим словом все имущество, которое они брали с собой. В Саксонской Хронике Инграма (стр. 178) слово repde ошибочно переведено словом forded. Новейшее употребление этого слова не может вызывать никаких недоразумений, и подобно тому, как германцы называют вообще всякого компаньона словом gefährte, которое первоначально значило спутник, так и лангобарды в старину употребляли слово faras, или отряды переселенцев, для обозначения товариществ или семейств. F. Wachter, сделавшийся известным благодаря исследованиям этого рода, написал длинную и ученую диссертацию о слове far (Allgem. Encyc., 41, 391-399), в которой слегка упоминает о его употреблении у лангобардов и о том, что оно встречается во французском имени Фарамунд (охранитель семейств или родов).— Издат.)

41) Сравн. N 3 и 177 законов Ротари.

42) Павел Диакон, кн. 2, гл. 31, 32; кн. 3, гл. 16. Законы Ротари, изданные A. D. 643, не заключают в себе ни малейших признаков такой уплаты одной трети продуктов, но в них сохранилось много интересных подробностей относительно положения Италии и нравов лангобардов.

43) Конные заводы Дионисия Сиракузского и его частые триумфы на Олимпийских играх распространили между греками славу венецианских лошадей; но эта порода совершенно вымерла во времена Страбона (кн. 5, стр. 325). Гизульф получил от своего дяди generosarum equarum greges. Павел, кн. 2, гл. 8. Лангобарды впоследствии завели в Италии caballi sylvatici — диких лошадей. Павел, кн. 4, гл. 11.

44) Tunc (A. D. 596) primum, bubali in Italiam delati Jtaliae populis miracula fuere (Павел Варнефрид, кн. 4, гл. 11). Родиной буйволов, как кажется, были Африка и Индия; они неизвестны в Европе, за исключением Италии, где они водятся в большом числе и очень полезны. Древние были не знакомы с этими животными, если только Аристотель (Hist. Animal. кн. 2, гл. 1, стр. 58, Париж, 1783) не описал их под видом дикого быка Арахозии. (Buffon, Hist. Naturelle, том XI и Приложение, том VI. Hist. Générale des Voyages, том I, стр. 7. 481; II, 105; III, 291; IV, 234. 461; V, 193; VI, 491; VIII, 400; X, 666. Pennant, Quadrupeds стр. 24. Dictionnaire d'Hist. Naturelle, par Valmont de Bomare, том II, стр. 74). Впрочем, я не должен скрывать моего подо-

зрения, что Павел мог, по грубой ошибке, отнести название bubalus к зубрам или к быкам древней Германии. (Грубая ошибка, заключавшаяся в том, что название bubalus употребляли вместо urus, так же древне, как древни времена Плиния (9. 15). Упоминая об этом животном (11. 45), он говорит, что оно снабжало северных варваров кубками, которые выделывались из его рогов. Его urus был тоже, что urochs у древних германцев, теперь изменившееся в auerochs (Аделунг, Wört. 1. 419). У них частица Ur первоначально (Goth. Jör. Ang. Sax. eop.) обозначала превосходство древности, величия, физической силы, мужества и пр. Макробий спутал названия стран, когда писал (Saturn. 6. 4): Uri enim Gallica vox est, qua feri boves significantur. Галлия никогда не знала ни такого названия, ни такого животного. Когда Карл Великий пожелал охотиться за таким зверем, он отправился искать его в Гарцских горах. Нельзя сказать, чтобы его не знали в Германии; но он водился лишь в некоторых местностях прежней Польши.— Издат.)

45) См. двадцать первую диссертацию Муратори.

46) Их незнакомство с забавой этого рода доказывается молчанием даже тех писателей, которые специально занимались описанием искусства охоты и историей животных. Аристотель (Hist. Animal. кн. 9, гл. 36, том I, стр. 586 и примечание его последнего издателя Camus'a, том II, стр. 314), Плиний (Hist. Natur. кн. 10, гл. 10), Элиан (De Natur. Animal. кн. 2, гл. 42) и, быть может, Гомер (Одис., 22. 302-306) с удивлением описывают безмолвное соглашение и совокупную охоту соколов и фракийских птицеловов. (Гиббон, без сомнения, не хотел этим сказать, что уменье пользоваться соколами для ловли других птиц вовсе не было известно древним, а разумел только то, что это уменье не было доведено до того совершенства, до которого дошли следующие поколения. Beckmann (История Изобретений, изд. Bohn, 1. 200)цитирует одно место из сочинения приписываемого Аристотелю (De Mirabilibus Auscultat. гл. 128); там ясно описан этот род охоты. Из рассказа Элиана явствует, что греки получили знакомство с этим искусством от индийцев через посредство персов. Что оно издревле было знакомо в восточных странах — в этом иные убеждаются из упоминаний в Книге Баруха (3. 17) о "тех, кто проводит свое время вместе с птицами в воздушном пространстве". О том, что оно было известно народам готского происхождения, мы находим самые ранние сведения в Летописях франков; там говорится, что Меровей приказал отправить для своей забавы в Турское аббатство собак, лошадей и птиц. В двенадцатом столетии император Фридрих II написал на латинском языке сочинение De Arte Venandi cum Avibus. Эта интересная рукопись была впервые напечатана в Аугсбурге в 1596, а в 1788-9 она была перепечатана в Лейпциге с учеными комментариями. J. G. Schneider'a. В Мазаринской библиотеке есть рукопись, которая содержит в себе на две трети более того, что было до сих пор издано.— Издат.)

47) В особенности кречеты, которые величиной с небольшого орла. См. живописное описание этих птиц у Бюффона, Hist. Naturelle, том XVI, стр. 239 и сл.

48) Script. Rerum Italicarum, том I, ч. 2, стр. 129. Здесь идет речь о шестнадцатом законе императора Людовика Благочестивого. У его от-

ца, Карла Великого, были в придворном штате как ловчие, так и сокольничие. (Mémoires sur l'Ancienne Chevalerie, par M. de St. Palaye, том III, стр. 175). Я нахожу в законах Ротари более раннее упоминание об умении охотиться с соколами (N 322), а в Галлии в пятом столетии это умение восхваляется Сидонием Аполлинарием в числе других талантов Авита (202-207).

49) Эпитафию Дроктульфа (Павел Диакон, кн. 3, гл. 19) можно бы было применить ко многим из его соотечественников:

Terribilis visu facies, sed corde benignus
Longaque robusto pectore barba fuit.

Портреты древних лангобардов до сих пор можно видеть в двенадцати милях от Милана, во дворце Монзы, который был построен или реставрирован королевой Теоделиндой (кн. 4. 22, 23.) См. Муратори, том 1, диссерт. 23, стр. 300.

50) История Автари и Теоделинды рассказана Павлом Диаконом, кн. 3, гл. 29. 34, а все, что можно было найти в остатках баварских древностей, было расследовано с неутомимым усердием графом de Buat. Hist. des Peuples de l'Europe, том XI, стр. 595-635; том XII, стр. 1-53.

51) Giannone (Istoria Civile di Napoli, том 1, стр. 263) основательно порицал дерзость Боккаччо (Gior. 3, Novei, 2), который бросил благочестивую королеву Теоделинду в объятия погонщика мулов, не имея на это никакого права или предлога и нарушая историческую истину.

52) Павел, кн. 3, гл. 16. В первых диссертациях Муратори и в первой части Истории Giannone можно найти сведения о положении итальянского королевства.

53) Самое аккуратное издание лангобардских законов находится в Scripto res Rerum Italicarum. том 1, часть 2, стр. 1-181; они извлечены из самых древних рукописей и освещены критическими примечаниями Муратори.

54) Монтескье, Esprit des Loix кн. 28, гл. 1. Les loix des Bourguignons sont assez judicieuses; celles de Rotharis et des autres princes Lombards le sont encore plus.

55) См. Leges Rotharis, N 379, стр. 47. Словом striga там называют колдунью. Оно самого чистого происхождения (Horat. epod. 5, 20. Petron. гл. 134), а из слов Петрония (quae striges comederunt nervos tuos?) можно заключить, что этот предрассудок впервые возник у италийцев, а не у варваров. (Nocturnae strigis, о которых говорит Гораций в вышеуказанном месте, обозначали не саму колдунью, а "ночную птицу", перья которой входили в состав ее снадобьев. Плиний (11. 95), по-видимому, считал колдунью за такое же вымышленное существо, как гарпия. Его описание приписываемых колдунье привычек заставляет думать, что Петрониевы striges были эти воображаемые птицы, а не носящие человеческую форму существа, какими были Горациевы lamiae. (A. P. V. 340).— Издат.)

56) Quia incerti sumus de judicio Dei, et multos audivimus per pugnam sine justa suam causam perdere. Sed propter consuetudinem gentem nostram Langobardorum legem impiam vetare non possumus. См. стр. 74, N 65 Законов Лиутпранда, обнародованных A. D. 724.

57) Прочтите историю Павла Варнефрида, в особенности кн. 3, гл. 16. Бароний отвергает похвалу, которая находится в противоречии с бранью папы Григория Великого; но Муратори (Annali d'Italia, том V,

стр. 217) осмеливается высказать предположение, что этот святой преувеличивал недостатки ариан и врагов.

58) Те места в проповедях Григория, где описывается бедственное положение города и страны, переписаны в Летописях Барония, A D. 590, N 16; A. D. 595, N 2 и т. д.

59) О наводнении и моровой язве рассказал диакон, который был послан своим епископом, Григорием Турским, в Рим за какими-то мощами. Изобретательный посланец разукрасил свой рассказ и самую реку описанием большого дракона и множества маленьких змей (Greg. Turon. кн. 10, гл. 1).

60) Римский папа Григорий (Dialog. кн. 2, гл. 15) рассказывает замечательное предсказание св. Бенедикта: Roma a Gentilibus non exterminabitur sed tempestatibus, coruscis turbinibus ac terrae motu in semetipsa marcescet. Такое предсказание входит в состав настоящей истории, так как свидетельствует о том факте, по поводу которого было выдумано.

61) Quia in uno se ore cum Jovis laudibus, Christi laudes non capiunt, et quam grave nefandumque sit episcopis canere quod nec laico religioso conveniat, ipse considera (кн. 9, посл. 4). Произведения самого Григория доказывают, что его нельзя было бы упрекнуть в классическом вкусе или в классическом духе его сочинений.

62) Бэйль (Dictionnaire Critique, том II, стр. 598, 599) в очень хорошей статье о Григории I ссылается в том, что касается зданий и статуй, на Платину; в том, что касается Палатинской библиотеки, — на Иоанна Салисбюрийского (de Nugis Curialium, кн. 2, гл. 26) и в том, что касается Ливия,— на Антонина Флорентийского; самый древний из этих трех писателей жил в двенадцатом столетии.

63) Григор. кн. 3, epist. 24, indict. 12 и сл. Из посланий Григория и из восьмого тома Летописей Барония благочестивый читатель может узнать, сколько частиц святого железа было вделано в золотые ключи или в золотые кресты и разосланы в Британию, Галлию, Испанию, Африку, Константинополь и Египет. Слесарь-первосвященник, державший в своих руках цепь, должно быть, хорошо понимал, какие чудеса он был в состоянии творить и от каких должен был воздерживаться; это обстоятельство, ослабляя наши понятия о склонности Григория к суевериям, тем самым ослабляет доверие к его правдивости.

64) Кроме посланий самого Григория, приведенных в порядок Дюпеном (Bibliothèque Ecclés. том V, стр. 103-126), мы имеем три жизнеописания этого папы; два первых написаны в восьмом и девятом столетиях (de Triplici Vita St. Greg. Предисловие к 4-му тому бенедиктинского издания) диаконами Павлом (стр. 1-18) и Иоанном (стр. 19-188) и содержат много оригинальных, но сомнительных указаний; третья биография длинная и тщательно составленная компиляция бенедиктинских издателей (стр. 199-305). Летописи Барония богаты историческим содержанием, но пристрастны. Его предубеждения в пользу папы смягчаются здравым смыслом Флери (Hist. Ecclés. том VIII), а его хронология исправлена критическими замечаниями Пажи и Муратори. (Характер Григория верно обрисован Гиббоном; но успешные старания этого честолюбивого первосвященника усилить папскую власть более ясно описаны Галламом (Средн. Века, 2, 228-

233), который присовокупил длинное примечание с целью опровергнуть мнение, будто император Фока дал ему титул Вселенского Епископа. Кроме того, что этот титул сам по себе нелеп, он не мог бы приобрести санкции от такой власти, если бы и действительно был дан.— Издат.)

65) Диакон Иоанн описал этот портрет, как человек, который сам его видел (кн. 4, гл. 83, 84); а его описание иллюстрировал римский антикварий Анжело Рокка (St. Greg. Opers, том IV, стр. 312-326), который замечает, что в старинных римских церквах до сих пор встречаются мозаичные изображения пап седьмого столетия (стр. 321-323). На тех стенах, где было прежде изображено семейство Григория, теперь изображено мученичество св. Андрея; в этой последней картине гений Доменико Цампьери соперничал с гением Гвидо-Рени.

66) Disciplinis vero liberalibus, hoc est grammatica, rhetorica, dialectica, ita a puero est institutus, ut quamvis eo tempore florerent adhuc Romae studia literarum, tamen nulli in urbe ipsa secundus putaretur. Paul. Diacon. in Vit. S. Gregor. гл. 2.

67) Бенедиктинцы (Vit. Gregor. кн. 1, стр. 205-208) стараются доказать, что монастыри, основанные Григорием, были организованы по правилам их собственного ордена; но так как этот вопрос был признан сомнительным, то из этого ясно следует, что эти влиятельные монахи были не правы. См. Butler's Lives of the Saints, ч. III, стр. 145 — сочинение не без достоинств; здравый смысл и ученость принадлежат самому автору, а его предрассудки принадлежат его профессии.

68) Monasterium Gregorianum in ejusdem Beati Gregorii aedibus ad clivum Scauri prope ecclesiam SS. Johannis et Pauli in honorem St. Andreae (John in Vit. Gregor. кн. 1, гл. 6; Greg. кн. 7, посл. 13). Этот дом и этот монастырь находились на склоне Целийского холма, напротив Палатинского; теперь они заняты Камальдулами; святой Григорий торжествует, а св. Андрей удалился в маленькую капеллу. Nardini, Roma Antica, кн. 3, гл. 6, стр. 100. Descrizione di Roma, том I, стр. 442-446.

69) Pater noster состоит всего из полдюжины строк; Григориевы Sacramentarius и Antiphonarius наполняют восемьсот восемьдесят страниц in fol. (том III, часть I, стр. 1-880), но это только одна часть Ordo Romanus, который был иллюстрирован Мабильоном и изложен в сокращении Флери. (Hist. Eccles. том VIII, стр. 139-152).

70) Аббат Dubos (Réflexions sur la Poésie et la Peinture, том III, стр. 174, 175) замечает, что простота амвросианского напева ограничивалась четырьмя тонами, тогда как более совершенная гармония григорианского напева заключает в себе восемь тонов, или пятнадцать аккордов, старинной музыки. Он говорит (стр. 332), что знатоки восхищаются началом и многими местами григорианского богослужения.

71) Диакон Иоанн (in Vit. Greg. кн. 2, гл. 7) говорит, что итальянцы издревле питали отвращение к пению народов, живших по ту сторону гор. Alpina scilicet corpora vocum suarum tonitruis altisone perstrepentia, susceptae modulationis dulcedinem proprie non resultant: quia bibuli gutturis barbara feritas dum inflexionibus et repercussionibus mitem nititur edere cantilenam, naturali quodam

fragore, quasi plaustra per gradus confuse sonantia, rigidas voces jactat, etc. Во времена Карла Великого франки, хотя и неохотно, но признавали основательность этого упрека. Muratori, Dissert. 25.

72) Один французский критик Petrus Gussanvillus, Opera, том II, стр. 105-112) постарался доказать, что вся бессмыслица, заключавшаяся в Диалогах, принадлежит самому Григорию. Dupin (том V, стр. 138) полагает, что никто не захочет поручиться за достоверность всех этих чудес; мне было бы желательно знать, скольким из этих чудес он сам верил.

73) Бароний неохотно входит в подробности об управлении этими поместьями из опасения обнаружить, что это были ***фермы***, а не ***королевства.*** Французские писатели, бенедиктинские издатели (том IV, кн. 3, стр. 272 и сл.) и Флери (том VIII, стр. 29 и сл.) не боятся входить в эти скромные и полезные подробности, а Флери, из человеколюбия, настаивает на общественных добродетелях Григория.

74) Я подозреваю, что эта денежная пеня, взимавшаяся с поселян за право вступления в брак, была источником знаменитого и нередко приукрашенного вымыслами права de cuissage, de marquette, etc. Красивая новобрачная, может быть, уплачивала эту подать, с согласия своего мужа, тем, что отдавалась молодому землевладельцу, а это обоюдное одолжение могло служить прецедентом скорее для мести, чем для легальной тирании.

75) Сигоний с талантом описал светское управление Григория I в первой книге de Regno Italiae. См. Полное собрание его сочинений, том II, стр. 44-75.

Глава XLVI

Перевороты в Персии после смерти Хосрова, или Ануширвана.— Его сын, тиран Ормузд, свергнут с престола.— Узурпация Бахрама.— Бегство Хосрова II и его вторичное вступление на престол.— Его признательность к римлянам.— Аварский каган.— Восстание армии против Маврикия.— Его смерть.— Тирания Фоки.— Возведение на престол Ираклия.— Персидская война.— Хосров завоевывает Сирию, Египет и Малую Азию.— Персы и авары осаждают Константинополь.— Персидские экспедиции.— Победы и триумф Ираклия.

Борьба между Римом и Персией продолжалась со смерти Красса до царствования Ираклия. Семисотлетний опыт мог бы убедить обе соперничавшие нации в невозможности сохранять их завоевания по ту сторону роковых границ, указанных Тигром и Евфратом. Но честолюбие Траяна и Юлиана было возбуждено трофеями Александра, а персидские цари питали надежду восстановить империю Кира[1]. Такие чрезвычайные усилия могущества и мужества всегда будут останавливать на себе внимание потомства; но события, от которых в судьбе народов не произошло существенных перемен, оставляют после себя слабый отпечаток на страницах истории, и мы истощили бы терпение читателя, описывая похожие одни на другие военные действия, которые предпринимались без причины, велись без блестящих успехов и оканчивались без всяких последствий. Византийские монархи тщательно упражнялись в искусстве вести переговоры, с которым не было знакомо безыскусственное величие Сената и Цезарей, а отчеты их беспрестанных посольств[2], написанные с однообразным многословием языком лжи и декламации, отзываются дерзостью варваров и раболепием греков. Сожалея о бесплодном изобилии материалов, я постарался изложить эти неинтересные события в сжатом виде; но справедливого Ануширвана до сих пор выдают за образец восточных царей, а честолюбие его внука Хосрова подготовило Восток к перевороту, который был быстро совершен оружием и религией преемника Мухаммеда.

Во время тех бесплодных пререканий, которые обыкновенно предшествуют окончательной ссоре между монархами и как бы служат для нее оправданием, греки и варвары обвиняли одни других в нарушении мирного договора, заключенного между двумя империями почти за четыре года до смерти Юстиниана. Повелитель Персии и Индии желал присоединить себе провинцию Йемен, или Счастливую[3] Аравию — ту отдаленную родину мирры и ладана, которая не подпала под власть восточных завоевателей скорее благодаря случайности, чем вследствие оказанного ею сопротивления. После поражения Абрахи под стенами Мекки раздоры его сыновей и братьев содействовали успеху персидского нашествия; персы прогнали утвердившихся в Абиссинии иноземцев за Чермное море, и принц, происходивший от древних гомеритов, был возведен на престол в качестве вассала, или вице-короля великого Ануширвана[4]. Но племянник Юстиниана объявил, что намерен отомстить за оскорбления, нанесенные его христианскому союзнику, абиссинскому монарху, так как они доставляли ему благовидный предлог, чтобы прекратить уплату ежегодной *дани*, тщетно прикрывавшейся названием пенсии. Христианские церкви Персидской Армении страдали под гнетом не терпевших иноверия магов: они втайне обратились за помощью к покровителю христиан, и мятежники, после благочестивого умерщвления своих сатрапов, стали действовать открыто и нашли себе поддержку в качестве единоверцев и подданных римского императора. Жалобы Ануширвана были оставлены византийским двором без внимания; Юстин склонился на настояния турок, предлагавших ему союз против общего врага, и персидской монархии стали одновременно угрожать военные силы Европы, Эфиопии и Скифии. Восьмидесятилетний восточный монарх, может быть, предпочел бы спокойно наслаждаться своей славой и величием; но лишь только война сделалась неизбежной, он выступил в поход с пылом юноши, между тем как его соперник дрожал от страха в константинопольском дворце. Ануширван, или Хосров, лично вел осаду Дары, и хотя эта важная крепость была оставлена без войск и без магазинов, храбрость ее жителей сопротивлялась в течение пяти с лишним месяцев стрелкам, слонам и военным машинам великого царя. Тем временем один их его военачальников, Адарман, выступил из Вавилона, перешел через степь, переправился

через Евфрат, опустошил предместья Антиохии, обратил город Апамею в пепел и сложил собранную в Сирии добычу к стопам своего повелителя, который благодаря своим упорным усилиям в самой середине зимы наконец овладел оплотом Востока. Но эти потери, возбудив удивление в провинциях и при дворе, имели то благотворное последствие, что возбудили в душе Юстина раскаяние и желание отречься от престола; в правительственных сферах Византии повеяло другим духом, и благоразумный Тиберий добился трехлетнего перемирия. Этот промежуток времени был употреблен на приготовления к войне, и голос молвы поведал всему миру, что императорская кавалерия была усилена стапятьюдесятью тысячами солдат, пришедших из отдаленных альпийских и прирейнских стран, из Скифии, Мезии, Паннонии, Иллирии и Исаврии. Однако персидский царь, не испугавшись этих слухов или не поверивши им, решил предупредить неприятельское нападение, снова перешел через Евфрат и, отпуская Тибериевых послов, высокомерно дал им приказание ожидать его прибытия в главном городе каппадокийских провинций Кесарии. Две армии сошлись и вступили в бой при Мелитене; варвары, омрачая воздух тучей стрел, растянули свою боевую линию и развернули свои фланги поперек равнины, а выстроившиеся глубокими и густыми колоннами римляне ожидали боя на более близком расстоянии, рассчитывая на то, что им доставит перевес тяжесть их мечей и пик. Один из скифских вождей, командовавший их правым крылом, внезапно обошел фланг персов, напал на их арьергард в присутствии Хосрова, проник в центр их лагеря, разграбил царскую палатку, оскорбил их благочестивое уважение к вечному огню, навьючил на верблюдов азиатскую добычу, проложил себе дорогу сквозь массы персов и возвратился с победными возгласами к своим ратным товарищам, которые провели весь день в единоборствах или в бесплодных стычках. Пользуясь ночной темнотой и тем, что римские войска расположились отдельными лагерями, персидский монарх отомстил за эту неудачу и совершенно уничтожил один из этих лагерей благодаря быстроте и стремительности своего нападения. Но приведение в ясность понесенных потерь и сознание своего опасного положения заставили Хосрова торопливо отступить; он сжёг лежавший на пути и совершенно покинутый жителями город Мелитену[5] и, не за-

ботясь о безопасности своей армии, отважно переплыл Евфрат верхом на слоне. После этой неудачной кампании недостаток магазинов, а может быть, и нашествие турок заставили его распустить или разделить его войска; победа осталась за римлянами, а их полководец Юстиниан, двинувшись на помощь к мятежникам Персидской Армении, водрузил свое знамя на берегах Аракса. Великий Помпей когда-то остановился в трех днях пути от Каспия[6]; неприятельская эскадра[7] впервые появилась на этом внутреннем море, и семьдесят тысяч пленников были переселены из Гиркании на остров Кипр. С наступлением весны Юстиниан спустился в плодоносные равнины Ассирии; пламя войны стало приближаться к резиденции Ануширвана; разгневанный монарх сошел в могилу, а его последний Эдикт запретил его преемникам рисковать своей особой в сражениях с римлянами. Однако воспоминание об этом временном унижении исчезло в блеске продолжительного царствования, а увлекшиеся мечтами о завоеваниях враги Ануширвана снова пожелали на время отдохнуть от бедствий войны[8].

На престол Хосрова Ануршивана вступил старший и самый любимый из его сыновей Ормузд, или Ормизд. Вместе с царствами Персидским и Индийским он получил в наследство славу и пример своего отца, преданность искусных и храбрых офицеров всякого ранга и административную систему, которую время и государственная мудрость согласовали с благополучием монарха и народа. Но на долю царственного юноши выпало еще более ценное благо — преданность мудреца, руководившего его воспитанием и всегда предпочитавшего честь своего воспитанника его интересам, а его интересы его наклонностям. В споре с греческими и индийскими философами Бузург[9] однажды утверждал, что самое тяжелое из постигших нас в жизни несчастий — старость без воспоминаний о добродетелях, и мы позволяем себе думать, что именно этот принцип побудил его руководить в течение трех лет управлением Персидской империи. Его усердие было награждено признательностью и покорностью Ормузда, сознававшего, что он обязан своему наставнику более, чем своему родителю; но когда старость и труд ослабили физические силы и, может быть, умственные способности этого благоразумного советника, он удалился от двора и предоставил юного монарха его собственным страстям и страстям его любим-

цев. Вследствие роковой неустойчивости всего, что создается человеческими руками, в Ктесифоне повторились те же сцены, свидетелями которых был Рим после смерти Марка Антонина. Удаленные отцом льстецы и развратники были восстановлены сыном в прежних должностях и стали пользоваться его доверием; их владычество упрочилось от опалы и ссылки друзей Ануширвана, и добродетель была мало-помалу изгнана из сердца Ормузда, из его дворца и из государственного управления. Честные правительственные агенты, назначавшиеся для того, чтобы служить для своего государя глазами и ушами, уведомляли его, что беспорядок усиливается, что губернаторы провинций устремляются на свою добычу с львиной и орлиной свирепостью и что их хищничества и несправедливости способны внушить самым верным его подданным отвращение к имени и власти их государя. За такие добросовестные советы стали наказывать смертью; к ропоту городских жителей относились с пренебрежением, а их восстания подавляли при помощи военных экзекуций; должностные лица, служившие посредниками между верховной властью и народом, были уволены, и ребяческое тщеславие Ормузда, заставлявшего его никогда не показываться иначе, как с диадемой на голове, побудило его объявить, что он один будет как повелителем, так и судьей в своих владениях. В каждом слове, в каждом поступке сын Ануширвана обнаруживал, что ему совершенно чужды добродетели его отца. Его жадность подвергла солдат лишениям; его завистливое своенравие унижало сатрапов; дворец, трибуналы и воды Тигра были обагрены кровью невинных, и тиран радовался страданиям и казни тринадцати тысяч жертв. Он иногда снисходил до оправдания своих жестокостей тем, что опасения персов могут породить ненависть; а их ненависть может привести их к восстанию; но он забывал, что его собственная вина и его собственное безрассудство внушали те чувства, которыми он был недоволен, и подготавливали тот взрыв, которого он основательно опасался. Выведенные из терпения продолжительными угнетениями и не предвидевшие конца своим страданиям, города Вавилон, Суза и Кармания подняли знамя восстания, а владетели Аравии, Индии и Скифии отказали недостойному преемнику Ануширвана в уплате обычной дани. Римляне опустошали пограничные округа Месопотамии и Ассирии, то предпринимая медленную осаду городов,

то вторгаясь внутрь страны; один из их военачальников воображал, что он идет по стопам Сципиона, а солдат воодушевлял чудотворный образ Христа, кроткий лик которого никогда бы не следовало выставлять перед фронтом армий[10]. В то же самое время на восточные провинции Персии напал великий хан, перешедший через Окс во главе трех- или четырехсот тысяч турок. Неосторожный Ормузд принял вероломное предложение их опасной помощи; городам Хорасана или Бактрианы было приказано отворять перед ними свои ворота; движением варваров к горам Гиркании обнаружилось тайное соглашение между турецкими и римскими армиями, а совокупное действие этих армий могло ниспровергнуть трон Сасанидов.

Персию погубил царь; ее спас герой. После восстания Варана, или Бахрама, сын Ормузда заклеймил его названием неблагодарного раба; но в этом укоре сказалась лишь гордость деспота, так как Бахрам происходил от древних князей Реев[11], то есть от одного из тех семи родов, которые по своим блестящим и существенным прерогативам стояли выше всей остальной персидской знати[12]. При осаде Дары Бахрам выказал свою храбрость на глазах Ануширвана и как от этого царя, так и от его сына получал повышения по службе, состоя то в звании главного начальника армий, то в звании наместника Мидии, то в должности главного начальника дворцового управления. Народное предсказание, что он будет спасителем Персии, могло быть вызвано его прежними победами и его необыкновенной наружностью; в данном ему прозвище *Гиубина* выражались свойства *сухого дерева*; он был гигант по своей физической силе и по своему росту, а его физиономию сравнивали с мордой дикой кошки. В то время как народ трепетал от страха, Ормузд прикрывал свой ужас под названием подозрений, а его служители скрывали свою нелюбовь под маской испуга, один Бахрам выказывал свое непреклонное мужество и свою мнимую преданность, и лишь только он убедился, что может выступить против неприятеля во главе лишь двенадцати тысяч солдат, он из хитрости объявил, что именно этому роковому числу предназначены небесами почести триумфа. Крутой и узкий спуск с Пуле Рудбара[13], или Гирканского утеса, был единственным проходом, по которому неприятельская армия могла проникнуть на территорию Реев и в равнины Мидии. С господство-

вавших над этим проходом высот кучка энергичных бойцов могла засыпать камнями и стрелами мириады турок: персидские стрелы поразили насмерть турецкого императора и его сына, а обратившийся в бегство неприятель, оставшись и без начальников, и без провианта, сделался жертвой озлобленных жителей. Для патриотизма персидского главнокомандующего служила стимулом его привязанность к городу его предков; в момент победы каждый крестьянин обратился в солдата и каждый солдат в героя, а их воинственный пыл был возбужден привлекательным зрелищем сделанных из массивного золота кроватей, тронов и столов, которые были ограблены неприятелем в Азии и служили украшением для его лагеря. И не такой завистливый монарх, как Ормузд, нелегко простил бы своего благодетеля, а тайную ненависть персидского царя еще усилил злобный донос, будто Бахрам удержал в свою пользу самые ценные плоды своей победы. Но приближение римской армии со стороны Аракса заставило безжалостного тирана выразить улыбкой свое одобрение, и Бахрам был награжден за свои труды дозволением сразиться с новым врагом, который по своему военному искусству и по своей дисциплине был более грозен, чем скифские орды. Возгордившийся своим недавним успехом, Бахрам послал в римский лагерь глашатая с высокомерным требованием назначить день битвы и решить, сами ли римляне перейдут через реку или же предоставят свободный через нее переход войскам великого царя. Наместник императора Маврикия отдал предпочтение тому, что было более безопасно, и выбор места битвы, вместо того чтобы усилить победу персов, сделал их поражение более кровопролитным, а их отступление более трудным. Но гибель подданных Ормузда и опасность, угрожавшая его владениям, перевешивались в его душе желанием унизить его личного врага, и лишь только Бахрам вновь собрал свои силы и сделал им смотр, царский посланец привез ему оскорбительный подарок, состоящий из прялки, прядильного станка и полного женского одеяния. Исполняя волю своего государя, он появился перед солдатами в этом унизительном костюме; они приняли это оскорбление за свое собственное; по всем рядам раздались мятежные возгласы, и главнокомандующий принял от них клятву, что они будут ему верны и отомстят за него. Второй посланец, которому было приказано привести мятежника закованным в цепи,

был растоптан ногами слона, и вслед за тем повсюду были разосланы манифесты, приглашавшие персов отстаивать их свободу против ненавистного и презренного тирана. Измена быстро распространилась повсюду; преданные Ормузду рабы сделались жертвами народной ярости; войска перешли под знамя Бахрама, и провинции снова приветствовали в нем спасителя страны.

Так как все сообщения были прерваны, то Ормузд мог считать своих врагов по угрызениям своей совести и по ежедневному удалению тех царедворцев, которые или пользовались его бедственным положением для отмщения за свои обиды, или не хотели помнить оказанных им благодеяний. Он с высокомерием окружал себя блеском царского величия; но город Модэн и находившийся там царский дворец уже были не во власти тирана. К числу жертв его жестокосердия принадлежал один принц из рода Сасанидов, по имени Биндоэс, которого он приказал заключить в темницу; цепи заключенного были разорваны благодаря усердию и мужеству его брата, и он предстал перед царем во главе тех сторожей, которые были избраны орудиями его тюремного заключения и, может быть, его смертной казни. Испуганный внезапным появлением и смелыми упреками своего пленника, Ормузд тщетно искал вокруг себя совета и помощи; он убедился, что вся его сила заключалась в повиновении других и без сопротивления уступил усилиям одного Биндоэса, который стащил его с трона и повлек в ту самую темницу, в которой так еще недавно сам был заключен. Старший сын Ормузда, Хосров, убежал из города в самом начале мятежа; он согласился возвратиться вследствие настоятельной и дружеской просьбы Биндоэса, который обещал ему возвести его на отцовский престол и рассчитывал, что сам будет царствовать от имени неопытного юноши. В основательной уверенности, что его сообщники не могут ни миловать, ни сами ожидать помилования и что каждый перс будет неумолим в своем приговоре против тирана, Биндоэс подверг Ормузда публичному суду, для которого нельзя было найти прецедента или примера в летописях Востока. Сын Ануширвана, пожелавший быть своим собственным защитником, был как преступник введен в полное собрание аристократов и сатрапов[14]. Его слушали с приличным вниманием, пока он говорил о пользе порядка и повиновения, об опасности нововведений и о неизбежных

раздорах между теми, которые поощряли друг друга попирать ногами власть своего законного и наследного монарха. Трогательным воззванием к их человеколюбию он возбудил то сострадание, в котором редко отказывают падшему величию царей, а в то время, как они взирали на униженную позу и нищенскую наружность пленника, на его слезы, его цепи и следы позорного бичевания, они невольно вспоминали, как еще недавно они преклонялись перед божественным блеском его диадемы и царского одеяния. Но в собрании раздался гневный ропот, когда он осмелился оправдывать свое поведение и хвастаться одержанными в его царствование победами. Персидские аристократы презрительно улыбались, когда он стал определять обязанности царя; они пришли в негодование, когда он осмелился унижать характер Хосрова, а своим неосторожным предложением отказаться от престола в пользу своего второго сына он подписал свой собственный приговор и обрек своего невинного любимца на неизбежную гибель. Обезображенные трупы этого мальчика и его матери были выставлены перед глазами народа; Ормузду выкололи глаза раскаленной иглой, а вслед за наказанием отца состоялось коронование его старшего сына. Хосров вступил на престол без преступления и из сыновней преданности попытался облегчить страдания низвергнутого монарха: он приказал перевезти Ормузда из темницы в один из дворцовых апартаментов, ничего не жалел, чтобы доставить ему некоторое утешение в чувственных наслаждениях, и терпеливо выносил яростные взрывы его гнева и отчаяния. Он мог пренебрегать мстительностью слепого и непопулярного тирана, но корона не могла твердо держаться на его голове, пока он не подчинил своей власти или не приобрел дружбы всесильного Бахрама, упорно отказывавшегося признать законность переворота, который был совершен без согласия настоящих представителей Персии — его самого и его солдат. На предложение всеобщей амнистии и второго ранга в империи Бахрам отвечал письмом, в котором называл себя другом богов, победителем людей, врагом тиранов, сатрапом из сатрапов, главнокомандующим персидских армий и принцем, украшенным одиннадцатью добродетелями[15]. Он приказывал сыну Ормузда Хосрову избегать примера и участи его отца, заключить в темницу изменников, с которых сняли цепи, положить незаконно присвоенную им диадему на хранение в

какое-нибудь священное место и принять от своего снисходительного благодетеля прощение своих заблуждений и управление одной провинцией. Эта переписка привела лишь к тому результату, что обнаружила высокомерие бунтовщика, и в особенности смирение царя; но первый сознавал свою силу, а второй так хорошо сознавал свое бессилие, что скромные выражения его ответного письма еще не уничтожали надежды на сделку и примирение. Хосров выступил в исходе во главе дворцовых рабов и столичной черни; эти воины пришли в ужас при виде знамен испытанной в боях армии; они были окружены и захвачены в расплох благодаря искусным маневрам Бахрама, и низложившие Ормузда сатрапы или были наказаны за свое восстание, или загладили свою первую измену вторым, и еще более преступным, предательством. Жизнь и свобода Хосрова были пощажены, но он был поставлен в необходимость искать помощи или пристанища у чужеземцев, а безжалостный Биндоэс, горя нетерпением обеспечить за ним бесспорное право на верховную власть, поспешно возвратился во дворец и с помощью тетивы от лука положил конец бедственному существованию Ануширванова сына[16].

В то время как Хосров торопливо готовился к отъезду, он обсуждал с оставшимися при нем друзьями[17], что следует ему делать — скрываться ли в долинах Кавказских гор или укрыться под палатками турок, или же просить покровительства у императора. Ввиду продолжительного соперничества между преемниками Артаксеркса и Константина ему очень не хотелось появляться просителем при неприятельском дворе; но он взвесил военное могущество римлян и благоразумно сообразил, что близость Сирии облегчит его бегство, а помощь римлян будет самой надежной. В сопровождении только своих наложниц и отряда из тридцати телохранителей он тайно удалился из столицы, пробрался вдоль берегов Евфрата, переехал через степь и остановился на расстоянии десяти миль от Цирцезия. При третьем ночном обходе римского префекта известили о его прибытии, и на рассвете он впустил царственного иноземца внутрь крепости. Оттуда царь Персии был отправлен в более почетную резиденцию, в город Гиераполь, а когда к Маврикию прибыли письма и послы от Ануширванова внука, он скрыл свою гордость и выказал свою благосклонность. Послы униженно напоминали ему

о превратностях фортуны и об общих для всех монархов интересах, преувеличивали неблагодарность распространителя вредных принципов Бахрама и в особенности настаивали на том, что интересы самих римлян требуют существования двух монархий, которые держат мир в равновесии и служат двумя великими светилами, оживотворяющими и украшающими землю своим благотворным влиянием. Душевная тревога Хосрова скоро стихла, так как император объявил, что вступится за интересы справедливости и царской власти; но Маврикий из благоразумия отклонил расходы и отсрочки, с которыми было бы сопряжено его бесполезное прибытие в Константинополь. Бесприютному монарху была поднесена от имени его великодушного благодетеля богатая диадема вместе с неоценимым подарком из драгоценных камней и золота; на границах Сирии и Армении была собрана сильная армия под начальством храброго и верного Нарсеса,[18] а к этому главнокомандующему, который по своему происхождению принадлежал к одной с Хосровом нации и был назначен по его выбору, было приказано перейти через Тигр и не вкладывать своего меча в ножны, пока Хосров не вступит на престол своих предков. Это блестящее предприятие было не так трудно, как могло бы казаться. Персы уже раскаивались в пагубной опрометчивости, с которой они предпочли честолюбивого подданного законному представителю рода Сасанидов, а смелый отказ магов освятить узурпацию Бахрама заставил этого последнего взять в свои руки скипетр наперекор законам и предрассудкам нации. Во дворце стали возникать заговоры, в столице мятежи, в провинциях восстания, а безжалостная казнь виновных и внушавших подозрения персов вместо того, чтобы заглушать общее неудовольствие, лишь усиливала его. Лишь только внук Ануширвана развернул по ту сторону Тигра свое собственное знамя рядом со знаменами римлян, к нему стали присоединяться ежедневно увеличивающиеся толпы аристократии и народа, и по мере того, как он подвигался вперед, он с радостью со всех сторон принимал ключи от своих городов и головы своих врагов. Когда Моден избавился от присутствия узурпатора, преданные Хосрову жители подчинились первому требованию Мебода, имевшего под своим начальством только две тысячи всадников, и Хосров принял священные и драгоценные дворцовые украшения как залог их верности и как предзнамено-

ванис скорого успеха. После сосредоточения императорских войск, которому Бахрам тщетно пытался воспрепятствовать, спор разрушился двумя битвами: одной на берегах Заба, а другой — на границах Мидии. Римляне вместе с верными персидскими подданными составляли шестидесятитысячную армию, а все силы узурпатора не превышали сорока тысяч человек: оба главнокомандующих выказали свое мужество и искусство, но победа в конце концов осталась за теми, на чьей стороне были численное превосходство и дисциплина. С остатками разбитой армии Бахрам бежал в восточные провинции, омываемые Оксом; вражда к Персии примирила его с турками; но его жизнь сократил яд, быть может, самый сильный из всех ядов — угрызения совести, отчаяние и горькое воспоминание о прошлом величии. Тем не менее новейшие персы до сих пор еще вспоминают о подвигах Бахрама, а несколько изданных им прекрасных законов продлили его бурное и случайное царствование.

Восшествие Хосрова на престол сопровождалось празднествами и смертными казнями, и музыку, игравшую на царских банкетах, нередко прерывали стоны умиравших или изувеченных преступников. Общее помилование доставило бы утешение и спокойствие стране, потрясенной последними переворотами; но прежде чем порицать кровожадные наклонности Хосрова, мы должны справиться, не были ли персы приучены впадать в одну из двух крайностей — или бояться жестокости своего государя, или презирать его слабость. Руководствуясь или мщением, или справедливостью, победитель подверг заслуженному наказанию и восстание Бахрама, и заговор сатрапов; заслуги самого Биндоэса не могли смыть с его рук царскую кровь, а сын Ормузда желал доказать свою невинность и поддержать уважение к священной неприкосновенности монархов. В то время как могущество Рима было в полном цвете, несколько монархов были обязаны своим возведением на персидский престол оружию и влиянию первых Цезарей. Но их подданным скоро внушали отвращение и пороки, и добродетели, усвоенные ими в чужой стране, а непрочность их владычества послужила поводом для народного поверья, что прихотливое легкомыслие восточных рабов с одинаковым увлечением и просило римлян о выборе для них царя, и протестовало против такого выбора[19]. Но славе Маврикия придало новый блеск продолжительное и благопо-

лучное царствование его *сына* и союзника. Отряд из тысячи римлян, состоявших при Хосрове в качестве телохранителей, свидетельствовал о его доверии к преданности иноземцев; когда его власть укрепилась, он нашел возможным отпустить этих непопулярных защитников, но он всегда относился к усыновившему его императору с одинаковой признательностью и уважением, и до самой смерти Маврикия мир и союз между двумя империями оставались нерушимыми. Однако продажная дружба римского императора была куплена дорогими и важными подарками; ему были возвращены крепости Мартирополь и Дара, а жители персидской Армении с радостью перешли в подданство империи, восточные пределы которой расширились до берегов Аракса и до соседних с Каспийским морем стран, чему еще не было примера в прежние времена. Благочестивые люди питали надежду, что не только государство, но и церковь извлекут для себя пользу из этого переворота; но если Хосров с искренним сочувствием внимал советам христианских епископов, эти впечатления были сглажены усердием и красноречием магов, а если он был вооружен философским равнодушием к религии, он приспособлял свои верования или, скорее, публичное выражение своих верований к разнообразным требованиям своего положения то в качестве изгнанника, то в качестве монарха. Мнимое обращение персидского монарха в христианство ограничивалось местным и суеверным поклонением одному из антиохийских святых Сергию[20], который внимал его молитвам и являлся ему в сновидениях; он обогатил раку этого святого приношениями золота и серебра и приписывал своему незримому покровителю успехи своего оружия и беременность любимой своей жены Сиры, которая была ревностной христианкой[21]. Красота Сиры, или Схирины[22], ее остроумие и музыкальные дарования до сих пор славятся в истории Востока или, вернее, в восточных сказках; ее собственное имя означает на персидском языке нежность и грацию, а прозвище *Парвиз* заключает в себе намек на прелести ее царственного любовника. Однако Сира никогда не разделяла страсти, которую внушала, и счастье Хосрова было отравлено ревнивым подозрением, что в то время, как он обладал ее особой, ее сердце принадлежало менее знатному избраннику[23].

В то время как величие римского имени воскресало на Вос-

токе, — в Европс положение дсл приняло менее удовлетворительный и менее блестящий оборот. С удалением лангобардов и гибелью гепидов уничтожалось на Дунае равновесие двух сил, и авары прочно утвердили свое владычество от подножия Альп до берегов Эвксинского моря. Царствование Баяна было самой блестящей эпохой их монархии; их каган, живший в деревенском дворце Аттилла, по-видимому, принял за образец характер и политику этого завоевателя[24]; но так как давно знакомые нам сцены стали тогда повторяться на менее обширном пространстве, то подробное описание копии не имело бы ни величия оригинала, ни его новизны. Гордость Юстина II, Тиберия и Маврикия была унижена надменным варваром, который едва ли мог опасаться для самого себя тех бедствий войны, которым подвергал других, и всякий раз, как Азии угрожала опасность со стороны Персии, Европе приходилось страдать от нашествий аваров или от их дорого стоившей дружбы. Когда римские послы просили у кагана личного свидания, им приказывали подождать у входа в его палатку и проходило десять-двенадцать дней, прежде нежели он соглашался принять их. Если содержание или тон данного им поручения был оскорбителен для его слуха, он с действительным или с притворным гневом оскорблял их достоинство и достоинство их государя, отдавал их обоз на произвол грабителей и щадил их жизнь только в том случае, если они обещали привезти более дорогие подарки и впредь выражаться более почтительно. Но его собственные послы пользовались и злоупотребляли в Константинополе самой неограниченной свободой: они назойливо требовали увеличения подати или возвращения пленников и дезертиров, и достоинство империи почти одинаково унижалось и от позорной уступчивости, и от тех лживых и трусливых оправданий, с помощью которых устранялись их дерзкие притязания. Каган никогда не видывал слонов, и его любопытство было возбуждено странным и, быть может, преувеличенным описанием этого удивительного животного. По его приказанию самый большой слон из императорских конюшен был одет в великолепную сбрую и в сопровождении многочисленной прислуги отведен в находившуюся на равнинах Венгрии царскую деревню. Осмотр громадного животного внушил ему удивление, отвращение и, может быть, страх, и он осме-

ял бесплодное усердие римлян, отправлявшихся на край земли и моря отыскивать такую бесполезную редкость.

Он выразил желание уснуть на золотой кровати на счет императора. Богатства Константинополя и искусное трудолюбие его художников были немедленно употреблены в дело для удовлетворения этой прихоти; но когда работа была окончена, каган презрительно отверг подарок, недостойный величия могущественного царя[25]. Это были случайные взрывы его высокомерия, но его жадность была более постоянной и более легко удовлетворимой страстью; богатые и регулярно доставлявшиеся запасы шелковых одеяний, мебели и посуды внесли в палатки скифов грубые зачатки искусств и роскоши, индийский перец и корица возбуждали аппетит варваров[26]; ежегодная субсидия, или дань, была увеличена с восьмидесяти тысяч золотых монет до ста двадцати, а после всякого перерыва ее уплаты вследствие войны первым условием нового мирного договора всегда было внесение недоимки с громадными процентами. Принимая тон варвара, непривычного ко лжи, аварский монарх делал вид, будто он оскорблен недобросовестностью греков[27]; однако и сам он не уступал самым цивилизованным нациям в искусстве притворяться и обманывать. В качестве преемника лангобардов он заявил свои права на важный город Сирмий, издревле служивший оплотом для иллирийских провинций[28]. Равнины Нижней Венгрии покрылись аварской конницей, а в Герцинском лесу был построен флот из больших шлюпок с целью спуститься по Дунаю и перевезти на Саву материалы, необходимые для постройки моста. Но так как господствовавший над слиянием двух рек сильный гарнизон Сингидуна мог воспрепятствовать этому плаванию и разрушить замыслы кагана, то этот последний разогнал все опасения, дав торжественную клятву, что он ничего не замышляет ко вреду империи. Он клялся символом бога войны, своим мечом, что намеревался строить мост через Саву не для того, чтобы напасть на римлян. "Если я нарушу мою клятву,— продолжал неустрашимый Баян,— пусть и я сам, и мой народ погибнет от меча; пусть небеса и небесное божество огонь обрушат на наши головы! Пусть леса и горы погребут нас под своими развалинами! И пусть Сава потечет вспять наперекор законам природы и поглотит нас в своих разгневанных волнах!" Произнеся это проклятие, он спокойно спросил, какая клятва считалась у

христиан самой священной и ненарушимой и какое клятвопреступление было всего более опасно нарушать. Епископ Сингидуна подал ему евангелие, которое каган принял с благоговением, став на колена.

"Клянусь,— сказал он, — тем Богом, который выразил свою волю в этой священной книге, что у меня нет ни лжи на языке, ни коварства в душе". Лишь только он встал, он стал торопиться постройкой моста и отправил посланца, чтобы возвестить о том, чего не желал долее скрывать. "Известите императора,— сказал вероломный Баян,— что Сирмий окружен со всех сторон. Посоветуйте ему удалить оттуда граждан, вывезти их имущество и отказаться от обладания городом, которому уже нельзя оказать ни помощи, ни защиты". Оборона Сирмия продолжалась более трех лет без всякой надежды на помощь извне; городские стены еще были невредимы; но внутри их голод свирепствовал до тех пор, пока полунагие и голодные жители не сдались на капитуляцию с правом удалиться, куда пожелают. Находившийся в пятидесяти милях оттуда Сингидун постигла более жестокая участь: его здания были срыты до основания, а его жители были осуждены на рабство и изгнание. Однако от развалин Сирмия не осталось никаких следов, а выгодное положение Сингидуна скоро привлекло туда новую колонию склавинов*, и слияние Савы с Дунаем до сих пор охраняется укреплениями Белграда, или *Белого Города*, обладание которым так часто и так упорно оспаривали друг у друга христиане и турки[29]. Белград отделен от стен Константинополя расстоянием в шестьсот миль; все это пространство было опустошено огнем и мечом; кони аваров купались попеременно то в Эвксинском море, то в Адриатическом, и напуганный приближением более свирепого врага[30], римский первосвященник дошел до того, что стал смотреть на лангобардов как на защитников Италии. Один пленник, доведенный до отчаяния тем, что его соотечественники отказались внести за него выкуп, познакомил аваров с искусством строить и употреблять в дело военные машины[31]; но первые попытки аваров в этом деле были неудачны, и в том, что касалось сооружения машин, и в том, что касалось их употребления, а сопротивление Диоклетианополя и Береи, Филиппополя и Адрианополя скоро истощи-

* Словенцы занимали область к западу от Сингидуна, их поселения в Истрии граничили с баварами и лангобардами.

ло и искусство, и терпение осаждающих. Баян вел войну по-татарски; тем не менее он был доступен человеколюбию и великодушию: он пощадил город Анхиал за то, что местные целебные воды восстановили здоровье самой любимой из его жен, и сами римляне признавались, что их измученная голодом армия была накормлена и спасена благодаря великодушию врага. Его власть простиралась на Венгрию, Польшу и Пруссию от устьев Дуная до устьев Одера[32], а его недоверчивая политика заставляла его разделять и переселять его новых подданных[33]. Восточные страны Германии, оставшиеся незанятыми вследствие удаления вандалов, были заселены славянскими колонистами; те же самые племена мы находим в соседстве с Адриатическим и с Балтийским морями, а в самом центре Силезии встречаются вместе с именем самого Баяна названия иллирийских городов Нейсса и Лиссы. Каган так распределил и свои войска, и свои провинции, что первый натиск неприятеля обрушивался на его данников, жизнью которых он вовсе не дорожил[34]; поэтому неприятельский меч уже успевал притупиться, прежде чем имел дело с врожденной храбростью авар.

Благодаря союзу с Персией оказалось возможным употребить находившиеся на Востоке войска на защиту Европы, и Маврикий, десять лет выносивший дерзости кагана, объявил, что лично поведет свою армию против варваров. В течение двух столетий ни один из преемников Феодосия не появлялся на полях сражений; они беспечно проводили свою жизнь в константинопольском дворце так, что греки совершенно позабыли о том, что название *император* в своем первоначальном смысле означало начальника республиканских армий. Воинственный пыл Маврикия встретил противодействие в низкой лести Сената, в трусливых суевериях патриарха и в слезах императрицы Константины; все они умоляли его возложить трудности и опасности скифской компании на одного из своих военачальников. Не обращая внимания на их советы и просьбы, император отважно выступил[35] в поход и удалился от столицы на расстояние семи миль; перед фронтом было развернуто священное знамя креста, и Маврикий с гордым сознанием своего могущества сделал смотр многочисленным ветеранам, сражавшимся и побеждавшим по ту сторону Тигра. Анхиал был окончательным пределом его наступательного движения и на море, и на суше: он безуспешно

ожидал чуда в ответ на свои ночные молитвы; его душа была потрясена смертью любимой лошади, встречей с кабаном, бурей с ветром и дождем и рождением уродливого ребенка, и он совершенно позабыл о том, что самое лучшее из всех предзнаменований — решимость обнажить свой меч на защиту своего отечества[36]. Под предлогом приема персидских послов император возвратился в Константинополь, заменил заботы о войне заботами о благочестии и обманул общие ожидания как своим приездом, так и выбором своих заместителей. Слепое пристрастие родственной привязанности могло бы служить оправданием для назначения главнокомандующим его брата Петра, который уже был известен тем, что обращался в бегство с одинаковым позором, и перед варварами, и перед своими солдатами, и перед жителями одного римского города. Этот город — если мы не введены в заблуждение сходством названий и характера жителей — был знаменитый Азимунций[37], один устоявший против нашествия Аттилы. Мужество, с которым в ту пору защищалось его воинственное юношество, перешло по наследству к следующим поколениям, и жители получили от первого и от второго Юстина почетную привилегию браться за оружие лишь для защиты своей родины. Брат Маврикия попытался нарушить эту привилегию и присоединить отряд этих патриотов к служившим в его армии наемникам; они удалились в церковь, но он не побоялся нарушить святость этого убежища; народ вступился за них, запер городские ворота, появился на городском валу с оружием в руках, и трусость Петра оказалась равной с его наглостью и несправедливостью. Военные заслуги Комменциола[38] могут служить сюжетом скорее для сатиры или для комедии, чем для серьезной истории, так как он не обладал даже столь обыкновенным достоинством личной храбрости. Его торжественные совещания, странные эволюции и секретные распоряжения всегда имели целью доставить ему предлог для бегства или для проволочек. Если он выступал на встречу к неприятелю, красивые долины Гемских гор представлялись для него непреодолимым препятствием; но во время отступления он с бесстрашной любознательностью отыскивал неудобопроходимые и заглохшие тропинки, о существовании которых позабыли даже местные старожилы. Единственная кровь, которую он проливал, текла из-под ланцета хирурга по случаю действительной или

мнимой его болезни, а его здоровье, отличавшееся необыкновенной способностью предчувствовать приближение варваров, всегда восстанавливалось от спокойствия и безопасности зимнего сезона. Монарх, который был способен назначить на высшую должность и поддерживать этого недостойного фаворита, не имеет никаких прав на славу, которую стяжал назначенный им в помощники к Комменциолу Приск[39]. В пяти сражениях, которые, как кажется, были проведены с искусством и с энергией, семнадцать тысяч двести варваров были взяты в плен; около шестидесяти тысяч, вместе с четырьмя сыновьями кагана, были убиты; римский военачальник застал врасплох мирный округ гепидов, полагавшихся на покровительство авар, а свои последние трофеи он стяжал на берегах Дуная и Тиссы. Со смерти Траяна римские армии не проникали так глубоко внутрь древней Дакии; однако военные успехи Приска оказались бесследными и бесплодными: он был отозван вследствие опасения, что неустрашимый Баян готовится со свежими силами отомстить за свое поражение под стенами Константинополя[40].

В лагерях Юстиниана и Маврикия теория военного искусства была не менее хорошо знакома, чем в лагерях Цезаря и Траяна[41]. Византийские мастеровые еще не разучились придавать самый крепкий закал железу, которое добывалось из Тосканы или из Понта. Магазины были наполнены всякого рода оружием и для нападения и для обороны. В том, что касалось постройки и употребления кораблей, военных машин и укреплений, варвары удивлялись необыкновенной изобретательности народа, над которым они так часто одерживали верх на полях сражений. Тактика, военный устав, военные эволюции и употреблявшиеся в древности военные хитрости изучались по греческим и римским писателям. Но обезлюдевшие или выродившиеся провинции уже не были в состоянии доставлять таких людей, которые были бы способны владеть этим оружием, охранять эти стены, плавать на этих кораблях и применять с отвагой и с успехом к делу теорию военного искусства. Гений Велисария и Нарсеса развился без наставников и не оставил учеников. Ни честь, ни патриотизм, ни благородные суеверия не могли воодушевлять бездушные толпы рабов и иностранцев, унаследовавшие почетное название легионов; только в лагерях император должен бы был повелевать с деспотической властью и только в лаге-

рях не подчинялись этой власти и оскорбляли ее; золотом он и сдерживал, и усиливал своеволие войск; но их пороки были неизбежным последствием их организации, их победы были случайностью, а их дорого стоившее содержание истощало государство, которого они не были способны защищать. После продолжительной и пагубной снисходительности Маврикий задумал излечить это закоренелое зло; но его опрометчивая попытка, навлекшая гибель на его собственную голову, лишь усилила общественный недуг. Преобразователь должен быть чист от всяких подозрений в личном интересе и должен пользоваться доверием и уважением тех, кого он намеревается исправить. Маврикиевы войска, быть может, вняли бы голосу победоносного вождя; они пренебрегли увещаниями политиков и софистов, а когда они получили Эдикт, приказывавший удерживать из их жалованья расходы на их вооружение и обмундирование, они стали проклинать жадность монарха, не умевшего ценить опасности и лишения, от которых он сам был избавлен. И в азиатских, и в европейских лагерях стали вспыхивать частые и неистовые мятежи[42]; рассвирепевшие эдесские солдаты преследовали своих дрожавших от страха командиров упреками, угрозами и побоями; они ниспровергли статуи императора, бросали камни в чудотворную икону Христа и частью сбросили с себя иго всех гражданских и военных законов, частью ввели добровольную субординацию, которая могла быть опасным примером для будущего. Монарх, который всегда был далеко от места мятежа и часто был вводим в заблуждение насчет его мотивов, не мог ни делать уступок, ни настаивать на своих приказаниях сообразно с требованиями минуты. Но из опасения общего восстания он слишком охотно принимал всякий военный подвиг и всякое изъявление покорности за искупление вины; новая реформа была отменена так же торопливо, как она была опубликована, и войска были приятно удивлены тем, что вместо наказаний и стеснений им милостиво обещали льготы и награды. Но солдаты приняли без признательности запоздалые и вынужденные императорские милости; их наглость усилилась, когда они убедились в его слабости и в своей собственной силе, и взаимная ненависть дошла до того, что уже не было ни желания загладить прошлое, ни надежды на примирение. Историки того времени усвоили ходивший в народе слух, будто Маврикий замышлял

истребление той армии, которую старался преобразовать; этому злобному замыслу приписывали дурное поведение Комменциола и милостивое к нему расположение императора, и все века должны клеймить бесчеловечие или скупость[43] монарха, который мог бы предотвратить умерщвление находившихся в руках кагана двенадцати тысяч пленников, если бы внес за них ничтожный выкуп в шесть тысяч золотых монет. В пылу справедливого негодования император приказал дунайской армии не трогать находившихся в провинции запасов и прозимовать на подвластной Аварам неприятельской территории. Тогда ее неудовольствие дошло до крайних границ: она объявила, что Маврикий не достоин верховной власти, прогнала или умертвила верных его приверженцев и под предводительством простого центуриона Фоки возвратилась усиленным маршем к окрестностям Константинополя. После длинного ряда императоров, вступавших на престол легальным путем, возобновились солдатские бесчинства третьего столетия; но такова была необычайность предприятия, что мятежники были испуганы своей собственной смелостью. Они не решались возвести своего фаворита на вакантный престол, и между тем как они отказывались от всяких переговоров с самим Маврикием, они поддерживали дружелюбные отношения с его сыном Феодосием и с тестем царственного юноши Германом[44]. Прежнее общественное положение Фоки было так низко, что император не был знаком ни с именем, ни с характером своего соперника; но когда он узнал, что центурион был смел на мятеж, но робел при виде опасности, он с отчаянием воскликнул: "Увы! Если он трус, он наверняка сделается убийцей".

Однако, если бы жители Константинополя не утратили мужества и преданности, Фоке пришлось бы истощить всю свою ярость в нападениях на городские стены, а благоразумие императора мало-помалу довело бы мятежную армию или до истощения ее сил, или до изъявления покорности. Во время зрелищ цирка, устроенных им с необычайной пышностью, Маврикий скрыл под самоуверенной улыбкой свою душевную тревогу, снизошел до того, что стал заискивать одобрения *партий*, и старался польстить их гордости тем, что принял от их трибунов списки девятисот *синих* и тысяча пятисот *зеленых*, делая вид, будто считает тех и других за надежные опоры своего престола. Их вероломные или вялые

усилия обнаружили его слабость и ускорили его падение; партия зеленых была тайной сообщницей мятежников, а синие советовали обходиться с их восставшими соотечественниками снисходительно и мягко. Суровые добродетели Маврикия и его бережливость давно уже лишили его любви подданных: в то время как он шел босиком во главе церковной процессии, в него стали бросать камнями, и его телохранители были принуждены взяться за свои железные палицы, чтобы защитить его от нападения. Какой-то фанатичный монах бегал по улицам с обнаженным мечом, объявляя, что гнев Божий обрек императора на гибель, а народная толпа, посадив на осла какого-то низкого плебея, подражавшего императору и осанкой, и одеждой, преследовала его своими проклятиями[45]. Маврикий питал недоверие к Герману, умевшему снискать расположение и солдат, и граждан; он трепетал от страха, грозил, но откладывал казнь: патриций укрылся в церковном святилище; народ вступился за него; стража покинула городские стены, и с наступлением ночи беззащитный город сделался жертвой пламени и грабежа. Несчастный Маврикий сел на небольшую барку вместе с женой и девятью детьми с целью переехать на азиатский берег; но сильный ветер принудил его высадиться на берег у церкви св. Автонома[46], вблизи от Халкедона, откуда он поспешил отправить своего старшего сына Феодосия к персидскому монарху с просьбой доказать ему свою признательность и дружбу. Сам он не пожелал искать спасения в бегстве; его мучили физические страдания от седалищной ломоты[47]; его ум ослабел от суеверий; он терпеливо выжидал исхода революции и публично обращался к Всевышнему с горячими мольбами, чтобы наказание за его прегрешения было наложено на него в этой жизни, а не в будущей. После отречения Маврикия от престола партии синих и зеленых стали оспаривать одна у другой право выбирать императора; но любимец синих был отвергнут их завистливыми противниками, и сам Герман был увлечен народной толпой, которая устремилась к находившемуся в семи милях от столицы Гебдомонскому дворцу для того, чтобы преклониться перед величием центуриона Фоки. Скромное намерение Фоки уступить престол более знатному и более достойному претенденту — Герману встретило со стороны этого последнего еще более упорное и одинаково искреннее сопротивление; Сенат и духовенство подчи-

нились требованиям Германа, и лишь только патриарх убедился в православии религиозных верований центуриона, он дал счастливому узурпатору свое благословение в церкви св. Иоанна Крестителя.

На третий день после того Фока совершил свой торжественный въезд в столицу на колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, среди радостных приветствий безрассудного населения; мятеж войск был награжден щедрыми подарками, и новый монарх после посещения своего дворца любовался со своего трона играми ипподрома. По случаю спора двух партий о старшинстве его ригор обнаружил его пристрастное расположение к зеленым. "Не забывайте, что Маврикий еще жив",— раздалось с противоположной стороны, и этот неосторожный возглас синих послужил предостережением для тирана и стимулом для его жестокости. В Халкедон были отправлены исполнители смертной казни; они силой вытащили императора из святилища, в котором он укрылся, и пять сыновей Маврикия были умерщвлены один вслед за другим на глазах их несчастного отца. При каждом ударе убийц, проникавшем до глубины его сердца, он находил достаточно сил, чтобы повторять благочестивые восклицания: "Ты правосуден, о Боже, и твои приговоры справедливы". И такова была в последние минуты его жизни непреклонная любовь к правде и справедливости, что он разоблачил перед солдатами обман кормилицы, из преданности заменившей царского ребенка своим собственным[48]. Эта трагическая сцена закончилась смертью самого императора на двадцатом году его царствования и на шестьдесят третьем году его жизни. Трупы отца и его пяти сыновей были брошены в море; их головы, выставленные напоказ в Константинополе, вызывали оскорбления или сострадание толпы, и только при появлении признаков гниения Фока дозволил частным образом предать земле их смертные останки. В этой могиле общественное мнение похоронило ошибки и заблуждения Маврикия. В памяти осталась лишь его плачевная участь, и по прошествии двадцати лет рассказ о ней Феофилакта вызывал слезы слушателей[49].

Такие слезы, должно быть, проливались втайне, так как эти выражения соболезнования были бы преступны в царствование Фоки, который был без сопротивления признан императором и восточными, и западными провинциями. Изоб-

ражения императора и его супруги Леонтии были выставлены в Латеране на поклонение римского духовенства и Сената и потом сложены во дворце Цезарей вместе с изображениями Константина и Феодосия. И в качестве подданного, и в качестве христианина Григорий обязан был признать установленную правительственную власть; но радостные поздравления, которыми он приветствовал возвышение убийцы, запятнали характер этого святого неизгладимым позором. Преемник апостолов мог бы с приличной твердостью объяснить Фоке преступность его действий и необходимость покаяния; вместо этого он праздновал освобождение народа и гибель притеснителя, радовался тому, что за свое благочестие и человеколюбие Фока возведен по воле провидения на императорский престол, воссылал молитвы о том, чтобы небо ниспослало ему достаточно силы для преодоления всех его врагов, и высказывал надежду или, быть может, предсказание, что после продолжительного и славного царствования он променяет свое временное царство на вечное[50]. Я уже описал весь ход переворота, которым, по мнению Григория, все были так довольны и на небесах, и на земле; но Фока так же гнусно пользовался своей властью, как гнусно приобрел ее. Один беспристрастный историк описал наружность этого чудовища[51] — его маленький рост и безобразную фигуру, его щетинистые брови, сросшиеся вместе, его рыжие волосы, безволосый подбородок и широкий уродливый рубец на щеке. Не имея никакого понятия ни о литературе, ни о законах, ни даже о военном искусстве, он пользовался своим высоким положением для того, чтобы удовлетворять свою склонность к сладострастию и пьянству, и его грубые наслаждения были или оскорблением для его подданных, или позором для него самого. Отказавшись от профессии солдата, он не принял на себя обязанностей монарха, и царствование Фоки ознаменовалось для Европы позорным миром, для Азии опустошительной войной. Его свирепый нрав воспламенялся от гнева, ожесточался от страха и раздражался от сопротивления или упреков. Бегство Феодосия в Персию было приостановлено, или вследствие быстроты преследования, или вследствие того, что он был введен в заблуждение ложным известием; он был обезглавлен в Никее и в последние часы своей жизни нашел облегчение в утешениях, доставляемых религией, и в сознании своей невинности. Однако его призрак нарушал по-

кой узурпатора; на Востоке ходил слух, что сын Маврикия еще жив; народ ожидал появления мстителя, а вдова и дочери покойного императора охотно признали бы самого низкого самозванца за своего сына и брата. При избиении членов императорского семейства[52] Фока из сострадания или, вернее, из осторожности пощадил этих несчастных женщин, которые содержались приличным образом в одном частном доме. Но императрица Константина, еще не позабывшая о судьбе, которая постигла ее отца, ее мужа и ее сыновей, мечтала о свободе и мщении. Воспользовавшись ночной тишиной, она бежала в святилище св.Софии; но ее слезы и золото ее сообщника Германа не могли вызвать восстания. Ее смерть должна была удовлетворить и мстительность императора, и даже требования правосудия; но патриарх испросил ее помилование, дав клятву, что ручается за нее; местом ее заключения назначили один монастырь, а вдова Маврикия воспользовалась этой снисходительностью убийцы ее мужа и употребила ее во зло.

Ее уличили или только заподозрили в новом заговоре; тогда Фока счел себя свободным от данного обещания, и гнев закипел в нем с новой яростью. Женщину, которая имела право на общее уважение и сострадание и которая была дочерью, женой и матерью императоров, пытали, как низкую преступницу, для того чтобы вынудить от нее сознание ее замыслов и указание ее сообщников, и затем императрица Константина была обезглавлена в Халкедоне вместе со своими тремя невинными дочерьми на том самом месте, которое было окрашено кровью ее мужа и пяти сыновей. После этого было бы излишне перечислять имена и страдания менее знатных жертв. Их осуждению редко предшествовали формальности судопроизводства, а их казнь сопровождалась разными утонченными жестокостями: у них выкалывали глаза, вырывали языки, отрезали руки и ноги; одни из них умирали под плетью, других сжигали живьем, третьих пронзали стрелами, а простая и скорая смерть считалась милостью, которая была редким исключением. Ипподром, этот священный приют римских забав и римской свободы, был осквернен видом отрубленных голов и членов тела и грудой обезображенных трупов, а старые товарищи Фоки ясно видели, что ни его милостивое расположение, ни их собственные заслуги не могут защитить их от ярости тирана, который был достойным

соперником тиранов первого столетия империи — Калигулы и Домициана[53]. У Фоки не было других детей, кроме дочери, вышедшей замуж за патриция Криспа,[54] а *царственные* бюсты новобрачных были по неосторожности выставлены в цирке рядом с бюстом императора. Как отец Фока должен был желать, чтобы его потомство унаследовало плоды его преступлений; но как монарх он был оскорблен этим преждевременным и приятным для народа соучастием в почестях, оказываемых верховной власти; трибуны зеленой партии, свалившие всю вину на желавших прислужиться скульпторов, были осуждены на немедленную смертную казнь; их помиловали по просьбе народа; но Крисп имел полное основание опасаться, что недоверчивый узурпатор не позабудет и не простит его недобровольного соперничества. Фока оттолкнул от себя партию зеленых своей неблагодарностью и тем, что отнял у нее все привилегии; во всех провинциях империи созрела готовность к восстанию, а африканский экзарх Ираклий уже два года упорно отказывался от уплаты податей и от повиновения центуриону, позорившему константинопольский престол. Тайные посланцы, отправленные к независимому экзарху Криспом и Сенатом, убеждали его спасти государство и взять в свои руки верховную власть; но его честолюбие охладело от старости, и он предоставил это опасное предприятие своему сыну Ираклию и сыну своего друга и помощника Григория, Никите. Два отважных юноши собрали все военные силы, какими располагала Африка; они условились, что один из них отправится с флотом из Карфагена в Константинополь, а другой поведет армию через Египет и Азию, и что императорская корона будет наградой тому, кто скорее достигнет цели. Слух об их замыслах дошел до Фоки; жена и мать молодого Ираклия были задержаны в качестве заложниц за его преданность; но коварный Крисп убедил императора, что нет основания опасаться таких несбыточных замыслов; оборонительные меры или вовсе не принимались, или откладывались до другого времени, и тиран беспечно дремал до той минуты, когда африканский флот стал на якоре у берегов Геллеспонта.

К военным силам Ираклия присоединились в Абидосе жаждавшие мщения беглецы и изгнанники; его корабли, украшенные выставленными на высоких мачтах священными символами религии[55], торжественно проплыли по Пропон-

тиде, и Фока видел из окон своего дворца приближение той бури, от которой он неизбежно должен был погибнуть. Закупленная подарками и обещаниями, партия зеленых оказала слабое и бесплодное сопротивление высадке африканцев; но своевременная измена Криспа увлекла за собой народ и даже телохранителей, и тиран был арестован одним личным врагом, проникнувшим в опустевший дворец. С него сорвали диадему и императорскую мантию; его одели в платье людей самого низкого звания, заковали в цепи и перевезли в маленькой шлюпке на императорскую галеру Ираклия, который стал упрекать его в преступлениях столь отвратительного царствования. "А разве ты будешь лучше царствовать?"— были последние слова потерявшего всякую надежду на спасение Фоки. После того как его подвергли всякого рода оскорблениям и пыткам и отрубили ему голову, его обезображенный труп был брошен в огонь, и точно так же было поступлено со статуями тщеславного узурпатора и с мятежным знаменем зеленой партии. И духовенство, и Сенат, и народ приглашали Ираклия вступить на престол, с которого он только что смыл нравственную грязь и позор; после непродолжительных и неупорных колебаний он уступил их настояниям. Его коронование сопровождалось коронованием его жены Евдокии, а их потомство царствовало над Восточной империей до четвертого поколения. Морской переезд Ираклия совершился легко и благополучно, а Никита достиг цели своего утомительного похода уже тогда, когда вопрос был решен; но он безропотно преклонился перед счастливой судьбой своего друга и за свое похвальное поведение был награжден конной статуей и рукой императорской дочери. Было более опасно полагаться на верность Криспа, который за оказанные незадолго перед тем услуги был награжден главным начальством над каппадокийской армией. Своим высокомерием он скоро навлек на себя и, по-видимому, оправдывал нерасположение своего нового государя. Зять Фоки был осужден в присутствии Сената на заточение в монастырь, и этот приговор был оправдан веским замечанием Ираклия, что тот, кто изменил своему отцу, не будет верен своему другу[56].

Даже после смерти Фоки республика страдала от его преступлений, заставивших самого грозного из его врагов вступиться с оружием в руках за правое дело. Согласно с уста-

новленными дружескими и равноправными формами отношений между дворами византийским и персидским, Фока известил персидского монарха о своем вступлении на престол и выбрал послом того самого Лилия, который привез ему головы Маврикия и его сыновей и потому мог лучше всякого другого рассказать подробности трагического происшествия[57]. Но как ни старался Лилий приукрасить свой рассказ вымыслами и софизмами, Хосров с отвращением отвернулся от убийцы, приказал заключить в тюрьму мнимого посла, не захотел признавать узурпатора императором и объявил, что отомстит за смерть своего отца и благодетеля. В этом случае персидский царь действовал и под влиянием скорби, которая внушается человеколюбием, и под влиянием жажды мщения, которую внушало чувство чести; а национальные и религиозные предрассудки магов и сатрапов еще усиливали его раздражение. С коварной лестью, прикрывавшейся языком свободы, и те, и другие позволяли себе порицать его чрезмерную признательность и дружбу к грекам, с которыми, по их словам, было опасно вступать в мирные или союзные договоры, которые были заражены суевериями, заглушавшими в них понятия о правде и справедливости, и которые были не способны ни к каким добродетелям, так как могли совершить самое ужасное из преступлений — нечестивое умерщвление своего государя[58]. Нация, которую угнетал честолюбивый центурион, была наказана за его преступление бедствиями войны, а через двадцать лет после того такие же бедствия обрушились с удвоенной силой на персов вследствие желания римлян отомстить за прошлое[59].

Полководец, возвративший Хосрову престол, еще начальствовал над восточными армиями, и грозное имя Нарсеса произносилось в Ассирии матерями, желавшими напугать своих детей. Нет ничего неправдоподобного в том, что человек, родившийся персидским подданным, поощрял своего повелителя и друга освободить азиатские провинции от римского владычества и присоединить их к своим владениям; еще более правдоподобно то, что Хосров воодушевлял свои войска уверениями, что меч, которого они всего более опасались, или останется в своих ножнах, или будет обнажен в их пользу. Герой не мог полагаться на честь тирана, а тиран сознавал, как мало он имел прав на покорность героя. Нарсес был удален от должности; он водрузил знамя независимости

в сирийском городе Гиераполе, но имел неосторожность положиться на лживые обещания, и его сожгли живым на константинопольской базарной площади. Когда войска, одерживавшие под его начальством победы, лишились единственного начальника, который был способен внушать им страх и уважение, их ряды были два раза прорваны кавалерией варваров, растоптаны ногами слонов и пронизаны неприятельскими стрелами, и множество пленников было обезглавлено на поле сражения по приговору победителя, не без основания считавшего этих мятежных наемников за виновников смерти Маврикия или за сообщников его убийц. В царствование Фоки персидский монарх поочередно осадил, взял и разрушил укрепленные города Мердин, Дару, Амиду и Эдессу; он перешел через Евфрат, занял сирийские города Гиераполь, Халкиду и Берею, или Алеппо, и вскоре вслед за тем окружил своими победоносными войсками Антиохию. Его быстрые военные успехи обнаружили упадок империи, неспособность Фоки и нелюбовь его подданных, и Хосров доставил этим последним благовидный предлог или для выражения их верноподданнической преданности, или для мятежа, приютив в своем лагере самозванца, который выдавал себя за Маврикиева сына[60] и за законного наследника престола.

Первое известие, полученное с Востока Ираклием[61], заключалось в том, что Антиохия находится в руках неприятеля; но эту старинную метрополию так часто разрушали землетрясения и так часто грабили неприятельские армии, что персам почти нечего было оттуда уносить и почти некого там убивать. Они с такой же легкостью, но с большей выгодой разграбили столицу Каппадокии Кесарию, и по мере того, как они продвигались вперед по ту сторону пограничных укреплений, до тех пор служивших пределом для военных операций, они встречали менее упорное сопротивление и собирали более обильную добычу. Привлекательная долина Дамаска была издревле украшена царственным городом, который процветал в неизвестности и потому до сих пор не останавливал на себе внимания историка Римской империи; но Хосров дал своим войскам время отдохнуть в райских садах Дамаска, прежде чем взбираться на холмы Ливана или нападать на города, лежавшие вдоль берегов Финикии. Завоевание Иерусалима[62], которое только замышлял Ануширван, было приведено в исполнение предприимчивостью и алчно-

стью сго внука; религиозная нетерпимость магов настоятельно потребовала уничтожения самых величественных памятников христианства, и Хосрову удалось навербовать для этой священной войны армию из двадцати шести тысяч евреев, которые в некоторой мере восполнили недостаток храбрости и дисциплины своим свирепым фанатизмом. Иерусалим был взят приступом после завоевания Галилеи и стран по ту сторону Иордана, как кажется, замедливших своим сопротивлением гибель столицы. Гробница Христа и великолепные церкви Елены и Константина были уничтожены или, по меньшей мере, повреждены пожаром; святотатство отобрало в один день благочестивые приношения, стекавшиеся туда в течение трехсот лет; патриарх Захария был отправлен в Персию вместе с *подлинным крестом*, а избиение девяноста тысяч христиан приписывалось евреям и арабам, усиливавшим те бесчинства, которыми сопровождалось наступательное движение персидской армии. Палестинские беглецы нашли приют в Александрии благодаря милосердию местного архиепископа Иоанна, выделявшегося из массы святых данным ему прозванием нищелюбивого[63]; он возвратил и церковные доходы, и сокровище в триста тысяч фунтов стерлингов их настоящим собственникам — беднякам всех стран и всяких наименований. Но сам Египет, который был единственной провинцией, не подвергавшейся со времен Диоклетиана ни внешним войнам, ни междоусобицам, был снова покорен преемниками Кира. Пелусий, который был входными воротами в эту недоступную страну, был взят врасплох персидской кавалерией; она безнаказанно перебралась через бесчисленные каналы Дельты и прошла по длинной равнине Нила от Мемфисских пирамид до границы Эфиопии. В Александрию можно было бы доставить подкрепления морем, но архиепископ и префект отплыли на Кипр, и Хосров вступил во второй город империи, еще сохранявший блестящие остатки прежней промышленности и торговли. Со стороны Запада пределом его победного шествия были не стены Карфагена[64], а окрестности Триполи; греческие колонии Кирены были окончательно стерты с лица земли, и шедший по стопам Александра завоеватель с торжеством возвратился через пески Ливийской степи. В ту же самую кампанию другая персидская армия прошла от берегов Евфрата до Фракийского Боспора; Халкедон сдался после продолжительной осады,

и персидский лагерь был раскинут в течение десяти с лишком лет в виду Константинополя. Берега Понта, город Анкира и остров Родос были последними завоеваниями великого царя, и если бы Хосров имел в своем распоряжении какие-нибудь морские силы, его безграничное честолюбие распространило бы рабство и опустошение по европейским провинциям империи.

От берегов Тигра и Евфрата, так долго бывших театром борьбы между двумя империями, владычество Ануширванова внука внезапно распространилось до старинных пределов Персидской монархии — Геллеспонта и Нила. Но провинции, успевшие в течение шестисотлетней покорности свыкнуться и с хорошими, и с дурными сторонами римского управления, неохотно подчинялись игу варваров. Идея республиканского управления еще жила в государственных учреждениях или, по меньшей мере, в произведениях греческих и римских писателей, и подданные Ираклия были воспитаны так, что умели произносить слова "свобода" и "закон". Но гордость и политика восточных монархов всегда заключались в том, что они выставляли напоказ титулы и атрибуты своего полновластия, приучали своих подданных называться рабами и жить в рабском уничижении и усиливали строгость своих самовластных повелений жестокими и наглыми угрозами. Восточные христиане были скандализованы поклонением огню и нечестивым учением о двух принципах; маги не уступали епископам в религиозной нетерпимости, а мученическая смерть нескольких персидских уроженцев, отказавшихся от религии Зороастра[65], была принята за прелюдию свирепого и всеобщего религиозного гонения.

Притеснительные законы Юстиниана сделали из врагов церкви врагов государства, совокупные усилия иудеев, несториан и яковитов содействовали успехам Хосрова, а его пристрастное милостивое расположение к сектантам внушало католическому духовенству и ненависть, и страх. Сознавая, что он ничего не может внушать этому духовенству, кроме ненависти и страха, персидский завоеватель управлял своими новыми подданными с железным скипетром в руках и, как будто не полагаясь на прочность своего владычества, истощал их денежные средства громадными налогами и самовольными хищническими захватами, обирал или разрушал восточные церкви и перевозил из азиатских городов

внутрь своих наследственных владений золото, серебро, драгоценные мраморы, произведения искусства и самих художников. В этой мрачной картине постигших империю несчастий[66] нелегко распознать личность самого Хосрова,— нелегко отделить его действия от действий его заместителей и указать, какие были среди этого блеска славы и великолепия его личные достоинства. Наслаждаясь плодами победы, он с чванством выставлял их напоказ и нередко менял лишения походной жизни на дворцовую роскошь. Но из суеверия или из злопамятства он в течение двадцати четырех лет ни разу не приближался к воротам Ктесифона, и его любимая резиденция, Артемита, или Дастагерд, находилась по ту сторону Тигра, почти в шестидесяти милях к северу от столицы[67]. Соседние пастбища были покрыты стадами крупного и мелкого скота; земной рай или парк был наполнен фазанами, павлинами, страусами, косулями и кабанами, а благородные звери — львы и тигры выпускались на волю, когда царю приходило желание развлечься более опасной охотой. Девятьсот шестьдесят слонов содержались для службы или для великолепия великого царя. Его палатки и обоз следовали за ним во время похода на двенадцати тысячах крупных верблюдов и на восьми тысячах мелких[68], а в царских конюшнях стояли шесть тысяч мулов и лошадей, между которыми Схебдиз и Барид славились быстротой бега и красотой. Шесть тысяч гвардейцев поочередно стояли на карауле у ворот дворца; службу во внутренних апартаментах несли двенадцать тысяч рабов, а между составлявшими его сераль тремя тысячами девушек, самых красивых во всей Азии, вероятно, нашлась какая-нибудь счастливая наложница, которая была способна утешить его в том, что Сира была немолода или холодна. Его сокровища, состоявшие из золота, серебра, драгоценных камней, шелковых тканей и благовонных веществ, хранились в ста подвалах, а в комнате *Бадаверд* хранился случайный подарок ветров, которые занесли флот Ираклия в один из сирийских портов, находившихся во власти его противника. Голос лести и, быть может, вымысла не стыдился насчитывать тридцать тысяч украшавших стены богатых занавесок, сорок тысяч поддерживавших купол колонн, сделанных из серебра или, вероятнее, из мрамора и из накладного серебра, и тысячу золотых ша-

ров, привешенных к куполу в подражание движениям планет и блеску Зодиака[69].

В то время как персидский монарх созерцал чудеса, созданные его искусством и могуществом, он получил от одного незнатного жителя Мекки послание с приглашением признать Мухаммеда за ниспосланного Богом пророка. Он отверг приглашение и разорвал послание. "Точно так,—воскликнул арабский пророк,—Бог разорвет на части царство Хосрова и отвергнет его мольбы"[70]. Живя неподалеку от границ двух великих восточных империй, Мухаммед с тайной радостью следил за тем, как они взаимно разрушали одна другую, и в самую пору персидских триумфов осмелился предсказать, что по прошествии немногих лет победа снова перейдет под знамя римлян[71].

В то время, когда, как рассказывают, было сделано это предсказание, трудно было поверить, чтобы оно могло когда-либо осуществиться, так как первые двенадцать лет Ираклиева царствования были таковы, что можно было ожидать скорого распада империи. Если бы мотивы, которыми руководствовался Хосров, были бескорыстны и честны, он прекратил бы войну со смертью Фоки и стал бы считать за самого надежного из своих союзников того счастливого африканца, который так благородно отомстил за смерть его благодетеля Маврикия. Продолжение военных действий выказало характер варвара в настоящем свете, и он отвечал или презрительным молчанием, или наглыми угрозами на послания, в которых Ираклий взывал к его милосердию, умоляя его пощадить невинных, принять уплату дани и заключить мир. В то время как персы завоевывали Сирию, Египет и азиатские провинции, Европу, от пределов Истрии до длинной Фракийской стены, опустошали авары, еще не насытившиеся убийствами и грабежами во время своего нашествия на Италию. Они хладнокровно умертвили на священном поле Паннонии всех попавшихся им в плен мужчин; женщин и детей они обращали в рабство, а девушек из самых знатных семейств обрекали на удовлетворение сладострастия солдат. Влюбчивая Ромульда, отворившая перед аварами ворота Фриуля, провела непродолжительную ночь в объятиях своего царственного любовника; на следующую ночь ее принудили удовлетворить сладострастие двенадцати авар, а на третий день эту лангобардскую герцогиню посадили на кол на

виду всего лагеря, и каган заметил с безжалостной усмешкой, что такой супруг был самой приличной наградой за ее распутство и вероломство[72]. Эти непримиримые враги со всех сторон оскорбляли и теснили Ираклия так, что от Римской империи уцелели только стены Константинополя, остатки владений в Греции, Италии и Африке и несколько приморских городов на азиатском берегу между Тиром и Трапезунтом. После утраты Египта столица стала страдать от голода и от моровой язвы, а неспособный к сопротивлению и ниоткуда не ожидавший помощи император решился перенести свою резиденцию и центр управления в Карфаген, полагая, что там найдет более обеспеченную безопасность. Его корабли уже были нагружены вынесенными из дворца сокровищами; но его бегству воспрепятствовал патриарх, который для защиты своего отечества употребил в дело свою духовную власть, привел Ираклия к алтарю св. Софии и принудил его дать торжественную клятву, что будет жить и умрет среди того народа, который был вверен его попечениям самим Богом. Каган стоял лагерем на фракийских равнинах; но он скрывал свои коварные замыслы и пригласил императора на свидание вблизи от города Гераклеи. Их примирение было отпраздновано конными скачками; Сенат и народ присутствовали в самых богатых своих одеяниях на этом мирном празднике, а авары с завистью и жадностью поглядывали на эту выставку римской роскоши.

Ипподром был внезапно окружен скифской кавалерией, которая втайне пробралась туда ночью форсированным маршем; наводивший ужас свист кагановой плети подал сигнал к нападению, и Ираклий, привязав к руке свою диадему, спасся лишь благодаря быстроте своего коня. Авары так горячо преследовали римлян, что едва не проникли вместе с толпами беглецов в константинопольские Золотые ворота[73]; наградой за их вероломство было разграбление константинопольских предместий, и они отвели за Дунай двести семьдесят тысяч пленных. На Халкедонском берегу император имел более безопасное свидание с более достойным врагом, который, не дожидаясь выхода Ираклия из галеры на берег, с уважением и соболезнованием приветствовал в его лице главу империи. Дружелюбное предложение персидского военачальника Саина доставить римским послам свидание с великим царем было принято с самыми горячими выражениями

признательности, и мольбы римлян о помиловании и о заключении мира были смиренно выражены преторианским префектом, городским префектом и одним из высших духовных лиц патриаршей церкви[74]. К несчастью, Саин ошибся насчет намерений своего повелителя. "Он должен был,— воскликнул азиатский тиран,— привести к подножию моего трона не послов, а закованного в цепи самого Ираклия. Я никогда не заключу мира с римским императором, если он не отречется от своего распятого на кресте Бога и не станет поклоняться солнцу". С Саина содрали кожу согласно с бесчеловечным обычаем его страны, а послы были подвергнуты одиночному тюремному заключению с нарушением и международных законов, и формального условия. Однако шестилетний опыт в конце концов убедил персидского монарха в невозможности овладеть Константинополем, и он установил следующий размер ежегодной дани, или выкупа, с Римской империи: тысяча талантов золота, тысяча талантов серебра, тысяча шелковых одежд, тысяча коней и тысяча девушек. Ираклий согласился на эти унизительные условия; но промежуток времени, который был ему дан на собирание этих сокровищ с обедневшего Востока, был деятельно употреблен на приготовления к отважному и отчаянному нападению.

Между монархами, игравшими видную роль в истории, Ираклий отличается чрезвычайной странностью и непоследовательностью своего характера. И в первые, и в последние годы своего продолжительного царствования император был рабом лени, наслаждений или суеверий и с беззаботным бессилием взирал на общественные бедствия. Но в промежутке между утренними и вечерними туманами блестит полуденное солнце: тот, кто был вторым Аркадием внутри дворца, превратился в военном лагере во второго Цезаря, и честь как Рима, так и самого Ираклия восстановили подвиги и трофеи шести отважных кампаний. На византийских историках лежала обязанность объяснить нам причины и его усыпления, и его пробуждения. Будучи отделены от той эпохи громадным промежутком времени, мы можем только догадываться, что он был одарен не столько политической твердостью, сколько личным мужеством, что его приковывали к себе прелести и, может быть, хитрости его племянницы Мартины, с которой он вступил после смерти Евдокии в кровосмесительный брак[75], и что он подчинялся влиянию низких советни-

ков, уверявших его, что один из основных законов империи не дозволяет императору подвергать свою жизнь опасности на полях сражений[76].

Быть может, его пробудили из усыпления последние оскорбительные требования персидского завоевателя; но в ту минуту, как Ираклий воодушевился мужеством героя, единственные надежды римлян были основаны на превратности фортуны, которая могла изменить возгордившемуся своими успехами Хосрову и перейти на сторону тех, кто был доведен до крайнего унижения[77]. Император должен был прежде всего позаботиться о денежных средствах на покрытие военных расходов и обратился к восточным провинциям с приглашением оказать ему содействие. Но прежние источники доходов иссякли; кредит самовластного монарха обыкновенно подрывается его собственным могуществом, и мужество Ираклия впервые обнаружилось в том, что он осмелился взять взаимообразно церковные капиталы, предварительно связав себя торжественной клятвой, что возвратит с лихвой все, что найдет вынужденным издержать на пользу религии и империи. Само духовенство, как кажется, скорбело о постигших государство бедствиях, и осторожный александрийский патриарх отдал в распоряжение своего государя сокровище, найденное им при помощи сверхъестественного или своевременного внушения свыше, но сделал при этом оговорку, что такое святотатство не должно служить прецедентом для будущего[78]. Из числа солдат, бывших сообщниками Фоки, только двое уцелели от руки времени и от меча варваров[79]; утрату даже таких мятежных ветеранов не вполне восполнили набранные Ираклием новые рекруты, и взятое из церковных святилищ золото собрало в одном лагере уроженцев Востока и Запада, отличавшихся друг от друга и национальными названиями, и вооружением, и языком. Ираклий постарался склонить авар к соблюдению нейтралитета, и его дружеская просьба, чтобы каган действовал не как недруг империи, а как ее защитник, сопровождалась красноречивым подарком в двести тысяч золотых монет. Через два дня после празднования Пасхи император переменил свою пурпуровую мантию на простое одеяние кающегося и воина[80] и подал сигнал к отъезду. Он поручил своих детей народной преданности; власть гражданская и военная была отдана в самые достойные руки, а патриарх и Сенат были

уполномочены по своему усмотрению оборонять или сдать столицу в случае, если бы в его отсутствие она была подавлена превосходством неприятельских сил.

Окружающие Халкедон высоты покрылись палатками и солдатами; но если бы молодых рекрутов тотчас повели в атаку, победа, одержанная персами в виду Константинополя, вероятно, отметила бы последний день существования Римской империи. Точно так же было бы неблагоразумно проникать внутрь азиатских провинций, так как это дало бы бесчисленной неприятельской кавалерии возможность перехватывать обозы и беспрерывно тревожить своими нападениями усталый арьергард. Но греки еще были хозяевами на море; в гавани был собран флот, состоявший из галер, транспортных судов и нагруженных провиантом барок; служившие в армии Ираклия варвары согласились на отплытие; благоприятный ветер перенес их через Геллеспонт: влево от них тянулись западные и южные берега Малой Азии; мужество их вождя впервые выказало себя по случаю бури, и даже находившиеся в свите Ираклия евнухи терпеливо выносили физические страдания и работали, увлекаясь примером своего государя. Он высадил свои войска на границах Сирии и Киликии, в Скандерунском заливе, там, где береговая линия внезапно поворачивает к югу[81)], и выбором этого важного пункта доказал свою прозорливость[82)]. Гарнизоны, разбросанные по приморским городам и горам, могли со всех сторон скоро и безопасно присоединиться к императорской армии.

Воздвигнутые самой природой укрепления Киликии охраняли и даже скрывали от глаз неприятеля Ираклиев лагерь, который был раскинут подле Исса на том самом месте, где Александр разбил армию Дария. Один из углов занятого императором треугольника глубоко врезался в обширный полукруг азиатских, армянских и сирийских провинций, и на какой бы пункт этой окружности он ни пожелал направить свое нападение, ему нетрудно было скрыть свои движения и помешать движениям неприятеля. В лагере подле Исса римский полководец старался искоренить склонность ветеранов к праздности и своеволию и знакомил новобранцев в теории и на практике с воинскими доблестями. Указывая им на чудотворную икону Христа, он убеждал их *отомстить* за поруганные поклонниками огня священные алтари и называя их нежными именами сыновей и братьев, со скорбью описы-

вал им общественные и частные бедствия, постигшие республику. Подданных абсолютного монарха он умел убедить, что они сражались за дело свободы, и таким же энтузиазмом воодушевились иноземные наемники, которые должны были относиться с одинаковым равнодушием и к интересам Рима, и к интересам Персии. Сам Ираклий с искусством и терпением простого центуриона преподавал правила тактики, а солдаты постоянно упражнялись в умении владеть оружием и маневрировать в открытом поле. Пехота и кавалерия, и легкая, и тяжелая, были разделены на две части; трубачи стояли в центре и подавали сигналы к наступлению, к нападению, к отступлению, к преследованию, к построению в прямой или косвенной линии, к сжатому или развернутому строю, и все операции настоящей войны исполнялись на мнимом поле сражения. Ираклий подвергал самого себя всем тем лишениям, которых требовал от своих войск; их работы, пища, сон были подчинены непреклонным требованиям дисциплины, и они приучились, не пренебрегая врагом, вполне полагаться на свою собственную храбрость и на благоразумие своего вождя. Киликия скоро была окружена персидскими армиями; но персидская кавалерия не осмеливалась проникать в ущелья Тавра, пока не была обманута маневрами Ираклия, который незаметным образом зашел к ней в тыл в то время, как его фронт был, по-видимому, развернут в боевом порядке. При помощи фальшивого маневра, угрожавшего Армении, он вовлек неприятеля в генеральное сражение, которого тот не желал. Персов ввел в соблазн кажущийся беспорядок Ираклиева лагеря; но когда они двинулись на бой, им оказались неблагоприятны и условия местности, и солнечные лучи, и их собственные обманутые ожидания, и основательная самоуверенность неприятеля; римляне с успехом повторили на поле сражения свои военные упражнения[83], и исход битвы возвестил всему миру, что персы не были непобедимы и что императорская корона лежала на голове героя. Ободренный этой победой и приобретенной славой, Ираклий смело поднялся на высоты Тавра, перешел через равнины Каппадокии и поставил свои войска на зимние квартиры в безопасной и плодоносной местности на берегах реки Галис[84]. Его душа не могла унизиться до тщеславного желания блеснуть в Константинополе своим неполным три-

умфом; но возвращение императора было необходимо для того, чтобы сдержать беспокойных и хищных авар.

Со времен Сципиона и Ганнибала никто не задумывал более смелого предприятия, чем то, которое привел в исполнение Ираклий для спасения империи[85]. Он на время дозволил персам угнетать восточные провинции и безнаказанно угрожать столице, а между тем совершил опасный переезд через Черное море[86], проложил себе путь сквозь горы Армении, проник внутрь Персии[87] и принудил великого царя отозвать свои армии для защиты их собственного отечества. С отборным отрядом из пяти тысяч солдат Ираклий отплыл из Константинополя в Трапезунт, собрал войска, стоявшие на зимних квартирах в Понтийских странах,и стал призывать своих подданных и союзников, от устьев Фазиса до берегов Каспийского моря, к выступлению в поход вместе с Константиновым преемником под надежным и победоносным знаменем креста. Когда легионы Лукулла и Помпея в первый раз перешли через Евфрат, они стыдились своей легкой победы над армянскими туземцами. Но благодаря опыту, вынесенному из продолжительных войн, этот изнеженный народ окреп и душой и телом; он выказал свое усердие и всю храбрость, защищая разваливавшуюся империю; узурпация Сасанидов внушала ему и отвращение и страх, а его благочестивую ненависть к врагам Христа усиливали воспоминания о вынесенных религиозных гонениях. Пределы Армении — в том виде, как она была уступлена императору Маврикию,— простирались до Аракса; эта река с негодованием подчинялась постройке моста[88], и Ираклий, идя по стопам Марка Антония, достиг города Тавриса, или Гандзаки[89], который с древнейших времен и до сих пор служит столицей для одной из мидийских провинций. Сам Хосров возвратился с сорокатысячной армией из какой-то дальней экспедиции для того, чтобы остановить наступление римлян; но при приближении Ираклия он отступил, отклонив великодушное предложение выбора между заключением мира и битвой. Вместо полумиллионного населения, которое приписывали Таврису во время владычества Софиев, этот город заключал в себе не более трех тысяч домов; но ценность хранившихся там царских сокровищ считалась очень значительной, так как предание гласило, что они состояли из добычи, отбитой у Креза и перевезенной Киром из Сардской цитадели. Быстрые завоева-

ния Ираклия были приостановлены только наступлением зимы; благоразумие или суеверие[90] побудило его отступить вдоль берегов Каспийского моря в Албанию, и его шатры, по всему вероятию, были раскинуты на равнинах Могана[91], которые служили для восточных монархов любимым местом их лагерных стоянок. Во время этого удачного вторжения он выказал приличные христианскому императору религиозное усердие и мстительность: по его приказанию солдаты гасили огонь, служивший предметом поклонения для магов, и разрушали их храмы; статуи Хосрова, заявлявшего притязания на божеские почести, были преданы огню, а разрушение Тебармы, или Ормии[92], бывшей месторождением самого Зороастра, в некоторой мере загладило оскорбления, нанесенные гробу Господню. Более правильное понимание религии сказалось в помощи, которая была оказана пятидесяти тысячам пленных и в том, что этим пленным была дарована свобода. Наградой Ираклия были их слезы и радостные выражения признательности; но эта благоразумная мера, распространив повсюду слух о его милосердии, вызвала со стороны персов ропот на высокомерие и упорство их собственного государя.

Среди блестящих триумфов следующей компании Ираклий почти совершенно исчезает из наших глаз и из глаз византийских историков[93]. Покинув обширные и плодоносные равнины Албании, император, как кажется, прошел вдоль цепи Гирканских гор, спустился в провинцию Мидию, или Ирак, и достиг в своем победоносном наступлении царских резиденций Казвина и Исфагана, к которым еще никогда не приближался ни один из римских завоевателей. Встревожившись опасностью, которая угрожала его владениям, Хосров отозвал свои войска с берегов Нила и Боспора, и три сильных армии окружили императорский лагерь, раскинутый в дальней неприятельской стране. Находившиеся в числе Ираклиевых союзников уроженцы Колхиды готовились покинуть его знамя, а грустное молчание самых храбрых ветеранов скорее выражало, чем скрывало овладевший ими страх. "Не пугайтесь, — сказал им неустрашимый Ираклий,— многочисленности ваших врагов. С помощью Божьей один римлянин может одолеть тысячу варваров. Если же мы пожертвуем нашей жизнью для спасения наших братьев, мы получим венец мученичества, а Бог и потомство воздадут нам за это вечную награду". С этим благородством чувств соединилась энергия

в делах. Он отразил троекратно нападение персов, искусно воспользовался раздорами их вождей и благодаря хорошо задуманным эволюциям, отступлениям и удачным сражениям принудил их отказаться от борьбы в открытом поле и укрыться в укрепленных городах Мидии и Ассирии. В суровую зимнюю пору Сарбараза укрылся за стенами Салбана и был уверен, что ему не может угрожать никакая опасность; его застиг врасплох деятельный Ираклий, разделивший свои войска и совершивший среди ночной тишины трудный переход. Гарнизон с бесплодным мужеством оборонялся на плоских крышах домов против неприятеля, который осыпал его метательными снарядами и освещал себе путь факелами: сатрапы и персидские аристократы вместе с женами, детьми и цветом воинственной молодежи были частью убиты, частью взяты в плен. Персидский главнокомандующий спасся торопливым бегством, но его золотые латы достались победителю, и солдаты Ираклия насладились достатком и отдыхом, на которые имели полное право. С наступлением весны император перешел в семь дней через горы Курдистана и переправился, без всякого сопротивления, через быстрые воды Тигра. Обремененная добычей и пленниками, римская армия остановилась под стенами Амиды, и Ираклий известил константинопольский Сенат о безопасности своего положения и о своем успехе, последствия которого уже чувствовала на себе столица, так как осаждавший ее неприятель нашел вынужденным отступить. Мосты на Евфрате были разрушены персами; но лишь только император отыскал брод, они торопливо отступили, чтобы защищать берега Сара[94] в Киликии. Эта река отличалась быстротой своего течения и имела около трехсот футов в ширину; мост был защищен укрепленными башнями, а вдоль берега были расставлены стрелки. После кровопролитного боя, продолжавшегося до вечера, римляне одержали верх, а один перс гигантского роста был убит и брошен в Сар рукой самого императора. Неприятель рассеялся в разные стороны и упал духом; Ираклий продолжал свое наступление до Себаста, в Каппадокии, и те же самые берега Эвксинского моря, от которых он выступил в поход, приветствовали, по прошествии трех лет, его возвращение из продолжительной и успешной экспедиции[95]. Каждый из двух монархов, состязавшихся из-за обладания Востоком, не довольствовался легкими стычками на границах своих

владений, а старался нанести решительный удар в самое сердце своего противника. Военные силы Персии были истощены двадцатилетними походами и сражениями, а многие из ветеранов, уцелевших от неприятельского меча и от перемен климата, были заперты в египетских крепостях. Но мстительный и честолюбивый Хосров расходовал свои последние ресурсы, и из новых рекрут, набранных между подданными, иностранцами и рабами, организовал три сильных армии[96]. Первая из этих армий состояла из пятидесяти тысяч человек, которым было дано блестящее название *золотых пик*, потому что они носили оружие из этого металла; она должна была двинуться навстречу Ираклию; второй армии было приказано не допускать его соединения с войсками его брата Феодора, а третья должна была осаждать Константинополь и содействовать военным операциям кагана, с которым персидский царь заключил договор о союзе и разделе того, что будет приобретено войной. Начальник третьей армии, Сарбар, проник сквозь азиатские провинции до хорошо известного Халкедонского лагеря и забавлялся разрушением священных и несвященных зданий в азиатских предместиях Константинополя, с нетерпением ожидая появления своих скифских союзников на противоположном берегу Боспора. Тридцать тысяч варваров, составлявших авангард авар, прорвались 29 июня сквозь Длинную стену и загнали внутрь Константинополя толпу испуганных поселян, граждан и солдат. Под знаменем кагана шла восьмидесятитысячная армия[97], в состав которой входили, кроме его природных подданных, вассальные племена гепидов, руссов, болгар и словенцев; целый месяц прошел в передвижениях войск и в переговорах, но с 31 июля весь город был окружен неприятелем от предместий Перы и Галаты до Влахерн и семи Башен, и жители с ужасом смотрели на сигнальные огни, сверкавшие и на европейском, и на азиатском берегу. Между тем константинопольские власти неоднократно пытались купить отступление кагана деньгами; но их послы подвергались оскорблениям и возвращались без успеха, и каган дошел до того, что заставил патрициев объясняться стоя перед его троном, между тем как персидские послы сидели в шелковых одеяниях рядом с ним. "Вы видите,— сказал им надменный варвар,— доказательства моего полного единомыслия с великим царем, а его представитель готов прислать в мой лагерь изб-

ранный отряд из трех тысяч воинов. Не пытайтесь соблазнять вашего повелителя уплатой неудовлетворительного выкупа: ваши богатства и ваш город — единственные подарки, достойные того, чтобы я их принял. Что же касается вас самих, то я позволю вам возвратиться домой в нижнем платье и в сорочке, а мой друг Сарбар не откажется, по моей просьбе, дать вам свободный пропуск сквозь свои окопы. Ваш отсутствующий монарх, или находящийся в настоящее время в плену, или скрывающийся как беглец, предоставил Константинополь его участи, и вы только в том случае могли бы не попасть в руки авар и персов, если бы могли взлететь на воздух подобно птицам или погрузиться в волны подобно рыбам"[98]. В течение десяти дней столица отражала приступы авар, сделавших некоторые успехи в искусстве осаждать города; они или подводили под стены подкопы, или разрушали их под прикрытием непроницаемой черепахи; их машины непрестанно метали тучи камней и стрел, а двенадцать высоких деревянных башен подымали осаждающих на одну высоту с городским валом. Но Сенат и народ были воодушевлены мужеством Ираклия, приславшего к ним на помощь отряд из двенадцати тысяч кирасир; они с большим искусством и успехом употребили в дело огонь и разные механические приспособления для защиты города; их галеры в два и в три ряда весел господствовали на Боспоре и принудили персов быть праздными свидетелями поражения их союзников. Авары были отражены; флот из славянских судов был истреблен внутри гавани; вассалы кагана стали грозить ему, что покинут его; когда его запасы истощились, он сжег свои военные машины и подали сигнал к отступлению, которое совершил медленно и грозно. Это славное освобождение римляне из благочестия приписывали Деве Марии; но матерь Христа, без сомнения, осудила бы их за бесчеловечное умерщвление персидских послов, которых должны бы были охранять если не международные законы, то, по меньшей мере, правила человеколюбия[99].

После разделения своей армии Ираклий благоразумно отступил к берегам Фазиса, откуда вел оборонительную войну против пятидесяти тысяч персидских *золотых пик*. Его тревожные опасения рассеялись при известии об освобождении Константинополя; его надежды на успех окрепли благодаря победе, одержанной его братом Феодором, а союзу Хосрова с

аварами римский император противопоставил полезный и почетный союзный договор, заключенный им с турками. По его приглашению, сопровождающемуся щедрыми обещаниями, орда хазар[100] перенесла свои палатки с приволжских равнин к горам Грузии; Ираклий встретил этих союзников в окрестностях Тифлиса; хан и его свита сошли с коней и,— если верить греческим писателям,— став на колена, преклонились перед величием Цезаря. Такое добровольное изъявление преданности и такая важная помощь были достойны самой горячей признательности, и император, сняв с себя диадему, надел ее на голову турецкого государя, которого при этом нежно обнял и назвал своим сыном. После роскошного банкета он подарил Зибелу посуду, украшения, вещи из золота и драгоценных каменьев и шелковые ткани, бывшие в употреблении за императорским столом, и затем собственноручно раздал своим новым союзникам богатые украшения и серьги. На тайном свидании он показал варвару портрет своей дочери Евдокии[101], снизошел до того, что польстил варвара надеждой, что он может сделаться обладателем прекрасной и *августейшей* невесты, немедленно получил подкрепление из сорока тысяч всадников и завел переговоры о сильной диверсии турецких войск со стороны Окса[102]. Персы, в свою очередь, торопливо отступили; в лагере подле Эдессы Ираклий сделал смотр своей армии, состоявшей из семидесяти тысяч римлян и чужеземцев и с успехом употребил несколько месяцев на то, чтобы снова завладеть городами Сирии, Месопотамии и Армении, укрепления которых были исправлены не вполне. Сарбар еще занимал важную позицию близ Халкедона; но или выражения недоверия со стороны Хосрова, или коварные внушения Ираклия побудили этого могущественного сатрапа отказаться от служения царю и своему отечеству. Был перехвачен посланец, везший *кадариган*, или главному помощнику главнокомандующего, действительное или вымышленное приказание немедленно прислать к подножию трона голову виновного или несчастливого начальника. Депеши были поданы самому Сарбару, и лишь только он прочел свой собственный смертный приговор, он очень искусно вставил туда имена четырехсот офицеров, собрал военный совет и обратился к *кадариган*у с вопросом, намерен ли он исполнить приказания тирана. Персы единогласно объявили, что Хосров лишается престола; они

заключили особый договор с константинопольским правительством, и хотя требования чести или политические соображения не позволили Сарбару стать под знамя Ираклия, император все-таки мог быть уверенным, что с этой стороны он не встретит препятствий ни для дальнейших военных предприятий, ни для заключения мира.

Несмотря на то, что Хосров потерял самого могущественного из своих приверженцев и утратил уверенность в преданности своих подданных, его величие было грозно даже в период своего упадка. Впрочем, громадная цифра пятисот тысяч людей, лошадей и слонов, будто бы собранных в Мидии и в Ассирии для того, чтобы воспротивиться вторжению Ираклия, может быть принята за восточную метафору. Она не помешала римлянам смело перейти от берегов Аракса к берегам Тигра, а трусливый и осторожный Рацат довольствовался тем, что следовал за ними форсированным маршем по опустошенной местности, пока не получил положительного приказания поставить судьбу Персии в зависимость от исхода решительной битвы. К Востоку от Тигра, на конце Мосульского моста, была некогда построена знаменитая Ниневия[103]; уже давно исчезли следы не только самого города, но даже его развалин[104], и его порожнее место представляло обширное поле для военных действий обеих армий. Но византийские историки оставили эти военные действия без внимания и, подобно сочинителям эпических поэм и романов, приписали одержанную победу не военному искусству воспеваемого героя, а его личной храбрости. Сев на своего любимого коня Фалла, Ираклий превзошел в этот достопамятный день самых храбрых меж своими воинами: его губа была проколота копьем; его конь был ранен в бедро, но этот конь все-таки пронес своего седока невредимым и победоносным сквозь тройную фалангу варваров. В разгар битвы трое храбрых неприятельских вождей были один вслед за другим поражены мечом и копьем императора; в числе их находился сам Рацат; он погиб смертью воина, но при виде его отрубленной головы скорбь и отчаяние овладели колеблющимися рядами персов. Его латы из чистого и цельного золота, его щит, состоявший из ста двадцати пластинок, его меч и перевязь, седло и кираса украсили триумф Ираклия, и если бы император не был верен Христу и его матери, он мог бы, в качестве поборника за Рим, принести Юпитеру Капитолийскому в жер-

тву чствертую часть той добычи, которая называлась spolia opima[105]. В сражении при Ниневии, продолжавшемся с большим ожесточением от рассвета до одиннадцатого часа, у персов было отбито двадцать восемь знамен, кроме тех, которые были изломаны или разорваны; большая часть их армии была разбита наголову, и победители, стараясь скрыть свои собственные потери, провели ночь на поле битвы. Они признавались, что в этом случае им было менее трудно убивать Хосровых солдат, чем обращать их в бегство; персидская кавалерия держалась до седьмого часа вечера на своем посту среди трупов своих товарищей и на расстоянии не более двойного полета стрелы от неприятеля; около восьмого часа она отступила в свой уцелевший лагерь, собрала свой обоз и рассеялась в разные стороны не столько по недостатку мужества, сколько по неимению начальнических распоряжений. Не менее было удивительно уменье, с которым Ираклий воспользовался победой; его авангард прошел сорок восемь миль в двадцать четыре часа и занял мосты на большом и малом Забе; тогда ассирийские города и дворцы впервые отворились перед римлянами. Чем далее они подвигались, тем великолепнее было открывавшееся перед их глазами зрелище; наконец они проникли в царскую столицу Дастагерд, и хотя значительная часть находившихся там сокровищ была или вывезена, или истрачена, то, что они там нашли, по-видимому, превзошло их ожидания и даже насытило их жадность. Все, что было неудобно для перевозки, было предано огню для того, чтобы Хосров испытал на самом себе те страдания, которым он так часто подвергал провинции, империи,и это возмездие могло бы считаться справедливым, если бы опустошение ограничилось предметами царской роскоши, если бы национальная ненависть, военное своеволие и религиозное усердие не разоряли с такой же яростью жилищ и храмов невинных персидских подданных. Отбитие трехсот римских знамен и освобождение многочисленных пленников, содержавшихся в Эдессе и в Александрии, покрыли Ираклия более безупречной славой. Из Дастагердского дворца он продолжал свое наступательное движение и приблизился на расстояние пяти миль к Модэну или Ктесифону, но был остановлен на берегах Арбы трудностями переправы, суровым временем года и, может быть, тем, что укрепления столицы считались неприступными. Возвращение императора остави-

ло после себя след в новейшем названии города Шерхзура; он благополучно перешел гору Зару перед тем, как пошел снег, непрерывно падавший в течение тридцати четырех дней, и граждане Гандзаки, или Тавриса, были вынуждены содержать его солдат и лошадей с гостеприимной любезностью[106].

Когда честолюбие Хосрова должно было ограничиться защитой его наследственных владений, он должен бы был из любви к славе или даже во избежание позора сразиться со своим соперником в открытом поле. В битве при Ниневии он мог бы или воодушевить персов своим мужеством и научить их побеждать, или мог бы с честью пасть от копья римского императора. Но преемник Кира предпочел ожидать исхода войны на безопасном расстоянии, собрал все, что уцелело от поражения, и стал медленно отступать перед подвигавшимся вперед Ираклием, пока со вздохом не увидел своего любимого Дастагердского дворца. И друзья и враги Хосрова были убеждены, что он намеревался похоронить себя под развалинами города и дворца, а так как и те и другие могли бы воспротивиться его бегству, то повелитель Азии спасся вместе с Сирой и тремя наложницами сквозь скважину в городской стене за девять дней до прибытия римлян. Вслед за медленным и величественным шествием, в котором он предстал перед глазами падавшей ниц толпы, состоялся его торопливый и тайный отъезд, и он провел первую ночь в избе крестьянина, с трудом согласившегося отворить для великого царя ворота своего скромного жилища[107]. Его склонность к суевериям уступила место страху: на третий день он с радостью укрылся за укреплениями Ктесифона, но тогда только стал считать себя вне всякой опасности, когда река Тигр оградила его от преследования римлян. Известие о его бегстве возбудило ужас и смятение в Дастагердском дворце, во всем городе и в лагере; сатрапы не знали, кого им следует более опасаться — своего государя или неприятеля, а женщины его гарема с удивлением и с удовольствием смотрели на пестрые толпы людей, пока ревнивый супруг трех тысяч жен не запер их снова в более отдаленной крепости. По его приказанию дастагердская армия отступила в новый лагерь: ее фронт был прикрыт Арбой и выстроенными в линию двумястами слонами; войска беспрестанно прибывали из отдаленных провинций, и самые низкие служители царя и сатрапов поступали в

солдаты для окончательной борьбы в защиту престола. Хосров еще мог бы заключить мир на благоразумных условиях, а посланцы от Ираклия неоднократно убеждали его пощадить жизнь его подданных и избавить человеколюбивого завоевателя от прискорбной необходимости опустошать огнем и мечом самые красивые страны Азии. Но гордость перса еще не низошла до одного уровня с его фортуной; его на время ободрило известие об отступлении императора; он от бессильной ярости проливал слезы над развалинами своих ассирийских дворцов и слишком долго пренебрегал постоянно усиливавшимся ропотом народа, который был выведен из терпения упорством старика, не щадившего ни жизни, ни собственности своих подданных. Этот несчастный старик сам изнемог от мучительных душевных и физических страданий и, чувствуя приближение смерти, решился возложить царскую корону на голову самого любимого из своих сыновей, Мердазы. Но воля Хосрова уже не встречала прежней почтительной покорности, и гордившийся рангом и достоинствами своей матери Сиры Шируйэ вошел в соглашение с недовольными с целью отстоять свои права первородства и воспользоваться ими, прежде чем откроется наследство[108]. Двадцать два сатрапа, которые сами называли себя патриотами, соблазнились ожидавшими их при новом царствовании богатствами и почестями; солдатам наследник Хосрова обещал увеличение жалованья, христианам — свободное исповедование их религии, пленникам — свободу и денежные награды, а народу — немедленное заключение мира и уменьшение налогов. Заговорщики решили, что Шируйэ появится в лагерь с внешними отличиями царского звания, а на случай, если бы попытка не удалась, приготовили ему убежище при императорском дворе. Но нового монарха встретили единодушные радостные возгласы; Хосров был задержан в своем бегстве (хотя трудно понять, куда мог бы он бежать), его восемнадцать сыновей были умерщвлены в его присутствии и его заключили в темницу, где на пятый день он испустил дух. И греческие, и новейшие персидские писатели подробно рассказывают, как оскорбляли, морили голодом и пытали Хосрова по приказанию бесчеловечного сына, который далеко превзошел жестокосердие своего отца; но во время его смерти чей язык стал бы рассказывать историю отцеубийцы? чей глаз мог бы проникнуть в *башню забвения*? Религия и мило-

сердие его врагов-христиан низвергли его без всякой надежды на спасение в пропасть еще более глубокую[109], и, конечно, нельзя отрицать, что на такое адское жилище всех более имеют права тираны всех веков и всяких школ. Слава Сасанидов померкла вместе с жизнью Хосрова; его бесчеловечный сын пользовался плодами своих преступлений только в течение восьми месяцев, а затем в течение четырех лет царский титул присваивали себе девять претендентов, оспаривавшие друг у друга с помощью меча или кинжала обломки разоренной монархии. Каждая персидская провинция и каждый персидский город сделались сценами самовластия, раздоров и кровопролития, и анархия господствовала в течение еще почти восьми лет, пока все партии не смолкли и не примирились под общим игом арабских халифов[110].

Лишь только сделались проходимы дороги, которые вели через горы, император получил приятные известия об успехе заговора, о смерти Хосрова и о восшествии его старшего сына на персидский престол. Виновники переворота, желая похвастаться своими заслугами при находившемся в Таврисе дворе и в тамошнем лагере, опередили послов Шируйэ, которые привезли от своего повелителя письма к его *брату*, римскому императору[111]. На языке, которым выражались узурпаторы всех веков, Шируйэ приписывал божеству свои собственные преступления и, не роняя своего достоинства, предлагал прекратить продолжительную распрю между двумя народами путем заключения мирного и союзного договора, более прочного, чем медь или железо. Условия договора были установлены без большого труда и добросовестно исполнены. В подражание Августу император потребовал возвращения захваченных персами знамен и пленников; заботливость обоих монархов о национальном достоинстве была воспета поэтами их времени, но упадок дарований может быть измерен расстоянием между Горацием и Георгием Писидийским; подданные и ратные товарищи Ираклия были избавлены от угнетений, от рабства и от изгнания; но, по настоятельным требованиям Константинова преемника, вместо римских орлов ему было возвращено подлинное древо от настоящего Креста Господня. Победитель не имел желания расширять пределы обессиленной империи, а сын Хосрова без сожалений отказался от завоеваний своего отца; персы, очистившие города Сирии и Египта, были с почетом препровождены до

границы, и война, подточившая жизненные силы двух монархий, не произвела никакой перемены ни в их внешнем положении, ни в том, которое они прежде занимали одна по отношению к другой. Возвращение Ираклия из Тавриса в Константинополь было непрерывным триумфом, и после подвигов шести блестящих кампаний для него наконец настал день субботний, и он мог спокойно насладиться отдыхом от своих трудов. Долго сдерживавшие свое нетерпение Сенат, духовенство и народ вышли навстречу своему герою со слезами и с радостными приветствиями, с масличными ветвями и с бесчисленными светильниками; он въехал в столицу на колеснице, запряженной четырьмя слонами, и лишь только отделался от шумных выражений общей радости, нашел более естественное удовлетворение в объятиях своей матери и своего сына[112].

Следующий год ознаменовался торжеством совершенно иного рода — возвращением Гробу Господню подлинного креста. Ираклий сам отправился на поклонение к святым местам; осмотрительный патриарх[113] проверил подлинность святыни, и в память этой внушительной церемонии было установлено ежегодное празднование Воздвижения Честнаго Креста. Прежде чем вступить на почву, освященную смертью Христа, император был приглашен сложить с себя диадему и пурпуровую мантию, напоминавшие о мирском величии и тщеславии; но, по мнению его духовенства, гонение иудеев было гораздо легче согласовать с евангельскими правилами. Он снова воссел на трон для принятия поздравлений от послов франкского и индийского, и в мнении народа необыкновенные заслуги и слава великого Ираклия помрачили славу Моисея, Александра и Геркулеса[114]. Тем не менее избавитель Востока был беден и слаб. Из собранной в Персии добычи самая ценная часть была истрачена на войну, роздана солдатам или потоплена бурей в волнах Эвксинского моря. Совесть императора мучило принятое им на себя обязательство возвратить суммы, которые он занял у духовенства для его же защиты; чтобы удовлетворить этих неумолимых кредиторов, нужно было внести денежный фонд на вечные времена; провинции, уже истощенные войной и жадностью персов, были принуждены вторично внести уже уплаченные подати, а недоимка, лежавшая на простом гражданине, который служил казначеем в Дамаске, была заменена пеней в сто

тысяч золотых монет. Потеря двухсот тысяч солдат[115], павших на полях сражений во время этой продолжительной и опустошительной войны, была менее пагубна, чем упадок искусств и земледелия и уменьшение народонаселения, и хотя под знаменем Ираклия сформировалась победоносная армия, от этого сверхъестественного усилия, по-видимому, скорей истощились, чем развились силы империи. В то время как император торжествовал свою победу в Константинополе или в Иерусалиме, случилось происшествие, которое само по себе было бы очень обыкновенным и ничтожным, если бы не служило прелюдией для громадного переворота,— сарацины ограбили один небольшой городок на границах Сирии и разбили наголову отряд войск, шедший защищать его. Эти грабители были апостолы Мухаммеда; их фанатическое мужество вызвало их из глубины степей, и в последние восемь лет Ираклиева царствования арабы отняли у него все те провинции, которые он вырвал из рук персов.

---

1) Missis qui... reposcerent... veteres Persarum ac Macedonum terminos, seque invasurum possessa Cyro et post Alexandro, per vaniloquentiam ac minas jaciebat. Тацит, Летоп. 6. 31. Таков был способ выражения Аршакидов, а о высокомерных притязаниях Сасанидов я уже неоднократно имел случай упоминать.

2) См. отчеты о посольствах Менандера, составленные и собранные в десятом столетии по приказанию Константина Порфирородного.

3) Общая независимость арабов, которая не может быть признана иначе как со множеством ограничений, доказывается со слепой уверенностью в особой диссертации, написанной авторами Всеобщей Истории, том XX, стр. 196-250. Предполагалось, что непрерывное чудо соблюдало исполнение пророчества, сделанного в пользу потомства Измаила, и эти ученые ханжи не побоялись основывать истину христианства на таком хрупком и скользком фундаменте.

4) D'Herbelot, Biblioth. Orient. стр. 447. Pocock, Specimen Hist. Arabim, стр. 63,65. О. Пажи (Critica, том II, стр. 646) доказал, что после десятилетнего мира персидская война, продолжавшаяся двадцать лет, возобновилась A. D. 571. Мухаммед родился A. D. 569, в году слона, или поражения Абрахи (Gagnier, Viede Magomet, том 1, стр. 89, 90, 98), а по этому расчету на завоевание Йемена было потрачено два года. (На разногласия между византийскими писателями и абиссинскими летописями уже было указано ранее (гл. XLII, часть IV). В этих последних (Bruce's Travels, 1. 510) так называемая "война слона" отнесена к совокупному царствованию Абрахи и Атцбехи, в промежутке между A. D. 333 и 360. Первого их этих монархов, очевидно, смешивали с губернатором гомеритов, носившим то же имя и получившим от Каледа приказание защищать живших в Йемене христиан. То, что называется "войной слона", было побочным событием, и

оно случилось около 521 года. По вышеназванному сочинению можно проследить внутреннюю связь событий, которые вследствие ошибочных указаний времени были перепутаны с последней войной, происходившей между Греческой империей и Ануширваном. Меандер (Ист. Христ. 3. 171) не мог согласить "противоречивые сведения", сообщаемые об этих событиях Феофаном и Прокопием, с теми сведениями, которые извлек Walch из произведений восточных писателей; он мог бы составить последовательное описание при помощи тех сведений, которые можно найти у Брюса.— Издат.

5) Этот несчастный город, как кажется, никогда не мог поправиться от этого несчастья. Он носит теперь название Мазака.— Издат.

6) Он победил албанцев, которые вывели на поле двенадцать тысяч конницы и шестьдесят тысяч пехоты; но он побоялся ядовитых змей, в существовании которых можно сомневаться, точно так же, как есть основание сомневаться в существовании амазонок, будто бы живших неподалеку оттуда. Плутарх, in Pompeio, том II, стр. 1165, 1166.

7) В летописях всемирной истории я нахожу известия только о двух эскадрах, плававших по Каспийскому морю: 1. О флоте македонян, когда адмирал сирийских царей Селевка и Антиоха, Патрокл, спустился от границ Индии по реке,— вероятно, по Оксу. (Плин. Hist. Natur. 6.21). 2. О русской эскадре, когда Петр I отправил флот и армию из окрестностей Москвы к берегам Персии (Bell's Travels, ч. II, стр. 325-352). Белль основательно отмечает, что на Волге еще никогда не видывали такого зрелища.

8) Относительно войны с Персией и заключенных с нею мирных договоров источниками сведений служат следующие писатели: Menander, in Excerpt. Legat. стр. 113-125. Theophanes Bysant. apud Photium, cod. 64, стр. 77. 80. 81. Evagrius, кн. 5, гл. 7-15. Theophylact, кн. 3, гл. 9-16. Agathias, кн. 4, стр. 140.

9) Бузург Михир и по своему характеру, и по своему положению может считаться за восточного Сенеку; но его добродетели и, может быть, его недостатки менее известны, чем добродетели и недостатки римлянина, который, как видно, был гораздо более болтлив. Этот персидский мудрец был именно тот, кто привез из Индии игру в шахматы и басни Пильпея. Слава о его мудрости и его добродетелях была так велика, что христиане предъявляют на него свои права как на человека, будто бы верившего в евангелие, а мусульмане чтят Бузурга за то, что он будто бы заранее был последователем Мухаммеда. D'Herbelot, Bibliothèque Orientale, стр. 218. (Этот восточный мудрец назывался Абузурдхе Михр или, более правильно, Бузурдхе Михр, что означает на древнеперсидском языке "великое солнце". Это, очевидно, то самое лицо, о котором уже прежде упоминал Гиббон (гл. XLII, часть IV, стр. 499), называя его "доктором Перозом". Его имя упоминается еще в другой форме — Бурзуйех, или Бурзевиех. Собрание басен или рассказов, добытое им для Ануширвана, было написано не Пильпеем, или Бидпеем, а брамином Вишну Сарма под названием Гитопадеза, или Дружеское Наставление. Когда с расширением нашего владычества в Индии санскритская литература сделалась более доступной для ученых, возникло желание отыскать подлинник произведения, которое под названиями Калила и Димна и под скромным заглавием "Басен Пильпея" обошло весь древний

континент и было переведено на все достаточно развитые азиатские и европейские языки. Английскую публику впервые познакомил с ним Charles Wilkins в своих Heetopades, 8-vo, Bath, 1787. Потом на него обратил внимание W. Jones. Во Франции его иллюстрировал De Sacy, а в Германии Август Шлегель и Боннский профессор Лассен. В настоящее время оно служит необходимой классной книгой для тех, кто изучает санскритскую литературу. Последнее издание подлинного текста in 4-to, 1847 принадлежит профессору Восточно-Индийской Коллегии Джонсону; в его предисловии, а также в Notice of the Work оксфордского профессора Вильсона можно найти более подробные указания.— Издат.

10) Об этом подражании Сципиону см. Феофилакта, кн. 1, гл. 14, а об изображении Христа см. кн. 2, гл. 3. Впоследствии я буду более подробно говорить о христианских иконах,— я едва не сказал идолах. Это, если не ошибаюсь, было самое древнее acheiropoictos божественной мануфактуры; но в следующие тысячу лет много других изображений вышло из той же мастерской.

11) Апокрифическая книга Товии упоминает о городе Раги, или Реи, находившемся в цветущем состоянии под владычеством ассирийских царей еще за семьсот лет до Р. Х. Он находился в пяти стадиях к югу от Каспийских ворот и под иноземными названиями Европа и Арсакии был украшен сначала македонянами, а потом парфянами. (Страбон, I. II, стр. 796). О его величине и многолюдности в девятом столетии рассказывают такие преувеличенные подробности, которым нет возможности верить; но Реи впоследствии пришли в упадок вследствие войн и нездорового климата. Chardin, Voyage en Perse, том I, стр. 279, 280. D'Herbelot, Biblioth. Oriental. стр. 714. (По словам Страбона (том II, стр. 524), Раги принадлежали к числу многочисленных городов, построенных в Азии Селевком Никатором и получили от него название Европа, по имени одного из городов Македонии (который, может быть, был его родиной). Но персидские рассказы говорят, что он был основан Гушонгом задолго до времен Кира. (Porter's Travels, 1. 357). Не только книга Товии относит его основание к более отдаленной древности, но и Арриан также доказывает, что он существовал прежде царствования Селевка, так как говорит (кн. 3, гл. 20), что Александр стоял там лагерем. Целларий (2. 670) примиряет эти противоречия, высказывая предположение, что существовали два города того же имени — один старый, а другой новый и что с течением времени они соединились в один. Стефан Византийский дает этому факту более удовлетворительное объяснение, утверждая, что, когда старинный город был уничтожен землетрясением, на его развалинах был построен Европ, который сделался столь значительным, что парфяне перенесли туда центр управления и дали ему название Арсакии. Однако местное население сохраняло его прежнее название, которое и было впоследствии возвращено ему в форме Реи, Раи или Хрея. После многих веков блестящего существования, во время которых он прославился тем, что был родиной Гаруна аль-Рашида, он был разрушен непосредственными преемниками Чингисхана, так что "сделался необитаемым". Сэр R. K. Porter, посетивший его развалины, почти в пяти милях к юго-востоку от Теге-

рана, рассказывает, что остатки его городских стен отличаются невероятной толщиной и имеют в вышину несколько футов.— Издат.

12) Феофилакт, кн. 3, гл. 18. История семи персов рассказана в третьей книге Геродота, а об их знатных потомках нередко идет речь у разных писателей, и в особенности в отрывках Ктезиаса. Однако независимость Отанеса (Геродот, кн. 3, гл. 83, 84) несовместима с духом деспотизма, и едва ли можно поверить тому, чтобы семь родов пережили перевороты одиннадцати столетий. Впрочем, их представителями могли быть семь министров (Brisson, de Regno Persico, кн. 1, стр. 190), а некоторые персидские аристократы, подобно царям Понта (Полибий, кн. 5, стр. 540) и Каппадокии (Диодор Сицил. кн. 31, том II, стр. 517) могли считать себя потомками отважных ратных товарищей Дария.

13) См. подробное описание этой горы у Олеария (Voyage en Perse, стр. 997, 998), который взбирался на нее с большим трудом и подвергал свою жизнь опасности на обратном пути от Исфагана к Каспийскому морю. (Сэр R. K. Porter описал (Travels, 1.289) теперешний вид лощин между утесами, господствующих высот и неприступных укреплений в Roodbar country, до сих пор носящей название "кровожадного народа, сделавшего эти походы столь опасными". Это, вероятно, и были древние Caspiae Portae.— Издат.

14) Восточные писатели полагают, что Бахрам был тот, кто созвал это собрание и провозгласил царем Хосрова; но Феофилакт в этом случае более ясен и более достоин доверия.

15) Вот подлинные выражения Феофилакта (кн.4, гл.7); "Baran philos tois Theois, niketes epiphanes..." и пр. В своем ответе Хосров называет себя te nucti charidzomenos hommata... ho tous Asōnas (гении) misthoumenos. Это настоящее восточное хвастовство.

16) Феофилакт (кн.4, гл.7) винит в смерти Ормузда его сына, который будто бы приказал бить своего отца палками до смерти. Я придерживался менее отвратительного рассказа Хондемира и Евтихия и всегда радуюсь, когда могу найти хотя бы слабое свидетельство в опровержение отцеубийства.

17) После Фарсальской битвы Помпей (по словам Лукана, кн.8, 256-455) обсуждал такой же вопрос. Он желал укрыться у парфян, но его товарищам был отвратителен этот противоестественный союз; такое же предубеждение могло влиять на умы Хосрова и его приверженцев, которые могли с такой же горячностью настаивать на несходстве Востока с Западом в законах, в религии и в нравах.

18) В этом веке было три полководца, носивших имя Нарсеса; их часто смешивали между собой. (Pagi, Critica, том II, стр. 640) 1. Уроженец персидской Армении, брат Исаака и Армация, покинувший знамена своего персидского монарха после удачного сражения с Велисарием и впоследствии служивший в Италии. 2. Евнух, покоривший Италию. 3. Тот, кто возвратил престол Хосрову и которого Корипп прославляет в своей поэме (кн.3, 220-227) как excelsus super omnia vertice agmina...habitu modestus...morum probitate placens, virtute verendus; fulmineus, cautus, vigilans, etc.

19) Experimentis cognitum est barbaros malle Roma petere reges quam habere. Тацит превосходно обрисовал эти эксперименты в описании приглашения и изгнания Вонона (Annal. II, 1-3), Тиридата (Annal. VI,

32-44) и Мегердата (Annal. XI, 10; XII, 10-14). Он как будто проникал своим гением и в лагерь парфян, и сквозь стены гарема.
20) Сергий и его товарищ Бакх, как рассказывают, пострадали во время гонений Максимиана; они удостоились божественных почестей во Франции, в Италии, в Константинополе и на Востоке. Их гробница в Расафе славилась чудесами, и этому сирийскому городу было дано более почетное название Сергиополя. Tillemont, Mem. Ecclés. том V, стр. 491-496. Lutler'Saints, ч. X, стр.155.
21) Эвагрий (кн.6, гл.21) и Феофилакт (кн.5, гл.13,14) сохранили подлинные письма Хосрова, которые были написаны на греческом языке и подписаны им собственноручно; впоследствии их содержание было написано на золотых крестах и таблицах, которые были положены на хранение в Сергиопольской церкви. Они адресованы к антиохийскому епископу, считавшемуся сирийским примасом.
22) Греческие писатели говорят только о ее римском происхождении и о том, что она была христианка, а персидские и турецкие сказки называют ее дочерью императора Маврикия и описывают любовь Хосрова к Схирине и любовь Схирины к Ферхаду, который был самым красивым юношей на всем Востоке. D'Herbelot, Biblioth. Orient. стр. 789, 997, 998.
23) Все подробности относительно тирании Ормузда, восстания Бахрама, бегства и вступления на престол Хосрова рассказаны двумя современными греческими писателями — более сжато Эвагрием (кн.6, гл. 16-119) и более растянуто Феофилактом Симокатта (кн.3, гл. 6-18; кн. 4, гл. 1-16; кн. 5, гл. 1-15); позднейшие компиляторы Зонара и Кедрин могли только переписывать и сокращать. Христианские арабы Евтихий (Летоп.том. II, стр. 200-208)и Абулфарагий (Dynast. стр. 96-98), как кажется, имели под рукой особые мемуары. С великими персидскими историками пятнадцатого столетия Мирховдом и Хондемиром я знаком только по неполным извлечениям, которые можно найти у Shikard'a (Tarikh, стр. 150-155), Texeira или, скорее, у Stevens'a (Ист. Персии, стр. 182-186) в турецкой рукописи, переведенной аббатом Fourmont (Hist. de l'Académie des Inscriptions, том VII, стр. 325-334) и у D'Herbelot (на словах Hormouz, стр. 457-459, Bahram,стр. 174, Khosrou Parviz, стр. 996). Если бы я мог вполне полагаться на их авторитет, я пожалел бы о том, что эти восточные материалы недостаточно полны.
24) Кто желает составить себе общее понятие о гордости и могуществе кагана, тот может обратиться к сочинениям Менандра (Excerpt. Legat. стр. 117 и сл.) и Феофилакта (кн. 1, гл. 3; кн.7, гл. 15); восемь книг этого последнего делают более чести аварскому монарху, чем римскому. Предшественники Баяна испытали на себе щедрость Рима, а сам он пережил царствование Маврикия. (Buat, Hist. des Peuples Barbares, том XI, стр. 545). Каган, который вторгнулся в Италию A.D. 611 (Muratori Annali, том V, стр. 305), был в ту пору juvenili aetate florentem (Павел Варнефрид. De Gest. Langobard., кн.5, гл.38); это, быть может, был сын или внук Баяна (Хаган есть только иная форма слова хан, к которому мы более привыкли),— Издат.
25) Феофилакт, кн. 1, гл. 5,6.
26) Даже во время похода каган любил употреблять в пищу благовонные вещества. Он просил, чтобы ему подарили Indikas karukias, и

получил. Феофилакт, кн.7, гл.13. Европейцы более грубых времен употребляли в еде и в питье более пряностей, чем сколько выносит деликатный вкус новых народов. Vie privée des François, том II, стр. 162, 163.

27) Феофилакт, кн. 6, гл. 6; кн. 7, гл.15. Греческий историк признает основательность и справедливость упрека, сделанного каганом.

28) Менандр (in Excerpt. Legat., стр. 126-132, 174, 175) описал клятвопреступление Баяна и сдачу Сирмия. До нас не дошел его рассказ об осаде, о которой Феофилакт отзывается с похвалой, кн. 1, гл. 3.

29) D'Anville, в Memoires de L'Acad. des Inscriptions, том XXVIII, стр. 412-443. Славянское название Белграда упоминалось в десятом столетии Константином Порфирородным, а его латинское название Alba Graeca употреблялось франками в начале девятого столетия (стр. 414.)

30) Baron. Annal.Eccles A.D. 600, N 1. Павел Варнефрид (кн.4, гл. 38) описывает вторжение авар во Фриуль (гл.39) и пленение своих предков около A.D. 632. Словенцы переправились через Адриатическое море cum multitudine navium и высадились на территории Сипонта (гл.47).

31) Он даже научил их, как строить helepolis, или передвижные башни. Феофилакт, кн.2, 16, 17.

32) Военные предприятия и союзные договоры кагана достигали стран, соседних с Западным морем, которое находилось от Константинополя на расстоянии пятнадцати месяцев пути. Император Маврикий разговаривал со странствующими арфистами, приходившими из этой отдаленной страны и, как кажется, по ошибке признал за особую нацию людей специальной профессии. Феофилакт, кн.6, гл.2.

33) Это одна из самых правдоподобных и самых удачных догадок ученого графа de Buat (Hist.des Peuples Barvares, том XI, стр. 546-568). Чехов и сербов находят смешанными вблизи от Кавказских гор, в Иллирии и на Нижней Эльбе. Даже самые дикие предания цыган и пр. придают этой гипотезе некоторое правдоподобие.

34) Фредегар в Historiens de France, том II, стр. 432. Баян не скрывал своей высокомерной бесчувственности. Oti toioutsus, а не tosoutous, как гласит нелепая поправка heparsesô te Romaikê os ei kai sumbain ge spsisi thanatô alonai, allemoi ge me genesthai sunaithesin.

35) Относительно выступления и возвращения Маврикия см. у Феофилакта кн.5, гл. 16; кн.6; гл. 1-3. Если бы он был писатель со вкусом и с талантом, то можно было бы предположить, что он позволил себе тонкую насмешку; но Феофилакта, конечно, нельзя в этом заподозрить.

36) Илиада, 12, 243. Этот благородный стих, в котором мужество героя соединяется с благоразумием мудреца, может служить доказательством того, что Гомер был во всех отношениях выше своего века и своей родины.

37) Феофилакт, кн.7, гл.3. Ввиду этого факта, ускользнувшего из моей памяти, я прошу читателя исправить и извинить неточность примечания, помещенного в третьей части этой истории и относящего падение Азима, или Азимунция, к более ранней эпохе; еще целый век патриотизма и мужества недорого куплен таким признанием.

38) О постыдном поведении Комменциола см. у Феофилакта, кн. 2, гл.10-15; кн.7, гл.13,14; гл.2-4.
39) О подвигах Приска см. кн. 8, гл.2,3.
40) Общий ход войны с аварами можно проследить по первой, второй, шестой, седьмой и восьмой книгам истории императора Маврикия, написанным Феофилактом Симокатта. Так как он писал в царствование Ираклия, то он не мог увлекаться желанием льстить; но по недостатку здравомыслия он входит в излишние подробности, говоря о мелочных фактах, а при описании самых интересных фактов слишком краток.
41) Сам Маврикий написал двенадцать книг о военном искусстве, которые дошли до нас и были изданы (Упсала, 1664) Иоанном Шеффером в конце Тактики "Арриана (Fabricius, Biblioth.Graeca, кн.4, гл.8, том III, стр.278); Арриан "обещал, что будет говорить об этом сочинении более подробно в надлежащем месте.
42) О мятежах в царствование Маврикия см. у Феофилакта кн.3, гл. 1-4; кн.6, гл. 7, 8,10; кн. 7, гл.1; кн.8, гл.6 и сл.
43) Феофилакт и Феофан, по-видимому, ничего не знали о заговоре и о скупости Маврикия. Об этих обвинениях, столь неблагоприятных для чести императора, впервые упоминает автор Пасхальной Хроники (стр.379. 380), от которого их заимствовал и Зонара (том II, кн. 14, стр. 77, 78). Кедрин (стр.399) называет другую цифру выкупа за пленников.
44) Этот Герман, должно быть, был сын Мафасуинты, правнук Теодориха и внучатый племянник Юстиниана; о нем уже говорилось почти за пятьдесят лет перед тем (гл. XLIII, ч. IV, стр. 553) как о царственном юноше, который был последним представителем рода Амалов. — Издат.
45) В своих жалобах на Маврикия константинопольские жители клеймили его названием Маркионита, или Маркиониста: по словам Феофилакта (кн.8, гл.9) эта ересь meta tinos moras eulabejas, euethes te kai katagelastos. Бросили ли они в него это обвинение без всяких оснований или же он действительно подпал под влияние какого-нибудь незнатного проповедника, принадлежащего к школе этих старинных гностиков?
46) Церковь св. Автонома (с которым я не имею чести быть знакомым) находилась в ста пятидесяти стадиях от Константинополя. (Феофилакт, кн.8 гл.9) Jyllius (De Bosphoro Thracio, кн.3, гл.11) описал порт Евтропия, в котором Маврикий был умерщвлен вместе со своими детьми, и говорит, что это была одна из двух Халкедонских гаваней. (Автоном был епископом во времена Диоклетиана. Он искал в Вифинии убежища, спасаясь от гонений, но подвергся мученической смерти в 290 году.— Издат.)
47) Жители Константинополя вообще часто страдали от nosoi arthretides, а Феофилакт замечает, что (кн.8, гл.9) если бы ему это дозволили правила исторического изложения, он мог бы указать причину этого недуга. Однако такое отступление не было бы более неуместно, чем его исследование (кн.7, гл.16,17) ежегодных разливов Нила и чем все мнения, высказанные об этом предмете греческими философами.
48) Из этой великодушной попытки Корнель извлек запутанную инт-

ригу своей трагедии Ираклий, которую может понять только тот, кто видел ее несколько раз (Corneille de Voltaire, том V, стр. 300) и которая, по прошествии нескольких лет, как рассказывают, ставила в тупик самого автора. (Anecdotes Dramatiques, том 1, стр.422 .)

49) Восстание Фоки и смерть Маврикия описаны Феофилактом Симокатта (кн.8, гл.7-12), Пасхальной Хроникой (стр.379, 380), Феофаном (Chronograph., стр. 238-244), Зонарой (том II, кн.14, стр. 77-80) и Кедрином (стр.399-404).

50) Григор. кн. 11,epist.38, indict.6: Benignitatem vestrae pietatis ad imperiale fastigium pervenisse gaudemus. Laetentur coeli et exultet terra, et de vestris benignis actibus universae reipublicae populus nunc usque vehementer afflictus hilarescat, etc. Философ Бэйль основательно порицает эту низкую лесть, на которую горячо нападают протестанты. (Dictionnaire Critique, Gregoire 1, note H, том II, стр. 597, 598.) Кардинал Бароний оправдывает папу в ущерб павшему императору.

51) Изображения Фоки были уничтожены; но его враги позаботились о том, чтобы один экземпляр этих портретов или карикатур (Кедрин, стр. 404) уцелел от пламени.

52) Ducange (Familiae Byzantinae, стр. 106-108) подробно описал семейство Маврикия: его старший сын Феодосий был коронован императором, когда ему было не более четырех с половиной лет, а Григорий в своих приветствиях всегда ставил его наряду с отцом. Между дочерьми Маврикия я с удивлением нахожу рядом с Анастасией и Феоктистой языческое имя Клеопатры.

53) Феофилакт описывает некоторые из жестокостей, которые совершал Фока (кн.8, гл.13-15). Поэт императора Ираклия Георгий Писидийский называет его (Bell.Avaricum, стр.46, Рим 1,777) tes tyrannidos ho duskatekstos kai biopstoros drakon. Последний из этих эпитетов основателен, но отравитель жизни был легко побежден.

54) И сами писатели, и те, кто переписывал их произведения, так часто смешивают имена Приска и Криспа (Ducange, Fam, Byzant, стр.111), что я покушался отождествить зятя Фоки с тем героем, который пять раз побеждал авар. (Этот герой назывался Приском, а не Криспом. См. стр. 172 и Клинтона, F.R. II, 159. — Издат.)

55) По словам Феофана kivotia u eikonas theometoros Кедрин прибавляет akeiropoieton eikona tou kyrion, служивший для Ираклия знаменем в первую персидскую экспедицию. См. George Piscid. Acroas.1,140. Это мануфактурное производство, по-видимому, процветало, но римский издатель Foggini (стр.26) затрудняется решить, было ли это произведение живописи оригиналом или копией.

56) О тирании Фоки и о возведении на престол Ираклия можно найти сведения в Пасх. Хрон, стр. 380-383, у Феофана, стр. 242-250, Никифора, стр. 3-7, Кедрина, стр. 404-407, Зонары, том II, кн. 14, стр. 80-82.

57) Феофилакт, кн. 8, гл.15. Биография Маврикия была написана около 628 года (кн.8, гл.13) бывшим префектом и египетским уроженцем Феофилактом Симокатта. Фотий, делая пространные извлечения из этого сочинения (Cod. 65, стр. 81-100), слегка порицает его натянутый и аллегорический слог. Предисловие состоит из разговора между Философией и Историей; они уселись под тенью чинары и История играет на своей лире.

58) Christianis nec pactum esse, nec fidem nec foedus...quod siulla illis fides fuisset, regem suum non occidissent. Евтихий Annales, том II, стр. 211, vers. Pocock.

59) Мы вынуждены теперь расстаться на несколько веков с современными историками и снизойти (если только можно это назвать снисхождением) от риторического жеманства к грубой безыскусственности хроник и сокращений. Произведения Феофана (Chronograph. стр. 244-279) и Никифора (стр. 3-16) дают последовательное, но неполное описание персидской войны, а при изложении дополнительных фактов я буду указывать на источники моих сведений. Феофан, бывший царедворцем, а потом превратившийся в монаха, родился A.D. 748; константинопольский патриарх Никифор, умерший A.D. 829, был несколько моложе его; они оба пострадали за поклонение иконам. Hankius, de Seriptoribus Byzantinis, стр.200-246.

60) Персидские историки сами были введены в этом случае в заблуждение; но Феофан (стр.244) обвиняет Хосрова в подлоге и во лжи, а Евтихий полагает (Annal. том II, стр. 211), что сын Маврикия, спасшись от преследования убийцы, жил и умер монахом на горе Синае.

61) Евтихий относит все понесенные империей потери к царствованию Фоки, спасая этим заблуждением честь Ираклия; по его словам, Ираклий прибыл не из Карфагена, а из Салоник с флотом, нагруженным овощами для константинопольских жителей. (Annal. том II, стр. 223,224). Другие восточные христианские писатели: Barhebraeus (apud Asseman, Bibliothec.Oriental. том III, стр.412, 413), Elmacin (Hist.Saracen. стр. 13-16), Abulpharagius (Dynast. стр. 98.99), более искренни и точны. Годы событий, относящихся к войне с Персией, указаны в хронологии Пажи.

62) Относительно завоевания Иерусалима, которое было столь важным в истории церкви событием, см. Летописи Евтихия (том II, стр. 212-223) и жалобы монаха Антиоха (apud Baronium.Annal. Eccles.A.D. 614, N 16-26); его сто двадцать девять проповедей до сих пор сохранились,— если только можно назвать сохранившимися такие произведения, которых никто не читает.

63) Жизнь этого достойного святого описана его современником, епископом Леонтием, и я нашел у Барония (Annal.Eccles. A.D. 610, N10 и сл.) и у Флери (том VIII, стр. 235-242) удовлетворительные извлечения из этого назидательного произведения.

64) Ошибка Барония и многих других писателей, полагавших, что Хосров достиг Карфагена (вместо Халкидона), проистекала от сходства греческих слов kalchedona и karchedona в тексте Феофана; эти два названия иногда употреблялись одно вместо другого переписчиками и даже критиками. У Феофана (стр. 252 b и c) стоит слово Chalkedona, которое Кедрин (стр. 408 c) изменил в karkedona. Это существенное различие между начальными буквами двух собственных имен было недосмотрено Гиббоном и до сих пор не было замечено ни одним из издателей его сочинений.— Издат.

65) Подлинные деяния св. Анастасия помещены в актах седьмого вселенского собора, откуда Бароний (Annal.Eccles. A.D. 614,626,627) и Бутлер (Lives of the Saints, ч.1 стр. 242-248) и заимствовали содержание своих рассказов. Этот святой мученик дезертировал из персидской армии и поступил в римскую, затем поступил в Иерусалиме в монахи и нанес оскорбление богослужению магов, которое было в ту пору введено в Кесарии, что в Палестине.

66) Abulpharagius, Dynast. стр.99. Elmacin, Hist. Saracen, стр.14.
67) D'Anville, Mém. de L'Académie des Inscriptions, том XXXII, стр.568-571. По словам Целлария, Артемита очень славилась в древности своим великолепием — a multis scriptoribus laudata (2,661). Однако писатели, так отзывавшиеся об этом городе, не имели точных сведений о его географическом положении. Место, где находился Дастагерд, также нельзя указать с точностью. Сэр R.K. Porter (2.186) относит сделанное Гиббоном описание дворца к развалинам, которые он осматривал в Такт-и-Бостане, или садовом троне, на восточной стороне Керманшаха. После того он посетил другие развалины в том же роде, находящиеся в Касре-Ширине (стр.212), и полагал, что это были остатки когда-то великолепного Дастагерда. Однако ни на одном из этих мест не сохранилось следов названия ни Дастагерда, ни Артемиты. Тот же путешественник (стр.591) проезжал мимо селения, которое называется Дастагерд и находится на берегах озера Урмии, между Араксом и Тигром. Он не въезжал в селение, но говорит, что его окрестности великолепны.— Издат.
68) Различие между этими двумя породами заключается в том, что у одной один горб, а у другой два; у дромадеров только один горб; собственно, так называемые верблюды выше ростом и добываются из Туркестана или Бактрии; дромадеры водятся только в Аравии и в Африке. Buffon, Hist. Naturelle, том XI, стр. 211 и сл. Aristot. Hist.Animal. том 1, кн.2, гл.1; том II, стр.185).
69) Феофан, Chronograph. стр.268. D'Herbelot, Bibliothèque Orientale, стр.997. Греки описывают упадок Дастагерда, а персы его великолепие; но первые говорят то, что видели, а вторые повторяют неопределенные слухи.
70) Историки Мухаммеда, Абульфеда (in Vita Mohammed., стр.92,93) и Gagnier (Vie de Mahomet, том II, стр.247) относят это послание к седьмому году эгиры, которая начинается с A.D. 628, мая 11. Их хронология ошибочна, так как Хосров умер в феврале того же года. (Pagi Critica, том II, стр.779.) Граф Boulainvilliers (Vie de Mahomed, стр.327, 328) полагает, что это послание было отправлено около A.D. 615, то есть вскоре после завоевания Палестины. Но Мухаммед едва ли мог так рано отважиться на такой смелый шаг. (В настоящее время всеми принято считать началом эгиры 16 июля A.D. 622. По словам Ockley (стр.50, изд. Bohn), Мухаммед после отправки этого письма к Хосрову послал письмо такого же содержания к Ираклию. Но время отправки этих писем нельзя определить с точностью.— Издат.
71) См. тридцатую главу Корана, носящую заглавие Греки. Добросовестный и ученый переводчик Корана на английский язык Sale (стр.330-331) очень положительно утверждает, что Мухаммед высказал это предположение, эту догадку или эту уверенность; но Boulainvilliers (стр. 329-344) старается со злобным намерением доказать, что это было действительно предсказание будущего события, способное, по его мнению, сбить с толку христианских полемических писателей.
72) Павел Вернефрид, de Gestis Langobardorum, кн.4, гл.38,42. Muratori, Annali d'Italia, том V, стр.305 и сл.
73) Пасхальная Хроника, иногда вставляющая исторические подробности в сухой список собственных имен и чисел, сообщает нам самое удовлетворительное описание вероломства авар, стр. 389, 390. О числе пленных мы узнаем от Никифора.

74) Некоторые подлинные документы, как, например, речь или письмо римских послов (стр. 386-388) также составляют отличительное достоинство Пасхальной Хроники, которая была написана в царствование Ираклия, быть может, в Александрии.
75) Никифор (стр.10, 11), который клеймит этот брак названиями athesmon u athemiton, с удовольствием замечает, что из двух сыновей, бывших плодами этого кровосмешения, старшего Провидение заклеймило тем, что он был кривошейкой, а младшего тем, что он оглох.
76) Георгий Писидийский (Acroas. 1. 112-125, стр.5), излагая мнения трусливых советников, говорит, что они не имели дурных намерений. Оправдали бы они гордое и презрительное замечание Криспа?
77) George Pisid. Acroas.1.51 и сл., стр.4. Восточные писатели также упоминают об этой странной превратности фортуны, а я припоминаю одну подробность о Хосрове Парвизе, которая имеет некоторое сходство с рассказом о кольце Поликрата Самосского.
78) Бароний серьезно рассказывает об этой находке или, вернее, об этом превращении бочонков с медом в бочонки с золотом (Annal. Eccles. A.D. 620, N 3 и сл.) Однако эта ссуда не была добровольна, так как она собиралась солдатами, которым было приказано оставить александрийскому патриарху не более ста фунтов золота. Через двести лет после того Никифор (стр.11) с досадой говорил об этой контрибуции, еще, быть может, отзывавшейся на денежных делах константинопольской церкви.
79) Феофилакт Симокатта, кн.8, гл.12. Этот факт не должен удивлять нас. Даже в мирное время личный состав полков возобновляется менее чем через двадцать или двадцать пять лет.
80) Он заменил свои пурпуровые полусапожки черными и впоследствии окрасил их в красный цвет кровью персов. (Georg. Pisid. Acroas.3. 118,121,122. См. примечания Foggini, стр.35).
81) Георгий Писидийский (Acroas.2,10, стр.8) уяснил то, что касается этого важного вопроса о сирийских или киликийских воротах. Они изящно описаны Ксенофонтом, который проходил через них за тысячу лет перед тем. Узкий проход в три стадии между крутыми высокими утесами и Средиземным морем замыкался с обоих концов воротами, которые были неприступны с сухого пути но были доступны с моря. (Анабасис, кн.1, стр.35,36 с Географической Диссертацией Hutchinson'a, стр.6). Двое ворот находились в тридцати пяти парасангах, или персидских милях, от Тарса (Анабазис, кн.1, стр.33,34) и в восьми или в десяти от Антиохии. (Сравн. Itinerar. Wesseling. стр.580-581; Schultens, Index Geograph.ad calcem Vit.Saladin. стр.9; Voyage en Turquie et en Perse par M. Otter, том I, стр.78, 79).
82) Ираклий мог употребить в письме к другу скромные выражения Цицерона: "Castra habuimus ea ipsa quae contra Darium habuerat apud Issum Alexander, imperator haud paulo melior quam aut tu aut ego". Ad Atticum,5,20. Исс был во времена Ксенофонта богатым и цветущим городом, но пришел в упадок вследствие процветания находившейся на противоположной стороне залива Александрии, или Скандеруна.
83) Foggini (Annotat. стр.31) подозревает, что персов ввело в заблуждение Элиана (Tactic. гл.48) или сложное спиральное движение армии. Он замечает (стр.28), что военные описания Георгия Писидийского списаны в Тактике императора Льва.
84) Георгий Писидийский описал как очевидец (Acroax 2. 122 и сл.)

первую экспедицию Ираклия в трех acroaseis, или песнях. Его поэма была недавно (1777 г.) издана в Риме; но заключающаяся в ней неопределенная и витиеватая похвала далеко не оправдала блестящих ожиданий Пажи, д'Анвилля и др.

85) Феофан (стр.256) быстро переносит Ираклия в Армению, Никифор хотя и смешивает две экспедиции, однако положительно указывает на Лазику. Евтихий (Annal. том II, стр. 231) определяет число войск в пять тысяч человек и говорит, что их стоянкой был Трапезунт, что более правдоподобно.

86) На переходе от Константинополя до Трапезунта при благоприятном ветре требовалось от четырех до пяти дней; от Трапезунта до Эрзерума — пять дней, до Эривани — двенадцать дней, до Тавриса — десять дней, а всего тридцать два дня. Таковы указания Дорожника Tavernier (Voyages, том 1, стр.12-56), который был очень хорошо знаком с азиатскими путями сообщения. Tournefort, путешествовавший вместе с турецким пашой, употребил десять или двенадцать дней на переезд от Трапезунта до Эрзерума (Voyage du Levant, том III, письмо 18), а Chardin (Voyages, том 1, стр. 249-254) с большей точностью определяет расстояние между Эриванью и Тавризом в пятьдесят три парасанги, каждая в пять тысяч шагов (каких шагов)?

87) D'Anville (Mémoires de L'Académie des Inscriptions, том XXVIII, стр. 559-573) очень хорошо разъяснил много подробностей касательно экспедиции Ираклия. Он с удивительным искусством и знанием дела определил географическое положение Гандзаки, Тебармы, Дастагерда и пр; но он совершенно умалчивает о компании 624 года, о которой не сохранилось никаких известий.

88) Et pontem indignatus Araxes.— Виргилий. Энеида 8,728. Река Аракс бурлива, быстра, стремительна в своем течении, а в эпоху таяния снегов ничто не может противостоять напору ее вод; она сносит самые крепкие и самые тяжелые мосты, а о ее негодовании свидетельствуют развалины многочисленных арок вблизи от древнего города Цульфы. (Voyages de Chardin, том 1, стр.252). (Аракс до сих пор непроходим после дождей и в весеннюю пору. Layard's Nineveh and Babylon, стр.15.— Издат.)

89) Chardin, том 1, стр.255-259. Согласно с восточными писателями (D'Herbelot, Bibliot. Orient., стр.834), он приписывает основание Тавриса, или Тербиса, жене знаменитого халифа Харуна ар-Рашида, Зобеид; но этот город, как кажется, имел более глубокую древность, а названия Гандзаки, Газаки, Гази обозначают хранившиеся в нем царские сокровища. Chardin не разделяет общего мнения, что тамошнее население доходило до одного миллиона ста тысяч человек, и уменьшает эту цифру до пятисот пятидесяти тысяч.

90) Он раскрыл Евангелие и применил к названию и положению Албании первый случайно попавший на глаза текст (Феофан, стр.258).

91) Заросшая вереском местность близ Могана, между реками Киром и Араксом, имеет шестьдесят парасанг в длину и двадцать в ширину (Olearius, стр.1023, 1024); она обильна водами и роскошными пастбищами. (Hist. de Nadir Shah, которую Jones перевел с персидского манускрипта. Часть II, стр. 2,3). См. лагерные стоянки Тимура (Hist.par Sherefeddin Ali, кн.5, гл.37; кн.6, гл.13) и коронование Надир Шаха (Hist.Persanne, стр.3-13 и английское жизнеописание Jones'a, стр.64,65).

92) D'Anville доказал, что Тебарма и Ормия, вблизи от озера Спавты, один и тот же город. (Mémoires de L'Académie, том XXVIII, стр. 564,

565.) Он пользуется у персов почетом, как месторождения Зороастра (Schultens, Index Geograph. стр.48), а их национальное предание подкрепляет Perron d'Anquetil (Mem. de L'Acad. des Inscript. том XXXI, стр.375) различными текстами, которые извлекает или из своей собственной, или из их Зендавесты. (В настоящее время этот город носит название Урмии и по его имени называется озеро (Porter's Travels, II, 591). Неподалеку оттуда находится деревня Дастагерд, о которой было упомянуто в одном из предыдущих подстрочных примечаний (стр.188); она так отдалена от центра управления, что едва ли может считаться за то место, где находился знаменитый дворец Хосрова; впрочем, она лежала на пути военных операций Ираклия.— Издат.

93) Я не был в состоянии, а (что гораздо более важно) D'Anville даже не пытался отыскать положение Салбана, Тарента, территории гуннов и пр., о которых упоминает Феофан (стр.260-262). Евтихий (Annal. том II, стр.231, 232), который очень неудовлетворителен как писатель, называет Исфаган; а Казвин, по всему вероятию, был город Шапур. Исфаган находится в двадцати четырех днях пути от Тавриза, а Казвин лежит на полпути между ними (Voyages de Tavernier, том 1, стр. 63-82).

94) В десяти парасангах от Тарса армия младшего Кира перешла через Сар, который имел три плетры в ширину: Пирам, имевший в ширину одну стадию, протекал в пяти парасангах далее к востоку (Ксенофонт, Анабасис, кн.1, стр.33,34).

95) Георгий Писидийский (Bell. Abaricum, 246-265, стр.49) основательно хвалит непоколебимое мужество, которое было выказано в эти три кампании против персов.

96) Петавий (Annotationes ad Nicephorum, стр. 62-64) называет имена и описывает действия пяти персидских военачальников, которые были посланы один вслед за другим против Ираклия.

97) Георгий Писидийский определяет размеры этой армии восемью мириадами (Bell. Abar. 219). Поэт (50-88) ясно говорит, что старый каган жил до царствования Ираклия и что его сын и преемник родился от чужестранки. Но Foggini (Annotat. стр. 57) иначе объяснил это место.

98) Птица, лягушка, мышь или пять стрел составляли подарок скифского царя Дарию (Геродот, кн. 4, гл. 131, 132). Substituez une lettre a ces signes (остроумно заметил Pycco) plus elle sera menaçante moinselle effrayera: ce ne sera qu'une fanfarronade dont Darius n'eut fait que rire. (Emile, том III, стр. 146). Однако я не верю, чтобы константинопольский Сенат и народ смеялись, получив такой ответ от кагана.

99) В Пасхальной Хронике (стр. 392-397) мы находим подробный и достоверный рассказ об осаде Константинополя и о его освобождении. Феофан (стр. 264) присовокупляет некоторые подробности, и можно извлечь некоторые пояснения из туманных рассказов Георгия Писидийского, сочинившего поэму (de Bello Abarico, стр. 45-54) в память этого счастливого события.

100) Хазары славились своим могуществом в седьмом, восьмом и девятом столетиях. Они были известны грекам, арабам и, под именем Ко́за, даже китайцам. De Guignes, Hist. des Huns, том II, часть 2, стр. 507-509.

101) Епифания, или Евдокия, была единственная дочь Ираклия от его первой жены Евдокии; она родилась в Константинополе 7 июля,

A.D. 611, была окрещена 15 августа и коронована (в дворцовой молельне св. Стефана) 4 октября того же года. Стало быть, в ту пору, о которой идет речь, ей было почти пятнадцать лет. Впоследствии Евдокия была отправлена к своему турецкому супругу, но известие о его смерти прервало ее поездку и воспрепятствовало довершению брака (Ducange, Familiae Byzantin. стр. 118).

102) Elmacin (Hist. Saracen. стр. 13-16) сообщает несколько интересных и правдоподобных подробностей, но приводимые им цифры слишком велики; так, например, он говорит, что собравшиеся в Эдессе римляне были в числе трехсот тысяч, а число убитых близ Ниневии персов достигало пятисот тысяч. Если мы уменьшим эти цифры вдесятеро, то они будут недалеки от правды.

103) Ктесий (apud Diodor. Sicil. том I, кн. 2, стр. 115, издат. Wesseling) определяет окружность Ниневии в четыреста восемьдесят стадий (быть может, только в тридцать две мили). Иона говорит о трех днях пути; из того, что пророк говорит о ста двадцати тысячах жителей, неспособных отличить свою правую руку от левой, можно определить почти тысяч в семьсот число жителей всякого возраста, помещавшихся в этой древней столице (Goguet, Origines des Loix, etc. том III, часть I, стр. 92, 93), покончившей свое существование за шестьсот лет до Р.Х. В первом веке арабского халифата западное предместье еще существовало, и историки упоминают о нем, называя его Мосулом.

104) Нибур (Voyage en Arabie, etc., том II, стр. 286) проехал через Ниневию, не заметив ее. Он принял за ряд холмов старый кирпичный или земляной вал. Говорят, что этот вал имел сто футов в вышину и что по бокам его стояли тысяча пятьсот башен, каждая вышиной в двести футов. (Layard исследовал некоторые из этих искусственных насыпей и познакомил английских читателей с Ниневией и с остатками ее величия. В настоящее время можно изучать цивилизацию и нравы Ассирии по разнообразным памятникам старины, хранящимся в Британском музее.— Издат.)

105) Rex regia arma fero (сказал Ромул при первом освящении Капитолия)...bina postea (продолжает Ливий, 1, 10) inter tot bella, opima parta sunt spolia, adeo rara ejus fortuna decoris. Если бы Варрон (apud Pomp. Festum, стр. 306, изд. Dacier) был в состоянии доказать, что право на spolia opima принадлежало даже простому солдату, убившему неприятельского царя или главнокомандующего, то эта честь приобреталась бы более легко и более часто.

106) При описании этой последней экспедиции Ираклия Феофан (стр. 265-271) рассказывает факты, указывает место и время происшествий с большой точностью и достоверностью; это заставляет думать, что он черпал свои сведения из подлинных писем императора, из которых некоторые очень интересные отрывки сохранились в Пасхальной Хронике (стр. 398-402).

107) Следующие слова Феофана достойны внимания: eiseilthe Chosroes eis oikon georgou medaminou meinai, on Choretheis en te touton thura, hen idōn eschaton Herakleios cthaumasen. (стр. 269). Молодые принцы, чувствующие расположение к военным предприятиям, должны бы были постоянно переписывать и переводить такие полезные замечания.

108) Достоверное описание падения Хосрова находится в письме Ираклия (Chron Paschal. стр. 398) и в истории Феофана (стр. 271).

109) При первом слухе о смерти Хосрова Георгий Писидийский (стр.

97-105) издал в Константинополе Ираклиаду в двух песнях. Так как он был в одно и то же время и священник и поэт, то с его стороны было совершенно уместно обрекать общественного врага на вечные мучения (V, 56); но такой низкий способ мщения не достоин императора и завоевателя, и мне прискорбно видеть в письме Ираклия такую склонность к грубым суевериям; он почти одобряет совершенное Шируйэ отцеубийство как акт благочестия и справедливости. (В Персии иначе рассказывают причину смерти этого несчастного монарха. Шируйэ влюбился в свою мачеху Схирену; по его наущению был убит его отец, и затем он предложил вдове вступить с ним в брак. Прежде, чем дать свое согласие, она попросила позволения видеть труп своего умершего супруга; когда это было ей дозволено, она заколола себя кинжалом и упала мертвой подле него (Porter's Travels, II, 212.— Издат.)

110) Лучшие восточные описания этого последнего периода царей из рода Сасанидов можно найти у Евтихия (Annal. том II, стр. 251-256), который умалчивает о совершенном Шируйэ отцеубийстве, у D'Herbelot (Billiotheque Orientale, стр. 789) и у Ассемана (Biblioth. Orientale, том III, стр. 415-420). (Указанный Гиббоном восьмилетний срок анархии относится к поражению персов при Ялулахе и к удалению Иездегерда в Ферганах в 637 г (Ockley, стр. 215, изд. Bohn). Род Сасанидов окончательно пресекся не ранее 651 г.— Издат.

111) Помещенное в Пасхальной Хронике письмо Шируйэ (стр. 402), к сожалению, оканчивается прежде, нежели он приступил к делу. Содержание договора выясняется из того, что говорят Феофан и Никифор о его исполнении.

112) Припев Корнеля — Montrez Heraclius au peuple qui l'attend гораздо более подходящ к настоящему случаю. Относительно его триумфа см. Феофана (стр. 272, 273) и Никифора (стр. 15, 16). О том, что его мать еще была жива и что его сын питал к нему нежную привязанность, свидетельствует Георгий Писидийский (Bell. Abar. 255 и сл., стр. 49). Метафора о дне субботнем употреблена этими византийскими христианами и несколько отзывается нечестием.

113) См. Барония (Annal. Eccles. A.D. 628, N 1-4), Евтихия (Annal. том II, стр. 240-248), Никифора (Brev. стр. 15). Печати никогда не были сняты с ящика, и это сохранение креста приписывается (после Бога) благочестию царицы Сиры.

114) Георгий Писидийский, Acroas. 3, de Expedit. contra Persas, 415 и сл. и Heracleid. Acroas. 1, 65-138. Я оставлю без внимания другие, менее важные сопоставления с Даниилом, Тимофеем и пр. Само собой разумеется, что Хосрова и кагана сравнивали с Бельшаззаром, с фараоном, с древним змеем и пр.

115) Свида (in Excerpt. Hist. Byzant. стр. 46) приводит эту цифру; но или следует читать вместо войны с исаврами война с персами, или это место не относится к императору Ираклию.

ГЛАВА XLVII

Богословская история учения о воплощении.— Человеческая и божественная натура Христа.— Вражда между патриархами Александрийским и Константинопольским.— Св. Кирилл и Несторий.— Третий вселенский собор в Эфесе.— Евтихиева ересь.— Четвертый вселенский собор в Халкидоне.— Гражданские и церковные раздоры.— Религиозная нетерпимость Юстиниана.— Три главы.— Споры с монофелитами.— Положение восточных школ.— I. Несториане.— II. Яковиты.— III. Мароните.— IV. Армяне.— V. Копты и абиссинцы.

После искоренения язычества христиане могли бы наслаждаться в мире и благочестии победой, которая оставила их без соперников; но в их среде еще не иссяк источник раздоров, и они позаботились не столько об исполнении правил, преподанных основателем их религии, сколько об исследовании его свойств. Я уже имел случай заметить, что вслед за спорами о *Троице* возникли споры о *Воплощении*, которые были не менее первых позорны для церкви и пагубны для государства, но были еще более мелочны в своем происхождении и более живучи в своих последствиях. Я намереваюсь описать в этой главе двухсотпятидесятилетнюю религиозную борьбу, обрисовать церковный и политический раскол, созданный восточными школами, и предпослать их шумным или кровавым распрям скромное исследование учений первобытной церкви[1].

1. Из похвальной заботливости о чести первых новообращенных христиане питали соответственную их надеждам и желаниям уверенность, что евиониты или, по меньшей мере, назареи отличались от них только своей упорной привязанностью к обрядам Моисеевой религии. Церкви этих сектантов исчезли; их книги были преданы забвению; их скромная свобода давала простор их религиозным мнениям, а усердие или благоразумие трех столетий могло отливать в различные формы их неустановившиеся верования. Однако даже самая

снисходительная критика должна отказать им в каких-либо понятиях о настоящей и врожденной божественности Христа. Так как они воспитаны в школе иудейских пророчеств и предрассудков, то их никогда не учили заходить в своих надеждах далее ожидания, что появится мессия с человеческой натурой и с мирскими целями[2]. Хотя у них и достало мужества на то, чтобы приветствовать их царя, когда он появился перед ними под видом плебея, но по грубости своих понятий они не были способны распознать их Бога, старательно скрывшего свою божественную натуру под именем и личностью простого смертного[3]. Товарищи Иисуса Назаретского обходились с ним как с другом и соотечественником и, судя по всем проявлениям его умственной и животной жизни, можно было полагать, что он принадлежит к одному с ними разряду существ. Его развитие от детского возраста до юношества и до возмужалости выражалось в постепенном увеличении роста и мудрости, и после мучительной душевной и телесной агонии, он испустил дух на кресте. Он жил и умер для пользы человечества; но жизнь и смерть Сократа также были посвящены делу религии и справедливости, и хотя стоик или герой мог бы относиться с пренебрежением к скромным добродетелям Иисуса, слезы, которые этот последний проливал над судьбой своего друга и своей страны, могут считаться за самое несомненное доказательство его человеколюбия. Евангельские чудеса не могли удивлять народ, упорно веривший в более блестящие чудеса книг Моисеевых. Древние пророки исцеляли недуги, воскрешали мертвых, разделяли моря на две части, останавливали Солнце и подымались на небеса на огненной колеснице; а на метафорическом языке евреев название *Сына Божия* могло быть дано святому и мученику.

Однако в неполных верованиях назареев и евионитов заметны лишь слабые следы различия между еретиками, полагавшими, что рождение Христа совершилось согласно с общими законами природы, и менее преступными раскольниками, чтившими девственность его матери и устранявшими участие земного отца. Неверие первых находило для себя опору в видимых подробностях его рождения, в законном бракосочетании его мнимых родителей Иосифа и Марии и в предъявлении его прав на царство Давида и на наследие Иуды, основанных на родстве по прямой линии. Но тайная и

достоверная история была изложена в нескольких копиях Евангелия св. Матфея[4], которое эти сектанты долго сохраняли в еврейском подлиннике[5] как единственное свидетельство в пользу их верований. Естественные подозрения мужа, сознававшего свое собственное целомудрие, были рассеяны уверением (полученным во сне), что беременность его супруги была делом Святого Духа, а так как историк не мог быть личным свидетелем этого семейного чуда, совершившегося на далеком от него расстоянии, то он, должно быть, внимал тому же голосу, который подсказал Исайс будущее зачатие девы. Сын девы, рожденный неисповедимым действием Святого Духа, был созданием беспримерным или не имевшим себе подобных и во всех своих душевных и телесных атрибутах был выше потомков Адама. С тех пор как иудеи[6] познакомились с греческой или халдейской философией[7], они стали верить в предсуществование, переселение и бессмертие душ, а в оправдание Провидения предполагали, что душу запирали в ее земной тюрьме для того, чтобы она очистилась от нравственной грязи, которой запятнала себя в своем прежнем положении[8]. Но степени и нравственной чистоты, и нравственной испорченности почти неизмеримы. Можно было основательно предполагать, что в сыне, рожденном от Марии и от Святого Духа[9], жила самая возвышенная и самая добродетельная человеческая душа, что его унижение было добровольное и что его миссия имела целью искупить не его собственные грехи, а грехи всего мира. По возвращении на свои родные небеса он был награжден за свое повиновение тем вечным царствием Мессии, которое неясно предвещали пророки в материальном виде мира, завоевания и земного владычества. Всемогущество Божие могло расширить человеческие способности Христа до такого размера, который соответствовал бы небесному сану. На языке древних титул Бога не был исключительным достоянием верховного Отца, и несравненный исполнитель Его воли, Его единородный Сын, мог без самонадеянности требовать от подвластного ему мира религиозного, хотя и второстепенного, поклонения.

II. Семена веры, медленно всходившие на каменистой и неблагодарной почве Иудеи, были перенесены в полной зрелости в более благоприятный климат языческих стран, а жившие в Риме или в Азии чужеземцы, никогда не видевшие

человеческого образа Христа, были охотнее расположены признавать его божественность. Политеисты и философы, греки и варвары привыкли к мысли о длинной преемственности, о бесконечном ряде ангелов, демонов, божеств, эонов, эманаций, исходивших от престола света. И не могло казаться ни странным, ни неправдоподобным, что первый из этих эонов, *Логос*, или Слово Божие, имевший одинаковую сущность с Отцом, сошел на землю для того, чтобы избавить человеческий род от пороков и заблуждений и руководить им как в этой жизни, так и на пути к бессмертию. Но первобытные восточные церкви были заражены господствовавшим в ту пору учением о вечности и о врожденной испорченности материи. Многие из обращенных в христианство язычников отказывались верить, что небесный дух, составлявший нераздельную часть первоначальной сущности, лично соединился с массой нечистой и осквернённой плоти и в своей заботливости о божественности Христа благочестиво отвергали его человечность. В то время как его кровь еще дымилась на Голгофе[10], многочисленная и ученая азиатская школа *докетов* придумала *фантастическую* систему, которую впоследствии распространяли маркиониты, манихеи и гностики различных наименований[11]. Они отрицали истину и подлинность евангелий в том, что касается зачатия Марии, рождения Христа и тридцатилетней жизни, предшествовавшей исполнению его миссии. Они утверждали, что он впервые появился на берегах Иордана в полной возмужалости, но что это была лишь форма без материи,— человеческая фигура, созданная рукой Всемогущего для того, чтобы подражать людским способностям и делам и постоянно вводить в заблуждение чувственные органы друзей и врагов. Членораздельные звуки голоса звучали в ушах его учеников, но внешность, которая отпечатывалась на их зрительных нервах, не допускала более надежного удостоверения путем осязания, и они наслаждались духовным, а не телесным присутствием Сына Божия. Иудеи бесплодно изливали свою ярость на бесчувственный призрак, и мистические сцены страданий и смерти Христа, его воскресения и вознесения были исполнены на иерусалимском театре для блага человечества. Если докетам доказывали, что такая идеальная пантомима и такое непрерывное притворство были недостойны Бога истины, они ссылались на то, что очень многие из их православных собратьев

считали дозволительным обман с благочестивой целью. По системе гностиков, Иегова Израилев, создавший этот низший мир, был дух мятежный или, по меньшей мере, невежественный. Сын Божий низошел на землю для того, чтобы уничтожить его храмы и его законы, и для достижения этой благотворной цели искусно перенес на самого себя ожидание и предсказание мирского Мессии.

Один из самых лукавых последователей манихейского учения настоятельно указывал на то, как опасно и неприлично предполагать, что Бог христиан принял вид человеческого зародыша и по прошествии девяти месяцев вышел из женского чрева. Благочестивый ужас его противников побудил их отвергнуть все плотские условия зачатия и разрешения от бремени и утверждать, что божественность проникла в чрево Марии, как луч солнца проникает сквозь шлифованное стекло, и что девственность Марии оставалась ненарушимой даже в ту минуту, когда она сделалась матерью Христа. Но опрометчивость этих уступок вызвала более умеренные мнения тех докетов, которые стали утверждать, что Христос не был призраком, а носил бесчувственную и нетленную телесную оболочку. Согласно с самой православной системой, он действительно приобрел такую оболочку со времени своего воскресения, и он всегда должен бы был ее иметь для того, чтобы быть способным проникать без сопротивления или без повреждений сквозь встречавшиеся на пути плотные тела. Будучи лишена самых существенных своих свойств, эта оболочка могла быть также лишена плотских атрибутов и немощей. И зародыш, который мог развиться из невидимой сущности до полной зрелости, и ребенок, который мог достигнуть физических размеров зрелого возраста, не получая никакого питания из обычных источников, могли продолжать свое существование, не пополняя ежедневной траты сил ежедневным потреблением питательных веществ. Иисус мог участвовать в трапезе своих учеников, не чувствуя ни жажды, ни голода, а его девственная чистота никогда не была запятнана невольными влечениями к чувственной похоти. Возникал вопрос, каким способом и из каких материалов было первоначально создано так странно организованное тело, и нашу более здравую теологию приводит в содрогание ответ, который давали не одни только гностики,— что и форма и содержание проистекали из божественной сущности.

Идея о чистом и абсолютном духе представляет усовершенствование, до которого дошла новейшая философия; бестелесная сущность, которую древние приписывали человеческой душе, небесным существам и даже самому божеству, не исключает понятия об обширном пространстве, и их воображение было удовлетворено утонченными свойствами воздуха, огня и эфира, несравненно более совершенными, чем грубый материальный мир. Если мы определяем место, занимаемое божеством, мы должны описать и наружность божества. Наш опыт, а может быть, и наше тщеславие представляют нам могущество разума и добродетели в человеческой форме. Последователи учения о человеческом виде божества, которых было так много между египетскими монахами и африканскими католиками, могли ссылаться на положительное удостоверение Священного Писания, что человек был сотворен по образу своего Создателя[12]. Один из святых, живших в Нитрийской пустыне, почтенный Серапион, со слезами отказался от дорогого его сердцу предрассудка и плакал, как ребенок, переходя в такую веру, которая отнимала у него его Бога и оставляла его душу без всякого видимого предмета веры или поклонения[13].

III. Таковы были неустановившиеся верования докетов. Более удовлетворительная, хотя и более сложная, гипотеза была придумана азиатом Керинфом[14], осмелившимся противоречить последнему из апостолов. Живя на границе между миром иудейским и миром языческим, он попытался примирить гностиков с евионитами тем, что признал в одном и том же Мессии сверхъестественное соединение человека с Богом, и это мистическое учение было усвоено с разными причудливыми усовершенствованиями еретиками египетской школы Карпократом, Василидом и Валентином[15]. В их глазах Иисус Назаретский был простой смертный и законный сын Иосифа и Марии; но он был лучший и мудрейший из всех людей и был избран достойным орудием для водворения на земле поклонения истинному и верховному Божеству. В то время как он крестился в Иордане, первый из эонов, сын самого Бога, *Христос*, низошел на Иисуса в форме голубя для того, чтобы жить в его душе и руководить его действиями в течение всего времени, назначенного для исполнения его миссии. Когда Мессия был предан в руки иудеев, Христос — существо бессмертное и чуждое всяких страданий,— покинул свою

земную обитель в pleroma, или в мире духов, и оставил Иисуса в одиночестве страдать, скорбить и умирать. Но в высшей степени сомнительно, было ли справедливо и великодушно такое удаление, а участь невинного мученика, который сначала получал от своего божественного сообщника поощрение, а потом был покинут им, способна возбудить в мирянине сострадание и негодование. Вызванный этими предположениями ропот старались различными способами заглушить те сектанты, которые усвоили и видоизменили двойственную систему Керинфа. Они говорили, что когда Иисус был пригвожден к кресту, он оказался одаренным сверхъестественной душевной и телесной апатией, благодаря которой не чувствовал кажущихся страданий. Также утверждали, что за эти мимолетные, хотя и действительные, мучения он будет с избытком вознагражден тысячелетним земным владычеством, предназначенным для Мессии в его Новоиерусалимском царстве. Наконец, намекали на то, что если он действительно страдал, то заслуживал страданий, что человеческая натура никогда не бывает безусловно совершенна и что мучительная смерть на кресте могла считаться искуплением за легкие прегрешения Иосифова сына прежде его таинственного соединения с Сыном Божьим[16].

VI. Всякий, кто придерживался привлекательного и возвышенного учения, что душа бесплотна, должен вынести из своего собственного опыта убеждение, что соединение души с материей недоступно нашему пониманию. Нельзя сказать, чтобы такое соединение было несовместимо с гораздо более высокой или даже с самой высокой степенью умственного развития, а воплощение самого совершенного из сотворенных духов, эона или архангела, не заключает себе никакой резкой несообразности или нелепости. В эпоху религиозной свободы, закончившуюся Никейским собором, каждый составлял себе понятие о свойствах Христа сообразно с неясными указаниями или Священного Писания, или рассудка, или традиции. Но когда его абсолютная и настоящая божественность утвердилась на развалинах арианства, оказалось, что верования католиков держатся на краю пропасти, с которого не было возможности отступить, на котором было опасно стоять и с которого было нетрудно упасть, а различные неудобства их символа веры еще увеличивались от возвышенного характера их теологии. Они не решались установить, что

сам Бог — второе лицо равной и единосущной Троицы — явился во плоти[17]; что существо, наполняющее собой всю вселенную, было заключено в чреве Марии; что его вечное существование было отмечено днями, месяцами и годами его земного существования; что Всемогущий был подвергнут бичеванию и распятию на кресте; что его бесстрастная натура испытала физические страдания и душевную скорбь; что при своем всеведении он мог чего-либо не знать и что источник жизни и бессмертия испустил дух на Голгофе. Епископ Лаодикейский Аполлинарий[18], который был одним из светил церкви, отстаивал эти тревожные выводы с непоколебимой наивностью. Он был сын ученого-грамматика и был очень сведущ в науках, которые преподавались в Греции, а в своих сочинениях посвящал на служение религии и свое красноречие, и свою философию. Будучи достойным другом Афанасия и достойным противником Юлиана, он храбро спорил с арианами и с политеистами, и хотя он заявлял притязание на геометрическую точность своих доводов, он в своих комментариях принимал Священное Писание то в буквальном смысле, то в аллегорическом. Его сбившееся с настоящего пути усердие облекло в техническую форму ту мистерию, которая долго плавала в тумане народных верований, и он впервые произнес достопамятные слова: *Одно естество, воплотившееся во Христе*, которые до сих пор раздаются как боевой клич в церквях азиатских, египетских и эфиопских. Он утверждал, что Божество соединилось или смешалось с телом мужчины и что *Логос*, или вечная Премудрость, занимал в плотской оболочке место человеческой души и исполнял ее функции. Однако так как сам глубокомысленный наставник пришел в ужас от своей собственной неосмотрительности, то он пробормотал несколько слабых извинений и объяснений. Он допустил установленное греческими философами старинное различие между разумной душой человека и его чувственной душой, для того чтобы предоставить *Логосу* умственные функции, а второстепенный человеческий элемент употреблять на низшие отправления животной жизни. Вместе с самыми умеренными из докетов он чтил в Марии скорей духовную, чем плотскую матерь Христа, тело которого или снизошло с небес бесстрастным и чистым, или же было поглощено божественной сущностью так, что преобразовалось в нее. Против системы Аполлинария горячо восста-

вали арианские и сирийские богословы, чьи школы были прославлены именами Василия, Григория и Златоуста и запятнаны именами Диодора, Феодора и Нестория. Но никто не посягал на личность, репутацию и достоинство престарелого епископа Лаодикеи, а его противники, которых, конечно, нельзя заподозрить в малодушной наклонности к веротерпимости, быть может, были поражены новизной его аргументов и не знали, каково будет окончательное решение католической церкви. Ее приговор в конце концов склонился в их пользу; ересь Аполлинария была осуждена, и его последователям было запрещено императорскими законами устраивать отдельные конгрегации. Но его принципов не переставали втайне придерживаться египетские монастыри, а его враги испытали на себе ненависть Феофила и Кирилла, которые были один вслед за другим александрийскими патриархами.

V. И низкие понятия евионитов, и фантастические теории докетов были отвергнуты и преданы забвению, а усердие, выказанное католиками в борьбе с заблуждениями Аполлинария, побудило их с виду одобрить учение Керинфа о двойственном естестве. Но вместо временного соединения они установили, а мы до сих пор принимаем действительное, неразрывное и вечное соединение совершенного Бога с совершенным человеком — второго лица Троицы с разумной душой и человеческой плотью. В начале пятого столетия *единство двух естеств* было господствующим учением церкви. Со всех сторон высказывалось признание, что способ их существования недоступен для нашего понимания и не может быть выражен на нашем языке. Однако тайное и непримиримое разномыслие существовало между теми, кто всего более опасался смешать божественное естество Христа с человеческим, и теми, кто всего более опасался отделить эти естества одно от другого. Религиозное исступление заставляло и тех, и других с отвращением отвергать заблуждение противников, которое обоюдно считалось пагубным и для истины, и для спасения души. Обе стороны заботливо охраняли и защищали и соединение, и различие двух естеств и старались придумать такие формы выражения, такие догматы, которые были бы всего менее доступны для сомнения или двусмысленного истолкования. Бедность идей и языка заставляла их отыскивать в искусстве и в природе все, что могло бы доста-

вить повод для уподобления, а всякое уподобление, направленное к разъяснению такой мистерии, которая не имеет ничего себе подобного, вовлекало их фантазию в новые заблуждения. В микроскопе полемизаторов атом принимает размеры чудовища, и каждая из двух партий искусно преувеличивала нелепые или нечестивые выводы, к которым могли привести принципы ее противников. В старании увернуться одна от другой они блуждали по разным темным и извилистым тропам, пока не были поражены ужасом при виде призраков Керинфа и Аполлинария, охранявших противоположные выходы из богословского лабиринта. Лишь только они усматривали в требованиях здравого смысла мерцание ереси, они вздрагивали, отступали мерными шагами назад и снова погружались в мрак непроницаемой ортодоксии. Чтобы устранить от себя вину или упрек в пагубном заблуждении, они отрекались от своих выводов, объясняли свои принципы, извинялись в своих неосторожных выходках и единогласно заявляли о единодушии и взаимном доверии. Однако под пеплом полемики еще таилась едва заметная для глаз искра; дуновение предрассудков и страстей быстро раздуло ее в громадное пламя, и словопрения[19] восточных школ потрясли основы и церкви, и государства.

Имя Кирилла Александрийского занимает видное место в истории религиозных распрей, а данный ему титул святого служит доказательством того, что в конце концов его мнения и его партия одержали верх. В доме своего дяди архиепископа Феофила он впитал в себя принципы православия, внушавшие религиозное рвение и стремление к господству, и с пользой провел пять лет своей молодости в соседних монастырях Нитрийской пустыни. Под руководством игумена Серапиона он занялся изучением богословия с таким неутомимым рвением, что в течение одной бессонной ночи прочел все четыре евангелия, католические Послания и Послание к римлянам. К Оригену он чувствовал отвращение; но сочинения Климента и Дионисия, Афанасия и Василия беспрестанно были у него в руках; изучая спорные вопросы и в теории, и на практике, он укрепил свою веру и изощрил свой ум; он окружил свою келью паутиной схоластического богословия и задумал план тех наполненных аллегориями и метафизикой сочинений, остатки которых, собранные в семи многоречивых фолиантах, теперь спокойно дремлют рядом со своими

противниками[20]. Кирилл молился и постился в пустыне; но его помыслы (этот упрек сделан одним из его друзей[21]) все еще были обращены на здешний мир, и честолюбивый отшельник охотно исполнил желание Феофила, который приглашал его променять его уединение на суматоху городской жизни и соборов. С одобрения своего дяди он принял на себя обязанности проповедника и скоро приобрел популярность. Его привлекательная наружность была украшением церковной кафедры; его гармоничный голос звенел внутри собора; его друзья занимали такие места, откуда можно было всего удобнее вызывать или поддерживать рукоплескания конгрегации[22], а писцы торопливо записывали его проповеди, которые могли равняться с речами афинских ораторов если не по своей композиции, то по впечатлению, которое они производили. Смерть Феофила открыла более широкое поле для честолюбивых ожиданий его племянника и способствовала их осуществлению. Александрийское духовенство разделилось на партии; солдаты вместе со своим военачальником поддерживали архидиакона; но неодолимая народная толпа отстояла с помощью криков и насилий интересы своего любимца, и Кирилл вступил на архиепископский престол, который был занят за тридцать девять лет перед тем Афанасием[23].

Такая награда не была недостойна его честолюбия. Пользуясь тем, что императорский двор был далеко и что ему была подчинена громадная столица, александрийский патриарх (таков был принятый им титул) мало-помалу присвоил себе и официальное положение, и власть светского сановника. И общественная, и частная благотворительность подчинялась его произволу; его голос или воспламенял, или укрощал страсти народной толпы; его приказания слепо исполнялись многочисленными фанатиками (parabolani)[24], освоившимися при ежедневном исполнении своих обязанностей со сценами убийства, и светское могущество таких христианских первосвященников стало пугать и раздражать египетских префектов. Из желания скорей искоренить ересь, Кирилл начал свое царствование тем, что стал притеснять самых невинных и самых безвредных сектантов — новациан. Запрещение совершать их религиозные обряды казалось ему делом справедливым и похвальным, и он конфисковал их священные сосуды, не опасаясь навлечь на себя обвинение в святотатстве. Размножившиеся до сорока тысяч евреи пользова-

лись веротерпимостью и даже некоторыми привилегиями, которые были обеспечены законами Цезарей и Птолемеев и продолжительной давностью семисот лет, протекших со времени основания Александрии. Без всякого легального приговора, без всякого императорского повеления патриарх повел на рассвете мятежную толпу в атаку против синагог. Безоружные и захваченные врасплох евреи не могли оказать никакого сопротивления; их молитвенные дома были срыты до основания и после того, как воинственный епископ наградил свои войска ограблением еврейских богов, он выгнал из города уцелевшие остатки неверующего народа. Он, вероятно, мог бы ссылаться в свое оправдание на наглость, с которой евреи пользовались своими богатствами, и на их непримиримую ненависть к христианам, кровь которых они незадолго перед тем проливали среди уличных беспорядков, или возбужденных с коварным умыслом, или случайно возникших. Светская власть не должна была оставлять такие преступления безнаказанными, а при этом беспорядочном нападении невинных не отличали от виновных, и Александрия обеднела, лишившись богатой и трудолюбивой колонии. За свое усердие Кирилл должен бы был подвергнуться наказанию, установленному Юлиевым законом; но при слабом правительстве и в век суеверий он был уверен в безнаказанности и даже ожидал одобрения. Египетский префект Орест подал жалобу; но его справедливые сетования были слишком скоро позабыты чиновниками Феодосия и слишком глубоко засели в памяти иерея, который притворно примирился с префектом, но в душе не переставал ненавидеть его. В то время как Орест проезжал по городским улицам, на его колесницу напал отряд из пятисот нитрийских монахов; его стража спаслась от этих диких степных зверей бегством; на его протесты, что он христианин и католик, нападающие отвечали градом камней, и по его лицу потекла кровь. Честные александрийские граждане поспешили к нему на помощь; он немедленно удовлетворил и требования справедливости, и свою жажду мщения на том монахе, который нанес ему рану, и Аммоний испустил дух под рукой ликтора. По приказанию Кирилла тело казненного было поднято с земли и перенесено с торжественной процессией в собор; Аммоний был переименован в Фавмазия, *чудесного*; его гробница была украшена трофеями мученичества, и патриарх с церковной ка-

федры восхвалял душевное величие убийцы и мятежника. Такие почести могли внушить верующим желание сражаться и умереть под знаменем святого, а Кирилл, вскоре вслед за тем, вызвал или одобрил гибель девственницы, исповедовавшей религию греков и находившейся в дружеских сношениях с Орестом. Дочь математика Теона[25] Ипатия принимала участие в ученых занятиях своего отца; ее ученые комментарии уяснили геометрию Аполлония и Диофанта, и она публично преподавала и в Афинах, и в Александрии философию Платона и Аристотеля. Скромная девушка, соединявшая с полным расцветом красоты умственную зрелость, отвергала все любовные ухаживания и заботилась только о пользе учащихся; самые знатные и самые достойные люди посещали женщину-философа, и Кирилл с завистью смотрел на богатые экипажи и кучи рабов, стоявшие у входа в ее академию. Между христианами распространился слух, что дочь Теона была единственным препятствием для примирения префекта с архиепископом, и это препятствие было торопливо устранено. Во время Великого Поста Ипатию стащили с ее колесницы, раздели догола и потащили к церкви; чтец Петр вместе с кучкой диких и бесчеловечных фанатиков безжалостно били ее, сдирали с ее костей мясо устричными раковинами[26] и бросили ее трепещущее тело в огонь. Благовременная раздача денежных подарков приостановила производство следствия и избавила виновных от заслуженного наказания; но умерщвление Ипатии запятнало неизгладимым позором и личность, и религию Кирилла Александрийского[27].

Суеверие, быть может, охотнее извинило бы умерщвление молодой девушки, чем изгнание святого, и Кирилл отправился вместе со своим дядей на неправедный Дубский собор. Когда имя Златоуста было очищено от нареканий и освящено церковью, племянник Феофила, стоявший во главе умирающей церковной партии, все еще отстаивал справедливость произнесенного над Златоустом приговора и подчинился решению всего католического мира лишь после продолжительных отсрочек и после упорного сопротивления[28]. Его вражда к византийским первосвященникам[29] была результатом сознания его личных интересов, а не гневной вспышки: он завидовал их блестящему положению при императорском дворе и опасался их честолюбия, которое налегало тяжелым гнетом

на европейских и азиатских митрополитов, вторгалось в церковное управление Антиохии и Александрии и старалось придать их епархии размеры империи. Продолжительное управление Аттика, умеренно пользовавшегося званием, отнятым у Златоуста, прекратило вражду между восточными патриархами; но Кирилла наконец вывело из терпения возвышение соперника, более достойного и его уважения, и его ненависти. После непродолжительного и беспокойного управления константинопольского епископа Зизинния император прекратил распри духовенства и народа тем, что сам назначил ему преемника, приняв в этом случае в соображение голос общественного мнения и не стеснившись тем, что высшие достоинства были на стороне чужеземца. Уроженец Германикеи, антиохийский монах Несторий[30] обратил на себя внимание своим суровым образом жизни и красноречием своих проповедей; но в первом христианском поучении, произнесенном в присутствии благочестивого Феодосия, он обнаружил всю язвительность и несдержанность своего религиозного рвения. "Дай мне, о Цезарь!— воскликнул он,— дай мне землю, очищенную от еретиков, и я дам тебе в замен царство небесное. Истреби вместе со мною еретиков, и я истреблю вместе с тобою персов". Считая такое соглашение окончательно вступившим в силу, константинопольский патриарх — на пятый день после того — открыл тайное сборище ариан и напал на них врасплох; они предпочли покорности смерть; пламя, которое было зажжено их отчаянием, быстро перешло на соседние дома, и торжество Нестория было омрачено данным ему прозвищем *зажигателя*. Его епископское усердие ввело по обеим сторонам Геллеспонта суровые формулы верований и благочиния, а за хронологическую ошибку касательно празднования Пасхи он наказал как за преступление против церкви и государства. Он омыл кровью упорных квартодециманов Лидию и Карию, Сарды и Милет, а Эдикт императора или, верней, Эдикт патриарха перечислил двадцать три степени или названия подлежащих наказанию еретических заблуждений[31]. Но меч гонения, которым Несторий поражал с такой яростью, скоро был направлен в его собственную грудь. Религия была предлогом епископской борьбы, но, по мнению одного святого современника, честолюбие было настоящим ее мотивом[32].

В сирийской школе Несторий получил отвращение к сме-

шению двух естеств и научился точно различать человечность своего *наставника* Христа от божественности *Господа* Иисуса[33]. Благословенную Деву он чтил как матерь Христа, но его слух оскорбляло неосмотрительное и недавнее название матери Божией[34], которое мало-помалу вошло в обыкновение со времени возникновения арианского учения. Один из друзей патриарха, а впоследствии и сам патриарх неоднократно восставали с константинопольской церковной кафедры против употребления или неправильного применения такого слова[35], которое не было знакомо апостолам, не было одобрено церковью и могло лишь тревожить людей боязливых, вводить в заблуждение людей простодушных, забавлять мирян и путем кажущегося сходства оправдывать старинную генеалогию олимпийских богов[36]. В минуты более спокойного размышления Несторий признавался, что это название можно допускать или извинять вследствие соединения двух естеств и обоюдного сообщения их свойств[37]; но раздражившись от вызванных им возражений, он стал отвергать поклонение новорожденному и малолетнему Богу, стал основывать свои неудовлетворительные уподобления на сравнениях с супружеским сожитием или с гражданским сотовариществом и стал считать человечность Христа за оболочку, орудие и обитель его божественности. От такого богохульства затрясся фундамент святилища. Потерпевшие неудачу соперники Нестория дали волю своей ненависти, которая была внушена благочестием или завистью; византийское духовенство было втайне недовольно тем, что в его среду проник чужеземец; все, что носит на себе печать суеверия и безрассудства, имеет право на покровительство монахов, а народ был заинтересован величием своей девственной заступницы[38].

Мятежные крики стали прерывать проповеди архиепископа и служение перед алтарем; некоторые конгрегации стали отвергать его авторитет и его учение; дух партий стал разносить по всей империи семена религиозной распри, и голоса бойцов стали долетать с этого звучного театра до палестинских и египетских монашеских келий. На Кирилле лежала обязанность просветить усердие и невежество подчиненных ему бесчисленных монахов; в александрийской школе он познакомился с учением о воплощении одного естества и усвоил это учение, и преемник Афанасия только из высокомерия и из честолюбия восстал против нового Ария, который

был еще более грозен и более преступен, так как занимал второй пост в церковной иерархии. После непродолжительной переписки, в которой два соперника прикрывали свою взаимную ненависть притворными выражениями уважения и смирения, александрийский патриарх заявил государю и народу, Востоку и Западу о пагубных заблуждениях византийского первосвященника. С Востока, и в особенности из Антиохии, он получил в ответ двусмысленные советы держаться веротерпимости и молчать — советы, которые были обращены к обеим сторонам и были благоприятны для Нестория. Но Ватикан принял египетских посланцев с распростертыми объятиями. Тщеславие Целестина было польщено тем, что его призывали в судьи, и сделанное монахом пристрастное истолкование текста установило религиозные верования папы, который вместе со своим латинским духовенством не имел никакого понятия ни о греческом языке, ни о греческих искусствах, ни о греческой теологии. В качестве председателя собора, составленного из итальянских епископов, Целестин взвесил доводы обеих сторон, одобрил верования Кирилла, осудил мнения и действия Нестория, лишил еретика епископского сана, назначил ему десятидневный срок для отречения от его мнений и для раскаяния и возложил на его противника исполнение этого неосмотрительного и противозаконного приговора. Но в то время как александрийский патриарх метал небесные громы, он обнаружил заблуждения и страсти простого смертного, и его двенадцать[39] анафем до сих пор приводят в отчаяние тех рабских приверженцев православия, которые хотели бы сохранить уважение к памяти святого, не нарушая своей преданности постановлениям Халкидонского собора. Эти смелые положения носят на себе неизгладимую окраску еретических мнений Аполлинария, а серьезные и, быть может, искренние мнения Нестория удовлетворяют самых благоразумных и самых беспристрастных богословов нашего времени[40].

Однако ни император, ни восточный первосвятитель не были расположены подчиняться повелениям итальянского иерея, и со всех сторон было заявлено требование созвать собор из представителей католического или, верней, греческого духовенства как единственное средство прекратить или разрешить церковную распрю[41]. Эфес, доступный со всех сторон и с моря, и с суши, был избран местом собрания, а

время открытия собора было назначено на Троицын день; всем митрополитам были разосланы приглашения, и была поставлена стража для того, чтобы охранять и держать взаперти отцов церкви, пока они не разрешат небесных тайн и не установят земных верований. Несторий появился не как преступник, а как судья; он рассчитывал не столько на многочисленность преданных ему прелатов, сколько на их влияние, а его сильные рабы из Зевксинских бань были вооружены на всякий случай и для нападения, и для обороны. Но его соперник Кирилл умел лучше его владеть и светским, и духовным оружием. В нарушение если не буквы, то по меньшей мере смысла императорского приглашения он взял с собой пятьдесят египетских епископов, которые ждали, чтобы их патриарх объяснил им легким наклонением головы, в чем заключается воля Святого Духа. Он вступил в тесный союз с Эфесским епископом Мемноном. Этот деспотический азиатский примас мог располагать горячей поддержкой тридцати или сорока епископских голосов; в город была приведена толпа находившихся в рабской зависимости от церкви крестьян для того, чтобы они поддержали метафизические аргументы насилиями и криками, а народ горячо вступился за честь Девы, тело которой покоилось внутри Эфесских стен[42]. Флот, который перевез Кирилла из Александрии, был нагружен египетскими богатствами; он высадил на сушу многочисленный отряд матросов, рабов и фанатиков, ставших под знамя св. Марка и Матери Божией с готовностью на слепое повиновение. Эти воинственные приготовления наводили страх не только на отцов церкви, но даже на соборную стражу; противники Кирилла и Марии подвергались оскорблениям на улицах и угрозам внутри своих жилищ; красноречие и щедрость Кирилла ежедневно увеличивали число его приверженцев, и этот египтянин скоро довел дело до того, что мог рассчитывать на преданность и на голоса двухсот епископов[43]. Но автор двенадцати анафем ожидал и боялся сопротивления Иоанна Антиохийского, который медленно приближался из отдаленной столицы Востока в сопровождении немногочисленной, но внушавшей уважение свиты из митрополитов и богословов. Раздраженный отсрочками, которые он клеймил названиями самовольных и преступных[44], Кирилл объявил, что собор откроется через шестнадцать дней после празднования Троицына дня. Рассчитывавший на ско-

рое прибытие своих восточных друзей, Несторий решительно отвергал — подобно своему предшественнику Златоусту — юрисдикцию своих врагов и не являлся на их приглашения; они поторопились разбирательством дела, а его обвинитель председательствовал на суде. Шестьдесят восемь епископов, и в том числе двадцать два митрополита, предъявляли в его защиту скромные и сдержанные протесты; они были устранены от совещаний. Кандидиан потребовал от имени императора четырехдневной отсрочки; этот светский сановник подвергся оскорблениям и был выгнан из собрания святых. Все эти важные события совершились в течение одного летнего дня; каждый из епископов отдельно изложил свое мнение, но однообразие слога обнаруживает влияние или руку повелителя, которого обвиняли в фальсификации их актов и подписей[45]. Ни один голос не протестовал против их решения, что послания Кирилла согласны с Никейским символом и с учением отцов церкви; но чтение неверных извлечений из писем и проповедей Нестория было прервано бранью и проклятиями, и еретик был лишен епископского сана и духовного звания. Приговор, в котором его называли новым Иудой, был публично объявлен в Эфесе и выставлен на перекрестках; в то время, как измученные прелаты выходили из церкви Матери Божией, их приветствовали как ее защитников, и ее победа была отпразднована среди ночной суматохи иллюминацией и пением.

Состоявшееся на пятый день после того прибытие восточных епископов и их негодование омрачили это торжество. Иоанн Антиохийский остановился в гостинице в одной комнате и, прежде чем успел стряхнуть пыль со своих ног, принял в аудиенции императорского министра Кандидиана, который рассказал ему о своих тщетных усилиях предотвратить совершенное египтянином опрометчивое насилие или уничтожить его последствия. С такой же опрометчивостью и с таким же насилием собор из пятидесяти восточных епископов лишил Кирилла и Мемнона их епископских должностей, осудил в двенадцати анафемах самый чистый яд Аполлинариевой ереси и изобразил Александрийского первосвятителя чудовищем, родившимся и воспитывавшимся на пагубу церкви[46]. До его трона было далеко, и потому он был недосягаем; но было решено, по крайней мере немедленно облагодетельствовать эфесскую паству дарованием ей надежного пас-

тыря. Предусмотрительный Мемнон приказал запереть церкви, а соборная церковь была занята сильным гарнизоном. Войска двинулись под предводительством Кандидиана на приступ; внешняя стража была частью обращена в бегство, частью перебита, но укрепленный вход в церковь оказался неприступным; осаждающие отступили; их с энергией преследовали осажденные; они лишились своих лошадей, и многие из их солдат были опасно ранены палицами и камнями. Город Святой Девы Эфес сделался сценой неистовости, мятежа и кровопролития; соперничавшие соборы метали из своих духовных военных машин анафемы и отлучения церкви, а правительство Феодосия, получая от приверженцев двух партий, сирийской и египетской, противоречивые донесения, не знало, кому верить. Чтобы прекратить эту церковную распрю, император употреблял в течение трех месяцев всевозможные средства, кроме самого действенного из всех — равнодушия и презрения. Он попытался удалить или застращать вожаков постановлением такого приговора, который оправдывал или осуждал их всех без различия партий; он дал своим представителям в Эфесе обширные полномочия и предоставил в их распоряжение значительные военные силы; он вызвал от каждой партии по восьми избранных депутатов для свободных и откровенных совещаний вблизи от столицы и вдалеке от заразного влияния народного исступления. Но восточные епископы отказались исполнить это требование, а рассчитывавшие на свою многочисленность и на своих латинских союзников католики отвергли все условия, на которых им предлагали соглашение или допущение веротерпимости. Терпение кроткого Феодосия истощилось, и он с гневом закрыл шумное собрание епископов, которое представляется нам теперь, по прошествии тринадцати столетий, в почтенном виде третьего вселенского собора[47]. "Бог тому свидетель,— сказал благочестивый император,— что не я был виновником этих смут. Провидение распознает виновных и накажет их. Возвращайтесь в ваши епархии и постарайтесь загладить вашими личными добродетелями то зло и тот скандал, которые вы учинили на вашем сборище". Они действительно разъехались по своим провинциям, но те же страсти, которые волновали Эфесский собор, разлились по всему Востоку. После трех упорных и нерешительных кампаний Иоанн Антиохийский и Кирилл Александрийский согласи-

лись объясниться и обняться; но их наружное примирение следует приписать скорей благоразумию, чем сознательному убеждению, скорей обоюдному утомлению, чем христианскому милосердию.

Своими нашептываниями византийский первосвященник внушил императору пагубное предубеждение против личности и поведения своего египетского соперника. Вместе с приказанием снова отправиться в Эфес Кирилл получил наполненное угрозами и бранью[48] письмо с обвинениями, что он пронырливый, наглый и завистливый епископ, вносящий путаницу в несложные религиозные верования, нарушающий спокойствие церкви и государства и своими коварными и тайными обращениями к супруге и к сестре Феодосия старающийся посеять и распространить в императорском семействе семена раздора. В исполнение непреклонной императорской воли Кирилл отправился в Эфес; местные власти, действовавшие в интересах Нестория и восточных епископов, вступили с ним в борьбу, стали осыпать его угрозами и наконец подвергли аресту, а для того, чтобы сдерживать фанатичную и своевольную свиту патриарха, собрали войска из Лидии и Ионии. Не дождавшись императорского ответа на свои жалобы, Кирилл вырвался из рук своих стражников, поспешно сел на корабль, покинув еще не закрывшийся собор, и удалился в свою епископскую крепость, где нашел безопасность и независимость. Его ловкие эмиссары, рассеявшись при дворе и по столице, успели заглушить недовольство императора и расположить его в пользу Кирилла. Слабый сын Аркадия подчинялся влиянию то своей жены и сестры, то дворцовых евнухов и женщин; господствующими страстями тех и других были суеверие и корыстолюбие, и вождь православных деятельно старался застращать первых и удовлетворить последних. Константинополь и его предместья были освящены учреждением многочисленных монастырей, а святые игумены Далмаций и Евтих[49] посвятили свое усердие и свою преданность интересам Кирилла, поклонению Марии и учению о единстве естества во Христе. С момента своего вступления в монастырь, они ни разу не мешались в мирские дела и ни разу не ставили ноги на мирскую почву столицы. Но в момент столь грозной опасности для церкви они отказались от данного обета для того, чтобы исполнить более высокий и более необходимый долг. Они выступили из своих мо-

настырей и направились ко дворцу во главе длинного ряда монахов и отшельников, которые несли в руках зажженные светильники и распевали молитвы к матери Божией. Это необычайное зрелище подействовало назидательным образом на народ и воспламенило его, а испуганный монарх внял мольбам и заклинаниям святых людей, решительно заявлявших, что тот, кто не вступится за личность и верования православного Афанасиева преемника, лишит себя всякой надежды на вечное блаженство. В то же самое время все подходы к императорскому престолу были взяты приступом с помощью золота. Под благовидными названиями *одобрений* и *благословений* царедворцы обоего пола получили взятки соразмерно с влиянием и жадностью каждого. Но для удовлетворения их беспрестанно возобновлявшихся денежных требований пришлось бы совершенно обобрать святилища константинопольские и александрийские, и авторитет патриарха не был в состоянии заглушить основательного ропота духовенства на то, что уже был сделан долг в 60 000 фунт. ст. для покрытия расходов этого позорного подкупа[50]. Пульхерия, избавившая своего брата от бремени управления, была самым твердым столпом православия, и так тесна была связь между громами собора и придворными интригами, что Кирилл мог рассчитывать на успех при том условии, чтобы ему удалось заменить одного из любимых евнухов Феодосия другим. Тем не менее египтянин не мог похвастаться блестящей или решительной победой. Император с непривычной твердостью держался данного им обещания охранять невинность восточных епископов, и прежде чем Кириллу удалось вполне удовлетворить свою ненависть к несчастному Несторию, он был вынужден смягчить свои анафемы и признать в двусмысленных выражениях двойственное естество Христа[51].

Прежде чем закрылся собор, опрометчивый и настойчивый Несторий изнемог в борьбе с Кириллом; при дворе он нашел измену, а его восточные друзья оказали ему слабую помощь. Из страха или из негодования он решился, пока еще не ушло время, присвоить себе честь добровольного отречения[52]; его желание, или по меньшей мере его просьбу, исполнили с готовностью; его с почестями отправили из Эфеса в его прежний антиохийский монастырь, и вскоре вслед за тем его преемники Максимиан и Прокл были назначены константинопольскими епископами. Но низложенный патриарх уже не

мог довольствоваться в своем келейном уединении блаженной беззаботностью простого монаха. Прошлое возбуждало в нем сожаление, настоящим он не был доволен, а будущее внушало ему основательные опасения: восточные епископы стали один вслед за другим отступаться от человека, не пользовавшегося популярностью, и с каждым днем стало уменьшаться число раскольников, считавших Нестория за поборника истинной веры. По прошествии четырех лет, проведенных им в Антиохии, Феодосий издал Эдикт[53], в котором ставил Нестория наряду с Симоном Волхвом, осуждал его учение и его последователей, приказывал предать его сочинения пламени, а его самого сослал сначала в Петру, что в Аравии, и наконец в Оазис — один из островов Ливийской степи[54]. В отдалении и от церкви, и от света, изгнанник все еще увлекался яростью ханжества и борьбы. Одно бродячее племя блеммиев и нубийцев вторглось в его уединенное жилище; во время своего отступления они отпустили на волю Нестория вместе с другими бесполезными пленниками; но лишь только Несторий достиг берегов Нила, он убедился, что рабская зависимость от дикарей менее тягостна, чем жизнь в римском и православном городе. За свое бегство он был наказан как за новое преступление: египетские власти, как светские, так и церковные, воодушевлялись усердием патриарха; и должностные лица, и солдаты, и монахи из благочестия терзали того, кто был врагом и Христа, и св.Кирилла; они то волочили еретика до самых пределов Эфиопии, то возвращали назад, пока его старческие силы не надломились от лишений, сопряженных с этими непрерывными переездами. Однако он все еще был самостоятелен и бодр душою; своими пастырскими посланиями он навел страх на презида Фиваиды; он пережил католического тирана Александрии и после того, как он провел в ссылке шестнадцать лет, Халкидонский собор был, по-видимому, расположен возвратить ему если не почетный духовный сан, то, по меньшей мере, право духовного общения с церковью. Смерть не позволила Несторию исполнить приятное для него требование явки, которое он получил от собора[55], а болезнь, от которой он умер, придала некоторое правдоподобие позорным слухам, будто орган его богохульства — язык был выеден червями. Он был погребен в верхнем Египте, в городе, известном под названиями Хеммиса, или Панополя, или Акмима[56]; но ненависть яковитов

была так непримирима, что в течение нескольких столетий они забрасывали камнями его могилу и распространяли нелепое предание, будто небесный дождь, безразлично падающий и на праведников, и на безбожников, никогда не омывал ее[57]. Человеколюбие, быть может, проронить слезу над участью, которая постигла Нестория; но справедливость не может не заметить, что он пострадал от гонения, после того как сам стал возбуждать гонения и своими поучениями, и своим примером[58].

Когда александрийский первосвятитель умер, после тридцати двухлетнего владычества, католики стали увлекаться своим религиозным рвением и злоупотреблять своей победой[59]. Учение монофизитов (о едином воплощенном естестве) преподавалось с большою строгостью в египетских церквах и в восточных монастырях; первоначальные верования Аполлинария охранялись святостью Кирилла, и имя его почтенного друга Евтихия было дано секте, которая относилась к сирийской ереси Нестория более враждебно, чем все другие. Евтихий был игумен или архимандрит и имел под своим начальством триста монахов; но мнения скромного и необразованного отшельника, вероятно, умерли бы в стенах кельи, в которой он продремал более семидесяти лет, если бы раздражительность или нескромность византийского первосвященника Флавиана не разоблачила этого скандала перед глазами всего христианского мира. Флавиан тотчас созвал местных епископов на собор, который запятнал свою деятельность ссорами и интригами и поймал престарелого еретика на неискреннем признании, что тело Христа образовалось не из естества Девы Марии. Евтих потребовал, чтобы их пристрастное решение было пересмотрено на вселенском соборе, и за него горячо вступились его крестник, властвовавший во дворце евнух Хрисафий и его сообщник Диоскор, унаследовавший от Феофилова племянника патриарший престол, верования, дарования и пороки. По разосланным от Феодосия приглашениям в состав второго Эфесского собора вошли по десяти митрополитов и по десяти епископов от каждой из шести восточных епархий; некоторые исключения в пользу фаворитов и в пользу лиц, отличавшихся особыми достоинствами, увеличили это число до ста тридцати пяти, а сириец Барсума был приглашен в качестве начальника и представителя монахов участвовать в заседаниях и подавать

голос вместе с преемниками апостолов. Но свобода прений была снова подавлена деспотизмом александрийского патриарха; из египетских арсеналов были добыты прежние духовные и светские орудия борьбы; состоявший из стрелков отряд азиатских ветеранов находился в распоряжении Диоскора, а вход в соборную церковь осаждали еще более грозные монахи, которые не были доступны ни для здравого смысла, ни для сострадания. И военачальник, и отцы церкви, по-видимому, подававшие свои голоса без всякого давления извне, приняли верования и даже анафемы Кирилла, и еретическое учение о двух естествах было формально осуждено в лице и в сочинениях самых ученых представителей восточного духовенства. "Да будут те, которые рассекают Христа, сами рассечены мечом, да будут они изрублены в куски, да будут они сожжены живьем!"— таковы были человеколюбивые желания христианского собора[60]. Невинность и святость Евтихия были признаны без колебаний; но прелаты, в особенности те, которые занимали церковные должности во Фракии и в Азии, не желали низлагать своего патриарха ни за то, что он пользовался своей законной юрисдикцией, ни даже за то, что он ею злоупотреблял. Они обнимали колена Диоскора, с грозным видом стоявшего у подножия своего трона, и умоляли его простить обиды, нанесенные его собратом, и не унижать его достоинства. "Уж не намереваетесь ли вы возбудить мятеж? — воскликнул безжалостный тиран. — Где стражники?" При этих словах свирепая толпа монахов и солдат ворвалась в церковь с палками, мечами и цепями; испуганные епископы укрылись за алтарем или под скамейками, а так как их не вдохновляла готовность к мученичеству, то они один вслед за другим подписали чистый лист бумаги, на котором было впоследствии вписано осуждение византийского первосвятителя. Флавиан был немедленно отдан на съедение диким зверям этого духовного амфитеатра; Барсума поощрял монахов голосом и примером мстить за оскорбления, нанесенные Христу; александрийский патриарх, как рассказывают, осыпал своего константинопольского собрата ругательствами, бил его по щекам, колотил и топтал ногами[61]; достоверно то, что его жертва, не успевши добраться до места своей ссылки, испустила на третий день дух от ран и побоев, полученных в Эфесе. Этот второй Эфесский собор основательно заклеймен названием шайки разбойников и убийц; впрочем

обвинители Диоскора, быть может, преувеличивали совершенные им насилия для того, чтобы оправдать низость и непоследовательность своего собственного поведения.

Египетские верования одержали верх; но за побежденную партию вступился тот самый папа, который не побоялся борьбы с такими свирепыми противниками, как Аттила и Гейзерих. Теология Льва, изложенная в его книге или послании о тайне воплощения, была оставлена Эфесским собором без внимания; и его собственный авторитет, и авторитет латинской церкви были оскорблены в лице его легатов, спасшихся от рабства и смерти для того, чтобы рассказать печальную историю тирании Диоскора и мученичества Флавиана. Созванный им провинциальный собор отменил неправильные постановления собора Эфесского; но так как этот образ действий также был неправилен, то он потребовал созвания вселенского собора в свободных и православных итальянских провинциях. С высоты своего независимого престола римский епископ говорил и действовал как глава христиан, не подвергая себя никакой опасности, а его постановления беспрекословно одобрялись Плацидией и ее сыном Валентинианом, который обратился к восточному монарху с приглашением восстановить спокойствие и единство церкви. Но призраком императорского величия на Востоке руководила с неменьшей ловкостью рука евнуха, и Феодосий без колебаний отвечал, что одолевшая своих врагов церковь уже наслаждается внутренним спокойствием и что недавно вспыхнувшее пламя уже потушено справедливым наказанием несториан. Быть может, греки были бы навсегда вовлечены в ересь монофизитов, если бы лошадь императора; к счастью, не споткнулась; Феодосий испустил дух; его православная сестра Пульхерия вступила на престол вместе со своим номинальным супругом; Хрисафий был сожжен, Диоскор впал в немилость, ссыльным позволили возвратиться, и под книгой Льва подписались восточные епископы. Но папа был раздражен неудачей своего любимого проекта созвать собор из латинских епископов; он не захотел председательствовать на соборе из греческих епископов, который был торопливо созван в Никее, в Вифинии; его легаты решительно потребовали присутствия самого императора, и скромные отцы церкви были перевезены в Халкидон для того, чтобы Маркиан и константинопольский Сенат могли иметь над ни-

ми непосредственный надзор. Церковь св.Евфемии была воздвигнута на расстоянии четверти мили от Фракийского Боспора, на высоком, но вместе с тем отлогом холме; ее трехэтажная постройка считалась за чудо искусства, а открывавшийся оттуда вид на неизмеримые пространства земель и морей мог возвышать душу сектанта до размышления о величии Творца вселенной. Шестьсот тридцать епископов разместились в середине церкви в надлежащем порядке; но восточные патриархи уступили право старшинства легатам, между которыми третий был простой священник, а почетные места были предоставлены двадцати мирянам консульского или Сенаторского ранга. В центре было разложено на самом видном месте евангелие; но правила веры были установлены папскими и императорскими уполномоченными, которые руководили тринадцатью заседаниями Халкидонского собора[62]. Их пристрастное вмешательство сдерживало гневные возгласы и проклятия, унижавшие епископское достоинство; но вследствие предъявленного легатами формального обвинения Диоскор был вынужден оставить свой трон в разряде преступников, заранее осужденных в мнении судей. Восточные епископы, питавшие к Несторию менее сильную вражду, нежели к Кириллу, смотрели на римлян как на своих освободителей; Фракия, Понт и Азия ненавидели убийцу Флавиана, а вновь назначенные патриархи Константинопольский и Антиохийский сохранили свои места тем, что принесли в жертву своего благодетеля. Епископы Палестины, Македонии и Греции были привязаны к верованиям Кирилла, но во время соборных заседаний в самом разгаре борьбы их вожаки перешли вместе со своими послушными приверженцами с правой стороны на левую и этим дезертирством решили исход борьбы. Из семнадцати викарных епископов, прибывших из Александрии, четверо вовлеклись в измену своему патриарху, а остальные тринадцать пали ниц перед членами собора, стали молить их, со вздохами и слезами, о пощаде и сделали трогательное заявление, что, если они согласятся на уступки, они будут умерщвлены по возвращении в Египет негодующим народом. Запоздалое раскаяние сообщников Диоскора было принято за искупление их вины или заблуждений, но все их прегрешения обрушились на голову его одного; он и не просил и не ожидал помилования, а умеренные требования тех, которые желали всеобщей амнистии,

были заглушены возгласами победителей, жаждавших мщения. Чтобы выгородить тех, кто лишь незадолго перед тем примкнул к его последователям, были искусно подысканы такие преступления, за которые ответственность должна была падать на него одного,— то, что он неосмотрительно и противозаконно отлучил от церкви папу, и то, что он упорно отказывался от явки на собор (в то время, как находился под арестом). Были приведены свидетели, рассказавшие различные подробности о его высокомерии, жадности и жестокосердии, и отцы церкви с отвращением узнали, что церковные подаяния щедро тратились на танцовщиц, что его дворец и даже его баня были открыты для александрийских проституток и что гнусная Пансофия, или Ирина, публично была наложницей патриарха[63].

За эти позорные преступления собор низложил Диоскора, а император приказал отправить его в ссылку; но чистота его верований была признана в присутствии отцов церкви и с их молчаливого одобрения. Они из предосторожности скорей предположили, чем решили, что Евтихий еретик, и никогда не призывали его к своему трибуналу; они сидели безмолвными и сконфуженными, когда один смелый монофизит, бросив к их ногам одну из написанных Кириллом книг, обратился к ним с вызовом предать в его лице анафеме учение этого святого. Если мы внимательно прочтем акты Халкидонского собора в том виде, как они изложены православной партией[64], мы найдем, что значительное большинство епископов приняло учение о едином естестве Христа, а под двусмысленной уступкой, что он состоял или происходил из двух естеств, можно было подразумевать или их предварительное существование, или их последующее смешение, или какой-нибудь опасный промежуток времени между зачатием человека и тем моментом, когда этот человек усвоил свойства Божества. Более положительная и более точная римская теология усвоила самое оскорбительное для слуха египтян выражение, что Христос существовал в двух естествах, а эта многозначительная частица речи[65] (которую легче удержать в памяти, чем в уме), едва не возбудила раскола между католическими епископами. Они почтительно и, быть может, искренно признали учение, изложенное в книге Льва, но в двух следующих заседаниях заявили протест, что было бы и неудобно, и незаконно выходить из священных пределов, ко-

торые были установлены в Никее, Константинополе и Эфесе согласно со Священным Писанием и с традицией. Они наконец подчинились докучливым требованиям своих начальников; но после того как их непогрешимое решение было утверждено сознательной подачей голосов и шумными выражениями одобрения, оно было отменено в следующем заседании вследствие оппозиции легатов и их восточных друзей. Тщетно епископы повторяли хором: "Постановление отцов церкви православно и неизменно! Теперь ясно, кто на стороне еретиков! Анафема несторианам! Пусть они удалятся из собора! Пусть они отправляются в Рим!"[66]. Легаты прибегли к угрозам; император был непреклонен, и комитет из восемнадцати епископов приготовил новое постановление, которое было подписано собравшимися против воли. От имени четвертого вселенского собора всему христианскому миру было объявлено, что Христос единоличен, но в двух естествах; между ересью Аполлинария и учением св. Кирилла была проведена незаметная грань, и искусная рука богословского артиста перекинула через пропасть узкий, как острие бритвы, мостик, через который вела дорога в рай. В течение десяти столетий невежества и рабства Европа получала свои религиозные верования от ватиканского оракула, и то же самое учение, уже покрывшееся ржавчиной старины, было без возражений внесено в верования тех реформаторов, которые отказались признавать верховенство римского первосвященника. Халкидонский собор до сих пор владычествует над протестантскими церквами; но вызванное спорами брожение умов утихло, и самые благочестивые христиане нашего времени сами не знают или не стараются узнать, в чем заключаются их собственные верования касательно тайны воплощения.

Совершенно иначе были настроены греки и египтяне под православным управлением Льва и Маркиана. Эти благочестивые императоры охраняли символ своей веры оружием и Эдиктами[67], и пятьсот епископов объявили по совести и по чести, что для поддержания декретов Халкидонского собора дозволяется даже проливать кровь. Католики с удовольствием заметили, что этот собор был ненавистен и несторианам, и монофизитам[68]; но несториане были менее заносчивы или менее влиятельны, и Восток сделался сценой раздоров, возбужденных упорным и кровожадным фанатизмом монофи-

зитов. Толпа монахов овладела Иерусалимом; они стали грабить, жечь и убивать во имя одного воплощенного естества; Гроб Господень запятнался кровью, а городские ворота охраняла против императорских войск шумная толпа мятежников. После того как Диоскор впал в немилость и был сослан, египтяне все еще жалели о своем духовном пастыре и ненавидели узурпацию его преемника, назначенного членами Халкидонского собора. Трон Протерия охраняла стража из двух тысяч солдат; он в течение пяти лет вел борьбу с жителями Александрии и при первом известии о смерти Маркиана сделался жертвой их фанатизма. За три дня до праздника Пасхи патриарх был осажден в соборной церкви и умерщвлен в церковном приделе, где совершалось крещение. Его обезображенный труп был предан пламени, и его прах был рассеян по ветру; это преступление было совершено по внушению мнимого ангела — честолюбивого монаха, который под именем Тимофея Кошки[69] занял место Диоскора и усвоил его религиозные верования. Это пагубное суеверие перешло в ожесточение вследствие того, что обе стороны старались выместить одна на другой свои обиды; из-за метафизического спора несколько тысяч[70] людей были убиты, и христиане всех званий лишились как существенных наслаждений общественной жизни, так и невидимых даров крещения и св. Причастия. До нас дошла написанная в ту пору нелепая сказка, которая, быть может, была ничто иное, как аллегорическое изображение фанатиков, которые терзали и друг друга, и самих себя. "Во время консульства Венанция и Целера,— говорит один важный епископ,— жителями Александрии и Египта овладело странное и дьявольское бешенство: старые и малые, рабы и вольные люди, монахи и лица духовного звания — одним словом, все местные уроженцы, недовольные постановлениями Халкидонского собора, лишились языка и рассудка, лаяли, как собаки, и грызли собственными зубами свои руки"[71].

Продолжавшиеся тридцать лет раздоры наконец побудили императора Зинона издать знаменитый *Энотикон*[72], который в его царствование и в царствование Анастасия был подписан всеми восточными епископами, рисковавшими лишиться своего сына и быть отправленными в ссылку в случае, если бы они не приняли или нарушили этот благотворный и основной закон. Духовенство может находить смеш-

ной или достойной сожаления самонадеянность мирянина, который берется устанавливать религиозные догматы; однако, когда монарх нисходит до такой унизительной для него роли, его ум бывает менее заражен предрассудками и личными расчетами, а его авторитет может опираться лишь на одобрение народа. Зинон является всего менее достойным презрения в истории церкви, и я не усматриваю никаких манихеевских и евтиховских заблуждений в благородных словах Анастасия, что преследование поклонников Христа и римских граждан недостойно императора. Энотикон был всего более приятнее египтянам; однако самые недоверчивые и даже самые желчные из наших православных ученых не могли подметить в нем ни малейшего пятна, и он верно изображал католические верования о воплощении, и не усваивая, и не отвергая особых терминов и мнений враждовавших сект. В нем формально предавались анафеме учения Нестория, Евтихия и всех еретиков, которые разделяли или смешивали два естества Христа или же превращали его в призрак. Не пытаясь определить, должно ли слово *естество* употребляться в единственном или во множественном числе, он почтительно одобрял чистое учение св.Кирилла и догматы, установленные на соборах Никейском, Константинопольском и Эфесском; но вместо того, чтобы преклоняться перед декретами Четвертого вселенского собора, он уклонялся от этого предмета, высказывая порицание всех противоположных учений, если таковые проповедовались в Халкидоне или где-либо.

С этим двусмысленным выражением могли безмолвно согласиться и приверженцы, и недруги последнего собора. Самые здравомыслящие христиане одобряли этот способ введения веротерпимости; но их рассудок был слаб и легко поддавался посторонним влияниям, а их пылкие собратья относились с презрением к их покорности, называя ее трусостью и раболепием. Нелегко было держаться строгого нейтралитета по отношению к такому предмету, на котором сосредоточивались, и людские мысли и людские толки; книга, проповедь, молитва снова разжигали пламя полемики, а личная вражда между епископами то разрывала, то снова скрепляла узы, связывавшие верующих. Промежуток между Несторием и Евтихием был наполнен тысячью оттенков языка и мнений; одинаково мужественные, но неодинаково сильные еги-

петские акефалы[73], и римские первосвященники стояли на двух противоположных концах богословской лестницы. Акефалы, у которых не было ни царя, ни епископа, держались в течение трехсот с лишним лет в стороне от александрийских патриархов, которые приняли константинопольское вероисповедание, не требуя формального осуждения Халкидонского собора. Папы предали константинопольских патриархов анафеме за то, что они приняли александрийское вероисповедание, не выразив формального одобрения постановлениям того же собора. Их непреклонный деспотизм вовлек в эту духовную заразу самые православные из греческих церквей, стал отвергать или подвергать сомнению законность их таинств[74] и в течение тридцати пяти лет поддерживал раскол между Востоком и Западом, пока не подвергнул окончательному осуждению память четырех византийских первосвятителей, осмелившихся не признавать над собой верховной власти св. Петра[75]. До истечения этого периода времени непрочное перемирие между Константинополем и Египтом было нарушено усердием соперничавших прелатов. Македоний, которого подозревали в привязанности к Несториевой ереси, защищал постановления Халкидонского собора, находясь в опале и в изгнании, между тем как преемник Кирилла пытался купить осуждение этого собора взяткой в две тысячи фунтов золота.

При лихорадочном состоянии умов того времени смысл или, вернее, звук одного слова мог нарушить спокойствие империи. Трисагион[76] (трижды святой) "Свят, свят, свят Господь Бог бранных сил!" был, по мнению греков, тот самый гимн, который с начала веков пели ангелы и херувимы перед престолом Божьим и который был поведан константинопольской церкви путем откровения в половине пятого столетия. Жители Антиохии из благочестия прибавили к нему слова: "который был распят за нас"; это признательное обращение или к одному Христу, или ко всем лицам св. Троицы могло быть оправдано установленными богословием правилами, и оно было мало-помалу усвоено католиками, и восточными, и западными. Но оно было придумано одним монофизитским епископом[77]; этот подарок врага был сначала отвергнут как ужасное и опасное богохульство, а император Анастасий едва не поплатился за такое опрометчивое нововведение троном и жизнью[78]. Жители Константинополя не

имели понятия ни о каком разумном принципе политической свободы, но они считали за законный повод к восстанию изменение цвета ливреи на тех, кто участвовал в скачках, или изменение оттенков в таинственных учениях, которые преподавались в школах. Два соперничавших хора пели в соборной церкви Трисагион с вышеупомянутой предосудительной прибавкой и без нее, а когда у певчих истощались голосовые средства, они прибегали к более солидным аргументам — к палкам и к каменьям; император наказал зачинщиков, а патриарх защищал их, и судьба короны и митры была поставлена в зависимость от исхода этой важной борьбы. На улицах внезапно появились бесчисленные толпы мужчин, женщин и детей; легионы выстроившихся в боевом порядке монахов руководили этим сборищем, поощряли его своими возгласами и сами сражались во главе его: "Христиане! Настал день мученичества; будем защищать нашего духовного пастыря; анафема манихейскому тирану; он недостоин престола".

Таков был боевой клич католиков, и галеры Анастасия стояли перед дворцом готовыми к отплытию, пока патриарх не простил раскаявшегося императора и не успокоил взволнованную толпу. Торжество Македония было непродолжительно, так как он вскоре после того был отправлен в ссылку; но фанатизм его паствы снова разгорелся по поводу того же вопроса: "Было ли одно из лиц св. Троицы распято на кресте?". Ради столь важного дела партии синих и зеленых на время прекратили свои раздоры и своими совокупными усилиями парализовали деятельность властей гражданской и военной. Ключи от городских ворот и знамена городской стражи были сложены на форуме Константина, который был главным местом стоянки и лагерем верующих. День и ночь они были постоянно заняты или тем, что распевали гимны в честь своего Бога, или тем, что грабили и убивали служителей своего государя. Они носили на пике голову монаха, который был любимцем императора и которого они называли другом врага Святой Троицы, а от зажигательных снарядов, пущенных ими в еретические строения, неразборчивое пламя охватило самые православные здания. Статуи императора были разрушены, а он сам скрывался в одном из предместий до тех пор, пока не осмелился просить своих подданных о пощаде. Анастасий появился на поставленном в цирке тро-

нс без диадемы на голове и в позе просителя. Католики пропели в его присутствии свой настоящий Трисагион, с радостью приняли сделанное им через посредство глашатая предложение отречься от престола, выслушали кем-то сделанное им замечание, что так как все не могут царствовать, то необходим предварительный выбор нового монарха, и получили обещание казни двух непопулярных чиновников, которых император без колебаний отдал на съедение львам. Для таких неистовых, но скоротечных восстаний служил поощрением успех Виталиана, который с армией из гуннов и болгар, большей частью исповедовавших языческую религию, объявил себя поборником католической веры. Во время этого благочестивого восстания он опустошил Фракию, осадил Константинополь, истребил шестьдесят пять тысяч своих христианских единоверцев, пока наконец не добился возвращения изгнанных епископов, исполнения требований папы и утверждения постановлений Халкидонского собора; этот православный договор был против воли подписан умиравшим Анастасием и более точно исполнялся дядей Юстиниана. Таков был исход первой из тех религиозных войн, которые велись от имени Бога Мира его последователями[79].

Мы уже видели, каков был Юстиниан в качестве монарха, завоевателя и законодателя; нам остается оценить его как богослова[80]; но уже не в его пользу говорит тот факт, что его склонность к богословским занятиям составляет очень выдающуюся черту в его характере. Он разделял суеверное уважение своих подданных к живым и к умершим святым; в своем Кодексе, и в особенности в своих Новеллах, он подтвердил и расширил привилегии духовенства, а всякий раз, как возникали споры между монахами и мирянами, этот пристрастный судья склонялся к тому мнению, что истина, невинность и справедливость всегда находятся на стороне церкви. И перед публикой, и дома благочестие императора было ревностно и примерно; он молился, бдел и постился, как монах, на которого наложена строгая епитимия; его фантазия увлекалась надеждой или уверенностью, что он вдохновлен свыше; он обеспечил за собой покровительство Святой Девы и святого архангела Михаила, а свое исцеление от опасной болезни приписывал чудесной помощи святых мучеников Козьмы и Демьяна. Столица и восточные провинции были украшены памятниками его религии[81], и хотя самая

большая часть этих дорогих сооружений может быть приписана его личным вкусам или тщеславию, однако усердие царственного архитектора, вероятно, усиливалось от искренней любви и признательности к его невидимым благодетелям. Между всеми титулами, украшавшими его императорское величие, титул Благочестивого был самый приятный для его слуха; защита мирских и духовных интересов церкви была серьезным занятием его жизни, и его обязанности отца отечества нередко приносились в жертву обязанностям защитника веры. Религиозные споры того времени соответствовали его характеру и складу его ума, а профессора богословия могли в глубине души насмехаться над усердием постороннего человека, который изучал их ремесло, оставляя в пренебрежении свое собственное. "Чего могли бы мы бояться от вашего впавшего в ханжество тирана?"— говорил один смелый заговорщик, обращаясь к своим сообщникам. "Он просиживает без сна и безоружным целые ночи в своем кабинете, совещаясь с почтенными седобородыми старцами и перевертывая страницы духовных сочинений[82]. Плоды этих ночных занятий обнаруживались на конференциях, на которых Юстиниан мог блестеть звучностью своего голоса и вкрадчивостью своих аргументов, а также в проповедях, которые под названием Эдиктов и посланий знакомили империю с богословскими мнениями ее повелителя.

В то время как варвары опустошали провинции, а легионы одерживали победы под предводительством Велисария и Нарсеса, никогда не показывавшийся в лагере преемник Траяна довольствовался теми победами, которые он одерживал во главе соборов. Если бы он пригласил на эти соборы человека беспристрастного и рассудительного, он мог бы узнать от него, что "религиозные споры проистекают из высокомерия и безрассудства, что истинное благочестие выражается самым похвальным образом в молчании и покорности, что человек, будучи мало знаком со своей собственной натурой, не должен сметь исследовать натуру своего Бога и что нам достаточно знать, что высшее могущество и благость составляют атрибуты Божества"[83].

Веротерпимость не принадлежала к числу добродетелей того времени, а снисходительность к бунтовщикам редко встречалась между добродетелями монархов. Но когда монарх унижается до участия в мелочных и раздражительных

богословских спорах, он легко доходит до того, что восполняет избытком своей власти недостаточность своих аргументов и безжалостно карает упорное ослепление тех, кто добровольно закрывает свои глаза перед светом его доводов. Царствование Юстиниана представляет хотя и однообразную, но пеструю картину религиозных гонений, и он, по-видимому, превзошел своих беспечных предшественников и в искусстве придумывать новые уголовные законы, и в строгости, с которой эти законы исполнялись. Он назначил всем еретикам короткий трехмесячный срок, по истечении которого они должны были или обратиться в истинную веру, или отправляться в ссылку[84], и хотя он смотрел сквозь пальцы на их случайные уклонения от буквы закона, они были лишены, под его железным ярмом, не только всех выгод общественной жизни, но даже тех прав, которые принадлежат от рождения каждому человеку и каждому христианину. После четырехсотлетнего существования фригийские монтанисты[85] все еще были воодушевлены тем бешеным энтузиазмом, который внушал им влечение к совершенствованию и к пророчествам и который они впитали от своих апостолов мужского и женского пола, говоривших устами св. Духа. При приближении католических священников и солдат они охотно шли на мученическую смерть; дома, в которых они собирались, делались жертвами пламени; но эти фанатики не вымерли и через триста лет после смерти их тирана. Под покровительством своих готских союзников арианская церковь в Константинополе не боялась строгости законов; ее духовенство не уступало Сенату в богатстве и в пышности, а Юстиниан, отбирая у него жадной рукой золото и серебро, мог бы предъявить свои права на эти сокровища, как на добычу, собранную в римских провинциях и как на трофеи варварских завоевателей. Остатки язычества, еще таившиеся, и в самых образованных и в самых низких классах общества, возбуждали негодование в христианах, быть может опасавшихся, что посторонние люди сделаются свидетелями их раздоров. На одного из епископов были возложены обязанности сыщика,и его усердие скоро отыскало и при дворе, и в городском населении судей, юристов, докторов и софистов, еще сохранявших привязанность к суевериям греков.

Им было грозно объявлено, что они должны безотлагательно сделать выбор между немилостью Юпитера и немилостью Юстиниана и что им не дозволят долее скрывать их отвраще-

ние к евангелию под постыдной маской равнодушия или нечестия. Патриций Фотий был едва ли не единственный из них, решившийся и жить, и умереть по примеру своих предков; ударом кинжала он спас себя от рабства и предоставил своему тирану жалкое утешение выставить с позором безжизненное тело беглеца. Более малодушные его единоверцы подчинились воле своего земного монарха, согласились принять крещение и своим необыкновенным усердием постарались изгладить подозрение в язычестве или загладить свою виновность в этом преступлении. В отечестве Гомера и на театре Троянской войны еще таились последние лучи греческой мифологии; стараниями того же епископа семьдесят тысяч язычников был отысканы в Азии, Фригии, Лидии и Карии и обращены в христианство; для новообращенных было построено девяносто шесть церквей, а полотняные одежды, библии, богослужебные книги, золотые и серебряные сосуды были доставлены благочестивой щедростью Юстиниана[86]. Иудеи, у которых мало-помалу отняли все их привилегии, должны были подчиниться тираническому закону, обязывавшему их праздновать Пасху в тот же день, когда ее праздновали христиане[87]. Они тем более имели право жаловаться на это стеснение, что сами католики не соглашались с астрономическими вычислениями своего государя: жители Константинополя откладывали начало Великого Поста на целую неделю позже, чем как было установлено властями, и за тем имели удовольствие поститься в течение семи дней, между тем как на рынке мясо продавалось по приказанию императора. Палестинские самаритяне[88] представляли разношерстное сборище людей и двусмысленную школу: язычники считали их за иудеев, иудеи за еретиков, а христиане за идолопоклонников. На их священной Гаризимской горе[89] уже ранее того был водружен крест, внушавший им такое сильное отвращение, но гонение, которому их подверг Юстиниан, не оставляло им другого выбора, как крещение или восстание. Они предпочли последнее: они встали с оружием в руках под знамя одного бесстрашного вождя и выместили свои обиды на жизни, собственности и храмах беззащитного населения. Самаритяне были в конце концов подавлены восточными армиями; из них двадцать тысяч были убиты, двадцать тысяч были проданы арабами персидским и индийским язычникам, а остатки этой несчастной нации загладили свою преступную измену грехом лицемерия. Полагают, что сто тысяч

римских подданных погибли в Самаритянской войне[90], превратившей когда-то плодородную провинцию в покрытую развалинами и пеплом пустыню. Но, по религии Юстиниана, умерщвление неверующих не считалось за преступление, и он благочестиво старался восстановить единство христианских верований при помощи огня и меча[91].

При таком образе мыслей он, по меньшей мере, должен бы был никогда не впадать в противоречия. В первый год своего управления он высказал свое усердие в качестве приверженца и покровителя православия: благодаря примирению греков с латинами было признано, что книга св. Льва заключает в себе верования императора и империи; в несториан и в евтихиан был с обеих сторон направлен обоюдоострый меч гонения, и постановления четырех соборов Никейского, Константинопольского, Эфесского и Халкидонского были утверждены кодексом католического законодателя[92]. Но в то время как Юстиниан старался поддержать единство верований и обрядов, его жена Феодора, пороки которой не были несовместимы с благочестием, подпала под влияние монофиситских проповедников; тогда явные и тайные враги церкви ожили и стали размножаться от одной ласковой улыбки своей милостивой покровительницы. Религиозный раздор нарушил внутреннее спокойствие столицы, дворца и императорской опочивальни; однако так сомнительна была искренность царственных супругов, что многие приписывали их кажущееся разномыслие тайному и злобному замыслу, направленному против религии и благоденствия их подданных[93]. Знаменитый спор о трех главах[94], не стоивший стольких строк, сколько он наполнил томов, носил на себе глубокий отпечаток именно такого лукавства и недобросовестности. Уже прошло триста лет с тех пор, как труп Оригена[95] был съеден червями; его душа, которую он считал одаренной предсуществованием, была в руках его Создателя, но его сочинения жадно читались палестинскими монахами. В этих сочинениях прозорливый взор Юстиниана отыскал более десяти метафизических заблуждений, и этого учителя первобытной церкви духовенство обрекло вместе с Пифагором и Платоном на горение в вечном адском огне, существование которого он осмеливался отвергать. Под прикрытием этого прецедента был нанесен изменнический удар Халкидонскому собору. Отцы церкви терпеливо выслушивали похвалы

Феодору Мопсуэстийскому[96], а благодаря их справедливости или их снисходительности снова были приняты в лоно церкви и Феодорит Киррский, и Ива Эдесский. Но имена этих восточных епископов были запятнаны обвинениями в ереси; первый из них был наставником, а двое последних были друзьями Нестория; самые подозрительные места их сочинений были изобличены под названием трех глав, а осуждение их памяти затрагивало честь собора, название которого произносилось всем католическим миром или с искренним, или с притворным уважением. Если эти епископы, независимо от того, были ли они невинны или виновны, уже заснули вечным сном, то их, вероятно, не могли разбудить громкие обвинения, раздававшиеся над их могилой через сто лет после их смерти. Если они уже находились в когтях у демонов, то их страдания не могли быть ни увеличены, ни облегчены человеческими усилиями. Если же они наслаждались в обществе святых и ангелов наградой за свое благочестие, то им должна была казаться смешной бессильная ярость богословских насекомых, еще ползавших по земной поверхности. Главное из этих насекомых — император римлян — поражало их своим жалом и обливало своим ядом, быть может, не примечая настоящих мотивов Феодоры и преданной ей церковной партии. Жертвы его ненависти уже не подчинялись его власти, и запальчивый тон его Эдиктов мог только провозгласить их осуждение на вечное мучение и пригласить восточное духовенство к участию в хоре проклятий и анафем. Восток не без некоторых колебаний подчинился воле своего государя; в Константинополе был созван Пятый вселенский собор из трех патриархов и ста шестидесяти пяти епископов, и как авторы, так и защитники трех глав были устранены от духовного общения со святыми и торжественно преданы сатане. Но латинские церкви более дорожили честью Льва и Халкидонского собора, и если бы они по-прежнему выступили на бой под знаменем Рима, они могли бы отстоять требования здравого смысла и человеколюбия. Но их глава была пленником в руках врага, а опозоренный святокупством престол св.Петра был занят малодушным Вигилием, который после непродолжительной и непоследовательной борьбы преклонился перед деспотизмом Юстиниана и перед лжемудрствованием греков. Его вероотступничество возбудило негодование в латинах, и только два епископа согласились

рукоположить его диакона и преемника Пелагия. Тем не менее настойчивость пап мало-помалу перенесла на их противников прозвище еретиков; власти светская и церковная угнетали церкви иллирийские, африканские и итальянские не без некоторого содействия со стороны военной силы[97]; жившие вдалеке варвары придерживались верований Ватикана, и по прошествии ста лет еретические три главы окончили свое существование в глухом уголке венецианской провинции[98]. Но религиозное неудовольствие италийцев уже оказало содействие военным успехам лангобардов, а сами римляне приучились не доверять религиозным верованиям своего византийского тирана и ненавидеть его управление.

Юстиниан не был ни стоек, ни последователен в том, что предпринимал с целью прочно установить и свои собственные шаткие верования, и верования своих подданных. В своей молодости он возмущался малейшим уклонением от православного учения; в своей старости он выходил за пределы умеренных еретических заблуждений, и яковиты были не менее католиков скандализованы его заявлением, что тело Христа было нетленно и что его человеческая натура никогда не знала никаких нужд и немощей, унаследованных от нашей бренной плоти. Это фантастическое мнение было сообщено во всеобщее сведение в последних Эдиктах Юстиниана, а в ту минуту, когда так кстати его похитила смерть, духовенство отказывалось подписаться под его верованиями, монарх был готов поддерживать их с помощью гонений, а народ был расположен или подчиниться им против воли, или оказать им сопротивление. Епископ Трирский, полагаясь на то, что он был недосягаем для восточного императора, стал увещать его тоном авторитета и преданности: "Всемилостивейший Юстиниан, вспомните о вашем крещении и о символе вашей веры! Не позорьте ваших седых волос ересью. Возвратите отцов вашей церкви из ссылки и спасите ваших приверженцев от вечной гибели. Вам не может быть безызвестно, что Италия и Галлия, Испания и Африка уже оплакивают ваше заблуждение и проклинают ваше имя. Если вы немедленно не откажетесь от того, чему поучали, и не объявите во всеуслышание — я ошибался, я согрешил, анафема Несторию, анафема Евтихию,— вы предадите вашу душу тому же пламени, в котором те будут вечно гореть". Он умер без всяких признаков раскаяния[99]. Его смерть в некоторой мере

восстановила внутреннее спокойствие церкви, а царствования четырех его преемников, Юстина, Тиберия, Маврикия и Фоки, отличались тем, что составляли редкий и благотворный пробел в церковной истории Востока[100].

Наши чувства и наш разум всего менее способны направлять свою деятельность на самих себя; нам всего труднее видеть наши собственные глаза и мыслить о нашей собственной душе; тем не менее мы думаем и даже чувствуем, что для разумного и способного к самосознанию существа необходим один принцип деятельности, необходима *одна воля*. Когда Ираклий возвратился из персидского похода, он, в качестве православного героя, обратился к епископам с вопросом: Христос, которого он чтил в одном лице, но в двух естествах, имел ли одну волю или две. Они отвечали в единственном числе, и император предался надежде, что египетские и сирийские яковиты согласятся с таким учением, которое, очевидно, безвредно и которое, по всему вероятию, истинно, так как его проповедовали даже несториане[101]. Эта попытка не имела успеха, и как робкие, так и заносчивые католики осудили все, что имело внешний вид отступления перед коварным и отважным противником. Православная, то есть господствовавшая в ту пору партия придумала новые способы выражения, новые аргументы и новые объяснения: каждому из двух естеств Христа она приписала свойственную лишь ему особую энергию; но это различие сделалось совершенно незаметным, когда было допущено, что воля и человеческая, и божественная неизменно была одна и та же[102]. Этот духовный недуг сопровождался обычными симптомами; но представители греческого духовенства, как бы насытившись бесконечными спорами о воплощении, внушили спасительную мысль и монарху, и народу. Они объявили себя монофелитами (признающими единство воли); но, считая эти слова новыми, а вопрос излишним, посоветовали воздерживаться от всяких религиозных споров, так как этот образ действий всего более согласен с евангельской мудростью и с евангельским милосердием.

Этот закон молчания был установлен сначала в *эктезисе* или изложении Ираклия, а потом в *типе* или в образце его внука Констанса[103], а императорские Эдикты были частью с рвением, частью против воли подписаны четырьмя патриархами — Римским, Константинопольским, Александрийским

и Антиохийским. Но Иерусалимский патриарх и тамошние монахи забили тревогу: латинские церкви усмотрели тайную ересь не только в выражениях греков, но даже в их молчании, а изъявленная папой Гонорием готовность подчиниться воле его государя встретила со стороны более смелых и более невежественных его преемников протест и порицание. Они осудили отвратительную и ужасную ересь монофелитов, которая воскрешала заблуждения Манеса, Аполлинария, Евтиха и др.; они подписали на гробнице св. Петра приговор об отлучении от церкви; они примешали к чернилам вино, употреблявшееся для причастия, то есть кровь Христа, и не опустили ни одного церковного обряда, способного навести ужас или страх на людей суеверных. В качестве представителей западной церкви папа Мартин и его Латеранский собор предали проклятию коварное и преступное молчание греков; сто пять итальянских епископов, большей частью принадлежавших к числу подданных Констанса, не побоялись отвергнуть его зловредный тип и нечестивый эктезис его деда, а авторов этих постановлений вместе с их приверженцами причислить к тем явным еретикам, которые в числе двадцати одного отступили от веры и сделались орудиями дьявола. Даже при самом кротком императоре такое оскорбление не могло бы остаться безнаказанным. Папа Мартин окончил свою жизнь на негостеприимных берегах Таврического Херсонеса, а его оракул, аббат Максим, был бесчеловечно наказан отсечением языка и правой руки[104].

Но их упорство перешло к их преемникам, и торжество латинов отомстило за их поражение и загладило позор так называемых трех глав. Постановления римских соборов были утверждены Шестым вселенским собором, заседавшим в Константинополе во дворце и в присутствии нового Константина, принадлежавшего к числу потомков Ираклия. Византийский первосвятитель и большинство епископов[105] усвоили новые верования императора; несогласные вместе со своим вождем Макарием Антиохийским подверглись духовным и светским наказаниям, налагаемым на еретиков; Восток внял поучениям Запада, и вслед за тем был окончательно утвержден догмат, заставивший католиков всех веков верить, что в лице Христа соединяются две воли или две силы. Представителями папы и римского собора были два священника, один диакон и три епископа; но у этих неважных латинских

богословов не было ни оружия, чтобы влиять путем насилия, ни сокровищ, чтобы влиять путем подкупа, ни красноречия, чтобы влиять путем убеждения, и мне неизвестно, каким способом они успели склонить гордого греческого императора к отречению от верований его детства и к преследованию религии его предков. Быть может, монахи и жители Константинополя[106] питали расположение к латеранскому догмату, который на самом деле самый неразумный из двух, и эта догадка подтверждается необычайной скромностью греческого духовенства, обнаружившего в этой борьбе сознание своего бессилия. В то время как собор был занят прениями, один фанатик, чтобы скорее разрешить спор, предложил воскресить мертвого; два прелата присутствовали при этой попытке, но сознание ее неудачи может считаться за доказательство того, что страсти и предрассудки толпы не были на стороне монофелитов. При следующем поколении, когда сын Константина был низложен и убит последователем Макария, монофелиты удовлетворили и свою мстительность, и свое стремление к господству: кумир или памятник Шестого вселенского собора был разрушен, а подлинные акты собора были преданы пламени. Но в следующем году их покровитель был свергнут с престола, восточные епископы освободились от обязанностей, наложенных на них случайно выраженным согласием, римский догмат был более прочно установлен православными преемниками Вардана, а более популярный и более наглядный спор о почитании икон заставил позабыть утонченные вопросы, касавшиеся воплощения[107].

Прежде конца седьмого столетия догмат воплощения— в том виде, как он был установлен в Риме и в Константинополе,— однообразно проповедовался на отдаленных островах Британском и Ирландском[108], и все христиане, у которых богослужение совершалось на греческом или на латинском языке, придерживались одинаковых понятий или, вернее, повторяли одни и те же слова. Их многочисленность и внешние признаки могущества давали им некоторое право называть себя католиками; но на Востоке им давали менее почетное название мельхитов, или роялистов[109], то есть таких людей, верования которых основывались не на Священном Писании, не на рассудке и не на традиции, а были установлены и поддерживались произвольной властью светского монарха. Их противники могли ссылаться на слова членов Константи-

нопольского собора, объявивших себя рабами государя, и могли с злобной радостью рассказывать, как декреты Халкидонского собора были внушены и переделаны императором Маркианом и его целомудренной супругой. Понятно, что господствующая партия старается внушать принципы покорности, а несогласные предъявляют и отстаивают требования свободы. Под бичом гонителей несториане и монофиситы превратились в мятежников и в перебежчиков; таким образом, самые старые и самые полезные союзники Рима приучились считать императора не за начальника христиан, а за их врага. Язык, составляющий главную причину сближения или разъединения племен и народов, скоро придал восточным сектантам особое и неизгладимое отличие, уничтожившее международные сношения и всякую надежду на примирение. Продолжительное владычество греков, их колонии и, главным образом, их красноречие распространили употребление их языка, который, бесспорно, был самым совершенным из всех, какие были придуманы людьми. Однако и в Сирии, и в Египте большинство населения еще говорило на своих национальных наречиях, впрочем, с тем различием, что коптский язык был в употреблении лишь между грубыми и необразованными крестьянами, жившими по берегам Нила, тогда как сирийский язык[110] был языком поэзии и диалектики на всем пространстве между горами Ассирии и Чермным морем. Армения и Абиссиния были заражены языком или ученостью греков, а их варварские диалекты, воскресшие в трудах новейших европейских ученых, были непонятны для жителей Римской империи. Языки сирийский и коптский, армянский и эфиопский освящены тем, что на них совершается богослужение в местных церквах, а теологию этих народов обогатили переводы[111] и Священного Писания, и произведений самых популярных отцов церкви. По прошествии тысячи трехсотшестидесяти лет пламя религиозной вражды, впервые зажженное проповедью Нестория, еще не угасло в недрах Востока, и враждующие между собой христианские общины до сих пор еще придерживаются верований и правил церковного благочиния, установленных их основателями. Несториане и монофиситы, несмотря на то, что живут в самом низком невежестве, бедности и рабстве, отвергают религиозное верховенство Рима и очень дорожат веротерпимостью своих турецких повелителей, которая дозволяет им

предавать анафеме, с одной стороны, св. Кирилла и Эфесский собор, а с другой — папу Льва и Халкидонский собор. Содействие, оказанное ими падению Восточной империи, останавливает на себе наше внимание, и читатель найдет некоторый интерес в разнообразных подробностях относительно 1. несториан, II. яковитов[112], III. маронитов, IV. армян, V. коптов и VI. абиссинцев. Первые три секты употребляли сирийский язык, а каждая из трех остальных выражалась на своем национальном диалекте. Однако новейшие уроженцы Армении и Абиссинии не могли бы вступать в разговор со своими предками, а отвергнувшие арабскую религию египетские и сирийские христиане усвоили арабский язык. Время оказало содействие ухищрениям духовенства, и как на Западе, так и на Востоке к Божеству обращаются на устарелом языке, который незнаком большинству верующих.

1. Еретические учения Нестория были скоро позабыты и на его родине, и даже в его бывшей епархии. Восточные епископы, открыто сопротивлявшиеся на Эфесском соборе высокомерию Кирилла, смягчились ввиду его запоздалых уступок. Те же самые прелаты или их преемники подписались, не без ропота, под декретами Халкидонского собора; влияние монофиситов примирило их с католиками, с которыми их соединяли одни и те же страсти, интересы, а с течением времени и верования, и они с прискорбием испустили свой последний вздох, отстаивая три главы. Те из их единоверцев, которые не хотели идти по тому же пути, потому что были или более умеренны, или более искренни, были подавлены уголовными законами, и уже со вступления на престол Юстиниана было трудно найти хоть одну церковь несториан в пределах Римской империи. Вне этих пределов они открыли новый мир, в котором могли найти свободу и удовлетворить свои влечения к владычеству. В Персии, несмотря на сопротивление магов, христианство пустило глубокие корни, и под его благотворной сенью отдыхали восточные народы. *Католикос*, или примас, имел постоянное местопребывание в столице: его митрополиты, епископы и духовенство выказывали на соборах и в своих епархиях пышность и порядок правильно организованной иерархии; они радовались увеличению числа новообращенных, которые меняли Зендавесту на Евангелие и светскую жизнь на монашескую, а для их усердия служило сти-

мулом присутствие коварного и сильного врага. Христианская церковь в Персии была основана сирийскими миссионерами, а их язык, правила церковного благочиния и учение были тесно связаны с ее первоначальной организацией. Католикосов избирали и рукополагали их собственные викарии, но об их сыновней зависимости от антиохийских патриархов свидетельствуют уставы восточной церкви[113]. В персидской школе, в Эдессе[114], новые поколения верующих осваивались с их богословским языком, изучали в сирийском переводе десять тысяч томов Феодора Мопсуэстийского и чтили апостольские верования и святое мученичество его ученика Нестория, с личностью и с языком которого были совершенно незнакомы народы, жившие по ту сторону Тигра. Первые неизгладимые поучения Эдесского епископа Ивы внушили им ненависть к египтянам, которые нечестиво смешали на Эфесском соборе оба естества Христовы. Бегство преподавателей и учеников, которых два раза изгоняли из Сирийских Афин, рассеяло по разным местам толпу миссионеров, воодушевлявшихся двойным усердием, и религиозным, и тем, которое истекает из жажды возмездия. Строгое единство, которого придерживались монофиситы, завладевшие епископскими должностями на Востоке в царствование Зенона и Анастасия, побудило живших в свободной стране их противников признать скорее нравственное, нежели физическое, единство двух естеств Христа. Со времени появления первых христианских проповедников цари из рода Сасанидов относились с недоверием к чужеземцам и вероотступникам, которые приняли религию наследственных врагов их отечества и, может быть, стали бы действовать с этими последними заодно. Царские Эдикты нередко воспрещали их опасные сношения с сирийским духовенством; успехи раскола были приятны завистливому высокомерию Пероза, и он внял красноречивым убеждениям одного коварного прелата, который уверял его, что Несторий друг Персии, и советовал ему, чтобы обеспечить преданность его христианских подданных, оказать им заслуженное предпочтение перед жертвами и врагами римского тирана. Несториане составляли значительное большинство и в среде духовенства, и в среде населения; они находили поощрения в ласковых улыбках деспотизма и опирались на его меч; однако многие из их более слабых единоверцев не решились оторваться от общения

со всем христианским миром, и кровь семи тысяч семисот монофиситов или католиков установила единство догматов и обрядов в персидских церквах[115]. Их религиозные учреждения отличались тем, что удовлетворяли либеральным требованиям разума или, по меньшей мере, политики: суровость монастырской жизни была ослаблена и мало-помалу позабыта; в богадельнях были устроены школы для воспитания сирот и найденышей; закон безбрачия, который так настойчиво вводился у греков и латинов, был оставлен персидским духовенством в пренебрежении, и число избранных увеличивалось благодаря явным и неоднократным бракам священников, епископов и даже самого патриарха. Под это знамя натуральной и религиозной свободы стали стекаться из всех провинций Восточной империи массы перебежчиков; за свое тупоумное ханжество Юстиниан был наказан выселением самых трудолюбивых его подданных; они перенесли в Персию знание военного дела и мирные искусства, а те из них, которые оказывались достойными милостей прозорливого монарха, получали повышения на государственной службе. Те несчастные сектанты, которые должны были скрывать свои убеждения, живя на своей родине в восточных городах, помогали и советами, и деньгами, и войсками военным предприятиям Ануширвана и еще более опустошительным предприятиям его внука; за свое усердие они были награждены тем, что в их распоряжение были отданы католические церкви, но когда Ираклий снова завладел теми городами и церквами, их явное участие в измене и в ереси заставило их искать убежища во владениях их чужеземного союзника. Но кажущееся спокойствие несториан часто подвергалось опасностям, а иногда и нарушалось. Им также приходилось страдать от тех зол, которые были порождением восточного деспотизма; их вражду к Риму не всегда искупала их привязанность к евангелию, и колонии из трехсот тысяч яковитов, взятых в плен в Апамее и в Антиохии, было дозволено воздвигнуть враждебный алтарь на глазах у католикоса и под покровительством двора. В свой последний мирный договор Юстиниан внес некоторые условия, клонившиеся к расширению и к упрочению веротерпимости, которой пользовались в Персии христиане. Император, не имевший никакого понятия о правах совести, не мог питать ни сострадания, ни уважения к еретикам, отвергавшим авторитет святых соборов,

но он льстил себя надеждой, что они мало-помалу убедятся в материальных выгодах, доставляемых общением с империей и с римской церковью, и что если он не внушит им чувства признательности, он возбудит недоверие к ним в их государе. В более поздние времена суеверие и политика христианнейшего короля в одно и то же время жгли лютеран в Париже и оказывали им покровительство в Германии.

Желание приобретать для Бога верующих, а для церкви подданных возбуждало во все времена рвение в христианском духовенстве. После того как оно утвердилось в Персии, оно распространило свои духовные завоевания на Севере, на Востоке и на Юге, а простота евангельского учения приспособилась к сирийскому богословию и окрасилась в его цвет. По словам одного несторианского путешественника[116], в шестом столетии христианство с успехом проповедовалось у бактриан, гуннов, персов, индийцев, персармян, мидян и эламитов; на пространстве между Персидским заливом и Каспийским морем число варварских церквей было почти бесконечно, а их привязанность к новой вере обнаруживалась в многочисленности и в святости их монахов и мучеников. Богатый перцем берег Малабара и острова океана Сокотра и Цейлон были населены постоянно возраставшими толпами христиан, а епископы и духовенство этих отдаленных стран получали рукоположение от вавилонского католикоса. В следующем столетии усердие несториан проникло за пределы, которыми ограничивались честолюбие и любознательность и греков, и персов. Вышедшие из Балха и из Самарканда миссионеры бесстрашно шли по стопам кочующих татар и проникали в лагеря, раскинутые в долинах Имауса и на берегах Селинги. Они поучали этих невежественных пастухов метафизическими догматами и старались внушить этим кровожадным воинам чувства человеколюбия и склонность к спокойной жизни. Впрочем, один хан, могущество которого они преувеличивали из тщеславия, как рассказывают, принял от них крещение и даже посвящение в духовный сан, и слава священника или пресвитера Иоанна[117] долго вводила в заблуждение легковерных европейцев. Царственный новообращенный получил дозволение иметь при себе передвижной алтарь, но он отправил к патриарху посольство с вопросом, каким способом мог бы он воздерживаться во время Великого Поста от мясной пищи и как мог бы он со-

вершать евхаристию в пустыне, которая не производит ни пшеницы, ни вина. Во время своих морских и сухопутных странствований несториане проникли в Китай через Кантонский порт и через северную императорскую резиденцию Сиган. В противоположность римским Сенаторам, с улыбкой на устах исполнявшим обязанности жрецов и авгуров, мандарины обнаруживают перед публикой рассудительность философов, а у себя дома придерживаются всяких народных суеверий. Они признавали и смешивали богов Палестины и Индии; но распространение христианства возбудило подозрения в правительстве и после того, как эта иноземная секта в течение непродолжительного времени то была в милости, то подвергалась гонениям, она исчезла в неизвестности и в забвении[118]. Под управлением халифов несториане распространились от Китая до Иерусалима и Кипра, а их церкви вместе с церквами яковитов, как полагают, были более многочисленны, нежели церкви греческие и латинские[119]. Двадцать пять митрополитов или архиепископов составляли их иерархию, но некоторые из них, ввиду огромных расстояний и сопряженных с переездами опасностей, были освобождены от обязанности личного служения с тем необременительным условием, что раз в каждые шесть лет они должны засвидетельствовать о своих верованиях и о своей покорности перед католикосом или патриархом Вавилона (это было неопределенное название, под которым разумели разные царские резиденции — то Селевкию, то Ктесифон, то Багдад). Эти отдаленные ветви с тех пор давно завяли, а старый патриархальный ствол[120] разделен теперь между живущими в Мосуле илиями, которые происходят почти в прямой нисходящей линии от патриархов первобытной церкви, иосифами, которые живут в Амиде и примирились с римской церковью[121], и симеонами, которые живут в Ване или Ормии и которые взбунтовались в шестнадцатом столетии во главе сорока тысяч семейств по наущению персидских софиев. В настоящее время насчитывают триста тысяч несториан, которых смешивают под названиями халдейцев и ассириян с самым ученым и с самым могущественным из древних восточных народов.

Одна старинная легенда гласит, что св. Фома проповедовал евангелие в Индии[122]. В конце девятого столетия раку этого святого, быть может, находившуюся неподалеку от Мадраса,

с благочестием посетили посланцы Альфреда, а привезенный ими оттуда груз жемчуга и пряностей вознаградил религиозное усердие английского монарха, замышлявшего самые широкие проекты по части торговли и открытий[123]. Когда португальцы открыли морской путь в Индию, христиане св. Фомы уже прожили целые века на Малабарском берегу, а то, что они отличались от туземцев и характером, и цветом лица, свидетельствовало о примеси чужеземной расы. Они возвышались над туземным населением Индостана и знанием военного дела, и мирными искусствами, и, быть может, добродетелями; земледельцы разводили пальмовые деревья, купцы обогащались от торговли перцем, солдаты пользовались первенством перед наирами, или Малабарскими дворянами, а их наследственные привилегии уважались из признательности или из страха и королем Кохинским, и самим Заморином. Они признавали туземного владетеля, но даже в светских делах управлялись епископом Ангамальским. Этот епископ еще пользовался прежним титулом митрополита Индии, но его действительная юрисдикция обнимала тысячу четыреста церквей, и на нем лежала забота о двухстах тысячах душах. По своей религии христиане св.Фомы могли бы сделаться самыми надежными и самыми искренними союзниками португальцев; но инквизиторы скоро усмотрели в них ересь и раскол, которые считались преступлением непростительным. Вместо того чтобы признавать себя подданными духовного и светского главы всего земного шара, римского первосвященника, они, подобно своим предкам, подчинялись несторианскому патриарху, а епископы, которых этот патриарх рукополагал в Мосуле, должны были подвергаться опасностям морского переезда и сухопутного странствования, чтобы достичь своей епархии на Малабарском берегу. В своей литургии на сирийском языке они с благочестием упоминали имена Феодора и Нестория; в Христе они чтили два естества; титул матери Божией был оскорбителен для их слуха, и они очень скупились на почести Деве Марии, которую суеверие латинов почти возвысило до ранга богини. Когда ее изображение было в первый раз представлено последователям св.Фомы, они с негодованием воскликнули: "Мы христиане, а не идолопоклонники!", и их безыскусственное благочестие удовольствовалось поклонением кресту. Живя в совершенном отдалении от Запада, они ничего не знали, ни

об улучшениях, ни об искажениях, происшедших в тысячелетний период времени, так что их привязанность к верованиям и к обрядам пятого столетия должна оскорблять предрассудки и папистов, и протестантов. Представители Рима начали с того, что запретили им всякие сношения с несторианским патриархом, а затем многие из их епископов окончили свою жизнь в тюрьмах инквизиции. Оставшаяся без пастыря паства подпала под влияние могущества португальцев, происков иезуитов и усердия жившего в Гоа архиепископа Алексея Менезеса, лично посетившего Малабарский берег. Собор, созванный в Диампере под его председательством, довершил благочестивое дело объединения и строго обязал держаться учения и правил благочиния римской церкви, не позабыв и исповеди на ухо священнику, которая была самым страшным орудием церковных пыток. Учение Феодора и Нестория было признано негодным, и Малабар подчинился папе, примасу и иезуитам, которые забрали в свои руки епархию Ангамалы или Кранганора. Несториане с терпением выносили в течение шестидесяти лет и рабство и лицемерие; но лишь только могущество португальцев было потрясено мужеством и предприимчивостью голландцев, они с энергией и с успехом вступились за религию своих предков. Иезуиты были не в состоянии удержать в своих руках власть, которую они употребляли во зло; сорок тысяч христиан восстали с оружием в руках против своих обессилевших тиранов, и один индийский архидиакон исполнял обязанности епископа, пока не прибыл от вавилонского патриарха свежий запас епископов и сирийских миссионеров. Со времени изгнания португальцев несторианская религия свободно исповедовалась на Малабарском берегу. Торговые компании голландские и английские держатся принципа веротерпимости; но если угнетения менее оскорбительны, чем презрение, то христиане св. Фомы имеют основание сетовать на холодное и безмолвное равнодушие своих европейских собратьев[124].

II. История монофиситов менее богата событиями и менее интересна, чем история несториан. Под управлением Зенона и Анастасия их хитрые вожаки сумели снискать расположение монарха, захватили в свои руки епископские должности на Востоке и раздавили сирийскую школу на ее родной почве. Догматы монофиситов были установлены с самым изы-

сканным старанием антиохийским патриархом Севером; он осудил слогом Генотикона враждебные ереси Нестория и Евтихия, отстоял против последнего реальность тела Христова и заставил греков допустить, что он был лжец, говоривший правду[125]. Но сближение идей не могло ослабить пыла страстей; каждая партия более прежнего удивлялась ослеплению своих противников, споривших из-за такого ничтожного различия; сирийский тиран прибегнул к насилию для поддержания своего догмата, и его владычество запятнало себя кровью трехсот пятидесяти монахов, которые были умерщвлены под стенами Апамеи, быть может, не без вызова со своей стороны и не без сопротивления[126]. Преемник Анастасия снова водрузил на Востоке знамя православия; Север бежал в Египет, а его друг, красноречивый Ксенайя[127], спасшийся от персидских несториан, был задушен в своем изгнании Пафлагонийскими мельхитами. Пятьдесят четыре епископа были отставлены от своих должностей; восемьсот лиц духовного звания были заключены в тюрьмы[128] и, несмотря на двусмысленное милостивое расположение Феодоры, лишенные своих пастырей восточные церкви должны бы были мало-помалу погибнуть по недостатку духовной пищи или вследствие отравы, внесенной в их учения. В этой беде издыхавшая партия ожила, собралась с силами и окрепла благодаря усилиям одного монаха, и имя Якова Барадея[129] сохранилось в названии яковитов, от которого, быть может, содрогнется английский читатель, так хорошо с ним знакомый. От святых исповедников, содержавшихся в Константинопольской тюрьме, он получил звание эдесского епископа и восточного апостола, а назначение восьмидесяти тысяч епископов, священников и диаконов исходило из того же неистощимого источника. Успехам усердного миссионера содействовала быстрота дромадеров, которых доставлял ему один преданный арабский вождь; учение яковитов и их правила церковного благочиния втайне утверждались во владениях Юстиниана, и каждый яковит был обязан нарушать законы и ненавидеть римского законодателя. В то время как преемники Севера скрывались в монастырях или в деревнях, в то время, как они, спасаясь от смертного приговора, находили убежище в пещерах пустынников и в палатках сарацинов, они не переставали предъявлять, точно так же, как и теперь они предъявляют, свое неотъемлемое право на титул, на ранг и на прерога-

тивы антиохийского патриарха; под более мягким игом неверующих они жили в одной миле от Мердина, в привлекательном Зафаранском монастыре, который они украсили кельями, водопроводами и плантациями. Хотя и почетное, но второстепенное место было занято мафрианом, который, живя в самом Мосуле, вел оттуда борьбу с несторианским католикосом из-за первенства на Востоке. Число лиц, занимавших в яковитской церкви в различные эпохи под управлением патриарха и мафриана должности архиепископов и епископов, доходило, как полагают, до ста пятидесяти; но правильная организация их церковной иерархии частью ослабла, частью разрушилась, и большая часть их приходов ограничивается окрестностями Евфрата и Тигра. В городах Алеппо и Амид, часто посещаемых патриархом, есть несколько богатых торговцев и искусных ремесленников; но большинство населения живет ежедневными заработками и по бедности или из суеверия налагает на себя тяжелые посты, которые возобновляются пять раз в году и во время которых и духовенство, и миряне воздерживаются не только от мяса и яиц, но даже от вина, оливкового масла и рыбы. В настоящее время они насчитывают от пятидесяти до восьмидесяти тысяч последователей, составляющих остатки многолюдной церкви, которая в течение двенадцати столетий постоянно приходила в упадок от гонений. Однако в этот продолжительный период времени несколько отличавшихся личными достоинствами иноземцев обратились в монофиситскую веру, и один иудей был отцом восточного примаса Абульфараджа[130], столь замечательного, и своей жизнью, и своей смертью. Он писал изящные сочинения на языках сирийском и арабском, был поэтом, доктором, историком, глубокомысленным философом и умеренным в своих убеждениях богословом. Когда он умер, на его похоронах присутствовал его соперник, несторианский патриарх, со свитою из греков и армян, позабывших свои распри и проливших свои слезы над могилой врага. Однако, несмотря на то, что эта школа была возвеличена добродетелями Абульфараджа, она, как кажется, стояла на более низком уровне, чем ее несторианские собратья. Суеверия яковитов более гнусны, их посты более суровы[131], их внутренние распри более часты, а их наставники (насколько я в состоянии измерять степени безрассудства) более далеки от требований разума. Причину этого, как ка-

жется, следует искать в суровости монофиситской теологии и, главным образом, в чрезмерном влиянии монашеского сословия. И в Сирии, и в Египте, и в Эфиопии яковитские монахи всегда отличались суровостью своего образа жизни, и после их смерти в них чтят любимцев Божества; только их почтенные руки считаются достойными держать посох епископа и патриарха, и они берутся управлять людьми в то время, как сами еще заражены монастырскими привычками и предрассудками[132].

III. На языке восточных христиан монофелиты всех веков обозначались названием маронитов[133], которое было малопомалу перенесено с отшельника на монастырь, а с монастыря на целый народ. Святой или дикарь пятого столетия Марон проявлял свое религиозное сумасбродство в Сирии: города Апамея и Эмеза соперничали из-за обладания его мощами; на его могиле была сооружена великолепная церковь, и шестьсот его учеников выстроили свои кельи на берегах Оронта. В спорах о воплощении они аккуратно держались православной колеи, проведенной между школами Нестория и Евтихия; но несчастный вопрос об *одной воле* или об одном влиянии в двух естествах Христа был порожден их досужей любознательностью. Их последователь, император Ираклий в качестве маронита не был допущен внутрь Эмезы; он нашел убежище в монастыре своих единоверцев, а за их богословские поучения наградил их обширными и богатыми поместьями. С названием и с учением этой почтенной школы стали знакомиться греки и сирийцы, а как было сильно ее рвение, видно из заявления, сделанного на константинопольском соборе антиохийским патриархом Макарием, что он скорее дозволит разрубить себя на части и бросить в море, чем признать во Христе *две воли*[134]. Или именно такой, или более мягкий способ гонения скоро заставил мирных жителей равнины принять истинное учение, между тем как отважные туземцы Ливанских гор гордились названием мардаитов[135], или бунтовщиков. Один из самых ученых и самых популярных монахов, по имени Иоанн Марон, присвоил себе звание антиохийского патриарха, а его племянник Авраам защищал во главе маронитов их гражданскую и религиозную свободу против восточных тиранов. Сын православного Константина с благочестивой ненавистью преследовал воинственное население, которое могло бы служить для империи

оплотом против общих врагов Христа и Рима. Греческая армия вторглась в Сирию; монастырь св. Марона сделался жертвой пламени; самые храбрые вожди были выданы изменникам и умерщвлены, а двенадцать тысяч их приверженцев были переселены на отдаленные границы Армении и Фракии. Тем не менее смиренная секта маронитов пережила империю Константина, и они до сих пор пользуются, под властью своих турецких повелителей, религиозной свободой и сносным рабством. Их местные правители избираются между представителями старинного дворянства; живущий в своем Канобинском монастыре, патриарх все еще воображает, что он восседает на троне Антиохийского патриарха; девять епископов составляют его синод, а попечение о спасении ста тысяч душ возложено на сто пятьдесят священников, сохранивших за собой право вступать в брак. Их отечество простирается от хребта Ливанских гор до берегов Триполи, а эта постепенная покатость представляет на узкой полосе земли всевозможные виды почвы и климата, начиная со священных кедров, не сгибающих своей головы под тяжестью снегов[136], и кончая растущими в равнине виноградниками, тутовыми и оливковыми деревьями. В двенадцатом столетии мароните, отказавшись от монофелитских заблуждений, примирились с латинскими церквами антиохийской и римской[137], а честолюбие пап и бедственное положение сирийцев нередко возобновляли тот же самый союз. Но есть основание сомневаться в том, что их единение всегда было полным и искренним, а принадлежавшие к римской коллегии ученые-мароните тщетно старались очистить своих предков от обвинений в ереси и в расколе[138].

IV. Со времен Константина армяне[139] отличались привязанностью и к религии христиан, и к их империи. Внутренние раздоры и незнание греческого языка помешали их духовенству присутствовать на Халкидонском соборе, и они в течение восьмидесяти четырех лет[140] жили в равнодушии или в нерешимости, пока их неустановившиеся верования не подпали под влияние миссионеров Юлиана Галикарнасского[141], который, живя в Египте в ссылке вместе со своим соперником, монофиситским патриархом Антиохии Севером, был побежден его аргументами или авторитетом. Одни армяне придерживаются во всей его чистоте учения Евтихия — этого несчастного прародителя, от которого отказалось боль-

шинство его духовного потомства Они одни не изменяют убеждению, что человеческая натура Христа была создана или, не будучи созданной, состояла из божественной и нетленной субстанции. Их противники упрекают их в поклонении призраку, а они отражают это обвинение тем, что осмеивают или проклинают богохульство яковитов, которые приписывают божеству низкие плотские недуги и даже натуральные последствия питания и пищеварения. Религию Армении не могли прославить ни ученость, ни могущество ее жителей. У них царское достоинство было упразднено одновременно с возникновением раскола, а их христианские цари, основавшие в тринадцатом столетии недолговечную монархию на границах Киликии, были клиентами латинов и подвластными жившего в Иконии турецкого султана. Этой беспомощной нации редко дозволяли наслаждаться спокойствием рабства. С древнейших времен и до настоящего времени Армения была театром беспрестанных войн; земли, лежащие между Тавризом и Эриванью, были опустошены безжалостной политикой Софиев, и множество христианских семейств было переселено в отдаленные персидские провинции, где они частью погибли, частью размножились. Под бичом гонителей религиозное усердие армян было пылко и неустрашимо; они нередко отдавали предпочтение венцу мученичества перед белой чалмой мусульман; они питают благочестивую ненависть к заблуждениям и к идолопоклонству греков, а в их временном примирении с латинами так же мало правды, как в рассказе о тысяче епископов, будто бы приведенных их патриархом к стопам римского первосвященника[142]. Армянский католикос, или патриарх, живет в Эчмядзинском монастыре, в трех милях от Эривани. Он рукополагает сорок семь архиепископов, каждому из которых подчинены четыре или пять викарных епископов; но это большей частью лишь номинальные прелаты, придающие блеск его скромному двору своим присутствием и исполнением своих служебных обязанностей. По окончании литургии они занимаются садоводством, и нашим епископам покажется удивительным тот факт, что суровость их образа жизни увеличивается соразмерно с высотой их ранга. В восьмидесяти тысячах городах или деревнях, составляющих его духовные владения, патриарх собирает незначительную и добровольную подать с каждого жителя, перешедшего за пятнадцатилетний

возраст; но ежегодный доход в шестьсот тысяч крон недостаточен для покрытия расходов на вспомоществование бедным и на уплату дани светскому правительству. С начала прошлого столетия армяне стали принимать значительное и выгодное участие в восточной торговле; возвращающиеся из Европы караваны обыкновенно останавливаются в окрестностях Эривани; алтари обогащаются плодами этой предприимчивости, а верования Евтихия проповедуются в конгрегациях, недавно основанных армянами в Берберии и в Польше[143].

V. В остальных провинциях Римской империи деспотизм монарха мог искоренять или заставлять умолкнуть приверженцев предосудительных верований. Но упорный нрав египтян не подчинялся постановлениям Халкидонского собора, и политика Юстиниана низошла до выжидания благоприятной минуты, когда можно было воспользоваться их внутренними раздорами. Монофиситскую церковь в Александрии[144] раздирала распря между испорченными и неиспорченными и, по смерти патриарха, каждая их двух партий стала поддерживать своего собственного кандидата[145]. Гайян был ученик Юлиана, а Феодосий воспитывался под руководством Севера; притязания первого поддерживались монахами и сенаторами, городскими и провинциальными жителями, а второй опирался на старшинство своего посвящения, на милостивое расположение императрицы Феодоры и на военные силы евнуха Нарсеса, который мог бы употребить их в дело для более славной борьбы. Ссылка популярного кандидата сначала в Карфаген, а потом в Сардинию усилила волнение в Александрии, и через сто семьдесят лет после возникновения раскола гаяниты все еще чтили память и учение основателя их школы. Борьба между численным превосходством бунтовщиков и дисциплиной регулярных войск была упорна и кровопролитна; улицы покрывались телами убитых граждан и солдат; благочестивые женщины, взобравшись на крыши домов, бросали на головы врагов все, что могли найти в своей домашней утвари острого или тяжелого, а своей окончательной победой Нарсес был обязан тому, что предал пламени третью столицу римского мира. Но наместник Юстиниана не хотел, чтобы плодами его победы воспользовался еретик; Феодосий был удален очень скоро, хотя и без особых насилий, и на престол Афанасия был возведен православный монах, Павел Танисский. Чтобы он мог удержаться на своем

посту, ему дали самые широкие полномочия; он получил право назначать и смещать египетских наместников (военачальников) и трибунов; установленная Диоклетианом раздача хлеба была прекращена; церкви были заперты, и у раскольников была отнята как духовная, так и телесная пища. В свою очередь жители из религиозного усердия и из жажды возмездия отлучили от церкви своего тирана, и никто, кроме рабски преданных ему мельхитов, не хотел признавать за ним прав человека, христианина и епископа. Но так велико ослепление честолюбивцев, что, когда Павел был прогнан вследствие обвинения в убийстве, он предложил взятку в семьсот фунтов золота, чтобы снова получить тот пост, на котором он ничего не приобрел, кроме ненависти и позора. Его преемник Аполлинарий вступил в Александрию в облачении воина одинаково готовым и для вознесения молитв, и для битвы. Его войска были расставлены по улицам в боевом порядке; у входа в собор была поставлена стража, а на церковных хорах был помещен избранный отряд для того, чтобы в случае надобности защищать своего вождя. Аполлинарий стал на своем троне и, сбросив с себя верхнее воинское одеяние, внезапно предстал перед толпой в облачении александрийского патриарха. Присутствующие безмолвствовали от удивления, но лишь только Аполлинарий начал читать книгу св. Льва, на этого ненавистного исполнителя воли императора и постановлений собора посыпались проклятия, ругательства и каменья. Преемник апостолов тотчас подал сигнал к атаке; солдаты ходили в крови по колена и, как рассказывают, двести тысяч христиан пали под ударами меча; но эта цифра была бы неправдоподобна даже в том случае, если бы ею определили число погибших не в течение одного дня, а в течение всех восемнадцати лет Аполлинариева владычества. Два следующих патриарха, Евлогий[146] и Иоанн[147], старались обратить еретиков при помощи такого оружия и таких аргументов, которые были более достойны их священной профессии. Богословские познания Евлогия обнаружились в нескольких томах, написанных с целью преувеличить заблуждения Евтихия и Севера и примирить двусмысленные выражения св. Кирилла с православными верованиями папы Льва и отцов Халкидонского собора. Нищелюбивый Иоанн руководствовался при раздаче щедрых подаяний или суевериями, или чувством сострадания, или политическими расчетами. На его сче-

ту содержались семь тысяч пятьсот нищих; при своем вступлении в должность он нашел в церковном казнохранилище восемь тысяч фунтов золота; он собрал еще десять тысяч благодаря щедрости верующих; тем не менее он мог похвастаться в своем завещании, что оставляет не более трети самой маленькой из серебряных монет. Александрийские церкви были отданы в распоряжение католиков, религию монофиситов было запрещено исповедовать в Египте, и был снова введен закон, устраняющий местных уроженцев от почетных и доходных государственных должностей.

Чтобы довести это дело до конца, нужно было одержать более важную победу — одолеть патриарха, который был оракулом и главой египетской церкви. Феодосий устоял и против угроз, и против обещаний Юстиниана с мужеством апостола или с мужеством энтузиаста. "Таковы были,— отвечал патриарх,— предложения искусителя, когда он указывал на земные царства. Но моя душа гораздо для меня дороже, чем жизнь или владычество. Церкви находятся во власти монарха, который может убивать тело, но моя совесть принадлежит мне одному, и все равно, буду ли я жить в ссылке, в бедности или в цепях, я буду твердо держаться верований моих святых предшественников Афанасия, Кирилла и Диоскора. Анафема книге Льва и Халкидонскому собору; анафема всем, кто исповедует их учение! Анафема им и теперь, и во веки! Нагим вышел я из чрева моей матери, и нагим сойду я в могилу! Пусть те, которые любят Бога, следуют за мною и спасают свою душу". Ободрив своих единоверцев, он отплыл в Константинополь и на шести свиданиях выдержал почти непреодолимый напор личных императорских настояний. К его мнениям относились благоприятно и во дворце, и в столице; влияние Феодоры обеспечивало ему и безопасное возвращение, и почетную отставку, и хотя он кончил свою жизнь не на троне, он кончил ее на своей родине. При известии о его смерти Аполлинарий предался непристойной радости и задал пир дворянству и духовенству; но его веселье было нарушено известием об избрании нового патриарха, и в то время, как он предавался роскоши в Александрии, его соперники господствовали в монастырях Фиваиды и жили добровольными подаяниями прихожан. Из праха Феодосия возник непрерывный ряд патриархов, а сходство верований и общее название яковитов упрочили связь между монофиситскими

церквами, находившимися в Сирии и в Египте. Но те же самые верования, которые сначала были исключительным достоянием немногочисленных сирийских сектантов, впоследствии распространились между египтянами, или коптами, почти единогласно отвергавшими декреты Халкидонского собора. Уже прошло целое тысячелетие с тех пор, как Египет перестал быть независимым царством, а завоеватели азиатские и европейские стали попирать ногами народ, мудрость и могущество которого заходят за пределы исторических сведений. Столкновение между религиозным фанатизмом и религиозным гонением вызвало наружу некоторые проблески их национального мужества. Вместе с чужеземной ересью они отвергли нравы и язык греков; в их глазах каждый мельхит был иноземцем, а каждый яковит гражданином; они считали за смертный грех вступать с этими врагами в брак или исполнять по отношению к ним долг человеколюбия; туземное население отказалось от принесенной императору верноподданнической присяги, а приказания жившего вдали от Александрии монарха исполнялись лишь под давлением вооруженной силы. Если бы египтяне сделали энергичную попытку отстоять свою религию и свою свободу, из их шестисот монастырей могли бы выйти мириады святых борцов, для которых смерть была бы тем менее страшна, что жизнь не давала им ни комфорта, ни наслаждений. Но опыт доказал, какая разница между активным мужеством и пассивным: фанатик, который способен без стона вынести истязания и мученическую смерть, задрожал бы от страха и обратился бы в бегство при виде вооруженного неприятеля.

Малодушие египтян рассчитывало лишь на перемену повелителя; армии Хосрова опустошили страну; тем не менее яковиты пользовались под его владычеством непродолжительной и непрочной свободой. С торжеством Ираклия гонения возобновились и усилились, и патриарх снова бежал из Александрии в степь. Во время его бегства Вениамина ободрял голос, приказывавший ему ожидать, по прошествии десяти лет, помощи от иноземного народа, отличающегося, подобно самим египтянам, исполнением старинного обряда обрезания. Мы увидим далее, каковы были эти освободители и каков был способ освобождения, а покуда я должен перешагнуть через промежуток времени в одиннадцать столетий, чтобы описать теперешнее бедственное положение египет-

ских яковитов. Многолюдный город Каир служит резиденцией или, вернее, убежищем для их нуждающегося патриарха и для десяти оставшихся при своих должностях епископов; сорок монастырей уцелели от нашествия арабов, а успехи рабства и вероотступничества довели коптов до незначительного числа двадцати пяти или тридцати тысяч семейств[148] и превратили их в расу безграмотных бедняков, для которых единственным утешением служит еще более бедственное положение греческого патриарха и его малочисленной паствы[149].

IV. То бунтуя против Цезарей, то живя в рабской зависимости от халифов, коптский патриарх все еще гордился сыновней покорностью царей Нубии и Эфиопии. Он отплачивал за их преданность тем, что превозносил их величие и смело утверждал, что они могут вывести в поле сто тысяч всадников с таким же числом верблюдов[150], что они могут разливать или удерживать воды Нила[151] и что спокойствие и плодородие Египта зависят от ходатайства патриарха даже перед этими земными властителями. В то время как Феодосий жил в Константинополе в ссылке, он советовал своей покровительнице позаботиться об обращении в христианство черных обитателей Нубии[152] от тропика Рака до границы Абиссинии. Император, заподозрив ее намерения и будучи более ее предан православию, вступил с ней в соревнование. Два миссионера-соперника, из которых один был мельхит, а другой яковит, отплыли в одно и то же время; но императрица — вследствие ли того, что ее более боялись, или вследствие того, что ее более любили,— нашла более готовности к исполнению ее желаний, и католический священник был задержан президом Фиваиды, между тем как царь Нубии вместе со своим двором был торопливо окрещен в религию Диоскора. Запоздавший посланец Юстиниана был принят и отпущен с почетом; но когда он стал обвинять египтян в ереси и в измене, новообращенных негров уже научили отвечать на это, что они никогда не выдадут принявших истинную веру собратьев докучливым агентам Халкидонского собора[153]. В течение многих веков нубийские епископы назначались и посвящались яковитским патриархом Александрии; христианская религия преобладала там до двенадцатого столетия, а некоторые из ее обрядов и ее остатков до сих пор встречаются в варварских городах Сеннаара и Донголы[154]. Но в конце

концов нубийцы привели в исполнение свою угрозу возвратиться к поклонению идолам; климат требовал такой религии, которая дозволяла бы многоженство, и они кончили тем, что предпочли торжество Корана унижению Креста. Метафизическая религия, быть может, была слишком утонченна для умственных способностей негритянской расы; однако негра, точно так же, как и попугая, можно бы было приучить к произнесению слов Халкидонского или монофиситского символа веры.

Христианство пустило более глубокие корни в Абиссинии, и Александрийская церковь держала эту колонию в постоянной опеке, несмотря на то, что сношения между ними иногда прекращались на семьдесят и на сто лет. Эфиопский синод когда-то состоял из семи епископов; если бы их число доходило до десяти, они могли бы выбрать самостоятельного первосвятителя, а один из их царей намеревался возвести своего родного брата в звание главы церкви. Но такой результат нетрудно было предвидеть, и потому в увеличении числа епископов было отказано; епископские обязанности были мало-помалу сосредоточены в лице абуны[155], который был главой абиссинского духовенства и посвящал в духовное звание; когда его должность оказывается вакантной, патриарх замещает ее одним из египетских монахов, который благодаря тому, что он чужеземец, внушает более уважения народу и менее опасений монарху. В шестом столетии, когда Египет окончательно впал в раскол, соперничавшие вожаки, опиравшиеся на своих покровителей Юстиниана и Феодору, постарались опередить один другого в завоевании этой отдаленной и независимой провинции. И на этот раз предприимчивость императрицы одержала верх, и благочестивая Феодора ввела в этой уединенной церкви верования и правила благочиния яковитов[156]. Окруженные со всех сторон врагами своей религии, эфиопы дремали в течение почти тысячи лет, позабыв об остальном мире, который также позабыл о них. Их пробудили из усыпления португальцы, которые, обогнув южную оконечность Африки, появились в Индии и в Черном море, точно будто спустившись на землю с какой-нибудь отдаленной планеты[157]. В первые минуты своего сближения подданные Рима и подданные Александрии были поражены скорее сходством, чем различием своих верований, и каждая из двух наций ожидала важных выгод от союза со своими

христианскими единоверцами. Благодаря полному отчуждению от остального мира эфиопы снова стали жить жизнью дикарей. Их корабли, когда-то возившие товары на Цейлон, едва осмеливались плавать по африканским рекам; развалины Аксума были покинуты жителями; вся нация рассеялась по деревням, а ее начальник, носивший пышный титул императора, не имел ни в мирное, ни в военное время другой резиденции, кроме подвижного лагеря. Из сознания своего собственного упадка абиссинцы составили разумный проект ввести у себя европейские искусства и промышленность[158] и отправили в Рим и в Лиссабон послов с поручением привести им оттуда кузнецов, плотников, кровельщиков, каменщиков, типографщиков, хирургов и докторов. Но вскоре вслед за тем общественная опасность заставила их просить немедленной помощи оружием и солдатами для защиты мирного населения от варваров, опустошавших внутренность страны, и от турок и арабов, приближавшихся с морского побережья с более грозными силами. Эфиопию спасли четыреста пятьдесят португальцев, выказавших на поле битвы прирожденное европейцам мужество и созданное искусством могущество мушкетов и пушек. Под влиянием испуга император дал обещание перейти вместе со своими подданными в католическую религию; представителем папского верховенства был назначен латинский патриарх[159]; фантазия, преувеличивавшая действительные размеры Абиссинской империи вдесятеро, предполагала, что в недрах этой страны более золота, чем в американских копях, а корысть и религиозное усердие построили на добровольном подчинении африканских христиан самые сумасбродные проекты.

Но исторгнутые во время болезни обещания были нарушены с возвращением здоровья. Абиссинцы стали отстаивать учение монофиситов с непоколебимой твердостью; их вялая привязанность к этому учению воспламенилась от упражнений в религиозных диспутах; они стали клеймить латинов названиями ариан и несториан, а тех, кто разделял две натуры Христа, стали обвинять в поклонении четырем богам. Иезуитским миссионерам была назначена местом их богослужения или, вернее, их ссылки Фремона. Их опытность в свободных и в механических искусствах, их богословские познания и их добрые нравы внушали бесплодное уважение; они не были одарены способностью творить чудеса[160] и тщет-

но просили о присылке им в подкрепление европейских солдат. По прошествии сорока лет их терпеливость и ловкость наконец нашли более благосклонных слушателей, и два абиссинских императора убедились в том, что Рим способен обеспечить своим приверженцам и земное благополучие и вечное блаженство. Первый из этих двух новообращенных лишился и короны, и жизни, а мятежная армия получила благословение от абуны, который предал вероотступника анафеме и освободил его народ от верноподданнической присяги.

За гибель Заденгеля отомстил мужественный и счастливый в своих предприятиях Сусней, вступивший на престол под именем Сегведа и взявшийся с должной энергией за исполнение благочестивого замысла своего родственника. После нескольких диспутов между иезуитами и необразованным абиссинским духовенством император объявил себя приверженцем Халкидонского собора в полной уверенности, что его священники и подданные немедленно перейдут в религию своего государя. Вместо того чтобы предоставить им свободу выбора, он издал закон, предписывавший под страхом смертной казни верить, что в Христе было два естества; абиссинцам было приказано работать и веселиться в субботние дни, и Сигвед отказался перед лицом Европы и Африки от всяких сношений с александрийской церковью. Католический патриарх Эфиопии, иезуит Альфонс Мендец, принял от имени Урбана VIII изъявления покорности новообращенного и его отречение от прежних заблуждений. "Я признаю,— сказал император, став на колени,— что папа наместник Христа, преемник св. Петра и властелин всего мира. Я клянусь, что всегда буду ему повиноваться, и повергаю к его стопам и самого себя, и мои владения". Такая же клятва была принесена его сыном, его братом, всеми лицами духовного звания, дворянством и даже придворными дамами; латинского патриарха осыпали почестями и богатствами, а его миссионеры стали строить церкви или цитадели в самых выгодных местах. Сами иезуиты оплакивают теперь пагубную опрометчивость своего начальника, который, позабыв евангельскую кротость и политические правила своего ордена, стал с неосмотрительным насилием вводить римскую литургию и португальскую инквизицию. Он запретил исполнять старинный обряд обрезания, который был введен в Эфиопии не столько из суе-

верия, сколько из необходимости предохранять здоровье от вредного влияния климата[161]. Он стал требовать от туземцев нового крещения и нового посвящения в духовный сан, и местные жители пришли в ужас, когда этот иноземец приказал вырывать из могил самых святых между их предками и стал отлучать от церкви самых знаменитых между их соотечественниками. Абиссинцы восстали с оружием в руках на защиту своей религии и свободы, но их отчаянные усилия не увенчались успехом. Пять восстаний были потушены в крови бунтовщиков; два абуны пали в сражениях; целые легионы были истреблены на полях битв или задохнулись в своих пещерах, и ни личные достоинства, ни высокое общественное положение, ни пол не могли спасти врагов Рима от позорной смерти. Но над победоносным монархом наконец одержало верх упорство его подданных, его матери, его сына и самых верных его друзей. Сегвед внял голосу сострадания, рассудка и, может быть, страха, и изданный им Эдикт о свободе совести тотчас обнаружил и тиранию, и бессилие иезуитов. После смерти своего отца Василид изгнал латинского патриарха и согласно с желаниями нации восстановил египетские верования и правила церковного благочиния. Церкви монофиситов огласились торжественными гимнами, в которых говорилось, что "эфиопские овцы наконец избавились от западных гиен", и доступ в это отдаленное царство навсегда закрылся для искусств, наук и фанатизма европейцев[162].

---

1) Каким способом мог бы я удостоверить основательность этого предварительного исследования, которое я постарался ограничить определенными рамками и изложить в сжатом виде? Если бы в подтверждение каждого факта или размышлений я стал приводить подходящее и специальное свидетельство, то для каждой строки потребовалась бы целая нить ссылок и каждое подстрочное примечание разрасталось бы в критическую диссертацию. Но те бесчисленные тексты древних писателей, которые я изучал в подлинниках, собраны, приведены в порядок и объяснены Петавием и Ле-Клерком, Бособром и Мозгеймом. Поэтому я ограничусь тем, что буду подкреплять мой рассказ ссылками на имена и на авторитет этих почтенных руководителей, а при исследовании мелких или отдаленных предметов не постыжусь прибегать к помощи самых сильных очков.— 1. Dogmata Theologica Петавия поражают и громадностью положенного на них труда, и своим объемом; те тома, в которых идет речь только о Воплощении (два in folio, пятый и шестой, в восемьсот тридцать семь страниц), разделяются на шестнадцать книг, из которых первая содержит историю, а остальные наполнены изложением споров и са-

мого учения. Знания иезуита обильны и точны; его латинский язык чист, его метода ясна, в его аргументах есть и глубина мысли, и внутренняя связь; но он был рабским последователем Отцов церкви, бичом еретиков и врагом правды и искренности всякий раз, как та или другая была несогласна с интересами католицизма. 2. Последователь Арминия Ле-Клерк, изложивший в одном томе in 4° (Амстердам, 1716) церковную историю двух первых столетий, был самостоятелен и по своему характеру, и по своему положению; его ум ясен, но его взгляд узок; и здравый смысл, и безрассудства прошлых веков он вставляет в рамки своих личных мнений, а от его нерасположения к отцам церкви его беспристрастие иногда усиливается, а иногда ослабевает. См. то, что он говорит о еретиках (керинфианах LXXX; евионитах, CIII; карпократианах, CXX; валентинианах, CXXI; василидианах, CXXIII; маркионитах, CXLI, и пр.). 3. L'Histoire Critique du Manichèisme (Амстердам, 1734, 1739, в двух томах in 4°, с изданной после смерти автора Диссертацией о назареях, Лозанна, 1745) par Beausobre представляет неоцененный запас сведений о древней философии и теологии. Ученый историк с неподражаемым искусством систематически излагает нить мнений и сам превращается попеременно то в святого, то в философа, то в еретика. Однако его натяжки иногда чрезмерны; он обнаруживает благосклонное пристрастие в пользу слабой стороны, и, стараясь предохранить себя от клеветы, он не придает надлежащего значения суеверию и фанатизму. Обширный указатель содержания этой книги может направить читателя на тот предмет, с которым он пожелал бы ближе познакомиться. 4. Историк Мозгейм менее глубокомыслен, чем Петавий, менее самостоятелен, чем Ле-Клерк, менее остроумен, чем Бособр; тем не менее он подробен, рассудителен, точен и умерен. В его ученом сочинении De Rebus Christianis ante Constantinum (Helmstadt, 1753, in quarto) см., что он говорит о назареях и евионитах, стр. 172-179, 328-332; о гностиках вообще, стр. 179 и сл.; о Керинфе, стр. 196-202; о Василиде, стр. 352-361; о карпократах, стр. 363-367; о Валентине, стр. 371-389; о Маркиане, стр. 404-410; о манихеях, стр. 829-837 и сл.

2) Говорит иудей Трифон (Iustin. Dialog. стр. 207) от имени своих соотечественников, а те немногие из новейших иудеев, которые отвлекаются от денежных дел мыслями о религии, выражаются тем же языком и ссылаются на буквальный смысл пророчеств.

3) Златоуст (Basnage, Hist. des Juifs, том V, гл. 9, стр. 183) Афанасий (Petav. Dogmat. Theolog., том V, кн. 1, гл. 2, стр. 3) вынуждены сознаться, что о божественности Христа редко упоминают и он сам, и его апостолы.

4) В копиях евионитов (Epuphan. Haeres. 30, 13) нет двух первых глав св. Матфея, а чудесное зачатие составляет один из последних пунктов, урезанных докт. Пристлеем в его верованиях, которые и без того уже были скудны.

5) Весьма вероятно, что первое из евангелий, предназначавшееся для обращенных в христианство иудеев, было написано на еврейском или на сирийском языке; об этом факте свидетельствует целый ряд отцов церкви — Папия, Ириней, Ориген, Иероним и др. Ему из благочестия верят католики, а между протестантскими критиками его допускают Казобон, Гроций и Исаак Воссий. Но это еврейское

евангелие св. Матфея исчезло самым непонятным образом, и мы вправе порицать усердие или правдивость тех первобытных церквей, которые предпочли лишенное авторитета переложение какого-то безымянного грека. Эразм и его последователи, принимая наш греческий текст за подлинное евангелие, сами лишают себя свидетельства о том, что это было произведение одного из апостолов. См. Simon, Hist. Critique, etc. том III, гл. 5-9, стр. 47-101 и Prolegomena Милля и Ветштейна к Новому Завету.

6) Последователи Иисуса были убеждены, что человек мог грешить до своего рождения (св. Иоанн, IX, 2); фарисеи допускали переселение добродетельных душ (Иосиф, De Bell. Judaico, кн. 2, гл. 7), а один из новейших раввинов пришел к скромному убеждению, что Гермес, Пифагор, Платон и пр. заимствовали свою метафизику от его знаменитых соотечественников.

7) Цицерон (Tusculan., кн. 1) и Максим Тирский (Dissertat. 16) очистили метафизику души от запутанности разговорной формы, которая иногда увлекает, а нередко сбивает с толку при чтении Федра, Федона и Законов Платона.

8) Относительно происхождения человеческих душ существовали четыре различных мнения.— 1. Что они вечны и божественны.— 2. Что они были созданы отдельно, прежде чем соединиться с телом.— 3. Что они размножались, как от своего первоначального корня, от Адама, который заключал в самом себе как духовные, так и физические, своего потомства.— 4. Что каждая душа создавалась и воплощалась в момент зачатия. Последнее из этих мнений, по-видимому, одержало верх в наше время, и наша духовная история утратила свое величие, не сделавшись более понятной.

9) — это было одно из пятнадцати еретических мнений, которые приписывались Оригену и отвергались его защитником (Photius, Bibliothec. Cod. 117, стр. 296). По мнению некоторых раввинов, у Адама, у Давида и у Мессии была одна и та же душа.

10) Apostolis adhuc in seculo superstitibus, apud Judaeam Christi sanguine recente, Phantasma domini corpus asserebatur. Hieronym. advers. Lucifer, гл. 8. Послание Игнатия к жителям Смирны и даже евангелие св. Иоанна направлены против усиливавшихся заблуждений докетов, успевших приобрести в этом мире слишком много доверия (1. Иоанн, IV, 1-5).

11) Около 200 года христианской эры Ириней и Ипполит опровергли учение тридцати двух сект, которые размножились во времена Епифания до восьмидесяти (Phot. Biblioth. Cod. 120-122). Пять книг Иринея существуют только на варварском латинском языке, но их подлинник, быть может, отыщется в каком-нибудь греческом монастыре. (Весьма сомнительно, чтобы когда-либо существовал греческий подлинник этих книг. Мнение Эразма, что они были написаны на латинском языке, хотя вообще и отвергается, но в высшей степени правдоподобно. Они были написаны Иринеем с целью воспрепятствовать распространению учения гностиков в западных провинциях, где оно было введено Валентином во время пребывания его в Риме; и именно против Валентина направлены все аргументы автора. Если бы Ириней обращался к окружавшим его христианам на греческом языке, его не понял бы один человек из тысячи и его сочине-

ние не могло бы произвести на его прихожан того впечатления, которое ему приписывалось. "Варварский латинский язык", на котором оно написано, был именно таковым, какого можно было ожидать от грека, учившегося этому языку в Лионе; а помещенное им в предисловии оправдание неправильностей языка, развившегося среди столь необразованного населения, никак не могло бы быть высказано по поводу сочинения на его родном языке, который он изучил во всей его чистоте в Ионии. Отрывки из его писем к друзьям, написанных на греческом языке, ничего не доказывают, а те места в книгах Adv. Haer., на которые указывают Евсевий и некоторые другие писатели, без сомнения, были ими переведены.— Издат.)

12) Пилигрим Кассиан, посетивший Египет в начале пятого столетия, заметил и оплакивал господство антропоморфизма между монахами, не сознававшими, что они усвоили систему Эпикура. (Цицерон, de Nat. Deorum, кн. 1, гл. 18-34). Ab universo prope modum genere monachorum, qui per totam provinciam Egyptum morabantur, pro simplicitatis errore susceptum est, ut a contrario memoratum pontificem (Theophilum) velut haeresi gravissima depravatum, pars maxima seniorum ab universo fraternitatis corpore decerneret detestandum. (Cassian, Collation. 10, 2). Пока св. Августин придерживался учения манихеев, его возмущал антропоморфизм обыкновенных католиков.

13) Ita est in oratione senex mente confusus, eo quod illam anthropomorphon imaginem Deitatis, quam proponere sibi in oratione consueveret aboleri de suo corde sentiret, ut in amarissimos fletus, crebrosque singultus repente prorumpens, in terram prostratus, cum ejulatu validissimo proclamaret: "Heu me miserum! tulerunt a me Deum meum, et quem nunc teneam non habeo, vel quem adorem, aut interepellem jam nescio". Cassian, Collat. 10, 2.

14) Св. Иоанн и Керинф (A.D. 80, Cleric. Hist. Eclles. стр. 493) случайно встретились в Эфесе в публичных банях; но апостол бежал от еретика из опасения, что здание обрушится на их головы. Эту нелепую историю отвергает докт. Миддлетон (Miscellaneous Works, ч. II); но ее рассказывает Ириней (3.3) со ссылкой на Поликарпа; она, вероятно, была приспособлена к той эпохе, в которую жил Керинф, и к месту его постоянного пребывания. Устарелый, но, по всей вероятности, правильный вариант слов св. Иоанна, IV, 3: o luei ton Iesoun заключают в себе намек на двойственную натуру, о которой поучал этот древний еретик.

15) Валентиниане держались сложной и почти бессвязной системы. 1. И Христос, и Иисус были эоны, хотя и различных степеней; один из них действовал как разумная душа, а другой как божественный дух Спасителя. 2. Во время предсмертных страданий они оба удалились и оставили только чувственную душу и человеческое тело. 3. Даже это тело было эфирным и, быть может, только кажущимся. Таковы заключения, к которым приходит Мозгейм после утомительных исследований. Но я сильно сомневаюсь, понимал ли латинский переводчик сочинения Иринея и понимали ли самих себя Ириней и валентиниане.

16) Еретики употребляли во зло трогательное восклицание: "Боже мой, Боже мой! для чего ты меня оставил?" Руссо, делая красноречивое, но неприличное сравнение между Христом и Сократом, поза-

был, что из уст умирающего философа не вырвалось ни одного слова, в котором выражалось бы нетерпение или отчаяние. Со стороны Мессии подобные чувства могли быть только кажущимися, а приведенные выше неблагозвучные слова правильно объясняются тем, что они были применением к одному из псалмов или пророчеств.

17) Это энергичное выражение может быть оправдано тем, что говорит св. Павел (1 к Тим. III, 16); но нас вводят в заблуждение наши новейшие библии. Слово ‘ὸ (который) было изменено в Константинополе в начале шестого столетия в Theos (Бог); подлинный текст, содержание которого проглядывает в текстах латинском и сирийском, еще сохранился в рассуждениях и греческих, и латинских отцов церкви; сэр Исаак Ньютон прекрасно вывел наружу и этот подлог, и тот, который внес в евангелие св. Иоанна трех свидетелей. (См. два его письма, переведенные de-Missy и помещенные в Journal Britannique, том XV, стр. 148-190, 351-390). Я взвесил приводимые с обеих сторон аргументы и могу подчиниться авторитету первого из философов, который был хорошо знаком и с критическими, и с богословскими исследованиями.

18) Относительно Аполлинария и его секты см. Сократа, кн. 2, гл. 46; кн. 3, гл. 16; Созомена, кн. 5, гл. 18; кн. 6, гл. 25-27; Феодорита, кн. V, 3, 10, 11; Тильемона Mémoires Ecclésiastiques, том VII, стр. 602-638. Примеч. 789-794, in quarto, Венеция, 1732. Святые, бывшие современниками епископа Лаодикеи, всегда называли его другом и собратом; позднейшие писатели выражались резко и враждебно; впрочем, Филосторгий сравнивает его (кн. 8, гл. 11-15) с Василием и с Григорием [Неандер (Ист. Христ. 4, стр. 98-106) вкратце изложил учение Аполлинария, указав первоначальную форму этих неясных умозрений, которые впоследствии были извращены для столь вредной цели.— Издат.]

19) Я ссылаюсь на признание двух восточных прелатов, восточного примаса яковита Григория Абулфараджа и Дамасского митрополита несторианина Илию (см. Asseman. Bibliothec. Oriental., том II, стр. 291; том III, стр. 514 и сл.),что мельхиты, яковиты, несториане и пр. сходились в мнениях относительно догматов и расходились только в способе выражения. Самые ученые и самые благоразумные из наших богословов — Basnage, Le Clerc, Beausobre, La Croze, Mosheim, Iablonski — готовы одобрить это снисходительное мнение; но усердие Петавия крикливо и гневно, а скромность Дюпена выражается шепотом.

20) La Croze (Hist. du Christianisme des Indes, том I, стр. 24) высказывает презрение к дарованиям и к сочинениям Кирилла: De tous les ouvrages des anciens, il y en a peu qu'on lise avec moins d'utilitè; a Dupin (Bibliothèque Ecclèsiastique, том IV, стр. 42-52) хотя отзывается о них с уважением, но старается внушить к ним недоверие.

21) Это был Исидор из Пелузия (кн. I, послан. 25, стр. 8). Так как подлинность этого письма не вполне достоверна, то Тильемон, будучи менее искренен, чем болландисты, высказывает сомнение, действительно ли этот Кирилл был племянником Феофила (Mèm. Eccl., том XIV, стр. 268).

22) Сократ говорит об одном грамматике (кн. 7, 13).

23) О молодости Кирилла и о его возведении в звание архиепископа

рассказывают Сократ (кн. 7, гл. 7) и Renaudot (Hist. Patriarch. Alexandrin. стр. 106-108). Аббат Ренодо извлекал свои материалы из арабской истории Севера, бывшего епископом в (Hermopolis Magna, или Ашмунеине, в десятом столетии; но на этого писателя нельзя полагаться, если рассказываемые им факты не внушают полного доверия по своей внутренней очевидности.

24) Александрийские parabolani были благотворительной корпорацией, организованной во время моровой язвы Галлиена для того, чтобы ходить за больными и погребать умерших. Они мало-помалу расширили привилегии своего ордена, стали злоупотреблять ими и продавать их. Их позорное поведение под управлением Кирилла побудило императора отнять у патриарха право их назначения и ограничить их число пятью- или шестьюстами. Но эти ограничения были временными и не дали хороших результатов. См. Кодекс Феодосия, кн. 16, тит. 2, и Тильемона Mèm. Ecclès. том XIV, стр. 276-278.

25) Относительно Феона и его дочери Ипатии см. Fabricius, Bibliothec., том VIII, стр. 210, 211. Статья о ней, помещенная в Лексиконе Свиды, интересна и оригинальна. Hesychius (Meursii Opera, том VII, стр. 295, 296) замечает, что ее преследовали "за необычайную мудрость", а одна эпиграмма в греческой Антологии (кн. 1, гл. 76, стр. 159, изд. Brodaei) хвалит ее ученость и красноречие. Епископ-философ Синезий, бывший ее другом и учеником, отзывается о ней (Epist. 10, 15, 16, 33-80, 124, 135, 153) с уважением. (Свида говорит, что Ипатия была замужем за философом Исидором. Клинтон, F. R. 1. 589.— Издат.)

26) Устричные раковины находились в большом количестве на отлогом морском берегу перед Кесарией. Поэтому я придерживаюсь буквального смысла, не отвергая метафорические изменения в tegulae, черепицы, к которому прибегает Валуа. Мне неизвестно, оставалась ли жертва живой, а ее убийцы, вероятно, не обратили на это внимания.

27) Эти подвиги св. Кирилла описаны Сократом (кн. 7, гл. 13-15) и самые упрямые ханжи вынуждены повторять слова историка, который хладнокровно называет убийц Ипатии. Мне приятно заметить, что упоминание этого оскорбительного названия заставляет краснеть даже Барония (A.D. 415, N 48).

28) Он был глух к мольбам Аттика Константинопольского и Исидора Пелузийского и уступил только перед личным заступничеством Святой Девы (если можно верить Никифору, кн. 14, гл. 18). Однако в последние годы своей жизни он все еще нашептывал, что осуждение Иоанна Златоуста было основательно. (Tillemont, Mém. Ecclés. том XIV, стр. 278-282. Baronius, Annal. Ecclés. A.D. 412, N 46-64).

29) Об их характере можно найти сведения в Истории Сократа (кн. 7, гл. 25-28), а об их могуществе и притязаниях — в громадной компиляции Thomassin, Discipline de l'Eglise, том I, стр. 80-91.

30) Его возвышение и его поведение описаны Сократом (кн. 7, гл. 29-31), а Марцеллин, по-видимому, применяет к нему слова Саллюстия eloquentiae satis, sapientiae parum.

31) Код. Феодос. кн. 16, тит. 5, зак. 65 с объяснениями Барония (A.D. 428, N 25 и сл. Годефруа (ad locum) и Пажи (Critica, том II, стр. 208).

32) Исидор Пелузийский (кн. 4, посл. 57). Его выражения энергичны и

оскорбительны. Исидор был святой, но никогда не был епископом, и я подозреваю, что гордость Диогена попирала ногами гордость Платона. (Исидор был игумен. Он благоразумно держался в стороне от происходивших на его глазах смут, но спокойно следил за ними из своего уединения и откровенно высказывал всем партиям, что думал. Свои мнения он обыкновенно излагал в частных письмах, и, как уверяют, число таких писем доходило до десяти тысяч; из них тысяча двести дошли до нас. В одном из них (кн. 2, посл. 127) он даже обвинял Кирилла в продаже епископских должностей. Если бы он стал стремиться к епископскому званию и стал выражаться на соборах так же, как выражался в письмах, то он подвергся бы самому безжалостному гонению. Своими бесстрашными порицаниями он навлек на себя нерасположение Пелузийского епископа Евсевия и пресвитера Зосима, от которого должен был выносить много неприятностей (кн. 2, посл. 22), а некоторые даже старались внушить к нему отвращение, выдавая его за последователя Оригена. Но так как он никогда не выступал ни в качестве публичного обвинителя, ни в качестве опасного соперника, то он избежал "гнева небесных духов".— Издат.)

33) La Croze (Christianisme des Indes, том I, стр. 44-53. Thesaurus Epistolicus La Crozianus, том III, стр. 276-280) отыскал употребление ho despotes u ho kyrios Iisous, которыми в четвертом, пятом и шестом столетиях отличалась школа Диодора Тарсского и его несторианских последователей.

34) Theotokos-Deipara — подобно тому, как в зоологии говорится о яйцеродных и о живородных животных. Нелегко указать, когда именно было придумано это слово, которое La Croze (Christianisme des Indes, том I, стр. 16) приписывает Евсевию Кесарийскому и арианам. Кирилл и Петавий ссылаются на православных писателей (Dogmat. Theolog. том V, кн. 5, гл. 15, стр. 254 и сл., но правдивость святого сомнительна, а эпитет Theotokos мог легко попасть с полей книги в текст какого-нибудь католического манускрипта.

35) Basnage в своей Histoire de l'Eglise, написанной с полемической целью (том I, стр. 505), оправдывает употребление слова "матерь" тем, что в Деяниях Апост. (XX, 28, с различными истолкованиями Милля) говорится о крови Божией. Но греческие манускрипты далеки от единогласия, а первоначальное выражение о крови Христа сохранилось в сирийском тексте и даже в тех его копиях, которые были в употреблении у христиан св. Фомы на Малабарском берегу. (La Croze, Christianisme des Indes, том I, стр. 347). Недоверие несториан и монофиситов сохранило чистоту их текста.

36) Египетские язычники уже подсмеивались над новой христианской Кибелой (Исидор, кн. 1, посл. 54); от имени Ипатии было написано подложное письмо, в котором осмеивалась теология ее убийцы. (Synodicon, гл. 216 в томе IV, Concil. стр. 484). В статье о Нестории Бэйль излагает нескромные философские воззрения на поклонение Деве Марии.

37) Греческое слово antidosis означает заимствование или взаимную передачу идиом или свойств от одного естества к другому — передачу бесконечности человеку, способности ощущения Богу и т.д. Двенадцать правил относительно этого в высшей степени деликат-

ного сюжета служат содержанием для Богословской Грамматики Петавия (Dogmata Theolog. том V, кн. 4, гл. 14, 15, стр. 209 и сл).
38) Ducange, C.P. Christiana, кн. 1, стр. 30 и сл.
39) Concil. том III, стр. 943. Они никогда не были формально одобрены церковью. (Tillemont, Me'm. Eccle's. том XIV, стр. 368-372). Мне почти становится жаль Петавия, когда я вижу, с какой судорожной яростью и с каким бессильным лжемудрствованием он писал шестую книгу своих Dogmata Theologica.
40) Как, например, прозорливого Баснажа (ad tom. I, Variar. Lection. Canisii in Praefat. гл. 2, стр. 11-23) и всестороннего ученого Ла Кроза (Christianisme des Indes., том I, стр. 16-20. De l'Ethiopie, стр. 26, 27. Thesaur. Epist. стр. 176 и сл., 283-285). Его свободное мнение подтверждается мнениями его друзей Яблонского (Thesaur. Epist. том I, стр. 193-201) и Мозгейма (idem, стр. 304. Nestorium crimine caruisse est et mea sententia), а найти трех более почтенных судей нелегко. Ученый и скромный раб Ассеман с трудом усматривает (Bibliothec. Orient. том IV, стр. 190-224) виновность и заблуждения несториан.
41) О происхождении и ходе борьбы с Несторием до созвания Эфесского собора можно найти сведения у Сократа (кн. 7, гл. 32), Евагрия (кн. 1, гл. 1, 2), Либерата (Brev. гл. 1-4), в подлинных соборных постановлениях (Concil. т. III, стр. 551-991, венец. изд. 1728), в летописях Барония и Пажи и в точных сборниках Тильемона.(Mem. Eccles. том XIV, стр. 283-377.)
42) Христиане первых четырех столетий ничего не знали о смерти и о месте погребения Марии. Предание, что она была погребена в Эфесе, подтверждается постановлением собора, о котором идет речь (Concil. том III, стр. 1102); но над этим преданием одержали верх притязания Иерусалима; там показывали пилигримам ее пустую гробницу, откуда и возник вымышленный рассказ о ее воскресении и вознесении на небо, который был благочестиво усвоен церквами греческой и латинской. См. Барония (Annal. Eccles. A.D. 48, N 6, и сл. и Тильемона (Me'm. Eccle's. том I, стр. 467-477.)
43) Акты Халкидонского собора (Concil. том IV, стр. 1405-1408) представляют живую картину слепой и упорной покорности египетских епископов перед их патриархом.
44) Гражданские и церковные дела задержали епископов в Антиохии до восемнадцатого мая. Оттуда до Эфеса было тридцать дней пути, а еще десять дней можно накинуть на случайные задержки и на отдых. Ксенофонт, шедший по той же дороге, определяет это расстояние в двести шестьдесят парасанг, или миль, и я мог бы сделать правильные выводы из этой цифры при помощи древних и новейших дорожников, если бы я был в состоянии определить сравнительную скорость движения армии, членов собора и караванов. Сам Тильемон — хотя и не совсем охотно — оправдывает Иоанна Антиохийского (Me'm. Eccle's. том XIV, стр. 386-389). (Смелость, с которой Кирилл действовал на Эфесском соборе, хорошо описана Неандером (Ист. Христ. 4, 151-169). Его "самовольные и противозаконные поступки произвели при императорском дворе в Константинополе очень неблагоприятное для него впечатление". Это и было причиной того, что его приглашение к участию в соборе сопровождалось особым письмом, на которое намекает Гиббон и которое, по словам Не-

андера, "было написано с таким здравым смыслом, какого трудно было ожидать от Феодосия; поэтому мы едва ли ошибемся, если скажем, что это письмо было написано более разумным человеком". Однако Кирилл не обратил внимания на порицания и на приказания императора и со смелой самоуверенностью сделал то, чего хотел.— Издат.)

45) Евагрий, кн. I, гл. 7. То же обвинение высказывал граф Ириней (том III, стр. 1249), а православные критики делают большие усилия, чтобы отстоять неподдельность греческих и латинских копий актов этого собора.

46) После того как Иоанн и Кирилл вступили между собой в соглашение, эти оскорбительные слова были с обеих сторон позабыты. Витиеватые фразы никогда не следует принимать за настоящее выражение того, во что достойные уважения противники ценят личные достоинства один другого (Concil., том III, стр. 1244).

47) См. акты Эфесского собора в греческом подлиннике и в латинском переводе, появившемся почти в одно время с этим подлинником (Concil. том III, стр. 991-1339 вместе с Synodicon adversus Tragoediam Irenaei, том IV, стр. 235-497), а также Церковную Историю Сократа (кн. 7, гл. 34), Церковную Историю Евагрия (кн. 1, гл. 3-5), Требник Либерата (in Concil. том VI, стр. 419-459, гл. 5, 6) и Memoirés Eccl*és. Тильемона (том XIV, стр. 377-487).

48) Я желал бы знать, как дорого заплатил Несторий за эти выражения, столь оскорбительные для его соперника.

49) О Евтихии — о том Евтихии, который был главой ереси,— Кирилл отзывается с уважением, называя его другом, святым и ревностным поборником религии. Брат Евтихия, игумен Далмаций, также принимал участие в интригах, с помощью которых старались опутать императора и всех его придворных terribili conjuratione. Synodicon, гл. 203, in Concil. том IV, стр. 467. (Неандер, в Ист. Христ. 4. 164, ссылаясь на Гардуина, говорит, что "Далмаций был писцом в одной из императорских канцелярий, что он был женат и имел детей и что один почтенный монах, по имени Исакий, убедил его поступить в монастырь; там он приобрел большое влияние и сделался архимандритом. Император по временам посещал его в келье, но никогда не мог убедить его покинуть его уединение даже для того, чтобы принять участие в публичных искупительных процессиях, когда Константинополь был напуган частыми землетрясениями. Вновь назначавшиеся патриархи обыкновенно приезжали к нему, чтобы выражать свое уважение. Но Далмаций не хотел принять Нестория, о котором говорил: "В нашу среду втерлось вредное животное для того, чтобы оскорблять нас своими учениями". В течение сорока восьми лет он ни разу не выходил из своей кельи, пока ненависть к патриарху и влияние Кирилла не побудили его сделать необычайное усилие, о котором здесь идет речь.— Издат.)

50) Clerici qui hic sunt contristantur, quod ecclesia Alexandrina nudata sit hujus causa turbelae; et debet praeter illa quae hinc transmissa sint auri libras mille quingentas. Et nuncei Scriptum est ut praestet; sed de tua ecclesia praesta avaritiae quorum nostri, etc. Это интересное и оригинальное письмо от состоявшего при Кирилле архидиакона к его креатуре новому константинопольскому епископу, непонятным

образом дошло до нас в старом латинском переводе. (Synodicon, гл. 203. Concil. том IV, 465-468). Здесь маски почти совершенно спадают со святых, и они откровенно выражаются языком личных интересов и интриги. (Это письмо Епифания к Максимиану сохранил Феодорит. (Неандер, 4, 173).— Издат.)

51) Утомительные переговоры, которые велись после закрытия Эфесского собора, подробно описаны в подлинных актах собора (Concil. том III, стр. 1339-1771, ad fin. vol. и Synodicon, в томе IV), у Сократа (кн. 7, гл. 28, 35, 40, 41), Евагрия (кн. 1, гл. 6-8, 12), Либерата (гл. 7-10) и Тильемона (том XIV, 487-676). Даже самый терпеливый из читателей будет мне благодарен за то, что оценке этой бесконечной лжи и бессмыслицы я посвятил лишь несколько строк.

52) Евагрий, кн. 1, гл. 7. Из помещенных в Synodicon'е (гл. 15, 24-26) подлинных писем можно заключить, что отречение Нестория было, по-видимому, добровольным, о чем свидетельствует и несторианский писатель Ебед-Иисус, apud Asseman. Bibliot. Oriental. том III, стр. 299-302. (Подробный рассказ Неандера (4. 166-170) представляет падение Нестория в совершенно ином виде. Когда его измучила неугомонная вражда Кирилла, он написал императорскому придворному Схоластику письмо, в котором говорил, что "охотно возвратится в свой монастырь и к прежней спокойной жизни, если это может быть полезно для поддержания истинной веры". Слабый Феодосий, подчиняясь требованиям своей сестры Пульхерии и влиянию наемных заступников Кирилла, воспользовался этим письмом и известил Нестория через посредство преторианского префекта,— впрочем, без всякого выражения неприязни,— что "сделаны нужные распоряжения для его возвращения в монастырь самым удобным и самым желательным образом". В ответ на это патриарх послал свое отречение от должности, еще раз советуя императору "позаботиться о сохранении христианского учения в его чистоте". Нет никаких доказательств того, чтобы после своего отречения он принимал участие в каких-либо интригах; но у него было много друзей в Константинополе, а после смерти его преемника Максимиана чернь громко требовала его возведения в прежний сан. Это побудило его врагов исходатайствовать распоряжение о его перемещении в более отдаленное место, и это же послужило поводом для гонений, которым впоследствии его подвергали.— Издат.)

53) См. императорские письма в Актах Эфесского собора (Concil. том III, стр. 1730-1735). Отвратительное название симонийцев, которое было дано последователям этого teratodous didaskalia обозначало "последователей Симона, неправедно занявших места в епархиях" и т.д. А ведь это были христиане, отличавшиеся одни от других только названиями и легкими оттенками в верованиях.

54) Серьезные юристы (Пандекты, кн. 48, тит. 22, зак.7) давали метафорическое название островов тем небольшим пространствам земли, которые выделялись среди ливийских песков тем, что на них можно было найти и воду, и зелень. Три таких острова носили название Оазисов, или Алвахатов 1. Храм Юпитера Аммонского. 2. Средний Оазис, находившийся в трех днях пути к западу от Ликополя. 3. Южный Оазис, куда был сослан Несторий; он находился только в трех днях пути от границ Нубии. См. ученое примечание Михаэлиса

(ad Descript. Aegypt. Abulfedae, стр. 21-34). (Самое основательное объяснение, даваемое слову Oasis, производит его от Ouah, которое есть множественное число от арабского слова Wah, означающего жилище; таким образом, оазис означает такое место в степи, в котором можно жить. Геродот упоминает только об одном оазисе, называя его "островом блаженных". Те три оазиса, о которых упоминает Гиббон, были известны во времена Страбона. С тех пор много новых были открыты и описаны Броуном, Буркгардтом, Бельцони и другими путешественниками. Мы не имеем несомненных доказательств того, чтобы до основания Константинополя они служили местом ссылки. Первый император, отсылавший туда упорных противников, был Констанций, а император Юлиан, как рассказывают, следовал его примеру. С тех пор ссылка в эти оазисы стала считаться таким наказанием, выше которого была лишь смертная казнь. Юстиниан ослабил суровость этого наказания, превратив его в relegatio ad tempus. Из Notitia Imperii видно, что там ставили римские гарнизоны.— Издат.)

55) О приглашении Нестория на Халкидонский собор говорят: епископ Митилены Захария (Евагрий, кн. 2, гл. 2. Asseman. Bibliot. Orient. том II, стр. 55) и знаменитый епископ Гиерополя Ксенай, или Филоксен (Asseman. Bibliot. Orient. том II, стр. 40 и сл.; его отвергают Евагрий и Ассеман, но за него энергично вступается Ла Кроз. (Thesaur. Epistol. том III, стр. 181 и сл.) Этот факт нельзя назвать неправдоподобным; но метафизиты находили свой интерес в распространении этого возмутительного слуха, а Евтихий (том II, стр. 12) утверждает, что Несторий умер после семилетней ссылки и, стало быть, за десять лет до созыва Халкидонского собора.

56) См. D'Анвилля (Mémoire surel' Egypte, стр. 191), Покока (Описание Востока, ч. 1, стр. 76), Абульфеду (Описание Египта, стр. 14), его комментатора Михаэлиса (Not. стр. 78-83) и нубийского географа (стр. 42), который упоминал в двенадцатом столетии о развалинах Акмима и о его сахарном тростнике. (Древние описания этого города, как полагали, относились к двум различным городам (Cellarius, 2.823). Он первоначально назывался Хеммисом. Прибывшие туда при Птолемеях новые поселенцы, найдя там обычай поклоняться Пану или какому-то другому похожему на него божеству, дали городу это греческое название. Диодор Сицилийский (1.18) говорит, что оба названия имели один и тот же смысл, а по словам докт. Лепсия, Хем был египетский Пан, но он не уверен, получил ли город отсюда свое название. (Письма из Египта, стр. 115, изд. Bohn.) Писатели большею частью называют его Панополем, а окружающая местность называлась Nomos Panopolitos. Страбон говорит, что в его время тамошнее население состояло преимущественно из ткачей и каменщиков. Акмим, или, по словам Лепсия, Эхмим, была арабская форма, данная его прежнему названию.— Издат.)

57) Евтихий (Annal. том II, стр. 12) и Григорий Бар-Гебрей, или Абульфарадж (Asseman. том II, стр. 316) описывают легковерие десятого и тринадцатого столетий.

58) Мы обязаны Евагрию (кн.I, гл. 7) некоторыми извлечениями из писем Нестория; но этот бессердечный и глупый фанатик издевается над трогательным описанием его страданий. (С этим взглядом согла-

шается и Неандер, который говорит (4.172): "Сердце Евагрия так очерствело под влиянием фанатической привязанности к догматам, что он не был в состоянии оценить хладнокровия и достоинства, с которыми держал себя Несторий; он усматривал только высокомерие и упорство в излияниях благородной души, которую даже все несчастья не могли преклонить под иго рабства".— Издат.)

59) Dixi Cyrillum dum viveret, auctoritate sua effecisse, ne Eutychianismus et Monophysitarum error in nervum erumperet: idque verum puto... aliquo... honesto modo palinodian cecinerat. Ученый и вместе с тем осмотрительный Яблонский не всегда высказывал всю правду. Cum Cyrillo lenius omnino egi, quam si tecum aut cum aliis rei hujus probe gnaris et aequis rerum aestimatoribus sermones privatos conferrem. (Thesaur. Epistol. La Crozian, том I, стр. 197, 198). Эти слова могут служить ключом для понимания его диссертации о спорах, возбужденных Несторием!

60) По требованию Диоскора те, которые не были в состоянии громко кричать, протягивали вперед свои руки. На Халкидонском соборе восточные епископы протестовали против таких возгласов; но египтяне были более последовательны, когда объявили tauta kai tote eipamen kai nun legomen. (Concil. том IV, стр. 1012).

61) Евсевий, епископ Дорилейский: это свидетельство Евагрия (кн. 2, гл. 2) подтверждается историком Зонарой (том II, кн. 13), который утверждает, что Диоскор брыкался, как дикий осел. Но выражения Либерата (Brev. гл. 12, in Concil. том VI, стр. 438) более осмотрительны, и Акты Халкидонского собора, которые так щедры на слова человекоубийца, Каин и пр., не подтверждают такого резкого обвинения. Монаха Барсуму обвиняют в особенности — esfadze ton makarion Flauianon autos estike kai elege, spsadzon. (Concil. том IV, стр. 1423). Неандер рассказывает (4. 220), к каким наглым насилиям прибегал Диоскор на втором Эфесском соборе. Депутаты, которые были отправлены туда Львом Великим по приглашению Феодосия, спаслись с большим трудом и, чтобы возвратиться домой невредимыми, должны были пробираться окольными дорогами. От этого римского первосвященника собор и получил название Разбойничьего. Барсума был в Сирии игуменом, стоял во главе партии, преданной Кириллу и был горячим противником Феодорита (Неандер, 4. 199). В качестве ревностного приверженца Диоскора он был допущен к участию в заседаниях собора и в подаче голосов для того, чтобы отстаивать антинесторианские верования живших в этом округе монахов. На заседания собора была допущена многочисленная толпа этих монахов в качестве простых слушателей, а в сущности для того, чтобы своими дерзкими возгласами влиять на ход прений.— Издат.)

62) Акты Халкидонского собора (Concil. том IV, стр. 761-2071) заключают в себе акты собора Эфесского (стр. 890-1189), которые, в свою очередь, заключают в себе акты собора Константинопольского, собиравшегося при Флавиане (стр. 930-1072), и нужно много внимания, чтобы не запутаться в этой двойной вставке. Весь ход дела относительно Евтихия, Флавиана и Диоскора описан Евагрием (кн. 1, гл. 9-12, и кн. 2, гл. 1-4) и Либератом (Brev. гл. 11-14). Еще раз и, может быть, в последний раз я ссылаюсь на тщательные исследования Тильемона (Mém. Ecclés, том XV, стр. 479-719). В моем длинном и

утомительном странствовании меня гораздо долее будут сопровождать летописи Барония и Пажи. (Деревня Кади — Киуй стоит в настоящее время на том месте, где когда-то стоял знаменитый Халкидон. Porter's Travels, II, 737.— Издат.)

63) (Concil. том IV, стр. 1276). В греческой Антологии сохранился образчик народного остроумия, возбужденного озлоблением (кн. 2, гл. 5, стр. 188, изд. Wechel), хотя ее издателию Бродею не был известен смысл остроты. Безымянный автор эпиграммы прибегает к довольно удачной игре слов, смешивая епикопское приветствие: "Мир всем!" с настоящим или с извращенным именем епископской наложницы:— Мне неизвестно, был ли патриарх,— который, как кажется, был очень ревнивым любовником,— изображен в лице Кимона в предшествующей эпиграмме; там говорится о peos estekos, на который с завистью и удивлением смотрел сам Приап.

64) Те, которые верят в непогрешимость соборов, пусть попробуют объяснить смысл их постановлений. Самые влиятельные из епископов имели при себе пристрастных или небрежных переписчиков, которые повсюду рассылали составленные ими копии. Наши греческие манускрипты запятнаны ложным и запрещенным выражением ek ton psyseon (Concil. том III, стр. 1460); произведение папы Льва I, как кажется, никогда не было верно переведено, а старинные латинские переложения существенно разнятся от теперешней Вульгаты, которая была сверена (A.D. 550) римским священником Рустиком с лучшими манускриптами константинопольского 'Akoimetoi (Ducange, C. P. Chrictiana, кн. 4, стр. 151) — знаменитого монастыря латинов, греков и сирийцев. См. Concil. том IV, стр. 1959-2049 и Pagi, Critica, том II, стр. 326 и сл.

65) Она неясно изображена в микроскопе Петавия (том V, кн. 3, гл. 5); однако этот тонкий богослов сам опасается — ne quis fortasse supervacaneam, et nimis anxiam putet hujusmodi vocularum unquisitionem, et ab instituti theologici gravitate alienam (стр. 124).

66) Concil. том IV, стр. 1449). Евагрий и Либерат описывают лишь мирную сторону этого собора и благоразумно обходят горящие уголья, suppositos cineri doloso.

67) См. в Приложении к актам Халкидонского собора одобрение этого собора Маркианом (Concil. том IV, стр. 1781, 1783), письма этого императора к монахам Александрии (стр. 1791), горы Синая (стр. 1793) Иерусалима и Палестины (стр. 1798), его законы, направленные против евтихиан (стр. 1809, 1811, 1831) и переписку Льва с провинциальными соборами относительно происшедшего в Александрии переворота (стр. 1835, 1930).

68) Фотий (или, скорей, Евлогий Александрийский) сознается в одном прекрасном месте своего сочинения, что это двойное обвинение папы Льва и его Халкидонского собора не было лишено основания. (Bibliot. cod. 225, стр. 768). Он вел двойную борьбу с врагами церкви и поражал каждого из врагов стрелами их противников. В борьбе с Несторием он, по-видимому, одобрял монофизитов; в борьбе с Евтихием он, по-видимому, поддерживал несториан. Он ссылается на то, что действия святых следует истолковывать самым снисходительным образом; если бы то же правило было распростра-

нено на еретиков, то все шумные религиозные распри улетучились бы бесследно.

69) Ailouros это прозвище он получил оттого, что предпринимал ночные экспедиции. В темноте он бродил переодетым по монастырским кельям и нашептывал своим погруженным в сон собратьям слова, принимавшиеся за откровение свыше. (Theodor. Lector. кн. 1). Протерий был умерщвлен в 457 г. Звание, которого достиг Тимофей Элур с помощью нашептываний, было отнято у него, по прошествии трех лет, императором Львом, который сослал его в Херсон. Во время узурпации Василиска в 476 г. ему была возвращена прежняя должность, а так как он в ту пору уже был стар, то ему дозволили спокойно восседать на патриаршем престоле до его смерти, случившейся в 477 году. (Неандер, IV, 233-236. Клинтон, F.R. I, 449, II, 544.— Издат.)

70) Таково гиперболическое выражение Энотикона. (В то время как соперничество из-за важной должности александрийского патриарха истощало общественные силы непрестанными смутами и убийствами, Палестину также раздирали внутренние смуты. Неандер (IV, 232) говорит: "Фанатичный монах Феодосий властвовал над тамошними монастырями и сеял раздоры своими неистовыми нападками на тех, кто не отвергал постановлений Халкидонского собора. Иерусалимский патриарх Ювеналий был отправлен в ссылку, и его место было занято Феодосием, который стал низлагать и назначать епископов по своему личному произволу. То же делалось и в других городах. Это зло можно было пресечь только энергичными мерами, и провинции опустошались огнем и мечом".— Издат.)

71) См. Хронику Виктора Тунисского в Lectiones Antiquae Канизия, снова изданных Баснажем, том I, стр. 326.

72) Энотикон был переписан Евагрием (кн. 3, гл. 13) и переведен Либератом (Brev. гл. 18). Пажи (Critica, том II, стр. 411) и Ассеман (Bibliot. Orient. том I, стр. 343) довольны тем, что в нем нет никакой ереси; но Петавий (Dogmat. Theolog. том V, кн. 1, гл. 13, стр. 40) по непонятной для нас причине говорит: Chalcedonensem ascivit. Его противники могли бы вывести из этих слов заключение, что он никогда не читал Энотикона. (Главной целью Энотикона было восстановление спокойствия в Египте; но не все жители этой страны были расположены подчиняться ему.— Немецкий Издатель.) (Этот "Конкордат", как его называет Неандер (4, 239), имел более широкую цель; он имел в виду установить "основы для умиротворения всех церквей" и становился на такую среднюю почву, на которой "никакая партия не могла бы клеймить другую названием еретической". Но и в этом случае раздраженные умы невольно доказали, что согласие и истина не были их главной целью. "Энотикон не только не положил конца расколу, но придал ему еще более широкие размеры. Вместо двух партий образовались четыре партии — фанатики и умеренные обеих партий, принявшие соглашение. После смерти Зинона Анастасий заботился только о сохранении спокойствия и о том, чтобы наложить печать молчания на тех, кто создавал новых еретиков; поэтому он старался поддержать соглашение. Но его умеренность внушала к нему недоверие и даже выдавалась за гонение. В его царствование

и в Сирии, и в Палестине, и в Египте, и в Константинополе возникали серьезные смуты, вызванные этой борьбой".— Издат.)

73) См. Renaudot (Hist. Patriarch. Alex. стр. 123, 131, 145, 195, 247). Они согласились на примирение благодаря стараниям Марка 1 (A.D. 799-819), который назначил их вождей епископами Атриба и Тальбы (быть может, Тавы; см. D'Anville, стр. 82) и восполнил таинства, которые оставались несовершенными за недостатком епископского рукоположения. Acephaloi, или безголовая школа, назывались так потому, что не имели начальника или вождя. (Неандер, 4, 239). Они были самыми усердными из всех приверженцев монофизитской партии и требовали безусловного отречения от постановлений Халкидонского собора. В их исступлении была метода, а в их безрассудствах — система; иначе можно бы было предположить, что они получили свое прозвище оттого, что у них не было седалища разума.— Издат.

74) De his quos baptizavit, quos ordinavit Acacius, majorum traditione confectam et veram, praecipue religiosae solicitudini congruam praebemus sine diffecultate medicinam. (Gelasius, in epist. 1, ad Euphemium, Concil. том V, 286). Предложение лекарства доказывает существование болезни, и следует полагать, что много людей погибло до прибытия римского врача. Даже Тильемона (Mém. Eccĺes. том XVI, стр. 372, 642 и сл.) возмущают гордость и бесчеловечность пап; он говорит: "Теперь они охотно взывают к св. Флавиану Антиохийскому, св. Илии Иерусалимскому и другим, а когда эти святые жили на земле, они отказывали им в приобщении св. таинств. Но кардинал Бароний тверд и непреклонен, как камень св.Петра."

75) Их имена были выскоблены в церковных списках: ex venerabili diptycho, in quo piae memoriae transitum ad coelum habentium episcoporum vocabula continentur. (Concil, том IV, стр. 1846). Следует полагать, что эти церковные записи были то же, что книга жизни.

76) Петавий (Dogmat. Theolog. том V, кн. 5, гл. 2-4, стр. 217-225) и Тильемон (Mém. Eccĺes. том XIV, стр. 713 и сл., 799) изложили учение о Трисагионе и его историю. В течение двенадцати столетий, отделяющих Исайю от Проклова мальчика, взятого на небеса в глазах константинопольского епископа и тамошних жителей, этот гимн был значительно усовершенствован. Мальчик слышал, как ангелы пели: "Свят Господь! Свят Всесильный! Свят Бессмертный!"

77) Это был антиохийский патриарх Петр Кнафей, прозванный сукновалом (этим ремеслом он занимался, когда жил в своем монастыре). Его скучную историю рассматривали: Пажи в своих Летописях (A.D. 477-490) и Валуа в своей диссертации, помещенной в конце изданных им сочинений Евагрия. (Иоанн Малала и Никифор ошибочно приписывают Зинону возвышение Петра-сукновала. Он был возведен в епископское звание узурпатором Василиском в 476 г. и отставлен от должности по возвращении Зинона в 477 г. После того как патриарший престол был занят одним вслед за другим четырьмя лицами, ему возвратили в 485 г. прежний сан; он умер в 488 г. (Clinton. H.R. 553-555).— Издат.)

78) Подробности о смутах, возникавших в царствование Анастасия, разбросаны в хрониках Виктора, Марцеллина и Феофана. Так как последняя из этих хроник еще не была опубликована во времена Ба-

рония, то у его критика Пажи можно найти сведения и более полные, и более точные.

79) Описание исторических событий от созвания Халкидонского собора до смерти Анастасия можно найти в Требнике Либерата (гл. 14-19), во второй и третьей книгах Евагрия, в Извлечении из двух книг Феодора-чтеца, в Актах соборов и в Посланиях пап (Concil. том V). Дальнейшие подробности разбросаны в некотором беспорядке в пятнадцатом и шестнадцатом томах Mémoires Ecclésiastiques Тильемона. Здесь я должен навсегда проститься с этим бесподобным руководителем, в котором ханжество перевешивалось важными достоинствами — ученостью, трудолюбием, правдолюбием и строгой точностью. Смерть помешала ему довести до конца задуманное им описание шестого века истории церкви и империи.

80) Обвинения, взводимые в Анекдотах Прокопия (гл. 11, 13, 18, 27, 28 с учеными примечаниями Алеманна), находят скорей подтверждение, чем опровержение, в Актах соборов, в четвертой книге Евагрия и в сетованиях Африканца Факунда в его двенадцатой книге — de tribus capitulis, "cum videri doctus appetit importune... spontaneis quaestionibus ecclesiam turbat". См. Прокоп. de Bell. Goth. кн. 3, гл. 35 (Неандер (4, 244) говорит о Юстиниане, что "он выдавал себя за ревностного поборника Халкидонского православия. Склонность к вмешательству в богословские споры была самой сильной его страстью, и он очень охотно принял бы на себя роль церковного законодателя в том же смысле, в каком он был светским законодателем; но чем более он действовал или полагал, что действует по своему собственному внушению, тем более служил он орудием для других". В заключение Неандер прибавляет (стр. 288): "Продолжительное царствование Юстиниана причинило самый большой вред греческой церкви". Анфимий, будучи недоволен своим скромным Трапезундским епископством, добивался звания епископа Константинопольского и получил его благодаря тому, что умел снискать милостивое расположение Феодоры. Завистливые соперники обвинили его в ложном учении и привлекли на свою сторону главу западной церкви Агапия, находившегося в ту пору в Константинополе в качестве поверенного Теодориха при византийском дворе. Этот первосвященник встревожил совесть Юстиниана; Анфимий был уволен от должности; вслед за этим возникли интриги и смуты, распространившиеся от Иерусалима с одной стороны до самого Рима с другой, и едва державшаяся на ногах империя была еще более ослаблена этими внутренними потрясениями.— Издат.)

81) Прокоп. de Edificiis, кн. 1, гл. 6, 7 и сл. passim.

82) Прокоп. de Bell. Goth. кн. 3, гл. 32). В жизнеописании св. Евтихия (apud Aleman. ad Procop. Arcan. гл. 18) автор приписывает Юстиниану такой же характер с целью похвалить его.

83) За такие благоразумные и умеренные чувства Алеманн бичует Прокопия (de Bell. Goth. кн. 1, гл. 3) в своем предисловии, относя его к разряду политических христиан — sed longe verius haeresium omnium sentinas, prorsusque Atheos, таких отвратительных атеистов, которые проповедуют, что следует подражать милосердию Бога к людям (Ad Hist. Arcan. гл. 13).

84) О предоставлении этого выбора, составляющем крайне интерес-

ную подробность, сохранились сведения у Иоанна Малалы (том II, стр. 63, изд. Венец. 1733), который заслуживает все более и более доверия по мере того, как приближается к концу своего произведения. После перечисления еретиков — несториан, евтихиан и пр. ne expectent, говорит Юстиниан, ut digni venia judicentur: jubemus, enim ut... convicti et aperti haeretici justae et idoneae animadversioni subjiciantur. Бароний переписывает из Кодекса этот Эдикт и одобряет его (A.D. 527, N 39, 40).

85) Относительно характера и принципов монтанистов см. Мозгейма, de Rebus Chist. ante Constantinum, стр. 410-424.

86) Феофан, Хроника, стр. 153. Один из азиатских епископов, монофисит Иоанн, сообщает более достоверные сведения об этом деле, в котором он сам принимал участие по приказанию императора. (Asseman. Bibl. Orient. том II, стр. 85).

87) Сравн. Прокопия (Hist. Arcan. гл. 28 и примечания Алеманна) с Феофаном (Chron. стр. 190). (Никейский собор возложил на александрийского патриарха или, верней, на александрийских астрономов ежегодное назначение дня, в который следовало праздновать Пасху, и мы до сих пор могли бы читать, но не читаем, пасхальные послания св. Кирилла, дошедшие до нас в значительном числе. С тех пор как в Египте утвердилось влияние монофиситов, католиков сбивал с толку тот же самый нелепый предрассудок, который так долго не дозволял протестантам усвоить Григорианский стиль.

88) Относительно религии и истории самаритян см. ученое и беспристрастное сочинение Баснажа Histoire des Juifs.

89) Сихем, Неаполис, Наплус — таковы старинное и новейшее название того города, где жили самаритяне; он лежал в долине между бесплодным Ебалом, горой Проклятий к северу и плодоносным Гаризимом, или Благословенной горой к югу: он находился в десяти или одиннадцати часах пути от Иерусалима. См. Maundrell, Journey from Aleppo etc., стр. 59-63.

90) Прокоп. Анекдоты, гл.II; Феофан, Хрон. стр. 152; Иоанн Малала, Хрон. том II, стр. 62. Мне приходит на память чье-то полуфилософское, полусуеверное замечание, что провинция, которая была разорена ханжеством Юстиниана, была та самая, через которую мусульмане проникли в империю.

91) Подлинные слова Прокопия достойны внимания: Anecdot. гл. 13.

92) См. Хронику Виктора, стр. 328 и подлинное свидетельство Юстиниановых законов. Сам Бароний был очень доволен первыми годами царствования Юстиниана, который любезничал с папами, пока не забрал их в свои руки.

93) Прокопий, Anecdot. гл. 13; Евагрий, кн. 4, гл. 10. Если церковный историк и не читал произведений тайного историка, то высказываемое ими обоими подозрение по меньшей мере служит доказательством общей ненависти.

94) Относительно трех глав можно найти много достоверных, но бесполезных сведений в подлинных актах Пятого вселенского собора, собиравшегося в Константинополе. (Concil. том VI, стр. 1 — 194). Грек Евагрий менее подробен и менее точен (кн. 4, гл. 38), чем три ревностных африканца: Факунд (в своих двенадцати книгах de tribus capitulis, которые изданы самым аккуратным образом Сирмондом),

Либерат (Breviarum, гл. 22-24) и Виктор Тунисский в своей Хронике (том I, Antiq. Lect. Canisii, стр. 330-334) Liber Pontificalis, или Anastasius (in Vigilio Pelagio, etc.) представляет самобытное итальянское свидетельство. Читатель нашего времени может извлечь некоторые сведения из сочинений Dupin (Bibliot. Eccles. том 5, стр. 189, 207) и Basnage (Hist. de l'Eglise, том 1, стр. 519 — 541); однако у этого последнего заметна твердая решимость унизить авторитет и характер пап. (Слова Три Главы представляют неправильный перевод слов — de tribus capitulis, которые означают не главы, а три пункта или предмета споров, так долго волновавших церковь (Неандер, 4, 254). Этот Эдикт, подобно Зинонову Энотикону, был издан Юстинианом с целью примирить разномыслия, но также не достиг цели.— Издат.)

95) Ориген действительно слишком охотно подражал plane u dussebeia древних философов. (Юстиниан, ad Mennam, in Concil. том VI, стр. 356). Его умеренные мнения слишком расходились с пылким усердием духовенства, и его обвиняли в еретической преданности здравому смыслу.

96) Basnage (Prefat. стр. 11-14, ad tom. 1, Antiq. Lect. Canis) очень верно взвесил и виновность, и невинность Феодора Мопсуэстийского; если он действительно написал десять тысяч томов, то ему можно извинить столько же ошибок. Он один, без своих двух единомышленников, внесен в составленный после его смерти список ересиархов, а Ассеман (Bibliot. Orient. том IV, стр. 203-207) счел своим долгом оправдать этот приговор.

97) См. жалобы Либерата и Виктора и воззвания, с которыми папа Пелагий обращался к завоевателю и к экзарху Италии. Schisma... per potestates publicas opprimatur, etc. (Concil. том VI, стр. 467 и сл.) Одна армия была задержана для подавления восстания одного иллирийского города. См. Прокопия (de Bell. Goth. кн. 4, гл. 25): Он, повидимому, обещал написать историю церкви. Она была бы и интересна, и беспристрастна.

98) Папа Гонорий, A.D. 638, примирил с церковью аквилейских епископов (Muratori, Annali d'Italia, том V, стр. 376); но они снова отложились от нее, и раскол не был окончательно прекращен до 698 года. За четырнадцать лет перед тем испанская церковь отнеслась к постановлениям Пятого вселенского собора с презрительным молчанием. (XIII Concil. Toletan. in Concil. том VII, стр. 487-494.

99) Никетий, епископ Трирский (Concil, том VI, стр. 511-513); он сам, подобно большинству прелатов галликанской церкви (св. Григорий, посл. 1.7, посл. 5, in Concil, том VI, стр. 1007), был устранен от духовного общения с четырьмя патриархами вследствие своего отказа осудить три главы. Бароний едва не осуждает Юстиниана на вечные мучения (A.D. 565, N 6).

100) После рассказа о последних еретических заблуждениях Юстиниана (кн. 4, гл. 39-41) и об Эдикте, который был издан его преемником (кн. 5, гл. 3), Евагрий наполняет остальные части своей истории не церковными, а мирскими событиями.

101) Необычайность и, быть может, непоследовательность этого учения несториан были замечены Ла Крозом (Christianisme des Indes, том 1, стр. 19, 20) и более подробно изложены Абульфараджем

(Bibliot. Orient. том II, стр. 292, Hist. Dynast. стр. 91, vers. Latin. Pococк) и даже Ассемани (том IV. стр. 218).Они, как кажется, не знали того, что могли бы сослаться на положительное свидетельство эктезиса (обычный упрек монофизитов). (Concil. том VII, стр. 205).

102) См. православное учение у Петавия (Dogmata Theolog. том V, кн. 9, гл. 6-10, стр. 433-447); вся глубина этого спора исчерпана в греческом диалоге между Максимом и Пирром (ad calcem том VIII, Annal. Baron., стр. 755-794); этот диалог был воспроизведением действительной беседы и имел последствием обращение в истинную веру на короткое время.

103) Implisimam ecthesim... scelerosum typum (Concil. том VII, стр. 366) diabolicae operationis genimina (может быть, germina или иначе то греческое слово gennemata, которое стоит в подлиннике. Concil. стр. 363, 364) — таковы выражения восемнадцатой анафемы. В своем послании к галликанскому епископу Аманду папа Мартин клеймит монофелитов и их ересь с такой же язвительностью (стр. 392).

104) Страдания Мартина и Максима описаны с трогательной простотой в их подлинных письмах и Актах (Concil. том VII, стр. 63-78. Бароний, Annal. Eccles. A.D. 656, N 2 et annos subseguent). Впрочем, наказание за их неповиновение, , было предварительно установлено в типе Констанса. (Concil. том. VII, стр. 240).

105) Евтихий (Annal. том II, стр. 368) впадает в грубую ошибку, когда утверждает, что участвовавшие на римском соборе сто двадцать четыре епископа переехали в Константинополь, и затем, присовокупляя их к ста шестидесяти восьми греческим епископам, говорит, что на Шестом вселенском соборе присутствовало двести девяносто два отца церкви.

106) Монофелит Констанс был всеми ненавидим (говорит Феофан в Хронике, стр. 292). Когда монофелитскому монаху не удалось совершить чудо, народ стал шикать (Concil. том VII, стр. 1032); но это была естественная и преходящая эмоция, и я сильно опасаюсь, что эта последняя была предвкушением православия в благодушных жителях Константинополя.

107) Историю учения монофелитов можно проследить по актам соборов Римского (том VII) и Константинопольского. Бароний отыскал в Ватиканской библиотеке несколько оригинальных документов, а усердие Пажи исправило недостатки его хронологии. Даже у Дюпена (Bibliotéque Ecclés. том VI, стр. 57-71) и Баснажа (Hist. de l'Eglise, том 1, стр. 541-555) можно найти сносное сокращение этой истории.

108) На Латеранском соборе 679 года англо-саксонский епископ Вильфрид подписался pro omni aquilanori parte Britanniae et Hiberniae, quae ab Anglorum et Brittonum, necnon Scotorum et Pictorum, gentibus colebantur (Eddius, in Vit. St. Wilfrid. гл. 31, apud. Pagi, Critica, том III, стр. 88). Феодор (magnae insulae Britanniae archiepiscopus et philosophus) долго заставлял себя ждать в Риме (Concil. том VII, стр. 714); но он удовольствовался созванием (A.D. 680) провинциального собора в Гатфильде, на котором получил декреты папы Мартина и первого Латеранского собора против монофелитов (Concil. том VII, стр. 597 и сл.). Монах из Тарса, в Киликии, по имени Феодор был возведен папой Виталием (A.D. 668, см. Барония и Пажи) в звание примаса Британии; уважение папы к учености и

благочестию этого святого было ослаблено недоверием к его национальному характеру — ne quid contrarium veritati fidei, Graecorum more, in ecclesiam cui praeesset introduceret. Этого уроженца Киликии отправили из Рима в Кентербери под опекой африканского руководителя (Bedae Hist. Eccles. Anglorum, кн. 4, гл. 1). Он усвоил верования Рима, и те же самые понятия о воплощении перешли от Феодора к новейшим епископам, которые благодаря своему здравомыслию едва ли часто углубляются в эту непонятную тайну. (Вигхард, возведенный Кентским королем Эгбертом в звание архиепископа Кентерберийского, умер в Риме, куда ездил за рукоположением. Виталий назначил на его место аббата находившегося подле Неаполя Ниридийского монастыря, по имени Адриан, который отклонил это назначение и рекомендовал вместо себя монаха Феодора. Папа одобрил этот выбор с тем условием, что Адриан будет сопровождать своего друга. После их прибытия в Британию новый архиепископ дал своему помощнику аббатство св. Петра (впоследствии св. Августина); они не только действовали в полном согласии, но распространяли одни и те же идеи. Беда говорит, что Феодор был первый архиепископ, "которому повиновалась вся английская церковь" (Ecc. Hist. стр. 170-172, изд. Bohn.— Издат.)

109) Это название не было известно до десятого столетия и, как кажется, было сирийского происхождения. Оно было придумано яковитами и с жадностью усвоено несторианами и мусульманами; но католики принимали его без стыда, и оно часто встречается в Летописях Евтихия (Asseman. Bibliot. Orient. том II. стр. 507 и сл.; том III, стр. 355. Renaudot. Hist. Patriarch. Alexandrin. стр. 119). Emeis douloi tou Basileôs — таково было приветствие отцов церкви на Константинопольском соборе (Concil. том. VII, стр. 765).

110) Сирийский язык, который туземцы считают за первобытный, разделялся на три диалекта: 1. Арамейский, который был усовершенствован в Эдессе и в городах Месопотамии. 2. Палестинский, который был в употреблении в Иерусалиме, Дамаске и в остальной Сирии. 3. Набатейский, который был деревенским диалектом, употреблявшимся в горах Ассирии и в деревнях Ирака (Gregor. Abukpharag. Hist. Dynast. стр. 11). Относительно сирийского языка см. Еведиисуса (Asseman. том III, стр. 326 и сл.), который только из предубеждения мог отдавать ему предпочтение перед арабским.

111) Я не буду скрывать моего невежества под той добычей, которую мог бы собрать с Симона, Вальтона, Милля, Ветштейна, Ассеманни, Лудольфа, Ла Кроза, с которыми я довольно внимательно справлялся. Как кажется, можно прийти к следующим выводам: 1) что из всех текстов, восхваляемых отцами церкви, едва ли хоть один дошел до нас в своей первобытной чистоте; 2) что сирийский текст имеет самые основательные притязания на первенство и что согласие восточных школ есть доказательство того, что этот текст древнее их раскола.

112) В том, что касается монофиситов и несториан, мне оказала важные услуги Biblioteca Orientalis Clementino-Vaticana Иосифа Симона Ассеманни. Этот ученый-маронит был отправлен в 1715 году папой Климентом XI с поручением посетить египетские и сирийские монастыри в поисках за манускриптами. Изданные им в Риме в 1719-1728

гг. четыре тома in folio заключают в себе только часть, и, по-видимому, самую ценную часть, его обширного труда. В качестве сирийского уроженца и ученого он был хорошо знаком с сирийской литературой, и хотя он был в зависимости от Рима, он старался быть сдержанным и беспристрастным.

113) См. Арабские Каноны Никейского собора в переводе Авраама из Эккеля, N 37-40. Concil. том II, стр. 335-336, изд. Венец. Эти общеупотребительные названия Канонов Никейского собора и Канонов Арабских оба апокрифические. Никейский собор утвердил не более двадцати Канонов (Theodoret, Hist. Eccles. кн. 1, гл. 8); а остальные семьдесят или восемьдесят взяты от соборов греческой церкви. Издание, выпущенное на сирийском языке Маруфой, не дошло до нас (Asseman. Bibliot. Oriental, том 1, стр. 195; том III, стр. 74), а в арабском тексте недавно сделано много приписок. Однако этот устав содержит в себе много интересных сведений о древнем церковном благочинии, а так как к нему относятся с одинаковым уважением все восточные христианские общины, то следует полагать, что он был законом до возникновения раскола несториан и яковитов (Fabric. Bibliot. Orient, том XI, стр. 363-367).

114) Феодор-чтец (кн. 2, гл. 5-49, ad calcem Hist. Eccles) упоминает об этой персидской школе в Эдессе. То, что касается ее древнего блеска и двух эпох ее упадка (A.D. 431 и 489), удовлетворительно выяснено Ассеманни (Biblioth. Orient. том II, стр. 402; III, стр. 376-378; IV, стр. 70-924).

115) Диссертация о положении несториан разрослась под пером Ассеманни в целый том in folio из девятисот пятидесяти страниц, и его ученые исследования изложены в самом ясном порядке. Кроме этого четвертого тома Bibliotheca Orientalis могут служить полезным пособием извлечения, помещенные в трех первых томах (том 1, стр. 203; II, стр. 321-463; III, 64-70, 378-395 и сл., 403-408, 580-589).

116) См. Topographia Christiana Козьмы, прозванного Indicopleustes, или индийским мореплавателем, кн. 3, стр. 178, 179; кн. II, стр. 337. Некоторые интересные извлечения из этого сочинения можно найти у Фотия (cod. 36, стр. 9,10, изд. Hoeschel), у Thevenot (в первой части его Relations des Voyages, etc.) и у Фабриция (Bibliot. Graec. кн. 3, гл. 25, том II, стр. 603-617); а все сочинение было издано Монфоконом в Париже в 1707 г., в Nova Collectio Patrum (том II, стр. 113-346). Автор имел целью опровергнуть нечестивые мнения тех, которые утверждали, что земля имеет форму шара, а не гладкой продолговатой поверхности, как это видно из Священного Писания (кн. 2, стр. 138). Но нелепости монаха смешаны с практическими сведениями путешественника, который совершил свою поездку, A.D. 522, и издал свою книгу в Александрии, A.D. 547 (кн. 2, стр. 140, 141. Montfaucon, Praetat, гл. 2). Несторианские верования Козьмы не были известны ученому — издателю его сочинения; их обнаружил La Croze (Christianisme des Indes, том. I, стр. 40-55) и то же подтвердил Assemannus (Bibliot. Orient. том IV, стр. 605, 606).

117) История священника Иоанна на своем продолжительном пути до Мосула, Иерусалима, Рима и т.д. превратилась в чудовищную басню, в которой некоторые черты были заимствованы от Тибетского Ламы (Hist. Généalogique des Tartares, ч. 2, стр. 42. Hist. de

Gengiscan, стр. 31 и сл.) и которую португальцы по невежеству отнесли к императору Абиссинии (Ludolph. Hist. Aethiop. Comment. кн. 2, гл. 1). Однако нет ничего неправдоподобного в том, что в одиннадцатом и двенадцатом столетиях несторианское христианство исповедовалось ордой кераитов (D'Herbelot, стр. 256, 915, 959; Assemannus, том IV, стр. 468-504). (Относительно священника Иоанна см. путешествие Марко Поло, стр. 121, изд. Bohn и рассказы английских путешественников Портера и Лэйяра.— Издат.)

118) О том, что в промежуток времени между седьмым и тринадцатым столетиями в Китае были христиане, неопровержимо свидетельствуют и китайские, и арабские, и сирийские, и латинские писатели. (Assemannus, Biblioth. Orient. том IV, стр. 502-552. Mém. de l'Académie des Inscript. том XXX, стр. 802-819). Надпись в Сиганфу, описывающая успехи Несторианской церкви со времен появления первых миссионеров, A.D. 636, до 781 года, в котором была сделана эта надпись, считается за подложную и Ла Крозом, и Вольтером, и некоторыми другими писателями; но эти господа из опасения сделаться жертвами обмана со стороны иезуитов были введены в заблуждение своей собственной прозорливостью.

119) Iacobitae et Nestorianae plures quam Graeci et Latini. Iacob. a Vitriaco, Hist. Hierosol. кн. 2, гл. 76, стр. 1093, в Gesta Dei per Francos. Их число приводит Thomassin в своей Discipline de l'Eglise, том I, стр. 172.

120) Разделение патриархата можно проследить в Bibliotheca Orient. Ассеманна, том I, стр. 523-549; том II, стр. 457 и сл.; том III, стр. 603, 621-623; том IV, стр. 164-169, 423, 622-629 и сл.

121) Fra Paolo указывает в своей седьмой книге на высокопарный язык, которым выражались в Риме по поводу изъявления покорности одним несторианским патриархом; папа употреблял громкие слова: Вавилон, Ниневия, Арбела, трофеи Александра, Таврис и Экбатана, Тигр и Инд. (Многие из посещавших Восток путешественников упоминают о живущих в Курдистане несторианах и несторианах-халдейцах, которым турки до сих пор дают название Назара. См. Porter's Travels, II, 578 и Layard's Nineveh, I, 233-261; также сочинение, написанное Лэйяром, после вторичного посещения тех же стран, под заглавием Nineveh and Babylon, стр. 421-435. Ван и Ормия (Урмия) были названиями двух различных местностей. См. Портера, II, 591; Лэйяра, 390, 406.— Издат.)

122) Впрочем, индийский миссионер св. Фома, которого одни считают за апостола, другие за манихея, третьи за армянского купца (La Croze, Christianisme des Indes, том I, стр. 57-70), славился еще во времена Иеронима (ad Marcellam, epist. 148). Марко Поло узнал на месте, что он потерпел мученическую смерть в городе Малабаре, или Мелиапуре, только в одной миле от Мадраса (D'Anville, Eclaircissements sur l'Inde, стр. 125). Португальцы основали там епископскую церковь во имя св. Фомы, и святой ежегодно совершал там чудо до тех пор, пока его не заставило умолкнуть соседство нечестивых англичан (La Croze, том II, стр. 7-16).

123) Ни автор Саксонской Хроники (A.D. 883), ни Вильгельм Мальмесбюрийский (de Gestis Regum Angliae, кн. 2, гл. 4, стр. 44) не были способны выдумать в двенадцатом столетии этот необыкновенный

факт; они не были способны объяснить мотивы и образ действий Альфреда, так что их указание, сообщенное мимоходом, лишь возбуждает наше любопытство.

124) Относительно христиан св.Фомы см. Ассеманни Biblioth. Orient. том IV, стр. 391-407, 435-451; Geddes's Church History of Malabar и главным образом La Croze, Histoire du Christianisme des Indes в двух частях in 12-mo, Гага, 1758 — сочинение и ученое, и очень интересное. Все эти писатели черпали свои материалы из одного и того же источника — из рассказов португальцев и итальянцев, а для предрассудков иезуитов служат достаточным противовесом предрассудки протестантов.

125) — таковы выражения Феодора в его трактате о воплощении, стр. 245, 247) в том виде, как они цитированы Ла Крозом (Hist. du Christianisme d'Armenie, стр. 35), который, быть может, из опрометчивости восклицает: quel pitoyable raisonnement! Renaudot слегка упомянул (Hist. Patriarch. Alex. стр. 127-138) о деятельности Севера на Востоке, а с его подлинными верованиями можно познакомиться из письма, которое антиохийский патриарх Иоанн Яковит писал в десятом столетии к его брату Меннасу Александрийскому (Asseman. Bibliot. Orient. том II, стр. 132-141).

126) Epist. Archimandritarum et Monachorum Syriae Secundae ad Papam Hormisdam, Consil. том V, стр. 598-602. Мужество св. Саввы, ut leo animosus, оправдывает подозрение, что эти монахи не всегда довольствовались духовным или оборонительным оружием (Baronius, A.D. 513, N 7 и сл.).

127) Ассеманни (Bibliot. Orient. том II, стр. 10-46) и Ла Кроз (Christianisme l'Ethiopie, стр. 36-40) служат для нас источниками сведений о Ксенайе, или Филоксене, бывшем епископе Мабуга, или Гиераполя, в Сирии. Он превосходно владел сирийским языком и был автором или издателем перевода Нового Завета.

128) Имена и титулы пятидесяти четырех епископов, отправленных в ссылку Юстином, означены в Хронике Дионисия (apud Asseman. том II, стр. 54). Северу было приказано лично явиться в Константинополь для того, чтобы предать его суду, как говорит Либерат (Brev. гл. 19), или для того, чтобы вырезать его язык, как говорит Евагрий (кн. 4, гл. 4). Осмотрительный патриарх не дал себе труда уяснить, для чего его вызывали. Пажи относит этот церковный переворот к сентябрю 518 года (Critica, том II, стр. 506).

129) Некоторые подробности из малоизвестной истории Якова Барадея, или Занзала, разбросаны в сочинениях Евтихия (Annal. том II, стр 144, 147), Ренодо (Hist. Patriarch. Alex. стр. 133) и Ассеманни (Bibliot. Orient. том 1, стр. 424; том II, стр. 62-69, 324-332, 414; том III, стр. 385-388). Греки, как кажется, ничего не знали о его существовании. Сами яковиты охотнее производят свое название и ведут свою генеалогию от апостола св. Иакова. (Иаков был монахом в Фазитле, в округе Низиба; он жил в нужде и лишениях и отличался непоколебимой твердостью и постоянством. Переодевшись в нищего, он пробрался через Сирию и через окрестные провинции с преодолением больших опасностей и отсюда получил прозвище Аль-Барадая, или Барадея, то есть человека, одетого в рубище (Неандер, 4, 272).— Издат.)

130) Подробности о его личности и сочинениях составляют едва ли не самую интересную статью в Bibliotheca Ассеманни (том II, стр. 244-321; там его называют Gregorius Bar-Hebraeus). Ла Кроз (Christianisme d'Ethiopie, стр. 53-63) насмехается над суеверным отвращением испанцев к иудейской крови, которая незаметным образом пятнает и их церковь, и их государство. (Его отец, носивший имя Гаруна (Аарона), принадлежал к числу новообращенных христиан. Сын, родившийся в 1226 г., изучал медицину и занимался медицинской практикой до поступления в духовное звание. Он был так учен и внушал такое уважение своими личными достоинствами, что мусульмане, среди которых он жил, поручали ему воспитание своих сыновей в то время, когда он был епископом в Алеппо.— Издат.)

131) Ла Кроз и даже сириец Ассеманн (том 1, стр 226; том II, стр. 304, 305) порицают это чрезмерное воздержание.

132) Положение монофиситов превосходно объяснено в диссертации, которая помещена в начале второго тома Ассеманни и заключает в себе сто сорок две страницы. Сирийская Хроника Бар-Гебрея или Абульфараджа (Bibliot. Orient. том II, стр. 321-463) заключает в себе двойной список несторианских католикосов и яковитских мафрианов, или приматов.

133) Что эти два названия употреблялись как синонимы, видно из сочинений Евтихия (Annal. том II, стр. 191, 267, 332) и из нескольких подобных мест, которые можно найти в систематической таблице Покока. Он не имел никаких предубеждений против маронитов десятого столетия, и мы можем полагаться на мельхита, свидетельство которого подтверждают и яковиты, и латины.

134) Concil, том VII, стр. 780. Живший в Апамее сирийский священник Константин защищал учение монофелитов с твердостью и с умом (стр. 1040 и сл.).

135) Феофан (Хрон. стр. 295, 296, 300, 306) и Кедрин (стр. 437, 440) описывают подвиги мардаитов; их название (Mard значит на сирийском языке rebellavit) объяснил La Roque (Voyage de la Syrie, том II, стр. 53); время определил Pagi (A.D. 676, N 4-14; A.D. 685, N 3, 4), и даже малоизвестная история патриарха Иоанна Марона (Asseman. Bibliot. Orient. том 1, стр. 496-520) объясняет с 686 до 707 г. смуты, происходившие среди Ливанских гор.

136) В прошедшем столетии еще были целы двадцать больших кедров (Voyage de la Roque, том 1, стр. 68-76), а теперь их остается только четыре или пять. (Volney, том 1, стр. 264). Эти прославленные Священным Писанием деревья охранялись угрозой отлучения от церкви; от них бережливо отрубали кусочки, чтобы делать маленькие крестики и пр.; под их тенью ежегодно служили обедни, а сирийцы приписывали им способность отбрасывать своими ветвями снег, которому Ливан не так верен, как то думал Тацит: inter ardores opacum fidumque nivibus — какая смелая метафора! (Истор. V. 6). (Докт. Lepsius переезжал через Ливан на возвратном пути из Египта и видел старый лес из кедров на большой равнине среди гор. Он присовокупляет, что есть еще другие такие же леса далее к северу. Пни от этих гигантских деревьев имеют в окружности сорок футов, а в вышину девяносто. Самые большие из них, как утверждают, стоят на корню 3.000 лет. Letters from Egypt. стр. 350, изд. Bohn.— Издат.)

137) Свидетельство Вильгельма Трирского (Hist. in Gestis Dei per Francos, кн. 22, гл. 8, стр. 1022) повторяет или подтверждает Jacques de Vitra (Hist. Hierosolym. кн. 2, гл. 77, стр. 1093, 1094). Но этот неестественный союз прекратился вместе с владычеством франков, и Абульфарадж (умерший в 1286 г.) считает маронитов за секту монофелитов (Bibliot. Orient., том II, стр. 292).

138) Я нахожу описание маронитов и их историю в Voyage de la Syrie et du Mont Liban par la Roque (2 том in 12-mo, Амстердам, 1723; в особенности том I, стр. 42-47, 174-184; том II, стр. 10-120). В том, что касается самых отдаленных времен, он придерживается предубеждений Наирона и других римских маронитов — предубеждений, от которых Ассеманни не решается отказаться, но которые он стыдится поддерживать. Источниками сведений могут служить сочинения Яблонского (Institut. Hist. Christ. том III, стр. 186), Нибура (Voyage de l'Arabie etc., том II, стр. 346, 370-381) и в особенности прозорливого Волнея (Vouage en Egypte et en Syrie, том II, стр. 8-31, Париж 1787).

139) La Croze вкратце излагает религиозные верования армян (Hist. du Christ. de l'Ethiopie et de l'Armenie, стр. 269-402). Он ссылается на обширную историю Армении Галана (3 тома in folio, Рим, 1650-1661) и хвалит описание Армении, помещенное в третьем томе Nouveaux Mémoires des Missions du Levant. Произведение иезуита должно иметь существенные достоинства, если его хвалит La Croze.

140) Раскол армян возник, как полагают, через восемьдесят четыре года после Халкидонского собора (Pagi, Critica, ad A. D. 535). Он завершился в семьдесят лет, и мы ведем начало армянской эры с 552 года после P. X. (L'Art de vérifier les Dates, стр. 35). (Религиозное гонение вовлекло армян в восстание и облегчило персам завоевание страны. Хосров побудил их отделиться от греческой церкви, и с его одобрения был созван в 536 году их первым епископом или католикосом Нарсесом собор в Тривене, на котором учение монофиситов было признано истинным, а Халкидонский собор был предан проклятию (Неандер, 4, 271).— Издат.)

141) О мнениях Юлиана Галикарнасского и его успехах можно найти сведения у Либерата (Brev. гл. 19), у Renaudot (Hist. Patriarch. Alex. стр. 132-303) и у Ассеманна (Bibliot. Orient. том II, Dissertat. de Monophysitis, гл. 8, стр. 286).

142) См. замечательный факт двенадцатого столетия в истории Никиты Хониата. Однако за триста лет перед тем Фотий (Послан. 2, стр. 49, изд. Montacut.) прославлял обращение армян.

143) Армяне встречаются на пути всеми путешественниками, а их главная церковь находится на большой дороге, которая ведет из Константинополя в Исфаган; относительно их теперешнего положения см. Fabricius, Lux Evangelii, etc., гл. 38, стр. 40-51; Olearius, кн. 4, гл. 40, Chardin, ч. II, стр. 232; Tournefort, lettre 20, и главным образом Tavernier, том I, стр. 28-37, 510-518 — этого бродячего ювелира, который ничего не читал, но так много и хорошо видел. (Относительно суеверия армян, их невежества и попыток, которые делались с целью просветить их, см. Layard, Nineveh and Babylon, стр. 47, 392, 405-7. В одной из их церквей грубой кистью изображен св. Георгий Победоносец, поражающий насмерть страшного дракона из блестящего медного мушкетона.— Издат.)

144) История александрийских патриархов, от Диоскора до Вениамина, взята из сочинений Renaudot (стр. 114-164) и из второго тома Летописей Евтихия. (В хронологии этих патриархов (F. R. II, стр. 544-548) Клинтон исправил некоторые неточные указания времени и сличил рассказы Иоанна Малалы, Феофана, Виктора Тунисского, Никифора, Либерата и других; он внимательно просмотрел сочинения Pagi и Renaudot и пополнил некоторые пропуски.— Издат.)

145) Liberat. Brev. гл. 20-23. Victor. Chron. стр. 329, 330. Прокоп. Анекдот. гл. 26, 27.

146) Евлогий, бывший прежде того монахом в Антиохии, отличался не столько своим красноречием, сколько своим лукавством. Он доказывал, что не следует пытаться примирить таких врагов религии, как последователи Гаяна и Феодосия, что то же самое суждение может быть православным в устах св. Кирилла и еретическим в устах Севера, что противоречивые мнения св. Льва одинаково согласны с истиной и пр. Его произведения не дошли до нас; они частью сохранились в извлечениях, приводимых Фотием, который изучал их с тщанием и с удовольствием. Сод. 208, 225-227, 230, 280.

147) См. биографию Иоанна-нищелюбивого, написанную его современником, епископом Неаполя на Кипре Леонтием; она написана на греческом языке, но подлинный текст или утрачен, или скрыт; он частью переведен Баронием на латинский язык (A. D. 691, N 9; A. D. 629, N 8). Пажи (Critica, том II, стр. 763) и Фабриций (кн. 5, гл. II, том VII, стр. 454) высказали по этому поводу несколько критических замечаний.

148) Эта цифра взята из интересных Recherches sur les Egyptiens et les Chinois (том II, стр. 192, 193) и, по-видимому, более правдоподобна, чем те шестьсот тысяч древних коптов или пятнадцать тысяч нам современных, о которых говорит Gemelli Carreri. Протестантский Константинопольский патриарх Кирилл Лукар скорбит о том, что эти еретики вдесятеро многочисленнее его православных греков и остроумно применяет к ним слова Гомера (Илиада, 2.128), выражающие полнейшее презрение:. Fabric. Lux Evangelii, 740.

149) Сведения относительно истории коптов, их религии, нравов и пр. можно найти в разнохарактерном произведении аббата Renaudot, которое нельзя назвать ни переводом, ни оригинальным сочинением; в Chronicon Oriental яковита Петра, в двух текстах Авраама Эккелийского, 1651, и Иоанна Симона Ассеманна, Венец. 1729. Эти летописи доходят только до тринадцатого столетия. Более новых сведений следует искать у тех, кто путешествовал по Египту, и в Nouveaux Mémoires des Missions du Levant. В прошедшем столетии уроженец Каира Иосиф Абудакнус издал в Оксфорде, на тридцати страницах, коротенькую Historia Iacobitarum, 147 post 150. (Письма докт. Лепсия из Египта в 1844 г. доставляют более свежие сведения о коптах и представляют их положение более сносным. См. стр. 268-278, изд. Bohn.— Издат.)

150) Около 737 года. См. Renaudot, Hist. Patriarch. Alex. стр. 221-222. Elmacin, Hist. Saracen. стр. 99.

151) Ludolph. Hist. Aethiopic. et Comment. кн. 1, гл. 8. Renaudot, Hist. Patriarch. Alex. 480, и сл. Это мнение было распространено в Египте и в Европе лукавством коптов, гордостью абиссинцев, трусливостью

и невежеством турок и арабов; оно не имеет и тени правдоподобия. Дожди, которые выпадают в Эфиопии, не спрашивают у монарха дозволения подымать воды Нила. Если река приблизится к Напате на три дня пути от Чермного моря (см. географические карты d'Анвилля), то для прорытия канала, способного отвести в сторону ее воды, потребовалось бы все могущество Цезарей и, по всей вероятности, было бы им не по силам. (Lepsius, стр. 223) говорит, что древняя Напата находилась неподалеку от теперешнего города Meraui, который лежит далеко от берега и отделяется от Чермного моря кряжем гор, в которых много порфира, и обширными песчаными степями.— Издат.)

152) Абиссинцы, до сих пор сохранившие оклад и оливковый цвет лица арабов, служат доказательством того, что и двух тысяч лет недостаточно, чтобы изменить у целой расы цвет ее кожи. Нубийцы, которые по своему происхождению африканцы,— настоящие негры: они так же черны, как негры, живущие в Сенегале или в Конго; у них приплюснутые носы, толстые губы и курчавые волосы. (Buffon, Hist. Naturelli, том V, стр. 117, 143, 144, 166, 219, изд. in 12-mo, Париж, 1769). Древние не обращали большого внимания на необычайный феномен, который так сильно занимал философов и богословов нашего времени. (О том, что Фрументий обратил жителей Абиссинии в христианство во времена Афанасия, рассказывают: Брюс по сведениям, добытым из этой страны (Travels, 1, 508) и Неандер (3, 169) по церковной истории Руфина (кн. 1, гл. 9). Оба рассказа существенно сходны до тех пор, когда в последнем из них дается ссылка на Apologia Athanasii в доказательство того, что император Констанций "находил нужным преследовать приверженцев Афанасия даже в этих отдаленных странах". Брюс, напротив того, утверждает, что обращение в истинную веру совершилось так же спокойно, как в более раннюю пору совершилось обращение того же самого народа из языческой веры в иудейскую, что не было ни фанатичных проповедников, ни усердных святых или сумасшедших, ни гонения.— Издат.)

153) Asseman. Bibliot. Orients. том 1, стр. 329.

154) О христианстве нубийцев, A. D. 1153, свидетельствует шериф ал-Эдризи; о нем были сообщены неверные сведения от имени нубийского географа (стр. 18), который выдает нубийских христиан за яковитов. Все слабые лучи исторического света, которые мерцают в истории Ренодо (стр. 178, 220-224, 281-286, 405, 434, 451, 464), относятся к более отдаленной эпохе. Относительно теперешнего положения страны см. Lettres Edifiantes Recueil 4) и Busching (том IX, стр. 152-159, par Berenger). Относительно теперешнего положения нубийцев см. Письма Лепсия, NN 15, 24, 26, 28 и физическую географию их страны, Приложение, стр. 516. Он говорит (стр. 127), что "нубийцы, или барабра (множ. число от слова бербер), интеллигентный, честный и миролюбивый народ, но вовсе не склонный к раболепию, что они хорошо сложены и что цвет их тела красновато-смуглый".— Издат.)

155) Латины неосновательно величают абуну названием патриарха. Абиссинцы признают только четырех патриархов, а глава их церкви не более как митрополит или национальный примас. (Ludolph. Hist. Aethiopic. et Comment. кн. 7, гл. 7). Этому историку не были известны семь епископов, которые, по словам Renaudot (стр. 511), существова-

ли A. D.1131 г. (Абуна происходит от арабского слова абу (отец) и употреблялось у абиссинцев для обозначения их высшего духовного лица. Форма их церковного управления очень проста, и благодаря тому, что у них нет богатых епископов, у них нет ни школ, ни ересей, ни соборов, ни храмов, ни убийств. Это внутреннее спокойствие оставалось нерушимым в течение тысячи с лишком лет. Они содержали в Иерусалиме обитель или, верней, помещение для пилигримов и путешественников. Эта связь с господствовавшей церковью была причиной того, что их царь Зара Иаков, царствовавший с 1434 по 1468 год, послал своих представителей на Флорентийский собор. Эти представители возвратились домой в сопровождении нескольких франгов, или франков, которые впервые ввели в Абиссинии религиозные распри (Bruce's Travels, II, стр. 68. — Издат.)

156) Не понимаю, почему Ассеманн (Bibliot. Oreint. том II, стр. 384) сомневается в том, что Феодора действительно отправляла миссионеров в Нубию и в Эфиопию. Неполные сведения об Абиссинии до 1500 года можно найти у Renaudot (стр. 336-341, 381, 382, 405, 443 и сл., 452, 456, 463, 475, 480, 511, 525, 559-564), который заимствовал их от коптских писателей. А Лудольф ровно ничего не знает об этом предмете.

157) Абиссинские летописи упоминают о том, что первые сношения с португальцами завязались при короле Беда Мариаме, царствовавшем с 1468 по 1478 год. Перед открытием мыса Доброй Надежды принц Генрих Мореплаватель, впервые задумавший это предприятие, отправил двух эмиссаров для собирания сведений о том, как добраться морем до Индии. Эти эмиссары достигли Индии; один из них там умер, а другой, по имени Петр Ковильгам, заехал на возвратном пути в Абиссинию. Согласно с существовавшим в этой стране обычаем, его задержали там силой, но обошлись с ним почтительно, женили его и возвели в важную должность. В 1508 году, во время малолетства Давида Абиссинского, его мать Елена, исполнявшая должность регентши, была встревожена усиливавшимся могуществом живших в соседстве мусульман. Она обратилась за советом к Ковильгаму и по его совету отправила армянского купца Матвея за помощью к живущим в Индии португальцам, тем временем успевшим совершить давно задуманный морской переезд и утвердившим свое владычество в Гоа Альбукерк (бывший в то время португальским вице-королем в Гоа) принял посланца холодно и после разных отсрочек отправил его к своему государю в Лиссабон. Там на Матвея смотрели с недоверием; но благодаря данному ему секретному поручению предложить территориальную уступку взамен просимой помощи он наконец добился того, что его выслушали благосклонно. После продолжительных переговоров он пустился в обратный путь в сопровождении престарелого посла, который умер во время переезда. В Гоа на место этого посла назначили Родериго де Лиму, который по прибытии в Абиссинию нашел самый любезный прием. Давид взял в собственные руки бразды правления и в июле 1518 года нанес решительное поражение своим мусульманским врагам. Не нуждаясь более в союзниках, он с негодованием отказался от предложенной его матерью уступки некоторой части его владений. Родериго был задержан там в течение пяти лет и получил позволение вернуться

домой лишь с тем условием, что в Абиссинии останутся некоторые лица из его свиты. Его домашний священник-алварец написал совершенно неверный рассказ о всех этих сделках, и в особенности о том, как отнеслись абиссинцы к введению у них римского католицизма. (Bruce's Travels, ч. II, стр. 87-107.— Издат.)

158) Ludolph. Hist. Aethiop. кн. 4, гл. 5. Самыми необходимыми ремеслами теперь занимаются там евреи, а иностранная торговля находится в руках армян. Европейская промышленность (artes et opificia) внушала Григорию всего более удивления и зависти.

159) Иоанн Бермудец был этим представителем; он издал в 1569 в Лиссабоне свой рассказ, который был переведен на английский язык Purchas'ом (Pilgrims, кн. 7, гл. 7, стр. 1149 и сл.), а с английского языка на французский Ла Крозом (Christianisme d'Aethiopie, стр. 92-265). Это произведение очень интересно; но есть основание предполагать, что его автор старался ввести в заблуждение и Абиссинию, и Рим, и Португалию. Его право на звание патриарха не ясно и сомнительно. (Ludolph. Comment. N 101, стр. 473). (Бермудец был доктор, состоявший при свите Родериго де Лимы, и один из тех португальцев, которые были задержаны в Абиссинии. Он принял вакантную должность абуны с тем условием, что ему будет дозволено отправиться в Рим и получить от папы посвящение в этот сан. На это он получил согласие, и Павел III назначил его патриархом Абиссинии, Александрии и морей. По возвращении из Рима он попытался руководить молодым принцем Клавдием, скромность которого представляла поразительный контраст со "свирепостью и грубым религиозным рвением невежественного, суеверного и неблаговоспитанного духовного лица". (Bruce's Travels, II, 195. — Издат.)

160) Religio Romana. nec precibus patrum nec miraculis ab ipsis editis suffulciebatur — таковы ничем не опровергнутые слова, с которыми благочестивый император Сусней обратился к своему патриарху Мендецу (Ludolph. Comment. N 126, стр. 529); а такие заявления следует бережно сохранять, так как они служат противоядием против наполненных чудесами легенд). (Гиббон руководствовался самыми надежными авторитетами, но был введен в заблуждение их неверным изложением всего хода этого дела. Во втором томе Bruce's Travels (стр. 173-400) все эти происшествия изложены с большой подробностью на основании сведений, добытых в той самой стране, где они происходили. К этому сочинению и должен обратиться читатель. Когда Клавдия стали сильно теснить мусульмане, Бермудец обратился с просьбой о помощи в Гоа, откуда и получил подкрепление из четырехсот португальцев под предводительством Христофора де Гамы. Но эти войска не только не спасли Абиссинию, но сами были разбиты с большими потерями, а их начальник был убит. При первом залпе мавританской артиллерии туземные войска в ужасе обратились в бегство, оставив европейцев на произвол судьбы. Те из европейцев, которые остались в живых, поселились там на постоянное жительство, вступили в законные браки и образовали нечто вроде постоянной военной миссии, занимавшейся распространением их религиозных верований. В другом неудачном сражении Клавдий был убит, и почти все его владения перешли в руки неприятеля. За-Денгел царствовал с 1595 по 1604 год. Когда он перешел в католическую

веру, его подданные взбунтовались, и, несмотря на содействие португальского отряда, он был разбит и лишился жизни. Его законный наследник Социнион принял имя Малек Сегведа и царствовал с 1605 по 1632 год. Слово Сегвед было прозвищем; оно значило "внушающий страх или уважение" и часто принималось абиссинскими властителями. Из желания расположить к себе португальцев и восстановить внутреннее спокойствие он подчинился римско-католической церкви. Этим он возбудил беспрестанные волнения, и история его двадцатисемилетнего царствования кратко охарактеризована в прокламации, изданной им перед тем, как он отрекся от престола в пользу своего сына. "Таким образом,— присовокупляет Брюс,— в один день разрушились в Абиссинии, и римские верования, и римская иерархия; они были разрушены усилиями гражданской власти, защищавшей себя от захватов духовенства и от церковной тирании".— Издат.)

161) Я хорошо знаю, с какой осторожностью следует касаться вопроса об обрезании. Тем не менее я могу положительно утверждать: 1. Что эфиопы имели физический мотив для совершения обрезания не только над мужчинами, но даже и над женщинами. (Recherches Philosophiques sur les Amèricains, том II). 2. Что этот обряд был в употреблении в Эфиопии задолго до введения иудейской веры и христианской. (Геродот, кн. 2, гл. 104; Marsham, Canon. Chron., стр. 72, 73). "Infantes circumcidunt ob consuetudinem non ob Iudaismum",— говорит абиссинский священник Григорий (apud Fabric. Lux Chistiana, стр. 720). Однако, в пылу полемики португальцев иногда клеймили названием необрезанных. (La Croze, стр. 80. Ludolph. Hist. and Comment. кн. 3, гл. 1).

162) Три протестанских историка: Лудольф (Hist. Aethiopica, франкфурт, 1681; Commentarius, 1691; Relatio Nova etc. 1693, in folio), Геддес (Church History of Aethiopia, Лондон. 1696, in octavo) и Ла Кроз (Hist. du Christianisme d'Ethiopie et d'Armenie, Гага, 1739 in duodecimo) заимствовали свои главные материалы от иезуитов, и в особенности из Всеобщей Истории Теллеца, изданной на португальском языке в Коимбре в 1660 г. Их откровенность может удивлять нас, но самый гнусный из их пороков — склонность к религиозным гонениям — был в их глазах самой похвальной из добродетелей. Лудольф имел некоторые незначительные преимущества благодаря тому, что знал эфиопский язык и лично беседовал с независимым в своих мнениях абиссинским священником Григорием, которого он вызвал из Рима к Саксен-Готскому двору. См. Theologia Aethiopica Григория у Фабриция, Lux Evangelii, стр. 716-734. (Фацилид, вступив на престол после смерти своего отца, принял прозвище султана Сигведа. Он сослал патриарха и миссионеров в Фремону; но узнав, что они замышляют там заговор против него и обратились с просьбой о помощи к своим соотечественникам, находившимся в Индии, он отправил всех португальцев на остров Масуа и вступил в переговоры с прибрежными мелкими владетельными князьями о том, чтобы они навсегда заперли для этой нации свои гавани. (Bruce, II, 409). Однако в Эфиопию от времени до времени проникали миссионеры, возобновлявшие свою неудачную попытку, а в 1715 г. некоторые из них были казнены за нарушение внутреннего спокойствия в стране.— Издат.)

ГЛАВА XLVIII
План остальных частей этого сочинения.— Порядок вступления на престол и характер греческих императоров, царствовавших в Константинополе со времен Ираклия до взятия города латинами.

Я уже проследил непрерывный ряд римских императоров от Траяна до Константина и от Константина до Ираклия и верно изложил как счастливые, так и несчастные события их царствований. Перед нашими глазами уже протекли пять веков упадка и разрушения империи; но от конца моих трудов, от взятия турками Константинополя, меня все еще отделяет с лишком восьмисотлетний период времени. Если бы я стал излагать дальнейшие события с прежней подробностью, мне пришлось бы наполнить много томов мелочными фактами, и читатель не был бы вознагражден за свое терпение ни поучительностью, ни интересом рассказа. По мере того как я стал шаг за шагом следить за упадком и разрушением империи, летописи каждого нового царствования налагали бы на меня все более и более неблагодарную, все более и более печальную задачу. Из этих летописей я извлек бы скучное и однообразное описание все того же бессилия и все тех же бедствий; естественная связь между причинами и проистекавшими от них событиями часто нарушалась бы переходами от одного предмета к другому, а накопление мелочных подробностей ослабило бы ясность и эффект тех общих очерков, в которых заключается и польза, и украшение истории отдаленных времен. Со времен Ираклия театр византийских событий и сужается, и омрачается; пределы империи, установленные законами Юстиниана и победами Велисария, со всех сторон исчезают перед нашими глазами; римское имя, составляющее настоящий предмет наших исследований, сокращается до размеров небольшого уголка Европы, до размеров предместий, окружающих Константинополь, и судьба Греческой империи становится похожей на судьбу Рейна, воды которого теряются в песках, прежде чем смешаться с водами океана. Отдаленность времени и места уменьшает в наших глазах размеры могущества, а эту убыль внешнего величия не восполняют более благородные дары добродетели и гения.

Константинополь, без сомнения, был более богат и многолюден в последние минуты существования империи, нежели Афины в самую цветущую свою эпоху, когда скромная сумма в шесть тысяч талантов, или в один миллион двести тысяч фунтов стерлингов, составляла итог богатств, принадлежавших двадцать одной тысяче взрослых граждан мужского пола. Но каждый из этих граждан был свободным человеком, не боявшимся пользоваться свободой и в своих мыслях, и в словах, и в действиях; его личность и собственность охранялись беспристрастными законами, и он имел право голоса в делах государственного управления. Резко выдававшиеся и разнообразные черты их характера как будто увеличивали их число; под эгидой свободы, на крыльях соревнования и тщеславия, каждый афинянин старался возвыситься до одного уровня с национальным достоинством; с этой высоты некоторые избранные умы заносились за пределы того, что доступно взорам толпы, и судя по тому, как велико бывает число замечательных людей в больших, многолюдных государствах, можно бы было подумать, что в Афинской республике жили миллионы граждан. Территории Афин, Спарты и союзных с ними государств не превышали своими размерами какой-нибудь французской или английской провинции; но после победы при Саламине и Платее эти маленькие республики разрастаются в нашем воображении до гигантских размеров Азии, которую победоносные греки попирали своими ногами. Напротив того, подданные Восточной империи, усваивавшие и бесчестившие названия греков и римлян, представляют безжизненное однообразие гнусных пороков, для которых нельзя найти оправдания в свойственных человеческой натуре слабостях и в которых не видно даже той энергии, которая воодушевляет выдающихся преступников.

Свободные люди древности могли с благородным энтузиазмом повторять слова Гомера, что "с первого дня своего поступления в рабство пленник утрачивает половину своих благородных качеств". Но поэту были знакомы только последствия гражданского или домашнего рабства и он не мог предвидеть, что вторая половина человеческих достоинств может быть уничтожена тем духовным деспотизмом, который сковывает не только действия, но даже мысли распростертого ниц поклонника. Этим двойным игом греки были подавлены при преемниках Ираклия, а в силу неизменного закона спра-

ведливости сами тираны пришли в изнеможение от порочности своих подданных, так что мы напрасно стали бы искать на троне, в лагерях и в школах таких имен и таких характеров, которые стоят того, чтобы их спасли от забвения. И нельзя сказать, чтобы бедность самого сюжета восполнялась искусством живописцев и разнообразием их красок. В восьмисотлетнем промежутке времени первые четыре столетия покрыты туманом, сквозь который изредка проникают слабые и надломленные лучи исторического света; в биографических сведениях об императорах от Маврикия до Алексея мы находим, что только жизнь Василия Македонянина была сюжетом особого сочинения, а ненадежный авторитет позднейших компиляторов не вознаграждает нас за отсутствие, утрату или неполноту современных свидетельств. Четыре последних столетия не заслуживают упрека в бедности исторических памятников: с воцарением Комнинов в Константинополе снова ожила муза истории; но ее внешность носит отпечаток жеманства, а ее движения лишены изящества и грации. Священники и царедворцы идут один вслед за другим все по одной и той же тропе, проложенной рабством и суеверием; их взгляды узки, их суждения слабы или неверны, и мы дочитываем наполненный бесплодными подробностями том, не получив никакого понятия о причинах событий, о характерах действующих лиц и о нравах того времени, которое там описано или с похвалами, или с сетованиями. Замечание, что энергия меча переходит и на перо, было сделано по отношению к отдельным личностям, но его можно применить и к целому народу, а опыт доказывает нам, что тон исторического произведения возвышается или понижается вместе с духом времени, в которое оно написано.

По этим причинам я должен бы был без сожалений отказаться и от греческих рабов, и от их раболепных историков, если бы меня не остановило то соображение, что судьба Византийской монархии пассивно связана с самыми яркими и самыми важными из переворотов, изменявших положение мира. В утраченных провинциях тотчас поселялись колонии и возникали новые царства; и мирные, и военные доблести переходили от побежденных народов к победителям; поэтому в происхождении и в завоеваниях этих победителей, в их религии и системе управления мы и должны доискиваться причин и последствий упадка и разрушения Восточной им-

перии. И нельзя сказать, чтобы такая цель сочинения, чтобы богатство и разнообразие таких материалов не допускали единства в плане и в изложении. Подобно тому, как живущий в Фесе или в Дели мусульманин обращается в своих ежедневных молитвах лицом к Мекке, и взор историка будет постоянно обращен к Константинополю; хотя путь, которого он будет держаться, и охватит степи Аравии и Татарии, но он образует круг, который, мало-помалу уменьшаясь в своих размерах, наконец совпадет с постоянно уменьшающимся объемом Римской империи.

В этих видах я и устанавливаю следующий план для остальных частей этого сочинения. Первая глава будет заключать в себе последовательный ряд императоров, царствовавших в Константинополе в течение шестисотлетнего периода времени, со смерти Ираклия до взятия Константинополя латинами; этот очерк будет краток, но я заявляю, что вообще буду держаться последовательности и текста оригинальных историков. В этом введении я ограничусь описанием происходивших на императорском престоле переворотов, замены одних царственных родов другими, личного характера греческих монархов, их образа жизни и смерти, принципов и влияния их внутреннего управления и тех обстоятельств, которые ускоряли или замедляли падение Восточной империи. Этот хронологический обзор будет служить иллюстрацией для тех соображений, которые будут высказаны в следующих главах, а каждая подробность из богатой событиями истории варваров будет сама собой прилаживаться к тому месту, которое ей следует занимать в византийских летописях. Две отдельные главы будут посвящены описанию внутреннего положения империи и опасной ереси павликиан, которая потрясла Восток и просветила Запад; но эти исследования должны быть отложены до тех пор, пока мы не познакомим читателя с тем, как жили другие народы в девятом и десятом столетиях христианской эры. Сообразно с такой системой изложения византийской истории следующие народы будут один вслед за другим проходить перед нашими глазами и занимать в этом изложении такое место, на которое им дают право или их величие, или их особые достоинства, или их более или менее тесная связь с римским миром и с нашим временем. I. *Франки*; под это общее название подходят все жившие во Франции, в Италии и в Германии варвары, которые

были соединены в одно целое мечом и скипетром Карла Великого. Гонение на иконы и на их поклонников отделило Рим и Италию от византийского престола и подготовило восстановление Римской империи на Западе. II. *Арабы*, или сарацины. Три большие главы будут посвящены этому оригинальному и интересному сюжету. В первой, после описания страны и ее жителей, я постараюсь обрисовать личность самого Мухаммеда, а затем его характер, религию и успехи как пророка. Во второй я поведу арабов на завоевание провинций Римской империи — Сирии, Египта и Африки, и не остановлю их победоносного наступления до тех пор, пока они не ниспровергнут монархий Персидской и Испанской. В третьей я рассмотрю, каким образом роскошь и искусства, раздоры и упадок империи халифов спасли Константинополь и Европу. Одна глава будет посвящена III. болгарам, IV. венграм и V. русским, нападавшим и с моря, и с сухого пути на провинции империи и на ее столицу; но последний из этих трех народов достиг в настоящее время такого могущества, что мы пожелаем познакомиться с его происхождением и младенческим возрастом. VI. *Норманны*, или, верней, принадлежавшие к этому воинственному народу выходцы, которые основали могущественное королевство в Апулии и на Сицилии, потрясли константинопольский престол, выказали настоящую рыцарскую отвагу и почти осуществили чудеса, описываемые в романах. VII. *Латины*, или подвластные папе западные народы, которые стали под знамя Креста для того, чтобы отнять или освободить Гроб Господень.

Мириады пилигримов, шедших на Иерусалим с Готфридом Бульонским, сначала навели на греческих императоров ужас, а потом послужили опорой для их власти. Участники второго и третьего Крестовых походов шли по стопам первых крестоносцев; Азия и Европа втянулись в священную войну, которая длилась двести лет, а Саладин и египетские Мамлюки сначала оказали христианам упорное сопротивление, а потом окончательно их прогнали. Во время этих достопамятных походов флот и армия французов и венецианцев уклонились от пути, который вел в Сирию, и завернули во Фракийский Боспор; они взяли приступом столицу империи, ниспровергли греческую монархию и возвели на престол Латинскую династию, которая царствовала в Константинополе около шестидесяти лет. VIII. На самих греков следует смот-

реть в течение этого периода зависимости и изгнания как на чужеземную нацию; они сделались врагами Константинополя, а потом снова утвердили в нем свое владычество. Несчастье вызвало некоторые проблески их национального мужества, и с той минуты, как они возвратили утраченную власть, до взятия Константинополя турками в их императорах обнаруживается некоторое личное достоинство. IX. *Монголы* и *татары*. Военные подвиги Чингисхана и его преемников потрясли земной шар от пределов Китая до границ Польши и Греции; султаны были свергнуты со своих престолов; халифы пали, а Цезари трепетали от страха на своих тронах. Победы Тимура замедлили с лишком на пятьдесят лет окончательное разрушение Византийской империи. X. Я уже упоминал о первом появлении турок; две династии, царствовавшие одна вслед за другой над этим народом, внезапно вышедшим в одиннадцатом столетии из скифских степей, различались именами своих основателей Сельджука и Османа; первый из них основал могущественное и великолепное государство на пространстве от берегов Окса до Антиохии и Никеи, а оскорбление, которое он нанес иерусалимской святыне, и опасность, которой он угрожал Константинополю, были поводом первого Крестового похода. Не отличавшиеся блеском своего происхождения Османы сделались бичом и ужасом христианства. Мухаммед II осадил и взял Константинополь, и его торжество уничтожило не только последние остатки Восточной Римской империи, но даже самую тень ее существования, даже ее официальное название. История возникшего у греков раскола будет рассказана в связи с их окончательным упадком и с возрождением наук на Западе. От порабощения нового Рима я перейду к развалинам старого, а это почтенное имя и этот интересный сюжет освятят лучом славы конец моего труда.

Император Ираклий наказал тирана и вступил на его престол, а его царствование ознаменовалось временным завоеванием и непоправимой утратой восточных провинций. После смерти своей первой жены Евдокии он оказал неповиновение патриарху и нарушил законы, вторично вступив в брак со своей племянницей Мартиной, а суеверные греки считали и недуги отца, и уродство его детей за свышениспосланное наказание. Однако подозрение в незаконности рож-

дения могло отклонить выбор народа и ослабить его готовность к повиновению; честолюбие Мартины разгорелось от материнской привязанности и, может быть, от зависти к пасынку, а ее престарелый супруг был не в силах устоять против коварных жениных ухаживаний. Его старший сын Константин, уже достигший зрелого возраста, пользовался титулом Августа; но слабость его сложения требовала соправителя и опекуна, и он со скрытым неудовольствием согласился на раздел империи. Сенаторы были созваны во дворец для того, чтобы утвердить или засвидетельствовать назначение сына Мартины Ираклеона соправителем; возложение на него диадемы патриарх освятил своими молитвами и благословением; сенаторы и патриции преклонились перед величием могущественного императора и его сотоварищей, а лишь только растворились двери, трех монархов приветствовали шумные, но влиятельные голоса солдат. Торжественные обряды, составлявшие всю сущность византийского государственного устройства, были через пять месяцев после того совершены в соборной церкви и ипподроме; в доказательство того, что два брата жили в полном согласии, младший из них опирался на руку старшего, а возгласы запуганного или подкупленного народа присоединяли к именам Константина и Ираклеона имя Мартины. Ираклий пережил это соглашение почти двумя годами; его последнее завещание объявляло его двух сыновей равноправными наследниками Восточной империи и приказывало им чтить в его вдове Мартине мать и государыню.

Когда Мартина появилась в первый раз на троне с титулом и с атрибутами верховной власти, она встретила хотя и почтительное, но решительное сопротивление, а внушенные суеверием предрассудки раздули еще таившиеся под пеплом искры свободы. "Мы чтим мать наших монархов,— восклицали граждане,— но только этим монархам обязаны мы повиновением, а старший из двух императоров, Константин, уже достиг такого возраста, что его собственные руки могут выдерживать тяжесть скипетра. Сама природа устранила лиц вашего пола от правительственных забот. Если бы варвары приблизились к столице, как могли бы вы сражаться с ними, если бы их намерения были враждебны, и что могли бы вы отвечать им, если бы их намерения были дружественны? Да избавит небо Римскую республику от такого нацио-

нального унижения, которого не вынесли бы даже живущие в рабстве персы". Мартина с негодованием спустилась с трона и укрылась в отведенных для женщин дворцовых апартаментах. Царствование Константина III продолжалось только сто три дня[1]; он умер на тридцатом году от рождения, и хотя вся его жизнь была непрерывной болезнью, однако возник слух, что яд был причиной, а его жестокосердая мачеха виновницей этой преждевременной кончины.

Мартина действительно извлекла из его смерти свою личную пользу и взяла в свои руки бразды правления от имени оставшегося в живых императора; но за ее кровосмесительный брак с Ираклием ее все ненавидели; в народе возникли подозрения, и оставшиеся от Константина двое сирот сделались предметом общей заботливости. Сын Мартины, которому было только пятнадцать лет, тщетно объявил себя, по наущению своей матери, опекуном своих племянников, у одного из которых он был крестным отцом; тщетно клялся он над подлинным Крестом Господним, что будет защищать этих племянников от всех врагов. Незадолго перед своей смертью покойный император отправил надежного служителя с поручением приготовить восточные войска и восточные провинции к защите его беспомощных детей; красноречие и щедрость Валентина имели успех, и из своего лагеря близ Халкидона он смело потребовал наказания убийц и возведения на престол законного наследника. Так как своевольные солдаты опустошали виноградники и погреба, принадлежавшие на азиатском берегу константинопольским жителям, то эти последние восстали против виновников таких бедствий, и храм св. Софии огласился не молитвами и не гимнами, а криками и проклятиями рассвирепевшей толпы. По ее настоятельному требованию Ираклеон взошел на церковную кафедру вместе со старшим из царственных сирот; толпа приветствовала титулом римского императора одного Константа, и с благословения патриарха на его голову был надет золотой венок, снятый с могилы Ираклия. Но среди суматохи, вызванной выражениями то негодования, то радости, храм был ограблен, святилище было осквернено иудеями и варварами, а креатура императрицы, монофелит Пирр, спасся бегством от религиозного рвения католиков, предварительно бросив протест на алтарь. Более серьезная и более кровожадная роль была предоставлена Сенату, который приобрел вре-

менное влияние благодаря сочувствию солдат и народа. Дух римской свободы ожил в напоминавшем старину суде над тиранами, и царственные преступники были низложены и осуждены как виновники смерти Константина. Но строгость Сенаторов запятнала себя тем, что карала без разбора и невинных, и виновных; Мартина была присуждена к отсечению языка, Ираклеон к отсечению носа, и после того, как над ними был приведен в исполнение этот жестокий приговор, они провели остаток жизни в изгнании и в забвении. Те из греков, которые были способны вникать в смысл совершавшихся перед их глазами событий, могли бы найти некоторое утешение для своего раболепного положения в наблюдении, до каких злоупотреблений доходит власть, если она хоть на минуту попадает в руки аристократии.

Читая речь, которую Констант II произнес на двенадцатом году своей жизни перед византийским Сенатом, можно бы было подумать, что мы перенеслись за пятьсот лет назад в век Антонинов. Выразив свою благодарность за справедливое наказание убийц, отнявших у народа самые лучшие надежды прошлого царствования, юный император сказал: "По воле Божеского Провидения и в силу вашего справедливого приговора Мартина свергнута с престола вместе с исчадием своей кровосмесительной связи. Благодаря вашему высокому влиянию и вашей мудрости римское государственное устройство не превратилось в необузданную тиранию. Поэтому я приглашаю и прошу вас быть советниками и судьями во всем, что касается общественное безопасности". Сенаторы остались довольны почтительными словами и щедрыми подарками своего государя; но эти раболепные греки не были достойны свободы и вовсе о ней не заботились, а в уме императора мимолетное влияние этой поучительной случайности было скоро заглажено предрассудками того времени и привычкой к деспотизму. Он вынес отсюда лишь недоверчивое опасение, чтобы Сенат или народ когда-нибудь не вздумали нарушить право первородства и посадить рядом с ним на престол его брата Феодосия. Внук Ираклия был рукоположен в духовный сан и потому не мог предъявлять никаких прав на престол; но совершение этого обряда, по-видимому обнаруживавшее неуважение к таинствам церкви, не было достаточно для того, чтобы успокоить недоверчивого тирана, и только смерть диакона Феодосия могла загладить преступ-

ность его царственного происхождения. За это убийство отомстили проклятия народа, и находившийся на вершине своего могущества убийца нашелся вынужденным покинуть свою столицу и добровольно отправиться в вечное изгнание. Констант отплыл в Грецию и, как будто желая выразить такое же отвращение, какое навлек на себя, он, как рассказывают, плюнул со своей императорской галеры в стену своего родного города. Проведя зиму в Афинах, он отплыл в Тарент, в Италию, посетил Рим и закончил это позорное и ознаменовавшееся святотатственным хищничеством странствование тем, что избрал для своей резиденции Сиракузы[2)]. Но если Констант и мог убежать от своих подданных, он не мог убежать от самого себя. Угрызения его совести создали призрак, который преследовал его и на суше, и на море, и днем, и ночью; воображаемый Феодосий подносил к его устам чашу крови и говорил или как будто говорил: "Пей, брат, пей"; это был верный намек на то увеличивавшее вину Константа обстоятельство, что он принимал из рук диакона таинственную чашу с кровью Христовой. Будучи ненавистен и самому себе, и всему человечеству, Констант погиб в главном городе Сицилии или от домашней измены, или, быть может, от заговора епископов. Сопровождавший его в баню служитель, налив ему на голову горячей воды, нанес ему сильный удар сосудом. Ошеломленный ударом и задыхавшийся от горячей воды, Констант повалился на пол; когда лица его свиты, долго и напрасно ожидавшие его выхода из бани, подошли к нему, они с равнодушием убедились, что их император испустил дух. Стоявшие на Сицилии войска облекли в императорское одеяние одного незнатного юношу, отличавшегося такой бесподобной красотой, которой не были в состоянии изобразить (и этому нетрудно поверить) находившиеся в упадке живопись и скульптура того времени.

Констант оставил в византийском дворце трех сыновей, из которых старший еще в детстве был возведен в императорское звание. Когда отец потребовал, чтобы они приехали к нему на Сицилию, греки не захотели выпустить из своих рук этих драгоценных заложников и решительно объявили Константу, что его дети принадлежат государству. Известие о его смерти долетело почти со сверхъестественной быстротой от Сиракуз до Константинополя, и старший из его сыновей, Константин, унаследовал его престол, не унаследовав общей

к нему ненависти. Его подданные с усердием и с жаром помогли ему наказать самонадеянную провинцию, присвоившую себе права Сената и народа; юный император отплыл из Геллеспонта во главе сильного флота, и под его знаменем собрались в сиракузской гавани легионы римские и карфагенские. Победить сицилийского тирана было нетрудно; его казнь была справедлива, и его красивая голова была выставлена на ипподроме; но я не могу восхвалять милосердие такого монарха, который в числе множества жертв осудил сына одного патриция за то, что он горько оплакивал казнь добродетельного отца. Юношу, носившего имя Германа, оскопили; он пережил эту операцию, а благодаря тому, что он впоследствии был возведен в звание патриарха и причислен к лику святых, сохранилось до сих пор воспоминание об этой непристойной жестокости императора. Совершив это кровавое возлияние над могилой своего отца, Константин возвратился в свою столицу, а так как во время его поездки на Сицилию у него стали расти волосы на бороде, то данное ему фамильярное прозвище Погоната возвестило всему греческому миру об этом событии[3]. Но его царствование, подобно царствованию его предшественника, было запятнано братскими раздорами. Он дал титул Августа двум своим братьям, Ираклию и Тиберию; но этот титул не давал им никаких прав, так как они по-прежнему томились внутри дворца в своем уединении, не неся никаких обязанностей и не пользуясь никакой властью[4]. По их тайному подстрекательству стоявшие в анатолийской феме, или провинции, войска приблизились к столице со стороны Азии: они потребовали в пользу двух братьев Константина раздела верховной власти или участия в управлении и поддерживали свои мятежнические притязания богословским аргументом. Мы христиане, говорили они, и православные католики; мы искренне верим в святую и нераздельную Троицу. Так как на небесах три равных одно другому лица, то они полагали, что и на земле должно быть столько же. Император пригласил этих искусных богословов на дружеское совещание, на котором они могли бы изложить свои аргументы перед Сенаторами; они приняли это предложение, но при виде их трупов, висевших на виселице в Галатском предместье, их единомышленники примирились с единоличностью Константинова владычества. Он простил своих братьев, и их имена по-прежнему произ-

носились в публичных приветствиях; но когда они или снова совершили такое же преступление, или возбудили подозрение, что намереваются его совершить, они были лишены своих титулов и своих носов в присутствии католических епископов, съехавшихся в Константинополь на Шестой вселенский собор. В конце своей жизни Погонат заботился только о том, чтобы обеспечить права первородства: волосы двух его сыновей Юстиниана и Ираклия были положены на раку св. Петра как символ их духовного усыновления папой, но только старший был возведен в звание Августа и был назначен наследником престола.

После смерти своего отца Юстиниан II унаследовал верховную власть над римским миром, и имя знаменитого законодателя было запятнано пороками мальчишки, подражавшего своему тезке лишь в дорогостоящей роскоши построек. Его страсти были сильны, его рассудок был слаб, и он с легкомысленной гордостью превозносил свое происхождение, подчинившее его власти миллионы людей, среди которых самая маленькая община не выбрала бы его ни на какую местную должность. Его любимыми придворными чиновниками были два существа, по своей профессии всех менее доступные для человеколюбия — евнух и монах: одному он поручил дворец, а другому финансы; первый из них наказывал мать императора плетью, а второй вешал несостоятельных плательщиков податей головой вниз над медленно горевшим и испускавшим большой дым огнем. Со времен Коммода и Каракаллы жестокосердие римских монархов большей частью происходило от страха; но Юстиниан, который был в некоторой мере одарен энергией характера, находил наслаждение в страданиях своих подчиненных и издевался над их озлоблением в течение почти десяти лет, пока он не превзошел всякой меры в своих преступлениях и не истощил терпения страдальцев. Пользовавшийся хорошей репутацией военачальник Леонтий томился более трех лет в мрачной темнице вместе с несколькими из самых знатных и самых достойных патрициев; он был неожиданно выпущен на свободу и назначен правителем Греции, а это повышение оскорбленного человека было со стороны монарха выражением скорее презрения, чем доверия. Направляясь к гавани в сопровождении своих друзей, Леонтий сказал им со вздохом, что он был жертвой, которую украшали перед закланием, и что его ожидает неминуемая

казнь. Они осмелились на это ответить, что величие и могущество могут быть наградой за великодушную решимость, что все классы населения питают отвращение к владычеству чудовища и что двести тысяч патриотов лишь ожидают появления вождя. Для исполнения своего замысла они выбрали ночное время, и лишь только заговорщики приступили к делу, префект был убит и двери тюрем были взломаны; эмиссары Леонтия кричали на всех улицах: "Христиане, спешите в храм св. Софии!", а избранный патриархом текст: "Настал день Господень!", послужил прелюдией для проповеди, которая воспламенила все умы. По выходе из церкви народ назначил местом следующей сходки ипподром; ни один меч не обнажился для защиты Юстиниана; его притащили силой на суд шумной толпы, и громкие крики потребовали немедленной казни тирана. Но Леонтий, уже надевший на себя императорскую мантию, почувствовал сострадание при виде распростертого у его ног сына его благодетеля и потомка стольких императоров. Жизнь Юстиниана была пощажена; ему не вполне отрезали нос и, быть может, язык; на гибком греческом языке ему дали прозвище Ринотмета (Безносого). Изуродованного тирана сослали в Крымскую Татарию, в город Херсон, в такое глухое место, где хлеб, вино и оливковое масло были предметами ввоза и считались за роскошь.

Живя на границах скифской степи, Юстиниан все еще ласкал себя горделивым сознанием своего высокого происхождения и надеждой снова вступить на престол. После трехлетней ссылки он был обрадован известием, что новый переворот отомстил за него и что Леонтий в свою очередь был свергнут с престола и изуродован мятежником Апсимаром, принявшим более почтенное имя Тиберия. Но плебейского узурпатора все еще пугали притязания, основанные на правах происхождения, а его подозрения усилились вследствие жалоб и обвинений, которые исходили от херсонитов, усматривавших в поведении изгнанного монарха пороки тирана. С кучкой приверженцев, привязанных к нему одними и теми же надеждами или одним и тем же отчаянием, Юстиниан бежал с негостеприимного берега к хазарам, раскинувшим свои палатки между Танаисом и Борисфеном. Хан принял царственного просителя с состраданием и с уважением и назначил ему резиденцией когда-то богатый город Фанагорию, на южном берегу Меотийского озера, а Юстиниан, отложив в

сторону все римские предрассудки, вступил в брак с сестрой варвара, которая — судя по тому, что носила имя Феодоры,— вероятно, была окрещена в христианскую веру. Но вероломный хазар был скоро вовлечен в соблазн константинопольским золотом, и если бы супружеская привязанность Феодоры не разоблачила бы его замыслов, Юстиниан или был бы убит, или был бы отдан в руки своих врагов. Задушив своими собственными руками двух ханских эмиссаров, Юстиниан отослал свою жену к ее брату и поплыл по Эвксинскому морю в поисках новых и более надежных союзников. Его корабль застигла сильная буря; тогда один из его благочестивых спутников посоветовал ему заслужить милость небес принесением обета, что, если он снова вступит на престол, он помилует всех своих врагов. "Помиловать? — возразил неустрашимый тиран. — Пусть я погибну сию же минуту, пусть Всемогущий низвергнет меня в морскую пучину, если я соглашусь пощадить голову хоть одного из моих врагов!" Он пережил эту нечестивую угрозу, направился к устьям Дуная, не побоялся проникнуть в деревню, где жил болгарский царь Тервель, и купил содействие этого языческого завоевателя обещанием дать ему в супружество свою дочь и уделить значительную часть римских сокровищ. Болгарское царство простиралось до пределов Фракии, и два монарха подошли к стенам Константинополя во главе пятнадцати тысяч всадников. Апсимар оробел при внезапном появлении соперника, голову которого ему обещал прислать хазар и о бегстве которого он ничего еще не знал. После десятилетнего отсутствия Юстиниана о его преступлениях сохранилось лишь очень слабое воспоминание; происхождение и несчастья наследного монарха возбуждали сострадание толпы, всегда недовольной теми, кто ею управляет, и благодаря деятельному усердию своих приверженцев он проник в город и во дворец Константина.

Тем, что Юстиниан наградил своих союзников и вызвал к себе жену, он доказал, что ему были в некоторой мере доступны чувства чести и признательности, а Тервель удалился с грудами золотых монет, объем которых он отмерил длиной своей скифской плети. Но никогда еще ни один обет не был так точно выполнен, как та священная клятва мщения, которую Юстиниан принес среди бури на Эвксинском море. Двух узурпаторов (так как название тирана должно быть предостав-

лено победителю) притащили на ипподром — одного из тюрьмы, а другого из дворца. Перед своей казнью Леонтий и Апсимар были брошены в цепях к подножию императорского трона, и Юстиниан, поставив ноги на шею каждого из них, смотрел более часа на бег колесниц, между тем как непостоянный народ громко повторял слова псалмопевца: "На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия". Общая измена, от которой он когда-то пострадал, могла бы заставить его повторить желание Калигулы, чтобы у всего римского народа была одна голова. Однако я позволю себе заметить, что такое желание недостойно изобретательного тирана, так как его мстительность и жестокосердие были бы удовлетворены одним ударом, а не теми медленными и разнообразными пытками, которым Юстиниан подвергал тех, кто его прогневил. Наслаждения этого рода были неистощимы: ни семейные добродетели, ни государственные заслуги не могли загладить преступности деятельного или даже пассивного повиновения установленному правительству, и в течение шести лет своего нового царствования он считал секиру, веревку и палача за единственные орудия верховной власти[5)].

Но предметом самой непримиримой его ненависти были херсониты, которые оскорбляли его во время ссылки и нарушили законы гостеприимства. Благодаря своей отдаленности они могли найти некоторые средства для обороны или, по меньшей мере, для спасения, и жители Константинополя были обложены тяжелым налогом для сооружения флота и вооружения армии. "Они все виновны, и все должны погибнуть"— таково было решение Юстиниана, и эта кровавая экзекуция была поручена его любимцу Стефану, снискавшему его благосклонность своим прозвищем Свирепого. Однако даже свирепый Стефан не вполне исполнил намерения своего государя. Медлительность его нападения дала большинству населения время бежать внутрь страны, и исполнитель императорского мщения удовольствовался тем, что обратил в рабство молодых людей обоего пола, изжарил живыми семерых из самых знатных граждан, потопил двадцать из них в море, а сорока двух заковал в цепи для того, чтобы они услышали свой приговор из уст Юстиниана. На обратном пути эскадра села на мель на утесистых берегах Анатолии, и Юстиниан радовался услужливости Эвксинского моря, погло-

тившего в одном и том же кораблекрушении столько тысяч и его подданных, и его врагов; но тиран еще не насытил своей жажды крови и, чтобы искоренить остатки обреченной на гибель колонии, стал готовить вторую экспедицию. В этот непродолжительный промежуток времени херсониты возвратились в свой город и приготовились умереть с оружием в руках; хазарский хан отказался помогать своему гнусному зятю; изгнанники собрались из всех провинций в Таврисе, и Вардан был возведен в звание императора под именем Филиппика. Императорские войска, и не желавшие, и не видевшие возможности исполнить задуманный Юстинианом проект отмщения, избежали его гнева, отказавшись от своей верноподданнической присяги; флот под предводительством нового государя пустился в обратный путь и благополучно достиг Синопа и затем Константинополя; все голоса требовали смерти тирана, все руки были готовы исполнить над ним смертный приговор. Друзей у него не было, а его стража, состоявшая из варваров, покинула его, и нанесенный ему убийцей смертельный удар все считали за акт патриотизма и римской доблести. Его сын Тиберий укрылся в церкви; его престарелая бабка защищала входную дверь, а невинный юноша, надев на свою шею самые святые мощи, ухватился одной рукой за алтарь, а другой за подлинный Крест Господень[6]. Но когда народная ярость осмеливается попирать ногами суеверия, она бывает недоступна для человеколюбия — и род Ираклия пресекся после столетнего владычества.

Короткий шестилетний промежуток времени между падением Ираклиевой династии и возвышением династии Исаврийской разделяется на три царствования. Вардан, или Филиппик, был принят в Константинополе как герой, освободивший свое отечество от тирана, и мог насладиться несколькими минутами счастья среди первых восторженных выражений искренней и всеобщей радости. После Юстиниана остались большие сокровища, которые были плодом его жестокосердия и хищничества; этот капитал мог бы быть употреблен с пользой, но он был скоро и безрассудно растрачен преемником Юстиниана. В день своего рождения Филиппик потешал народную толпу играми на ипподроме; оттуда он торжественно прошел по улицам с тысячью знаменами и тысячью трубачами; потом, освежившись в банях Зевксиппа, он возвратился во дворец, где был приготовлен для знати ро-

скошный банкет. Упившись лестью и вином, он удалился после обеда во внутренние апартаменты и совершенно позабыл о том, что его пример сделал каждого из его подданных честолюбцем и что каждый из его честолюбивых подданных был его тайным врагом. Среди суматохи пиршества смелые заговорщики проникли внутрь дворца, захватили врасплох дремавшего императора, связали его, выкололи ему глаза и свергли его с престола, прежде нежели он успел сознать опасность своего положения. Впрочем, эти изменники не могли воспользоваться плодами своего преступления, так как свободный выбор Сената и народа возвел Артемия с должности секретаря в звание императора; он принял имя Анастасия II и в свое непродолжительное и смутное царствование выказал свои дарования и в мирное, и в военное время. Но с тех пор как пресекся императорский род, обязанность повиновения не соблюдалась, и каждая перемена сеяла семена новых переворотов[7]. Во время вспыхнувшего на флоте мятежа один незнатный сборщик податей был против воли возведен в звание императора; после нескольких месяцев морской войны Анастасий отказался от скипетра, а его победитель Феодосий III, в свою очередь, подчинился преобладающему влиянию военачальника и императора восточных войск Льва. Двум предшественникам Льва было дозволено вступить в духовное звание; беспокойный нрав Анастасия вовлек его в изменническое предприятие, которое стоило ему жизни, а Феодосий провел остаток своих дней с достоинством и в безопасности. По его приказанию на его гробнице было надписано простое и многозначительное слово здоровье, которое было выражением доверия к философии или к религии, а воспоминание о его чудесах долго сохранялось между жителями Эфеса. Таким образом, церковь, укрывая в своих недрах низвергнутых монархов, могла иногда располагать победителей к милосердию; но едва ли можно утверждать, что, уменьшая для честолюбцев опасность, сопряженную с неудачей, она трудилась для общей пользы.

Я долго останавливался на падении тирана; теперь я кратко опишу основателя новой династии, который известен потомству по оскорбительным отзывам его врагов и жизнь которого, как общественная, так и частная, тесно связана с историей иконоборцев. Однако, несмотря на протесты суеверов, в пользу характера Льва Исавра говорят незнатность его

происхождения и продолжительность его царствования[8]. I. В века мужества приманка императорской короны может воспламенять в умах всю их энергию и порождать толпы соискателей, столько же достойных верховной власти, сколько сильно их желание ее достигнуть. Даже среди нравственной испорченности и расслабленности новейших греков возвышение плебея с низшей общественной ступени на высшую заставляет предполагать в нем такие качества, которые возвышают его над уровнем толпы. Он может быть незнаком с научными умозрениями и может не придавать им никакой цены; а в преследовании своей честолюбивой цели он, может быть, не стал бы подчиняться требованиям милосердия и справедливости; но в его характере мы непременно найдем такие полезные добродетели, как благоразумие и твердость, найдем знание человеческого сердца и важное искусство внушать людям доверие и руководить их страстями. Все согласны в том, что Лев был уроженец Исаврии и что его первоначальное имя было Конон. По словам сочинителей тех неуклюжих сатир, которые могут служить для него похвалой, он странствовал пешком по местным ярмаркам в сопровождении осла, нагруженного разными дешевыми товарами; к этому они присовокупляют нелепый рассказ о том, как он повстречался с евреями-гадальщиками и как эти евреи обещали ему римскую корону с тем условием, что он уничтожит поклонение идолам. По другим, более правдоподобным рассказам, его отец переселился из Малой Азии во Фракию, занялся там выгодным ремеслом — откармливанием скотины на продажу и, вероятно, нажил хорошее состояние, так как в уплату за помещение своего сына на службу доставил в императорский лагерь пятьсот баранов. Лев начал свою службу в гвардии Юстиниана и скоро обратил на себя внимание тирана, а вслед за тем навлек на себя его подозрение. Он выказал свое мужество и искусство в войне, которая велась в Колхиде; от Анастасия он получил командование стоявшими в Анатолии легионами, а по выбору солдат был возведен в звание императора с общего одобрения всего римского мира. II. Лев III удержался на этом опасном посту несмотря на зависть своих сверстников, на нерасположение могущественной партии и на нападения внешних и внутренних врагов. Католики, нападая на его религиозные нововведения, вынуждены сознаться, что эти нововведения были задуманы с

хладнокровием и вводились с твердостью. Их молчание оставляет незапятнанными мудрость его управления и чистоту его нравов. После двадцатичетырехлетнего царствования он спокойно кончил жизнь в константинопольском дворце, и приобретенная им порфира переходила по наследству к его потомкам до третьего поколения.

В течение своего продолжительного тридцатичетырехлетнего царствования сын и преемник Льва, Константин V[9], прозванный Копронимом, нападал с менее сдержанным рвением на церковные иконы, которые он считал за идолов. Их поклонники излили всю свою религиозную желчь, изображая этого императора покрытым пятнами барсом, родившимся от семени змия антихристом и крылатым драконом, и утверждая, что он превзошел своими пороками Элагабала и Нерона. Его царствование было продолжительным избиением самых знатных, самых святых и самых невинных людей в его империи. Император лично присутствовал при совершении казней над своими жертвами, наблюдал за их предсмертными страданиями, прислушивался к их стонам и, удовлетворяя свою жажду крови, никак не мог ее насытить; блюдо с отрезанными носами было для него приятным приношением, и он нередко бичевал или уродовал своих служителей своими царскими руками. Его прозвище происходит от того, что он осквернил купель в то время, как его крестили. Его возраст служил для него в этом случае оправданием; но наслаждения, которым предавался Копроним в своих зрелых летах, низводили его ниже уровня животных; его сладострастие не признавало различий пола и породы, и он, по-видимому, извлекал какое-то противоестественное наслаждение из таких предметов, которые возбуждают в людях самое сильное отвращение. По своей религии иконоборец был и еретиком, и иудеем, и мусульманином, и язычником, и атеистом, а его вера в невидимую силу обнаруживалась лишь в обрядах чародейства, в избиении людей в ночных жертвоприношениях Венере и демонам древности. Его жизнь была запятнана самыми противоположными пороками, а покрывшие его тело язвы заставили его еще до смерти испытать адские мучения. Из этих обвинений, аккуратно списанных мной с чужих слов, некоторые опровергаются нелепостью своего собственного содержания, и вообще во всем, что касается подробностей частной жизни монархов, для лжи открывается тем бо-

лее широкий простор, что ее нелегко выводить наружу. Не придерживаясь вредного правила, что тот, кого обвиняют во многом, хоть в чем-нибудь да виновен, я все-таки прихожу к убеждению, что Константин V был распутен и жестокосерд. Клевета более склонна к преувеличениям, чем к выдумкам, а ее несдержанный язык в некоторой мере обуздывается опытом того века и той страны, на свидетельство которых она ссылается. Число пострадавших в его царствование епископов и монахов, военачальников и должностных лиц указано с точностью; их имена были известны, их казнь была публична, их изувечения были видимы и неизлечимы. Католики ненавидели и особу Копронима, и его управление; но эта самая ненависть служит доказательством того, что они подвергались угнетениям. Они умалчивают о тех оскорблениях, которые могли служить извинением или оправданием его чрезвычайной строгости; но эти самые оскорбления должны были усиливать его озлобление и укоренять в нем склонность к деспотизму и к его злоупотреблениям. Впрочем, в характере Константина V были и некоторые хорошие стороны, и его управление не всегда было достойно проклятий или презрения греков. Его враги признают, что он исправил один старинный водопровод, что он выкупил две тысячи пятьсот пленных, что в его время народ пользовался необычайным достатком и что он заселил новыми колониями Константинополь и фракийские города. Они невольно восхваляют его деятельность и мужество; армия видела его верхом на коне во главе легионов, и хотя фортуна не всегда благоприятствовала его военным предприятиям, он одерживал победы и на море, и на суше, и на Евфрате, и на Дунае, и в междоусобных войнах, и в войнах с варварами. Похвалы еретиков должны быть также брошены на весы, чтобы служить противовесом против оскорбительных нападок православных. Иконоборцы чтили добродетели этого монарха и через сорок лет после его смерти не переставали молиться у его гробницы как у гробницы святого. Благодаря фанатизму или обману был пущен в ход слух о чудесном видении: этот христианский герой будто бы появлялся на белом, как молоко, коне и размахивал своим копьем на болгарских язычников. "Это нелепый вымысел,— говорит католический историк,— так как Копроним вместе с демонами сидит на цепи в преисподней"[10].

Сын Константина V и отец Константина VI, Лев IV, был

слаб и умом, и телом, и главной заботой его царствования был выбор его преемника. Услужливое усердие его подданных настаивало на том, чтобы юный Константин был назначен соправителем, и сознававший упадок своих сил император исполнил, после некоторых колебаний, их единодушное желание. Царственный ребенок, которому было в ту пору пять лет, был коронован вместе со своей матерью Ириной, а чтобы закрепить народное одобрение, при короновании были совершены все пышные и торжественные обряды, какими можно было ослепить греков и связать их совесть. Различные государственные сословия приносили присягу на верноподданство и во дворце, и в церкви, и на ипподроме; они клялись Сыном Божиим и Матерью Божией. "Да будет Христос порукой того, что мы будем пещись о безопасности сына Льва, Константина, что не будем щадить нашей жизни для его пользы и что будем верными подданными и его самого, и его потомства". Они клялись над древом подлинного Креста Господня, а документ, в котором было изложено принятое ими обязательство, был положен на алтаре св. Софии. Прежде всех принесли эту клятву и прежде всех ее нарушили пять сыновей Копронима от второго брака, а история этих кесарисов и оригинальна, и трогательна. Право первородства устраняло их от престола; несправедливость их старшего брата лишила их наследства почти в два миллиона фунт. стерл.; они не считали данные им громкие титулы достаточным вознаграждением за богатства и власть и неоднократно составляли заговоры против своего племянника и до, и после смерти его отца. Их первую изменническую попытку им простили; за вторую их заставили вступить в духовное звание, а за третью старший из них и всех более виновный, Никифор, был лишен зрения, и четверо его братьев — Христофор, Никита, Анфим и Евдоким — были присуждены к отсечению языка, которое считалось более мягким наказанием. После пятилетнего заключения в тюрьме они спаслись бегством и, укрывшись в Софийском соборе, представили народу трогательное зрелище. "Соотечественники и христиане,— воскликнул Никифор за себя и за своих лишенных языка братьев,— посмотрите на сыновей вашего императора, если вы еще можете признать их лица в этом ужасном положении. Злоба наших врагов не оставила нам ничего, кроме жизни, и какой жизни! Она теперь в опасности, и мы взываем к ваше-

му состраданию". Усиливавшийся ропот толпы мог бы окончиться государственным переворотом, если бы он не был сдержан присутствием одного чиновника, который при помощи лести и обещаний успел смягчить раздражение несчастных братьев и затем препроводил их из святилища во дворец. Их поспешно отправили в Грецию и назначили Афины местом их ссылки. В этом спокойном уединении и в этом беспомощном положении Никифора и его братьев все еще мучила жажда власти, и они соблазнились предложениями одного славянского вождя, обещавшего освободить их из заключения, облечь в императорскую порфиру и силой проложить им путь к воротам Константинополя. Но афинское население, всегда усердно отстаивавшее интересы Ирины, не доставило ей случая выказать ее справедливость или ее жестокосердие, и пять сыновей Копронима погрузились в вечный мрак и в вечное забвение.

Для самого себя этот император выбрал жену из среды варваров, вступив в брак с дочерью хана хазарского[11]; но для женитьбы сына он предпочел афинскую девушку, семнадцатилетнюю сироту, все богатство которой заключалось в ее личных совершенствах. Бракосочетание Льва с Ириной было отпраздновано с царской пышностью; она скоро снискала любовь и доверие слабого супруга, и он возложил на нее в своем завещании опеку над римским миром и над своим сыном Константином VI[12], которому было не более десяти лет. Во время малолетства этого сына Ирина искусно и усердно исполняла в делах государственного управления свои материнские обязанности, а рвение, с которым она поддерживала поклонение иконам, доставило ей титул и почести святой, которые до сих пор сохранились за ней в греческом календаре. Но император наконец достиг совершеннолетия; он стал тяготиться материнским игом и стал внимать советам фаворитов одного с ним возраста, которые разделяли с ним его забавы и желали бы разделить с ним власть. Их доводы убедили его, что он имеет право царствовать; их лесть убедила его, что он обладает нужными для того способностями, и он согласился наградить заслуги Ирины вечной ссылкой на остров Сицилию. Но ее бдительность и прозорливость без большого труда разрушили эти опрометчивые замыслы; заговорщики и их подстрекатели были подвергнуты или такому же наказанию, какому хотели подвергнуть Ирину, или еще более

строгому, а неблагодарного сына Ирина наказала так, как наказывают детей. После этого столкновения мать и сын стали во главе двух дворцовых партий, а вместо того, чтобы влиять на сына кротостью и стараться внушить ему добровольную покорность, она стала держать его в оковах, как пленника и врага. Императрица погубила себя тем, что стала злоупотреблять своей победой; клятва в верноподданстве, которой она стала требовать для одной себя, приносилась неохотно и с ропотом, а смелый отказ армянской гвардии вызвал свободное и общее заявление, что законный император римлян — Константин VI. Под этим титулом он вступил на наследственный престол и обрек Ирину на одиночество и покой. Но ее высокомерие не помешало ей снизойти до притворства: она стала льстить епископам и евнухам, снова пробудила в сердце монарха сыновнюю привязанность, снова снискала его доверие и воспользовалась его легковерием. Константин не был лишен ни ума, ни мужества; но его воспитание было с предвзятым намерением оставлено в пренебрежении, и его честолюбивая мать старалась навлекать общее порицание на те пороки, которые она сама в нем развивала, и на те поступки, которые сама втайне ему присоветовала; его развод и вторичный брак оскорбили предрассудки духовенства, а вследствие своей неблагоразумной взыскательности он утратил преданность армянской гвардии. Составился могущественный заговор с целью возвратить Ирине престол, и хотя эта тайна была вверена очень большому числу лиц, она верно хранилась в течение восьми с лишним месяцев; наконец император стал подозревать, что ему грозит серьезная опасность и бежал из Константинополя с намерением обратиться за помощью к провинциям и к армиям.

Его торопливое удаление оставило императрицу на краю пропасти; однако, прежде чем молить сына о пощаде, Ирина обратилась к тем друзьям, которыми его окружила, с тайным посланием, в котором грозила, что, если они не довершат своей измены, она их выдаст. Овладевший ими страх сделал их неустрашимыми; они схватили императора на азиатском берегу и перевезли его во дворец, в тот Порфирный апартамент, где он появился на свет. В душе Ирины честолюбие заглушило все чувства, внушаемые человеколюбием и природой, и на происходившем у нее совещании было принято кровожадное решение сделать Константина неспособным

царствовать: ее эмиссары бросились на спавшего императора и вонзили свои кинжалы в его глаза с такой силой и торопливостью, что можно бы было подумать, что они исполняют над ним смертный приговор. Одно двусмысленное место у Феофана убедило церковного летописца в том, что смерть была немедленным последствием этого злодейства. Католиков ввел в заблуждение или поработил авторитет Барония, а протестанты из религиозного усердия повторяли слова кардинала, по-видимому, желавшего услужить покровительнице икон. Однако лишенный зрения сын Ирины прожил еще несколько лет, терпя угнетения при дворе и будучи позабыт остальным миром; Исаврийская династия пресеклась без всякого шума, а о Константине вспомнили только по случаю бракосочетания его дочери Евфросинии с императором Михаилом II.

Даже самое фанатичное православие основательно гнушалось матери, которая была так бесчеловечна, что в истории преступлений едва ли найдется ей подобная. Ее страшному злодеянию суеверие приписывало наступивший вслед за тем семнадцатидневный мрак, во время которого корабли сбивались с пути в середине дня,— как будто такой обширный и такой отдаленный огненный шар, как солнце, может согласовать свои движения с атомами обращающейся вокруг него планеты. На земле преступление Ирины оставалось в течение пяти лет безнаказанным; ее царствование было увенчано внешним блеском, и если она была в состоянии заглушить голос своей собственной совести, то людские упреки не долетали до ее слуха, и она не обращала на них внимания. Римский мир подчинился управлению женщины, и когда она проезжала по улицам Константинополя, четыре патриция шли пешком перед ее золотой колесницей, держа в руках поводья четырех белых, как молоко, коней. Но эти патриции были большей частью евнухи, и их черная неблагодарность оправдала ненависть и презрение, которые они внушали народу. Несмотря на то, что они возвысились, обогатились и занимали самые важные должности империи, благодаря милостям императрицы они составили заговор против своей благодетельницы; главный казначей Никифор был втайне облечен в порфиру; преемник Ирины поселился во дворце, и подкупленный патриарх короновал его в Софийском соборе. На своем первом свидании Ирина с достоинством перечисли-

ла перевороты, происходившие в ее жизни, слегка упрекнула Никифора за вероломство, намекнула на то, что он обязан своей жизнью ее доверчивой благосклонности, а взамен престола и сокровищ, от которых отказывалась, просила дать ей пристойное и почетное убежище. Его жадность отказала ей в этом скромном вознаграждении, и императрица, живя в ссылке на острове Лесбос, добывала скудные средства существования своей прялкой.

Не подлежит сомнению, что было немало коронованных тиранов, еще более жестокосердых, чем Никифор; но едва ли найдется между ними такой, который внушал своим подданным более глубокое и более всеобщее отвращение. Его характер пятнали три отвратительных порока — лицемерие, неблагодарность и скупость; отсутствие добродетелей не искупалось никакими выдающимися дарованиями, а отсутствие дарований — никакими привлекательными качествами. Так как он был и несведущ в военном деле, и несчастлив в своих военных предприятиях, то он был побежден сарацинами и убит болгарами, а его смерть всеми считалась за такое благополучие, которое с избытком вознаграждало за гибель Римской армии. Его сын и преемник Ставракий бежал, смертельно раненный, с поля сражения; однако и проведенных в предсмертной агонии шести месяцев было достаточно для того, чтобы опровергнуть его непристойное, хотя и приятное для народа, заявление, что он во всем будет избегать подражания своему отцу. Ввиду его скорой кончины и придворные, и горожане остановили свой выбор на главном дворцовом управителе Михаиле, который был женат на сестре Ставракия Прокопии и который встретил противодействие только со стороны своего завистливого шурина. Желая удержать скипетр, который уже сам собой выпадал из его рук, Ставракий задумал умертвить своего будущего преемника и увлекся мечтой о замене императорского управления демократическим. Но эти незрелые замыслы лишь разожгли усердие народа и заглушили колебания Михаила: он принял императорское звание, а сын Никифора, прежде чем сойти в могилу, молил своего нового государя о пощаде[13]. Если бы Михаил вступил на престол по праву наследования в эпоху внутреннего спокойствия, его, вероятно, и любили бы при жизни, и оплакивали бы после смерти как истинного отца своих подданных; но его кроткие добродетели подходили к

требованиям скромной жизни частного человека, и он не был в состоянии ни сдерживать честолюбие своих сверстников, ни оказывать сопротивление победоносным болгарам. Между тем как его неспособность и неудачи навлекали на него презрение солдат, мужество его жены Прокопии возбуждало в них негодование. Даже греки девятого столетия были оскорблены дерзостью женщины, осмеливавшейся становиться впереди их знамен, руководить их военными упражнениями и возбуждать в них мужество, и своими шумными протестами они предупредили эту новую Семирамиду, что она должна относиться с уважением к величию римского лагеря. После одной неудачной кампании император оставил на зимних квартирах во Фракии дурно к нему расположенную армию под начальством своих врагов, а коварное красноречие этих врагов убедило солдат положить конец владычеству евнухов, низвергнуть с престола мужа Прокопии и восстановить право армии выбирать императоров. Они двинулись к столице; но духовенство, Сенат и константинопольское население стояли за Михаила, а при помощи находившихся в Азии войск и сокровищ можно бы было продолжить бедствия междоусобной войны на неопределенное время. Но из человеколюбия (которое честолюбцы назовут малодушием) Михаил заявил, что ни одна капля христианской крови не должна быть пролита в его личной распре, и его посланцы вручили победителям ключи от города и от дворца. Его невинность и покорность обезоружили его врагов; его не лишили ни жизни, ни зрения, и он вступил в монастырь, где провел в наслаждениях уединением и религией тридцать два с лишним года после того, как его лишили императорского звания и разлучили с женой[14)].

Бунтовавший в царствование Никифора знаменитый и несчастный Вардан однажды вздумал, как рассказывают, обратиться за советом к одному азиатскому пророку, который, предупредив его об ожидавшей его самого неудаче, предсказал блестящую будущность трем главным его командирам — Льву Армянину, Михаилу Фригийцу и Фоме Каппадокийцу, присовокупив, что двое первых будут царствовать один вслед за другим, а третий предпримет неудачное дело, которое окончится его гибелью. Эти предсказания оправдались или, верней, были плодом совершившихся событий. Через десять лет после того, когда фракийские войска не захотели приз-

навать мужа Прокопии императором, корона была предложена вышеупомянутому Льву, который занимал в ту пору самый высокий пост в армии и был тайным зачинщиком мятежа. Так как он выразил притворную нерешительность, то его ратный товарищ Михаил обратился к нему со следующими словами: "Этим мечом я растворю ворота Константинополя и подчиню столицу вашей императорской власти; если же вы будете упорствовать в отказе исполнить справедливые желания ваших сотоварищей, я немедленно вонжу этот меч в вашу грудь".

За свою уступчивость армянин был награжден императорским престолом и процарствовал семь с половиной лет под именем Льва V. Будучи воспитан в военном лагере и не имея никакого понятия ни о законах, ни о литературе, он ввел в свое гражданское управление строгость и даже жестокость военной дисциплины; но если его взыскательность и была иногда опасна для невинных, она всегда была страшна для виновных. За его религиозное непостоянство ему дали прозвище хамелеона; тем не менее католики признали устами одного святого и нескольких исповедников, что жизнь иконоборца была полезна для республики. Его товарищ Михаил был награжден за свое усердие богатствами, почестями и назначением на важную военную должность, а второстепенные дарования Михаила император с успехом употребил на общую пользу. Однако фригиец остался недоволен тем, что ему уделяют в виде милости ничтожную частицу той власти, которую он доставил своему равному, и его неудовольствие, иногда испарявшееся в опрометчивых разговорах, наконец стало выражаться в угрозах, направленных против монарха, которого он выдавал за жестокосердого тирана. Однако этот тиран неоднократно уличал, предостерегал и прощал своего старого боевого товарища, пока страх и раздражение не заглушили чувства признательности. После того как поступки и замыслы Михаила были подвергнуты расследованию, он был уличен в государственной измене и осужден на сожжение живьем в печи одной частной бани. Благочестивое человеколюбие императрицы Феофаны оказалось гибельным и для ее супруга, и для ее семейства. Так как казнь была назначена на двадцать пятое декабря, то она стала настаивать на том, что не следует осквернять день рождения Спасителя таким ужасным зрелищем, а Лев неохотно согласился на такую от-

срочку, какая ему казалась более удобной. Но накануне праздника его душевная тревога, отнимавшая у него сон, побудила его посетить среди ночной тишины комнату, в которой содержался его противник; он застал Михаила без цепей и спящим глубоким сном на постели его тюремщика. Льва встревожили эти доказательства самоуверенности и тайного соглашения с тюремной стражей; но хотя он удалился тихими шагами, его приход и уход был подмечен одним рабом, спрятавшимся за углом тюрьмы. Под видом просьбы о присылке ему духовника Михаил уведомил заговорщиков, что их жизнь зависит от его произвола и что они могут располагать лишь несколькими часами для того, чтобы позаботиться и о своей собственной безопасности, и о спасении их друга, и их отечества. В большие праздники отборный хор из священников и певчих имел право входить через особые двери внутрь дворца для того, чтобы петь в придворной капелле заутреню, а Лев, подчинивший этот хор такой же строгой дисциплине, какую ввел в военных лагерях, редко отсутствовал при этом утреннем богослужении. Заговорщики, одевшись в священническое платье и спрятав под ним свои кинжалы, примкнули к процессии, спрятались в углах капеллы и ожидали, чтобы император запел первый псалом, что было условленным сигналом для нападения. Он едва не спасся благодаря полумраку и тому, что был одет, как все другие. Заговорщики сначала бросились на одного священника, но, заметив свою ошибку, со всех сторон окружили свою жертву. Не имея при себе ни оружия, ни друзей, император схватил тяжелый крест и стал обороняться от нападающих; но когда он стал просить пощады, ему безжалостно ответили: "Это час мщения, а не помилования". Метко направленный удар меча отсек от его тела руку с крестом, и Лев Армянин был вслед за тем умерщвлен у подножия алтаря[15].

Замечательную превратность фортуны представляет судьба Михаила II, прозванного Косноязычным вследствие какого-то недостатка в органе речи[16]. Вместо того чтобы попасть в растопленную печь, он попал на императорский престол, а так как среди суматохи нескоро отыскали слесаря, то его ноги оставались закованными в цепи в течение нескольких часов после того, как он вступил на трон Цезарей. Купленное пролитием царской крови возвышение Михаила не принесло никакой пользы государству; он сохранил на престоле низкие

пороки своего происхождения и терял свои провинции с беспечным равнодушием, как будто они составляли наследство, полученное от предков. Его права на престол стал оспаривать Фома Каппадокиец — последний член того триумвирата, к которому относились предсказания, сделанные Вардану. С берегов Тигра и Каспийского моря Фома перевел в Европу восемьдесят тысяч варваров, с которыми предпринял осаду Константинополя; но для защиты столицы были употреблены в дело все и духовные, и мирские средства обороны; болгарский царь напал на лагерь восточных войск, и Фома был так несчастлив или так малодушен, что отдался живым в руки победителя. У бунтовщика отрубили руки и ноги; его посадили на осла, и в то время, как чернь осыпала его оскорблениями, его возили по улицам, которые он обрызгивал своей кровью. До какой степени дошли варварство и испорченность нравов того времени, видно из того факта, что сам император присутствовал на этом зрелище. Михаил не внял мольбам своего бывшего ратного товарища и настоятельно требовал, чтобы были отысканы сообщники мятежника, пока его любознательность не вызвала следующего возражения со стороны одного или честного, или замешанного в преступлении чиновника: "Разве вы поверите обвинениям, которые будет возводить недруг на самых преданных вам друзей?" После смерти своей первой жены император по просьбе Сената вступил в брак с жившей в монастыре дочерью Константина VI Евфросинией. Из уважения к ее высокому происхождению в брачный договор было включено условие, что ее дети будут царствовать вместе с их старшим братом на равных правах. Но брак Михаила с Евфросинией был бездетен, и она удовольствовалась титулом матери Михаилова сына и наследника Феофила.

Личность Феофила представляет нам редкий пример того, что религиозное рвение признавало и даже, быть может, преувеличивало добродетели еретика и гонителя. Его враги нередко испытывали на себе его мужество, а подданные империи — его справедливость; но мужество Феофила было опрометчиво и бесплодно, а его справедливость была и прихотлива, и жестокосерда. Он развернул знамя креста для борьбы с сарацинами; но его пять экспедиций окончились решительной неудачей; родина его предков Аморий был стерт с лица земли, а его военные труды не доставили ему ничего, кроме

прозвания Несчастливого. Монарх обнаруживает свою мудрость в издании законов и в выборе должностных лиц, и в то время, как он, по-видимому, бездействует, его гражданское управление движется вокруг него, как вокруг своего центра, с безмолвием и правильностью планетной системы. Но в своем правосудии Феофил походил на восточных деспотов, которые при личном и прихотливом выражении своей воли руководствуются или минутным благоразумием, или минутным страстным увлечением, не заботясь о том, чтобы приговор был согласен с законами, а наказание было соразмерно с преступлением. Одна бедная женщина бросилась к ногам императора с жалобой на своего могущественного соседа, брата императрицы, который построил такой высокий дворец, что ее скромное жилище лишилось и света, и воздуха! Когда основательность жалобы была проверена, монарх не ограничился — как то сделал бы обыкновенный судья — присуждением в пользу обиженной достаточного или даже щедрого вознаграждения, а приказал предоставить в ее пользование и дворец, и землю. Феофил не удовольствовался и этим чрезмерным вознаграждением; его усердие превратило нарушение прав недвижимой собственности в уголовное преступление, и несчастный патриций был подвергнут телесному наказанию на константинопольской публичной площади. За какую-нибудь незначительную вину, за послабление или недосмотр главные должностные лица, префекты, квесторы и начальники гвардии или отправлялись в ссылку, или изувечивались, или обваривались растопленной смолой, или сжигались живыми на ипподроме; а так как эти страшные наказания иногда бывали последствием ошибки или каприза, то они неизбежно должны были устранять от государственной службы самых благоразумных граждан. Но гордости монарха льстила такая выставка его могущества, или, как он соображал, его добродетелей, а народ, живя в безопасности благодаря своему ничтожеству, радовался опасному положению и унижению тех, кто был выше его. Для такой необычайной взыскательности служили в некоторой мере оправданием ее благотворные последствия, так как после производившихся в течение семнадцати дней расследований не было найдено ни при дворе, ни в городе ни одного повода для жалоб и ни одного злоупотребления. Можно бы было сослаться и на то, что управлять греками могла только железная рука

и что общая польза должна служить мотивом и руководящим правилом для деятельности верховного судьи. Однако этот судья оказывается более всякого другого легковерным и пристрастным, когда дело идет о государственной измене или только о подозрении в совершении этого преступления.

Феофил подверг запоздалому наказанию тех, кто убил Льва и спас жизнь его собственного отца; но он пользовался плодами их преступления, а его недоверчивая тирания принесла в жертву его будущей безопасности мужа его сестры и члена царствующего дома. Один перс из рода Сасанидов умер в Константинополе в бедности и в изгнании, оставив единственного сына, прижитого в браке с плебейкой. Когда этот сын, называвшийся Феофобом, достиг двенадцатилетнего возраста, впервые обнаружилась тайна его знатного происхождения, а по своим личным качествам он не был недостоин такого происхождения. Он получил в византийском дворце воспитание христианина и воина, быстрыми шагами продвигался вперед на поприще блеска и славы, вступил в брак с сестрой императора и был назначен начальником тех тридцати тысяч персов, которые, подобно его отцу, спаслись бегством от магометанских завоевателей. Эти войска, заразившиеся, и пороками фанатиков, и пороками наемников, вздумали восстать против своего благодетеля и водрузить знамя своего наследственного царя; но честный Феофоб отверг их предложения, расстроил их замыслы и, вырвавшись из их рук, укрылся в лагере или во дворце своего царственного шурина. Если бы Феофил отнесся к нему с великодушным доверием, он мог бы запастись надежным и способным опекуном для своей жены и для малолетнего сына, которому должен был во цвете лет оставить в наследство империю[17]. Но зависть и физические недуги усилили его недоверчивость; его пугала мысль, что добродетели Феофоба могут быть как поддержкой, так и пагубой для малолетства и слабости, и император потребовал перед смертью казни персидского принца. Он обнаружил дикую радость, когда увидел так хорошо ему знакомое лицо его родственника: "Ты уже более не Феофоб!" — воскликнул он и затем, опускаясь на свое ложе, присовокупил едва слышным голосом: "Скоро, слишком скоро и я уже не буду Феофилом!"

Русские, заимствовавшие от греков большую часть своих гражданских и церковных учреждений, придерживались до

прошедшего столетия странного способа женить своих царей. Они собирали не девушек всякого ранга и из всяких провинций — что было бы и бесполезно, и романтично,— а дочерей самых знатных дворян и заставляли их ожидать во дворце выбора их государя. Такой же методы придерживались, как уверяют, при бракосочетании Феофила. С золотым яблоком в руке, он медленно прохаживался между двумя рядами соперничавших красавиц; его взоры остановились на прелестях Иказии, но не зная, с чего начать разговор, смутившийся Феофил ограничился замечанием, что в этом мире женщины причинили много зла: "И конечно, Ваше Величество,— живо возразила Иказия,— они также сделали немало добра". Это неуместное желание блеснуть остроумием не понравилось императору; он с отвращением отошел в сторону; Иказия скрыла свою скорбь в монастыре, а скромное молчание Феодоры было награждено золотым яблоком. Она снискала любовь своего властелина, но не избежала его взыскательности. Из прилегавшего к дворцу сада он увидел нагруженный доверху корабль, направлявшийся к гавани; узнав, что этот дорогой груз состоял из предметов сирийской роскоши и принадлежал его жене, он приказал сжечь корабль, а к жене обратился со строгим упреком за то, что своей жадностью она унизила достоинство императрицы и низошла на степень торговки. Тем не менее он перед смертью поручил ей опеку над империей и над ее сыном Михаилом, оставшимся сиротой на пятом году от роду. Благодаря тому, что она восстановила поклонение иконам и окончательно искоренила иконоборство, ее имя сделалось дорого для благочестивых греков; но при своем пылком религиозном рвении она с признательностью относилась к памяти своего мужа и заботилась о спасении его души. После тринадцати лет благоразумного и бережливого управления она заметила, что ее кредит стал падать; но эта вторая Ирина подражала лишь добродетелям своей предшественницы. Вместо того чтобы покушаться на жизнь или на власть своего сына, она без борьбы, хотя и не без ропота, удалилась в уединение домашней жизни, оплакивая неблагодарность, пороки и неизбежную гибель недостойного юноши.

Между преемниками Нерона и Элагабала мы до сих пор не встречали ни одного, который подражал бы порочным наклонностям этих двух императоров, не нашли ни одного, ко-

торый смотрел бы на удовольствие как на цель своей жизни, а на добродетель как на врага удовольствий. Как бы ни были велики материнские заботы Феодоры о воспитании Михаила III, несчастья ее сына происходили от того, что он сделался монархом, еще не сделавшись мужчиной. Хотя эта честолюбивая мать и старалась сдерживать развитие его ума, она не была в состоянии охладить вспышки его страстей и за свою себялюбивую политику была справедливо наказана пренебрежением и неблагодарностью неподатливого юноши. Когда ему минуло восемнадцать лет, он не захотел признавать ее авторитета, не сознавая своей неспособности управлять империей и самим собой. Вместе с удалением Феодоры при дворе исчезло все, что отзывалось степенностью и благоразумием; там стали попеременно господствовать то порок, то безрассудство, и не было никакой возможности снискать или сохранить милостивое расположение императора, не утратив вместе с тем общего уважения. Миллионы, накопленные золотом и серебром на государственные потребности, были безрассудно истрачены на самых недостойных людей, потакавших страстям Михаила III и разделявших его удовольствия, и в свое тринадцатилетнее царствование самый богатый из всех монархов довел себя до того, что был вынужден обращать в деньги самые ценные украшения дворца и церквей. Подобно Нерону, он всего более любил театральные представления и огорчался, если кто-либо превосходил его в таких талантах, от обладания которыми он должен бы был краснеть. Однако в занятиях Нерона музыкой и поэзией были заметны некоторые проблески изящного вкуса, а постыдные наклонности Феофилова сына ограничивались бегом колесниц на ипподроме. Четыре партии, когда-то нарушавшие спокойствие столицы, все еще служили развлечением для ее досуга; для себя самого император избрал синюю одежду; три остальных цвета он раздал своим любимцам, и среди этих низких, хотя и горячих, состязаний он забывал и о своем личном достоинстве, и о безопасности своих владений. Он приказал молчать курьеру, который привез ему известие о неприятельском нашествии, осмелившись отвлечь его внимание в самую критическую минуту скачки, и по его приказанию были погашены докучливые сигнальные огни, слишком часто распространявшие тревогу от Тарса до Константинополя. Самые искусные возничие занимали первое место в

сго доверии и уважснии; их заслуги щедро награждались; они угощали имспсратора у себя на дому, и он крестил их детсй, а между тем как он хвастался своей популярностью, он делал вид, будто порицает холодную и величавую сдержанность своих предшественников. Противоестественное сладострастие, которым позорил себя Нерон даже в зрелых летах, уже не находило подражателей; тем не менее Михаил истощал свои силы, удовлетворяя свои любовные влечения и свою склонность к крепким напиткам. На своих ночных пирушках, когда страсти разгорались от вина, он давал самые кровожадные приказания, а если в нем пробуждалось чувство человеколюбия, он, придя в себя, одобрял благотворное неповиновение своих служителей. Но самой странной чертой в характере Михаила была его нечестивая склонность к насмешкам над религией его отечества.

Суеверия греков действительно могли бы вызвать улыбку на устах философа, но его улыбка была бы рассудительна и сдержанна и он осудил бы невежественное безрассудство юноши, оскорблявшего предметы публичного поклонения. Придворный шут надевал на себя облачение патриарха; его двенадцать митрополитов, в числе которых находился и сам император, облекались в священнические одеяния; они совершали разные богохульства над взятыми с алтаря священными сосудами и во время напоминавших вакханалии пирушек приобщались Св. Тайн отвратительной смесью уксуса с горчицей. И эти нечестивые зрелища не скрывались от глаз горожан. В один большой праздник император и его епископы или шуты, проезжая на ослах по улицам, повстречались с настоящим патриархом, шедшим во главе своего духовенства, и своими дерзкими возгласами, своими неприличными жестами нарушили торжественность христианской процессии. Набожность Михаила проявлялась лишь в каких-нибудь нарушениях здравого смысла и благочестия; он принимал свои театральные венки от статуи св. Девы и вскрыл могилу Константина Иконоборца для того, чтобы сжечь его кости. Этими сумасбродствами сын Феофила навлек на себя не только общую ненависть, но и общее презрение; все с нетерпением желали избавиться от него, и даже его фавориты стали опасаться, чтобы минутная прихоть не отняла у них того, что было дано той же прихотью. На тринадцатом году царствования, в минуту опьянения и усыпления, Михаил III был

умерщвлен в своей постели основателем новой династии, которого он облек равным с ним рангом и равной с ним властью.

Родословная Василия Македонянина (если только она не была продуктом гордости и лести) представляет наглядный пример переворотов, происходивших в судьбе самых знаменитых родов. Соперники Рима, Аршакиды, держали в своих руках скипетр Востока в течение почти четырехсот лет; младшая линия этих парфянских царей и после того еще царствовала в Армении, а ее царственные потомки пережили раздел и порабощение этой древней монархии. Двое из этих потомков, Артабан и Хлиен, бежали или удалились ко двору Льва I, который из великодушия дал им безопасное и гостеприимное пристанище в Македонской провинции; их постоянным местопребыванием был впоследствии назначен Адрианополь. В течение нескольких поколений они поддерживали достоинство своего происхождения, а их римский патриотизм отвергал соблазнительные предложения персидских и армянских уполномоченных, приглашавших их возвратиться в отечество. Но время и бедность мало-помалу помрачили их прежний блеск, и отец Василия был доведен до того, что собственными руками возделывал маленькую усадьбу, в которой заключалось все его состояние; тем не менее он не хотел унижать потомство Аршакидов браком с плебейкой, женился на одной адрианопольской вдове, причислявшей великого Константина к числу своих предков, и родившийся от этого брака сын был связан с Александром Македонским узами какого-то дальнего родства или национального происхождения. Лишь только родился этот сын, названный Василием, и его колыбель, и его семейство, и город Адрианополь сделались жертвами болгарского нашествия; он воспитывался на чужбине в рабстве и благодаря строгости дисциплины приобрел ту отвагу и ту гибкость ума, которые впоследствии много способствовали его возвышению. Еще будучи юношей или только что достигнув возмужалости, он присоединился к тем римским пленникам, которые смело разорвали свои оковы, прошли через Болгарию до берегов Эвксинского моря, разбили две варварские армии, сели на корабли, которые были заранее для них приготовлены, и возвратились в Константинополь, откуда их разослали по домам. Но свобода не дала Василию средств существования; его усадьба была разорена

вызванными войной опустошениями; после смерти своего отца он не был в состоянии содержать осиротевшее семейство трудами своих рук или своей службой и решился искать более блестящего театра деятельности, на котором и всякая добродетель, и всякий порок могли проложить путь к величию. По прибытии в Константинополь этот измученный странник, не имевший ни друзей, ни денег, провел первую ночь на пороге церкви св. Диомида; какой-то случайно встретившийся гостеприимный монах накормил его, и затем он поступил на службу к двоюродному брату и тезке императора Феофила — маленькому человечку, за которым всегда следовала толпа рослых и красивых служителей. Василий сопровождал своего патрона, когда тот отправился наместником в Пелопоннес, затмил своими личными достоинствами знатность и высокое положение Феофила и вступил в выгодную связь с одной богатой и благотворительной патрасской матроной. Из духовной или из плотской склонности она привязалась к молодому искателю приключений и усыновила его.

Даниэлис подарила ему тридцать рабов, и плоды ее щедрот Василий употребил на пособие своим братьям и на приобретение значительных имений в Македонии. Из признательности или из честолюбия он не покидал службы при Феофиле, а одна счастливая случайность обратила на него внимание двора. Один знаменитый борец, состоявший при свите болгарских послов, вызвал во время императорского застолья на бой самого смелого и самого сильного из греков. Василий был известен своей физической силой; он принял вызов, и варвар был побежден при первом натиске. Одной красивой лошади, которая была с норовом, было решено подрезать подколенную жилу; служитель Феофила благодаря своей ловкости и отваге объездил ее и был за это награжден почетной должностью при императорских конюшнях. Но не было никакой возможности снискать доверие Михаила, не потворствуя его порочным наклонностям, и его новый фаворит возвысился до звания главного дворцового комита и удержался на этом посту благодаря позорному вступлению в брак с одной из императорских любовниц и благодаря бесчестию своей сестры, заменившей эту любовницу. Дела государственного управления были предоставлены брату и недругу Феодоры, Цезарю Вардасу; коварные женские наветы убеди-

ли Михаила, что его дядя человек и гнусный, и опасный; Вардаса вызвали из Константинополя под предлогом приготовлений к Критской экспедиции, и он был заколот главным комитом в присутствии императора, в палатке, где ему была дана аудиенция. Не прошло месяца после этого деяния, как Василий получил титул Августа и управление империей. Он выносил положение неравноправного соправителя до тех пор, пока не нашел для себя опоры в уважении народа. Прихоть императора подвергла его жизнь опасности, а его достоинство было унижено назначением второго соправителя, который когда-то служил гребцом на галерах. Тем не менее его нельзя не осудить за умерщвление его благодетеля, которое было делом и человека неблагодарного, и изменника, а церкви, которые он строил во имя св. Михаила, были жалким и ничтожным искуплением его преступления.

Различные эпохи в жизни Василия I имеют некоторое сходство с различными эпохами жизни Августа. По своему положению грек не мог в своей ранней молодости напасть на свою родину во главе армии или подвергнуть проскрипции самых благородных ее сынов; но его честолюбие унижалось до хитростей, приличных рабу; он скрыл свое честолюбие и даже свои добродетели и окровавленными руками убийцы захватил империю, которой он впоследствии управлял с отеческой предусмотрительностью и заботливостью. Интересы частного человека могут не сходиться с его обязанностями, но только вследствие отсутствия здравого смысла или мужества самодержавный монарх может отделять свое благополучие от своей славы или свою славу от общественного благоденствия. Правда, жизнеописание или панегирик Василия был написан и выпущен в свет под продолжительным владычеством его потомков; но даже прочность их владычества должна быть приписана высоким достоинствам их предка. При описании его характера его внук Константин попытался нарисовать портрет монарха, обладающего всеми совершенствами; но если бы этот слабый монарх не старался подражать невымышленному образцу, он не мог бы подняться так высоко над уровнем своего собственного поведения и своих собственных идей. Но самой солидной похвалой Василия служит сравнение между той разоренной монархией, которую он вырвал из рук Михаила, и той цветущей монархией, которую он оставил в наследство Македонской династии. Он

искусной рукой исправлял злоупотребления, освященные временем и привычкой, и воскресил если не национальное мужество, то по меньшей мере благоустройство и величие Римской империи. Его трудолюбие было неутомимо, его нрав был хладнокровен, его ум был энергичен и решителен, а на практике он выказал ту редкую и благотворную умеренность, которая удерживает каждую добродетель на одинаковом расстоянии от двух противоположных ее крайностей. Его военная служба ограничивалась внутренностью дворца, и он не был одарен мужеством и талантами полководца. Однако в его царствование римские армии снова сделались страшны для варваров. Лишь только он успел создать новую армию введением дисциплины и военных упражнений, он лично появился на берегах Евфрата, смирил гордость сарацин и подавил опасное, хотя и справедливое, восстание манихеев. В негодовании против мятежника, долго увертывавшегося от его преследований, он молил у Бога одной милости — чтобы ему удалось вонзить три стрелы в голову Хрисохира. Эта ненавистная голова была добыта скорей изменой, чем храбростью; ее повесили на дереве, и коронованный стрелок три раза испытал над ней свое искусство,— это было низкое мщение мертвому человеку, более достойное того века, чем характера Василия. Но его главная заслуга заключалась в управлении финансами, в его законодательной деятельности. Чтоб снова наполнить истощенную государственную казну, ему предложили отобрать подарки, которые его предшественник так щедро раздавал недостойным людям; он был так благоразумен, что уменьшил этот возврат наполовину и таким способом немедленно добыл сумму в 1200000 фунт. ст., которая дала ему возможность удовлетворить самые настоятельные государственные нужды и зрело подготовить реформы в государственном хозяйстве.

В числе различных проектов, составленных с целью улучшения финансов, ему предложили новый способ поголовного обложения, который ставил плательщиков в слишком большую зависимость от личного произвола сборщиков податей. Комит представил ему список честных и способных агентов; но при тщательном рассмотрении этого списка Василий нашел, что только на двоих можно безопасно возложить такие широкие полномочия, а эти избранники оправдали его уважение тем, что не захотели воспользоваться его доверием.

Но серьезное и успешное усердие императора мало-помалу установило равновесие между собственностью и налогами, между доходами и расходами; для каждой отрасли государственного управления был назначен особый источник доходов, и твердо установленная система обеспечила и интересы монарха, и собственность народа. Уменьшив роскошь императорского стола, Василий назначил доходы с двух родовых имений на то, чтобы в его дворце был приличный достаток; налоги, собиравшиеся с его подданных, употреблялись на их защиту, а все, что оставалось, шло на украшение столицы и провинций. Хотя склонность к постройкам обходится дорого, она может быть в некоторых случаях похвальной и может находить много мотивов для своего оправдания; она возбуждает предприимчивость, поощряет искусства и в некоторой мере доставляет обществу пользу или удовольствие; польза большой дороги, водопровода или госпиталя очевидна и бесспорна, а сотня церквей, воздвигнутых по приказанию Василия, удовлетворяла благочестие того времени. В качестве верховного судьи Василий был и рачителен, и беспристрастен; он старался спасать виновных, но и не боялся карать их; кто угнетал народ, тот подвергался строгим наказаниям, но личные враги императора, прощать которых было бы небезопасно, лишались зрения и должны были проводить остальную жизнь в уединении и в покаянии. Перемены, происшедшие и в языке, и в нравах, требовали пересмотра устарелой Юстиниановой юриспруденции: объемистые тома его Институций, Пандектов, Кодекса и Новелл были переделаны на греческий язык под сорока титулами, и исправленные и дополненные сыном и внуком императора "Василики" должны считаться за самобытное произведение основателя их династии. Этому славному царствованию положило конец несчастье, случившееся на охоте. Рассвирепевший олень зацепил своими рогами за перевязь императора и стащил его с лошади; Василия спас один из его служителей, обрезавший перевязь и убивший зверя; но от падения или от лихорадки силы престарелого монарха истощились, и он испустил дух во дворце среди плача и своих родственников, и своих подданных. Если правда, что он приказал отрубить голову верному служителю, осмелившемуся занести свой меч над особой своего государя, то следует полагать, что гордость деспота, которую он сдерживал в течение своей жизни, ожила в

нем в последние минуты, когда уже не оставалось никакой надежды и когда он уже не нуждался в общественном мнении или уже не придавал ему никакого значения.

Из четырех сыновей императора старший, называвшийся Константином, умер прежде своего отца, который нашел утешение для своей скорби и для своего легковерия в лести наглого лицемера и в мнимом видении[18]. Младший из его сыновей, по имени Стефан, удовольствовался почестями патриарха и святого; двое остальных, Лев и Александр, были возведены в императорское звание, но правительственная власть находилась в руках одного старшего брата. Имя Льва VI было украшено прозвищем Философа, а сочетание достоинств монарха с достоинствами мудреца, дарований практического деятеля с дарованиями философа действительно могло бы считаться за высшее совершенство человеческой натуры. Но Лев едва ли имел право заявлять притязания на такие идеальные превосходства. Подчинял ли он свои страсти и влечения верховенству разума? Он провел свою жизнь в роскоши дворца и в обществе своих жен и наложниц, и даже милосердие, которое он иногда выказывал, и мир, который он старался поддерживать, должны быть приписаны мягкости и беспечности его характера. Умел ли он одерживать верх над своими собственными предрассудками и над предрассудками своих подданных? Его ум был заражен самыми ребяческими суевериями; своими законами он поддерживал влияние духовенства и заблуждения народа, а его прорицания, разоблачавшие пророческим слогом будущие судьбы империи, были основаны на астрологии и на ворожбе. Если бы мы стали доискиваться, почему этому императору было дано прозвание Философа, то мы не нашли бы никакой другой причины, кроме той, что сын Василия был менее несведущ, чем большая часть его современников, и из среды духовенства, и из среды мирян, что его воспитанием руководил ученый Фотий и что им было написано или было издано под его именем несколько сочинений по разным научным предметам как светского, так и духовного содержания. Но его репутация как философа и как человека религиозного была поколеблена пороками семьянина — частыми бракосочетаниями. Первоначальное понятие о достоинстве и святости безбрачия проповедовалось монахами и было усвоено греками. Брак дозволялся как необходимое средство для размножения человече-

ского рода; после смерти одного из супругов тот, который оставался в живых, мог удовлетворить слабость своей плоти или ее силу вторичным браком; но третий брак считался за нечто вроде легального прелюбодеяния, а четвертый был бы таким грехом или скандалом, которому еще не было примера между восточными христианами.

Сам Лев уничтожил в начале своего царствования легальное положение наложниц и осудил третий брак, не отменяя его; но его патриотизм и любовная привязанность скоро довели его до того, что он нарушил изданные им самим законы и подверг самого себя той епитимье, которую налагал в подобных случаях на своих подданных. От своих первых трех жен он не имел детей; но императору была нужна подруга, а империи был нужен законный наследник. Красавица Зоя была введена во дворец в качестве наложницы, а когда ее плодовитость была доказана рождением сына Константина, ее любовник объявил, что намерен дать и матери, и ребенку законные права путем четвертого бракосочетания. Но патриарх отказал ему в своем благословении, согласился окрестить новорожденного принца лишь с условием, чтобы император отослал свою любовницу, а когда данное обещание не было исполнено, исключил супруга Зои из общества верующих. Ничто не могло сломить упорства монаха — ни угроза ссылки, ни отказ в повиновении со стороны его собратьев, ни авторитет латинской церкви, ни опасение, что престол или вовсе останется без наследника, или сделается предметом спора между претендентами. После смерти Льва его возвратили из ссылки и снова возвели в прежние должности по гражданскому и по церковному управлению, а изданный от имени Константина декрет, признававший заключение четвертого брака за скандал, наложил пятно на его собственное происхождение.

На греческом языке *пурпур* и *порфир* называются одним и тем же словом, а так как в природе цвета не изменяются, то мы можем отсюда заключить, что тирская краска, в которую окрашивались у древних пурпуровые мантии, была темно-красного цвета. В византийском дворце одна комната была обложена порфиром; она предназначалась для беременных императриц, а в знак того, что родившиеся там дети были царской крови, их называли Порфирородными, или родившимися в пурпуре. Многие из римских императоров были ос-

частливлены рождением наследника, но это название было впервые дано Константину VII[19]. Его жизнь длилась столько же, сколько его номинальное царствование; но из прожитых им пятидесяти четырех лет шесть протекли до смерти его отца, а в течение остальных сын Льва или добровольно, или поневоле находился под властью тех, кто пользовался его слабостью или злоупотреблял его доверием. Его дядя Александр, уже давно носивший титул Августа, был первым соправителем и руководителем юного монарха; но, быстро пробегая карьеру пороков и безрассудств, брат Льва мог соперничать с репутацией Михаила, а перед тем, как его застигла смерть, он намеревался оскопить своего племянника и отдать империю в руки недостойного фаворита. В следующие годы своего несовершеннолетия Константин находился под властью своей матери Зои и совета из семи регентов, которые преследовали свои личные цели, удовлетворяли свои страсти, не заботились о государстве, выживали друг друга и окончательно исчезли при появлении воина. Из низкого звания Роман Лекапин возвысился до командования морскими силами и среди господствовавшей с ту пору анархии заслужил или, по меньшей мере, снискал общее уважение. С победоносным и преданным ему флотом он отплыл из устьев Дуная к константинопольскому порту и был приветствован как спаситель народа и как опекун монарха. Его высокой должности было первоначально дано новое название отца императора; но Роман скоро стал гнушаться зависимой властью в этом ранге и присвоил себе, вместе с титулами Цезаря и Августа, вполне самостоятельную верховную власть, которую удержал в своих руках в течение почти двадцати пяти лет. Его три сына, Христофор, Стефан и Константин, были один вслед за другим удостоены таких же почетных отличий, и законный император был низведен в этой коллегии монархов с первого ранга на пятый[20]. Однако он имел основание быть довольным и своей счастливой судьбой, и милосердием узурпатора, так как его не лишили ни жизни, ни престола. Примеры и из древней, и из новой истории могли бы служить оправданием для честолюбия Романа; в его власти были и силы империи, и ее законы; незаконное рождение Константина могло бы послужить предлогом для его устранения, и сын наложницы мог бы быть похоронен или в могиле, или в монастыре. Но Лекапин, по-видимому, не имел ни

добродетелей, ни пороков тирана. Мужество и деятельность, которые он проявлял будучи частным человеком, испарились от блеска верховной власти, и среди своих безнравственных наслаждений он не имел времени заботиться о безопасности как государства, так и собственного семейства. Будучи кроткого и набожного нрава, он уважал святость клятв, невинность юноши, память его родителей и привязанность народа. Склонность Константина к занятиям и его уединенная жизнь обезоруживали соперничество из-за власти: книги и музыка, перо и кисть служили для него постоянным источником наслаждений, а если он действительно мог увеличивать свое скромное жалованье продажей своих картин и если имя артиста не возвышало их цены, то следует полагать, что он обладал таким талантом, какой для немногих монархов мог бы служить ресурсом в эпоху невзгод.

Причиной падения Романа были и его собственные пороки, и пороки его детей. После смерти его старшего сына Христофора двое оставшихся в живых его сыновей стали ссориться между собой, а затем составили заговор против своего отца. В полдень, когда никого из посторонних не пускали во дворец, они вошли в его комнату с вооруженными людьми и, надев на него монашеское платье, отправили его на один из небольших островков Пропонтиды, где поселилась какая-то религиозная община. Слух об этом внутреннем перевороте возбудил смятение в столице; но предметом общих забот был один Порфирородный, так как он один был настоящим и законным императором, и сыновья Лекапина узнали из позднего опыта, что они совершили преступное и опасное дело на пользу их соперника. Их сестра Елена, которая была женой Константина, обнаружила или заподозрила их изменнический замысел убить ее мужа за императорским банкетом. Это встревожило его приверженцев, и оба узурпатора были схвачены, лишены императорского звания и отправлены морем на тот самый остров и в тот самый монастырь, куда они незадолго перед тем засадили своего отца. Престарелый Роман встретил их на берегу с саркастической улыбкой и, попрекнув их за безрассудство и неблагодарность, поровну разделил со своими бывшими соправителями воду и овощи, составлявшие его обед. На сороковом году своего царствования Константин VII сделался властелином восточного мира, которым он управлял или делал вид, будто управлял, в течение

почти пятнадцати лет. Но у него не было в характере той энергии, которая влечет к предприимчивости и к славе, а те занятия, которые развлекали и облагораживали его досуг, были несовместимы с важными обязанностями монарха. Пренебрегая делами управления на практике, император знакомил своего сына Романа с их теорией, а в то время, как он предавался своей привычке к невоздержанности и к лености, бразды правления перешли из его рук в руки его жены Елены, которая была так своенравна и непостоянна в своем милостивом расположении, что заставляла жалеть о всяком уволенном ею чиновнике, так как обыкновенно заменяла его еще более недостойным преемником. Тем не менее греки любили Константина за его происхождение и за его несчастья; они извиняли ему его недостатки; они уважали его ученость, невинность, милосердие и любовь к справедливости, а на церемонию его похорон наложили отпечаток грусти непритворные слезы его подданных. Согласно старинному обыкновению, его тело было положено на парадном одре при входе во дворец, а гражданские и военные чины, патриции, Сенаторы и духовенство поочередно преклоняли колена перед бездыханным трупом своего государя и целовали его. Перед тем, как процессия двинулась к месту погребения, глашатай громко произнес страшные слова: "Встань, Царь земной и иди на призыв Царя Царей!"

Смерть Константина приписывали отравлению, а его сын, названный в честь своего деда по матери Романом, вступил на константинопольский престол. Монарх, который в двадцатилетнем возрасте уже мог быть заподозрен в том, что ускорил открытие отцовского наследства, не мог пользоваться общим уважением; впрочем, Роман был скорее слаб, чем порочен, и главную долю ответственности за его преступление общественное мнение возлагало на его жену Феофану, которая, будучи низкого происхождения, отличалась несвойственной женщинам отвагой и гнусностью своего нрава. Сыну Константина не были знакомы ни влечение к славе, ни желание общей пользы, которые служат настоящим источником наслаждений для монархов, и в то время, как два его брата, Никифор и Лев, одерживали победы над сарацинами, император проводил в неутомимой праздности те часы, которые он должен бы был посвящать своему народу. Утром он посещал цирк; в полдень он угощал Сенаторов; послеобеден-

ные часы он проводил большей частью в sphoeristerium'e, или в месте, устроенном для игры в мяч, которое было единственным театром его побед; оттуда он переезжал на азиатский берег Боспора, занимался охотой, убивал четырех громадных кабанов и возвращался во дворец довольный понесенными в течение дня трудами. Физической силой и красотой он выделялся между своими сверстниками: он был высокого роста и держался прямо, как молодой кипарис; его лицо было красиво и румяно; у него были блестящие глаза, широкие плечи и длинный орлиный нос. Однако даже таких достоинств не было достаточно для того, чтобы упрочить привязанность Феофаны, и после четырехлетнего царствования она составила для своего мужа такой же губительный напиток, какой приготовила для его отца.

От своего брака с этой гнусной женщиной Роман имел двух сыновей, Василия II и Константина VIII[21], и двух дочерей, Феофану и Анну. Старшая из двух сестер была выдана замуж за западного императора Оттона II; младшая сделалась женой просветителя России, великого князя Владимира, а благодаря тому, что ее внучка была в супружестве за королем Франции Генрихом I, кровь Македонской династии и, быть может, кровь Аршакидов до сих пор течет в жилах Бурбонов. После смерти своего супруга императрица пожелала царствовать от имени своих сыновей, из которых старшему было пять лет, а младшему только два года; но она скоро поняла, как непрочен престол, у которого не было другой опоры, кроме женщины, которую нельзя было уважать, и двух детей, которых нельзя было бояться. Феофана стала искать вокруг себя покровителя и бросилась в объятия самого храброго из воинов; у нее было широкое сердце, но судя по уродливой наружности ее нового фаворита, можно с полной уверенностью полагать, что интерес был мотивом и оправданием этой любовной связи. Никифор Фока соединял, по общему мнению, двойное достоинство героя и святого. В качестве героя он обладал неподдельными и блестящими дарованиями; он происходил от предков, прославившихся своими воинскими подвигами, сам отличался и мужеством воина, и искусством военачальника на всех должностях и во всех провинциях и незадолго перед тем был увенчан лаврами за важное завоевание острова Крит. Его религия была более сомнительного свойства; его власяница, его посты, его благочести-

вый склад речи и его желание удалиться от мирской суеты служили приличной маской для его скрытого и опасного честолюбия. Однако он успел обворожить святого патриарха, влиянию которого он был обязан тем, что декрет Сената возложил на него безусловное и самостоятельное командование восточными армиями на все время малолетства молодых кесарисов. Лишь только он уверился в преданности начальников и солдат, он смело двинулся на Константинополь, сломил сопротивление своих врагов, публично сознался в своем тайном соглашении с императрицей и, не посягая на положение сыновей Феофаны, присвоил себе вместе с титулом Августа первенство ранга и все права верховной власти. Но на его бракосочетание с Феофаной не соглашался тот самый патриарх, который возложил на его голову корону; своим вторичным бракосочетанием он подвергал себя на целый год церковному покаянию; духовное родство считалось препятствием для совершения брачной церемонии, и пришлось прибегнуть к разным уловкам и к клятвопреступлению для того, чтобы успокоить встревоженную совесть духовенства и народа. Свою популярность император утратил под пурпуровой мантией: в свое шестилетнее царствование он навлек на себя ненависть и иностранцев, и своих подданных, и в нем ожили лицемерие и скупость первого Никифора. Что касается лицемерия, я никогда не буду его оправдывать или извинять; но я позволю себе заметить, что скупость есть тот отвратительный порок, в котором нередко винят с чрезмерной опрометчивостью и который порицают с чрезмерной строгостью. Когда дело идет о частном человеке, мы в большинстве случаев постановляем наш приговор, не позаботившись предварительно собрать точные сведения о его состоянии и о расходах; а со стороны того, кому вверено государственное казнохранилище, бережливость есть всегда добродетель, а увеличение налогов нередко бывает неизбежной необходимостью. Никифор выказал свое великодушие в том, какое он сделал употребление из доходов со своих наследственных имений, а государственные доходы он употреблял лишь на нужды государства; каждой весной император лично выступал в поход против сарацин, и каждый римлянин мог рассчитать, как собранные с него налоги были израсходованы на триумфы, на завоевания и на охрану восточной границы.

В числе воинов, содействовавших возвышению Никифора

и служивших под его знаменем, находился один знатный и храбрый армянин, заслуживший и получивший самые блестящие награды. Рост Иоанна Цимисхия был ниже среднего; но в этом маленьком теле, одаренном физической силой и красотой, таилась геройская душа. Он внушал зависть брату императора и вследствие того был низведен с должности командующего восточной армией на должность комита почт, а за то, что осмелился на это роптать, был наказан опалой и ссылкой. Но Цимисхий принадлежал к числу многочисленных любовников императрицы: по ее ходатайству ему позволили жить в Халкидоне, вблизи от столицы; он отблагодарил ее за это одолжение тем, что втайне приходил к ней во дворец на любовные свидания, и Феофана охотно согласилась на убийство невзрачного и скаредного мужа. Несколько смелых и вполне ей преданных заговорщиков спрятались в одном из самых секретных ее апартаментов; в темную зимнюю ночь Цимисхий сел со своими главными сообщниками в небольшую шлюпку, переправился через Боспор, высадился подле входа во дворец и без всякого шума взобрался по веревочной лестнице, которую ему бросили состоявшие при императрице женщины. Ни собственные подозрения, ни предостережения друзей, ни запоздалая помощь его брата Льва, ни укрепления, которыми он окружил себя внутри дворца, ничто не могло спасти Никифора от домашнего врага, который одним своим словом растворял все двери перед убийцами. Император, спавший на полу на медвежьей шкуре, пробудился при их шумном вторжении в его комнату, и перед его глазами засверкали тридцать кинжалов. Нет основания полагать, что Цимисхий омочил свои руки в крови своего государя; но он безжалостно наслаждался зрелищем своего мщения. Убийство замедлилось вследствие того, что императора подвергали оскорблениям и истязаниям; но лишь только народу показали из окна голову Никифора, смятение стихло и армянин был провозглашен восточным императором. В день его коронования неустрашимый патриарх остановил его у входа в Софийский собор, объявил ему, что на его совести лежат измена и убийство, и потребовал, чтобы в доказательство своего раскаяния он разлучился со своей сообщницей, которая была еще более его преступна. Эта выходка апостольского усердия не могла быть неприятна для монарха, так как он не мог питать ни любви, ни уважения к

женщине, столько раз нарушавшей самые священные обязательства, и Феофана, вместо того чтобы разделить счастливую судьбу нового императора, была с позором удалена и от его постели, и из его дворца. На прощанье она проявила неистовую и бессильную ярость, обвиняла своего любовника в неблагодарности, оскорбляла на словах и била своего сына Василия, стоявшего с безмолвной покорностью перед своим старшим соправителем, и созналась в своих собственных прелюбодеяниях, объявив этого сына незаконнорожденным. Общее негодование удовлетворилось ссылкой Феофаны и наказанием самых незнатных ее сообщников; Цимисхию простили смерть непопулярного монарха, а блеск его добродетелей изгладил воспоминание о его преступлении. Его расточительность, быть может, была менее полезна для государства, чем скупость Никифора; но его приветливость и великодушие пленяли всякого, кто имел к нему доступ, и он шел по стопам своего предшественника только по пути к победе. Он провел большую часть своего царствования в лагерях и на войне, выказал свое личное мужество и свою предприимчивость на Дунае и на Тигре, когда-то служивших границами для римского мира, а своими победами над русскими и над сарацинами заслужил название спасителя империи и завоевателя Востока. Возвращаясь в последний раз из Сирии, он заметил, что самые плодоносные земли в его новых провинциях принадлежали евнухам. "Разве для них,— воскликнул он с благородным негодованием,— мы сражались и побеждали? Разве для них мы проливали нашу кровь и истощали сокровища нашего народа?" Эти сетования долетели до дворца, и смерть Цимисхия носит на себе сильные признаки отравления.

В течение двенадцати лет этой узурпации или этого регентства двое законных императоров, Василий и Константин, без шума достигли возмужалости. Их нежный возраст был не способен к владычеству: они относились к своему опекуну с той почтительной скромностью, на которую он имел право по своим летам и заслугам; честолюбие этого бездетного опекуна не имело никакого интереса нарушать их наследственное право на престол; их владения управлялись искусно и честно, и преждевременная смерть Цимисхия была для сыновей Романа скорей утратой, чем прибылью. Их неопытность заставила их провести еще двенадцать лет в добро-

вольной покорности опекуну, который продлил свое владычество, удовлетворяя их юношескую склонность к удовольствиям и внушая им презрение к заботам государственного управления. Слабый Константин навсегда запутался в этих шелковых тенетах; но в его старшем брате заговорили влечения гения и желание деятельности; он наморщил брови, и регент исчез. Василий был всеми признан властителем Константинополя и европейских провинций; но Азия находилась под гнетом двух заслуженных военачальников, Фоки и Склира, которые были попеременно то друзьями, то врагами, то верноподданными, то бунтовщиками и которые, поддерживая свою независимость, пытались подражать примеру счастливых узурпаторов. Сын Романа обнажил свой меч прежде всего против этих внутренних врагов, и они утратили всю бодрость духа в присутствии своего законного и мужественного монарха. Фока, стоя перед фронтом своей армии, внезапно повалился с лошади или от действия яда, или от попавшей в него стрелы; Склир, который был два раза закован в цепи и два раза облечен в императорскую мантию, пожелал спокойно провести небольшой остаток своей жизни. Когда этот престарелый проситель, опираясь на двух служителей, приблизился к трону нетвердыми шагами и с заплаканными глазами, император воскликнул с той самоуверенностью, которую внушают молодость и могущество: "Неужели это тот самый человек, который так долго наводил на нас страх?" После того как он упрочил свою власть и спокойствие империи, ему не давали покоя трофеи его бывших опекунов Никифора и Цимисхия. Его продолжительные и частые экспедиции против сарацин доставили империи более славы, чем пользы; но он окончательно разрушил болгарское царство, и это, как кажется, был самый важный из всех успехов, выпавших на долю римского оружия со времен Велисария. Тем не менее подданные Василия, вместо того чтобы прославлять своего монарха за его победы, ненавидели его за хищническую и мелочную жадность, и в дошедших до нас неполных рассказах о его подвигах мы усматриваем лишь храбрость, терпеливость и свирепость простого солдата. Дурное воспитание не ослабило его мужества, но омрачило его ум; он не был знаком ни с какой наукой, а воспоминания о его ученом и слабом деде, по-видимому, служили оправданием для его искреннего или притворного презрения к зако-

нам и к правоведам, к артистам и к искусствам. В том веке суеверию нетрудно было утвердить свое прочное владычество над таким монархом; когда прошли года юношеских увлечений, Василий II посвятил свою жизнь и во дворце, и в лагере делам покаяния, приличным отшельнику, стал носить под своей одеждой и латами монашеское платье, стал соблюдать обет воздержания и навсегда отказался от употребления вина и мяса. На шестьдесят восьмом году его жизни воинственный пыл побудил его предпринять священную войну против утвердившихся на Сицилии сарацин; смерть помешала ему исполнить это намерение, и прозванного Болгаробойцем Василия сопровождали, при его переселении в другой мир, благословения духовенства и проклятия народа. После его смерти его брат Константин пользовался в течение почти трех лет верховной властью или, вернее, удовольствиями, которые она доставляет, и его единственной заботой было избрание преемника. Он носил титул Августа в течение шестидесяти шести лет, а царствование обоих братьев было самым продолжительным и самым темным во всей византийской истории.

Пять императоров, в течение ста шестидесяти лет вступавшие на престол один после другого по праву наследования в прямой нисходящей линии, упрочили привязанность греков к Македонской династии, на которую не посягали даже те три узурпатора, которые присваивали себе принадлежавшую ей верховную власть. Когда со смертью Константина IX пресеклась мужская линия этого царственного рода, сцена совершенно изменилась, порядок престолонаследия не соблюдался и владычество следующих двенадцати императоров было менее продолжительно, нежели царствование одного Константина. Его старший брат предпочел общей пользе чистоту семейных нравов, а у самого Константина было только три дочери — Евдокия, которая постриглась в монахини, Зоя и Феодора, которые достигли зрелого возраста, сохранив и свое невежество, и свою девственность. Когда между приближенными их умирающего отца был поднят вопрос о выдаче их замуж, бесстрастная и благочестивая Феодора не пожелала дать империи наследника; но ее сестра Зоя согласилась предстать перед алтарем в качестве добровольной жертвы. Ей выбрали в мужья патриция с красивой наружностью и с хорошей репутацией, Романа Аргира, а когда он отклонил от

себя эту честь, ему объявили, что его ожидает или лишение зрения, или смерть. Мотивом его отказа была супружеская привязанность; но его великодушная жена пожертвовала своим собственным счастьем для его безопасности и величия, и ее поступление в монастырь устранило единственную преграду, не дозволявшую ему вступить в родство с царствующим домом. После смерти Константина скипетр перешел в руки Романа III; но и в делах внутреннего управления, и во внешней политике все его старания были бессильны и бесплодны, а зрелый сорокавосьмилетний возраст Зои был благоприятен не столько для расчетов на ее беременность, сколько для удовлетворения ее чувственных влечений. Ее любимым придворным был красивый пафлагонянин Михаил, начавший свое жизненное поприще с ремесла менялы, а Роман из признательности или по чувству справедливости поощрял эту преступную связь или довольствовался самыми легкими доказательствами их невинности. Но Зоя скоро оправдала тот римский принцип, что прелюбодейка способна отравить своего мужа, и немедленно вслед за смертью Романа состоялось позорное бракосочетание Зои и возведение ее супруга на престол под именем Михаила IV Пафлагона. Однако Зоя обманулась в своих ожиданиях; вместо того, чтобы запастись здоровым и признательным любовником, она приняла на свое брачное ложе хворого беднягу, у которого здоровье и рассудок были расстроены припадками падучей болезни, а душа терзалась отчаянием и угрызениями совести. К нему были призваны на помощь самые искусные врачи душевных и телесных недугов; он поддерживал в себе душевную бодрость частыми поездками на воды и к гробницам самых популярных святых; монахи одобряли его подвиги покаяния, и Михаил, чтобы загладить свою вину, употреблял всевозможные средства, за исключением возврата (хотя неизвестно, кому мог бы быть сделан возврат?). В то время как он вздыхал и молился, одевшись во власяницу и посыпав пеплом свою главу, его брат, евнух Иоанн, посмеивался над его покаянием и пожинал плоды преступления, в котором был главным зачинщиком. Все правительственные заботы Иоанна заключались в старании насытить его жадность, и Зоя сделалась пленницей во дворце своих предков и в руках своих рабов.

Когда он убедился, что здоровье его брата не может быть

восстановлено, он выдвинул вперед своего племянника, который также носил имя Михаила и был прозван Калафатом, потому что его отец занимался починкой кораблей; по требованию евнуха Зоя усыновила сына ремесленника, и этот мнимый наследник престола был облечен титулом и багряницей Цезарей в присутствии Сената и духовенства. Зоя была так слаба характером, что не сумела воспользоваться свободой и властью, которые возвратила ей смерть Пафлагона, и через четыре дня после того возложила корону на голову Михаила V, который со слезами клялся, что всегда будет самым преданным и самым покорным из ее подданных. Единственной отличительной чертой его непродолжительного царствования была его низкая неблагодарность к его благодетелям — к евнуху и к императрице. Опала первого была приятна для народа; но ссылка Зои, которая считала между своими предками стольких императоров, вызвала в Константинополе сначала ропот, а потом громкие протесты; ее пороки были позабыты, и Михаил узнал на опыте, что может настать и такое время, когда терпение самых смирных рабов переходит в ярость и в жажду мщения. Граждане всех классов образовали громадное сборище и бушевали в течение трех дней; они осадили дворец, вломились в него силой, вызвали свою матерь Зою из тюрьмы и свою матерь Феодору из монастыря, а Калафатова сына присудили или к лишению зрения, или к смертной казни. Греки в первый раз и с удивлением созерцали двух царственных сестер, восседавших на одном и том же троне, председательствовавших в Сенате и дававших аудиенции иностранным послам. Но это странное единодушие поддерживалось не долее двух месяцев; две монархини втайне ненавидели одна другую, а между их характерами, интересами и приверженцами не было ничего общего; так как Феодора все еще обнаруживала отвращение к браку, то неутомимая Зоя, которой было в ту пору шестьдесят лет, согласилась ради общего блага выносить ласки третьего супруга и порицания греческой церкви. Этим третьим супругом был Константин IX[22], а данное ему прозвище Мономаха, или Единоборца, вероятно, служило выражением его храбрости и победы, одержанной им в какой-нибудь общественной или частной распре. Но он страдал подагрическими припадками, и его распутное царствование прошло в поочередно сменявшихся физических страданиях и наслаж-

дениях. Константина сопровождала в ссылку на остров Лесбос красивая и знатная вдова по имени Склерена, которая гордилась званием его любовницы. После его бракосочетания и вступления на престол, Склерена получила титул и пышную обстановку Августы и заняла во дворце апартаменты, смежные с апартаментами императора. Законная супруга (до такой степени была деликатна или распутна Зоя) согласилась на этот оригинальный и скандальный дележ, и император появлялся на публике, имея подле себя с одной стороны жену, а с другой стороны наложницу. Он пережил их обеих; но когда он задумал изменить порядок престолонаследования, он встретил препятствия со стороны бдительных друзей Феодоры, и после его смерти она вступила с общего согласия в обладание наследственным престолом. Четыре евнуха мирно управляли от ее имени Востоком в течение почти девятнадцати месяцев, а так как они желали продлить свое владычество, то они убедили престарелую императрицу назначить ее преемником Михаила VI. Его прозвище Стратиот обозначало его военную профессию; но этот престарелый и дряхлый ветеран был способен смотреть только глазами своих чиновников и был способен действовать только их руками. В то время как он возвышался до престола, Феодора сходила в могилу; она была последней представительницей Македонской, или Василиевой, династии. Я вкратце обозрел и охотно покидаю этот позорный и пагубный двадцативосьмилетний период времени, в течение которого греки упали ниже общего уровня рабов и по выбору или по прихоти двух выживших из ума женщин переходили, подобно стаду низких животных, от одного повелителя к другому.

Сквозь этот мрак раболепия начинает просвечивать луч если не свободы, то, по меньшей мере, душевной бодрости; греки или удержали, или возобновили употребление прозвищ, увековечивавших воспоминание о наследственных добродетелях, и мы с этого времени распознаем возникновение, преемственность и родственные союзы последних династий Константинопольской и Трапезундской. Комнины, в течение некоторого времечи поддерживавшие разрушавшуюся империю, присваивали себе честь римского происхождения, но их предки задолго перед тем переселились из Италии в Азию. Их наследственное имение находилось в округе Кастамона, неподалеку от Эвксинского моря, а один из них, вступивши

на стезю честолюбия, снова посетил с любовью и, быть может, с сожалением скромное, но приличное жилище своих предков. Первым достигшим известности представителем этого рода был знаменитый Мануил, который своими военными подвигами и мирными договорами способствовал, в царствование второго Василия, прекращению смут на Востоке; после него остались в нежном возрасте двое сыновей, Исаак и Иоанн, которых он, из сознания своих заслуг, поручил признательности и милостивому расположению своего государя. Этих благородных юношей тщательно знакомили и с монастырской ученостью, и с дворцовыми искусствами, и с лагерными упражнениями, и они быстро возвысились от службы в телохранителях до главного начальства над провинциями и над армиями. Братское согласие усиливало вес и хорошую репутацию Комнинов, а старинной знатности их рода придало новый блеск бракосочетание двух братьев с пленной болгарской царевной и с дочерью патриция, получившего прозвище Харона за то, что он отправил в преисподнюю множество врагов. Войска неохотно повиновались целому ряду изнеженных императоров; возведение Михаила VI на престол было личным оскорблением для более заслуженных военачальников, а их неудовольствие усилилось от скупости императора и от наглости евнухов. Они втайне собрались в святилище св. Софии, и голоса этого военного собора были бы единодушно поданы за престарелого и храброго Катакалона, если бы этот ветеран не заявил из патриотизма или из скромности, что при выборе монарха требуется кроме личных достоинств и знатность происхождения. Выбор Исаака Комнина был всеми одобрен, и заговорщики немедленно разошлись, условившись собраться на равнинах Фригии во главе эскадронов и отрядов, которыми они командовали. Михаил мог защищать свои права только в одном сражении во главе составлявших императорскую гвардию наемников, которым были чужды общественные интересы и которых воодушевляли лишь требования чести и признательности.

После их поражения испуганный император стал просить мира, а Комнин готов был из скромности на это согласиться. Но первому изменили его послы, а второго предупредили его друзья. Всеми покинутый, Михаил подчинился воле народа; патриарх освободил его подданных от принесенной ими присяги и в то время, как брил голову монарха, поступавшего в

монахи, поздравил его с выгодным обменом земного владычества на царство небесное, хотя для самого себя, вероятно, отказался бы от такого обмена. Рукой того же патриарха Исаак Комнин был торжественно коронован; меч, который он приказал изображать на своих монетах, мог бы быть принят за оскорбительный символ, если бы под ним подразумевалось право на престол, приобретенное силой орудия; но этот меч обнажался против внешних и внутренних врагов государства. Упадок здоровья и энергии положил конец его доблестной предприимчивости, а приближение смерти побудило его воспользоваться немногими минутами, отделявшими его от вечности. Но вместо того чтобы оставить империю в приданое своей дочери, он, частью из благоразумной предусмотрительности, частью из сердечной привязанности, предпочел ей своего брата Иоанна — воина, патриота и отца пяти сыновей, которые могли упрочить верховную власть за его династией. Скромный отказ, которым Иоанн отвечал на это предложение, можно бы было вначале приписать его осмотрительности и родственной привязанности к племяннице; но упорство, с которым он окончательно отверг императорскую корону, хотя и представляется с первого взгляда чем-то вроде доблестного самопожертвования, в сущности было преступным неисполнением долга и редко встречающимся нарушением интересов и своего собственного семейства, и своего отечества. Корона, от которой он отказался, досталась Константину Дуке, который был другом семейства Комнинов и соединял с знатностью происхождения опытность в делах гражданского управления и репутацию знатока по этой части. Под монашеской одеждой Исаак восстановил свое здоровье и пережил двумя годами свое добровольное отречение от престола. По требованию своего игумена он соблюдал устав св. Василия и исполнял в монастыре самые низкие обязанности; впрочем, его скрытое тщеславие удовлетворялось частыми и почтительными посещениями царствовавшего монарха, который чтил в его лице своего благодетеля и святого.

Если Константин X[23)] действительно был более всех достоин верховной власти, то нам приходится сожалеть о нравственном упадке того века, в котором он был избран, и той нации, которая его избрала. Занимаясь сочинением пустых декламаций, он безуспешно желал украсить себя венцом

красноречия, который был, по его мнению, более дорог, чем венец Рима, а, принимая на себя второстепенные судейские обязанности, он забывал об обязанностях монарха и воина. Вовсе не желая подражать патриотическому беспристрастию виновников своего возвышения, Дука заботился только о том, чтобы обеспечить, на счет республики, владычество и благополучие своих детей. Его три сына, Михаил VII, Андроник I и Константин[24], получили еще в детстве титул Августа, а смерть их отца скоро открыла им путь к престолу. Его вдове Евдокии было вверено управление государством; но Константин X знал из опыта, что ему необходимо оградить сыновей от опасности вторичного вступления Евдокии в брак и потому взял с нее формальное обязательство не выходить замуж; это обязательство было засвидетельствовано главными сенаторами и поручено на хранение патриарху. Не прошло и семи месяцев, как для Евдокии или для государства оказались необходимы мужские доблести воина, а ее сердце уже остановило свой выбор на Романе Диогене, которого она возвела с эшафота на престол. За какую-то изменническую попытку он был подвергнут всей строгости законов; его красота и мужество оправдали его в мнении императрицы; она отправила его в легкую ссылку, а на следующий день назначила его главным начальником восточных армий. О ее выборе ничего не знали в народе, а подосланный ею ловкий эмиссар сумел воспользоваться честолюбием патриарха Ксифилина, чтобы выманить от него документ, уличавший ее в недобросовестности и в легкомыслии. Ксифилин сначала ссылался на святость клятвенных обещаний и на священную обязанность оберегать то, что вверено на хранение; но ему дали понять, что его брат был тот, кого Евдокия хотела сделать императором; тогда его совесть успокоилась, и он объявил, что общественная безопасность должна считаться за верховный закон. Он возвратил важный документ, а когда назначение Романа разрушило его ожидания, он уже не мог ни оградить себя от нареканий, ни отказаться от своих заявлений, ни воспротивиться вторичному вступлению императрицы в брак. Однако во дворце раздавался ропот; составлявшие дворцовую стражу варвары грозили прибегнуть к своим боевым секирам для защиты наследников Дуки, пока молодых кесарисов не успокоили слезы их матери и торжественные изъявления преданности со стороны их опекуна, кото-

рый стал исполнять свои императорские обязанности с достоинством и с честью. Я буду впоследствии говорить о его мужественных, но безуспешных усилиях воспрепятствовать успехам турок.

Его поражение и взятие в плен нанесли смертельный удар византийскому владычеству на Востоке, а когда султан возвратил ему свободу, он тщетно искал свою жену и своих подданных. Его жена была заключена в монастырь, а подданные Романа держались того сурового принципа гражданских законов, что находящийся в руках неприятеля пленник лишается всех общественных и личных прав гражданина, как если бы он был поражен смертью. Среди общего смятения Цезарь Иоанн предъявил неотъемлемые права своих трех племянников; Константинополь внял его голосу, а находившийся в руках турок пленник был объявлен в столице врагом государства, которому даже не позволили перейти границу. В междоусобной войне Роман не был более счастлив, чем в войне с внешним врагом; потеря двух сражений принудила его отказаться от престола с тем условием, что с ним будут обходиться с приличием и с почетом; но у его врагов не было ни совести, ни человеколюбия, и после того, как его безжалостно лишили зрения, никто не потрудился остановить кровь, которая текла из его ран; раны стали гноиться, и через несколько дней смерть избавила его от этих страданий. В троеличное царствование преемников Дуки двое младших братьев были принуждены довольствоваться пустыми почестями, старший, малодушный Михаил, не был в состоянии держать в своих руках скипетр империи, а данное ему прозвище Парапинака было упреком ему и его корыстолюбивому фавориту за то, что этот последний возвышал цену хлеба, уменьшая ему меру. Под руководством Пселла и по примеру своей матери сын Евдокии приобрел некоторые познания в философии и в риторике; но добродетели монаха и ученость софиста скорей унизили, чем облагородили его характер. Из презрения к своему государю и из высокого мнения о своих собственных достоинствах два военачальника, находившихся во главе европейских и азиатских легионов, присвоили себе императорское звание, один в Адрианополе, а другой в Никее. Они подняли знамя восстания в одном и том же месяце; они носили одно и то же имя Никифора; но этих двух кандидатов различали прозвища Бриенния и Ботаниата;

первый из них был в полном цвете ума и мужества, а второй блистал лишь воспоминаниями о своих прежних подвигах. В то время как Ботаниат подвигался вперед осторожно и медленно, его деятельный соперник уже стоял с войском у ворот Константинополя. Имя Бриенния было знаменито; он пользовался популярностью; но он не был в состоянии удержать своих самовольных солдат от сожжения и разграбления одного из столичных предместий, и готовый приветствовать бунтовщика народ отверг и отразил поджигателя. Эта перемена в общественном мнении была благоприятна для Ботаниата, который наконец приблизился к берегам Халкидона с турецкой армией. На улицах Константинополя стали раздавать от имени патриарха, синода и Сената формальное приглашение собираться в Софийском соборе, и это собрание приступило в порядке и спокойно к обсуждению вопроса об избрании императора. Телохранители Михаила могли бы разогнать эту безоружную толпу; но слабый император, сам хваставшийся своей умеренностью и своим милосердием, сложил с себя внешние отличия верховной власти и был за то награжден монашеским одеянием и титулом Эфесского архиепископа. После него остался сын Константин[25)], который и родился и был воспитан на ступенях трона, а одна дочь из рода Дуки прославила род Комнинов и упрочила за ним престол.

Брат императора Исаака, Иоанн Комнин, после своего великодушного отказа от престола жил в покое и в почете. От своей жены Анны, отличавшейся несвойственным женщинам мужеством и умом, он имел восемь детей: его три дочери размножили родственные связи Комнинов с самыми знатными греческими семьями. Старшего из его пяти сыновей, Мануила, похитила преждевременная смерть, а Исаак и Алексей восстановили царственное величие своего рода, так что два младших брата, Адриан и Никифор, могли пользоваться этим величием без всяких усилий или опасностей. Третий и самый знаменитый из пяти братьев, Алексей, был одарен от природы самыми выдающимися душевными и телесными достоинствами; эти достоинства были развиты прекрасным образованием и окрепли в школе повиновения и несчастий. Когда он был еще юношей, император Роман с отеческой заботливостью удалил его от опасного участия в войне с турками; но мать Комнинов была обвинена, вместе со всеми

членами своего честолюбивого семейства, в государственной измене и была сослана сыновьями Дуки на один из островов Пропонтиды. Два брата скоро попали из ссылки в милость и вступили на военное поприще; они сражались друг подле друга и с мятежниками, и с варварами и были преданными слугами Михаила до той минуты, когда он был покинут всеми и самим собой. При своем первом свидании с Ботаниатом Алексей с благородным чистосердечием обратился к нему со следующими словами: "Государь, мой долг обязывал меня быть вашим врагом; воля Божия и воля народа сделали меня вашим подданным. Судите о моей будущей верности по моему прошлому сопротивлению". Преемник Михаила отнесся к нему с уважением и с доверием: его мужество было употреблено в дело для борьбы с тремя мятежниками, нарушавшими спокойствие империи, или, по меньшей мере, спокойствие самих императоров. Урсел, Бриенний и Василакий были страшны и своими многочисленными военными силами, и своей воинской репутацией; они были один вслед за другим разбиты и приведены в оковах к подножию престола, и как бы с ними ни обошлось трусливое и жестокосердое правительство, были готовы превозносить великодушие и мужество победителя. Однако преданность Комнинов скоро заразилась страхом и недоверием, и было бы нелегко уяснить, в чем заключался долг признательности, связывавший подданного с деспотом, если первый из них был готов требовать уплаты этого долга путем восстания, а второй был готов расплатиться рукой палача. Отказ Алексея выступить против четвертого мятежника, который был мужем его сестры, уничтожил или изгладил из памяти его прежние заслуги; любимцы Ботаниата разожгли своими обвинениями честолюбие, которого они опасались, и удаление двух братьев, быть может, было вызвано необходимостью защищать свою жизнь или свою свободу. Принадлежавшие к их семейству женщины были укрыты в святилище, на которое не осмеливались посягать тираны, а мужчины сели на коней, выехали из города и подняли знамя междоусобной войны. Солдаты, которые были мало-помалу собраны в столице и в ее окрестностях, были переданы своему победоносному и оскорбленному вождю, а узы общих интересов и родственных связей обеспечивали ему преданность семейства Дуки, и борьба великодушия между двумя Комнинами окончилась тем, что Исаак возло-

жил на своего меньшего брата титул и внешние отличия императорской власти. Они приблизились к Константинополю не столько с целью осадить эту неприступную крепость, сколько с целью навести страх; но стража вовлекалась в измену; одни из городских ворот были захвачены врасплох, а внимание флота было тем временем отвлечено предприимчивостью и мужеством Георгия Палеолога, который вступил в борьбу со своим отцом, не предвидя того, что он работает на пользу своего потомства. Алексей вступил на престол, а его престарелый соперник исчез внутри монастырских стен. Армия, состоявшая из людей различных наций, была удовлетворена дозволением грабить город, но Комнины постарались загладить это общественное бедствие слезами и постом и подчинились всем видам покаяния, какие были совместимы с верховным владычеством.

Жизнь императора Алексея была описана его любимой дочерью, которая вдохновлялась нежной привязанностью к отцу и похвальным желанием увековечить воспоминание о его добродетелях. Сознавая, что читатели не могут полагаться на ее беспристрастие, царевна Анна Комнина неоднократно заявляет, что помимо фактов, происходивших перед ее глазами, она справлялась с речами и с сочинениями самых почтенных ветеранов, что после тридцатилетнего промежутка времени никому нет до нее дела, и ей самой ни до кого нет дела, и потому она недоступна в своем печальном уединении ни для надежд, ни для опасений, и что истина, голая, ничем не прикрашенная истина ей более дорога и священна, нежели память ее отца. Однако вместо безыскусственности слога и рассказа, способной внушить нам доверие, мы усматриваем на каждой странице то усиленное старание выказать ораторское красноречие и ученость, в котором обнаруживается тщеславие женщины-писательницы. Настоящий характер Алексея совершенно теряется в ослепительном блеске его добродетелей, а рассказ, целиком написанный в тоне панегирика и апологии, возбуждает в нас недоверие и заставляет нас сомневаться как в правдивости историка, так и в достоинствах героя. Впрочем, мы не можем не согласиться с ее справедливым и важным замечанием, что смуты того времени были и несчастьем, и славой Алексея и что справедливость небес и пороки его предшественников обрушили на его царствование все бедствия, каким может подвергаться раз-

рушающаяся империя. На Востоке победоносные турки распространили от пределов Персии до берегов Геллеспонта владычество Корана и полумесяца; Запад страдал от отважной предприимчивости норманнов, а в промежутки спокойствия Дунай приносил новые толпы варваров, приобретших в знании военного дела все то, что они утратили от смягчения нравов. Приходилось бороться не только на суше, но и на море, а в то время, как явные враги нападали на границы империи, тайная измена и заговоры нарушали внутреннее спокойствие дворца. Латины внезапно развернули знамя Креста: Европа устремилась на Азию, и этот яростный поток едва не поглотил Константинополя. Среди этой бури Алексей управлял кормилом империи с искусством и с мужеством. Во главе своих армий он проявлял отвагу в своих предприятиях, искусство в употреблении военных хитростей и терпеливость в своих тяжелых трудах; он умел пользоваться всякой удачей и заглаживал неудачи с неистощимой энергией. Он восстановил в лагерях дисциплину и создал своим примером и своими указаниями новое поколение мужчин и воинов. В своих сношениях с латинами Алексей выказал и терпение, и искусство; его прозорливый ум проник в сущность новых идей, которые господствовали среди вовсе ему не знакомых европейских народов, и я впоследствии опишу замечательную политическую ловкость, с которой он противодействовал интересам и страстям подвижников первого крестового похода. В продолжительное тридцатисемилетнее царствование он заглушил и простил зависть своих сверстников; он восстановил законы, обеспечивавшие и внутренний порядок, и права частных лиц; при нем процветали и искусства, которые питаются роскошью, и науки; пределы империи расширились и в Европе, и в Азии, и скипетр Комнина переходил к его потомкам до третьего и до четвертого поколения. Однако трудности, с которыми ему приходилось бороться, обнаружили некоторые недостатки в его характере и навлекли на его память более или менее основательные обвинения.

На устах читателя, вероятно, вызовут улыбку похвалы, которые так часто расточала спасавшемуся бегством герою его дочь; проистекавшие от его затруднительного положения слабость и осторожность могли бы быть приняты за недостаток личного мужества, а его политические уловки латины

заклеймили названиями лжи и притворства. Множество принадлежавших к его семейству лиц обоего пола служили украшением для его трона и обеспечивали наследственность престола, но их царственная роскошь и гордость возмущали патрициев, истощали государственную казну и оскорбляли народную нищету. Анна может служить надежной свидетельницей того, что государственные заботы отравили его жизнь и разрушили его здоровье; жители Константинополя были утомлены продолжительностью и суровостью его владычества, и прежде, чем он кончил жизнь, он утратил и любовь, и уважение своих подданных. Духовенство не могло простить его за то, что он употреблял церковные сокровища на защиту государства; но оно хвалило его за богословские познания и за пылкое усердие к православию, которое он отстаивал и своим красноречием, и своим пером, и своим мечом. Его характер запятнало суеверие греков, и со свойственной человеческой натуре непоследовательностью император, руководствуясь одним и тем же принципом, основал госпиталь для бедных и убогих и осудил на казнь еретика, который был сожжен живым на площади перед Софийским собором. Даже искренность его нравственных и религиозных добродетелей была заподозрена такими людьми, которые провели свою жизнь в самой близкой с ним интимности. В последние часы его жизни, когда его жена Ирина упрашивала его изменить порядок престолонаследования, он приподнял свою голову и со вздохом вымолвил какое-то благочестивое замечание о мирской суете. Гневное возражение императрицы могло бы служить эпитафией для его гробницы: "Вы умираете точно так же, как вы жили,— лицемером!"

Ирина желала устранить от престола старшего из своих сыновей в пользу своей дочери, кесарисы Анны, которая, несмотря на свою склонность к философии, не отказалась бы обременить свою голову диадемой. Но друзья своего отечества вступились за права мужской линии; законный наследник снял императорскую печать с пальца своего отца, который или не заметил этого поступка, или одобрил его, и империя подчинилась тому, кто сделался хозяином во дворце. Движимая честолюбием и жаждой мщения, Анна Комнина составила заговор против жизни своего брата, а когда опасения или угрызения совести ее мужа расстроили ее замысел, она с негодованием воскликнула, что натура ошиблась в распределе-

нии полов и вложила в Бриенния душу женщины. Два сына Алексея, Иоанн и Исаак, сохранили между собой то братское согласие, которое было наследственной добродетелью их рода, а их младший брат удовольствовался титулом Севастократора, который ставил его почти на одну ногу с императором, но не давал ему никакой доли верховной власти. В одном и том же лице, к счастью, соединились и права первородства, и личные достоинства. За смуглый цвет тела, грубые черты лица и небольшой рост императору дали ироническое прозвище Calo-Iohannes, или Иоанна Красивого, которое было впоследствии отнесено его признательными подданными к его прекрасным душевным качествам. После того как был открыт заговор Анны, и ее жизнь, и ее состояние должны были отвечать перед законом за ее преступление. Из милосердия император пощадил ее жизнь; но, осмотрев роскошь и сокровища ее дворца, приказал конфисковать эти богатства в пользу самого достойного из своих друзей. Этот почтенный друг — бывший раб и турецкий уроженец Аксух — осмелился отклонить этот подарок и ходатайствовать за преступницу; его великодушный повелитель одобрил и принял за образец благородство своего любимца, и наказание виновной кесарисы ограничилось упреками и сетованиями оскорбленного брата. С тех пор его царствование ни разу не было обеспокоено заговором или мятежом; умевший внушать знати страх, а народу любовь, Иоанн ни разу не был доведен до печальной необходимости наказывать или даже прощать своих личных врагов. В его двадцатипятилетнее управление смертная казнь была отменена в Римской империи; это был закон милосердия, в высшей степени приятный для гуманистов-теоретиков, но едва ли совместимый на практике с требованиями общественной безопасности в обширном и зараженном пороками государственном теле. Будучи строгим к самому себе и снисходительным к другим, Иоанн был целомудрен и воздержан, и даже философ Марк Аврелий не пренебрег бы безыскусственными доблестями своего преемника, истекавшими из его сердца, а не заимствованными из школ. Он презирал и умерял пышное великолепие византийского двора, которое было так обременительно для народа и так презренно в глазах здравомыслящих людей. Под властью такого монарха невинности нечего было опасаться, а для личных достоинств было открыто самое ши-

рокое поприще; не принимая на себя тиранических обязанностей цензора, Иоанн ввел постепенное, но ясно заметное преобразование в общественных и семейных нравах Константинополя. Единственным недостатком этой безукоризненной личности была свойственная благородным людям слабость — любовь к военному делу и к военной славе. Однако для частых экспедиций Иоанна Красивого, по крайней мере в том, что касается их мотива, могла служить оправданием необходимость отразить турок от берегов Геллеспонта и Боспора. Владычествовавший в Иконии султан оказался запертым в своей столице; варвары были оттеснены к горам, и приморские азиатские провинции могли некоторое время наслаждаться тем, что освободились от их владычества. Император неоднократно проходил от Константинополя до Антиохии и Алеппо во главе своей победоносной армии, а во время осад и битв этой священной войны его латинские союзники были поражены необыкновенным мужеством и воинскими доблестями греков. В то время как он начинал предаваться честолюбивой надежде, что ему удастся восстановить старинные границы империи, и все свое внимание сосредоточивал на Евфрате и Тигре, на обладании Сирией и на завоевании Иерусалима, странная случайность положила конец и его жизни, и общественному благоденствию. Охотясь за кабаном в долине Аназарба, он направил свое копье в рассвирепевшего зверя; но во время борьбы из его колчана случайно выпала отравленная стрела; она слегка ранила его в руку и причинила гангрену, от которой прекратилась жизнь самого лучшего и самого великого из Комнинов.

Преждевременная смерть похитила двух старших сыновей Иоанна Красивого; из двух оставшихся в живых своих сыновей, Исаака и Мануила, он, из предусмотрительности или из привязанности, предпочел младшего, а предсмертный выбор монарха был одобрен солдатами, восхищавшимися мужеством его фаворита во время турецкой войны. Верный Аксух поспешил прибыть в столицу, отправил Исаака в окруженную почетом ссылку и подарком в двести фунтов серебра подкупил самых влиятельных членов духовенства Софийского собора, от которых зависело посвящение императоров. Вскоре вслед за тем Мануил прибыл в Константинополь со своими испытанными в боях и преданными войсками; его брат удовольствовался титулом Севастократора; его поддан-

ные восхищались высоким ростом и воинственной грацией своего нового государя и охотно внимали приятным уверениям, что с предприимчивостью и энергией юноши он соединял благоразумие зрелого возраста. Они узнали по опыту, что он унаследовал от отца только мужество и военные дарования, но что свои общественные добродетели покойный император унес вместе с собой в могилу. В течение своего тридцатисемилетнего царствования Мануил был непрерывно занят более или менее удачными войнами и с турками, и с христианами, и со степными племенами, жившими по ту сторону Дуная. Он воевал и в горах Тавра, и на равнинах Венгрии, и на берегах Италии и Египта, и на берегах Сицилии и Греции; путем переговоров он расширил свое влияние от Иерусалима до Рима и до России, и византийская монархия сделалась на некоторое время предметом уважения и страха для европейских и азиатских правителей. Воспитанный в восточной роскоши и на ступенях трона, Мануил был одарен таким железным темпераментом солдата, с которым можно поставить в уровень лишь темперамент английского короля Ричарда I и шведского короля Карла XII. Он обладал такой физическою силой и владел оружием с таким искусством, что Раймунд, прозванный антиохийским Геркулесом, не был в состоянии владеть копьем и щитом греческого императора. На одном знаменитом турнире он появился на арене верхом на горячем коне и с первого натиска вышиб из седла двух самых сильных итальянских рыцарей. Он был первым при нападении и последним при отступлении, и при виде его одинаково трепетали и его друзья, и его враги — первые за его личную безопасность, а вторые за свою собственную. Однажды, поставив в лесу засаду, он выехал в открытое поле в поисках какого-нибудь опасного приключения, имея при себе только своего брата и верного Аксуха, которые не хотели оставлять своего государя в одиночестве. Восемнадцать всадников были обращены в бегство после непродолжительной борьбы; но число неприятелей постоянно увеличивалось; высланное ему подкрепление двигалось медленно и боязливо и Мануил пробился сквозь эскадрон из пятисот турок, не получив ни одной раны. В одном сражении с венграми его вывело из терпения замешательство его войск; тогда он вырвал знамя из рук шедшего во главе колонны солдата, и первый, даже почти один, перешел через мост, отделявший его от

неприятеля. В той же самой стране, переправив свою армию через Саву, он отослал назад гребные суда и приказал их начальнику, под страхом смертной казни, не мешать ему или победить, или умереть на неприятельской земле. Во время осады Корфу, взяв на буксир отбитую у неприятеля галеру, император стал на корме, выпрямившись во весь рост, и защищался от града стрел и камней широким щитом и развевавшимся от ветра парусом; но он не избежал бы неминуемой смерти, если бы сицилийский адмирал не дал своим стрелкам приказания щадить в его лице героя.

Он, как рассказывают, собственноручно убил в один день сорок варваров и возвратился в лагерь, таща вслед за собой четырех пленных турок привязанными к кольцам его седла; он всегда был впереди всех, если дело шло о том, чтобы предложить или принять вызов на единоборство, и непобедимый Мануил или пронзал своим копьем, или рассекал своим мечом тех гигантских бойцов, которые осмеливались вступать с ним в борьбу. Рассказы о его подвигах, похожие на модель или на копию рыцарских романов, внушают основательное недоверие к правдивости греков. Я не намерен отстаивать их кредит из опасения утратить мой собственный; тем не менее я могу заметить, что в длинном ряду греческих летописей Мануил был единственный император, насчет которого рассказывались подобные преувеличения. С храбростью солдата он не соединял искусства или предусмотрительности полководца; его победы не привели ни к каким прочным или полезным завоеваниям, а лавры, которые он стяжал в войнах с Турками, поблекли во время его последней неудачной кампании, когда он погубил свою армию в горах Писидии и был обязан своим собственным спасением великодушию султана. Но самой странной чертой в характере Мануила были резкие переходы от деятельной жизни к лености, от физических лишений к изнеженности. На войне он как будто забывал, что есть мирная жизнь, а среди мира он, казалось, был неспособен к войне. Во время похода он спал и под солнечными лучами, и на снегу, доводил чрезвычайно длинными переходами и людей, и лошадей до изнеможения и весело разделял с солдатами их лишения или скромную пищу. Но лишь только он возвращался в Константинополь, он всецело предавался измышлениям и наслаждениям роскоши; расходы на его одежду, стол и содержание дворца превышали то, что трати-

лось на этот предмет его предшественниками, а летом он проводил в бездействии целые дни на прелестных островах Пропонтиды, наслаждаясь кровосмесительной любовной связью со своей племянницей Феодорой. Двойные расходы, которых требовали воинственные и безнравственные наклонности монарха, истощили государственную казну и были причиной увеличения налогов, а во время его последней неудачной войны с турками Мануилу пришлось выслушать горький упрек из уст одного доведенного до отчаяния солдата. Утоляя свою жажду из источника, император посетовал на то, что вода смешана с христианской кровью. "Уже не в первый раз,— раздался голос из толпы,— вы пьете, государь, кровь ваших христианских подданных". Мануил Комнин был женат два раза: в первый раз на добродетельной германской принцессе Берте, или Ирине, во второй раз на прекрасной антиохийской принцессе Марии, которая была родом француженка или латинка. Единственная дочь от его первой жены была обещана венгерскому принцу Беле, воспитывавшемуся в Константинополе под именем Алексея, и если бы этот брак состоялся, римский скипетр мог бы перейти в род отважных и воинственных варваров. Но лишь только Мария Антиохийская родила сына и наследника престола, права, на которые мог рассчитывать Бела, уничтожились сами собой, и его лишили обещанной невесты; тогда венгерский принц снова принял свое прежнее имя, возвратился в наследственные владения своих предков и выказал такие доблести, которые могли возбуждать в греках и сожаления, и зависть. Сын Марии был назван Алексеем и, когда ему минуло десять лет, вступил на византийский престол после смерти отца, закончившей блестящую эпоху Комнинов.

Братское согласие между двумя сыновьями великого Алексея иногда омрачалось столкновениями их интересов и страстей. Движимый честолюбием, Исаак Севастократор бежал и поднял знамя мятежа; но твердость и милосердие Иоанна Красивого побудили его возвратиться. Предосудительные увлечения отца Трапезундских императоров Исаака были и кратковременны, и маловажны, но его старший сын Иоанн навсегда отказался от своей религии. Вследствие нанесенного ему дядей действительного или мнимого оскорбления он бежал из римского лагеря в турецкий; за его вероотступничество султан наградил его рукой своей дочери, титулом Хе-

леви, или высокорожденного, и предоставлением ему в наследственную собственность богатого поместья,— и Мухаммед II мог похвастаться, в пятнадцатом столетии, своим царственным происхождением от дома Комнинов. Младший брат Иоанна, сын Исаака и внук Алексея Комнина, Андроник был по своему характеру одной из самых выдающихся личностей того времени, а его невымышленные похождения могли бы служить сюжетом для очень оригинального романа. Чтобы оправдать любовь, которую питали к нему три особы царской крови, я должен заметить, что их счастливый возлюбленный был такого сложения, которое отвечало всем требованиям силы и красоты, и что недостаток более нежных достоинств вознаграждался мужественной физиономией, высоким ростом, атлетическими мускулами, наружностью и осанкой воина. То, что он сохранил в старости и здоровье, и физические силы, было наградой за его воздержанность и телесные упражнения. Кусок хлеба и стакан воды нередко составляли весь его ужин; если же он отведывал изжаренного его собственными руками кабана или оленя, то это было заслуженной наградой за утомительную охоту. Искусно владея оружием, он не был знаком с чувством страха; его убедительное красноречие умело приспосабливаться ко всякому положению и ко всякому характеру; в своем слоге, но не в своем образе действий он принимал за образец св.Павла, и какое бы он ни задумал дурное дело, у него было достаточно мужества, чтобы на все решиться, достаточно ума, чтобы все сообразить, и достаточно физической силы, чтобы все исполнить. После смерти императора Иоанна, еще будучи молодым человеком, он следовал за отступавшей римской армией; но во время перехода через Малую Азию он намеренно или случайно отправился бродить по горам; там его окружили турецкие охотники, и он волей или неволей пробыл некоторое время в плену у султана. Его добродетели и его пороки доставили ему милостивое расположение его двоюродного брата; он делил с Мануилом и опасности, и удовольствия, и в то время, как император открыто жил в кровосмесительной связи со своей племянницей Феодорой, Андроник соблазнил сестру Феодоры Евдокию. Эта последняя, отложив в сторону приличную ее полу и общественному положению скромность, гордилась названием его любовницы, и как во дворце, так и в лагере всякий мог видеть, что она и спала, и бодрст-

вовала в объятиях своего возлюбленного. Она сопровождала его, когда он был назначен начальником войск в Киликии, которая была первым театром его мужества и неблагоразумия.

Он горячо вел осаду Мопсуестии: дни он проводил в самых отважных атаках, а ночи в пении и танцах, и труппа греческих комедиантов составляла самую любимую часть его свиты. Андроник был застигнут врасплох вылазкой бдительного врага; но в то время, как его войска в беспорядке спасались бегством, он своим непреодолимым копьем проложил себе путь сквозь самые густые ряды армян. Когда он возвратился в Македонию, в императорский лагерь, Мануил принял его при народе с ласковой улыбкой, а с глазу на глаз слегка упрекнул его; однако несчастному военачальнику были даны в виде награды или утешения герцогства Нэсс, Бранизеба и Кастория. Евдокия все еще повсюду следовала за ним; в полночь на их палатку внезапно напали ее разгневанные братья, горевшие нетерпением смыть его кровью ее позор; она советовала ему переодеться женщиной и спастись бегством; он не захотел следовать такому робкому совету, вскочил с постели, обнажил свой меч и проложил себе дорогу сквозь толпы убийц. Здесь-то он впервые обнаружил свою неблагодарность и свое вероломство; он вступил в изменнические переговоры с королем Венгерским и с императором Германским; он подошел с обнаженным мечом к императорской палатке в такое время, когда это посещение должно было навлечь на него подозрения; выдавая себя за латинского солдата, он сознался в своем намерении отомстить смертельному врагу и имел неосторожность похвастаться, что его быстрый конь спасет его от всякой беды. Император скрыл свои подозрения, но по окончании кампании Андроник был арестован и подвергнут строгому заключению в одной из башен константинопольского дворца.

Он провел в этом заключении более двенадцати лет, но из жажды деятельности и наслаждений постоянно искал средства вырваться на свободу. Однажды, погрузившись в задумчивость в своем уединении, он заметил, что в углу его комнаты было несколько изломанных кирпичей; он стал мало-помалу расширять отверстие и наконец открыл темное и позабытое углубление. Он спрятался в этой яме вместе с остатками своих съестных припасов, положил кирпичи на прежнее место и

старательно изгладил все следы, которые могли бы навести на открытие его убежища. В час обычного обхода сторожа были поражены безмолвием и пустотой его тюрьмы; они со стыдом и со страхом донесли о непонятном исчезновении арестанта. Немедленно было дано приказание запереть дворцовые и городские ворота; по провинциям были разосланы самые строгие предписания о задержании беглеца, а так как на его жену пало подозрение, что она из преданности к мужу способствовала его бегству, то ее приказали заключить в ту же башню. Когда наступила ночь, перед ней явилось привидение; она узнала в нем своего мужа; они разделили между собой съестные припасы, и рождение сына было последствием тайных свиданий, разгонявших скуку их тюремного заключения. При надзоре за женщиной бдительность сторожей мало-помалу ослабела, и узник действительно бежал, но был схвачен, привезен обратно в Константинополь и закован в двойные цепи. Наконец он нашел и благоприятную минуту, и средства для своего избавления. Бывший у него в услужении мальчик напоил сторожей допьяна и снял воском оттиск с тюремных ключей. Благодаря усердию друзей Андроник нашел на дне доставленной ему в тюрьму бочки точно такие же ключи и связку веревок. Он искусно и смело употребил в дело эти орудия своего избавления, отпер двери, спустился с башни, скрывался в течение целого дня в кустах, а когда наступила ночь, перелез через стену дворцового сада. Для него была приготовлена шлюпка; он посетил свой собственный дом, обнял своих детей, снял с себя цепи и, вскочив на быстроногого коня, понесся к берегам Дуная. В Анхиале, во Фракии, один неустрашимый приятель снабдил его лошадьми и деньгами; он переправился через реку, быстро переехал через Молдавские степи и Карпатские горы и уже был недалеко от города Галича, в Польской Руси, когда был захвачен отрядом валахов, которые решились отправить своего знатного пленника в Константинополь. Присутствие духа и на этот раз спасло его от опасности. Под предлогом физического расстройства он сошел ночью с лошади и получил позволение отойти в сторону; он воткнул в землю свою длинную палку, надел на эту палку свою шапку и верхнее платье и успел скрыться в лесу прежде, чем валахи разоблачили обман. Из Галича его с почетом препроводили в Киев, который был резиденцией русского Великого князя; хитрый грек ско-

ро снискал уважение и доверие Ярослава; он умел приспосабливаться к нравам всех стран и поразил варваров своей физической силой и неустрашимостью, охотясь по лесам за лосями и медведями. Во время своего пребывания в этой северной стране он заслужил помилование от Мануила, искавшего союза с русским Великим князем для совокупного вторжения в Венгрию. Благодаря влиянию Андроника переговоры привели к желаемому результату; вслед за тем он заключил с императором частный договор, по которому с одной стороны была обещана неизменная преданность, а с другой было обещано забвение прошлого, и выступил во главе русской конницы от берегов Борисфена к берегам Дуная. Несмотря на свое гневное раздражение, Мануил постоянно питал сочувствие к воинственным наклонностям и к нравственной распущенности своего двоюродного брата и окончательно примирился с ним при взятии приступом Землина за то, что он выказал такую храбрость, которая уступала только храбрости самого императора.

Лишь только Андроник получил свободу и возвратился на родину, в нем снова ожило честолюбие сначала к его собственному несчастью, а затем и ко вреду его отечества. Дочь Мануила была слабым препятствием для вступления на престол более достойных представителей дома Комнинов; ее предполагаемый брак с венгерским принцем перечил надеждам родственников императора и предрассудкам знати. Но когда стали требовать присяги в пользу будущего наследника престола, один Андроник вступился за честь римского имени, отказался принять на себя противозаконное обязательство и смело заявил протест против усыновления иностранца. Его патриотизм оскорбил императора; но он выражал чувства народа и потому был удален в почетное изгнание с вторичным назначением главнокомандующим на границе Киликии и с правом безотчетно распоряжаться доходами с острова Кипр. На этом посту он снова выказал в борьбе с армянами и свое мужество, и свою небрежность. Он вышиб своим копьем из седла и едва не убил того мятежника, который расстраивал все его военные предприятия; но он скоро одержал более легкую и более приятную победу над прелестной Филиппой, которая была сестрой императрицы Марии и дочерью царствовавшего в Антиохии латинского принца Раймунда. Ради нее он покинул свой пост и провел лето на балах

и на турнирах; а ради его любви Филиппа пожертвовала своей невинностью, своей репутацией и предложением выгодного бракосочетания. Но оскорбленный этим семейным позором, Мануил прервал его наслаждения; Андроник оставил неосторожную принцессу в слезах и в отчаянии и с кучкой отважных авантюристов предпринял странствование в Иерусалим. И его происхождение, и его воинская репутация, и усердие, которое он обнаруживал в религии,— все указывало на него как на подвижника Креста; он очаровал и духовенство, и короля, и ему предоставили во владение Бейрутское княжество, на берегах Финикии. В соседстве с ним жила молодая и красивая королева одной с ним нации и одного семейства — правнучка императора Алексея и вдова Иерусалимского короля Балдуина III, Феодора. Она посетила своего родственника и полюбила его. Феодора была третьей жертвой его любовных ухаживаний, а ее падение было и более публично, и более позорно, чем падение ее предшественниц. Все еще жаждавший мщения, император настоятельно требовал от живших на границах Сирии подданных и союзников, чтобы они задержали беглеца и выкололи ему глаза. В Палестине он уже не мог жить в безопасности, а нежная Феодора открыла ему глаза на опасное положение и сопровождала его в бегстве. Весь Восток узнал, что королева Иерусалимская была рабски покорной наложницей Андроника, двое незаконных детей были живыми доказательствами ее сердечной слабости. Дамаск был их первым убежищем, а знакомство с великим Нурэддином и с его служителем Саладином должно было внушить суеверному греку уважение к добродетелям мусульман. В качестве Нурэддинова друга он, вероятно, посетил Багдад и персидский двор, а после длинного объезда вокруг Каспийского моря и гор Грузии он окончательно поселился среди малоазиатских турок, которые были наследственными врагами его отечества. Царствовавший в Колонии султан дал гостеприимный приют Андронику, его любовнице и сопровождавшей его кучке изгнанников; свой долг признательности Андроник уплачивал частыми вторжениями в принадлежавшую империи Трапезундскую провинцию и почти всегда возвращался с богатой добычей и с множеством христианских пленников. Рассказывая о своих похождениях, он любил сравнивать себя с Давидом, который спасся продолжительным изгнанием от расставленных нече-

стивыми людьми сетей. Но царственный пророк (смело присовокуплял Андроник) ограничился тем, что бродил близ границ Иудеи, убил одного Амалекита и при своем жалком положении угрожал жизни жадного Набала. Нашествия кесариса из дома Комнинов имели более широкие размеры, и он распространил по всему Востоку славу своего имени и своей религии. По приговору греческой церкви этот распутный хищник был устранен от общения с верующими; но даже это отлучение от церкви может служить доказательством того, что он никогда не отрекался от христианства.

Благодаря своей бдительности он увертывался или оборонялся и от явных, и от тайных попыток императора задержать его; но в конце концов он попался в расставленные сети вследствие задержания его любовницы. Трапезундскому наместнику удалось захватить Феодору: Иерусалимская королева была отправлена вместе со своими двумя детьми в Константинополь, и Андроник стал в одиночестве более прежнего тяготиться своим положением изгнанника. Он стал молить о помиловании и получил его вместе с правом броситься к стопам монарха, который был удовлетворен изъявлениями покорности со стороны такого надменного человека. Андроник пал ниц перед императором, выразил слезами и вздохами свое раскаяние в прежних восстаниях и объявил, что не встанет на ноги до тех пор, пока кто-нибудь из верноподданных не притянет его к подножию трона за железную цепь, которую он втайне обмотал вокруг своей шеи. Этот необыкновенный способ выражать свое раскаяние возбудил в присутствующих удивление и сострадание; и церковная, и светская власть простили ему его прегрешения; но движимый основательным недоверием, Мануил удалил его от двора и отправил на жительство в Понтийскую провинцию, в окруженный великолепными виноградниками и расположенный на берегу Эвксинского моря город Энос. Смерть Мануила и вызванные малолетством его преемника неурядицы скоро открыли для честолюбия Андроника самое удобное поприще. Императором был двенадцати- или четырнадцатилетний мальчик, у которого не было ни энергии, ни благоразумия, ни опытности; его мать, императрица Мария, предоставила и свою особу, и дела управления фавориту, носившему фамилию Комнинов, а его сестра, также называвшаяся Марией и находившаяся в супружестве за итальянцем, украшенным

титулом Цезаря, составила заговор против ненавистной мачехи и наконец довела дело до мятежа. Провинции были позабыты, столица была в огне, и все, что было добыто столетним спокойствием и порядком, было уничтожено в несколько месяцев пороками и малодушием. В Константинополе вспыхнула междоусобная война; приверженцы двух партий померялись между собой в кровопролитном сражении на дворцовой площади, и затем бунтовщики выдержали правильную осаду в Софийском соборе. Патриарх с искренним усердием старался залечить раны государства; почтенные патриоты громко взывали к защитнику и мстителю, и на языке у каждого были похвалы дарованиям и даже добродетелям Андроника. Из своего уединения он делал вид, будто намерен не нарушать долга, наложенного данною им клятвой. "Если опасность будет угрожать жизни и чести членов императорского семейства, я отыщу виновных и сделаю все, что могу, чтобы их побороть". Его переписка с патриархом и с патрициями была приправлена приличными текстами из псалмов Давида и из Посланий св.Павла, и он терпеливо ожидал, чтобы голос народа призвал его спасать отечество. Во время его переезда из Эноса в Константинополь его незначительная свита мало-помалу разрослась в многочисленную толпу и наконец во целую армию; его уверения в преданности господствующей религии и законному государю были ошибочно приняты за искреннее выражение того, что он чувствовал, а простота его иностранного костюма, очень хорошо обрисовывавшего его величественную фигуру, живо напоминала о том, что он жил в бедности и в изгнании.

С его приближением исчезли все препятствия; он достиг входа во Фракийский Боспор; византийский флот вышел из гавани для того, чтобы встретить спасителя империи и перевезти его в столицу. Поток был стремителен и непреодолим, а те насекомые, которых отогрели лучи императорского благоволения, исчезли при первом взрыве бури. Первой заботой Андроника было овладеть дворцом, приветствовать императора, подвергнуть его мать заключению, наказать ее фаворита и восстановить общественный порядок и спокойствие. Вслед за тем он отправился к гробнице Мануила; зрителям было приказано стоять в некотором отдалении; но в то время, как он преклонялся перед гробницей в позе человека, который молится, они слышали или вообразили, что слышали,

выходившие из его уст выражения торжества и злобы. "Теперь я уже не боюсь тебя, мой старый недруг, заставивший меня скитаться по всему миру. Тебя плотно уложили под семью крышками, из-под которых ты не встанешь, пока не раздастся звук трубы, которая всех призовет к последнему суду. Теперь пришла моя очередь, и я очень скоро растопчу моими ногами и твой прах, и твое потомство". Из того, каким он был впоследствии тираном, мы можем заключить, что именно таковы были его чувства в ту минуту. Но трудно поверить, чтобы он выразил членораздельными звуками свои тайные помыслы. В первые месяцы его управления его намерения прикрывались маской лицемерия, которая могла вводить в заблуждение лишь чернь: коронование Алексея совершилось с надлежащей торжественностью, а его коварный опекун, держа в своих руках тело и кровь Христа, с жаром заявил, что он живет для служения своему возлюбленному питомцу и готов умереть за него. Но его многочисленным приверженцам было поручено настаивать на том, что приходящая в упадок империя неизбежно погибнет под управлением ребенка, что римлян может спасти лишь опытный монарх, отважный на войне, искусный в делах управления и научившийся повелевать из продолжительного знакомства с превратностями фортуны и с людьми, и что на каждом гражданине лежит обязанность принудить скромного Андроника принять на себя бремя государственных забот. Даже юный император был вынужден присоединить свой голос к общему хору и просить о назначении соправителя, который тотчас лишил его верховного сана, отстранил от пользования верховной властью и оправдал опрометчивое заявление патриарха, что Алексея можно считать умершим с той минуты, как он поступил под охрану своего опекуна. Однако его смерти предшествовали заключение в тюрьму и казнь его матери. Запятнав репутацию императрицы и возбудив против нее страсти толпы, тиран подверг ее обвинению и суду за изменническую переписку с венгерским королем. Его собственный сын, честный и человеколюбивый юноша, высказывал свое отвращение к этому гнусному делу, а троим из судей императрицы принадлежит та заслуга, что они предпочли свою совесть своей личной безопасности; но раболепный трибунал осудил вдову Мануила, не потребовав никаких доказательств и не выслушав никаких оправданий, а ее несчастный

сын подписал ее смертный приговор. Марию удавили; ее труп был брошен в море, а ее памяти нанесли самое чувствительное для женского тщеславия оскорбление, обезобразив ее красивую наружность в уродливой карикатуре. Вскоре вслед за тем погиб и ее сын: его удавили тетивой от лука, а незнавший ни сострадания, ни угрызений совести тиран, взглянув на труп невинного юноши, грубо толкнул его ногой и воскликнул: "Твой отец был мошенник, твоя мать была распутница, а ты сам был дурак!"

Наградой за эти преступления был римский скипетр; Андроник держал его в своих руках около трех с половиной лет то в качестве опекуна, то в качестве монарха. Его управление представляло странный контраст добродетелей и пороков. Когда он увлекался своими страстями, он был бичом своего народа, а когда внимал голосу рассудка, был для этого народа отцом. В качестве судьи он был справедлив и взыскателен; он уничтожил позорную и вредную продажность должностных лиц, и так как он имел достаточно прозорливости, чтобы уметь выбирать людей, и достаточно твердости, чтобы наказывать виновных, то общественные должности замещались при нем самыми достойными кандидатами. Он прекратил бесчеловечный обычай обирать потерпевших кораблекрушение моряков и подвергать их самих рабской зависимости; провинции, так долго бывшие предметом или угнетений, или пренебрежения, ожили от благоденствия и достатка, и миллионы людей издали благословляли его царствование, между тем как свидетели его ежедневных жестокостей осыпали это царствование своими проклятиями. Марий и Тиберий слишком верно оправдали на себе старинную поговорку, что человек, возвысившийся из ссылки до престола, бывает кровожаден; эта поговорка оправдалась в третий раз на жизни Андроника. Он хранил в своей памяти имена врагов и соперников, дурно отзывавшихся о нем, противившихся его возвышению или оскорблявших его в несчастии, и его единственным утешением во время ссылки была надежда, что он когда-нибудь отомстит за себя. Найдя необходимым лишить жизни и молодого императора, и его мать, он вместе с тем наложил на себя роковую обязанность губить их друзей, так как эти друзья должны были ненавидеть убийцу и могли попытаться наказать его, а часто возобновлявшиеся казни отняли у него и охоту, и способность миловать. Отвра-

тительные подробности относительно тех, кого он погубил ядом или мечом, в морских волнах или в пламени, дали бы нам менее ясное понятие о его жестокосердии, чем название дней покоя, под которым разумелись редкие недели, обходившиеся без пролития крови; тиран старался сваливать некоторую долю своей вины на законы и на судей; но маска уже спала с его лица, и его подданных уже нельзя было ввести в заблуждение насчет того, кто был настоящим виновником их бедствий. Самые знатные из греков, в особенности те, которые по своему происхождению или по своим родственным связям могли бы заявить притязания на наследство Комнинов, спаслись из вертепа этого чудовища; они укрывались в Никее и в Прусе, на Сицилии и на острове Кипр, а так как они считались преступниками уже потому, что были беглецами, то они еще увеличили свою вину, подняв знамя восстания и присвоив себе императорский титул. Однако Андроник защитился от кинжалов и от мечей самых страшных своих врагов; Никея и Пруса были взяты и наказаны; сицилийцев смирило разграбление Фессалоники, а отдаленность острова Кипр была для тирана не менее благоприятна, чем для бунтовщиков.

Андроник был низвергнут с престола таким соперником, у которого не было никаких достоинств, и такими людьми, у которых не было в руках никакого оружия. Из предосторожности или из суеверия император обрек на жертву Исаака Ангела, происходившего по женской линии от великого Алексея. В минуту отчаяния Ангел стал защищать свою жизнь и свою свободу, убил присланного тираном палача и укрылся в Софийском соборе. Церковное святилище мало-помалу наполнилось толпой людей, привлеченных или любопытством, или состраданием и видевших в гибели Ангела предзнаменование своей собственной гибели. Но их соболезнования скоро перешли в проклятия, а их проклятия в угрозы, и они осмелились задаться вопросом: "Чего мы боимся? Зачем мы повинуемся? Нас много, а он один; только наше терпение удерживает нас в рабстве". На рассвете в городе вспыхнуло общее восстание; двери тюрем были взломаны; даже самые хладнокровные и самые раболепные люди восстали на защиту своего отечества, и Исаак, второй по имени, был вознесен из святилища на престол. Тиран, ничего не знавший о том, какая ему угрожала опасность, находился в отсутствии; он отдыхал

от государственных забот на прелестных островах Пропонтиды. Он вступил в неблагопристойный брак с дочерью французского короля Людовика VII Алисой, или Агнесой, которая была вдовой несчастного Алексея, и проводил свое время в таком обществе, которое соответствовало скорее его вкусам, чем его летам,— в обществе молодой жены и любимой наложницы. При первом известии о случившемся он устремился в Константинополь, горя нетерпением пролить кровь виновных, но его поразили удивлением и тишина во дворце, и смятение в столице, и то, что все его покинули. Андроник объявил своим подданным всеобщую амнистию, но они не хотели ни получать, ни давать помилования; он предложил им отказаться от престола в пользу своего сына Мануила, но добродетели сына не могли загладить преступлений отца. Море еще было открыто для бегства; но весть о происшедшем перевороте пролетела вдоль всего побережья; лишь только исчез страх, прекратилось и повиновение; легковооруженное судно отправилось в погоню за императорской галерой и овладело ей, и тирана притащили к Исааку Ангелу закованным в кандалы и с обвернутой вокруг его шеи длинной цепью. Его красноречие и слезы сопровождавших его женщин тщетно ходатайствовали за его жизнь; но вместо того, чтобы наказать преступника по всем формам судопроизводства, новый монарх предоставил его на произвол многочисленных страдальцев, у которых Андроник отнял или отца, или мужа, или друга. Они вырвали у Андроника зубы и волосы, выкололи один глаз, отсекли одну руку, как будто этим можно было загладить понесенные ими утраты, и совершали все эти жестокости с небольшими промежутками времени, для того чтобы смерть была более мучительна. Они посадили его верхом на верблюда и без всякого опасения, что кто-нибудь вздумает спасать его, стали водить по улицам, а самая низкая чернь находила наслаждение в том, что могла издеваться над падшим величием своего монарха. Осыпанный ударами и оскорблениями, Андроник был повешен за ноги промеж двух столбов, из которых на одном стояло изображение волка, а на другом изображение свиньи; всякий, кто мог достать рукой до этого общественного врага, налагал на его тело какие-нибудь следы или утонченной, или грубой жестокости, пока два преданных ему итальянца не вонзили в него своих мечей и не прекратили его земное наказание. "Госпо-

ди, сжалься надо мною!" и "К чему ломать уже изломанный тростник?"— были единственные слова, вырвавшиеся из его уст во время этой продолжительной и мучительной агонии. Нашу ненависть к тирану заглушает сострадание к человеку, и мы не вправе порицать его малодушную покорность судьбе, так как исповедовавший христианство грек не был хозяином своей собственной жизни.

Я увлекся желанием подробно описать необыкновенный характер и похождения Андроника; теперь мне предстоит закончить ряд греческих императоров, царствовавших со смерти Ираклия. Ветви, выросшие из корня Комнинов, мало-помалу завяли, и мужская линия сохранилась лишь в потомстве самого Андроника, которое, пользуясь общественными смутами, присвоило себе столь мало известное в истории и столь прославленное в романах владычество над Трапезундом. Простой гражданин из Филадельфии по имени Константин Ангел достиг богатства и почестей благодаря своей женитьбе на одной из дочерей императора Алексея. Его сын Андроник прославился только своей трусостью. Его внук Исаак наказал и заместил тирана; но он был свергнут с престола своими собственными пороками и честолюбием своего брата, а эта братская вражда облегчила латинам завоевание Константинополя, которое было первой важной эпохой в истории разрушения Восточной империи.

Если мы подведем итог числу царствований и их продолжительности, то найдем, что в шестисотлетний период времени царствовали шестьдесят императоров, со включением в это число нескольких женщин и за исключением как нескольких узурпаторов, власть которых никогда не была признана столицей, так и нескольких молодых кесарисов, не доживших до вступления в свои наследственные права. Таким образом, на каждого императора приходится средним числом по десяти лет, то есть гораздо менее того, что считает за хронологическое правило сэр Исаак Ньютон, который, руководствуясь опытом новейших, более правильно организованных монархий, определил обыкновенную продолжительность царствований в восемнадцать или двадцать лет. Византийская империя пользовалась самым прочным спокойствием и благоденствием при переходе императорской власти по наследству; пять династий — Ираклиева, Исаврийская, Аморийская, Василиева и Комнинская — занимали престол

первая при пяти поколениях, вторая при четырех, третья при трех, четвертая при шести, пятая при четырех; некоторые из этих монархов считали годы своего царствования начиная с годов своего детства, а Константин VII и его двое внуков занимают целое столетие. Но в промежутках между этими византийскими династиями замена одних императоров другими совершается быстро и с некоторыми перерывами, так что имя счастливого претендента быстро вычеркивается из памяти более счастливым соперником. Верховная власть достигалась различными путями; то, что создавалось восстанием, разрушалось взрывом заговора или подтачивалось тайными происками интриги; в императорскую мантию облекались, одни вслед за другими, любимцы солдат или народа, Сената или духовенства, женщин и евнухов; средства их возвышения были неблагородны, а их конец нередко внушал или презрение, или сострадание. Если бы существовали люди с такими же способностями, как обыкновенные смертные, но с более продолжительной земной жизнью, они смотрели бы с улыбкой сострадания и презрения на преступления и безрассудства честолюбцев, которые так страстно стремятся к непрочному и скоротечному владычеству. Этим-то путем, вынесенная из изучения истории опытность облагораживает и расширяет наш умственный кругозор. В рассказе, который написан в несколько дней и который можно прочесть в несколько часов, перед нашими глазами протекли шестьсот лет, а продолжительность жизни или царствования того или другого императора сократилась в скоропроходящую минуту; того, кто сидит на престоле, всегда ждет могила; за успехом преступления почти тотчас следует утрата того, что служило для него наградой, и наш бессмертный разум переживает и оставляет без внимания те шестьдесят коронованных призраков, которые прошли перед нашими глазами, оставив лишь слабые следы в нашей памяти. Философ сдерживает свое удивление, замечая, что честолюбие господствовало в человеческой душе с одной и той же непреодолимой силой во все века и во всех странах; но он не ограничится тем, что осудит такое тщеславное влечение, а постарается доискаться мотивов такого общего стремления к верховной власти. Большинству царствовавших в Византии императоров мы никак не можем приписать любви к славе и к человечеству.

Только добродетели Иоанна Комнина были благотворны и ничем не запятнаны; самые знаменитые из предшественников и из преемников этого почтенного императора шли не без ловкости и энергии по извилистой и окровавленной стезе себялюбивой политики; при изучении нецельных характеров Льва Исавра, Василия, Алексея Комнина, Феофила, Василия II и Мануила Комнина наше уважение и наше порицание почти уравновешиваются, а остальные члены императорской группы могли желать и ожидать только того, чтобы потомство вовсе о них позабыло. Не было ли целью и предметом их честолюбия личное благополучие? Я не буду повторять общие места относительно жалкого положения коронованных особ; но я могу с уверенностью заметить, что их положение более всякого другого способно внушать опасения и менее всякого другого способно внушать надежды. Для этих противоположных чувств было более простора при происходивших в древности государственных переворотах, нежели при правильном и прочном государственном устройстве нашего времени, при котором едва ли могло бы повториться торжество Александра или падение Дария. Но особенным несчастьем для византийских монархов было то, что они должны были остерегаться внутренних врагов без всякой надежды на внешние завоевания. Андроника низвергла с вершины человеческого величия смерть более ужасная и более позорная, чем смерть самых низких злодеев; но и самые знаменитые из его предшественников заботились не столько о прибыли, которую можно было получить от врагов, сколько о вреде, который могли им причинить их подданные. Армия была безчинна без мужества, народ был мятежен без свободы; варвары теснили империю и с Востока, и с Запада, а утрата провинций привела к окончательному порабощению столицы.

Весь ряд императоров, от первого Цезаря до последнего Константина, занимает период времени в пятнадцать с лишком столетий, и ни одна из древних монархий — ни Ассирийская, ни Мидийская, ни та, которая находилась под властью преемников Александра,— не представляет примера столь продолжительного существования, ни разу не прерывавшегося владычеством иностранного завоевателя.

---

1) (Нумизматы называют Константином III того императора, который был провозглашен в Британии A. D. 407. (См часть III, стр. 385;

Eckhel, VI, 176; Humpherey's Manual, стр. 651). Поэтому некоторые писатели называют сына Ираклия и Евдокии Константином IV, а Экгель называет его Ираклием II.— Издат.)

2) Муратори (Annali d'Italia, IX, 336-347) порицает поведение Константа в Италии, A. D. 663. Беневент был осажден, и после двенадцатидневного пребывания коронованный грабитель увез с собой все, что успел захватить в Риме, не пощадив даже бронзовой крыши Пантеона и церкви S-ta Maria ai Martiri.— Издат.

3) Eckhel (VIII, 226) замечает, что хотя Константин и был прозван Погонатом, однако на монетах этого императора его борода не похожа на barba hirta et expansa, которой отличался его отец Констант. Humphreys (стр. 654) называет его Константином V.— Издат.

4) Эти два кесариса получили от своего отца титул Цезарей, и только на оборотной стороне некоторых из его монет находятся их изображения. (Eckhel, VIII, 226, Humphreys, стр. 654.— Издат.)

5) Этот безжалостный и кровожадный тиран называл самого себя "служителем Христа" и призывал помещать на его монетах этот новый титул. Novus Augustorum titulus se servos Christi profitentium. (Eckhel, VIII). 227.— Издат.

6) Этот юноша был соправителем своего отца под именем Тиберия IV, как это видно из многих надписей на их монетах. (Eckhel, VIII. 228 Humphreys, стр. 654.— Издат.)

7) Муратори (Annali d'Italia, IX. 549) указывает на противоположность между invidiabil pace, которым наслаждалась Италия под управлением лангобардского короля Лиутпранда, и теми судорожными потрясениями, которым подвергалась дурноуправляемая Восточная империя.— Издат.

8) Муратори (Annali d'Italia XI. 649) и Eckhel (VIII. 231) относят возведение Льва на престол к 717 году, а не к 718, на который указывает Гиббон. Их мнение согласуется с тем, что Лев царствовал двадцать четыре года, и с тем, что он умер в 741 году.— Издат.

9) Константин VI. Humphreys, стр. 654. У Eckhel'я есть монеты, из которых видно, что после смерти Льва III женившийся на дочери Льва, Анне Артавасд был провозглашен императором и дал своему сыну Никифору I титул Августа. Оба они были низложены и лишены зрения Константином Копронимом в 743. De Num. Vet. VIII. 253.— Издат.

10) Муратори упоминает о смерти Копронима, но не следует за ним за пределы этого мира, из которого иконоборец, по словам итальянского писателя, отлетел, "оставив после себя самые отвратительные воспоминания между католиками". Annali d'Italia. X, 236.— Издат.

11) "Варварская жена" Копронима также носила имя Ирины. Вследствие ее происхождения ее сын Лев IV был прозван Хазаром. Суеверия того времени приписывали его смерть тому, что из ребяческой склонности к ювелирным изделиям он надел себе на голову богато украшенную корону, которая была подарена одной церкви императором Маврикием. От этого у него появилась на голове сыпь, от которой он через несколько дней кончил жизнь в тридцатилетнем возрасте. Eckhel, VIII, 233.— Издат.

12) Константином VII. Humphreys, стр. 655.— Издат.

13) Михаил был сыном Феофилакта. Он назывался Рангавой по деду

и Куропалатой по своей прежней должности. Экгель (VIII, 237) называет его предшественника Никифором вторым и говорит, что Ставракий умер в следующем году в монастыре.— Издат.

14) У Михаила был сын Феофилакт, которого он назначил своим соправителем и которого желал соединить брачными узами с семейством Карла Великого (Muratori, Ann. d'Ital. XI. 6). Humphreys упоминает о монетах, на которых этот кесарис изображен вместе со своим отцом (стр. 655), но Экгель опустил эти монеты из виду. Несчастный юноша был изуродован по приказанию Льва и сослан в монастырь.— Издат.

15) У Льва был сын и соправитель по имени Константин, который после смерти своего отца был изуродован и отправлен в ссылку. Впрочем, Экгель (VIII, 238) не помещает этого кесариса в список императоров, а Humphreys (стр. 655) называет его Константином VIII. С этих пор между различными писателями обнаруживается разномыслие насчет нумерации целого ряда императоров, носивших имя Константин.— Издат.

16) Михаил II был основателем Аморийской династии, названной этим именем потому, что он родился во фригийском городе Амории. См. главу 52.— Издат.

17) У Феофила был еще сын, называвшийся Константином; его имя встречается на монетах. Экгель называет его Константином VII (часть VIII, стр. 240, 528), а Humphreys (стр. 655) называет его только по имени, не указывая, которым он был по счету.— Издат.)

18) Константин был возведен в звание Августа в 868 г., а умер в 879. Он был восьмым императором этого имени, по мнению Экгеля (VIII. 243); а Humphreus (стр. 656) считает его девятым.— Издат.

19) Экгель (VIII. 246) называет его Константином X, а Humphreys (стр. 656) Константином XI. В Хронологических Таблицах (Blair, Oxford, Kruse, etc., его большей частью называют Седьмым.— Издат.

20) Вследствие такого порядка старшинства Экгель (VIII. 245) называет сына Романа Константином IX, а Humphreys (стр. 656) Константином X.— Издат.

21) Экгель (VIII, 253) называет его Константином IX, а Humphreys (стр. 656) Константином XII.— Издат.

22) Экгель (VIII. 254) называет его Константином XII, а Humphreys (стр. 657) Константином XIII.— Издат.

23) Экгель (VIII, 256) называет его Константином XIII, а Humphreys (стр. 657) Константином XIV.— Издат.

24) Изображение этого Константина встречается на монетах Романа IV. (Eckhel, VIII. 258); Humphreys называет его Дукой Порфирородным (стр. 657), но не говорит, которым он был по счету.— Издат.

25) Этот Константин не носил титула Августа, и его имя не встречается ни на каких монетах. Экгель (VIII. 258) и Humphreys (стр. 658), упоминая о нем, не говорят, которым Константином он был по счету.— Издат.

ГЛАВА XLIX

Введение, почитание и гонение икон.— Восстание Италии и Рима.— Светская власть пап.— Завоевание Италии франками.— Поклонение иконам восстановлено.— Характер Карла Великого и его коронование.— Восстановление и упадок римского владычества на Западе.— Независимость Италии.— Государственное устройство Германии.

Излагая церковные события в связи с политическими, я не придавал первым из них самостоятельного значения и рассматривал их только по отношению ко вторым, а такая точка зрения привела бы к благотворным результатам, если бы она служила руководством не только для исторического повествования, но и для действительной жизни. Я умышленно предоставил любознательности пытливых богословов и восточную философию гностиков, и мрачную бездну предопределения, и благодати, и совершающееся при евхаристии странное превращение изображения тела Христова в самое тело[1]. Но я старательно и с удовольствием описывал те факты из церковной истории, которые имели существенное влияние на упадок и разрушение Римской империи, как-то распространение христианства, организацию католической церкви, гибель язычества и секты, возникшие из таинственных споров о Троице и Воплощении. Во главе фактов этого разряда следует поставить поклонение иконам, вызвавшее такие горячие споры в восьмом и девятом столетиях, так как вопрос, касавшийся народных суеверий, привел к восстанию Италии, к светскому владычеству пап и к восстановлению Римской империи на Западе.

Первые христиане чувствовали непреодолимое отвращение к иконам, которое можно объяснить их происхождением от иудеев и их враждой к грекам. Закон Моисеев строго запрещал изображать Божество в каком бы то ни было виде, и избранный народ твердо держался этого правила и в принципе, и на практике. Остроумие защитников христианства изощрялось над безрассудными идолопоклонниками, преклонявшимися перед произведениями своих собственных рук,— перед теми бронзовыми или мраморными фигурами,

которые, будь они одарены умом и способностью двигаться, скорее, должны бы были сами встать со своих пьедесталов, чтобы преклониться перед творческими дарованиями художника[2]. Может быть, некоторые из гностиков, только что перешедших в христианскую религию и еще не вполне освоившихся с новыми верованиями, воздавали статуям Христа и св.Павла такие же мирские почести, какие они воздавали статуям Аристотеля и Пифагора[3]; но религия, которую публично исповедовали католики, всегда была одинаково безыскусственна и духовна, и о поклонении произведениям живописи впервые упоминает в своем порицании Иллиберийский (Эльвирский) собор через триста лет после начала христианской эры. При преемниках Константина среди спокойствия и роскоши, в которых жила победоносная церковь, самые осторожные из епископов снисходили до того, что допускали для пользы толпы явное суеверие, а после уничтожения идолопоклонства их уже не сдерживало опасение унизительных сравнений. Введение культа символических изображений началось с поклонения Кресту и мощам. Святых и мучеников, к которым верующие обращались с мольбами о заступничестве, стали помещать по правую сторону от Господа, а вера народа в щедрые и даже сверхъестественные милости, которые можно было получать у их гробниц, приобретала неопровержимую санкцию в благочестии тех пилигримов, которые посещали и целовали эти безжизненные останки, напоминавшие о прошлых заслугах и страданиях[4]. Но еще более интересным, чем череп или сандалии, напоминанием об усопшем святом служило верное изображение его особы или его лица рукой искусного живописца или скульптора. И для семейных привязанностей, и для общественного уважения были во все века приятны эти изображения, так хорошо отвечавшие требованиям человеческого сердца; изображениям императоров воздавались не только гражданские, но даже почти религиозные почести; менее блестящий, но более искренний почет оказывали статуям мудрецов и патриотов, а эти мирские добродетели, эти блестящие прегрешения исчезали в присутствии тех святых людей, которые умерли за свое небесное и вечное отечество. Первые попытки были осторожны и нерешительны, и поклонение этим почтенным изображениям допускалось с целью просветить людей невежественных, воспламенить усердие в людях рав-

нодушных и удовлетворить предрассудки перешедших в христианство язычников. С медленной, но неизбежной постепенностью почести, которые воздавались оригиналу, были перенесены на копию; благочестивые христиане стали молиться перед изображениями святых, и в католическую церковь снова вкрались языческие обыкновения становиться на колени, зажигать светильники и курить ладаном. Красноречивое свидетельство видений и чудес разгоняло колебания людей рассудительных или благочестивых, и казалось естественным, что произведения живописи, которые говорили, двигались и проливали кровь, были одарены божественной силой и могли считаться достойными религиозного поклонения. Самая смелая кисть должна была дрожать при отважной попытке изобразить определенными очертаниями и красками бесконечного Духа, Предвечного Отца, который объемлет и сохраняет всю вселенную[5]. Но суеверные люди легче примирялись с изображениями и почитанием ангелов, и в особенности Сына Божия, в той человеческой форме, которую они соблаговолили принять на земле. Второе лицо Троицы облеклось в действительное и смертное тело; но это тело вознеслось на небеса, и если бы его почитатели не имели перед глазами его изображения, духовное поклонение Христу могло бы заглохнуть перед видимыми мощами и изображениями святых. Такое же снисхождение требовалось и было допущено в пользу Девы Марии: место ее погребения было неизвестно, а легковерие греков и латинов освоилось с мыслью, что ее душа и ее тело перенесены на небо. Употребление икон и даже поклонение им твердо установились в конце шестого столетия; их горячо чтила пылкая фантазия греков и азиатов; Пантеон и Ватикан были украшены эмблемами нового суеверия; но к этому подобию идолопоклонства более равнодушно относились на Западе и грубые варвары, и арианское духовенство. Резко выдающиеся телесные формы тех бронзовых или мраморных изваяний, которыми были наполнены древние храмы, оскорбляли фантазию или совесть исповедовавших христианство греков, и потому изображения красками, как обходившиеся без всяких выпуклостей, всегда считались более приличными и невинными[6].

Достоинство и эффект копии зависит от ее сходства с оригиналом; но первобытным христианам не были знакомы подлинные черты лица Сына Божия, его матери и его апостолов;

статуя, находившаяся в Палестине, в городе Панеаде[7], хотя и считалась за изображение Христа, но, по всей вероятности, была статуей какого-нибудь светского спасителя, а гностики и их нечестивые памятники подвергались осуждению, так что фантазия христианских артистов могла руководствоваться только тайным подражанием какому-нибудь языческому образцу. При таком затруднительном положении одна смелая и ловкая выдумка одним разом удостоверила и сходство изображения, и безупречность воздаваемого ему поклонения. Новая надстройка из вымыслов была возведена на популярном фундаменте той сирийской легенды о переписке Христа с Авгарем, которая пользовалась такой известностью во времена Евсевия и от которой так неохотно отказались ее новейшие защитники. Епископ Кесарийский[8] упоминает о послании[9] Авгаря к Иисусу Христу, но, к крайнему удивлению, умалчивает об изображении Христа[10] — о том верном отпечатке его лица на плате, которым он наградил веру царственного иноземца, обратившегося за помощью к его дару исцелять больных и предложившего ему укрыться от злобы иудеев в укрепленном городе Эдессе. Чтобы объяснить, почему об этом ничего не знала первобытная церковь, рассказывают, что изображение долго хранилось в углублении стены, откуда после пятисотлетнего забвения было вынуто каким-то благоразумным епископом и выставлено в благоприятную минуту перед благочестивыми людьми того времени. Его первым и самым знаменитым подвигом было освобождение города от войск Хосрова Ануширвана, и его скоро стали чтить как залог Божеского обещания, что Эдесса никогда не попадет в руки иноземного врага. Однако текст Прокопия приписывает двоекратное избавление Эдессы богатству и мужеству ее граждан, купивших отступление персидского монарха и отразивших его приступы. Этот светский писатель не знал, что на страницах церковного писателя Евагрия ему приписывается свидетельство в пользу того факта, что этот палладиум был выставлен на городском валу и что вода, которой был обрызган святой лик, вместо того, чтобы гасить пламя, которое метали осажденные, придавала ему новую силу. После этой важной услуги Эдесскую икону хранили с уважением и с признательностью, и хотя армяне отвергали эту легенду, зато более легковерные греки боготворили изображение, которое было не произведением какого-то смертно-

го, а непосредственным творением божественного оригинала. Тон следующего византийского гимна и выраженные в нем идеи объяснят нам, насколько поклонение иконам удалялось от самого грубого идолопоклонства: "Разве мы можем смотреть нашими смертными глазами на такое изображение, небесный блеск которого не осмеливаются созерцать небесные рати? Тот, кто пребывает на небесах, почтил нас сегодня своим посещением через посредство этой уважаемой иконы; тот, кто восседает выше херувимов, является нам сегодня в этом изображении, которое Отец начертал своей чистой рукой, которое он произвел неисповедимым образом и которое мы свято чтим, преклоняясь перед ним со страхом и любовью". В конце шестого столетия эти иконы, сделанные без помощи рук (на греческом языке это выражается одним словом)[11], распространились по лагерям и городам Восточной империи[12]; они были предметами религиозного поклонения и орудиями чудес, а в минуту опасности или внутреннего смятения их свято чтимое присутствие было способно вдохновлять римские легионы надеждой, воспламенять их мужество или сдерживать их ярость. Большая часть этих изображений, срисованных человеческими руками, могла претендовать только на второстепенное сходство и не имела прав, равных с оригиналом; но некоторые из них были более высокого происхождения, так как были продуктом непосредственного соприкосновения с подлинником и потому были одарены чудотворной и плодотворной силой. Самые честолюбивые между ними заявляли притязание не на происхождение от эфесского изображения, а на братское с ним родство; такова римская, или испанская, или иерусалимская так называемая *вероника*, состоящая из плата, которым Христос утер лицо в то время, как находился в агонии и был покрыт кровавым потом, и который он вручил одной святой женщине. Это послужило прецедентом для появления таких же платов Девы Марии, святых и мучеников. В Диосполийской церкви, в Палестине, черты матери Божией[13] глубоко отпечатлелись на мраморной колонне; церкви восточные и западные были украшены произведениями кисти св.Луки и этого евангелиста, как кажется, бывшего по своей профессии доктором, заставили заниматься живописью, которая была в глазах первобытных христиан занятием нечестивым и ненавистным. Юпитер Олимпийский, созданный музой Гомера и резцом

Фидия, мог внушить философу минутное благочестие; но эти католические иконы были бесцветными и жалкими произведениями монашествующих художников и свидетельствовали о совершенном упадке вкуса и дарований[14].

Поклонение иконам вкралось в церковь с незаметной постепенностью, и всякий новый шаг на этом пути был приятен людям суеверным, так как доставлял им новый источник утешений, в котором не было ничего греховного. Но в начале восьмого столетия, в то время, как это злоупотребление достигло полного развития, некоторые из самых богобоязненных греков были встревожены опасением, что под маской христианства они восстановили религию своих предков; они не могли без скорби и раздражения слышать название идолопоклонников, которое им беспрестанно давали иудеи и мусульмане[15], почерпнувшие в Моисеевом законе и в Коране непреодолимую ненависть к сделанным рукой ваятеля иконам и к какому бы то ни было поклонению этим изображениям. Рабство, в котором находились иудеи, смиряло их религиозное рвение и ослабляло их авторитет, но нападки владычествовавших в Дамаске и угрожавших Константинополю мусульман приобретали особую силу вследствие того, что опирались и на истину, и на военное могущество. Города Сирии, Палестины и Египта были снабжены, взамен укреплений, иконами Христа, его матери и его святых, и каждый из этих городов питал надежду или полагался на обещание, что он будет защищен от неприятеля сверхъестественным способом. В течение тех десяти лет, когда арабы быстро расширяли свои завоевания, они овладели и этими городами, и этими иконами и были того мнения, что Бог ратных сил произнес окончательное решение насчет того, следует ли поклоняться этим бессловесным и бездушным идолам или следует презирать их. В течение некоторого времени Эдесса отражала приступы персов; но этот избранный город, эта невеста Христова была вовлечена в общую гибель, и ее священный плат перешел в руки неверующих и увеличил число их трофеев. После трехсотлетнего пленения этот Палладиум был уступлен благочестивому константинопольскому правительству, которое заплатило за него двенадцать тысяч фунтов серебра, возвратило свободу двумстам мусульманам и обязалось на вечные времена не предпринимать неприязненных действий против территории Эдессы[16]. В этот период общественных бедствий

и душевных тревог монахи изощряли свое красноречие для защиты икон и пытались доказать, что своими грехами и еретическими заблуждениями жители Востока лишили себя права на благосклонность этих драгоценных символов и уничтожили их чудотворную силу. Но они встретили препятствие в ропоте многих или добродушных, или здравомыслящих христиан, ссылавшихся на тексты Священного Писания, на факты и на пример первых последователей христианства и втайне желавших церковной реформы. Так как поклонение иконам никогда не было установлено никаким общим или положительным законом, то его распространение в Восточной империи или замедлялось, или ускорялось под влиянием людей, нравов, степени умственного развития в этой или другой местности и личного характера епископов. Блестящая выставка благочестия очень нравилась легкомысленному столичному населению и изобретательному уму византийского духовенства, между тем как грубым жителям азиатских провинций было вовсе не знакомо это нововведение в церковной пышности. Многие из многолюдных конгрегаций гностиков и ариан сохранили и после своего обращения в православие тот безыскусственный культ, которого они держались до своего отделения от господствовавшей церкви, а самые воинственные из римских подданных, армяне, еще не успели и в двенадцатом столетии примириться с видом икон[17]. От такого различия мнений возникали предубеждения и личная неприязнь, которые не имели большого значения для жителей анатолийских или фракийских деревень, но нередко играли важную роль в судьбе воина, прелата или евнуха, достигшего высших церковных и государственных должностей.

Самым счастливым между такими искателями фортуны был император Лев III[18], перешедший с гор Исаврии на престол Восточной империи. Он не был знаком ни с церковной литературой, ни с светской; но воспитание, здравый смысл и, быть может, сношения с иудеями и арабами внушили этому воинственному крестьянину ненависть к иконам, а в то время считалось обязанностью монарха подчинять подданных внушениям его собственной совести. Но в начале своего неупрочившегося владычества, в первые десять лет трудов и опасностей Лев унижался до лицемерия, преклонялся перед идолами, к которым питал презрение, и успокаивал римско-

го первосвященника ежегодными доказательствами своего православия и религиозного усердия. Когда он приступил к церковной реформе, его первые шаги были сдержанны и осторожны; он созвал большой собор из сенаторов и епископов и с их согласия постановил, что все иконы должны быть вынесены из святилища и с алтаря и повешены в церквах на такой вышине, что были бы видны для глаз, но недоступны для народного суеверия. Но не было никакой возможности сдерживать противоположные влечения почитателей икон и их противников: даже будучи так высоко повешены, священные изображения по-прежнему служили назиданием для верующих и упреком для тирана. Сам Лев был раздражен сопротивлением и личными оскорблениями, а его собственная партия обвиняла его в неудовлетворительном исполнении его долга и указывала ему, как на достойный подражания пример, на то, что один иудейский царь без всяких колебаний разбил находившегося в храме медного змея. Вторым Эдиктом Лев не только воспретил употребление священных картин, но приказал совершенно их уничтожить; тогда и константинопольские, и провинциальные церкви были очищены от идолопоклонства; изображения Христа, Святой Девы и святых были уничтожены, а стены зданий были покрыты тонкой штукатуркой. Секту иконоборцев поддерживали усердие и деспотизм шести императоров, и как Восток, так и Запад были вовлечены в шумную распрю, длившуюся сто двадцать лет. Лев Исавр намеревался сделать из запрещения чтить иконы догмат веры, утвержденный вселенским собором; но такой собор был созван только при его сыне Константине, и хотя одержавшее верх ханжество клеймит его названием сборища безумцев и атеистов[19], но в дошедших до нас отрывках из его постановлений заметны многие признаки и здравомыслия, и благочестия. Прения и декреты нескольких провинциальных соборов послужили мотивом для созыва вселенского собора, который собрался в константинопольских предместьях и состоял из трехсот тридцати восьми епископов европейских и анатолийских, так как патриархи Антиохийский и Александрийский находились в рабской зависимости от халифа, а церкви италийские и западные были устранены римским первосвященником от общения с греками. Этот Византийский собор присвоил себе название и власть Седьмого вселенского собора; однако даже в этом наз-

вании выражалось признание шести предшествовавших соборов, потративших столько труда на то, чтобы дать католической церкви прочную организацию. После серьезных шестимесячных прений триста тридцать восемь епископов единогласно утвердили и подписали постановление, что все видимые символические изображения Христа, за исключением тех, которые употребляются при евхаристии, должны считаться или богохульными, или еретическими; что поклонение иконам есть извращение христианства и возвращение к язычеству; что все такие памятники идолопоклонства должны быть или уничтожены, или изглажены и что всякий, кто откажется выдать предметы своего личного суеверия, провинится в ослушании церкви и императору. В своих громких выражениях преданности они превозносили заслуги своего мирского искупителя и поручили исполнение наложенных ими духовных кар его усердию и правосудию. На Константинопольском соборе, точно так же, как и на всех предшествовавших, воля монарха служила руководством для верований епископов; но я склонен думать, что в настоящем случае значительное большинство прелатов пожертвовало своими тайными убеждениями внушениям надежды и страха. Среди продолжительного мрака суеверий христиане давно уже отдалились от чистоты евангельского учения, и им уже нелегко было отыскать настоящий путь, чтобы выпутаться из лабиринта. Поклонение иконам — по меньшей мере в воображении людей благочестивых — было неразрывно связано с почитанием Креста, Святой Девы, святых и мощей; эту священную почву заволакивали тучи чудес и видений, а умственные нервы — любознательность и скептицизм притупились от привычки повиноваться и верить. Самого Константина обвиняли в том, что он дозволял себе или подвергать сомнению, или отрицать, или осмеивать мистерии католиков[20]; но эти мистерии составляли неотъемлемую принадлежность и публичных, и личных верований его епископов, и самый смелый иконоборец должен был чувствовать тайный страх, нападая на памятники народного благочестия, посвященные его небесным заступникам. Во время реформы шестнадцатого столетия свобода и знание уже успели расширить все человеческие способности; жажда новизны заглушила уважение к старине, и окрепшая духом Европа могла относиться с

пренебрежением к тем призракам, которые наводили ужас на болезненное и раболепное малодушие греков.

О скандальном возникновении отвлеченных еретических мнений народ узнает только из звуков церковной трубы; но поругание и уничтожение видимых предметов религиозного поклонения в состоянии заметить люди самые невежественные и в состоянии принять за оскорбление люди самые хладнокровные. Свое первое нападение Лев направил на изображение Христа, висевшее при входе во дворец над воротами. К воротам была приставлена лестница, но ее с яростью опрокинула толпа фанатиков и женщин; они с благочестивым восторгом смотрели, как виновники святотатства падали с высоты и разбивались о мостовую, а преступникам, справедливо потерпевшим наказание за убийство и мятеж, они воздали такие же почести, какие воздавались древним мученикам[21]. Исполнение императорских Эдиктов вызвало частые мятежи в Константинополе и в провинциях; сам Лев подвергался опасности; его командиров убивали, и чтобы подавить народное волнение, гражданские и военные власти должны были употреблять самые напряженные усилия. Многочисленные острова Архипелага, который называли Святым морем, были наполнены иконами и монахами; местные жители без колебаний отказались от повиновения врагу Христа, его матери и святых; они вооружили флот из шлюпок и галер, развернули свои священные знамена и смело направились к константинопольской гавани с целью посадить на престол человека, более приятного и Богу, и народу. Они рассчитывали на содействие чудес, но их чудеса оказались бессильными против *греческого огня*, и после того, как их флот был разбит и сожжен, их беззащитные острова оказались в полной зависимости от милосердия или от правосудия победителя. Сын Льва предпринял на первом году своего царствования экспедицию против сарацин, а в его отсутствие и столицей, и дворцом, и императорским престолом завладел честолюбивый поборник православия, его родственник Артавасд. Поклонение иконам было торжественно восстановлено; патриарх или отказался от прежнего притворства, или скрыл свои убеждения, и права узурпатора были признаны и в новом, и в старом Риме. Константин укрылся в своих родных горах; но он спустился оттуда во главе отважных и преданных Исавров и в решительной победе восторжествовал и над

военными силами, и над предсказаниями фанатиков. Его продолжительное царствование наполнено шумными спорами, заговорами, взрывами взаимной ненависти и сценами кровавого мщения; для его соперников служило мотивом или предлогом преследование иконопочитателей, и если им не удавалось украсить себя мирской диадемой, зато греки награждали их венцом мученичества. В каждом явном или тайном изменническом покушении на его власть император усматривал непримиримую ненависть монахов — этих верных рабов суеверия, которому они были обязаны своими богатствами и своим влиянием. Они молились, произносили проповеди, отпускали грехи, воспламеняли умы и составляли заговоры; пустыни Палестины изливали поток ругательств, а перо последнего из отцов греческой церкви, св.Иоанна Дамаскина[22], обрекло тирана на гибель и в этой жизни, и в будущей[23]. Я не имею достаточно досуга для того, чтобы исследовать, чем монахи вызвали и в какой мере они преувеличили свои действительные или мнимые страдания и скольких из них жестокосердие императора лишило жизни или какого-нибудь члена тела, глаз или бороды. От наказания отдельных лиц император перешел к уничтожению монашеского сословия, а так как это сословие было и богато, и бесполезно, то стимулом для его мстительности могло служить корыстолюбие, а оправданием патриотизм. Страшное имя и миссия его главного надсмотрщика Дракона[24] возбуждали ужас и отвращение среди черной братии; религиозные общины были закрыты, их здания были обращены в магазины или в бараки; земли, движимость и скот были конфискованы, и судя по тому, что делалось в наше время, нетрудно поверить, что монастырские мощи и даже библиотеки сделались жертвами своеволия и злобы. Вместе с запрещением носить монашеское одеяние и посвящать себя монашеской профессии было строго запрещено публичное и приватное поклонение иконам, и, как кажется, все подданные Восточной империи или, по меньшей мере, все лица духовного звания были обязаны торжественно отрекаться от идолопоклонства[25].

Терпеливый Восток против воли отрекся от своих священных икон; но к ним было сильно привязано и их с энергией защищало независимое рвение итальянцев. По своему рангу в церковной иерархии и по своей юрисдикции константинопольский патриарх и римский папа были почти равными. Но

греческий прелат был домашним рабом господина, который одним наклонением головы мог возвести его из монастыря на патриарший престол или низвести с этого престола в монастырь. Напротив того, римские епископы, живя вдали от двора и среди опасностей, которыми грозило им соседство варваров, свыклись с мужеством и свободой; благодаря тому, что они избирались народом, они были дороги римлянам; благодаря своим большим доходам они были в состоянии приходить на помощь и общественным нуждам, и нуждам бедняков, а слабость или небрежность императора заставляла их сообразовываться и в мирное, и в военное время с тем, чего требовала безопасность их города. В школе несчастий римский первосвященник мало-помалу усваивал и добродетели, и честолюбие монарха; все равно, вступал ли на престол св.Петра итальянец, грек или сириец, все они отличались одним и тем же характером и держались одной и той же политики, и когда Рим лишился и своих легионов, и своих провинций, его верховенство было восстановлено гением и фортуной пап. Все согласны в том, что в восьмом столетии их владычество было основано на мятеже и что этот мятеж вызвала и оправдала иконоборческая ересь; но поведение Григория II и Григория III во время этой достопамятной распри различно оценивают их друзья и недруги. Византийские писатели единогласно утверждают, что вслед за бесплодным предостережением они объявили об отделении Востока от Запада и лишили нечестивого тирана как доходов с Италии, так и верховной власти над этой страной. Бывшие свидетелями торжества пап, греческие писатели говорят об этом отлучении от церкви в еще более ясных выражениях; а так как они были более сильно привязаны к своей религии, чем к своему отечеству, то они не порицают, а хвалят усердие и православие этих апостольских преемников[26]. Вступавшиеся за римское правительство, новейшие писатели охотно ссылаются и на эту похвалу, и на этот прецедент; кардиналы Бароний и Беллармин[27] превозносят этот великий и славный пример низложения коронованного еретика, а когда их спрашивают, почему же те же самые громы не разразились над древними Неронами и Юлианами, они отвечают, что слабость первобытной церкви была единственной причиной ее терпеливой покорности[28]. В этом случае и любовь, и ненависть имели одни и те же последствия, а ревностные проте-

станты, стараясь возбудить в монархах и высших сановниках негодование и опасения за их власть, настоятельно указывают на наглость и измену двух Григориев в отношении к их законному государю[29]. За этих пап вступаются только умеренные католики, принадлежащие большей частью к галликанской церкви[30], которые чтят святого, не одобряя его преступного деяния. Эти заурядные защитники короны и митры удовлетворяются тем, чтобы истина фактов была согласна с правилами справедливости, со Священным Писанием и с традицией, и ссылаются на свидетельство латинов[31] и на биографии[32] и послания самих пап.

До нас дошли два подлинных послания Григория II к императору Льву[33], и хотя их нельзя признать за безукоризненные образцы красноречия и логики, они представляют портрет или, по меньшей мере, маску основателя папской монархии. "В течение десяти безупречных и счастливых лет,— пишет Григорий императору,— мы ежегодно находили утешение в ваших императорских письмах, собственноручно вами подписанных пурпуровыми чернилами; они служили священным залогом вашей привязанности к православным верованиям наших предков. Как прискорбна происшедшая перемена! как ужасен скандал! Теперь вы обвиняете католиков в идолопоклонстве и этим обвинением обнаруживаете ваше собственное нечестие и невежество. К этому невежеству мы вынуждены приспособлять грубость нашего слога и наших аргументов; достаточно начального знакомства со священными книгами, чтобы привести вас в замешательство, а если бы вы поступили в учебное заведение и сознались в вашей вражде к нашему культу, то азбуки добродушных и благочестивых детей полетели бы в вашу голову". После такого приличного приветствия папа приступает к объяснению общепринятого отличия древних идолов от христианских икон. Первые были фантастическими изображениями призраков или демонов в такое время, когда истинный Бог еще не явил себя ни в какой видимой форме; а вторые суть подлинные изображения Христа, его матери и его святых, доказавшие множеством чудес невинность и достоинство воздаваемого им поклонения. Папа, должно быть, считал Льва человеком совершенно невежественным, так как позволял себе утверждать, что иконы были в употреблении со времен апостольских и что в их присутствии происходили совещания шести

соборов католической церкви. Он извлекает более благовидный аргумент из обладания иконами и из вошедшего в обыкновение их почитания. Григорий находит, что ввиду существующей в христианском мире гармонии нет надобности созывать вселенский собор, и откровенно сознается, что такие собрания могут быть полезны только в царствование православных монархов. Бесстыдному и бесчеловечному Льву, более виновному, чем еретики, он рекомендует спокойствие, молчание и слепое повиновение его духовным руководителям, константинопольскому и римскому. Затем первосвященник устанавливает пределы властей светской и церковной. Первой он подчиняет тело, второй — душу; меч правосудия, говорит он, находится в руках светского должностного лица; более страшное орудие отлучения от церкви вверено духовенству, а при исполнении своей божественной миссии ревностный к своему долгу сын не будет щадить своего преступного отца, и преемник св.Петра имеет законное право карать земных царей. "О тиран! Вы нападаете на нас с мирским оружием в руках; будучи безоружны и беззащитны, мы можем только умолять князя небесной рати Христа, чтобы он ниспослал на вас дьявола для уничтожения вашего тела и для спасения вашей души. Вы с безрассудным высокомерием объявляете: я отправлю в Рим мои приказания; я разобью вдребезги изображение св.Петра, и Григорий, подобно своему предшественнику Мартину, будет приведен, как ссыльный, в цепях к подножию императорского трона. Молю Бога, чтобы я мог идти по стопам святого Мартина! Но да послужит участь Константа предостережением для гонителей церкви! После того как сицилийские епископы подвергли тирана заслуженному осуждению, он погиб под тяжестью своих грехов от руки домашнего служителя, а этого святого до сих пор чтят скифские народы, среди которых он окончил в ссылке свою жизнь. Но мы обязаны жить для назидания и ободрения верующих, и мы не в таком положении, чтобы ставить нашу безопасность в зависимость от исхода сражения. Хотя вы и неспособны защищать ваших римских подданных, вы, быть может, воспользуетесь близостью города от берега моря и подвергнете его опустошению; но мы можем удалиться из него на расстояние двадцати четырех стадий[34] в первую лангобардскую крепость, и тогда вам придется гоняться за ветром. Разве вам не известно, что власть пап слу-

жит узами единения и мирной посредницей между Востоком и Западом? Взоры всех народов устремлены на наше смирение, и они чтят как земного Бога апостола св.Петра, изображение которого вы грозите уничтожить. Христа и его наместника чтят даже отдаленные и независимые западные государства, а в настоящую минуту мы готовимся посетить одного из самых могущественных монархов этих стран, изъявившего желание получить из наших рук таинство крещения[35]. Варвары подчинились владычеству евангелия, между тем как вы одни не хотите внимать голосу пастыря. Раздражение этих благочестивых варваров дошло до исступления, и они горят нетерпением отомстить за угнетения, которым подвергается церковь на Востоке. Откажитесь от вашего необдуманного и пагубного предприятия; размыслите, проникнитесь страхом и раскайтесь. Если же вы будете упорствовать в ваших намерениях, мы будем невиновны в пролитии крови, которое будет последствием этой борьбы; пусть ответственность за эту кровь падет на вашу собственную голову".

Первое нападение Льва на константинопольские иконы было совершено в присутствии прибывших из Италии и с Запада иноземцев, которые со скорбью и негодованием рассказывали своим соотечественникам о святотатстве императора. Но когда появился его декрет, воспрещавший поклонение иконам, они стали трепетать за своих домашних богов; изображения Христа и Святой Девы, ангелов, мучеников и святых были удалены из всех итальянских церквей, и римскому первосвященнику было предоставлено выбирать или императорскую милость в награду за покорность, или лишение сана и ссылку в наказание за неповиновение. Ни религиозное рвение, ни политические соображения не дозволяли ему колебаться, и высокомерный тон, с которым Григорий отвечал императору, доказывает, или то, что он был убежден в истине своей доктрины, или то, что он располагал достаточными средствами для сопротивления. Не полагаясь ни на мотивы, ни на чудеса, он отважно взялся за оружие для борьбы с общественным врагом, и своими пастырскими посланиями предупредил итальянцев и об угрожавшей опасности, и о том, чего требовал от них долг[36]. По этому сигналу Равенна, Венеция, города экзархата и Пентаполса вступились за дело религии; их военные силы, и морские и сухопутные, состояли большей частью из туземцев, которые умели воодушевить и

наемных иноземцев патриотизмом и религиозным рвением. Итальянцы клялись жить и умереть на защиту папы и святых икон; римское население было привязано к своему духовному отцу, и даже лангобарды пожелали иметь свою долю заслуг и выгод в этой священной войне. Самым изменническим делом, но вместе с тем и самым явным доказательством озлобления было уничтожение статуй самого Льва, а самой выгодной мерой со стороны мятежников было задержание итальянских податей и лишение императора той власти, которую он незадолго перед тем употребил во зло, наложив новую поголовную подать[37]. Благодаря избранию должностных лиц и наместников сохранилась прежняя форма управления, а общее негодование было так сильно, что итальянцы намеревались выбрать православного императора и отвезти его в константинопольский дворец в сопровождении флота и армии. В этом дворце римских епископов, второго и третьего Григория, осудили как виновников мятежа и пытались арестовать или лишить жизни путем обмана или силой. И начальники гвардии, и герцоги, и экзархи приезжали в Рим с тайными поручениями или пытались овладеть им; они высаживались с иноземными войсками, а иногда встречали содействие со стороны местного населения, и суеверные неаполитанцы должны краснеть от стыда, вспоминая, что их предки вступались в ту пору за ересь. Но благодаря своему мужеству и своей бдительности римляне отражали все эти тайные или явные нападения; греки терпели неудачи и платились за них своей жизнью; их вождей подвергали позорной смерти, а папы, несмотря на свою склонность к милосердию, отказывали этим преступным жертвам в своем заступничестве. В Равенне[38] уже давно происходили между жителями различных кварталов кровавые распри, вызванные наследственной ненавистью; религиозный спор доставил их взаимной вражде новую пищу, но приверженцы икон были более многочисленны, а экзарх, попытавшись сдержать этот поток, лишился жизни среди народного мятежа. Желая наказать это гнусное злодеяние и восстановить свое владычество в Италии, император отправил в Адриатическое море флот и армию. После разных неудач и задержек, причиненных ветрами и морскими волнами, греки высадились неподалеку от Равенны; они грозили опустошить преступную столицу и принять за образец или даже превзойти строгость Юстиниана II, ко-

торый наказал Равенну за одно из ее прежних восстаний тем, что отдал в руки палача пятьдесят самых знатных ее жителей. Женщины и духовенство, облекшись во власяницы и посыпав свои головы пеплом, проводили время в молитвах; мужчины взялись за оружие для защиты своей родины; все партии соединились ввиду общей опасности и предпочли риск решительного сражения продолжительным бедствиям осады. Среди жаркого боя, в то время, как обе армии попеременно то подавались назад, то устремлялись вперед, появилось видение, послышался какой-то голос, и благодаря уверенности в победе Равенна одержала верх. Иноземцы отступили к своим кораблям; но густонаселенное побережье выслало множество шлюпок против неприятеля; воды По так сильно окрасились кровью, что местные жители воздерживались в течение шести лет от употребления в пищу рыбы из этой реки, а учреждение ежегодного праздника увековечило и поклонение иконам, и ненависть к греческому тирану. Среди торжества католического оружия римский первосвященник созвал собор из девяноста трех епископов для того, чтобы осудить ересь иконоборцев. С их согласия он провозгласил общее отлучение от церкви всех тех, кто стал бы словом или делом нападать на традицию предков и на иконы святых; под этот приговор должен бы был подойти и император[39], но так как было решено обратиться к нему с последним и необещавшим успеха увещанием, то следует полагать, что в ту пору анафема лишь висела над его преступной головой. Лишь только папы обеспечили свою личную безопасность, поклонение иконам и свободу Рима и Италии, они, по-видимому, смягчили свою взыскательность и пощадили остатки византийского владычества. Своими умеренными советами они замедляли и отклоняли избрание нового императора и убеждали итальянцев не выделяться из состава Римской монархии. Экзарху было дозволено жить внутри стен Равенны скорее пленником, чем повелителем, и до той минуты, как Карл Великий был коронован императором, Рим и Италия управлялись от имени преемников Константина[40].

Подавленная оружием и искусством Августа, римская свобода воспрянула после семисотпятидесятилетнего рабства, из-под гнета Льва Исавра. Цезари уничтожили все, что было плодом консульских триумфов: во время упадка и разруше-

ния империи бог границ Термин мало-помалу возвратился назад от берегов океана, Рейна, Дуная и Евфрата, и владычество Рима ограничилось его старинной территорией, простиравшейся от Витербо до Террачины и от Нарни до устьев Тибра[41]. После изгнания царей республика стояла на твердом фундаменте, возведенном их мудростью и доблестями. Их неотъемлемая юрисдикция была разделена между двумя ежегодно избиравшимися должностными лицами; Сенат попрежнему был административным и совещательным собранием, а законодательная власть была распределена между народными собраниями соразмерно с собственностью и заслугами участвовавших в них лиц. Незнакомые с создаваемыми роскошью искусствами, древние римляне усовершенствовали искусство управления и войны: воля общества была абсолютна; права частных лиц были священны; сто тридцать тысяч граждан были готовы взяться за оружие для защиты своего отечества или для расширения его пределов путем завоеваний, и из шайки разбойников и изгнанников возникла нация, достойная свободы и жаждавшая славы[42]. Когда владычество греческих императоров прекратилось, развалины Рима представляли печальное зрелище безлюдности и упадка; его раболепие превратилось в привычку, а его свобода была случайностью, которая была следствием суеверий и для него самого была предметом и удивления, и страха. Последние следы не только конституции, но даже ее внешних форм изгладились и из житейской практики, и из памяти римлян, а у них не было ни тех знаний, ни тех добродетелей, какие были нужны для того, чтобы вновь воздвигнуть здание республики. Незначительные остатки римского населения, происходившие от рабов и от иностранцев, были презренны в глазах победоносных варваров. Всякий раз, как франки или лангобарды желали выразить самое сильное презрение к врагу, они называли его римлянином, "а под этим именем, говорит епископ Лиутпранд, мы понимаем все, что низко, подло и дышит изменой, крайние противоположности жадности и расточительности и все пороки, унижающие человеческое достоинство"[43]. Необходимость заставила жителей Рима обратиться к самым грубым формам республиканского управления; им пришлось выбирать в мирное время судей, а в военное время вождей; знать собиралась на совещания, а ее решения приводились в исполнение лишь с одобрения народ-

ной толпы. И Сенат, и народ стали употреблять старинные республиканские выражения[44]; но эти выражения уже утратили прежний смысл, а вновь приобретенную независимость позорили шумные столкновения между своеволием и угнетением. Только влияние религии могло восполнить недостаток законов, а делами и внешней политики, и внутреннего управления руководило влияние епископа. И милостыня, которую он раздавал, и его проповеди, и его переписка с западными королями и прелатами, и его недавние заслуги, и признательность, на которую он имел право, и данные ему клятвы — все приучало римлян считать его первым сановником или князем Рима. Христианское смирение пап не оскорблялось названием Dominus, или Владыка, и их изображения вместе с их именами до сих пор сохранились на самых старинных монетах[45]. Их светская власть в настоящее время упрочена тысячелетним уважением, а их самое благородное право на эту власть заключается в выборе народа, который они освободили от рабства.

Среди раздоров древних греков благословенное население Элиды наслаждалось вечным миром под покровительством Юпитера и в занятии олимпийскими играми[46]. Для римлян было бы большое счастье, если бы такая же привилегия охраняла церковную область от бедствий войны, если бы посещавшие гробницу св. Петра христиане считали своим долгом не обнажать меча в присутствии апостола и его преемника. Но такой мистический круг мог бы быть проведен только жезлом законодателя и мудреца; такая миролюбивая система была несовместима с религиозным рвением и с честолюбием пап; римляне не привыкли заниматься, подобно жителям Элиды, невинными и мирными земледельческими работами, а поселившиеся в Италии варвары хотя и утратили, под влиянием климата, прежнюю грубость нравов, однако далеко уступали греческим республикам и в государственных учреждениях, и в образе жизни. Лангобардский король Лиутпранд явил достопамятный пример покаяния и благочестия. Став во главе своей армии у ворот Ватикана, этот завоеватель внял голосу Григория II[47], удалил свои войска, возвратил свои завоевания, почтительно посетил собор св. Петра и, исполнив обряд говения, сложил с себя на гробницу апостола меч и кинжал, латы и мантию, серебряный крест и золотую корону. Но это религиозное рвение было минутным

увлечением, а может быть, и хитростью; побуждения, которые истекают из личных интересов, и сильны, и постоянны; лангобарды питали врожденную склонность к войне и к грабительству, и как для их монарха, так и для всей нации служили непреодолимым соблазном господствовавшая в Италии неурядица, беззащитное положение Рима и миролюбивые заявления его нового правителя. При появлении первых императорских Эдиктов они объявили, что будут защищать иконы; Лиутпранд вторгся в провинцию Романью, уже в ту пору усвоившую это отличительное название; жившие в экзархате католики без сопротивления подчинились его светской и военной власти, и в неприступную Равеннскую крепость был впервые впущен иноземный враг. Этот город и эта крепость были вскоре вслед за тем отняты у лангобардов деятельными венецианцами, имевшими в своем распоряжении значительные морские силы, и эти верные подданные подчинились советам самого Григория, убеждавшего их не смешивать виновность Льва с общими интересами Римской империи[48]. Греки позабыли эту услугу, а лангобарды не позабыли этого оскорбления; эти два народа, несмотря на различие религии, вступили в опасный и неестественный союз; король и экзарх предприняли завоевание Сполето и Рима; буря рассеялась без всяких последствий, но политика Лиутпранда тревожила Италию беспрестанно возобновлявшимися военными действиями и перемириями. Его преемник Айстульф объявил себя врагом и императора, и папы; Равенна была взята силой или вероломством[49], и этим окончательным завоеванием пресекся ряд экзархов, которые управляли этой страной от имени восточных императоров со времен Юстиниана и разрушения готского королевства. От Рима потребовали, чтобы он признал победоносного лангобарда своим законным государем; на каждого из его граждан наложили в качестве выкупа ежегодную подать в одну золотую монету, а над их головами висел обнаженный меч, готовый наказать их в случае неповиновения. Римляне колебались, молили о пощаде, оплакивали свою судьбу и сдерживали грозных варваров то вооруженным сопротивлением, то переговорами, пока папы не нашли союзника и мстителя на той стороне Альп[50].

При своем затруднительном положении Григорий I обратился за помощью к герою того времени Карлу Мартелу, который управлял французской монархией со скромным титу-

лом мэра или герцога и который своей решительной победой над сарацинами спас свое отечество и, быть может, Европу от ига мусульман. Карл принял папских послов с приличным уважением, но он был так занят, а его жизнь была так непродолжительна, что его вмешательство в итальянские дела ограничилось дружественным и бесплодным посредничеством. Его сын Пипин, унаследовавший и его власть, и его добродетели, принял на себя роль защитника римской церкви, а для усердия этого французского монарха, как кажется, служили стимулом любовь к славе и преданность религии. Но опасность была на берегах Тибра, помощь была на берегах Сены, а наше сочувствие к таким страдальцам, которые находятся далеко от наших глаз, обыкновенно бывает холодно. В то время как жители Рима предавались своей горести, Стефан III принял великодушное решение лично посетить дворы лангобардский и франкский и смягчить несправедливые требования врага или же возбудить в своем доброжелателе сострадание и негодование. Облегчив тревожное положение народа молебнами и проповедями, он пустился в это утомительное путешествие вместе с послами французского монарха и греческого императора. Король лангобардов был неумолим, но его угрозы не могли ни заглушить жалоб, ни замедлить поездки римского первосвященника, который перебрался через Пеннинские Альпы, остановился для отдыха в аббатстве св. Маврикия и затем поспешил опереться на правую руку своего покровителя — на ту руку, которая никогда не поднималась напрасно ни для войны, ни для дружбы. Стефан был принят как бесспорный преемник апостола на первом собрании, происходившем на Марсовом или Майском поле, понесенные им обиды были изложены перед благочестивой и воинственной нацией, и он обратно переправился через Альпы, но уже не просителем, а завоевателем во главе франкской армии, которую вел сам король. После слабого сопротивления лангобарды испросили заключения позорного для них мира; они поклялись возвратить римской церкви ее владения и впредь уважать ее святость, но лишь только Айстульф избавился от присутствия франкской армии, он позабыл о данном обещании и не позабыл лишь своего унижения. Он снова окружил Рим своими войсками, а Стефан, опасаясь утомить усердие своих заальпийских союзников, подкрепил свою жалобу и просьбу красноречивым письмом, написан-

ным от имени и от лица самого св. Петра[51]. Апостол обратился к франкскому королю, духовенству и знати, как к своим детям, и уверял их, что хотя он умер телом, он еще жив духом; что они теперь внимают и должны повиноваться голосу основателя и защитника римской церкви, что святая Дева, ангелы, святые, мученики и все небесные рати единогласно поддерживают просьбу папы и признают обязанность исполнить ее, что богатство, победа и рай будут наградой за это благочестивое предприятие и что осуждение на вечное мучение будет наказанием за их нерадение, если они допустят, чтобы его гробница, его храм и его народ подпали под власть вероломных лангобардов. Вторую экспедицию Пипин совершил так же быстро и так же успешно, как первую: св. Петр был удовлетворен, Рим снова спасен, а Айстульф научился уважать справедливость и искренность под бичом иноземного повелителя. После этого двоекратного наказания лангобарды томились в течение почти двадцати лет в бессилии и в упадке. Однако они еще не смирились духом так, как этого требовало их положение, и вместо того, чтобы усвоить приличные для побежденных мирные добродетели, беспрестанно тревожили римлян своими притязаниями, отговорками и нашествиями, которые они предпринимали необдуманно и оканчивали без славы. Их издыхавшую монархию теснили с одной стороны религиозное рвение и благоразумие папы Адриана I, а с другой гений, фортуна и могущество Пипинова сына, Карла Великого; эти герои церкви и государства были связаны между собой формальным союзом и личной дружбой, а в то время, как они попирали ногами побежденных, они прикрывали свои действия самой благовидной маской справедливости и умеренности[52]. Альпийские проходы и стены Павии были единственным оплотом лангобардов; первые были захвачены сыном Пипина врасплох, а вторые были со всех сторон окружены, и после двухлетней блокады последний из монархов лангобардского происхождения передал победителю свой скипетр и свою столицу. Под владычеством иноземного короля лангобарды сохранили свои национальные законы и сделались скорее братьями, чем подданными франков, которые были одного с ними германского происхождения и по крови, и по нравам, и по языку[53].

Взаимные одолжения пап и Каролингов составляют важное звено, связующее древнюю историю с новой и светскую с

церковной. Защитников римской церкви влекли к завоеванию Италии и благоприятный случай, и благовидное право, и желания населения, и мольбы и интриги духовенства. А самые драгоценные дары, полученные династией Каролингов от пап, заключались в звании короля Франции[54] и римского патриция. 1. Под церковной монархией св. Петра народы снова стали привыкать к мысли, что им следует искать на берегах Тибра и королей, и законы, и оракулов своей будущности. Франков смущало то, что ими управлял не тот, кто носил титул их правителя. Вся сущность королевской власти находилась в руках майордома Пипина, и его честолюбию ничего не доставало, кроме королевского титула. Его враги были подавлены его мужеством; его друзья размножились от его щедрости, его отец был спасителем христианства, а основанные на его личных заслугах притязания были облагорожены преемственным владычеством четырех поколений. Титул и призрак королевской власти еще сохранялись за последним потомком Хлодвига, слабым Хильдериком, но его устарелое право было годно лишь на то, чтобы служить орудием для мятежа; нация желала восстановить безыскусственность в государственном устройстве, а Пипин, который был и подданным, и высокородным, желал упрочить свой ранг и обеспечить судьбу своего рода. Майордома и знать привязывало к призраку королевского достоинства клятвенное обещание верности; потомство Хлодвига было в их глазах чисто и свято, и они отправили к римскому первосвященнику от общего имени послов с просьбой рассеять их сомнения или снять с них данное обещание. Интересы преемника двух Григориев, папы Захария, побуждали его решить это дело в пользу просителей, и он объявил, что народ имеет право соединить в одном и том же лице королевский титул и королевскую власть, что несчастный Хильдерик должен быть принесен в жертву общественной безопасности и что его следует низложить, обрить и заключить на остальное время его жизни в монастырь. Франки приняли удовлетворявший их желания ответ за мнение казуиста, за приговор судьи или за пророчание пророка: род Меровингов исчез с лица земли, и Пипин был поднят на щите по воле свободного народа, привыкшего исполнять его законы и сражаться под его знаменем. Его коронование было совершено, с папского одобрения, дважды: в первый раз верным слугой пап, апостолом Герма-

нии св. Бонифацием, а во второй раз признательными руками Стефана III, возложившего на голову своего добродетеля диадему в монастыре Сен-Дени. Помазание царей Израильских было ловко приспособлено к этому коронованию[55]; преемник св. Петра присвоил себе характер божеского посланника, германский вождь превратился в помазанника Божия, и этот иудейский обряд распространился и до сих пор сохранился благодаря суеверию и тщеславию новейшей Европы. Франков освободили от их старой клятвы, но им и их потомству пригрозили страшной анафемой в случае, если бы они вздумали еще раз прибегнуть к свободному избранию короля или если бы они избрали короля не из святого и достохвального рода Каролингов. Эти короли стали наслаждаться своим величием, не заботясь об опасностях, которые могли угрожать им в будущем; секретарь Карла Великого утверждал, что франкский скипетр был передан в другие руки властью пап[56], а папы со своей стороны стали ссылаться при самых смелых предприятиях на этот знаменитый и успешный акт своей светской юрисдикции.

II. Вследствие изменений, происшедших и в нравах, и в языке, римские патриции[57] были далеки от того, чем был Сенат Ромула, а лица, служившие при дворе Константина, не имели никакого сходства ни с самостоятельными республиканскими сановниками, ни с теми патрициями, которые считались фиктивными родителями императора. Когда полководцы Юстиниана снова присоединили к империи Италию и Африку, важность и опасное положение этих отдаленных провинций потребовали личного присутствия верховного правителя; его называли безразлично то экзархом, то патрицием, а юрисдикция этих равеннских наместников, занимавших особое место в хронологии монархов, простиралась и на город Рим. После восстания Италии и утраты экзархата бедственное положение римлян принудило их пожертвовать некоторой долей из независимости. Но даже в этом случае они воспользовались своим правом располагать своей собственной судьбой, и декреты Сената и народа возложили почетное звание римского патриция сначала на Карла Мартелла, а потом и на его потомков. Вожди могущественной нации могли бы пренебречь раболепным титулом и второстепенной должностью, но владычество греческих императоров прервалось, и между тем как императорский престол оставался вакант-

ным, папа и республика возложили на этих вождей еще более блестящую миссию. Римские послы поднесли этим патрициям, как залог и символ верховенства, ключи от раки св. Петра и священное знамя с правом и обязанностью развертывать его на защиту церкви и города[58]. Во времена Карла Мартелла и Пипина Лангобардское королевство, отделяя Рим от франкской монархии, угрожало его безопасности, но вместе с тем охраняло его свободу, и слово "патриций" обозначало лишь титул, заслуги и доброжелательство этих отдаленных покровителей. Могущество и политика Карла Великого уничтожили врага римлян, но дали им повелителя. В свое первое посещение столицы он был принят со всеми почестями, какие прежде воздавались представителю императора экзарху, а радость и признательность папы Адриана I[59] прибавили к этим почестям некоторые новые украшения. Лишь только папа узнал о неожиданном прибытии монарха, он отправил к нему навстречу, почти за тридцать миль от столицы,римских должностных лиц и представителей городской знати со священным знаменем. На расстоянии одной мили от города вдоль Фламиниевой дороги выстроились в линию так называемые *школы*, или национальные общины греков, лангобардов, саксов и пр.; римская молодежь облеклась в военные доспехи, а дети более нежного возраста, с пальмовыми и масличными ветвями в руках, пели похвальные гимны в честь своего могущественного избавителя. При виде святых крестов и хоругвей Карл Великий сошел с коня, прошел до Ватикана пешком во главе своей знати и, подымаясь по лестнице, благочестиво целовал каждую из ступенек, которые вели к входу в святилище. Под портиком Адриан ожидал его во главе своего духовенства; они обнялись как друзья и как равные, а в то время, как они направлялись к алтарю, король или патриций шел по правой стороне от папы. Но франк не удовольствовался этими внешними и пустыми изъявлениями уважения. В течение двадцати шести лет, протекших от завоевания им Ломбардии до его коронования императором, освобожденный его мечом Рим находился под его скипетром как часть его собственных владений. Жители присягали на верность ему и его семейству; от его имени чеканилась монета и отправлялось правосудие, и избрание пап проверялось и утверждалось его властью. За исключением самостоятельного и самобытного права на верхо-

венство, императорский титул не мог дать римскому патрицию никаких новых прерогатив[60].

Признательность Каролингов была соразмерна с этими одолжениями, и с их именем навсегда связано название спасителей и благодетелей римской церкви. Старинное достояние этой церкви, заключавшееся в имениях и домах, превратилось благодаря их щедрости в светское владычество над городами и провинциями, и уступка экзархата была первым плодом побед Пипина[61]. Айстульф со вздохом уступил свою добычу. Ключи и заложники главных городов были переданы франкскому послу, который сложил их, от имени своего повелителя, у гробницы св. Петра. Экзархат[62], в самом широком смысле этого слова, обнимал все итальянские провинции, подчинявшиеся императору и его наместнику, но в строгом смысле слова он обнимал территории Равенны, Болоньи и Феррары; его неразделенной принадлежностью была Пентаполия, простиравшаяся вдоль Адриатики от Римини до Анконы и проникавшая внутрь страны до хребта Апеннинов. По поводу этой уступки папу строго осуждали за честолюбие и корыстолюбие. Из христианского смирения ему, быть может, следовало бы отказаться от земного царства, которым он едва ли мог бы управлять, не отказываясь от присущих его званию добродетелей. Верный подданный или даже великодушный враг, быть может, обнаружил бы менее нетерпения получить свою долю из отнятой у варваров добычи, и если бы император поручил Стефану потребовать от его имени возвращения экзархата, я не стал бы защищать папу от обвинения в измене и вероломстве. Но по строгому смыслу законов всякий может, без нарушения своего долга, принять то, что его благодетель дает ему без нарушения справедливости. Греческий император уступил или утратил свое право на экзархат, а меч Айстульфа был сломлен более сильным мечом Каролингов. Не из-за иконоборцев Пипин предпринимал две заальпийских экспедиции, подвергая опасности и самого себя, и свою армию завоеванные им страны составляли его собственность, и он имел полное право их отчуждать, а на докучливые протесты греков он благочестиво возражал, что никакие человеческие соображения не заставят его отобрать то, что он подарил римскому первосвященнику за отпущение своих грехов и для спасения своей души. Этот великолепный подарок был предоставлен папе с правами верховно-

го и абсолютного владычества, и мир впервые увидел христианского епископа, облеченного прерогативами светского монарха — правом назначать должностных лиц, отправлять правосудие, налагать подати и пользоваться богатствами равеннского дворца. Во время распада Лангобардского королевства жители герцогства Сполетского[63], желая найти убежище от бури, стали стричь на голове волосы по римской моде, признали себя служителями и подданными св. Петра и этим добровольным подчинением округлили церковные владения до того объема, который они имеют в настоящее время. Этот таинственный объем был расширен до неопределенных размеров словесным или письменным даром Карла Великого[64], который в первую минуту упоения победой лишил и самого себя, и греческого императора тех городов и островов, которые некогда входили в состав экзархата. Но когда он после удаления из Италии более спокойно размыслил о том, что сделал, он стал смотреть с недоверием и с завистью на усиливавшееся могущество своего церковного союзника. Исполнение и его собственных обещаний, и тех, которые были даны его отцом, было почтительно отклонено: король франков и лангобардов вступился за неотчуждаемые права империи и как при его жизни, так и перед его смертью, и Равенна[65], и Рим стояли в списке его столичных городов. Владычество над экзархатом улетучилось из рук пап; они нашли в равеннских архиепископах опасных внутренних соперников[66]; дворянство и простой народ не хотели подчиниться игу священника, и среди неурядицы того времени папы могли лишь сохранять в своей памяти старинное притязание, которое они снова предъявили и осуществили в более благоприятную эпоху.

Подлог служит пособием для слабости и лукавства, и могущественные, но невежественные варвары нередко запутывались в сетях церковной политики. Ватикан и Латеран были арсеналом и мастерской, где, смотря по надобности, фабриковались или скрывались разнообразные коллекции подложных или неподдельных, искаженных или подозрительных документов, клонившихся к поддержанию интересов римской церкви. В конце восьмого столетия какой-то апостолический книжник, а может быть, и знаменитый Исидор, составил декреталии и дарственный акт Константина, — эти два магических столба, поддерживавших духовное и светское владычество пап. Об этом достопамятном даре мир впервые

узнал из послания, в котором Адриан I убеждал Карла Великого подражать щедрости и воскресить имя великого Константина[67]. Легенда гласит, что римский епископ св. Сильвестр исцелил первого христианского императора от проказы и омыл его водою крещения, и никогда ни один врач не получал более великолепной награды. Его царственный новокрещенец будто бы покинул резиденцию и владения св. Петра, объявив о своем намерении основать на Востоке новую столицу и уступив папам в полное и вечное владение Рим, Италию и западные провинции[68]. Этот вымысел вел к самым выгодным для пап выводам. Греческие монархи оказывались узурпаторами, а восстание Григория превращалось в предъявление прав на наследство, законно ему принадлежавшее. Папы слагали с себя долг признательности, а то, что называлось пожалованием Каролингов, оказывалось не более как справедливым и обязательным возвращением небольшой части церковных владений. Верховенство Рима впредь не могло зависеть от прихотливого народного выбора, и преемники св. Петра и Константина усвоили верховную власть и прерогативы Цезарей. Так велики были невежество и легковерие того времени, что этот нелепейший из вымыслов был принят с одинаковым уважением и в Греции, и во Франции и до сих пор входит в число постановлений канонического права[69]. Ни императоры, ни римляне не были способны обнаружить подлог, уничтожавший права первых и свободу последних, и единственное сопротивление исходило от одного Сабинского монастыря, оспаривавшего в начале двенадцатого столетия подлинность и законную силу будто бы сделанного Константином дара[70]. При возрождении знаний и свободы подложность этого документа была доказана пером красноречивого критика и римского патриота Лоренцо Валлы[71]. Его современники были удивлены его отвагой, отзывавшейся святотатством, но таково безмолвное и непреодолимое влияние рассудка, что прежде, чем вымерло следующее поколение, эта басня была отвергнута презрением историков[72] и поэтов[73] и безмолвным или сдержанным порицанием со стороны защитников римской церкви[74]. Даже папы снисходительно насмехались над народным легковерием[75]; но вымышленное и устарелое право до сих пор придает их владычеству некоторую святость и благодаря той же фортуне, которая была так благосклонна к Декреталиям и к Сивиллиным оракулам,

здание не рухнуло даже после того, как был разрушен его фундамент.

Между тем как папы упрочивали в Италии свою независимость и свое владычество, почитание икон, бывшее первой причиной восстания, было восстановлено в Восточной империи[76]. В царствование Константина V совокупные усилия властей светской и церковной сломили древо суеверий, но не вырвали его корня. Тот разряд людей и тот пол, которые всех более склонны к благочестию, питали тайную привязанность к идолам (так называли в ту пору иконы), и сердечный союз монахов и женщин одержал решительную победу над рассудком и авторитетом мужчины. Лев IV поддерживал, хотя и с меньшей энергией, религию своего отца и своего деда; но его жена, красивая и честолюбивая Ирина, впитала в себя фанатизм афинян, унаследовавших от своих предков не столько их философию, сколько их идолопоклонство. При жизни ее супруга эти влечения разжигались от опасности и от необходимости их скрывать, и ее предприимчивость ограничивалась тем, что она оказывала покровительство нескольким любимым монахам, которых заставляла покидать их пещеры и возводила в звание восточных митрополитов. Но лишь только она стала властвовать от своего собственного имени и от имени своего сына, она более серьезно занялась уничтожением иконоборцев, и первым шагом к тем гонениям, которые она впоследствии воздвигла, был всеобщий Эдикт о свободе совести. При возвращении монахам их прежнего влияния тысячи икон были выставлены на публичное поклонение и были выдуманы тысячи легенд о страданиях и чудесах этих святых. Когда епископские должности оказывались вакантными вследствие смерти или увольнения, она замещала их людьми одних с ней верований; самые нетерпеливые соискатели земных или небесных благ подделывались под мнения своей государыни и льстили ей, а назначение ее секретаря Тарасия Константинопольским патриархом подчинило Ирине всю восточную церковь. Но постановления вселенского собора могли быть отменены только постановлениями такого же собрания[77]; созванные ею иконоборцы крепко держались за то, что было ими приобретено, и не желали вступать в прения, а слабый голос их епископов находил отголосок в более грозных протестах константинопольских солдат и жителей. Эти препятствия были устране-

ны продолжавшимися целый год отсрочками и интригами, привлечением на свою сторону недовольных войск и выбором Никеи для заседаний православного собора,— и совесть епископов снова очутилась, по обыкновению греков, в руках монарха. На совершение этого важного дела было назначено только восемнадцать дней; иконоборцы явились не как судьи, а как преступники или кающиеся, сцена действия была украшена присутствием легатов от папы Адриана и восточных патриархов[78]; декреты были составлены президентом Тарасием и утверждены одобрительными возгласами и подписями трехсотпятидесяти епископов. Они единогласно решили, что почитание икон согласно со Священным Писанием и с рассудком, с мнениями отцов церкви и с постановлениями соборов, но они затруднились в разрешении вопроса, должно ли это почитание быть относительным или непосредственным, то есть следует ли одинаковым образом поклоняться и божественности Христа, и его изображениям. Дошедшие до нас акты этого второго Никейского собора представляют интересный памятник суеверия и невежества, лжи и безрассудства. Я приведу только мнение епископов о сравнительном достоинстве иконопочитания и правил нравственности. Один монах заключил перемирие с демоном любодеяния на том условии, что прекратит молитвы, с которыми ежедневно обращался к висевшей в его келье иконе. Угрызения совести побудили его обратиться за советом к игумену. "Лучше входить в каждый непотребный дом и посещать всех городских проституток,— отвечал казуист,— чем отказаться от поклонения Христу и его матери в их священных изображениях"[79].

Для чести православия, по меньшей мере того православия, которое было господствующим в римской церкви, не совсем благоприятно то обстоятельство, что два монаха, по распоряжению которых были созваны два Никейских собора, оба запятнали себя кровью своих сыновей. Постановления второго из этих соборов были одобрены и строго приводились в исполнение Ириной, отказывавшей своим противникам в той терпимости, которую она вначале даровала своим друзьям. В течение пяти следующих царствований, обнимающих тридцативосьмилетний период времени, борьба между почитателями и гонителями икон продолжалась с неослабной яростью и с изменчивым успехом; но я не намерен подробно

излагать все одни и те же факты. Никифор допустил в этом отношении общую свободу и на словах, и на деле, и на эту единственную заслугу его царствования монахи указывали как на причину его гибели в этом мире и в будущей жизни. Суеверие и малодушие были отличительными чертами в характере Михаила I; но святые и иконы не были способны поддержать своего поклонника на престоле. Когда Лев V достиг верховной власти с прозванием Армянина и с преданностью к армянской религии, идолы вместе со своими мятежными поклонниками подверглись вторичному гонению. Эти поклонники признали бы святым делом умерщвление нечестивого тирана, но убийца и преемник Льва, Михаил II, был от самого рождения привязан к еретическим мнениям фригийцев; он попытался взять на себя роль посредника между двумя соперничавшими партиями, а непреклонность католиков заставила его мало-помалу склониться на противоположную сторону. Его умеренность охранялась его робостью, но его сын Феофил, не знавший ни страха, ни сострадания, был последним и самым жестокосердным из иконоборцев. Настроение умов было в ту пору крайне неблагоприятно для них, и те императоры, которые пытались сдерживать этот поток, навлекали на себя общую ненависть. После смерти Феофила окончательная победа икон была еще раз довершена женщиной — его вдовой Феодорой, которой он предоставил опекунскую власть над империей. Принятые ею меры были и смелы, и решительны. Вымысел о предсмертном раскаянии очистил и репутацию, и душу ее умершего супруга; осуждение иконоборческого патриарха на лишение зрения было заменено двумястами ударами плети; епископами овладел страх, монахи выражали свою радость, и католическая церковь установила ежегодный праздник в память торжества икон. Оставался нерешенным только один вопрос, действительно ли иконы одарены присущей им неотъемлемой святостью; его обсуждали греки одиннадцатого столетия[80], а так как для святости этого рода служила чрезвычайно веской рекомендацией ее нелепость, то я удивляюсь, что она не была признана более положительным образом. На Западе папа Адриан I принял и обнародовал постановления Никейского собрания епископов, которое католики чтят в наше время за Седьмой вселенский собор. Рим и Италия вняли голосу своего пастыря, но большая часть латинских христиан осталась

позади при этой погоне за суевериями. Церкви франкская, германская, английская и испанская избрали середину между почитанием икон и их уничтожением и допускали иконы в свои храмы не как предметы поклонения, а как полезные напоминания о событиях из церковной истории. От имени Карла Великого была написана раздражительным тоном книга полемического содержания[81]; во Франкфурте был созван по его распоряжению собор из трехсот епископов[82]; эти епископы осудили ярость иконоборцев, но подвергли еще более строгому порицанию суеверие греков и постановления их мнимого собора, которым долго не хотели подчиняться западные варвары[83]. Между этими последними почитание икон распространялось тихо и едва заметно; но нерешительность и медленность, с которыми они усвоили это почитание, были с избытком загладжены грубым идолопоклонством тех веков, которые предшествовали Реформации, и тех стран и Европы, и Америки, которые до сих пор погружены во мрак суеверий.

После закрытия второго Никейского собора и во время управления благочестивой Ирины папы довершили отделение Рима и Италии от Восточной империи и передали императорскую власть менее православному Карлу Великому. Им приходилось делать выбор между двумя соперничавшими нациями, религия не была единственным мотивом их предпочтения, и между тем как они прикрывали недостатки своих друзей, они относились с несочувствием и с недоверием к католическим добродетелям своих врагов. Различие языка и нравов поддерживало вражду между двумя столицами, и после семидесятилетнего соперничества они сделались совершенно чуждыми одна другой. В этот промежуток времени римляне вкусили свободы, а папы верховного владычества; их покорность подвергла бы их мщению недоверчивого тирана, а совершившийся в Италии переворот обнаружил как тиранию, так и бессилие византийского двора. Греческие императоры восстановили поклонение иконам, но они возвратили ни поместьев в Калабрии[84], ни иллирийской епархии[85], отнятых иконоборцами у преемников св. Петра, и папа Адриан грозил им отлучением от церкви, если они немедленно не отрекутся от этой фактической ереси[86]. Греки были в ту пору православны, но их религия могла утратить свою чистоту от одного слова царствующего монарха. Франки были в ту пору

несговорчивы, но прозорливый глаз мог подметить, что они скоро перейдут от употребления икон к их почитанию. Имя Карла Великого было запятнано полемической желчью, которую разливали преданные ему писатели, но сам завоеватель отличался сдержанностью государственного человека и применялся к разнообразным обычаям Франции и Италии. Во время своих четырех пилигримств или посещений Ватикана он, по-видимому, был связан с папами узами дружбы и благочестия он преклонил колена перед гробницей апостола и, стало быть, перед его изображением и без колебаний присутствовал при молитвах и процессиях римского богослужения. Разве предусмотрительность или признательность дозволяла первосвященникам отказаться от их благодетеля? Разве они имели право возвратить пожалованный им экзархат? Разве они были в состоянии уничтожить его власть над Римом? Титул патриция не соответствовал ни заслугам, ни могуществу Карла Великого, и только восстановлением Западной империи могли они отплатить за оказанные им одолжения и обеспечить свое собственное положение. Эта решительная мера окончательно упразднила бы притязания греков, Рим вышел бы из унизительного положения провинциального города и восстановил бы свое прежнее величие христиан латинской церкви соединила бы в их старинной метрополии одна верховная власть, а завоеватели Запада получили бы свою корону от преемников св. Петра. Римская церковь приобрела бы ревностного и сильного покровителя, и под сенью каролингского могущества римский епископ мог бы властвовать над своим городом с честью и в безопасности[87].

Еще до окончательного уничтожения в Риме язычества соперничество из-за богатого римского епископства часто вызывало мятежи и кровопролитие. В ту эпоху, о которой идет речь, население было малочисленнее прежнего, но нравы были более грубы, цель была более заманчива, и престол св. Петра сделался предметом яростной борьбы между влиятельными духовными особами, желавшими достигнуть одного ранга с монархами. Адриан I[88] царствовал долее всех своих предшественников и преемников[89]; трофеями его славного управления были: сооружение римских стен, приобретение церковной области, гибель лангобардов и дружба Карла Великого; он втайне воздвигал трон для своих преемников и в

узкой сфере своей деятельности выказал дарования великого правителя. К его памяти все относились с уважением, но когда пришлось выбирать нового папу, бывший в Латеране священником Лев III был предпочтен племяннику и любимцу Адриана, которого этот последний возвел в самые высокие церковные должности. Приверженцы этого племянника в течение четырех с лишком лет скрывали самые гнусные замыслы под маской покорности или раскаяния; наконец, во время одной торжественной процессии кучка заговорщиков разогнала безоружную толпу и нанесла священной особе папы удары и раны. Но их попытка лишить его жизни или свободы не удалась, быть может, вследствие их собственного замешательства или раскаяния. Льва оставили на месте побоища, считая его мертвым, но когда он очнулся от обморока, который был последствием потери крови, к нему вернулись и дар слова, и зрение, а по поводу этого естественного факта было выдумано, что чудо возвратило ему глаза и язык, которые были дважды отняты у него ножом убийц[90]. Он бежал из своей тюрьмы и укрылся в Ватикане герцог Сполетский поспешил к нему на помощь, Карл Великий был в негодовании от нанесенного ему оскорбления, и римский первосвященник посетил его в Падерборнском лагере в Вестфалии или по его приглашению, или по собственному желанию. Лев обратно переехал через Альпы в сопровождении графов и епископов, которые должны были охранять его особу и разрешить вопрос, был ли он действительно виновен, а победитель саксов неохотно отложил до следующего года личное исполнение этой благочестивой обязанности. При своем четвертом, и последнем, посещении Рима он был принят с теми почестями, на которые имел право как король и как патриций; Лев получил позволение очистить себя клятвой от преступлений, в которых его обвиняли его враги были принуждены умолкнуть, а за святотатственное покушение на его жизнь было назначено мягкое и неудовлетворительное наказание ссылкой. Во время празднования Рождества Христова в последнем году восьмого столетия Карл Великий появился в соборе св. Петра и, желая польстить тщеславию римлян, заменил простую одежду своих соотечественников одеянием патриция[91]. После совершения Святых таинств Лев внезапно возложил на его голову драгоценную корону[92], а церковь огласилась возгласами народа: "Долгая жизнь и победа Богом

венчанному благочестивейшему Августу Карлу, могущественному и миролюбивому императору римлян!" Его голова и тело были помазаны священным елеем по примеру Цезарей он принял от первосвященника поздравление или поклонение; принесенная им при короновании клятва заключала в себе обещание охранять веру и привилегии церкви, а первым плодом этих обещаний были богатые приношения раке апостола. В интимных беседах император утверждал, что он ничего не знал о намерениях Льва и что он разрушил бы эти замыслы своим отсутствием в тот достопамятный день. Но приготовления к этой церемонии должны были разоблачить тайну, а поездка Карла Великого доказывает, что ему было известно и приятно то, что готовилось; он сам сознавался, что императорский титул был предметом его честолюбия, а на одном из римских соборов было постановлено, что это была единственная награда, соразмерная с его достоинствами и заслугами[93].

Название Великого давалось нередко, а иногда и по заслугам, но Карл Великий был единственный монарх, в пользу которого этот титул был неразрывно соединен в одно целое вместе с его именем. Это имя занесено в календарь с прибавлением названия святой, а этого святого благодаря редкому счастью осыпали похвалами и историки, и философы в веке Просвещения[94]. Варварство нации и эпохи, среди которого он прославился, без сомнения, придает много блеска его действительным достоинствам, но размеры всякого предмета увеличиваются в наших глазах от сравнения с ничтожеством того, что их окружает, и развалинам Пальмиры придает немало величия окружающая их голая степь. Не желая умалять славу восстановителя Западной империи, я замечаю некоторые пятна на его святости и на его величии. Целомудрие не было самым выдающимся из его нравственных достоинств[95]; но общему благоденствию не могли причинять существенного вреда ни его девять жен или наложниц, ни более низкие и менее прочные сердечные привязанности, ни его многочисленные незаконные дети, которых он определял в духовное звание, ни продолжительное безбрачие и нравственная распущенность его дочерей[96], внушавших, как подозревают, своему отцу слишком пылкую любовь. Мне едва ли позволят обвинять завоевателя в честолюбии, но когда настанет день расплаты за прошлое и сыновья его брата Карло-

мана, и жившие в Аквитании Меровингские потомки, и четыре тысячи пятьсот саксов, обезглавленных на одном месте, вероятно, что-нибудь возразят против справедливости и человеколюбия Карла Великого. Его обхождение с побежденными саксами[97] было употреблением во зло прав победителя; его законы были также кровожадны, как было кровожадно его оружие, а при обсуждении его мотивов все, что не может быть поставлено на счет его ханжества, должно быть приписано его нраву.

Привыкшего к сидячей жизни читателя удивит его непрерывная умственная и физическая деятельность; его подданных и его врагов также удивляло его внезапное появление в такую минуту, когда они были уверены, что он находится на одной из самых отдаленных окраин империи; он не знал покоя ни в мирное, ни в военное время, ни летом, ни зимой, и нашему воображению нелегко согласовать летописи его царствования с географическими подробностями его экспедиций. Но эта деятельность была не столько личной, сколько национальной добродетелью; франк проводил свою скитальческую жизнь на охоте, в странствованиях для богомолья и в военных предприятиях, а путешествия Карла Великого отличались только многочисленностью свиты и более важными целями. Чтобы взвесить, насколько была заслуженна его репутация полководца, следует рассмотреть, каковы были его войска, его враги и его собственные военные подвиги. Александр одерживал победы во главе войск Филиппа, но бывшие предшественниками Карла Великого два героя оставили ему в наследство свою славу, свой пример и участников своих побед. Во главе испытанных в бою и многочисленных армий он одерживал верх над варварскими или выродившимися народами, не умевшими сосредоточивать свои силы ввиду общей всем им опасности, и ему никогда не приходилось иметь дела с такой неприятельской армией, которая могла бы равняться с его собственной многочисленностью, дисциплиной или вооружением. Знание военного дела было утрачено и воскресло вместе с распространением искусств мирной жизни; но походы Карла Великого не отмечены ни одной осадой или битвой, требовавшей преодоления больших трудностей и сопровождавшейся блестящим успехом, и он должен был с завистью смотреть на победы, одержанные его дедом над сарацинами. Когда он возвращался из испанской экспедиции, его арьер-

гард был разбит в Пиренейских горах, и солдаты, положение которых было безвыходно, а мужество бесполезно, могли при своем последнем издыхании обвинять своего вождя в недостатке искусства и предусмотрительности[98]. Не иначе как с уважением могу я упомянуть о законах Карла Великого, которые были предметом стольких похвал со стороны одного почтенного знатока. Они представляют не цельную систему, а ряд случайных и мелочных Эдиктов относительно уничтожения злоупотреблений, исправления нравов, хозяйственного управления его поместьями, ухода за его домашней птицей и даже продажи яиц. Он желал улучшить законы и нравы франков, и как бы ни были слабы и неудовлетворительны попытки, которые он делал с этой целью, они все-таки достойны похвалы; его управление прекращало или смягчало застарелые недуги того времени[99]; но в его постановлениях я редко нахожу всеобъемлющий взгляд и бессмертный дух такого законодателя, который переживает самого себя для блага потомства. Единство и прочность его империи зависели от жизни его одного; он последовал опасному обыкновению разделять владения между сыновьями, и несмотря на то, что он много раз созывал съезды знати, оставленные им учреждения порождали то неурядицу анархии, то неурядицу деспотизма. Его уважение к благочестию и учености духовенства побудило его вверить этому честолюбивому сословию светскую власть и гражданскую юрисдикцию, а когда епископы свергли с престола его сына Людовика, этот последний мог, не без некоторого основания, приписывать свое несчастье неблагоразумию своего отца. Он издал законы о строгом взыскании десятинной подати вследствие сделанного демонами в воздушном пространстве заявления, что неуплата этой подати была причиной последнего неурожая[100]. О заслугах Карла Великого по части просвещения свидетельствуют: основание школ, введение искусств, изданные от его имени сочинения и его интимные сношения с теми подданными и иностранцами, которых он приглашал к своему двору для просвещения и самого монарха, и его народа. Свои собственные знания он приобрел и поздно, и с большим трудом, и они были очень поверхностны; если он говорил по-латыни и понимал греческий язык, то он извлек эти зачатки знаний скорее из разговоров, чем из книг и, уже бывши в зрелых летах, он старался освоиться с искусством письма, которому в наше время учит-

ся с детства каждый крестьянин[101]. Грамматика и логика, музыка и астрономия изучались в ту пору только для того, чтобы служить подспорьем для суеверий, но любознательность человеческого ума ведет в конце концов к его просвещению, и поощрения, которые оказывал Карл Великий ученым, придают его имени самый безупречный и самый привлекательный блеск[102]. И его величественная наружность[103], и продолжительность его царствования, и его успешные военные предприятия, и энергия его управления, и уважение, которое питали к нему отдаленные народы,— все это выделяет его из среды монархов, а Европа ведет начало новой эры с восстановления Западной империи.

Эта империя не была недостойна своего названия[104], и некоторые из самых лучших европейских государств находились или в качестве наследственных владений, или в качестве завоеваний под властью монарха, царствовавшего в одно и то же время и над Францией, и над Испанией, и над Италией, и над Германией, и над Венгрией[105]. I. Из принадлежавшей Риму галльской провинции образовалась франкская монархия, но в эпоху упадка Меровингской династии пределы этой монархии сузились вследствие независимости бретонцев и восстания Аквитании. Карл Великий преследовал бретонцев до берегов океана, и это свирепое племя, так мало походившее на франков происхождением и языком, было наказано тем, что его обязали уплачивать дань, выдать заложников и не нарушать мира[106]. После продолжительной и нерешительной борьбы герцоги Аквитанские поплатились за свое восстание потерей своих владений, своей свободы и жизни. Такое наказание честолюбивых правителей, слишком верно подражавших примеру дворцовых майордомов, по-видимому, было слишком строго и сурово. Но незадолго перед тем было сделано открытие[107], что эти несчастные вожди были последними потомками Хлодвига и законными наследниками его верховных прав, так как они принадлежали к младшей ветви Меровингского дома, происходившей от Дагобертова брата. От их старинных владений остались только герцогство Гасконское и лежавшие у подножия Пиренеев графства Фезензакское и Арманьякское; их род не прекращался до начала шестнадцатого столетия, и после того, как они пережили своих Каролингских тиранов, им пришлось испытывать на себе то несправедливости, то милостивое расположе-

ние третьей династии. С присоединением Аквитании Франция расширилась до своих теперешних прирейнских пределов с включением того, что она приобрела в Нидерландах и в Испании. II. Сарацины были изгнаны из Франции дедом и отцом Карла Великого, но они еще владели большей частью Испании от Гибралтарского утеса до Пиренеев. Во время их междоусобиц владевший Сарагоссой арабский эмир явился на Падерборнский съезд, чтобы молить императора о помощи. Карл Великий предпринял поход в Испанию, возвратил эмиру утраченную власть и, не делая никакого различия между последователями той или другой религии, беспристрастно наказал сопротивление христиан и наградил покорность и заслуги мусульман. По возвращении из экспедиции он организовал Испанскую марку[108], простиравшуюся от Пиренеев до реки Эбро; Барселона была резиденцией франкского наместника, он управлял графствами Руссильоном и Каталонией, и его юрисдикции были подчинены маленькие королевства Наваррское и Арагонское. III. В качестве короля лангобардов и римского патриция Карл Великий властвовал над большей частью Италии[109] от Альп до границ Калабрии, на протяжении тысячи миль. Герцогство Беневентское, находившееся в вассальной зависимости от лангобардов, расширилось в ущерб грекам до размеров теперешнего Неаполитанского королевства. Но царствовавший в ту пору герцог Арехис не захотел подчиняться рабской зависимости, в которой находилась его родина, присвоил себе титул независимого монарха и восстал с оружием в руках против владычества Каролингов. Он защищался с твердостью, покорился без позора, и император удовольствовался легкой данью, разрушением крепостей и тем, чтобы на местной монете его имя свидетельствовало о его верховенстве. Коварная лесть Арехисова сына Гримоальда прибавила к этому отличию название отца, тем не менее Гримоальд с благоразумием отстаивал свое достоинство, и Беневент мало-помалу сбросил с себя франкское иго[110]. IV. Карл Великий был первый монарх, соединивший Германию под одним скипетром. Название Восточной Франции сохранилось в названии округа Франконии, а население Гессена и Тюрингии недавно соединилось с победителями благодаря единству религии и управления. Алеманны, когда-то бывшие грозными врагами римлян, были верными вассалами и союзниками франков, а их страна об-

нимала теперешнюю территорию Эльзаса, Швабии и Швейцарии. Баварцы, также пользовавшиеся правом сохранять свои законы и нравы, не так охотно подчинялись воле повелителя; неоднократная измена их герцога Тазилло послужила поводом для упразднения их наследственных правителей, а власть этих правителей была разделена между графами, отправлявшими правосудие и охранявшими эту важную границу. Но север Германии от берегов Рейна до стран, лежащих по ту сторону Эльбы, еще был населен врагами и язычниками, и только после тридцатитрехлетней войны саксы преклонились под иго Христа и Карла Великого. Идолы и их поклонники были подвергнуты истреблению, учреждение восьми епархий в Мюнстере, Оснабрюке, Падерборне, Миндене, Бремене, Вердене, Гильдезгейме и Гальберштадте обозначило по обеми сторонам Везера границы древней Саксонии; эти епископские резиденции были первыми школами и первыми городами в этой дикой стране, а религия и человеколюбие, которым научили детей, в некоторой мере искупили умерщвление их родителей. По ту сторону Эльбы славяне, или словенцы, носившие различные названия, несмотря на то, что у всех них были одинаковые нравы, были рассеяны по теперешним владениям Пруссии, Польши и Богемии, а некоторые случайные изъявления покорности побудили франкского историка расширить пределы империи Карла Великого до берегов Балтийского моря и Вислы.

Завоевание этих стран или обращение их в христианство относится к более поздней эпохе, но впервые совершившееся присоединение Богемии к государственному телу Германии может быть основательно приписано военным предприятиям Карла Великого. V. Он наказал живших в Паннонии аваров, или гуннов, теми же бедствиями, каким они подвергали другие народы. Деревянные укрепления, которыми они окружали свои владения и свои деревни, были разрушены троекратными усилиями франкской армии, проникшей в их страну и сухим путем, и водой, сквозь Карпатские горы и вдоль Дунайской равнины. После длившейся восемь лет кровопролитной борьбы за смерть нескольких франкских военачальников отомстило умерщвление самых знатных гуннов; остальная нация покорилась; резиденция кагана была разрушена так, что от нее не осталось никаких следов, а сокровища, которые были плодом двухсотпятидесятилетнего хищничества, обога-

тили победоносные войска или пошли на украшение итальянских и галльских церквей[111]. После покорения Паннонии империя Карла Великого расширилась до слияния Дуная с Тиссой и с Савой; провинции Истрия, Либурния и Далмация были легким, хотя и не доходным, приобретением, и только благодаря умеренности Карла Великого грекам было оставлено действительное или номинальное верховенство над приморскими городами. Но эти отдаленные владения увеличивали не столько могущество, сколько славу латинского императора, и он не решался приступить к основанию каких-либо церковных учреждений для того, чтобы отучить варваров от их бродячей жизни и от привязанности к идолопоклонству. Были сделаны легкие попытки провести каналы между реками Соной и Мозелем, Рейном и Дунаем[112]. Довершение этих работ оживило бы империю, но гораздо более денег и труда нередко тратилось на постройку какого-нибудь собора.

Если мы проследим контуры этого географического очерка, мы найдем, что владычество франков простиралось в направлении от запада к Востоку от Эбро до Эльбы и Вислы, а в направлении от юга к северу от герцогства Беневентского до реки Эйдера, составляющей постоянную границу между Германией и Данией. Бедственное положение остальной Европы и ее раздоры увеличивали и личное, и политическое влияние Карла Великого. Острова Великобритания и Ирландия были предметом споров между многочисленными князьями саксонского или шотландского происхождения, а после потери Испании христианское королевство готов, находившееся под властью Альфонса Скромного, ограничивалось узкой полосой Астурийских гор. Эти мелкие правители чтили могущество или добродетели Каролингского монарха, униженно искали чести и выгод, доставляемых его дружбой, и называли его своим общим отцом, единственным и верховным властителем Запада[113]. Он поддерживал более равноправные сношения с халифом Харун ар-Рашидом[114], владения которого простирались от Африки до Индии, и принял от его послов палатку, водяные часы, слона и ключи от Гроба Господня. Нелегко понять, как могла существовать личная дружба между франком и арабом, которые никогда не виделись, говорили на различных языках и исповедовали различные религии; но что касается их публичных сношений, то их моти-

вом было тщеславие, а благодаря тому, что их владения были разделены большими пространствами, их интересы не сталкивались. Две трети того, чем владел Рим на Западе, находились под властью Карла Великого, а остальную треть восполняло владычество императора над недоступными или непобедимыми германскими народами. Однако нас приводит в удивление тот факт, что при выборе своих противников Карл Великий так часто предпочитал бедность Севера богатствам Юга. Тридцати трех трудных кампаний, предпринятых им среди лесов и болот Германии, было бы достаточно для того, чтобы выгнать греков из Италии и сарацин из Испании и тем доставить ему полное право на титул римского императора. Слабость греков обеспечила бы легкую над ними победу, а священная война с сарацинами воодушевила бы его подданных жаждой славы и мщения и нашла бы вполне достаточное для себя оправдание в мотивах религиозных и политических. Предпринимая экспедиции по ту сторону Рейна и Эльбы, он, быть может, имел в виду предохранить свою империю от такой же участи, какая постигла Римскую империю, быть может, он хотел обезоружить врагов цивилизованного общества и с корнем вырвать семя будущих переселений народов. Но один писатель основательно заметил, что завоевания, которые делаются с целью самосохранения, будут бесплодны, если не будут всеобъемлющими, так как с расширением завоеваний увеличивается число врагов[115]. Покорение Германии сдернуло завесу, так долго скрывавшую от глаз Европы континент или острова Скандинавии, и расшевелило в варварских обитателях тех стран их врожденное мужество. Самые энергичные их саксонских идолопоклонников спаслись от христианского тирана бегством к своим северным единоверцам; океан и Средиземное море покрылись из хищническими флотами, и Карл Великий со скорбью взирал на опустошительные набеги норманнов, которые менее чем через семьдесят лет после того ускорили падение и его династии, и его монархии.

Если бы папа и римляне восстановили прежнюю конституцию, титулы императора и Августа были бы даны Карлу Великому пожизненно, и его преемники могли бы вступать на вакантный престол не иначе как в силу формального или подразумеваемого избрания. Но назначение его сына Людо-

вика Кроткого соправителем свидетельствовало о самостоятельности прав монарха и завоевателя, и в этом случае император, по-видимому, предусмотрел и предупредил тайные замыслы духовенства. Царственному юноше было приказано взять с алтаря корону и собственноручно надеть ее на свою голову как дар, полученный им от Бога, от его отца и от нации[116]. Та же самая церемония, хотя и с менее резким отпечатком, повторилась впоследствии при возведении Лотаря и Людовика II в звание соправителей; скипетр Каролингов переходил от отца к сыну в прямой нисходящей линии при четырех поколениях, и честолюбие пап должно было довольствоваться бесплодным почетным правом короновать и помазывать на царство этих наследственных монархов, уже облеченных верховной властью и уже вступивших в обладание империей. Кроткий Людовик пережил своих братьев и соединил под своей властью все владения Карла Великого; но и подвластные ему народы, и его знать, и духовенство, и его дети скоро убедились, что это громадное государственное тело уже не вдохновлялось одним и тем же духом и что его фундамент был потрясен до самого центра, между тем как его внешняя оболочка еще казалась и блестящей, и цельной. После войны, или битвы, уничтожившей сто тысяч франков, империя была разделена по договору между его тремя сыновьями, нарушавшими все, чего требовал от них сыновний и братский долг. Королевства Германское и Французское навсегда отделились одно от другого, галльские провинции между Роной и Альпами, Маасом и Рейном были предоставлены вместе с Италией и титулом императора Лотарю. Когда доставшийся ему удел подвергся новому разделу между его детьми, два небольших и недолго существовавших королевства, Лотарингское и Арльское (Бургундия), достались двум младшим его сыновьям, а его старший сын Людовик II удовлетворился королевством Итальянским, которое было естественной и достаточной собственностью римского императора. Когда он умер бездетным, вакантный престол сделался предметом споров между его дядями и племянниками, а папы очень ловко воспользовались этим случаем, чтобы взвесить притязания и достоинства кандидатов и возложить на самого покорного или на самого щедрого из них императорскую обязанность защищать римскую церковь. В подонках рода Каролингов уже нельзя было найти никаких признаков

добродетелей или могущества, и однообразно бесцветные черты этих одинаково достойных забвения королей различаются лишь презрительными прозвищами Лысого, Косноязычного, Толстого и Простака. Вследствие пресечения побочных линий все наследственные владения достались Карлу Толстому, который был последним императором из этого рода; его слабоумие побудило Германию, Италию и Францию отказать ему в повиновении; он был лишен на съезде престола и просил дневного пропитания у мятежников, пощадивших из презрения его жизнь и свободу. Наместники, епископы и владетельные князья стали захватывать по мере своих сил обломки разваливавшейся империи; при этом отдавалось некоторое предпочтение потомкам Карла Великого по женской линии или по родству с его незаконными детьми. И права, и власть этих соискателей были большей частью одинаково сомнительны, а их личные достоинства соответствовали небольшим размерам их владений. Те из них, которые были в состоянии появиться с армией у ворот Рима, были коронованы в Ватикане императорами; но их скромность чаще довольствовалась титулом королей Италии, и можно считать за междуцарствие все семьдесят четыре года, протекшие со времени отречения Карла Толстого от престола до воцарения Оттона I.

Оттон[117] принадлежал к благородному роду герцогов Саксонских, а если он действительно происходил от Видукинда, который был сначала врагом, а потом приверженцем Карла Великого, то можно заметить, что потомство побежденного народа достигло владычества над своими прежними победителями. Его отец Генрих Птицелов был избран народом для того, чтобы спасти Германское королевство и утвердить его на прочном фундаменте. Границы этого королевства[118] были со всех сторон расширены его сыном — первым и самым великим из Оттонов. Он присоединил к Германии ту часть Галлии, которая лежала к западу от Рейна вдоль берегов Мааса и Мозеля и жители которой со времен Цезаря и Тацита имели много общего с германцами и по своему происхождению, и по своему языку. Между Рейном, Роной и Альпами преемники Оттона приобрели бесплодное верховенство над разваливавшимися королевствами Бургундским и Арльским. На севере христианство вводилось мечом Оттона, который был победителем и апостолом славянских народов, живших

вдоль Эльбы и Одера; марки Бранденбургскую и Шлезвигскую он укрепил поселением германских колонистов, а король Дании, герцоги Польши и Богемии признавали себя его данниками и вассалами. Он перешел во главе победоносной армии через Альпы, покорил Итальянское королевство, освободил папу и навсегда прикрепил императорскую корону к германскому имени и к германской нации. С этой достопамятной эпохи в государственном праве были введены силой и упрочены временем следующие два принципа: I) Что избранный германским съездом монарх приобретает с этого момента верховную власть над Италией и Римом; II) но что он не может законным образом носить титулы императора и Августа до тех пор, пока не получит корону из рук римского первосвященника[119].

О принятии Карлом Великим императорского звания Восток узнал по изменившемуся тону его посланий; вместо того, чтобы приветствовать греческого императора названием отца, он позволил себе давать ему фамильярное название брата[120]. В своих сношениях с Ириной он, быть может, добивался титула ее супруга; отправленные им в Константинополь послы говорили языком миролюбия и дружбы и, быть может, втайне пытались устроить бракосочетание с этой честолюбивой кесарисой, не признававшей самых священных обязанностей матери. Нет возможности предугадать характер, продолжительность и вероятные последствия такой связи между двумя империями, столь отдаленными одна от другой и столь мало похожими одна на другую; но молчание всех латинских писателей об этом предмете внушает нам подозрение, что слух о готовившемся бракосочетании был выдуман врагами Ирины для того, чтобы можно было обвинить ее в намерении передать и церковь, и государство в руки западных иноземцев[121]. Франкские послы были очевидцами заговора Никифора и всеобщей ненависти, и едва сами не сделались жертвами этих событий. Константинополь был крайне раздражен изменой древнего Рима и совершенным там святотатством; у всех была на устах поговорка: "франки хорошие друзья и плохие соседи", но было бы опасно раздражать такого соседа, который мог увлечься желанием повторить в Софийском соборе обряд его императорского коронования. После утомительного путешествия с длинными объездами и остановками послы Никифора нашли Карла Великого в его лагере на бе-

регах реки Салы, и, чтобы смутить их тщеславие, император выказал в одной деревушке франконии такую же роскошь или, по меньшей мере, такую же спесь, какой отличался византийский двор[122]. Греков провели через четыре залы, назначенные для аудиенций; в первой они готовились пасть ниц перед восседавшей на парадном кресле великолепно одетой особой, которая остановила их, объявив, что принадлежит к числу дворцовых служителей, так как занимает должность коннетабля, или начальника императорских конюшен. Та же ошибка и такой же ответ повторились в апартаментах дворцового графа, эконома и камерария; нетерпение послов все возрастало, пока перед ними не растворились двери императорского апартамента, где они увидели настоящего императора, который восседал на троне, украшенном той иноземной роскошью, которую он презирал, и окруженном преданными и почтительными вождями своей победоносной армии. Между двумя империями был заключен мирный и союзный договор, а границы между Востоком и Западом были установлены сообразно с тем, кто чем владел в ту минуту. Но греки[123] скоро позабыли об этом оскорбительном равенстве или вспоминали о нем только для того, чтобы выражать свою ненависть к варварам, исторгнувшим от них эту уступку. Пока в одном лице соединялись и могущество и доблесть, они почтительно приветствовали августейшего Карла Великого титулами басилевса и императора римлян. Лишь только соединение этих достоинств прекратилось в лице его благочестивого сына, на письмах из Византии появилась следующая надпись: "Королю или, как он сам себя называет, императору франков и лангобардов". Когда же и могущество, и доблесть совсем исчезли, греки лишили Людовика II его наследственного титула и смешали его под варварским наименованием rex или rega с толпой латинских герцогов (дуксов). Возражение[124] Людовика обнаруживает его слабость: он, не без некоторой учености, доказывает, что и в церковной, и в светской истории слово "король" употребляется как синоним греческого слова basileus и что если в Константинополе придают этому греческому выражению более исключительное и более высокое значение, то он получил и от своих предков, и от папы право пользоваться почетными отличиями римского императорского достоинства. Тот же спор возобновился в царствование Оттонов; их послы описывали яркими краска-

ми высокомерие византийского двора[125]. Греки делали вид, будто презирают бедность и невежество франков и саксов и даже в последнем периоде своего упадка отказывали германским королям в титуле римских императоров из опасения унизить его.

Эти западные императоры не переставали пользоваться при избрании пап теми правами, которые были усвоены готскими и греческими монархами, а важность этой прерогативы возрастала вместе с расширением светских владений и духовной юрисдикции римской церкви. В среде христианской аристократии высшие члены духовенства составляли Сенат, который участвовал в делах управления и замещал вакантные епископские должности. Рим был разделен на двадцать восемь приходов; каждым приходом заведовал архидиакон — священник или пресвитер, и как ни был прост и скромен этот титул по своему происхождению, его старались возвысить до одного уровня с царским достоинством. В число членов этого собрания были включены семеро диаконов самых больших госпиталей, семеро судей Латеранской палаты и некоторые из церковных должностных лиц. Заседаниями этого церковного Сената руководили семь епископов римской провинции, которые занимались не столько своими пригородными приходами, находившимися в Остии, Порто, Велитрах, Тускуле, Пренесте, Тибуре и земле сабинов, сколько тем, что поочередно дежурили по целым неделям в Латеране и старались приобрести как можно большую долю участия в почестях и авторитете папского престола. Когда папа умирал, эти епископы предлагали нового кандидата на утверждение священной коллегии[126], а римский народ или утверждал выбор епископов своими одобрительными возгласами, или отвергал его своими протестами. Но такое избрание еще не было окончательным, и первосвященник не мог быть законным порядком посвящен в этот сан до тех пор, пока защитник церкви, император, не изъявил своего одобрения и согласия. Императорский уполномоченный проверял на месте, происходил ли выбор без нарушений формальностей и свободы, и только после того, как им были тщательно взвешены достоинства кандидатов, он принимал клятву в верности и утверждал пожалования, мало-помалу обогатившие папский престол. При часто возникавших разногласиях притязания соперников поступали на рассмотрение импера-

тора, который позволял себе на собрании епископов судить, обвинять и наказывать провинившегося первосвященника. Оттон I заставил Сенат и народ заключить с ним договор, в силу которого они обязывались отдавать предпочтение тому кандидату, который всех более приятен его величеству[127]; его преемники или предупреждали выбор Сената и народа, или не допускали его; они жаловали римскую бенефицию своим канцлерам или своим наставникам точно так же, как жаловали епископства Кельнское или Бамбергское, и каковы бы ни были личные достоинства какого-нибудь франка или сакса, одно их имя было достаточным доказательством вмешательства иноземной власти. Для такого самовластия служили благовидным оправданием неудобства, сопряженные с народными выборами. Устраненный епископами соискатель обращался к страстям или к корыстолюбию толпы; Ватикан и Латеран были запятнаны убийствами, а самые влиятельные из Сенаторов, маркизы Тосканские и графы Тускульские, долго держали папский престол в позорной зависимости от их произвола. Римских первосвященников девятого и десятого столетий оскорбляли, заключали в тюрьму и умерщвляли их тираны, а когда они лишались церковной собственности, они были сами по себе так бедны, что не могли ни жить с приличной для своего положения обстановкой, ни заниматься приличными для их духовного сана делами благотворительности[128]. Влияние двух знатных римлянок (мать и дочь)-проституток, Феодоры и Мароции, было основано на их богатстве и красоте, на их политических и любовных интригах; самые неутомимые из их любовников награждались римской митрой, и, быть может, их владычество[129] послужило в века невежества[130] поводом для вымысла[131] о паписсе Иоанне[132]. На престоле св.Петра восседали один вслед за другим незаконный сын[133] Мароции, ее внук и ее правнук (какая редкая генеалогия), а второй из них сделался главой латинской церкви, когда ему было девятнадцать лет. Его зрелый возраст оправдал то, что обещала его молодость, и масса пилигримов могла удостоверить основательность обвинений, которые были предъявлены против него на Римском соборе в присутствии Оттона Великого. После того как Иоанн XII отказался от костюма и скромности, приличных его званию, он в качестве *солдата*, быть может, не бесчестил себя своей склонностью к пьянству, своими убийствами,

поджогами и невоздержным удовлетворением своей страсти к игре и к охоте. Его явное святокупство могло быть последствием нужды в деньгах, а его святотатственные взывания к Юпитеру и к Венере, если только они не выдуманы, едва ли были серьезны. Но мы с некоторым удивлением читаем, что достойный внук Мароции открыто жил в любовной связи с римскими матронами, что Латеранский дворец был превращен в школу проституции и что вследствие того, что папа насиловал девушек и вдов, женщины стали воздерживаться от благочестивых странствований к гробнице св.Петра из опасения, что его преемник посягнет на их целомудрие[134]. Протестанты злорадно указывали на эти черты сходства с Антихристом; но в глазах философа пороки духовенства гораздо менее опасны, чем его добродетели. После длинного ряда скандалов характер папской власти преобразовался и возвысился благодаря суровости и рвению Григория VII. Этот честолюбивый монах посвятил свою жизнь на осуществление двух замыслов: I) на то, чтобы упрочить за коллегией кардиналов свободу и независимость при выборе пап и навсегда устранить законное или самовольно захваченное право императоров и римского народа участвовать в этом выборе; II) на то, чтобы жаловать и обратно получать Западную империю как принадлежащее церкви ленное поместье или бенефиций[135] и распространить свое светское владычество на всех земных царей и на все земные царства. После пятидесятилетней борьбы первый из этих замыслов был приведен в исполнение благодаря энергичному содействию духовенства, свобода которого была тесно связана со свободой его главы. Но вторая попытка хотя и увенчалась несколькими случайными и кажущимися успехами, встретила энергичное сопротивление со стороны светских правителей и потерпела окончательную неудачу вследствие успехов человеческого разума.

При возрождении Римской империи ни римский епископ, ни римский народ не могли дать Карлу Великому или Оттону тех провинций, которые были утрачены тем же путем, каким были приобретены вследствие случайностей войны. Но ничто не мешало римлянам избирать для себя повелителя, и такая же власть, какая была возложена на патриция, была безвозвратно вверена французским и саксонским императорам Запада. В отрывочных летописях того времени[136] сохранились некоторые воспоминания о дворце этих импера-

торов, об их монетах, об их трибунале, об их Эдиктах и о правосудии, которое вплоть до тринадцатого столетия отправлялось городскими префектами по уполномочию от Цезарей[137]. Это верховенство было уничтожено коварством пап и сопротивлением населения. Довольствуясь титулами императора и Августа, преемники Карла Великого пренебрегали своими правами на эту местную юрисдикцию. К счастью, их честолюбие увлекалось более заманчивыми целями, а в эпоху упадка и раздробления империи их заботы сосредоточивались на защите их наследственных владений. Во время господствовавшей в Италии неурядицы знаменитая Мароция склонила одного из узурпаторов принять на себя звание ее третьего супруга, и король Бургундский Гугон проник при помощи ее приверженцев в молу Адриана или замок св.Ангела, господствовавший над главным мостом и над входом в Рим. Она заставила своего сына от первого брака, Альберика, прислуживать на свадебном банкете; в наказание за то, что он исполнял возложенные на него обязанности с явной неохотой, его новый отец нанес ему удар, а из этого удара возникла революция. "Римляне,—воскликнул юноша,— вы когда-то были владыками мира, а эти бургунды были самыми презренными из ваших рабов. Теперь эти жадные и бесчеловечные варвары властвуют, а нанесенное мне оскорбление есть начало вашего порабощения"[138]. По всем городским кварталам раздался призыв к оружию; бургунды отступили торопливо и с позором; победоносный сын Мароции заключил свою мать в тюрьму и принудил своего брата папу Иоанна XI ограничиться исполнением его духовных обязанностей. Альберик управлял Римом в течение почти двадцати лет с титулом князя и, как уверяют, польстил народным предрассудкам, восстановив должности или, по меньшей мере, титул консулов и трибунов. Его сын и наследник Октавиан принял вместе с папским достоинством имя Иоанна XII; подобно своему предшественнику, он был вынужден искать для церкви и для государства защитника от притеснений со стороны лангобардских князей, и Оттон был награжден за свои услуги императорским достоинством. Но саксонец был высокомерен, а римляне не чувствовали склонности к повиновению; празднование коронации было нарушено столкновением между желанием монарха отстоять свои прерогативы и желанием народа отстоять свою свободу, и Оттон приказал

своему меченосцу не отходить от него из опасения, что у подножия алтаря на него будет сделано нападение с целью убить его[139].

Перед своим обратным переходом через Альпы император наказал жителей за мятеж, а Иоанна XII за неблагодарность. Папа был низложен по решению собора; префекта посадили верхом на осла, водили по городским улицам под ударами плети и заключили в темницу; из тринадцати самых преступных граждан одни были повешены, другие были изуродованы или отправлены в ссылку, а для этих строгих наказаний служили оправданием старинные законы Феодосия и Юстиниана. Голос молвы обвинял Оттона II в вероломном и безжалостном умерщвлении Сенаторов, которых он пригласил к своему столу под видом гостеприимства и дружбы[140]. Во время малолетства его сына Оттона III Рим сделал смелую попытку сбросить с себя саксонское иго, а консул Крешенци был Брутом республики. Из положения подданного и изгнанника он два раза возвышался до владычества над городом, угнетал, изгонял и создавал пап и составил заговор с целью восстановить верховенство греческих императоров. Этот несчастный консул выдержал в крепости св.Ангела упорную осаду и наконец погубил себя тем, что положился на обещание личной безопасности: его тело было повешено на виселице, а его голова была выставлена на зубчатых стенах замка. Вследствие превратностей фортуны после того, как Оттон разделил свои войска, ему пришлось выдерживать в течение трех дней осаду в своем дворце, где не было никаких съестных припасов, и позорное бегство спасло его от правосудия или от ярости римлян. Сенатор Птолемей был вождем народа, а вдова Крешенци имела удовольствие отомстить за своего супруга, отравив императора, который был ее любовником,— по крайней мере так гласила молва. Оттон III намеревался покинуть варварские северные страны, воздвигнуть свой трон в Италии и воскресить учреждения Римской монархии. Но его преемники появлялись на берегах Тибра только по одному разу в своей жизни для того, чтобы получать в Ватикане свою корону[141]. Их отсутствие внушало к ним презрение, а их присутствие было ненавистно и наводило страх. Они спускались с Альп во главе своих варваров, которые были в глазах местного населения и чужеземцами, и врагами, а их временное пребывание служило поводом для

смут и кровопролития[142]. Римляне еще томились робкими воспоминаниями о том, чем были их предки, и они с патриотическим негодованием взирали на тех саксов, франков, швабов и богемцев, которые присваивали себе звания и прерогативы Цезарей.

По-видимому, нет ничего более противоестественного и безрассудного, чем желание держать в покорности отдаленные страны и иноземные народы наперекор их влечениям и интересам. Поток варваров может мимоходом покрыть страну, но для того, чтобы поддержать существование обширной империи, нужна тщательно выработанная система управления и угнетения: в ее центре абсолютная власть должна действовать быстро и располагать большими ресурсами; нужно, чтобы сообщения с окраинами были и быстры, и удобны; нужны крепости, для того чтобы подавлять восстания в самом начале; нужна правильно организованная администрация и для того, чтобы охранять, и для того, чтобы наказывать, а хорошо дисциплинированная армия должна внушать страх, не возбуждая неудовольствия и не доводя до отчаяния. Не в таком положении находились германские Цезари, желавшие поработить Италию. Их наследственные поместья тянулись вдоль берегов Рейна или были разбросаны по различным провинциям; но эти обширные земли мало-помалу перешли в другие руки вследствие неблагоразумия или стеснительного денежного положения их владельцев, а доходы, которые извлекались этими владельцами из мелочного и притеснительного пользования их прерогативами, были едва достаточны для содержания их домашнего штата. Их войска состояли из их вассалов, вступавших к ним на службу частью по долгу, частью по доброй воле; эти вассалы неохотно переходили через Альпы, предавались грабежу и бесчинствам и нередко покидали знамена до конца кампании. Целые армии погибали от вредного влияния климата; оставшиеся в живых приносили домой кости своих князей и своей знати[143], а последствия своей собственной невоздержанности приписывали вероломству и зложелательству итальянцев, которые по меньшей мере радовались несчастьям варваров. Эта временная тирания боролась с мелкими итальянскими тиранами с равными шансами успеха, а исход этой борьбы не представлял большого интереса для народа и не может интересовать читателя. Но в одиннадцатом и двенадцатом столе-

тиях жители Ломбардии воодушевились промышленной предприимчивостью и стремлением к свободе, а их благородному примеру в конце концов стали подражать и возникшие в Тоскане республики. В итальянских городах никогда не было совершенно уничтожено муниципальное управление, а своими первыми привилегиями они были обязаны милостям и политическим расчетам императоров, которые старались воздвигнуть из привилегии простого народа оплот против притязаний независимой аристократии. Но их быстрое развитие и ежедневное расширение их могущества и притязаний были последствием размножения этих общин и воодушевлявшего их мужества[144]. Влияние каждого из городов распространялось на весь их диоцез, или округ; в деревнях юрисдикция графов, епископов и маркизов была отменена, и самые гордые представители знати согласились или были вынуждены покинуть свои уединенные замки и усвоить более почтенный характер вольных людей и должностных лиц. Законодательная власть принадлежала общему собранию, но исполнительная власть была вверена трем консулам, избиравшимся из трех сословий, на которые была разделена республика, — из магнатов (грандов), вальвассоров[145] и простонародья. Под покровительством равных для всех законов земледелие и торговля мало-помалу оживились; постоянно угрожавшие опасности поддерживали в жителях Ломбардии воинственный дух, и всякий раз, как раздавался звон колокола или водружалось[146] знамя, из городских ворот устремлялись навстречу к неприятелю многочисленные толпы неустрашимых воинов, патриотическое усердие которых скоро освоилось со знанием военного дела и с военной дисциплиной. Об этот народный вал разбилась гордость Цезарей, и непреодолимый дух свободы одержал верх над величайшими средневековыми монархами — двумя Фридрихами, из которых первый, быть может, был более велик своими воинскими подвигами, но второй, бесспорно, обладал более выдающимися мирными достоинствами и познаниями.

Желая восстановить величие короны, Фридрих I напал на Ломбардские республики с хитростью политика, с мужеством солдата и с жестокосердием тирана. Случившееся незадолго перед тем открытие Пандектов снова оживило науку, всех более благоприятную для деспотизма, и продажные юристы императора объявили, что он полный хозяин жизни

и собственности своих подданных. Собравшийся в Ронкальи сейм признал его царские прерогативы, ослабив то, что в них было самого ненавистного, и доход с Италии был установлен в тридцать тысяч фунтов серебра[147], которые умножались до бесконечности вследствие вымогательств со стороны сборщиков податей. Он смирял непокорные города страхом, который наводили его войска, или употреблением в дело военной силы; пленников отдавали в руки палача или расстреливали из его военных машин, а после осады и взятия Милана здания этой великолепной столицы были срыты до основания; триста заложников были отправлены в Германию, а жители были размещены по четырем деревням под игом неумолимого завоевателя[148]. Но Милан скоро восстал из своих развалин; общее бедствие скрепило Ломбардскую лигу; за нее вступились Венеция, папа Александр III и греческий император; воздвигнутое деспотизмом здание было разрушено в один день, и своей подписью под Констанкским договором Фридрих признал — хотя и с некоторыми оговорками — свободу двадцати четырех городов. С их энергией и полным расцветом боролся его внук; но Фридрих II[149] обладал некоторыми личными и исключительными преимуществами. Его рождение и его воспитание располагали итальянцев в его пользу, и во время непримиримой вражды между гибелинами и гвельфами первая из этих партий была предана императору, между тем как вторая боролась под знаменем свободы и церкви[150]. В минуту усыпления римское правительство дозволило его отцу Генриху VI присоединить к империи королевства Неаполитанское и Сицилийское, и сын стал извлекать из этих наследственных владений большие ресурсы солдатами и деньгами. Однако Фридрих II в конце концов не устоял против военных сил Ломбардии и громов Ватикана; его владения были отданы иностранцу, а последний представитель его рода был публично обезглавлен в Неаполе на эшафоте. В течение шестидесяти лет в Италии не было ни одного императора, и об этом титуле напоминала лишь позорная продажа последних остатков соединявшейся с ним верховной власти.

Завоевавшим Запад варварам нравилось украшать их вождя титулом императора, но они вовсе не желали облекать его деспотической властью Константина и Юстиниана. Личность германцев была свободна, их завоевания составляли их соб-

ственность, а их национальный характер отличался такой бодростью духа, которая не могла уживаться с раболепной юриспруденцией ни нового, ни древнего Рима. Было бы и бесполезно, и опасно пытаться наложить иго монарха на вооруженных вольных людей, не выносивших даже власти должностного лица, на людей отважных, не хотевших повиноваться, или на людей могущественных, желавших повелевать. Верховная власть Карла Великого и Оттона была распределена между герцогами различных наций или провинций, графами мелких округов и маркграфами маркий или границ,— и все они соединяли в своих руках власть гражданскую и военную в том виде, в каком она возлагалась на заместителей первых Цезарей. Римские наместники, выбиравшиеся большей частью из выслужившихся воинов, вовлекали свои наемные легионы в измену, присваивали себе императорское звание и во всяком случае, терпели ли они неудачу или имели успех в своих восстаниях, государственное управление не терпело от этого никакого ущерба ни в своем могуществе, ни в своем единстве. Хотя германские герцоги, маркграфы и графы были менее смелы в своих притязаниях, но последствия их удачи были более прочны и более вредны для государства. Вместо того чтобы стремиться к верховному рангу, они заботились только о том, чтобы присвоить себе и упрочить независимую власть над управляемой провинцией. Их честолюбию благоприятствовали многочисленные поместья и вассалы, взаимный пример и взаимная поддержка, общность интересов низшего дворянства, замена одних монархов и царственных родов другими, малолетство Оттона III и Генриха IV, честолюбивые притязания пап и бесплодная настойчивость, с которой императоры гонялись за коронами итальянской и римской. Дуксы (герцоги) провинций малопомалу присвоили себе все атрибуты королевской и областной юрисдикции и право заключать мир и объявлять войну, казнить и миловать, чеканить монету, облагать податями, заключать внешние союзы и распоряжаться государственным доходами. Императоры признавали эти незаконно присвоенные права из милостивого расположения или под гнетом необходимости, а иногда жаловали их в виде награды за обещанную поддержку на выборах или за добровольную службу; в том, что было пожаловано одному, нельзя было, без нанесения обиды, отказать его преемнику или его равным, и из

этих постановлений о местном или временном владении мало-помалу образовалось государственное устройство Германии. В каждой провинции власть герцога или графа была посредницей между троном и аристократией; люди, считавшиеся по закону подданными своего государя, обращались в вассалов частного вождя, и этот вождь нередко развертывал полученное от своего государя знамя для борьбы с тем, от кого оно было получено. Из суеверия или из политических расчетов династии Каролингские и Саксонские любили и поддерживали духовенство, к умеренности и преданности которого питали слепое доверие,— германские епископства не только достигли одинакового размера и одинаковых привилегий с самыми обширными владениями лиц военного звания, но даже превзошли их богатством и многочисленностью населения. Пока императоры сохраняли право раздавать эти церковные и светские бенефиции при открытии вакансий, их власть находила для себя опору в признательности или в честолюбии их друзей и любимцев.

Но во время споров из-за права инвеституры они утратили свое влияние на епископские капитулы; свобода избрания была восстановлена, и как бы в насмешку над монархом за ним было оставлено только право *первых просьб*, то есть право один раз в свое царствование рекомендовать для каждой церкви по одному кандидату на пребенду. Светские правители смещались не по воле своего старшего, а могли быть лишены своего места только по приговору своих пэров. В первую эпоху монархии предоставление сыну герцогства или графства его отца испрашивалось как милость; но мало-помалу превратилось в обычай и наконец его стали требовать как законного права; к представителям прямой нисходящей линии нередко стали причислять членов боковых или женских линий; имперские чины (это было их популярное название, впоследствии сделавшееся легальным) разделялись на части и отчуждались путем завещаний и продажи, и всякое понятие об общественном доверии исчезло в понятии о частном и вечном наследственном праве. Император даже не мог обогащаться от конфискаций или от пресечения рода; он был обязан в течение одного года заместить вакансию ленного владельца, а при выборе кандидата должен был сообразоваться с решением или общего, или провинциального сейма.

После смерти Фридриха II Германия осталась чем-то вроде

стоглавого чудовища. Бесчисленные принцы и прелаты оспаривали друг у друга обломки империи владельцы бесчисленных замков старались подражать примеру старших, но не чувствовали желания повиноваться им, а их непрерывные военные предприятия получали названия то завоеваний, то хищнических набегов, смотря по тому, как велики были их материальные силы. Эта анархия была неизбежным последствием европейских законов и нравов, и неистовство той же самой бури раздробило в куски королевства Французское и Итальянское. Но итальянские города и французские вассалы был разъединены и не устояли в борьбе, между тем как из единодушия германцев возникла, под именем империи, великое федеральное государство. Сеймы, сначала собиравшиеся часто, а потом сделавшиеся постоянным учреждением, поддерживали национальное мужество, и права верховной законодательной власти до сих пор принадлежат трем разрядам или коллегиям избирателей — германским владетельным князьям, вольным городам и имперским городам. I. Семерым самым могущественным ленным владельцам было предоставлено, вместе с особым титулом и рангом, исключительное право избирать римского императора; такими избирателями были король Богемский, герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский, пфальцграф Рейнский и три архиепископа — Майнцский, Трирский и Кельнский. II. Коллегия принцев и прелатов очистилась от разного сброда; из длинного ряда независимых графов она допустила в свою среду только четырех представителей с правом голоса и совершенно устранила дворян или членов сословия рыцарей, появлявшихся на выборы на конях в числе шестидесяти тысяч человек, как это случалось на польских сеймах. III. Гордость знатного происхождения и власти, меча и митры имела благоразумие признать общины за третью ветвь законодательной власти, и это нововведение с развитием общества проникло почти в ту же самую эпоху, в среду национальных собраний Франции, Англии и Германии. Северная торговля и мореплавание находились в руках Ганзейского союза; Рейнская конфедерация охраняла спокойствие и сообщения внутри страны; влияние городов соответствовало их богатству и системе управления, а их неодобрение до сих пор отменяет постановления двух высших коллегий — коллегии курфюрстов и коллегии князей[151].

В четырнадцатом столетии всего ярче обнаружился контраст между названием и действительным значением той Римской империи, которая существовала в Германии; за исключением земель, лежавших вдоль берегов Рейна и Дуная, в ее состав не входило ни одной из провинций Траяна или Константина. Недостойными преемниками этих императоров были графы Габсбургские, Нассауские, Люксембургские и Шварценбургские; император Генрих VII доставил своему сыну корону Богемии, а его внук Карл IV родился среди такого народа, который, по мнению самих германцев, был чужестранным и варварским[152].

После того как Людвиг Баварский был отлучен от церкви, ему был отдан или обещан вакантный императорский престол теми римскими первосвященниками, которые, живя в Авиньоне в изгнании или в плену, все еще выдавали себя за земных владык. Смерть его соперников соединила в его пользу голоса избирателей коллегии, и Карл был единогласно провозглашен римским королем и будущим императором; этот титул унижали в ту пору, давая его Цезарям и германским и греческим. Германский император был не более как выборный и бессильный представитель княжеской аристократии, не оставлявшей ему ни одной деревушки, которую он мог бы назвать своей собственной[153]. Самой ценной его прерогативой было право председательствовать и делать предложения в имперском рейхстаге, который собирался по его вызову, а его наследственное Богемское королевство, менее богатое, чем соседний город Нюренберг, было самой твердой опорой его власти и самым обильным источником его доходов. Армия, с которой он перешел через Альпы, состояла из трехсот всадников. В соборной церкви св.Амвросия Карл был коронован *железной* короной, которую предание считало за принадлежность Ломбардской монархии; но он был допущен внутрь города лишь в сопровождении безоружной свиты; вслед за его прибытием городские ворота были заперты, и короля Италии держали в плену Висконти, за которыми он признал обладание Миланом. В Ватикане он был снова коронован *золотой* императорской короной; но в силу тайного договора римский император немедленно удалился, не проведя ни одной ночи внутри Рима. Красноречивый Петрарка[154], воскрешавший в своем воображении призрачное величие Капитолия, оплакивает и порицает позорное бегство бо-

гемца, а современные писатели замечают, что его верховная власть проявила себя лишь в выгодной продаже привилегий и титулов. Итальянское золото обеспечило избрание его сына; но такова была постыдная нищета римского императора, что он был остановлен на улицах Вормса мясником и задержан в трактире в обеспечение или в залог уплаты за сделанный им долг.

От этой унизительной картины перейдем к призрачному величию, которым окружал себя тот же Карл на имперских рейхстагах. Золотая булла, в которой установлено государственное устройство Германии, была написана тоном монарха и законодателя. Сто князей преклонялись перед его троном и возвышали свое собственное достоинство теми добровольными почестями, которые воздавали своему предводителю или представителю. За монаршей трапезой официальные служебные обязанности исполнялись наследственными высшими придворными чинами — семью курфюрстами, которые по своему рангу и по своим титулам равнялись с королями. Архиепископы Майнцский, Кельнский и Трирский, эти пожизненные архиканцлеры Германии, Италии и Арля, торжественно несли печати тройного королевства. Великий маршал приступал к исполнению своих обязанностей, сидя верхом на коне и имея при себе серебряную меру овса; он высыпал этот овес на землю и вслед за тем сходил с коня для того, чтобы разместить гостей в надлежащем порядке. Рейнский пфальцграф, исполнявший обязанности главного дворецкого, ставил блюда на стол. Исполнявший обязанности главного камерария, маркграф Бранденбургский подавал после обеда золотой рукомойник и золотой таз для умывания. Представитель главного виночерпия короля Богемского был брат императора, герцог Люксембургский и Брабантский, и процессия замыкалась главным ловчим, который приводил кабана и оленя при шумном хоре охотничьих рогов и собак[155]. И верховенство императора не ограничивалось одной Германией; наследственные европейские монархи признавали за ним первенство по рангу и по достоинству; он был первым между христианскими монархами и светским главой великого западного государства[156]; ему был уже давно присвоен титул величества, и он оспаривал у папы верховную прерогативу создавать монархов и созывать соборы. Оракул гражданского права ученый Бартол был пенсионером Карла IV, и его шко-

ла оглашалась изложением теории, что римский император был законный властелин всей земли от того места, где восходит солнце, и до того, где оно садится. Противоположное мнение осуждалось не как заблуждение, а как ересь, так как даже в Евангелии сказано: "И от Цезаря Августа был издан декрет, что *все* должны быть обложены податями"[157].

Если мы мысленно перенесемся через промежуток времени, отделяющий Августа от Карла, мы найдем резкую и поразительную противоположность между двумя Цезарями — между богемцем, скрывавшим свое бессилие под маской призрачного величия, и римлянином, скрывавшим свое могущество под личиной скромности. Стоя во главе победоносных легионов и владычествуя и на море, и на суше от берегов Нила и Евфрата до берегов Атлантического океана, Август выдавал себя за слугу государства и за равного со своими согражданами. Завоеватель Рима и его провинций подчинялся популярным и легальным формам, в которых отправляли свои обязанности цензоры, консулы и трибуны. Его воля была законом для человеческого рода, но при обнародовании своих законов он заимствовал голос у Сената и у народа и от их декретов получал и возобновлял свое временное призвание управлять государством. В своей одежде, в своей домашней прислуге[158], в своих титулах и в исполнении всех общественных обязанностей Август был простым римлянином, и самые ловкие из его льстецов уважали тайну его абсолютного и пожизненного владычества.

---

1) Ученый Сельден резюмировал историю Пресуществления в следующих многозначительных и выразительных словах: "это мнение есть ничто иное, как риторика, превращенная в логику". (В полном собрании его сочинений, ч. III, стр. 2073, Застольные Разговоры).

2) Nec intelligunt homines ineptissimi, quod si sentire simulacra et movere possent, adoratura hominem fuissent a quo sunt expolita. (Divin. Institut. кн.2, гл.2) Лактанций был последним и самым красноречивым из латинских писателей, защищавших христианство. Насмешки этих писателей над идолами относятся не только к самому предмету поклонения, но также к его внешней форме и к материалу, из которого он сделан.

Кто были те "первые христиане", о которых говорит Гиббон? Даже во времена апостолов число новообращенных христиан из греков далеко превосходило число новообращенных иудеев. Они приняли книги Священного Писания на еврейском языке даже прежде того, чем у них завелись их собственные, а оттуда, равно как из произведений философов, они почерпнули отвращение к идолопоклонству и

ненависть к иконам как к произведениям вымысла и безрассудства. Они не питали никакой "вражды" к своим соотечественникам. Нет никаких следов подобных чувств: напротив того, заметно их желание располагать других в пользу их новой религии. Первые признаки вражды обнаружились между ними и евреями.— Издат.

3) См. произведения Иринея, Епифания и Августина. Basnage, Hist. des Eglises Reformées, том II, стр.1313). Это обыкновение гностиков иметь странное сходство с личной религией Александра Севера. (Лампридий, гл. 29; Ларднер, Heathen Testimonies, ч.III, стр.34).

4) См. в этой Истории, ч.II; ч. III.

5) Concilium Nicenum, 2. in Collect Labb. том VIII, стр. 1025, изд.Венец). Il seroit peut-être à-propos de ne point souffrir d images de la Trinité ou de La Divinité ; ies defenseurs ies plus zelés des images ayant condamné celles-ci, et le concile de Trente ne parlant que des images de Jesus Christ et des Saints. (Dupin, Bibliot. Eccl̀es., том VI, стр.154.

6) Этот общий очерк истории икон заимствован из двадцать второй книги сочинения Basnage, Hist. des Eglises Reformées, том II, стр. 1310-1337. Этот писатель был протестант, но не боялся говорить, что думал; что касается этого предмета, протестанты так очевидно правы, что могут отваживаться на беспристрастную его оценку. См., в каком затруднительном положении находится жалкий монах Pagi (Critica, том 1, стр.42).

7) Устранив разные чудеса и бессмыслицы, можно допустить, что с 300 года Панеад в Палестине был украшен бронзовой статуей, изображавшей закутанную в плащ важную особу со стоявшей перед ней на коленях женщиной, которая или благодарила, или о чем-то просила, и что, быть может, на пьедестале этой статуи была сделана надпись: toi Soteri toievergete.

Христиане вообразили, что эта группа изображала основателя их религии и ту бедную женщину, которую он исцелил от кровотечения. (Евсев. 7.18. Филосторг. 7.3 и сл.) Beausobre более основательно предполагает, что это было изображение или философа Аполлония, или императора Веспасиана; в этом последнем случае фигура женщины должна была изображать или какой-нибудь город, или какую-нибудь провинцию, или, быть может, царицу Беренику. (Bibliothéque Germanigue, том XIII, стр. 1-92.)

8) Евсев. Hist. Eccles. кн. 1, гл.13. Ученый Ассеманн ссылается на дополнительное свидетельство трех сирийцев — св. Ефрема, Иисуса Стилита и епископа Саругского Иакова; но я не нашел никаких указаний ни на сирийский подлинник, ни на эдесские архивы (Bibliot. Orient. том1, стр. 318, 420, 554); их неопределенное мнение, вероятно, заимствовано от греков.

9) Беспристрастный Ларднер взвешивает и отвергает свидетельства о действительности этого послания (Heathen Testimonies, ч.1, стр. 297-309). В массе ханжей, вынужденных отказаться от мнения, которое им так приятно, но которое нет никакой возможности поддерживать, я со стыдом встречаю рядом с такими писателями, как Grabes, Caves, Tillemont и др., имя английского джентльмена Аддисона (Собрание его сочинений, ч.1, стр.528; изд. Baskerville); но его поверхностный трактат о христианской религии обязан своей репу-

тацией его имени, его слогу и пристрастным похвалам со стороны нашего духовенства.

10) Из молчания Иакова Саругского (Asseman. Bibliot. Opient. стр. 289-318) и из свидетельства Евагрия (Hist.Eccles. кн. 4, гл.27) я заключаю, что эта басня была выдумана в промежутке времени между 521 и 594 годами,— по всей вероятности, после осады Эдессы в 540 году (Asseman. том 1, стр. 416. Прокоп. de Bell. Persic кн.2). Это — меч и щит Григория II (in Epist. I. ad Leon.Isaur.Concil. том VIII, стр. 656, 657), Иоанна Дамаскина (Opera, том 1, стр. 281, изд. Lequien) и второго Никейского собора (Actio, 5, стр.1030). Самое полное описание можно найти у Кедрина (Compend. стр. 175-178).

11) Acheiropoietos См. Ducange, in Gloss. Graes. et Lat. Об этом предмете писал и с большой ученостью, и с сильным ханжеством иезуит Гретсер (Syntagna de Imaginibus non Manû factis, ad calcem Codini de Officiis, стр.289-330),— этот Ингольдштадтский осел, или, верней, лиса (см. Scaligerana); тот же предмет рассматривал и со здравым смыслом, и с остроумием протестант Бособр в иронической полемике, которую он разбросал по нескольким томам Bibliothéque Germanique (том XVIII, стр. 1-50; XX, стр.27-68; XXV, стр.1-36, XXVII, стр.85-118; XXVIII, стр.1-33; XXXI, стр.111-148; XXXII, стр.75-107; XXXIV, стр.67-96).

12) Феофилакт Симокатта (кн.2, гл.3, стр.34; кн.3, гл.1, стр.63) превозносит Theandrikon einkaoma, которое он называет acheiropoieton; однако это была не более, как копия, так как он присовокупляет archetypon to ckeinon o Romaioi (из Эдессы) Threskevousi ti arretou См.Пажи, том П.А.D. 586, N 11.

13) См. в подлинных или мнимых произведениях Иоанна Домаскина те два места относительно Святой Девы и св.Луки, о которых не упомянул Гретсер и о которых вследствие того не упомянул и Бособр. (Opera Joh. Damascen. том 1, стр. 618, 631).

14) "Ваши скандальные фигуры совсем выходят вон из полотна: они так же противны, как группа статуй!" В таких выражениях один невежественный и зараженный ханжеством греческий священник хвалил картины Тициана, которые он заказал, но потом не захотел взять.

15) Кедрин, Зонара, Глика и Манассес приписывают возникновение секты иконоборцев халифу Иезиду и двум иудеям, обещавшим императорскую корону Льву; а упреки, внушенные этим сектантам ненавистью, они превращают в бессмысленный заговор, составленный с целью восстановить чистоту христианского культа. (См.Шпангейм, Hist Imag. гл.2).

Иезид, девятый халиф из рода Омейядов, приказал, около 719 года, уничтожить все иконы в Сирии: поэтому православные упрекали иконоборцев в подражании сарацинам и евреям. Fragm, mon. dohan. Ierosolymit. Script. Byz., том XVI, стр.235; Hist des Répybl. ital. par M. sismondi, т.1, стр.126.— Гизо).

Неандер (Ист.Христ.3,400-418) описал введение иконопочитания и со знанием дела и с тщанием. Оно началось не тем, что стали воздвигать кресты в церквах, а тем, что стали носить кресты на себе и в особенности на лбу. Portare crucem in Fronte,— было ранним обыкновением между христианами. Оно, без сомнения, происходило от молитвенного знака, который иудеи носили на лбу и на руке и который

так неправильно выражен по-гречески словом ***филактерия***. А потом стали обшивать крестами платье, украшать дома и церкви.— Издат.

16) См. Ельмацина (Hist. Saracen. стр.267), Абульфарагия (Dynast. стр.201) и Абульфеду (Annal. Moslem. стр.264) и Критику Пажи (т.III, A.D.944). Этот осторожный францисканец не берется решить, где теперь покоится эдесская икона — в Риме или в Генуе; во всяком случае она покоится бесславно, и этот древний предмет поклонения утратил свою известность или вышел из моды.

17) (Nicetas, кн.2, стр.258). Армянские церкви до сих пор ограничиваются поклонением кресту. (Missions du Levant, том III, стр.148); но этот суеверный грек, конечно, несправедлив в том, что говорит о суеверии германцев двенадцатого столетия.

18) Источниками сведений об иконоборцах, источниками не всегда беспристрастными, служат для нас Соборные Постановления (т. VIII и IX, Collect Labbe, венециан.изд.) и исторические сочинения Феофана, Никифора, Манассеса, Кедрина, Зонары и др. Между новейшими католическими писателями, Бароний, Пажи, Наталис Александер (Hist. Ecclés. Seculum VIII и IX) и Мэмбург (Hist. des Iconoclastes) обсуждали этот предмет с ученостью, с увлечением и с легковерием. Труды протестантских писателей Фридриха Шпангейма (Historia Imaginum Restituta) и Якова Баснажа (Hist. des Eglises Reformées, т.II, кн.23, стр. 1339-1385) клонятся в пользу иконоборцев. При помощи писателей с такими противоположными тенденциями нам нетрудно рассматривать этот предмет с философским беспристрастием.

19) Это видно из риторических прикрас вроде следующей: Synodon paranomon kai atheon; а епископов называли toi mataiophrosin. Дамаскин называет этот собор akuros tai adektos (Opera, т.1, стр.623). Шпангейм написал и умную, и добросовестную апологию Константинопольского собора (стр. 171 и сл.), пользуясь теми материалами, какие мог найти в постановлениях Никейского собора (стр.1046 и сл). Остроумный Иоанн Дамаскин превращает episkopous в episkotous; и называет епископов рабами желудков и пр.(Opera, т.1, стр.306.)

20) Его обвиняли в том, что он запретил употреблять название святого, что он называл Святую Деву матерью Христа, что он сравнивал ее, после ее разрешения от бремени, с пустым кошельком, что он питал расположение к учению Ария и Нестория и пр. Шпангейм, вступаясь за него (гл.4, стр.207), колеблется между интересами протестанта и обязанностями православного богослова.

21) Святой исповедник Феофан одобряет в принципе их восстание, (стр.339). Григорий II (in Epist. 1, ad Imp. Leon. Concil. т. VIII, стр.661,664) хвалит религиозное усердие тех византийских женщин, которые убивали императорских командиров.

22) Иоанн, или Мансур, был знатный христианин родом из Дамаска, занимавший значительную должность на службе у халифа. За свою привязанность к иконам он сделался жертвой мстительности и вероломства греческого императора, а по подозрению в изменнической переписке у него отрезали правую руку, которая была возвращена ему чудесным образом Святой Девой. Получив свободу, он отказался от своей должности, роздал свои богатства и похоронил себя в

монастыре св.Саввы, между Иерусалимом и Мертвым морем. Эта легенда знаменита; но ее ученый-издатель отец Леквиен, к несчастью, доказал, что св.Иоанн Дамаскин уже был монахом до возникновения иконоборчества. (Opera, т.1, Vit. St. Ioan Damascen. стр.10-13 и Notas ad loc).

23) Отправив Льва к черту, он так заставляет выражаться наследника престола (Opera, Damascen. т.1, стр.625). Если бы подлинность этого места внушала подозрения, то мы все-таки уверены, что в других, не дошедших до нас произведениях, Дамаскин давал Константину названия neon Moameth, Christomakon, misagion (том 1, стр.306).

24) Описывая это гонение со слов Феофана и Кедрина, Шпангейм (стр.235-238) очень рад, что может сопоставить дракона императора Льва с драгунами (Dracones) Людовика XIV и находит большое наслаждение в этом плохом каламбуре.

25) (Damascen. Op. т., стр.625). Сколько могу припомнить, ни в одной из новейших компиляций не упоминается о такой клятве и о таком обязательстве.

26) говорит Феофан (Chronograph. стр.343). За это Кедрин называет Григория (стр.450). Зонара более определенно называет эти громы anathemati synodikō (том II, кн.15, стр.104,105). Следует заметить, что греческие писатели способны смешивать времена и деяния двух Григориев.

27) См. Барония Annal. Eccles. A.D. 730, N 4,5, dignum exemplum! Беллармин, de Romano Pontifice, кн.5, гл.8; mulctavit eum parte imperii. Сигоний, de Regno Italiae, кн.3, Opera, т.II, стр.169. Однако в Италии произошла такая перемена, что Сигония поправляет миланский издатель Филипп Аргелат, болонский уроженец и папский подданный.

28) Quod si Christiani olim non deposuerunt Neronem aut Iulianum, id fuit quia deerant vires temporales Christianis. (Это говорит честный Баллармин! de Rom. Pont. кн. 5, гл.7). Кардинал Перрон присовокупляет различие, которое делает более чести первым христианам, но не более удовлетворительно для монархов нашего времени,— он различает измену еретиков и вероотступников, которые нарушают данную ими клятву, не оправдывают полученного ими отличия и отказываются от преданности Христу и его наместнику (Perroniana, стр.89).

29) Можно указать, для примера, на осторожного Баснажа (Hist.de l' Eglise, стр.1350, 1351) и на заносчивого Шпангейма (Hist. Imaginum), которые вместе с сотней других писателей идут по стопам магдебургских центурионов.

30) См. Launoy (Opera, т. V, часть 2, посл. VII, 7, стр.456-47), Natalis Alexander (Hist. Nov. Testamenti, secul. 8, dissert. I, стр.93-96), Pagi (Critica т. III, стр.215,216) и Giannone (Istoria Civile di Napoli. т.1, стр.317-320), который был воспитанником галликанской школы. Когда идет дело о полемике, я всегда жалею умеренную партию, которая занимает серединное место и потому подвергается нападениям с обеих сторон.

31) Они ссылаются на Павла Варнефрида, или Диакона (de Gestis Langobard. кн.6, гл.49, стр.506,507, in Script. Ital. Muratori, т.I, часть 1), на мнимого Анастасия (de Vit. Pont. in Muratori, т. III, часть I), на Гри-

гория II, стр.154, на Григория III, стр.158, на Захарию, стр.161, на Стефана III, стр.165, на Павла, стр.172, на Стефана IV, стр.174, на Адриана, стр.179, на Льва III, стр.195. Однако я могу заметить, что настоящий Анастасий (Hist. Eccles. стр.134, изд. Red.) и Historia Miscella (кн.21, стр.151 в томе I Script. Ital.),принадлежащие к девятому столетию, переводят и одобряют греческий текст Феофана.

32) С некоторыми различиями в мелочах самые ученые критики, както Лука Гольштениус, Скелестрат, Чиампини, Бианкини, Муратори (Prolegomena ad tom. III, часть 1) согласны в том, что так называемый Liber Pontificalis был написан и продолжен апостолическими переписчиками и нотариусами восьмого и девятого столетий и что только последняя и самая малая его часть была произведением Анастасия, имя которого он носит. Слог этого произведения груб, рассказ пристрастен, подробности мелочны; тем не менее его следует прочесть как интересное и подлинное описание того времени. Послания пап рассеяны по различным томам соборных постановлений.

33) Оба послания Григория II сохранились в Актах Никейского собора. т. VIII, стр.651-674. Они без числа; Бароний относит их к 726 году, Муратори (Annali d'Italia, т.VI,стр.120) к 729, а Пажи к 730. Сила предрассудков так велика, что некоторые паписты восхваляли здравый смысл и умеренность этих писем.

34) (Посл.1, стр.664). Такую близость лангобардов нелегко объяснить. Камилл Пеллегрини (Dissert. 4, de Ducatu Beneventi в Script. Ital. том V, стр. 172, 173) с трудом насчитывает двадцать четыре стадии не от Рима, а от границы римского герцогства до первой лангобардской крепости,— быть может, до той, которая называлась Сорой. Я скорее готов думать, что Григорий, со свойственным его времени педантизмом, употребляет слово "стадия" вместо мили, не заботясь о длине той и другой.

35) (стр. 665). Папа, как кажется, с успехом пользовался невежеством греков; он жил и умер в Латеране, и в его время все западные королевства приняли христианство. Не имеет ли этот неизвестный нам септет какого-либо соотношения с главой саксонской гептархии, Уэссекским королем Иной, посетившим Рим во время первосвященства Григория II не с целью креститься, а в качестве пилигрима? (Pagi, A.D. 689, N 2; A.D. 726, N 15). Многие из наших англосаксонских королей, отрекшись от престола, удалялись в Рим и кончили там свою жизнь в монастырском уединении (Веда, Ист. Цер. V, 19, стр. 268, изд. Bohn). Путешествие, которое было предпринято с этой целью Иной, относится в Саксонской Хронике к 728 году. Хотя некоторые и сомневаются в правильности этой даты, он, по-видимому, совпадает с тем временем, когда было написано вышеупомянутое письмо Григория, которое Муратори (Annali d'Italia, X, 33) относит не к 726, а к 729 году. Относительно школы, которая, как рассказывают, была основана Иной в Риме, см. Англосаксы Тернера (1.399). Этот факт основывается на авторитете Матвея Вестминстерского; но Лаппенберг (Thorpe, Ист.Англии при англосаксонских королях, ч.1, стр.205) не полагается на этот авторитет и приписывает королю Мерсии Оффе (там же, стр.236) введение так называемой Romescote, или уплаты одного пенни с каждого семейства, наложенной для содер-

жания этой школы; этот налог впоследствии превратился в столь обременительную для народа Лепту св.Петра".— Издат.

36) Считаю нужным цитировать из Liber Pontificalis следующие многозначительные слова: Respiciens ergo pius vir profanam principis jussionem, jam contra Imperatorem guasi contra hostem se armavit, renuens haeresim ejus, scribens ubique se cavere Christianos, eo quod orta fuisset impietas talis. Igitur permoti omnes Pentapolenses, atque Venetiarum exercitus contra Imperatoris jussionem restiterunt; dicentes se nunquam in ejusdem pontificis condescendere necem, sed pro ejus magis defensensione viriliter decertare (ст.156).

37) По словам Анастасия (стр.156), это был census, или подушная подать; это была самая тяжелая из всех податей, с которой не были знакомы даже сарацины,— так думают: ревностный Мэмбург (Hist. des Iconoclastes, кн. 1) и Феофан (стр.344); последний напоминает по этому поводу о фараоне, приказавшем сделать перепись всем новорожденным иудейским младенцам. Но этот способ податного обложения был в большом употреблении у сарацин и, к величайшему несчастью для историка, был через несколько лет после того введен во Франции его покровителем Людовиком XIV.

38) См. Liber Pontificalis Agnellus'a (в Scriptores Rerum Italicarum изд.Муратори, т. II, часть 1); на этом писателе лежит более глубокий отпечаток варварства, свидетельствующий о различии между нравами Равенны и нравами Рима. Тем не менее мы обязаны ему знакомством с некоторыми интересными и касающимися внутренней жизни этого города фактами — с разделением Равенны на кварталы и на партии (стр.154), с мщением Юстиниана II (стр. 160, 161), с поражением греков (стр.170, 171) и т.д.

39) Следующие слова, бесспорно, относятся и к Льву: si quis, imaginum sacrarum. destructor. extiterit sit extorris a corpore D.N. Jesu Christi vel totius ecclesiae unitate. Пусть знатоки церковного права решают вопрос, достаточно ли виновности, чтобы быть подведенным под отлучение от церкви или же нужно быть названным по имени в декрете об отлучении; решение этого вопроса в высшей степени важно для личной безопасности виновных, так как оракул (Gratian. Caus. 23, стр.5, гл.47, apud Spanheim, Hist. Imag. стр.112) гласит: homicidas non esse qui excommunicatos trucidant.

40) Compescuit tale consilium Pontifex, sperans conversionem principis (Anastas. стр.156). Sed ne desisterent ad amore er fide R.J. admonebat (стр.157). Папы дают Льву и Константину Копрониму титулы Imperatores и Domini, присовокупляя странный эпитет Piissimi. Знаменитая мозаика в Латеранском дворце (A.D.798) изображает Христа, который вручает ключи св.Петру, а знамя Константину V. (Muratori, Annali d'Italia, т. VI, стр.337).

41) Я обозначил объем римского герцогства согласно с географическими картами, а пользуясь этими картами, я руководствовался прекрасной диссертацией отца Баретти (de Chorographia Italiae Medii Aevi, sect. 20, стр. 216-232). Тем не менее я должен заметить, что Витербо был основан лангобардами (стр.211) и что Террачину захватили греки.

42) Читатель, который желал бы познакомиться с объемом, населением и пр.Римского государства, с удовольствием прочтет Discours

Préliminaire к Римской Республике Бофора (том 1), которого нельзя упрекнуть в излишнем легковерии, когда он описывает древние времена Рима.

43) Quos (Romanos) nos, Langobardi scilicet, Saxones, Franci, Lotharingi, Bajoari, Suevi, Burgundiones tanto dedignamur ut inimicos nostros commoti, nil aliud contumeliarum nisi Romane, dicamus: hoc solo, id est Romanorum nomine, quicquid ignobilitatis, quicquid timiditatis, quicquid avaritiae, quiquid luxuriae, quicquid mendacii, immo quicquid vitiorum est comprehendentes (Liutprand. in Legat. Script. Ital., том II, часть I, стр. 481). За грехи Катона или Цицерона Минос мог бы наложить на них, в виде приличного наказания, обязанность ежедневно перечитывать этот варварский отрывок.

44) Pipino regi Francorum, omnis senatus atque universa populi generalitas a Deo servatae Romanae urbis. (Codex Carolin. epist. 36, in Script. Ital., том III, часть 2, стр 160). Названия сенат и сенаторы никогда не выходили из употребления. (Dissert. Chorograph. стр. 216, 217); но в средние века они значили немного более, чем слова nobiles, optimates и пр. (Ducange, Gloss. Latin).

45) См. Muratori, Antiquit. Italiae Medii Aevi, том II, диссерт. 27, стр. 548. На одной из этих монет мы читаем Hadrianus Papa (A. D. 772); на оборотной стороне написано Vict. DDNN. со словом Conob, которое отец Жубер (Science des Medailles, том II, стр. 42) объясняет словами Constantinopoli Officina b (secunda). Во всемирной истории редко встречаются такие народы, которые, избавившись от рабства, не подпали бы под власть еще более сурового тирана. Там, где власти светская и церковная отделены одна от другой, они по временам сдерживают одна другую. Но, соединившись в одних руках, они наложили на римлян еще более тяжелое иго, чем то, которое налагали на них, одни вслед за другими, цари, патриции, триумвиры и императоры. И нельзя назвать покорность римлян результатом свободного выбора; если бы власть пап опиралась только на свободный выбор, она уже давно была бы ниспровергнута. Для того чтобы народ умел пользоваться свободой, нужна медленная подготовка, в которую входят разнообразные элементы, редко встречающиеся в совокупности.— Издат.

46) См. Диссертацию Веста (West) об Олимпийских играх (Пиндар, ч. II, стр. 32-36, изд. in 12-mo) и основательные замечания Полибия (т. I, кн. 4, стр. 466, изд. Gronov).

47) Речь Григория к лангобардам изящно изложена Сигонием (de Regno Italiae, кн. 3, Opera, т. II, стр. 173), который подражает вольности и смелости Саллюстия и Ливия.

48) Венецианские историки Иоанн Сагорнин (Chron. Venet. стр. 13) и дож Андрей Дандоло (Scriptores Rer. Ital., т. XII, стр. 135) сохранили послание Григория. Об утрате Равенны и о ее освобождении упоминает Павел Диакон (De Gest. Langobard. кн. 6, гл. 49, 54, in Script. Ital., том I, часть I, стр. 506, 508); но наши хронологи Пажи, Муратори и др. не в состоянии определить время этого происшествия и уяснить его подробности.

49) Выбор между силой и вероломством зависит от различной манеры читать рукописи Анастасия; в одной из них стоит слово decеperat, а в другой decerpserat (Script. Ital., том III, часть I, стр. 17).

50) Codex Carolinus есть сборник папских посланий к Карлу Мартеллу (которого эти послания называют Subregulus), Пипину и Карлу Великому, доходящих до 791 года, когда они были собраны последним из этих монархов. Подлинный и достоверный манускрипт этого сборника (Bibliothecae Cubicularis) находится в настоящее время в Венской императорской библиотеке и был издан Ламбецием и Муратори (Script. Rerum Ital., том III, часть 2, стр. 75 и сл.).

51) См. это в высшей степени странное письмо в Codex Carolinus, посл. 3, стр. 92. Враги папы обвиняли его во лжи и в богохульстве, однако он, без сомнения, желал скорее убедить, чем обмануть. Эта манера выражаться от имени умерших или бессмертных была в большом употреблении у древних ораторов, хотя в настоящем случае она носит на себе отпечаток грубости той эпохи, о которой идет речь.

52) Впрочем, они не приняли этой предосторожности в деле о дочери Дезидерия, с которой Карл Великий развелся sine aliquo crimine. Папа Стефан IV с яростью воспротивился брачному союзу одного знатного франка cum perfidâ, horridâ, nec dicendâ, foetentissimâ natione Langobardum, которой он приписывает происхождение проказы (Cod. Carolin. epist. 45, стр. 178, 179). Одной из причин сопротивления этому брачному союзу также было существование первой жены (Muratori, Annali d' Italia, т. VI, стр. 232, 233, 236, 237). Но Карл Великий не стесняясь дозволял себе многоженство или содержание наложниц.

53) См. Annali d' Italia Муратори, том VI и три первые диссертации в его Antiquitates Italiae Medii Aevi, том. I. (Принадлежавшее лангобардам герцогство Беневентское не было завоевано Карлом Великим и долго сохраняло свою независимость. См. Ист. Средн. Век. Галлама и авторитеты, на которые он ссылается, ч. 1, стр. II и 326. Судьба, выпавшая впоследствии на долю Беневента и его герцогов, наполняет немало страниц в Летописях Муратори.— Издат.)

54) Кроме других заурядных историков, три французских критика Launoy (Opera, том V, часть 2, кн. 7, посл. 9, стр. 477-487), Pagi (Critica A. D. 751, N1-6, A D 752, N1-10) и Natalis Alexander (Hist. Novi Testamenti, dissertat. 2, стр. 96-107) рассматривали вопрос о низложении Хильдерика со знанием и старанием, но вместе с тем с сильным желанием оградить независимость короны. Однако их сильно стесняют тексты, которые они цитируют из произведений Эйнгарда, Феофана и из старинных летописей Laureshamenses, Fuldenses, Loisielani.

55) Нельзя сказать, чтобы это было сделано в первый раз. Такой же обряд был совершаем на менее видной сцене провинциальными епископами британскими и испанскими в шестом и седьмом столетиях. Совершавшееся в Константинополе помазание на царство было заимствовано от латинов в последнюю эпоху существования империи. Константин Манассес, упоминая о помазании Карла Великого, считает этот обряд иноземным, иудейским и непонятным. См. Почетные Титулы Сельдена в собрании его сочинений, т. III, часть 1, стр. 234-249.

56) Эйнгард, in Vita Caroli Magni, гл. 1, стр. 9 и сл.; гл. 3, стр. 24. Хильдерик был низложен jussû, а Каролинги были возведены на престол auctoritate Pontificis Romani. Лонуа и вместе с ним некоторые другие

писатели полагают, что эти энергичные слова допускают очень мягкое объяснение. Допустим, что это правда, однако Эйнгард хорошо знал и свет, и двор, и латинский язык. (Относительно этого места в сочинениях Эйнгарда Галлам замечает (ч. II. стр. 234), что "per auctoritatem — двусмысленное выражение, которое, смотря по расположению истолкователя, может быть принято и в смысле приказания, и в смысле совета". На той же странице говорится, что низложение Хильдерика было "первым примером вмешательства пап в избрание светского правителя не одним только путем увещаний"; но с этим нельзя согласиться. Этому вмешательству предшествовали отлучение от церкви императора Льва и восстание Италии по подстрекательству Григория II,— а это было также низложение в той мере, в какой были под рукой материальные силы, чтобы привести его в исполнение. Тот же прозорливый писатель основательно замечает, что "франки, поднявшие на щите избранного ими короля, конечно, никогда не могли думать, что этот король получил право царствовать от иноземного монарха. Тем не менее позднейшим защитникам папской власти нетрудно было истолковывать этот факт в таком смысле, какой был всего более благоприятен для притязаний пап на верховное владычество над всеми земными царями."— Издат.)

57) Относительно титула и власти римских патрициев см. Дюканжа (Gloss. Latin. том V, стр. 149-151), Пажи (Critica, A. D. 740, N6-11), Муратори (Annali d'Italia, том VI, стр. 308-329) и Сен-Марка (Abrégé Chronologique d'Italie, том 1, стр. 379-382). Между этими писателями францисканец Пажи всех более расположен считать патрициев скорее за представителей церкви, чем за представителей империи.

58) Защитники папы могут ослаблять символическое значение знамени и ключей, но слова ad regnum dimisimus или direximus (Codex. Carolin. epist. 1, том III, часть 2, стр. 76), по-видимому, не допускают ни смягчения, ни отговорок. В манускриптах Венской библиотеки они читают rogum, просьба или предложение (См. Дюканжа) вместо regnum, а это важное изменение уничтожает королевскую власть Карла Мартелла. (Каталани в своих Критических Предисловиях к Annali d'Italia, т. XVII, стр. 95-99).

59) При подлинном описании этого приема Liber Pontificalis замечает: obviam illi ejus sanctitas dirigens venerabiles cruces, id est signa; sicut mos est ad exarchum, aut patricium suscipiendum, eum cum ingenti honore suscipi fecit (том III, часть 1, стр. 185). (Школы, которые были собраны в честь Карла Великого, не следует принимать за собрание учащейся молодежи. Любознательный читатель может проследить по Thesaurus Стефани, 8982 и по толковому словарю Дюканжа (6 220), каким образом смысл греческого слова schole, обозначавшего досуг, мало-помалу изменялся так, что в наше время это слово обозначает труд, употребляемый на приобретение познаний. Во времена Карла Великого школами называли военные штабы, чиновников различных департаментов государственного управления и всех должностных лиц, состоявших на общественной службе.— Издат.)

60) Павел Диакон, писавший до возведения Карла Великого в звание императора, говорит о Риме как о городе, ему подвластном — vestrae civitates (ad Pompeium Festum), suis addidit sceptris (de

Metensis Ecclesiae Episcopis). Вычеканенные в Риме каролингские медали побудили Ле Блана написать ученую, хотя и пристрастную, диссертацию о владычестве франкских королей над Римом и в качестве патрициев, и в качестве императоров. (Амстердам, 1692, in quarto).

61) Мозгейм (Institution. Hist. Eccles. стр. 263) обсуждает этот акт дарения с добросовестным и зрелым благоразумием. Подлинный документ не был никогда предъявлен; но Liber Pontificalis описывает (стр. 171) этот щедрый дар, а Codex Carolinus предполагает, что он действительно состоялся. Эти оба произведения современны с теми событиями, а последнее из них тем более заслуживает доверия, что оно хранилось не в папской, а в императорской библиотеке.

62) Имея перед глазами с одной стороны чрезмерные притязания, а с другой незначительные уступки, происходящие от пристрастия и от предрассудков, от которых не умел освободиться даже Муратори (Antiquitat. том 1, стр. 63-68), я, при определении объема экзархата и Пентаполии, принял в руководство Dissertatio Chorographica Italiae Medii Aevi, том X, стр. 160-180.

63) Spoletini deprecati sunt, ut eos in servitio B. Petri reciperet et more Romanorun tonsurari faceret (Анастасий, стр. 185). Однако можно бы было спросить, что они отдали — самих себя или свою страну.

64) Политику и пожалования Карла Великого тщательно расследовал С. Марк (Abrégé, том 1, стр. 390-408), хорошо изучивший Codex Carolinus. Я разделяю его мнение, что эти пожалования были только на словах. Самый древний из актов пожалования, на которые делаются ссылки, приписывают Людовику Благочестивому (Сигоний, de Regno Italiae, кн. 4, Opera, том 2, стр. 267-270); его подлинность или, по меньшей мере, его неподдельность возбуждает сильные сомнения (Pagi A. D. 817, N7 и сл.; Muratori, Annali, том VI, стр. 432 и сл., Dissertat. Chorographica, стр. 33, 34); но я не вижу никаких серьезных возражений против того, что эти монархи так свободно распоряжались тем, что им не принадлежало.

65) Карл Великий просил и получил от их владельца Адриана I мозаики равеннского дворца для того, чтобы украсить ими Ахен. (Cod. Carolin. epist. 67, стр. 223). (О равеннских мозаиках упоминал Павлин еще в пятом столетии: Ravennae civitatis Musiva atque marmora (Epist. 67), а в половине шестого столетия Кассиодор (Var. VII. 5) включает Musivarius'a в число дворцовых артистов. Это искусство было перенесено в Италию из Константинополя, но нет возможности уяснить ни его начало, ни происхождение его названия.

66) Папы часто жаловались на узурпацию Льва Равеннского (Codex Carolin. epist. 51-53, стр. 200-205). Si corpus St. Andreae fratris germani St. Petri hic humasset, nequaquam nos Romani pontifices sic subjugassent. (Agnellus, Liber Pontificalis, in Scriptores Rerum Ital. том II, часть 1, стр. 107).

67) Piissimo Constantino magno, per ejus largitatem S.R. Ecclesia elevata et exaltata est, et potestatem in his Hesperiae partibus largiri dignatus est... Quia ecce novus Constantinus his temporibus, etc. (Codex Carolin. epist. 49, в томе III, часть 2, стр. 195). Пажи (Critica, A. D. 324, N16) приписывает их одному, жившему в восьмом столетии обманщику, который выдал себя за св. Исидора; его скромный титул

Peccator был по невежеству или в насмешку превращен в слово Mercator; действительно, его торговля оказалась чрезвычайно выгодной, так как несколько листов бумаги были проданы за огромные богатства и за светское могущество.

68) Фабриций (Bibliot. Graec. том VI, стр. 4-7) перечислил различные издания этого документа на греческом и на латинском языках. Копия, которую цитирует и опровергает Лоренцо Валла, как кажется, была снята с поддельных Актов св. Сильвестра или с Грацианова Декрета, к которому — по его мнению и по мнению некоторых других писателей — была присоединена подложным образом.

69) Согласно с мнениями папы Льва IX, кардинала Петра Дамиана и других (действительно ли они так думали?), Муратори (Annali d'Italia, том IX, стр. 23, 24) относит к 1059 году мнимые пожалования Льва Благочестивого, Оттона и пр. (de Donatione Constantini) См. Диссертацию Наталиса Александра, seculum 4, diss, 25, стр. 335-350.

70) См. подробное описание этого спора (A. D. 1105), возникшего из частного процесса, в Chronicon Farsense Script. Rerum Italicarum, том II, часть 2, стр. 637 и сл., обширном извлечении из архивов этого бенедиктинского аббатства. Эти архивы когда-то были доступны для любознательных иностранцев (Ле Блана и Мабильона) и могли бы обогатить первую часть произведения Квирини Historia Monastica Italiae. Но трусливая политика римского правительства теперь держит их взаперти (Муратори, Scriptores R. I., том II, часть 2, стр. 269), и искавший кардинальского звания Квирини преклонился перед требованиями старших и перед внушениями честолюбия. (Quirini, Comment. ч. 2, стр. 123-136).

71) Я читал в сборнике Schardius'a (de Potestate Imperiali Ecclesiastica, стр. 734-750) это полное огня рассуждение, написанное Валлой A. D. 1440, через шесть лет после бегства папы Евгения IV. Это — резкий памфлет, внушенный духом партии. Валла оправдывает и возбуждает восстание римлян и даже готов одобрить употребление кинжала в борьбе с их духовным тираном. Такой критик мог бы ожидать преследований со стороны духовенства, однако он примирился со своими противниками и был погребен в Латеране. (Bayle, Dictionnaire Critique, Valla; Vossius, de Historicis Latinis, стр. 580).

72) См., что говорит преданный слуга пап Гвиччардини в том длинном и ценном отступлении, которое снова заняло свое место в последнем издании, правильно составленном по рукописям автора и вышедшем в четырех томах in quarto во Фрейбурге в 1775 году (Istoria d'Italia, том I, стр. 385-395).

73) Рыцарь чести Айстульф нашел ее на Луне в числе тех вещей, которые были утрачены на Земле (Orlando Furioso, 34, 80).

Di vari fiori ad un gran monte passa,
Ch'ebbe gia buono odore, or puzza forte;
Questo era li dono (se pero dir lece).
Che Constantino al buon Silvestro fece.

Однако эта бесподобная поэма была одобрена буллой Льва X.

74) См. Барония, A. D. 324, N117-123; A. D. 1191, N51 и сл. Кардинал склонен думать, что Константин предложил Рим Сильвестру, но что этот последний отказался от этого подарка. К нашему удивлению, он считает акт пожалования подлогом со стороны греков.

75) Baronius n'en dit guere contre; encore en a-t'il trop dit, et l'on vouloit, sans moi (Cardinal du Perron) qui l'empechai, censurer cette partie de son histoire. J'en devisai un jour avec le Pape, et il ne me répondit autre chose "Che volete? i Canonici la leggono" il le disoit en riant (Perronina, стр. 77).

76) Остальную историю иконопочитания со времен Ирины до времен Феодоры излагали, между католиками, Бароний и Пажи (A. D. 780-840). Наталис Александр (Hist. N. T. seculum 8; Papoplia adversus Haereticos, стр. 118-178) и Dupin (Bibliot. Ecclés. том VI, стр. 136-154); со стороны протестантов: Шпангейм (Hist. dmag. стр. 305-639), Баснаж (Hist. de l'Eglise, том I, стр. 556-572; том II, стр. 1362-1385) и Мозгейм (Institut. Eccles: secul. VIII и IX). Протестанты, за исключением Мозгейма, доходят от этих споров до ожесточения, а католики, за исключением Дюпена, воспламеняются до свойственных монахам ярости и суеверия, и даже Le Beau (Hist. du Bas Empire), который был и джентльмен, и ученый, не избавился от этой гнусной заразы.

77) См. акты второго Никейского собора на языках греческом и латинском, вместе с относящимися к ним документами, в восьмом томе соборных постановлений, стр. 645-1600. Верный текст с некоторыми критическими примечаниями вызвал бы со стороны читателей, смотря по тому, каково их настроение, или вздох, или улыбку.

78) Папские легаты были ничто иное, как случайно прибывшие посланцы; это были два священника, на которых не было возложено никакой специальной миссии и от которых папа отказался, когда они возвратились домой. Католики уговорили каких-то праздношатающихся монахов разыграть роль восточных патриархов. Этот интересный анекдот рассказан Феодором Студитом — одним из самых усердных иконоборцев того времени (epist. I. 38, in Sirmond Opp. том V, стр. 1319).

79) Actio 5, стр. 1031.

80) См. описание этих споров в Алексиаде Анны Комнин (кн. 5, стр. 129) и у Мозгейма (Institut, Hist. Eccles. стр. 371, 372).

81) Я разумею Libri Carolini (Шпангейм, стр. 443-529), которые были написаны в Вормсе, во дворце или на зимних квартирах Карла Великого, A. D. 790, и были посланы через Ангильберта папе Адриану I, который отвечал на них в grandis et verbosa epistola (Concil том VIII, стр. 1553). В этих книгах Каролингов изложены сто двадцать возражений против Никейского собора; вот некоторые из цветков их риторики:— dementian priscae Gentilitatis.... obsoletum errorem... argumenta insanissima et absurdissima... derisione dignas naenias, etc.

82) Собрания, которые созывал Карл Великий, имели в одно и то же время и политический и церковный характер, а в число тех трехсот членов (Nat. Alexander, sec. 8, стр. 53), которые заседали во франкфурте, должно быть, входили не только епископы, но также аббаты и даже высшие из мирян.

83) Qui supra sanctissima patres nostri (episcopi et sacerdotes) omnimodis servitium et adorationem imagimum renuentes contempserunt, atque consentientes condemnaverunt (Concil. том IX, стр. 101, canon 2, Francfurt). Нужно иметь очень черствое сердце, чтобы не чувствовать сострадания при виде того, как Бароний, Пажи,

Александр и Мэмбург стараются отклонить от себя этот пагубный приговор.

84) Феофан (стр. 343) указывает на поместья на Сицилии и в Калабрии, доставлявшие ежегодный доход в три с половиной таланта золота (около семи тысяч фунтов стерлингов Лиутпранд высокопарно перечисляет поместья, которыми римская церковь владела в Греции, Иудее, Персии, Месопотамии, Вавилонии, Египте и Ливии и которые были несправедливо захвачены греческим императором (Legat. ad Nicephorum in Scropt. Rerum Italicarum, том II, часть 1, стр. 481).

85) Обширная восточно-иллирийская епархия заключала в себе Апулию, Калабрию и Сицилию (Thomassin, Discipline de l'Eglise, том 1, стр. 145); по признанию греков, Константинопольский патриарх оторвал от Рима митрополитов Фессалоникского, Афинского, Коринфского, Никопольского и Патрасского (Luc. Holsten. Geograph. Sacra, стр. 22), и его духовные завоевания простирались до Неаполя и до Амальфи (Giannone, Istoria Civile di Napoli, том 1, стр. 517-524. Пажи A. D. 730, N11).

86) In hoc ostenditur, quia ex uno capitulo ab errore reversis, in aliis duobus, in eodem (разве это было то же самое заблуждение?) permaneant errore... de diocesi. S. R. E. seu de patrimoniis iterum increpantes commonemus, ut si ea restituere noluerit hereticum eum pro hujusmodi errore perseverantia decernemus (Epist. Hadrian, Papae ad Carolum Magnum, in Concil. том VIII, стр. 1598); к этому он присовокупляет такой мотив, который самым решительным образом противоречит его образу действий: он говорит, что предпочитает благам этой временной жизни спасение душ и правила религии.

87) Фонтанини полагает, что императоры были не более как защитники церкви (advocatus et defensor S. R. E. См. Ducange, Gloss. Lat. том. 1, стр. 297). Его противник Муратори низводит пап на положение императорских экзархов. По более основательному мнению Мозгейма (Institut. Hist. Eccles. стр. 264, 265), Рим находился во власти пап под верховенством императоров, и это был особый и самый почетный вид ленных поместьев, или бенефиций, впрочем, эти подробности premuntur nocte caliginosa!

88) Его заслуги и его надежды изложены в эпитафии из тридцати восьми стихов, автором которых был, по собственному признанию, Карл Великий (Concil. том VIII, стр. 520):

Post patrem lacrymans Carolus haec carmina scripsi.
Tu mihi dulcis amor, te modo plango pater...
Nomina jungo simul titulis, clarissime, nostra
Adrianus, Carolus, rex ego, tuque pater.

Стихи, быть может, были написаны Алкуином, но слезы — эта самая почетная дань уважения — могли принадлежать только Карлу Великому.

89) К каждому новому папе обращаются со словами: Sancte Pater, non videbis annos Petri — то есть двадцати пяти лет. Из списка пап видно, что средняя продолжительность их жизни не доходит до восьми лет, а это очень мало для честолюбивых кардиналов.

90) Анастасий положительно это утверждает (том III, часть 1, стр. 197, 198), а некоторые легковерные франкские летописцы также это-

му верят; но Эйнгард и другие современные писатели или более благоразумны, или более добросовестны. Unusei oculus paullulum est laesus,— говорит Неапольский диакон Иоанн. (Vit. Episcop. Napol. in Scriptores Muratori, том 1, часть 2, стр. 312). Теодольф, бывший в ту пору епископом Орлеанским, с осторожностью замечает (кн. 3, carm. 3):

Reddita sunt? mirum est: mirum est auferre nequisse.
Est tamen in dubio, hinc mirer an inde magis.

91) Он два раза появлялся в Риме по приглашению Адриана и Льва — longa tunica et chlamyde amictus, et calceamentis quoque Romano more formatis. Эйнгард (гл. 23, стр. 109-113), по примеру Светония, описывает его простую одежду, которая была так общеупотребительна у его соотечественников, что когда Карл Лысый возвратился во Францию в чужеземном одеянии, то собаки из патриотизма с лаем бросались на этого отщепенца. (Gaillard, Vie de Charlemagne, том IV, стр. 109).

92) См. Анастасия (стр. 199) и Эйнгарда (сл. 28, стр. 124-128). Феофан (стр. 399) упоминает о помазании, Сигоний (согласно с Ordo Romanus) о клятве, а Annales Bertiniani о возданном папой поклонении, more antiquorum principum. (Script. Muratori. том II, часть 2, стр. 505).

93) Этот важный факт перемещения или восстановления империи описывали и обсуждали: Наталис Александр (secul. 9, dissert. 1, стр. 390-397); Пажи (том III, стр. 418); Муратори (Annali d'Italia, том VI, стр. 339-352); Сигоний (de Regno Italiae, кн. 4, Opp. том II, стр. 247-251); Шпангейм (de ficta Translatione Imperii); Джианноне (том. 1, стр. 395-405); Сен-Марк (Abrégé Chronologique, том. 1, стр. 438-450), Гальяр (Hist. de Charlemagne том II, стр. 386-446). Почти у каждого из этих новейших писателей была какая-нибудь религиозная или национальная цель.

94) Мабли (Observations surel' Histoire de France), Вольтер (Histoire Générale), Робертсон (History of Charles V) и Монтескье (Esprit des Loix, кн. 31, гл. 18). В 1782 г. Гальяр издал свою Историю Карла Великого в четырех частях duodecimo, которой я пользовался без стеснения. Автор — человек рассудительный и гуманный, а его сочинение написано с тщательностью и изяществом. Но я также справлялся с подлинными памятникам царствований Пипина и Карла Великого в пятом томе Историков Франции.

95) Видение Велтина, выдуманное одним монахом через одиннадцать лет после смерти Карла Великого, представляет императора в чистилище; ястреб постоянно выедает преступный член его тела, между тем как остальные члены этого тела, как эмблемы его добродетелей, остаются здравыми и невредимыми. (Gaillard, том II, стр. 317-360).

96) Факт бракосочетания Эйнгарда с дочерью Карла Великого Иммой, по моему мнению, опровергается тем, что Эйнгард употребил слова probrum и suspicio, говоря об этих красивых девицах и не делая исключения для своей собственной жены (гл. 19, стр. 98-100, cum Notis Schminke). Супруг едва ли мог обладать таким мужеством при исполнении обязанностей историка.

97) Кроме убийств и переселений, смертную казнь влекли за собой

еще следующие преступления: 1) отказ от крещения; 2) ложная ссылка на то, что крещение уже состоялось; 3) возвращение к идолопоклонству; 4) умерщвление священника или епископа; 5) человеческие жертвоприношения; 6) употребление в пищу мяса во время Великого поста. Но каждое из этих преступлений можно было загладить крещением или покаянием (Gaillard, том II, стр. 241-247), и принявшие христианство саксы становились друзьями франков и их равными (Struv. Corpus Hist Germanicae, стр. 133).

98) Знаменитый Рутланд, Роланд или Орландо, был убит в этом сражении cum pluribus aliis. Правду можно найти у Эйнгарда (гл. 9, стр. 51-56), а вымысел в остроумном приложении Gaillard'a (том III, стр. 474). Испанцы не в меру гордятся победой, которую история приписывает гасконцам, а роман сарацинам. (Арабские писатели лишь слегка упоминают об этом сражении, A. H. 162 (A. D. 778). Через сорок шесть лет после того, на одиннадцатом году царствования преемника Карла Великого, A. H 209 (A. D. 624), произошло, по их рассказам, более серьезное поражение франков в Ронсевальском ущелье, которое они называют Борт Хезаром, или Извилистыми Воротами. (Conde , Арабы в Испании, стр. 214, 273, изд. Bohn.— Издат.)

99) Однако Шмидт, ссылаясь на самые лучшие авторитеты, описывает внутреннюю неурядицу и гнет, которыми отличалось его царствование (Hist. des Allemands, том II, стр. 45-49). (Характер Карла Великого всего лучше можно изучить по сочинениям Галлама (Средние Века 1, 16) и Шмидта (Geschichte der Deutschen, 1, 471-473). Первый из них говорит, что "едва ли не самой лучшей похвалой для этого императора служат унижения и бедствия, которые испытала Европа в следующую за ним эпоху". Но Шмидт полагает, что эти бедствия были последствием его честолюбивого влечения к завоеваниям и его притеснительной системы управления. Его славу омрачает тот факт, что он не приготовил для своих подданных лучшей будущности.— Издат.)

100) Omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad ecclesiam conferat. Experimento enim didicimus, in anno, quo illa valida fames irrepsit, ebullire vicuas annonas a daemonibus devoratas, et voces exprobationis auditas. Так гласит декрет великого франкфуртского собора (canon 25, том IX, стр. 105). И Сельден (Hist. of Tithes; Works, том III, часть 2, стр. 1146), и Монтескье (Esprit des Loix, кн. 31, гл. 12) считают Карла Великого первым легальным установителем десятинной подати. Вот чем обязаны ему землевладельцы!

101) Эйнгард (гл. 25, стр. 119) ясно говорит: tentabat et scribere... sed parum prospere successit labor praeposterus et sero inchoatus. Новейшие писатели извратили и изменили ясный смысл этих слов, и самое заглавие диссертации Gaillard'a (том III, стр. 247-260) обнаруживает его пристрастие.

102) См. Гальяра, том III, стр. 138-176, и Шмидта, том II, стр. 121-129.

103) Gaillard (том III, стр. 372) определяет рост Карла Великого (см. Диссертацию Marquard Freher'a ad calcem Eginhart, стр. 220 и сл.) в пять футов и девять дюймов французской меры, что составляет почти шесть футов и один с четвертью дюйм английской меры. Сочинители романов увеличили этот рост до восьми футов и приписывали этому гиганту необычайную физическую силу и необычайный аппе-

тит: одним ударом своего меча Joyeuse (Жуайез) он рассекал пополам и всадника, и его коня; за одним обедом он съедал целого гуся, двух куриц, четверть барана и т. д.

104) См. сжатое, но отличающееся точностью и оригинальностью сочинение Д'Анвилля Etats formès en Europe après la Chute de l'Empire Romain en Occident, Paris, 1771, in 4-to; приложенная к этому сочинению географическая карта обнимает все владения Карла Великого; для различных его частей могут служить иллюстрацией: относительно Франции Валуа (Notitia Galliarum); относительно Италии Беретти (Dissertatio Chorographica), относительно Испании де-Марка (Marca Hispanica). Я сам сознаюсь, что относительно географии Германии в средние века мои сведения и мои материалы скудны.

105) После краткого описания его войн и завоеваний (Vit. Carol. гл. 5-14) Эйнгард перечисляет в немногих словах (гл. 15) те страны, которые подчинены его владычеству. Струвиус (Corpus Hist. German. стр. 118-149) внес в свои примечания тексты старинных Хроник.

106) Они находились точно в таком же положении по отношению к франкам, в каком валлийцы находились по отношению к англосаксам. Гиббон называет их britons, но их следует называть Bretons.— Издат.

107) В одной хартии, пожалованной Карлом Лысым Алаонскому монастырю (A. D. 845), изложена эта генеалогия. Я не знаю, все ли принадлежавшие к этой цепи звенья девятого и десятого столетия так же крепки. Однако всю эту генеалогию одобряет и защищает Гальяр (том II, стр. 60-81, 203-206), который утверждает, что род Монтескье (не президента Монтескье) происходит в женской линии от Лотаря и Хлодвига,— какое безвредное притязание.

108) Наместники или графы испанской марки восстали около 900 года против Карла Простого, и только незначительная часть этих владений, Руссильон, была снова приобретена французскими королями в 1642 г. (Longerue, Description de la France, том 1, стр. 220-222). Однако в Руссильоне 188.900 подданных, и он доставляет государственной казне ежегодный доход в 2.600.000 ливров (Necker, Administration des Finances, том 1, стр. 278, 279); во всей марке Карла Великого число жителей едва ли доходило до этой цифры, а доходу она приносила, без всякого сомнения, меньше. (Испанская марка составляла если не сомнительную, то, по меньшей мере, весьма непрочную принадлежность империи Карла Великого. Ею владели или в целом составе, или по частям то франки, то сарацины, то мятежные начальники, и она не доставляла постоянных ресурсов никому из них. См. Историю Владычества арабов в Испании, Конде, ч. 1, стр. 234-259, изд. Bohn; в этом сочинении много новых и ценных сведений о весьма интересных событиях, а эти сведения извлечены из оригинальных арабских сочинений. Эти писатели, со своей стороны, сообщают много поучительных, хотя, без всякого сомнения, пристрастно изложенных подробностей, но они были так мало знакомы со своими противниками, что на страницах их произведений не встречается имени Карла Великого.— Издат.)

109) Schmidt, Hist. des Allemands, том II, стр. 200 и сл.

110) См. Giannone, том 1, стр. 374, 375 и Летописи Муратори.

111) Quot praelia in eo gesta! quantum sanguinis effusum sit! Testatur vacua omni habitatione Pannonia, et locus in quo regia Cagani fuit ita desertus, ut ne vestigium quidem humanae habitationis appareat. Tota in hoc bello Hunnorum nobilitas periit, tota gloria decidit, omnis pecunia et congesti ex longo tempore thesauri direpti sunt. Эйнгард, 113.

112) Соединение Рейна с Дунаем было предпринято только для облегчения военных действий в Паннонии (Gaillard, Vie de Charlemagne, том II, стр. 312-315). Сильные дожди, военные заботы и суеверные опасения прекратили работы для проведения канала, который должен был иметь в длину только две мили и следы которого до сих пор сохранились в Швабии (Schoepflin. Hist. de l'Academie des Inscription, том XIII, стр. 256. Molimina fluviorun etc. jungendorum, стр. 59-62). (Муратори говорит, что прорытие этого канала было предпринято для облегчения торговых сношений. Annali d'Italia, X, 334,— Издат.)

113) См. Эйнгарда, гл. 16, и Гальяра, том II, стр. 316-385; этот последний, без ссылки на надежный авторитет, говорит о сношениях Карла Великого с Эгбертом, о том, что император подарил Эгберту свой собственный меч, и о скромном ответе англо-саксонского короля. Если бы этот анекдот *был* достоверен, он послужил бы украшением для истории нашего отечества. (О трехлетнем пребывании Эгберта во Франции перед тем, как он был призван на престол Уэссекса, упоминает Саксонская Хроника (A. D. 836, стр. 347, изд. Bohn), а с нее списывали и позднейшие летописцы. Вильгельм Мальмесбюрийский (II, I) прибавляет некоторые другие подробности. Лаппенберг (Hist. Ang. Sax. II, I) продлил этот срок до тринадцати лет и называет Эгберта "могущественным другом" Карла Великого (Ib. стр. 5).— Издат.)

114) Об этих сношениях упоминают лишь французские летописи, а восточные летописцы ничего не знали о дружбе халифа к собакехристианину; это вежливое название харун давал греческому императору.

115) Гальяр, том II, стр. 361-365, 471-476, 492. Я заимствовал от него и его основательные замечания о плане, которого держался Карл Великий в своих завоеваниях, и не менее основательное разделение врагов императора на таких, которые составляли первую enceinte, и таких, которые составляли вторую.

116) Биограф Людовика Thegan описывает это коронование, а его рассказ добросовестно переписан Баронием (A. D. 813, N13 и сл., см. Gaillard, том II, стр. 506-508), несмотря на то, что неблагоприятен для папских притязаний. Относительно всей серии каролингских монархов см. историков Франции, Италии и Германии — Пфеффеля, Шмидта, Велли, Муратори и даже Вольтера, рассказы которого иногда верны и всегда занимательны.

117) Он был сыном Оттона, который был сыном того Людольфа, в пользу которого было учреждено герцогство Саксонское, A. D. 858. Биограф св. Бруно Руотгер (Bibliot. Bunavianae Catalog, том III, ч. II, стр. 679) придает членам этого семейства самые блестящие достоинства. Atavorum atavi usque ad hominum memoriam omnes nobilissimi; nullus in eorum stirpe ignotus, nullus in degener facile reperitur (apud

Struvium, Corp. Hist. German. стр. 216). Впрочем, Гюндлинг (in Henrico Aucupe) не уверен в его происхождении от Видукинда.

118) См. трактат Корингия (de Finibus Imperii Germanici, Francofurt, 1860, in quarto); он отвергает преувеличенные мнения о размерах Римской империи и империи Карла Великого, и с умеренностью взвешивает права Германии, ее вассалов и ее соседей.

119) Сила привычки заставляет меня поместить Конрада I и Генриха I Птицелова в список императоров, хотя эти германские короли никогда не принимали императорского титула. Итальянские писатели, как, например, Муратори, более осмотрительны и более точны: они вносят в этот список только тех монархов, которые были коронованы в Риме.

120) Invidiam tamen suscepti nominis (C. P. imperatoribus super hoc indignantibus) magna tulit patientia, vicitque eorum contumaciam... mittendo ad eos crebras legationes, et in epistolis fratres eos appellando (Эйнгард, гл. 28, стр. 128). Быть может, из уважения к ним он, подобно Августу, делал вид, будто неохотно принимает империю.

121) Феофан говорит о короновании и помазании Карла, (Chronograph, стр. 399) и о брачном договоре с Ириной (стр. 402), о котором ничего не знали латины. Гальяр описывает его договоры с Греческой империей (том II, стр. 446-468).

122) Гальяр основательно замечает, что эта пышность была фарсом, приличным только для детей, но что она выставлялась на показ действительно в присутствии и для пользы детей более зрелого возраста.

123) Из собранных у Пажи подлинных текстов (том III, A. D. 812, N7; A. D. 824, N10 и сл.) можно видеть контраст между обхождением греков с Карлом Великим и их обхождением с его сыном: послы Михаила (впрочем, император не одобрил их поведения), обращаясь к первому, more suo, id est lingua Graeca laudes dexerunt, imperatorem eum et Basilea appelantes, а обращаясь ко второму, Vocato imperatori Francorum etc.

124) См. это послание в Paralipomena жившего в Салерно анонимного автора (Scrit. Ital., том II, часть 2, стр. 243-254, гл. 93-107), которого Бароний (A. D. 871, N51-71) ошибочно принял за Эрхемперта, когда переписывал это послание в своих Летописях.

125) Ipse enim vos, non imperatorem id est Basilea sua lingua, sed ob indignationem Rega, id est regem nostra vocabat. Лиутпранд (in Legat, in Script. Ital. том II, часть I, стр. 479). Папа убеждал императора греков Никифора заключить мир с августейшим императором римлян — quae inscriptio secundum Graecos peccatoria et temeraria... imperatorem inquiunt universalem, Romanorum, Augustum, magnum, solum, Nicephorum (стр. 486).

126) О происхождении и увеличивавшемся значении кардинальского титула можно найти сведения у Thomassin (Discipline d'Eglise, том I, стр. 1261-1298), у Муратори (Antiquitat. Italiae Medii Aevi, том VI, dissert. 61, стр. 159-182) и у Мозгейма (Institut. Hist. Eccles., стр. 345-347), который тщательно излагает и формы избрания, и происшедшие в них изменения. Кардиналы — епископы, которых Петр Дамиан

ставит так высоко, низошли на один уровень с остальными членами священной коллегии.

127) Firmiter jurantes, nunquam se papam electuros aut ordinaturos, praeter consensum et electionem Othonis et ilii sui (Лиутпранд, кн. 6, гл. 6, стр. 472). Эта важная уступка может считаться заменой или утверждением тех декретов римского духовенства и народа, которые так горячо отвергаются Баронием, Пажи и Муратори (A.D. 964) и так хорошо защищаются и объясняются Сен-Марком (Abrégé, том 11, стр. 808-816; том IV, стр. 1167-1185). В том, что касается избрания и утверждения каждого папы, могут служить пособием произведения этого исторического критика и Летописи Муратори.

128) В истории Лиутпранда и в отчете о его дипломатической миссии (440, 450, 471-476, 479 и сл.) описаны яркими красками угнетение римской церкви и ее пороки; нам кажется очень странным то, что Муратори смягчает оскорбительные выражения, в которых Бароний отзывается о папах. Но эти папы были выбраны не кардиналами, а светскими покровителями.

129) Эпоха, к которой относят существование паписсы Иоанны (papissa Ioanna), незадолго предшествовала той, когда жили Феодора и Мароция, а два года ее воображаемого царствования вмещаются между царствованиями Льва IV и Бенедикта III. Но писатель того времени Анастасий утверждает, что немедленно вслед за смертью Льва состоялось возвышение Бенедикта (illico, mox, стр. 247), а аккуратная хронология Пажи, Муратори и Лейбница относит оба эти события к 857 году.

130) Писатели, которые отстаивают существование паписсы Иоанны, ссылаются на сто пятьдесят свидетельств или, верней, на сто пятьдесят отголосков из четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого столетий. Они опровергают и самих себя, и легенду, стараясь привести как можно более доказательств того, что такую интересную историю должны были повторять писатели всякого рода. На писателей девятого и десятого столетий такой недавно случившийся факт должен бы был произвести еще более сильное впечатление. Разве Фотий пренебрег бы таким обвинением? Разве Лиутпранд оставил бы без внимания такой скандал? Едва ли стоит труда обсуждать то, что говорят об этом предмете Martinus Polonus, Sigebert de Gemblours или Marianus Scots, а то место относительно паписсы Иоанны, которое было вставлено в некоторые манускрипты и издания римлянина Анастасия, носит на себе явные признаки подлога.

131) Эту историю следует считать за вымышленную, но ее нельзя считать неправдоподобной. Предположим, что прославившийся в наше время французский кавалер (mademoiselle D'Eon) родился в Италии и был воспитан не для военной службы, а для церковной; ее заслуги или ее счастливая судьба могли бы возвысить ее до престола св.Петра; ее любовная связь была бы естественна, а то, что она разрешилась от бремени на улице, было бы несчастным происшествием, но не неправдоподобным. (Гиббон подразумевает здесь так называемого Chevalier D'Eon, принадлежность которого к тому или другому полу сделалась в ту пору предметом таких недоразумений, что его лишили должности, которую он занимал во Франции в течение многих лет. Когда он кончил свою жизнь в Англии, медицинское ос-

видетельствование устранило все недоумения насчет его пола.— Издат.)

132) До Реформации этот вымысел повторяли и верили ему, не вызывая протеста, и статуя Иоанны долго стояла в Сиеннском соборе рядом со статуями пап (Pagi, Critica, том III, 624-626). Что эта папесса никогда не существовала, было доказано двумя учеными-протестантами Блонделем и Бэйлем (Dictionnaire Critique, Papesse, Polonus, Blondel); но их единоверцы были скандализованы их справедливой и благородной критикой. Шпангейм и Lenfant пытаются отстоять этот жалкий предмет спора, и даже Мозгейм с удовольствием высказывает некоторые сомнения и подозрения.

133) Муратори не опровергает того, что жизнь Марии, или Мароции, была vita disonesta; но он не соглашается с тем, что Иоанн XI был ее законнорожденный сын от ее мужа Альбериха, маркиза Камерино, и восстает против клеветы Лиутпранда, который утверждает, что этот первосвященник был плодом ее любовной связи с папой Сергием III. Однако кардинал Бароний верит этим "клеветникам" и называет Иоанна XI pseudo-pontifex. (Annali d'Italia, XII, 273, 277 380).— Издат.

134) Lateranense palatium...prostibulum meretricum...Testis omnium gentium, praeterquam Romanorum, absentia mulierum, quae sanctorum apostolorum limina orandi gratia timent viment visere, cum nonnullas ante dies paucos, hunc audierint conjugatas, viduas, virgines, vi oppressisse. (Лиутпранд, Hist. кн. 6, гл. 6, стр. 471). Обо всем, что касается Иоанна XII (см. стр. 471-476).

135) Новым доказательством того, к каким заблуждениям ведут двусмысленные выражения, служит beneficium (Дюканж, том 1, стр. 617 и сл.), который папа пожаловал императору Фридриху I, так как это латинское слово может означать и настоящее ленное поместье, и простую милость или одолжение (у нас нет на английском языке слова, соответствующего французскому слову bienfait). Schmidt, Hist. ades Allemands, том III, стр. 393-408. Pfeffel, Abrégé Chronologique, том 1, стр. 229, 296, 317, 324, 420, 430, 500, 505, 509 и сл.

136) Относительно истории императоров по отношению к Риму и к Италии см. Сигония de Regno Italiae, Opp., том II, с примечаниям Саксия, и Летописи Муратори, который мог бы делать более ясные указания на авторов, вошедших в его обширный сборник.

137) См. Диссертацию Ле Блана в конце его трактата des Monnoyes de France, в котором он описывает некоторые римские монеты французских императоров.

138) Romanorum aliquando servi, scilicet Burgundiones, Romanis imperent?... Romanae urbis dignitas ad tantam est stultitiam ducta, ut meretricum etiam imperio pareat? (Лиутпранд, кн. 3, гл. 12, стр. 450). Сигоний (кн. 6, стр. 400) положительно утверждает, что консульство было восстановлено; но старинные писатели большей частью называют Альбериха princeps Romanorum.

139) Ditmar, стр. 354, apud Schmidt, том III, стр. 439.

140) Этот кровавый пир описан Леонинскими стихами в Пантеоне Готфрида Витербского (Script. Ital. том VII, стр. 436, 437), который славился в конце двенадцатого столетия (Fabricius, Bibliot. Latin,

med. et infimi Aevi, том III, стр. 69, изд. Mansi); Сигоний полагается на его свидетельство, а Муратори относится к нему с основательным недоверием. (Annali, том VIII, стр. 177). (Муратори более чем не доверяет этому свидетельству; он говорит: queste son tutte fandonie — все это выдумки. Но этой истории стоило только раз попасть в хронологии для того, чтобы ее повторяли и до сих пор. В хронологии Блэра, вновь изданной в 1844 г. под внушающей уважение санкцией сэра Генри Эллиса, мы находим под A.D. 981 годом следующую подробность: "Оттон II умертвил членов самой высшей знати во время пира, на который пригласил их".— Издат.)

141) Подробности о короновании императоров и о некоторых оригинальных обрядах десятого столетия сохранились в панегирике Беренгария (Script. Ital., том II, часть I, 405-414), иллюстрированном примечаниями Адриана Валуа и Лейбница. Сигоний описал хорошим латинским языком все подробности относительно поездок этих императоров в Рим; но у него вкрались ошибки и относительно указаний времени, и относительно некоторых подробностей (кн. 7, стр. 441-446).

142) По поводу одной ссоры, происшедшей при коронации Конрада II, Муратори позволяет себе заметить: doveano benessere allora, indisciplinati, Barbari, e bestiali i Tedeschi, Annal. том VIII, стр. 368.

143) После того как эти кости были выварены и от них отстало мясо. Котлы для этой варки составляли необходимую часть домашней утвари, которой запасались перед выступлением в путь, и германец, варивший в таком котле кости своего брата, обещал, по миновании надобности, ссудить его своему приятелю. (Schmidt, том III, стр. 423, 424). Тот же автор замечает, что весь род саксонских императоров угас в Италии (том II, стр. 440). (Эти котлы, как кажется, не входили в состав утвари, которая бралась для лагерной жизни; их можно было добыть в Италии, и потому не было надобности обременять себя такой поклажей во время походов. Не подлежит сомнению, что ряды германских армий сильно редели от вредного влияния климата тех стран, на которые они нападали, и что несколько императоров кончили там свою жизнь. Но эти бедствия были сильно преувеличены и папской партией, старавшейся внушить нерасположение к таким военным предприятиям, и императорскими солдатами, неохотно принимавшими участие в таких экспедициях. Вассалы, приносившие домой кости своих вождей для погребения их на родине, рассказывали такие страшные подробности о вынесенных ими лишениях и бедствиях, что ужас объял всю Германию. Schmidt, Geschichte der Deutschen, 2, 625.— Издат.)

144) Епископ Фрейзингенский Оттон оставил нам очень важные сведения об итальянских городах (кн. 2, гл 13, in Script. Ital. том VI, стр. 707-710), а Муратори (Antiquitat. Ital. Medii Aevi, том VI, dissert. 45-52, стр. 1-675. Annal. том VIII, IX, X) превосходно объяснил возникновение, развитие и форму управления этих республик. (Не вдаваясь в исследование происхождения этих маленьких республик, Галлам прекрасно объяснил первоначальную форму их управления. (Средние века, 1, 337-346). Но он не обратил внимания на тот факт, что таких республик почти вовсе не было вне пределов Северной Италии, в которую лангобарды перенесли все, что было самого живучего в

национальном характере готов. Даже находившаяся на юге республика Амальфи была окружена землями принадлежавшего им герцогства Беневентского и, без сомнения, оттуда получила большую часть своего населения. Такие же проявления самостоятельности со стороны других отраслей той же расы привели к тому же благосостоянию в имперских городах Германии, в городах нидерландских и в таких включенных в состав Великобританского королевства городских обществах, которые получили особые хартии от Генриха I и от его преемников.— Издат.)

145) Относительно этих названий см. Сельдена (Titles of Honour, том III, часть 1, стр. 488), Дюканжа (Gloss. Latin, том II, стр. 140; том VI, стр. 776) и Сен-Марка (Abrégé Chronologique, том II, стр. 719). (Между феодальными титулами, смысл которых трудно объяснить, название вальвассоры всех менее понятно. Дюканж (6. 1439) придает им лишь общее и неопределенное значение Vassalli Feodales и разделяет их на три разряда — regii, minores и minimi. Германские писатели, объяснявшие различные виды ленной зависимости, высказывали различные догадки относительно происхождения этого слова, которое можно найти в Лексиконе Зедлера (44. 457). Самая правдоподобная из этих догадок производит это название от wallvasters; так называли тех, кому поручали защиту укрепленных мест или позволяли укреплять их собственные жилища. Этим они отличались от владельцев обыкновенных ленных поместий, в которых не было укрепленных замков, и они не утрачивали этого отличия, когда селились в обнесенных стенами городах. Галлам называет их lesser gentry (мелкими дворянами). Они впоследствии, вероятно, променяли это название на какое-нибудь более почетное.— Издат.)

146) Ломбарды придумали и ввели в употребление carocium — знамя, водруженное на повозке или на телеге, запряженной волами. (Ducange, том II, стр. 194, 195. Muratori, Antiquitat. том II, dis. 26, стр. 489-493).

147) Gunther Ligurinus, кн. 8, 584 и сл. apud Schmidt, том III, стр. 399.

148) Solus imperator faciem suam firmavit ut petram. (Burcard. de Excidio Mediolani Script. Ital. том VI, стр. 917). В этом томе произведений Муратори помещены подлинные документы относительно истории Фридриха I; сравнивая их одни с другими, не следует упускать из виду положения и предрассудки каждого из германских или ломбардских писателей.

149) Относительно истории Фридриха II и царствовавшего в Неаполе Швабского дома см. Ciaunone, Istoria Civile, том II, кн. 14-19.

150) Относительно того, откуда произошли названия этих партий, см. Галлама 2, 101.— Издат.

151) В громадном лабиринте германского jus publicum я должен цитировать или одного писателя, или целую тысячу; вместо того, чтобы ссылаться на бесчисленные имена и указания, я предпочел положиться на одного надежного руководителя. Этот руководитель — Пфеффель, автор лучшей истории законов и государственных учреждений, какой не имеет никакая другая страна (Nouvel Abrégé Chronologique de l'Histoire et du Droit Public d'Allemagne. Paris, 1776, 2 bol. in 4-to). Его ученость и здравый смысл выяснили самые интересные факты; его безыскусственная краткость соединила эти

факты на небольшом пространстве; его хронологическая последовательность распределила их по надлежащим эпохам, а тщательно составленный указатель собрал их под соответствующими заголовками. Этому сочинению, в его первоначальной, менее совершенной форме, докт. Робертсон был обязан мастерским очерком, в котором он обрисовал даже те перемены, которые произошли в государственном устройстве Германии в новейшее время. Я также справлялся с Corpus Historiae Germanicae Струвиуса и извлек из этого сочинения тем большую пользу, что на каждой странице этой громадной компиляции делаются ссылки на оригинальные тексты.

152) Однако личность Карла IV нельзя считать за личность варвара. После того как он окончил свое образование в Париже, он освоился со своим родным богемским языком, и он мог с одинаковой легкостью говорить и писать на языках французском, латинском, итальянском и немецком (Struvius, стр. 615, 616). Петрарка постоянно отзывается о нем как о просвещенном и ученом государе.

153) (В качестве императора он действительно не имел ни одной деревушки, которую мог бы назвать своей собственной, так как с этим титулом не было связано обладание какой-либо территорией. Но преобладающее влияние обширных владений вообще решало выбор курфюрстов. Галлам перечислил (ч.II, стр. 100) обширные поместья, благодаря которым надеялись обеспечить положение сына Лотаря Саксонского, Генриха; он перечисляет (стр. 115) и те поместья, благодаря которым было действительно обеспечено положение Рудольфа Габсбургского.— Издат.)

154) Кроме германских и итальянских историков экспедицию Карла IV описал живыми и оригинальными красками аббат де Сад в интересных Memoires sur la Vie de Petrarque, том III, стр. 376-430; его растянутость никогда не вызывала порицания со стороны читателей, одаренных изящным вкусом и любознательностью.

155) Вся эта церемония описана у Струвиуса, стр. 629.

156) Европейское государство, с папой и императором во главе, никогда не имело более достойных представителей, чем на Константском соборе. См. Историю этого собора Lenfant.

157) Гравина, Origines Juris Civilis, стр. 108.

158) Найдено шесть тысяч сосудов, употреблявшихся рабами и вольноотпущенниками Августа и Ливии. Обязанности были так мелочно распределены между этими служителями, что один раб занимался исключительно взвешиванием шерсти, которую пряли служанки Ливии, другой ходил за ее маленькой собачкой и т.д. (Camere Sepolcrale etc, Bianchini. См. извлечение из его сочинения в Bibliotèque Italique, том IV, стр. 175, и его похвалу в сочинениях Фонтенеля, том IV, стр. 356). Но все эти служители были одного ранга и едва ли превышали числом служителей Поллиона и Лентула. Их многочисленность доказывает лишь одно — что Рим был вообще городом богатым.

Глава L
Описание Аравии и ее населения.— Рождение, характер и учение Мухаммеда.— Он занимается проповедью в Мекке.— Бежит в Медину.— Распространяет свою религию мечом.— Арабы подчиняются ему отчасти волей, отчасти неволей.— Его смерть и его преемники.— Притязания и судьба Али и его потомков.

Проследив в течение шестисот с лишком лет судьбу слабых константинопольских и германских Цезарей, я возвращаюсь назад, к царствованию Ираклия, и переношусь на восточные границы Греческой империи. В то время как государство истощало свои силы в войне с Персией, а церковь раздирали секты несториан и монофиситов, Мухаммед, с мечом в одной руке и с Кораном в другой, утверждал свое владычество на развалинах христианства и Рима. Гений арабского пророка, нравы его нации и дух его религии находятся в тесной связи с причинами упадка и разрушения Восточной империи, и наши взоры с любопытством устремляются на один из самых достопамятных переворотов, наложивший на некоторые народы земного шара особый и неизгладимый отпечаток[1].

Пространство, занимаемое Аравийским полуостровом[2] между Персией, Сирией, Египтом и Эфиопией, может быть принято за обширный неправильный треугольник. Линия в тысячу пятьсот миль, идущая от северной оконечности, от лежащего на берегу Евфрата Белеса[3], оканчивается Бабельмандебским проливом и родиной ладана. Почти половину этого протяжения имеет средняя ширина треугольника в направлении от Востока к западу, от Басры до Суэца, от Персидского залива до Чермного моря[4].

Стороны этого треугольника постепенно расширяются, а его южное основание, обращенное к Индийскому океану, представляет береговую линию в тысячу миль. Вся поверхность полуострова превышает в четыре раза объем Германии или Франции; но самая значительная его часть была основательно заклеймена эпитетами *каменистой* и *песчаной*. Даже степи Татарии рука природы покрыла высокими деревьями и роскошной зеленью, и путешественник легче переносит там свое одиночество при виде растительной жизни. Но в страш-

ной Аравийской пустыне беспредельная песчаная равнина перерезается остроконечными и обнаженными горами, а лишенную всякой тени или прикрытия степь опаляют жгучие лучи тропического солнца. Ветры, в особенности те, которые дуют с юго-запада, не только не освежают, но распространяют вредные и даже смертоносные туманы; они то вздымают, то развевают по воздуху песчаные горы, которые можно сравнить с высоко вздымающимися волнами океана, а во время вихрей там погибали и были погребены под песком целые караваны и целые армии. Вода, составляющая во всех других странах предмет общего пользования, служит там предметом желаний и споров, а недостаток в лесе так велик, что требуется некоторое искусство для того, чтобы разводить и поддерживать огонь. В Аравии вовсе нет судоходных рек, оплодотворяющих почву и переносящих местные продукты в соседние страны; потоки, которые стекают с гор, жадно поглощаются высохшей землей; кое-где встречающиеся растения тамаринды или акации, которые пускают свои корни в трещинах утесов, питаются ночными росами; когда выпадает дождь, дождевой водой стараются наполнить цистерны и водопроводы; колодцы и родники составляют тайное сокровище пустыни, и направляющийся в Мекку[5] пилигрим, измучившись от духоты и от жажды, с отвращением пьет воду, которая течет по пластам серы или соли. Таков общий характер климата Аравии. Привычка к лишениям придает особую цену редко встречающимся местным удобствам. Достаточно тенистой рощи, зеленого луга, пресноводного источника, чтобы привлечь колонию арабов на то счастливое место, где они могут найти пищу и прохладу для самих себя и для своих стад и где могут заняться разведением пальмовых деревьев и виноградников. На возвышенности, которая тянется вдоль берегов Индийского океана, леса и воды встречаются чаще; климат там более умерен, фрукты более сочны, животные и оседлые жители более многочисленны; плодородие почвы поощряет и вознаграждает труд земледельца, а местные продукты — ладан[6] и кофе — всегда привлекали туда торговцев из всех стран мира. В сравнении с остальными частями полуострова эта уединенная местность вполне заслуживает название *счастливой* Аравии, а фантазия и вымысел придали этому контрасту блестящий колорит и нашли доверие благодаря дальности расстояния. Для этого земного рая,

как уверяли, природа приберегла самые лучшие свои дары, свои самые изящные произведения: туземцы наслаждались двумя несовместимыми благами — роскошью и невинностью; внутренность почвы изобиловала золотом[7)] и драгоценными камнями, а земля и море издавали ароматический запах. Это разделение Аравии на *песчаную*, *каменистую* и *счастливую* было хорошо знакомо грекам и латинам, но о нем ничего не знали сами арабы, и нам кажется странным тот факт, что в стране, в которой никогда не изменялись ни население, ни язык, сохранились лишь самые слабые воспоминания о ее древней географии. Приморские округа Бахрейн и Оман лежат напротив персидских владений. Королевство Йемен обозначает если не пределы, то, по меньшей мере, положение счастливой Аравии; Неджд — так называют внутреннюю часть страны, а лежащая вдоль берегов Чермного моря[8)] провинция Хиджас прославлена рождением Мухаммеда.

Многолюдность всякой страны бывает соразмерна со средствами существования, а потому жители этого обширного полуострова не могли равняться своим числом с населением какой-нибудь плодородной и промышленной провинции. Вдоль берегов Персидского залива, океана и даже Чермного моря[9)] ихтиофаги, или рыбоеды, по-прежнему бродят в поисках за своими ненадежными средствами пропитания. В этом первобытном и низком состоянии, едва ли заслуживающем название человеческого общества, человеческая тварь, незнакомая ни с искусствами, ни с законами и едва ли способная мыслить и выражаться, немногим отличается от остальных животных. Поколения и века исчезали в безмолвном забвении, а беспомощным дикарям все мешали размножаться нужды и влечения, привязывавшие их к узкому побережью. Но еще в отдаленной древности большинство арабов рассталось с этим бедственным существованием, а так как голая степь не могла прокормить народ, живший охотничьим промыслом, то этот народ внезапно перешел к более обеспеченному и более счастливому положению пастушеской жизни. Все кочующие арабские племена ведут одинаковый образ жизни, и в описаниях теперешних бедуинов мы находим такие же черты, какими отличались их предки[10)], жившие во времена Моисея или Мухаммеда точно в таких же палатках и гонявшие своих коней, верблюдов и баранов к

тем же самым родникам и на те же самые пастбища. Наше владычество над полезными животными облегчает наши хозяйственные работы и увеличивает наше богатство, а арабский пастух приобрел абсолютное владычество над верным другом и над трудолюбивым рабом[11]. Натуралисты полагают, что Аравия была первоначальной родиной лошади, так как местный климат в высшей степени благоприятен не для развития роста этого благородного животного, а для развития его бодрости и быстроты бега. Породы берберийская, испанская и английская обязаны своими достоинствами примеси арабской крови[12]; бедуины сохраняют с суеверным тщанием воспоминания о прошлых заслугах самой чистокровной породы; жеребцов они продают по дорогой цене, но с кобылами редко расстаются, а рождение чистокровного жеребенка служит для арабских племен предметом радости и взаимных поздравлений. Эти кони воспитываются в палатках среди арабских детей с нежной заботливостью, которая развивает в них кротость и привязанность к хозяину. Их приучают только к двум аллюрам — ходить шагом и скакать галопом; их чувствительность не притупляется от беспрестанного употребления шпор и хлыста; их силы сберегаются для той минуты, когда нужно спасаться бегством или догонять врага; но лишь только они чувствуют движение поводьев или стремени, они устремляются вперед с быстротой ветра, и если бы наездник свалился, они мгновенно останавливаются и ждут, чтобы он снова вскочил в седло. Среди песчаных равнин Африки и Аравии верблюд есть священный и драгоценный дар природы. Это сильное и терпеливое вьючное животное способно провести в пути несколько дней без пищи и питья; его тело носит на себе признаки рабства, но в нем есть пятый желудок, или нечто вроде широкого мешка, служащего резервуаром для пресной воды; самые крупные из них способны переносить тяжести в тысячу фунтов, а более легкие и более проворные по своему сложению дромадеры перегоняют самых быстроногих скакунов. И при жизни верблюда, и после его смерти почти из каждой части его тела человек извлекает для себя пользу: молоко верблюдицы и обильно, и питательно; мясо этих животных, когда они молоды, нежно и имеет вкус телятины[13]; из их мочи извлекают очень ценную соль; их испражнения заменяют топливо[14], а из длинной шерсти, которая ежегодно отваливается и снова вырастает,

бедуины делают грубые материи для одежды, для мебели и для своих палаток. В дождливое время года они питаются редкой травой, какую можно найти в степи; в летнюю жару и во время зимней бескормицы арабы переносили свои лагери к морскому берегу, на возвышенности Йемена или в окрестности Евфрата и нередко осмеливались проникать до берегов Нила и до сирийских и палестинских селений. Жизнь кочующего араба полна опасностей и лишений, и хотя ему иногда удается добыть некоторые продукты ремесел путем грабежа или обмена, все-таки живущий в Европе частный человек обладает такими солидными и приятными удобствами, с какими незнаком самый гордый эмир, выступающий на войну во главе десяти тысяч всадников.

Однако между скифскими ордами и арабскими племенами есть существенная разница, так как многие из этих последних собирались на жительство в городах, чтобы заниматься торговлей и земледелием. Часть своего времени и своего труда они по-прежнему употребляли на уход за своим скотом; и в мирное, и в военное время они действовали заодно со своими степными соотечественниками, а бедуины извлекали из этих полезных отношений возможность удовлетворять некоторые из своих материальных нужд и знакомство с некоторыми искусствами и научными познаниями. Между перечисленными Абульфедой сорока двумя арабскими городами[15] самые старинные и самые многолюдные находились в *счастливом* Йемене; башни Санаы[16] и удивительный резервуар Мераба[17] были сооружены королями гомеритов; но их мирское великолепие было омрачено пророческим блеском Медины[18] и Мекки[19], находившихся неподалеку от Черного моря, на расстоянии двухсот семидесяти миль одна от другой. Последний из этих священных городов был известен грекам под именем Макорабы, а окончание этого названия обозначало его громадность, которая на самом деле, даже в самую цветущую его эпоху, не превышала размеров и многолюдности Марселя. По каким-то непонятным мотивам, быть может, основанным на каком-нибудь суеверии, основатели города выбрали самое невыгодное место. Они построили свои жилища из глины и камня на равнине, которая имеет две мили в длину и одну милю в ширину и лежит у подножия трех бесплодных гор; там почва камениста; вода, даже та, которая добывается из священного Земземского колодца,

имеет горький или солоноватый вкус; пастбища находятся далеко от города, а виноград привозится из садов Таифа, от которых отделяет расстояние в семьдесят с лишком миль. Царствовавшие в Мекке курейшиты выделялись из среды арабских племен приобретенной славой и мужеством; но неблагодарная почва их страны не годилась для земледелия, а ее географическое положение было благоприятно для торговых предприятий. Через приморский порт Гедду, находившийся лишь в сорока милях от столицы, они поддерживали удобные сношения с Абиссинией, и это христианское государство было первым пристанищем последователей Мухаммеда. Дорогие африканские продукты перевозились через полуостров в провинцию Бахрейн до города Герры или Катиффа, построенного, как уверяют, халдейскими изгнанниками из каменной соли[20], а оттуда отправлялись на плотах к устью Евфрата вместе с жемчугом, добывавшимся в Персидском заливе. Мекка находится почти на одинаковом расстоянии одного месяца пути от лежащего вправо Йемена и от лежащей влево Сирии. Первый служил для караванов зимней стоянкой, а вторая — летней, а своевременное прибытие этих караванов избавляло индийские суда от утомительного и трудного плавания по Чермному морю. Принадлежавших курейшитам верблюдов нагружали дорогими благовонными веществами на рынках Санаы и Мераба и в портах Оманском и Аденском; зерновой хлеб и ремесленные произведения покупались на ярмарках в Басре и в Дамаске; этот выгодный обмен развивал на улицах Мекки достаток и роскошь, и самые благородные из ее сыновей соединяли с влечением к военному ремеслу занятия торговцев[21].

Независимость, которой всегда пользовались арабы, служила и иностранцам, и туземцам темой для похвал, а ухищрения полемизаторов превратили этот выдающийся факт в исполнение пророческого предсказания или в чудо, совершившееся в пользу потомков Измаила[22]. Ввиду некоторых исключений, которых нельзя ни скрыть, ни устранить, эта манера рассуждать представляется столько же опрометчивой, сколько она бесцельна: королевство Йеменское завоевывали то абиссинцы, то персы, то египетские султаны[23], то турки[24]; священные города Мекка и Медина неоднократно попадали под иго скифского тирана, а в состав провинции, принадлежавшей римлянам в Аравии[25], входила именно та

степь, на которой, как следует полагать, Измаил и его сыновья раскинули свои палатки напротив палаток своих собратьев. Впрочем, это были лишь временные и местные исключения; в целом своем составе арабская нация избегла владычества самых могущественных монархий; армии Сезостриса и Кира, Помпея и Траяна никогда не могли довершить покорение Аравии; теперешний турецкий монарх[26] пользуется некоторыми правами верховенства, но его гордость по необходимости нисходит до заискиваний дружбы народа, который было бы опасно раздражать и на который было бы бесполезно нападать. Очевидные причины независимости арабов заключаются в характере народа и в положении страны. За несколько веков до Мухаммеда[27] от их неустрашимой храбрости и в наступательных, и в оборонительных войнах сильно страдали соседние страны. И пассивные, и активные качества воина развиваются у них привычками и дисциплиной пастушеской жизни. Уход за овцами и верблюдами предоставляется женщинам, а воинственные юноши собираются на конях под знаменем эмира, чтобы упражняться в стрельбе из лука и в умении владеть дротиком и палашом. Воспоминание о прошлой независимости служит самым надежным ручательством за ее ненарушимость, и каждое новое поколение воодушевляется желанием доказать, что оно достойно своих предков и старается сохранять полученное наследство. Их внутренние распри прекращаются при приближении общего врага, а во время их последней войны с турками восемьдесят тысяч союзников напали на шедший в Мекку караван и разграбили его. Когда они идут на бой, впереди все дышит уверенностью в победе, а в тылу принимаются все меры предосторожности на случай отступления. Их кони и верблюды, способные пробежать в восемь или десять дней расстояние в четыреста или в пятьсот миль, исчезают перед победителем; он тщетно ищет в степи скрытых от него родников и истощает свои победоносные войска жаждой, голодом и усталостью, преследуя невидимого врага, который глумится над его бесплодными усилиями и безопасно отдыхает среди жгучей степи. Воинственные наклонности бедуинов и их степи служат не только охраной их собственной свободы, но также оплотом счастливой Аравии, жители которой благодаря отдаленности от театра военных действий изнежились от роскошной почвы и климата. Легионы Августа таяли от бо-

лезней и утомления[28], а нападения на Йемен удавались лишь тогда, когда предпринимались с моря. Когда Мухаммед развернул свое знамя[29], это королевство принадлежало к числу провинций Персидской империи; тем не менее семь принцев Гомеритов еще царствовали в горах, а наместник Хосрова, не устояв против соблазна, позабыл и свою далекую родину, и своего несчастного повелителя. Историки времен Юстиниана описывают положение независимых арабов, принимавших в продолжительной борьбе Рима с Персией ту или другую сторону сообразно со своими интересами или страстями племени Гассана было дозволено располагаться лагерем на сирийской территории, шейхам Гиры было дозволено основать город почти в сорока милях к югу от развалин Вавилона. Их служба во время войны была деятельна и энергична, но их дружба была продажна, их преданность ненадежна, а их вражда прихотлива; легче было раздражить, чем обезоружить этих варварских кочевников, а живя в фамильярных сношениях со своими боевыми товарищами, они научились презирать прикрывавшееся внешним блеском бессилие и римлян и персов. Греки и латины смешивали все жившие между Меккой и Евфратом арабские племена[30] под общим названием сарацинов[31] — под тем названием, которое каждый христианин привык произносить с ужасом и отвращением.

Кто живет в рабской зависимости от тирана, тот тщетно превозносит свою национальную независимость; но араб лично свободен, и он в некоторой мере пользуется выгодами общественной жизни, не отказываясь от своих природных прав. В каждом племени суеверие, признательность или фортуна возвысили какое-нибудь семейство над его равными. Звания шейха и эмира переходят по наследству к членам этого избранного рода; но порядок наследования непрочно установлен и изменчив: между всеми знатными родственниками нередко отдают предпочтение самому достойному или самому престарелому и на него возлагают несложную, но важную обязанность прекращать ссоры своими советами и руководить мужеством нации, служа для него примером. Даже одной разумной и мужественной женщине было дозволено стать во главе соотечественников Зиновии[32]. Временное соединение нескольких племен образует армию; их более прочное соединение образует нацию, а верховный вождь,

эмир из эмиров, развертывающий во главе этой нации свое знамя, мог бы в глазах иностранцев быть достойным почетных отличий королевского звания. Если арабские шейхи злоупотребляют своей властью, они скоро бывают наказаны тем, что их подданные, привыкшие к кроткой и отеческой системе управления, покидают их. Эти подданные свободны духом; они могут идти куда хотят; перед ними открытая степь, и только взаимное добровольное соглашение связывает племена и семьи. Более кроткие уроженцы Йемена выносили блеск и величие монарха; но если он не мог выходить из своего дворца, не подвергая свою жизнь опасности[33], то следует полагать, что дела управления находились в руках его знати и должностных лиц. Города Мекка и Медина представляют в самом сердце Азии республику не только по форме, но даже по сущности своего управления. Дед Мухаммеда и его предки в прямой восходящей линии действовали в делах внешних и внутренних как наследные правители страны; но они владычествовали, подобно Периклу в Афинах или Медичи во Флоренции, в силу уважения к их мудрости и честности; их влияние разделилось вместе с разделением их наследственных владений, и скипетр перешел от дядей пророка к младшей ветви племени курейшитов. В важных случаях они созывали народные собрания, а так как человеческий род подчиняется чужой воле или путем насилия, или путем убеждения, то существование ораторского искусства у древних арабов и слава, которую оно доставляло, служат самым ясным доказательством общественной свободы[34]. Но их безыскусственная свобода не имела никакого сходства с красивыми и тщательно организованными учреждениями республик Греческой и Римской, в которых каждый член обладал нераздельной долей гражданских и политических прав всего общества. При менее сложных арабских порядках вся нация свободна, потому что каждый из ее членов считает за унижение подчиняться воле повелителя. Его душа закалена теми суровыми добродетелями, которые называются мужеством, терпением и воздержанностью; любовь к независимости заставляет его приучаться к самообладанию, а страх бесчестия охраняет его от более малодушного страха физических страданий, опасностей и смерти. В его манере себя держать сказываются его душевная сила и бодрость: он выражается медленно, обдуманно и сжато; он редко смеется; он не употреб-

ляет никаких жестов, а только поглаживает свою бороду, этот почтенный символ возмужалости, и из сознания собственного достоинства обращается к равным без легкомыслия, к старшим без боязни[35]. Свобода сарацинов пережила их завоевания; первые халифы выносили смелое и фамильярное обхождение своих подданных; они всходили на церковную кафедру для того, чтобы убеждать и поучать верующих, и только после перенесения столицы на берега Тигра аббасиды усвоили величественный и пышный этикет, соблюдавшийся при дворах персидском и византийском.

При изучении народов и отдельных личностей перед нами раскрываются причины, по которым они становятся во враждебные или в дружественные отношения одни к другим и которые суживают или расширяют, смягчают или ожесточают общественные нравы. Вследствие того, что арабы жили особняком от всего человеческого рода, они приучились смешивать понятия об иностранцах и о враге, а вследствие бедности их родины у них установился особый принцип юриспруденции, в который они верят и которого придерживаются до настоящего времени. Они утверждают, что при дележе земли богатые и плодородные страны достались другим членам человеческой семьи и что потомство изгнанника Измаила вправе прибегать и к обману, и к насилию для того, чтобы вступить в обладание той частью наследства, которой его лишили так несправедливо. По замечанию Плиния, арабские племена занимались в одинаковой мере и хищничеством, и торговлей; они облагали выкупом или грабили проходившие через степь караваны, и с самых отдаленных времен, со времен Иова и Сезостриса[36], их соседи были жертвами их хищнических наклонностей. При виде одинокого странника бедуин с яростью устремляется на него и громко кричит: "Раздевайся; у твоей тетки (моей жены) нет платья". Покорность дает право на пощаду; сопротивление раздражает хищника, и странник должен искупить своей собственной кровью ту кровь, которую он мог бы пролить, пользуясь своим законным правом самозащиты. Кто обирает прохожих один или с немногими сообщниками, того клеймят заслуженным названием грабителя; но когда такие же подвиги совершаются многочисленной шайкой, они принимают характер законной и честной войны. Это настроение народа, считавшего всех остальных людей своими врагами, усиливалось от усвоенной

в домашней жизни привычки грабить, убивать и мстить за личные обиды.

При теперешнем устройстве европейских государств право заключать мир и объявлять войну принадлежит небольшому числу монархов, а действительно пользуется этим правом еще более незначительное число лиц; но каждый араб мог безнаказанно и со славой направить свой дротик в грудь своего соотечественника. Только поверхностное сходство наречий и нравов соединяло эти племена в одну нацию, и во всех общинах власть должностных лиц была и безмолвна, и бессильна. Предание сохранило воспоминания о тысяче семистах сражениях[37], происходивших в те времена невежества, которые предшествовали появлению Мухаммеда: вражда ожесточалась от злопамятства, и достаточно было прочесть вслух, в прозе или в стихах, рассказ о старинной распре, чтобы разжечь старые страсти между потомками когда-то враждовавших между собой племен. В частной жизни каждое лицо мужского пола или, по меньшей мере, каждое семейство было судьей в своем собственном деле и исполнителем своего собственного приговора. То деликатное понимание личной чести, которое взвешивает не столько материальный вред, сколько оскорбление, вливает смертельный яд в распри арабов; они слишком легко обижаются за честь жены и бороды; неприличное обхождение или презрительное слово может быть заглажено только кровью оскорбителя, и они так терпеливы в своем злопамятстве, что выжидают случая отомстить за себя в течение целых месяцев и даже нескольких лет. У варваров всех веков допускалась уплата пени или вознаграждения за убийство; но в Аравии от родственников убитого зависит, принять вознаграждение или совершить расправу собственноручно. Утонченная мстительность арабов даже отказывается от головы убийцы, заменяет виновного невинным и переносит наказание на лучшего и самого знатного члена того рода, от которого понесено оскорбление. Если этот последний пал от их руки, они в свою очередь подвергаются опасности возмездия; на сумму этого кровавого долга нарастают проценты; члены обоих семейств проводят свою жизнь в том, что стараются поймать друг друга в какую-нибудь ловушку и сами не попасться в нее, и нередко случается, что только по прошествии полустолетия расплата считается оконченной[38]. Впрочем, эта не допускавшая пощады

или примирения кровожадная мстительность смягчалась принципами чести, которые требовали, чтобы во всякой борьбе между частными людьми соблюдалось некоторое равенство по возрасту и физической силе, по числу и оружию. До Мухаммеда арабы ежегодно справляли двухмесячный или, может быть, четырехмесячный праздник, во время которого их мечь не вынимался из ножен ни для внешних, ни для внутренних войн, а в этом временном перемирии ясно сказывается их привычка к анархии и к войне[39].

Но это влечение к хищничеству и к мщению умерялось под влиянием торговли и литературы. Уединенный полуостров был окружен самыми цивилизованными нациями древнего мира; торговец — друг всего человеческого рода, и ежегодно приходившие караваны вносили в города и даже в степные лагери первые семена знания и образования. Какова бы ни была генеалогия арабов, их язык происходил от того же первоначального корня, от которого происходили языки еврейский, сирийский и халдейский; независимость племен выражалась в том, что каждое из них говорило на своем диалекте[40], но вместе с тем каждое из них признавало, что после его собственного диалекта самый чистый и самый ясный тот, на котором говорили в Мекке. У арабов, точно так же, как и в Греции, усовершенствование языка предшествовало улучшению нравов; у них было восемьдесят названий для меда, двести для змеи, пятьсот для льва, тысяча для меча, и этот обильный словарь существовал в такое время, когда он мог сохраняться лишь в памяти безграмотного народа[41]. Надписи на памятниках Гомеритов состоят из письменных знаков, вышедших из употребления и непонятных; но куфические буквы, из которых образовалась теперешняя азбука, были придуманы на берегах Евфрата, и с этим нововведением знакомил жителей Мекки иностранец, поселившийся там после рождения Мухаммеда. Врожденное красноречие арабов не было знакомо с правилами грамматики, стихотворного размера и риторики; но они были одарены проницательностью ума, плодовитостью фантазии и способностью ярко выражать свои мысли в кратких изречениях[42], и когда их более тщательно обработанные произведения читались вслух, они производили сильное впечатление на умы слушателей. Гений и достоинства каждого вновь появившегося поэта встречали восторженные похвалы и в среде его собственного пле-

мени, и в среде других родственных племен. Устраивался торжественный пир; хор женщин, бывших в литавры и разодетых как перед венцом, воспевал в присутствии их сыновей и мужей счастье их родного племени; они радовались тому, что появился новый поборник для защиты их прав, что новый глашатай возвысил свой голос для того, чтобы увековечить их славу. Самые отдаленные и недружелюбные племена ежегодно собирались на ярмарку, которая была отменена фанатизмом первых мусульман, и это народное собрание, должно быть, много способствовало распространению образования между варварами и их сближению[43]. Тридцать дней проводились во взаимном обмене не только зернового хлеба и вина, но также красноречия и поэзии. Поэты состязались между собой с благородным соревнованием из-за первенства; увенчанное победой произведение хранилось в архивах шейхов и эмиров, и мы можем прочесть на нашем собственном языке семь оригинальных поэм, которые были написаны золотыми буквами и вывешены в Мекке внутри храма[44]. Арабские поэты были историками и моралистами своего времени, и хотя они разделяли предрассудки своих соотечественников, они старались внушать любовь к добродетели и увенчивать ее лаврами. Любимой темой их песнопений была неразрывная связь великодушия с храбростью, и когда они направляли самые колкие свои нападки на какой-нибудь гнусный разряд людей, они с горечью упрека утверждали, что мужчины не умеют быть уступчивыми, а женщины не умеют отказывать[45]. В арабских лагерях до сих пор можно найти такое же гостеприимство, каким отличался Авраам и какое воспевал Гомер[46]. Наводящие ужас на всю степь свирепые бедуины принимают без расследований или колебаний чужеземца, который смеет положиться на их честь и войти в их палатку. Его принимают приветливо и почтительно; с ним хозяин делится своим богатством или своей бедностью, а после того, как он отдохнул, его провожают изъявлениями благодарности, благословлениями и, может быть, подарками. Нуждающемуся брату или другу оказывают еще более великодушное сочувствие; но геройские поступки, которые могли бы сделаться предметом общих похвал, как кажется, выходили в их мнении за пределы того, что дозволялось благоразумием и было согласно с обычаями. Однажды возник спор о том, кто из жителей Мекки превосходит всех других

великодушием, и чтобы разрешить его, были названы для сравнения трое граждан, считавшихся самыми достойными такого состязания. Сын Аббаса, Абдаллах, собрался в далекий путь и уже занес ногу в стремя, когда услышал жалобную мольбу: "Сын дяди апостола Божия, я странник, и я в нужде!" Он немедленно сошел с коня, подарил пилигриму своего верблюда, его богатую сбрую и кошелек с четырьмя тысячами золотых монет, оставив при себе только меч, или потому, что это оружие было особенно ценно по своему закалу, или потому, что оно было подарено почтенным родственником. Слуга Саида сказал второму просителю, что его господин спит, но немедленно прибавил: "Вот кошелек с семью тысячами золотых монет (это все, что у нас есть в доме) и вот кроме того предписание, чтобы вам дали верблюда и раба"; лишь только господин проснулся, он похвалил своего верного служителя и дал ему свободу, но слегка упрекнул его за то, что не разбудил его и тем лишил его возможности выказать свою щедрость. Третьим из этих героев был слепой Арабах; к нему обратились с просьбой о помощи в час молитвы, в то время как он шел, опираясь на плечи двух рабов. "Увы!— отвечал он,— моя казна пуста! Но вы можете продать этих рабов; если вы этого не сделаете, я все-таки откажусь от них". После этих слов он оттолкнул от себя служителей и стал ощупью пробираться вдоль стены, опираясь на свою палку. Характер Гатема представляет полнейший образец арабских добродетелей[47]: он был храбр и щедр, был даровитым поэтом и счастливым в своих предприятиях хищником; для его гостеприимных пиршеств жарили по сорока верблюдов, а молившему о сострадании врагу он возвращал и пленников, и добычу. Его соотечественники из привычки к свободе пренебрегали требованиями правосудия и с гордостью руководствовались самостоятельными внушениями сострадания и милосердия.

Религия арабов[48], точно так же, как и религия индейцев, состояла из тех суеверий, которые были свойственны всем народам в их первобытном состоянии,— она заключалась в поклонении Солнцу, Луне и звездам. Блестящие небесные светила представляют видимое подобие божества; их число и расстояние наводят не только философа, но и простолюдина на мысль о бесконечном пространстве; эти тела, по-видимому, не допускающие мысли об их разложении и исчезнове-

нии, носят на себе отпечаток вечности; правильность их движений может быть приписана сознательному или инстинктивному принципу, а их действительное или воображаемое влияние внушает тщетную надежду, что земля и ее обитатели составляют предмет их особой заботливости. Изучением астрономии занимались в Вавилоне, но для арабов служили школой ясная небесная твердь и голая степь. В своих ночных переходах они руководствовались течением звезд; бедуины из любознательности и из благочестия заучили названия этих звезд, их взаимное положение и место, на котором они появлялись на небосклоне, а из опыта они научились разделять зодиак Луны на двадцать восемь частей и благословлять те созвездия, которые освежали высохшую степь благотворными дождями. Владычество небесных тел не могло распространяться за пределы видимой сферы; для переселения душ и для воскрешения тела нужна была какая-нибудь метафизическая сила; на могиле оставляли умирать верблюда для того, чтобы он мог служить своему господину в другой жизни, а воззвания к душе усопшего подразумевали, что эта душа еще была одарена и самосознанием, и силой. Я не знаком и не желаю знакомиться ни с нелепой мифологией варваров, ни с их божествами, жившими на звездах, в воздухе и на земле, ни с полом и титулами этих божеств, ни с их атрибутами и субординацией. Каждое племя, каждое семейство, каждый независимый воин создавали и изменяли по своему произволу и свои обряды, и предметы своего фантастического поклонения; но вся нация во все века признавала как превосходство языка, которым выражались в Мекке, так и превосходство религии, которую там исповедовали. Кааба существовала еще до начала христианской эры: описывая берега Чермного моря, греческий историк Диодор[49)] замечает, что между землей фамудитов и землей сабейцев находится знаменитый храм, высшую святость которого чтят все арабы; полотняная или шелковая завеса, которую ежегодно возобновляет турецкий император, была впервые пожертвована благочестивым королем гомеритов, царствовавшим за семьсот лет до Мухаммеда[50)]. Дикари могли довольствоваться палаткой или пещерой для обрядов своего культа; но с течением времени на том месте было воздвигнуто здание из камня и глины, а восточные монархи, несмотря на успехи искусств и на свое могущество, довольствовались простотой этого пер-

воначального сооружения[51]. Четырехугольное здание Каабы окружено обширным портиком; внутренняя капелла имеет двадцать четыре локтя в длину, двадцать три в ширину и двадцать семь в вышину; одна дверь и одно окно впускают свет; двойную крышу поддерживают три деревянных колонны; по желобу (сделанному в настоящее время из золота) стекает дождевая вода, а Земземский колодец охраняется куполом от случайных засорений. Племя курейшитов присвоило себе, обманом или силой, охрану Каабы; дед Мухаммеда исполнял должность жреца, которая была принадлежностью его предков при четырех поколениях, а род Гашемитов, от которого он происходил, был, по мнению его соотечественников, самым почтенным и самым священным[52]. Место, занимаемое Меккой, пользовалось правами святилища, и в последние месяцы каждого года город и храм наполнялись длинной вереницей пилигримов, являвшихся в храм Божий с своими священными обетами и приношениями. Те же самые обряды, которые исполняются в настоящее время правоверными мусульманами, были придуманы и исполнялись суеверными идолопоклонниками. На почтительном расстоянии они сбрасывали с себя одежду, скорым шагом обходили семь раз вокруг Каабы и семь раз целовали "Черный Камень"; затем семь раз поклонялись окружающим горам и столько же раз бросали камни в долину Мины; пилигримство завершалось, точно так же, как и в настоящее время, принесением в жертву баранов и верблюдов и закапыванием их шерсти и когтей в освященной почве. Каждое племя или находило, или вводило в Каабе свой домашний культ; храм был украшен или осквернен тремястами шестьюдесятью идолами, изображавшими людей, орлов, львов и диких коз; самым выдающимся из них была статуя Габалы, сделанная из красного агата и державшая в руке семь стрел, у которых не было наконечников или перьев и которые были орудиями и символами нечестивой ворожбы. Но эта статуя была памятником искусства сирийцев: благочестие более грубых времен довольствовалось колонной или плиточкой, а из возвышавшихся в степи утесов в то время высекали богов или алтари в подражание находившемуся в Мекке "Черному Камню"[53], насчет которого существует сильное подозрение, что он первоначально был предметом идолопоклонства. От Японии до Перу господствовало обыкновение приносить богам жертвы,

и верующий выражал свою признательность или свой страх, уничтожая или сжигая в честь богов самые дорогие и самые ценные из их даров. Человеческая жизнь[54] считалась самым дорогим жертвоприношением, когда молили об отвращении какого-нибудь общественного бедствия; алтари Финикии и Египта, Рима и Карфагена были запятнаны человеческой кровью; этот безжалостный обычай долго сохранялся у арабов; в третьем столетии племя думациан[55] ежегодно приносило в жертву мальчика, а один царственный пленник был из благочестия умерщвлен тем вождем сарацинов, который был союзником императора Юстиниана и служил под его знаменем[56]. Отец, который тащит своего сына к алтарю, представляет образчик самых прискорбных и самых возвышенных усилий фанатизма; подвиги или намерения этого рода были освящены примером святых и героев, и даже отец самого Мухаммеда был обречен на роль жертвы вследствие опрометчивого обета и с трудом откупился сотней верблюдов. Во времена невежества арабы, подобно иудеям и египтянам, воздерживались от употребления в пищу свиного мяса[57]; они совершали обрезание[58] над достигавшими возмужалости сыновьями, и этот обычай перешел к их потомству и к их новообращенным, хотя Коран и не порицает и не требует его исполнения. Некоторые прозорливые писатели высказывали предположение, что хитрый законодатель потакал закоренелым предрассудкам своих соотечественников. Было бы гораздо проще предположить, что он придерживался своих юношеских привычек и мнений, не предусматривая того, что обыкновение, годное для климата Мекки, может быть бесполезным или неудобоисполнимым на берегах Дуная или Волги.

Аравия была свободна: соседние государства были потрясены завоеваниями и тиранией, и спасавшиеся от гонений сектанты укрывались в этой счастливой стране, где могли исповедовать то, во что верили, и могли жить сообразно со своими верованиями. На пространстве между Персидским заливом и Чермным морем исповедовались религии и сабейцев, и магов, и иудеев, и христиан. В отдаленную эпоху древности ученость халдейцев[59] и оружие ассирийцев распространили сабеизм по всей Азии. Вавилонские жрецы и астрономы[60] извлекали свои понятия о вечных законах природы и Провидения из наблюдений, накопившихся в течение двух тысяч

лет. Они поклонялись семи богам или ангелам, направлявшим течение семи планет и распространявшим на Землю свое непреодолимое влияние. Атрибуты семи планет вместе с двенадцатью знаками зодиака и двадцатью четырьмя созвездиями северного и южного полушарий были представлены в различных изображениях и символах; каждый из семи дней недели был посвящен одному из этих божеств; сабейцы ежедневно молились три раза, а храм Луны в Гаране был пределом их благочестивых странствований[61]. Но вследствие неустойчивости своих верований они всегда были готовы и поучать других, и выслушивать поучения; в своих традиционных понятиях о сотворении мира, о потопе и о патриархах они сходились с понятиями живших у них в плену иудеев; они ссылались на тайные писания Адама, Сифа и Еноха, а поверхностное знакомство с евангельским учением превратило остатки этих политеистов в христиан св. Иоанна, живущих на территории Басры[62]. Вавилонские алтари были разрушены магами; но за нанесенные сабейцам обиды отомстил меч Александра; Персия томилась более пятисот лет под игом иноземцев, а самые верные из последователей Зороастра избежали заразы идолопоклонства и вместе со своими противниками стали жить вольной жизнью степей[63]. За семьсот лет до смерти Мухаммеда иудеи завели свои поселения в Аравии, а военные предприятия Тита и Адриана изгнали их из святой земли еще в более значительном числе. Эти трудолюбивые изгнанники жаждали свободы и власти; они стали воздвигать в горах синагоги, в степи замки, а обращенные ими в иудейскую веру язычники смешались с сынами Израиля, с которыми имели то внешнее сходство, что также исполняли обряд обрезания. Христианские миссионеры были еще более деятельны и имели еще более успеха; католики предъявляли свои права на всемирное владычество; спасавшиеся от их преследования сектанты одни вслед за другими удалялись за пределы Римской империи; маркиониты и манихеи распространяли свои фантастические мнения и апокрифические евангелия; церкви Йемена и князья Гиры и Гассана научились более чистым верованиям епископов яковитских и несторианских[64]. Племена пользовались свободой выбора; каждый араб мог выбирать или сочинять для себя особую религию, и господствовавшие в его семье суеверия смешивались с возвышенной теологией святых и философов.

Они получили от образованных иностранцев основной догмат своей религии — веру в существование единого верховного Бога, который выше всех небесных и земных властей, но который нередко являл себя человеческому роду через посредство ангелов и пророков и который, по своей благости или справедливости, прерывал чудесами установленный в природе порядок. Самые рассудительные между арабами признавали его власть, но пренебрегали поклонением ему[65], и они скорей по привычке, чем по убеждению, все еще были привязаны к остаткам идолопоклонства. И иудеи, и христиане были книжники; Библия уже была переведена на арабский язык[66], и Старый Завет был единодушно принят этими непримиримыми врагами. В истории иудейских патриархов арабы с удовольствием находили своих предков. Они радовались рождению Измаила и данным ему обещаниям, чтили религию и добродетели Авраама, доводили и его генеалогию, и свою собственную до сотворения первого человека и усваивали с одинаковым легковерием и чудеса священного текста, и мечты, и традиции иудейских раввинов.

Что Мухаммед был низкого плебейского происхождения, было неловкой клеветой христиан[67], которые этим не унижали, а возвышали достоинства своего противника. Что он происходил от Измаила, было национальной привилегией или выдумкой; но если о первых корнях его родословного дерева[68] сведения и смутны, и сомнительны, зато он мог перечислить несколько поколений, бесспорно принадлежавших к настоящей знати; он происходил от племени Курейш и от рода Хашимитов, то есть от самых знатных арабов, царствовавших в Мекке и пользовавшихся наследственным правом быть хранителями Каабы. Дед Мухаммеда, Абдул Моталлеб, был сыном Хашима, богатого и великодушного гражданина, который делился со своими соотечественниками во время голода тем, что добывал торговлей. Кормившаяся щедростью отца, Мекка была спасена мужеством его сына. Королевство Йеменское находилось под властью царствовавших в Абиссинии христианских монархов; их вассал Абраха вследствие нанесенного ему оскорбления решился отомстить за честь Креста, и священный город был окружен вереницей слонов и армией, состоявшей из африканцев. Было предложено мирное соглашение, и на первом совещании дед Мухаммеда потребовал, чтобы ему возвратили его стада. "А почему,— ска-

зал Абраха,— вы вместо того не просите пощады для вашего храма, которому я грозил разрушением?" "Потому что,— возразил неустрашимый арабский вождь,— стада составляют мою собственность, а Кааба принадлежит богам, и они сами защитят свое жилище от оскорблений и святотатства". Вследствие недостатка съестных припасов или вследствие мужественного сопротивления курейшитов абиссинцы были принуждены отступить с позором; описание их неудачной попытки было украшено рассказом о чудесном появлении стаи птиц, сыпавших град камней на головы неверующих, и воспоминание об этом избавлении долго сохранялось в названии эры слона[69]. Слава Абдул Моталлеба увенчалась счастливой домашней жизнью; он дожил до ста десяти лет и был отцом шести дочерей и тринадцати сыновей. Его любимый сын Абдаллах был самый красивый и самый скромный из арабских юношей, а в первую ночь после его бракосочетания с Аминой, происходившей от знатного рода Заритов, двести девушек, как рассказывают, умерли от ревности и отчаяния. Единственный сын Абдаллаха и Амины, Мухаммед[70], родился в Мекке через четыре года после смерти Юстиниана и через два месяца после поражения абиссинцев[71], которые в случае успеха ввели бы в Каабе христианскую религию. Он в ранней молодости лишился отца, матери и деда; его дяди были люди влиятельные и их было много, и при разделе наследства сирота получил на свою долю только пять верблюдов и служанку-эфиопку. И дома, и вне дома, и в мирное, и в военное время его руководителем и опекуном был самый почтенный из его дядей Абу Талеб; на двадцать пятом году своей жизни он поступил в услужение к жившей в Мекке богатой и знатной вдове Хадидже, которая скоро наградила его за преданность тем, что отдала ему свою руку и свое состояние. Брачный договор описывает безыскусственным слогом древности взаимную любовь Мухаммеда и Хадиджи, называет новобрачного самым совершенным из всех членов племени курейшитов и определяет вдовью часть в двенадцать унций золота и двадцать верблюдов, которые обязался доставить великодушный дядя[72]. Этот брак возвысил сына Абдаллаха до одного уровня с его предками, а благоразумная матрона довольствовалась его домашними добродетелями до той поры, когда он, на сороковом году своей жизни[73], взял на себя роль пророка и стал проповедовать религию Корана.

Сохранившееся между соотечественниками Мухаммеда[74] предание гласит, что он отличался красотой — тем внешним преимуществом, которым пренебрегают большей частью только те, которые его лишены. Прежде чем говорить перед публикой или в интимном кружке, оратор заранее располагал слушателей в свою пользу. Нравились и его повелительный тон, и его величественная осанка, и его проницательный взор, и его привлекательная улыбка, и его длинная борода, и его физиономия, выражавшая все его душевные ощущения, и его жесты, придававшие каждому его слову особую силу. В интимных сношениях он строго держался степенной и церемонной вежливости, с какой привыкли обходиться на его родине; его почтительное внимание к людям богатым и влиятельным облагораживалось его снисходительностью и приветливостью к самым бедным жителям Мекки; непринужденность его обхождения прикрывала лукавство его замыслов, а его обычная любезность принимала вид или личной дружбы, или благосклонного расположения ко всем людям вообще. Его память была обширна и верна, его ум был находчив и общителен, его воображение было возвышенно, его суждения были ясны, скоры и решительны. Он обладал мужеством и в мнениях, и в делах, и хотя его замыслы, быть может, разрастались с успехом его предприятий, его первоначальная мысль о возложенной на него божественной миссии носить на себе печать самобытной и высокой гениальности. Сын Абдаллаха воспитывался в среде одного из самых знатных семейств и приучился говорить на самом чистом арабском диалекте, а его плавная речь совершенствовалась и становилась более выразительной благодаря его сдержанности и умению вовремя молчать. При этом даре красноречия Мухаммед был безграмотным варваром; в своей молодости он не учился ни читать, ни писать[75]; окружавшее его общее невежество избавляло его от стыда или от упреков, но его умственная жизнь должна была ограничиваться узкими рамками и он не мог пользоваться теми произведениями, которые знакомят нас с умственной жизнью мудрецов и героев. Однако книга природы и людей была открыта для его взоров, и воображение играло немаловажную роль в тех политических и философских наблюдениях, которые приписываются арабскому путешественнику[76]. Он делает сравнения между различными народами и религиями, указывает на слабость

монархий персидской и римской, со скорбью и с негодованием смотрит на нравственную испорченность своего времени и замышляет соединить непреодолимое мужество арабов и их природные добродетели под властью одного Бога и одного царя. Тщательные исследования приводят нас к заключению, что вместо посещения восточных дворов, лагерей и храмов два путешествия Мухаммеда в Сирию ограничивались посещением ярмарок Басры и Дамаска, что ему было только тринадцать лет, когда он сопровождал караван своего дяди и что он был обязан возвратиться домой, лишь только поместил товары Хадиджи. Во время этих торопливых экскурсий взор гения мог подметить то, что не замечали его грубые товарищи, и некоторые семена знания могли упасть на плодоносную почву; но его незнакомство с сирийским языком должно было препятствовать его любознательности, и я не усматриваю ни из жизни, ни из произведений Мухаммеда, чтобы его кругозор заходил за пределы арабского мира. Из всех частей этого мира ежегодно сходились в Мекке пилигримы, движимые благочестием или торговыми интересами; при свободном обмене мыслей с этими толпами странников простой гражданин мог знакомиться на своем родном языке с политической организацией и характером различных племен, с теоретическими и практическими принципами иудеев и христиан. Быть может, какие-нибудь полезные иноземцы пользовались в Мекке гостеприимством или по склонности, или по нужде, и враги Мухаммеда называли по имени одного еврея, одного перса и одного сирийского монаха, будто бы втайне помогавших составлению Корана[77]. Обмен мыслей обогащает ум, но одиночество есть секта гения, а однообразие произведения служит доказательством того, что оно было творением одного художника. Мухаммед с ранней молодости любил предаваться религиозным размышлениям; во время месяца Рамадана он ежегодно удалялся от мира и из объятий Хадиджи; в гроте Гиры, в трех милях от Мекки[78], он беседовал с духом лжи или энтузиазма, пребывающим не на небесах, а в душе пророка. Вера, которую он стал проповедовать под названием ислама своим родственникам и своему народу, состоит из вечной истины и из очевидного вымысла,— он стал учить, что есть только один Бог и что Мухаммед его пророк.

Защитники иудейской религии хвастаются тем, что их неученые предки, живя в Палестине, признавали и чтили ис-

тинного Бога в то время, как ученые древние народы были введены в заблуждение вымыслами политеизма. Нелегко подвести нравственные атрибуты Иеговы под мерило *человеческой* добродетели; его метафизические свойства обрисованы неясно; но каждая страница Пятикнижия и Пророчеств свидетельствует о его могуществе; единство его имени надписано на первой таблице Моисеева закона, а его святилище никогда не было запятнано каким-либо видимым изображением невидимого Существа. После разрушения их храма верования иудейских изгнанников очистились, упрочились и просветились благодаря духовному благочестию синагоги, и авторитет Мухаммеда не оправдывает упреков, с которыми он постоянно обращался к жившим в Мекке и в Медине иудеям, обвиняя их в поклонении Ездре как сыну Божию[79]. Но сыны Израиля уже не составляли особой нации, и все религии в мире — по крайней мере так думал пророк — имели тот недостаток, что давали верховному Божеству или сыновей, или дочерей, или сотоварищей. В грубом идолопоклонстве арабов такие предосудительные понятия обнаруживаются явно и без всяких прикрытий; для сабейцев служило слабым оправданием первенство, которое они предоставляли в своей небесной иерархии главной планете или интеллигенции, а в системе магов борьба двух принципов обнаруживает несовершенства победителя. Христиане седьмого столетия мало-помалу впали в нечто похожее на идолопоклонство; они и публично, и втайне обращались со своими мольбами к мощам и иконам, унижавшим святость восточных храмов; трон Всемогущего затмевали толпы мучеников, святых и ангелов, бывших предметами народного поклонения, а процветавшие на плодородной почве Аравии коллиридийские еретики давали Деве Марии название *богини* и воздавали ей соответствующие почести[80]. Мистерии Троицы и Воплощения, по-видимому, противоречат принципу единства Божества. По своему прямому смыслу они допускают существование трех равных божеств и превращают человека Иисуса в существо сына Божия[81]; православные объяснения могут удовлетворять только тех, кто верует; невоздержная любознательность и усердие сдернули со святилища завесу, и каждая из восточных сект горячо утверждала, что за исключением ее самой все остальные провинились в идолопоклонстве и в многобожии. Вера Мухаммеда не допускает в этом отноше-

нии ни колебаний, ни двоемыслия, и Коран служит блестящим удостоверением единства Божия. Арабский пророк отверг религиозное поклонение идолам и людям, звездам и планетам на том разумном основании, что все, что восходит, должно закатиться, что все, что родится, должно умереть, что все, что доступно порче, должно разрушиться и исчезнуть[82]. В творце вселенной его рациональный энтузиазм признавал и чтил бесконечное и вечное существо, которое не имеет никакой формы и не занимает никакого места, которое не имеет потомства или чего-либо себе подобного, которому известны самые тайные наши помыслы, которое существует в силу необходимости своей собственной натуры и которое извлекает из самого себя все свое нравственное и умственное совершенство. Эти изложенные языком пророка возвышенные истины[83] крепко усвоены его последователями и установлены истолкователям Корана с метафизической точностью. Философ-теист мог бы подписаться под народной религией мусульман[84], которая, быть может, слишком возвышенна для наших теперешних умственных способностей. Действительно, что же остается для фантазии или даже для рассудка после того, как мы устранили от неизвестной субстанции всякие понятия о времени и месте, о движении и материи, об ощущениях и рефлексии? Мухаммед подтвердил основной принцип и рассудка, и откровения — понятие о единстве Божием; его последователи, рассеянные от Индии до Марокко, отличаются названием *унитариев*, а опасность впасть в идолопоклонство была устранена благодаря запрещению икон. Мусульмане строго придерживаются учения о вечной судьбе и предопределении и борются с обычными затруднениями, не зная, как согласовать предведение Божие с человеческой свободой и ответственностью и как объяснить существование зла под владычеством беспредельной силы и беспредельной благости.

Бог природы наложил печать своего существования на все свои творения, а свои законы вложил в человеческую душу. Восстановить познание первых и практическое применение вторых было действительной или мнимой целью пророков всех веков; великодушие Мухаммеда признавало за его предшественниками такой же кредит, какого он требовал для самого себя, и он находил целый ряд вдохновленных свыше людей со времен падения Адама и до обнародования

Корана[85]. В этот период времени были наделены некоторыми лучами пророческого света сто двадцать четыре тысячи избранников, из которых каждый имел свою долю добродетелей и благодати; триста тринадцать апостолов были ниспосланы со специальной миссией избавить свое отечество от идолопоклонства и пороков; сто четыре тома были написаны по внушению Святого Духа, и шесть пользовавшихся блестящей славой законодателей поведали человеческому роду о шести следовавших одно вслед за другим откровениях разнообразных культов, но одной неизменной религии. Адам, Ной, Авраам, Моисей, Христос и Мухаммед, по своему авторитету и положению, возвышаются с правильной постепенностью один над другим; но тот, кто ненавидит или отвергает какого-либо из этих пророков, причисляется к разряду неверующих. Писания патриархов сохранились лишь в апокрифических копиях греческих и сирийских[86]; поведение Адама не дало ему права на признательность или уважение его детей; низший и небезупречный разряд последователей синагоги соблюдал семь заповедей Ноя[87], а память Авраама в неизвестности чтили сабейцы в его родной Халдейской стране; из мириады пророков только Моисей и Христос жили и царствовали, а все, что оставалось от вдохновленных свыше писаний, заключалось в книгах Старого и Нового Завета. Чудесная история Моисея освящена и разукрашена в Коране[88], и порабощенные иудеи находят некоторое удовлетворение для своей затаенной злобы в том факте, что их собственные верования были усвоены теми народами, новейшие догматы которых служат для них предметом осмеяния. К основателю христианства пророк внушает мусульманам высокое и таинственное уважение[89]. "Действительно, сын Марии Христос Иисус — апостол Божий; он слово, ниспосланное Богом в Марию и исходящий от Него дух; он достоин почитания и в этой жизни, и в будущей; он один из тех, кто недалек от лицезрения Божия"[90]. Мухаммед щедро осыпает его чудесами и подлинных, и апокрифических евангелий[91], а латинская церковь не побрезговала заимствовать из Корана непорочное зачатие[92] его девственной матери. Однако, по мнению Мухаммеда, Иисус был простым смертным и в день суда будет свидетельствовать и против иудеев, которые не признавали его за пророка, и против христиан, которые чтят его за Сына Божия. Злоба его врагов очернила его репутацию и посягну-

ла на его жизнь; но их виновность заключалась лишь в преступном замысле; его заменил на кресте призрак или действительный преступник, а непорочный святой вознесся на седьмое небо[93]. В течение шестисот лет Евангелие указывало путь к истине и к спасению; но христиане мало-помалу позабыли и о поучениях, и о примере основателя их религии, и Мухаммед научился у гностиков обвинять и церковь, и синагогу в извращении священного текста[94]. Благочестие Моисея и Христа питало радостную уверенность, что появится пророк еще более славный, чем они сами; евангельское обещание Параклета, или Святого Духа, осуществилось в имени и в лице вличайшего и последнего из апостолов Божиих Мухаммеда[95].

Для передачи идей требуется сходство понятий и языка; речь философа не произвела бы никакого впечатления на ум крестьянина; однако как незначительна разница между их умами в сравнении с сопоставлением бесконечного разума с разумом конечным — в сравнении со словом Божиим, выраженным на языке или пером смертного? Вдохновение еврейских пророков и христианских апостолов и евангелистов, быть может, не было несовместимо с деятельностью их рассудка и памяти, и различие их дарований ярко запечатлелось в слоге и композиции книг Старого и Нового Завета. А Мухаммед удовольствовался более скромным, но более возвышенным характером простого издателя; по его словам или по словам его последователей, сущность Корана[96] несотворенна и вечна; она присуща сущности Божества и надписана огненным пером на скрижалях его вечных декретов. Ангел Гавриил, исполнявший в иудейской религии самые важные миссии, спустился до нижнего неба, чтобы вручить Мухаммеду написанную на бумаге копию этого закона в шелковой обертке, украшенной драгоценными камнями; этот верный посланец сообщал арабскому пророку мало-помалу все главы и стихи. Вместо того чтобы изложить божественную волю в ее неизменной и совершенной полноте, Мухаммед сообщал, по своему усмотрению, отрывки Корана: каждое откровение приспособлялось к требованиям его политики или его страстей, а все противоречия устранялись благодаря тому спасительному принципу, что каждый текст Писания отменялся или видоизменялся позднейшими текстами. Последователи Мухаммеда тщательно записывали слова Божии и

слова пророка на пальмовых листьях и бараньих лопатках, и эти Писания складывались без всякого порядка или связи в домашний ящик, хранение которого пророк поручил одной из своих жен. Через два года после смерти Мухаммеда священная книга была составлена и обнародована его другом и преемником Абу Бекром; все произведение было пересмотрено халифом Османом на тридцатом году эгиры, а все издания Корана пользуются той чудесной привилегией, что их текст однообразен и неизменяем. Под влиянием энтузиазма или тщеславия пророк ссылается на достоинства своей книги как на доказательство истины своей миссии; он смело вызывает и людей, и ангелов написать хоть одну страницу, которая могла бы равняться красотой с его произведением, и позволяет себе утверждать, что только Бог мог внушить такие неподражаемые совершенства[97]. Этот аргумент может производить сильное впечатление на благочестивого араба, ум которого настроен в духе веры и восторженности, слух которого очарован музыкальностью звуков и невежество которого неспособно делать сравнения с другими произведениями человеческого ума[98]. Но неверующий европеец не будет в состоянии оценить по переводам гармонию и плодовитость языка; он будет с нетерпением пробегать бесконечный бессвязный сборник вымыслов, поучений и декламаций, которые редко возбуждают какое-нибудь чувство или идею и которые иногда пресмыкаются в пыли, а иногда теряются в облаках. Атрибуты Божества воспламеняют фантазию арабского миссионера; но самые возвышенные из его напевов далеко уступают возвышенной простоте книги Иова, написанной в очень отдаленную эпоху в той же стране и на том же языке[99]. Если составление Корана действительно превышает человеческие способности, то какой же высшей интеллигенции следует приписать Гомерову Илиаду и Демосфеновы Филиппики? Во всех религиях жизнь их основателей восполняет то, что недосказано в их писаных откровениях; каждое изречение Мухаммеда считалось за выражение истины, каждый его поступок считался за образец добродетели, а его жены и товарищи сохраняли воспоминания обо всем, что касалось его общественной или домашней жизни. По прошествии двухсот лет Сунна, или устный закон, был установлен и освящен усилиями Аль-Бохари, который выбрал семь тысяч двести семьдесят пять преданий из трехсот тысяч рассказов

более сомнительного или извращенного содержания. Этот благочестивый автор ежедневно молился в храме Мекки и совершал омовения водой Земзема; написанные им страницы складывались одна вслед за другой на кафедре и на гробнице апостола, и все произведение было одобрено четырьмя правоверными сектами суннитов[100].

О божественной миссии древних пророков и Моисея, и Иисуса свидетельствовало множество блестящих чудес, и жители Мекки и Медины неоднократно просили Мухаммеда доставить им такое же доказательство его божественного признания — вызвать с небес ангела или получить оттуда книгу, в которой изложено его откровение, создать сад среди пустыни или уничтожить пожаром неверующий город. Всякий раз, как курейшиты докучали ему подобными требованиями, он отделывался тем, что хвалился в неясных выражениях видениями и пророчествами, ссылался на внутренние достоинства своего учения и прикрывался Божеским Провидением, которое будто бы не допускает таких знамений и чудес, которые могут унизить достоинство веры и усилить виновность неверующих. Но то скромный, то раздражительный тон его оправданий обнаруживает его бессилие и досаду, а эти унизительные для пророка выражения устраняют все сомнения насчет неподдельности Корана[101]. Последователи Мухаммеда говорят о его способности творить чудеса с большей настойчивостью, чем он сам, а их уверенность и легковерие увеличивается по мере того, как они отдаляются от времени и места его духовных подвигов. Они верят или только уверяют других, что деревья двигались к нему навстречу, что перед ним преклонялись камни, что из его пальцев брызгала вода, что он чудесным образом кормил голодных, исцелял больных и воскрешал мертвых, что одна балка преклонилась перед ним, что один верблюд обратился к нему с жалобами, что одна баранья лопатка уведомила его, что она отравлена, и что как живая, так и безжизненная природа была покорна апостолу Божию[102]. Виденная им во сне ночная поездка серьезно описана как происшествие действительно случившееся. Таинственное животное *борак* перенесло его из храма Мекки в храм иерусалимский; вместе со своим товарищем Гавриилом он поочередно посетил семь небес; там он принимал приветствия патриархов, пророков и ангелов в жилище каждого из них и отвечал на эти приветствия. Одно-

му Мухаммеду было дозволено перейти за пределы седьмого неба; он проник за покров единства, приблизился к престолу Божию на двойное расстояние полета стрелы и почувствовал пронзившую его до глубины сердца дрожь, когда рука Божия прикоснулась к его плечу. После этого фамильярного и важного свидания он спустился в Иерусалим, снова сел верхом на борака и возвратился в Мекку, совершив в течение одной десятой части ночи путешествие, на которое потребовалось бы несколько тысяч лет[103]. По словам другой легенды, апостол смутил на народном собрании курейшитов, обратившихся к нему с коварным вызовом. Непреодолимая сила его слова расколола луну надвое: послушная планета сошла со своего места на небе, совершила семь оборотов вокруг Каабы, приветствовала Мухаммеда на арабском языке и, внезапно сузивши свои размеры, вошла за воротник его рубашки и вышла вон через ее рукав[104]. Простонародью нравятся такие удивительные рассказы; но самые серьезные из мусульманских богословов подражают скромности основателя своей религии и предоставляют каждому достаточный простор и относительно предметов верования, и относительно их истолкования[105]. Они могли бы сослаться на то, что при проповедовании религии нет надобности нарушать гармонию природы, что вера, не затемненная мистериями, может обойтись без чудес и что меч Мухаммеда был не менее могущественен, чем жезл Моисея.

Политеиста гнетет и смущает разнообразие суеверий: множество обрядов египетского происхождения вошло в состав Моисеева закона, а дух Евангелия испарился среди пышности христианских церквей. Мухаммед из предрассудка, или из политических расчетов, или из патриотизма освятил арабские обряды и обыкновение посещать священный камень Каабы. Но он сам поучал более безыскусственному и более разумному благочестию: религиозные обязанности мусульманина заключаются в молитвах, в посте и в раздаче милостыни, и его ободряет надежда, что молитвы доведут его, на пути к Богу, до половины дороги, что с помощью постов он достигнет входа во дворец Божий, а раздача милостыни откроет ему туда доступ[106]. 1. Традиция о ночной поездке гласит, что апостолу во время его личных совещаний с Божеством было повелено наложить на его последователей обязанность ежедневно совершать по пятидесяти молитв. По со-

вету Моисея он стал просить об облегчении этой тяжелой обязанности; число молитв было мало-помалу уменьшено до пяти; верующий обязан исполнять этот долг благочестия на рассвете, в полдень, после обеда, вечером и при первом ночном бдении, и никакие деловые занятия или удовольствия, никакие условия времени и места не могут служить для него оправданием, а при теперешнем упадке религиозного рвения наших путешественников поражают глубокое смирение и внимание, с которым турки и персы исполняют требования своей религии. Забота о чистоте тела служит приготовлением к молитве: частое омовение рук, лица и всего тела, бывшее исстари в обыкновении у арабов, формально предписывается Кораном, и вместе с этим положительно разрешается употреблять для омовения песок в тех случаях, когда нельзя достать воды. Обычай и авторитет духовенства установляют слова молитвы и положение, в которое должен становиться молящийся,— должен ли он молиться сидя, или стоя, или припав лицом к земле; но сама молитва состоит из нескольких кратких и выразительных слов; религиозное рвение не ослабевает от длинной и утомительной литургии, и каждый мусульманин в том, что касается его личности, облечен в священническое звание. Некоторые из теистов, отвергавших употребление икон, находили нужным сдерживать бредни фантазии, направляя взоры и мысли молящихся к *кибле*, или к какому-нибудь видимому предмету на горизонте. Пророк сначала намеревался польстить иудеям выбором Иерусалима; но он скоро принял более естественное решение, и взоры жителей Астрахани, Феса и Дели ежедневно обращаются пять раз в ту сторону, где находятся Мекка и ее священный храм. Однако всякое место считается годным для поклонения Богу, и Мухаммеданин молится безразлично где —и в своей комнате, и на улице. В отличие от иудеев и от христиан, пятница назначена днем еженедельного публичного богослужения; верующие собираются в мечети, и имам, обыкновенно избираемый между почтенными старцами, всходит на кафедру, чтобы начать моление и затем произнести проповедь. Но мусульманская религия обходится без духовенства и без жертвоприношений[107], а независимый дух фанатизма смотрит с презрением на служителей и на рабов суеверия. II. Добровольное[108] умерщвление плоти, составляющее в жизни аскетов их мучение и славу, было ненавистно пророку, кото-

рый порицал своих товарищей за опрометчивый обет воздерживаться от мяса, женщин и сна, и решительно объявил, что не допустит в своей религии монашества[109]. Тем не менее он установил ежегодный тридцатидневный пост и строго требовал, чтобы его соблюдали как правило благочиния, которое очищает душу и умерщвляет плоть, и как благотворное выражение покорности велениям Бога и его апостола. В течение месяца Рамадана, от восхода солнца до его заката, мусульманин воздерживается от еды и питья, от женщин, от бани и от благовонных веществ, от всякой пищи, способной поддерживать его физические силы, и от всякого удовлетворения чувственности. Сообразно с оборотами лунного года, время Рамадана совпадает то с зимним холодом, то с летней жарой, и терпеливый мученик не утоляет своей жажды ни одной каплей воды, пока не протечет утомительный знойный день. Запрещение вина, существовавшее у некоторых разрядов духовенства или отшельников, было впервые обращено Мухаммедом в положительный и общий закон[110], и значительная часть земного шара отказалась, по его требованию, от употребления этого благотворного, хотя и опасного, напитка. Вольнодумцы, без сомнения, не подчиняются этим тяжелым стеснениям, а лицемеры обходят их, но законодателя, который их установил, конечно, нельзя обвинять в том, что его последователей привлекало удовлетворение сластолюбия. III. Милосердие мусульман нисходит даже до животных, а что касается бедных и несчастных, то Коран неоднократно рекомендует оказание им помощи не как особую заслугу, а как строгую и неизбежную обязанность. Мухаммед был едва ли не единственный законодатель, в точности определивший размер подаяний: этот размер может изменяться сообразно с размерами и с видом собственности, сообразно с тем, заключается ли эта собственность в деньгах, в зерновом хлебе, в рогатом скоте, в земных плодах или в товарах; но мусульманин тогда только исполнит закон, когда отдаст десятую часть своего дохода, а если на его совести лежит обман или насильственное присвоение, то он обязан уделить, под видом возврата, вместо десятой части пятую[111]. Благотворительность есть основа справедливости, так как она не дозволяет нам нарушать права тех, кому мы обязаны помогать. Пророк может разоблачать тайны небес и будущности, но в своих нравственных постановлениях он может

лишь повторять то, чему нас поучает наше собственное сердце.

Установленные исламом два догмата веры и четыре практические обязанности оберегаются наградами и наказаниями, и взоры мусульманина благочестиво устремлены на исход последнего суда. Пророк не осмелился определить время этой страшной катастрофы, а лишь неясно указал на небесные и земные знамения, которые будут предшествовать тому всеобщему разрушению, когда жизнь прекратится и теперешний строй вселенной уступит место первобытному хаосу. При звуках трубы возникнут новые миры; ангелы, гении и люди восстанут из мертвых, и человеческая душа снова соединится с телом. Учение о воскресении мертвых было впервые усвоено египтянами[112]; они бальзамировали мумии и воздвигали пирамиды с целью сохранить прежнее жилище души в течение трех тысяч лет. Но эти попытки были местными и бесплодными, и Мухаммед высказал более философский ум, положившись на всемогущество Создателя, который одним словом может возвратить бездыханному праху жизнь и снова собрать воедино бесчисленные атомы, утратившие прежнюю форму или сущность[113]. Нелегко решить, в каком положении находится душа в этот промежуток времени, а те, которые твердо верят в ее бесплотную натуру, не в состоянии объяснить, как может она мыслить или действовать без посредства чувственных органов.

Последний суд произойдет после соединения души с телом, а, описывая его со слов магов, пророк слишком верно придерживался не только тех форм судопроизводства, но даже тех медленных и последовательных операций, которые мы находим в земных трибуналах. Те из его противников, которые отличаются религиозной нетерпимостью, упрекают его за то, что он даже их самих не лишает надежды спасения, и за то, что он проповедует самую гнусную ересь, когда утверждает, что всякий, кто верует в Бога и творит добрые дела, может ожидать на последнем суде снисходительного приговора. Такое благоразумное равнодушие не подходит к характеру фанатика, и трудно поверить, чтобы посланец небес умалял достоинство и необходимость своего собственного откровения. По словам Корана[114], вера в Бога нераздельна с верой в Мухаммеда, благотворительность есть долг верующего, а в исполнении этих двух обязанностей заключается

исповедование ислама, к которому призываются безразлично все народы и все секты. Хотя их умственное ослепление могло бы находить для себя оправдание в их невежестве и может быть украшено добродетелями, оно будет наказано вечными мучениями, а слезы, пролитые Мухаммедом над могилой его матери, за которую ему было запрещено молиться, представляют редкий контраст человеколюбия и фанатизма[115]. Гибель ожидает всех неверующих, но степень их виновности и их наказания будет зависеть от того, в какой мере были велики те заблуждения, в которые они впали; вечные жилища христиан, иудеев, сабейцев, магов и идолопоклонников находятся в преисподней одни ниже других, а самая нижняя часть ада назначена для тех неверующих лицемеров, которые надевали на себя маску религии. После того как большая часть человеческого рода будет осуждена за свои мнения, только истинные верующие будут судиться по своим делам. Добрые и дурные дела каждого мусульманина будут тщательно взвешены на действительных или на аллегорических весах, и будет допущен следующий странный способ вознаграждения за обиды: виновный уступит соразмерную долю своих добрых дел в пользу того, кого он обидел; если же у него не окажется такой нравственной собственности, то к тяжести его грехов будет присоединена соразмерная часть прегрешений обиженного. Приговор будет постановлен сообразно с тем, на какой стороне окажется перевес,— на стороне ли преступлений или на стороне добродетели, и все безразличия будут переходить через пропасть по крутому и опасному мосту; но невинные, идя по стопам Мухаммеда, со славой вступят в райские врата, между тем как виновные будут падать в первую и менее ужасную из семи преисподних. Для искупления грехов будут установлены различные сроки — от девятисот лет до семи тысяч; но пророк имел благоразумие обещать, что все его последователи, каковы бы ни были их прегрешения, будут спасены от вечных мучений своей собственной верой и его заступничеством.

Нет ничего удивительного в том, что суеверие всего сильнее действует на людей страхом, так как человеческое воображение способно изобразить страдания будущей жизни более яркими красками, чем ее блаженство. При помощи только огня и мрака мы создаем представление о таких физиче-

ских страданиях, которые могут быть усилены до бесконечности мыслью об их вечности. Но та же самая мысль о вечности приводит к противоположным результатам, когда она применяется к продолжительности наслаждений, так как наши радости в большинстве случаев истекают из облегчения страданий или из сравнения настоящего положения с прежними несчастьями. Со стороны арабского пророка нас не удивляет восторженное описание райских рощ, фонтанов и ручьев; но вместо того, чтобы внушать счастливым обитателям рая благородную склонность к гармонии, знанию, обмену мыслей и дружбе, он с ребяческим увлечением описывает жемчуг и бриллианты, шелковые одеяния, мраморные дворцы, золотые блюда, роскошные вина, изысканные лакомства, многочисленную прислугу и вообще роскошную и дорогостоящую житейскую обстановку, которая успевает надоесть своему владельцу даже в короткий период земной жизни. Для самого последнего из правоверных будут назначены семьдесят две гурии, или черноокие девы, одаренные ослепительной красотой, цветущей юностью, девственной чистотой и самой нежной чувствительностью; момент наслаждения будет продлен на тысячу лет, а способности счастливцев будут увеличены во сто крат для того, чтобы они были достойны своего счастья. Несмотря на существовавший в народе предрассудок, врата небесные открывались для лиц обоего пола; но Мухаммед ничего не говорит о том, каких мужчин получат избранные женщины, и делает это из опасения возбудить ревность в их прежних мужьях или из опасения нарушить их благополучие, внушив им подозрение, что их брак будет навеки неразрывен. Это описание чувственного рая возбудило в монахах негодование, а может быть, и зависть; они стали ратовать против грязной религии Мухаммеда, а его скромные защитники были вынуждены прибегать к тому жалкому способу оправдания, что он выражался иносказательно и аллегорически. Но самые честные и самые последовательные из его приверженцев, не краснея, принимают Коран в его буквальном смысле; действительно, воскрешение тела было бы бесполезно, если бы ему не были возвращены обладание и пользование самыми ценными из его способностей, а сочетание чувственных наслаждений с духовными необходимо для полного счастья такого двойственного существа, каким создан человек. Впрочем, утехи Мухаммедова

рая не будут заключаться единственно в удовлетворении сластолюбия и чувственных вожделений, так как пророк положительно утверждал, что святые мученики, которые удостоятся блаженства лицезрения Божия, позабудут о всех низших степенях блаженства и будут относиться к ним с пренебрежением[116].

Первыми и самыми трудными победами Мухаммеда[117] были те, которые он одержал над своей женой, над своим слугой, над своим воспитанником и над своим другом[118], так как в этих случаях он выступал в качестве пророка перед теми, кому были всего ближе знакомы его человеческие немощи. Впрочем, Хадиджа верила словам своего супруга и дорожила его славой; рабски покорный и преданный Зеид увлекался надеждой получить свободу; славный сын Абу Талеба, Али, усвоил мнения своего двоюродного брата с энергией юного героя, а богатство, скромность и искренность Абубекера упрочили религию пророка, которому он должен был наследовать. По его настояниям десять самых почтенных жителей Мекки согласились выслушать поучения, знакомившие с религией ислама; они подчинились голосу рассудка и энтузиазма, стали повторять основной догмат: "Есть только один Бог, а Мухаммед его пророк," и за свою веру были награждены еще в этой жизни богатствами и почестями, главным начальством над армиями и верховной властью над государствами. Три года тихо протекли в приобретении четырнадцати последователей, которые были первыми плодами его миссии; но на четвертом году он принял на себя роль пророка и, решившись наделить своих родственников светом божественной истины, приготовил для сорока гостей из рода Хашима обед, состоявший, как рассказывают, из ягненка и из наполненного молоком сосуда. "Друзья и родственники,— сказал Мухаммед собравшимся,— я предлагаю вам, и только я один могу предложить, самый драгоценный из всех даров — сокровища и этого мира, и будущего. Бог повелел мне призвать вас к служению Ему. Кто из вас хочет помогать мне в исполнении этого трудного долга? Кто из вас хочет быть моим товарищем и моим визирем?"[119]. Никто ничего не отвечал, пока общее молчание, происходившее от удивления, от колебаний и от презрения, не было прервано пылким и мужественным четырнадцатилетним юношей Али. "Пророк, я тот человек, которого ты ищешь; всякому, кто восстанет против тебя,

я выбью зубы, вырву глаза, перешибу ноги и распорю живот. Пророк, я буду твоим визирем, поставленным выше их". Мухаммед принял это предложение с восторгом, а Абу Талеб был иронически приглашен уважать высокое звание своего сына. Отец Али более серьезным тоном советовал своему племяннику отказаться от его неисполнимого замысла. "Избавьте меня от ваших замечаний, — отвечал неустрашимый фанатик своему дяде и благодетелю,— если на мою правую руку положили солнце, а на мою левую руку — луну, меня все-таки не отклонили бы в сторону от моего намерения". Он в течение десяти лет упорно исполнял свою миссию, и религия, впоследствии распространившаяся и на Востоке, и на Западе, медленно и с трудом вводилась внутри стен Мекки. Тем не менее Мухаммед находил некоторое удовлетворение в расширении зародившегося общества унитариев, которые чтили в нем пророка и которых он своевременно снабжал духовной пищей Корана. О числе его последователей можно судить по тому, что на седьмом году его миссии восемьдесят три мужчины и восемнадцать женщин покинули его и переселились в Эфиопию; вслед за тем его партия укрепилась благодаря обращению его дяди Гамзы и гордого, непреклонного Омара, который выказал в защите ислама такое же усердие, с каким прежде старался уничтожить его. Любовь Мухаммеда к Богу и к ближним не довольствовалась племенем курейшитов или пределами Мекки: в торжественные праздники и в дни, назначенные для благочестивых странствований, он посещал Каабу, вступал в разговоры с пришельцами из различных племен и как в своих интимных беседах, так и в своих публичных речах, настоятельно требовал, чтобы признавали и чтили единого Бога. Из сознания своей правоты и своего бессилия он проповедовал свободу совести и отвергал в деле религии употребление насилий[120]; но он призывал арабов к покаянию и умолял их не забывать, какая участь постигла древних идолопоклонников Ада и Тамунда, которые были стерты с лица земли божеским правосудием[121].

Жители Мекки упорствовали в своем неверии вследствие суеверий и зависти. Городские старейшины, дяди пророка, выказывали презрение к самонадеянности сироты, желавшего играть роль преобразователя своего отечества; благочестивые проповеди, с которыми Мухаммед обращался к посетителям Каабы, вызывали протесты со стороны Абу Талеба.

"Граждане и пилигримы, не слушайте этого искусителя, не верьте его нечестивым выдумкам. Твердо держитесь культа Аль-Латы и Аль-Уззаха". Тем не менее этому престарелому вождю был всегда дорог сын Абдаллаха, и он охранял репутацию и личную безопасность своего племянника от нападений курейшитов, издавна завидовавших первенству хашимитов. Они прикрывали свою злобу маской религии; во времена Иова арабские судьи наказывали тех, кто оказывался виновным в нечестии[122], а Мухаммед провинился в том, что покинул и отверг национальных богов. Но жители Мекки пользовались такой свободой при своей системе управления, что вожди курейшитов вместо того, чтобы предать преступника суду, были вынуждены прибегнуть или к убеждению, или к насилию. Они неоднократно обращались к Абу Талебу с упреками и с угрозами: "Твой племянник оскорбляет нашу религию; он обвиняет наших мудрых предков в невежестве и в безрассудстве; скорей заставь его молчать из опасения, чтобы в городе не возникли смуты и раздоры. Если он не умолкнет, мы будем вынуждены обнажить меч против него и его последователей, и на тебя падет ответственность за кровь твоих сограждан". Благодаря своему влиянию и своей сдержанности Абу Талеб избежал насилий со стороны этой религиозной партии; самые беспомощные или самые трусливые из последователей Мухаммеда удалились в Эфиопию, а сам пророк укрывался то в городе, то в его окрестностях, в таких местах, которые представляли больше гарантий для его личной безопасности. Так как его родственники все еще поддерживали его, то остальные члены племени курейшитов условились прервать всякие сношения с детьми Хашима — ничего у них не покупать, ничего им не продавать, не брать от них жен и не давать им своих дочерей в жены, а преследовать их с непримиримой ненавистью до тех пор, пока они не предадут Мухаммеда божескому правосудию. Это постановление было вывешено в Каабе перед глазами всего народа; посланцы курейшитов преследовали мусульманских изгнанников в самую глубь Африки; они осадили пророка и самых верных его приверженцев и лишили осажденных возможности пользоваться водой, а отмщение за обиды и оскорбления еще усилило взаимную вражду. Непрочное перемирие, повидимому, поддерживало взаимное согласие до смерти Абу Талеба, оставившей Мухаммеда во власти его врагов в такую

минуту, когда он лишился преданной и великодушной Хадиджи, а вместе с ней и тех утешений, которые находил в своей домашней жизни. Вождь рода Омейядов, Абу Суфьян, унаследовал звание главы Меккской республики. Так как он был усердным идолопоклонником и смертельным врагом хашимитов, то он созвал курейшитов и их союзников для того, чтобы решить судьбу апостола. Заключение Мухаммеда в тюрьму могло бы разжечь его энтузиазм до какой-нибудь отчаянной выходки, а изгнание красноречивого и популярного фанатика могло бы иметь последствием распространение зла по всем арабским провинциям. Поэтому было решено лишить его жизни, а чтобы разложить вину на всех и тем предотвратить мщение хашимитов, было условлено, что его грудь пронзят своими мечами представители от каждого из арабских племен. Ангел или какой-то шпион разоблачил тайну заговора, и Мухаммеду не оставалось ничего другого, как спасаться бегством[123]. Пользуясь ночной темнотой, он втихомолку вышел из дому в сопровождении своего друга Абу Бекра; убийцы сторожили его у ворот, но они были введены в заблуждение наружностью Али, который лежал в постели апостола и был покрыт его зеленой одеждой. Курейшиты отнеслись с уважением к самоотверженности геройского юноши, но дошедшие до нас стихи Али представляют интересное изображение его душевной тревоги, чувствительности и религиозной самоуверенности. В течение трех дней Мухаммед и его товарищ скрывались в пещере Тора, на расстоянии одной мили от Мекки, а с наступлением ночи сын и дочь Абу Бекра втайне приносили им съестные припасы и сведения о том, что делалось в городе. Курейшиты, тщательно обыскивая все закоулки в окрестностях города, приблизились к входу в пещеру; но они были введены в заблуждение, как рассказывают, самим Провидением: при виде паутины и голубиного гнезда они пришли к убеждению, что в пещере никого нет и что никто не мог войти в нее. "Нас только двое",— сказал дрожавший от страха Абу Бекр. "С нами есть еще третий — сам Бог",— возразил пророк. Лишь только преследование ослабело, беглецы вышли из-под утеса и сели на своих верблюдов; на пути к Медине их настигли разведчики курейшитов, от которых они отделались просьбами и обещаниями. В эту решительную минуту копье какого-нибудь араба могло бы изменить всемирную историю. Бегство пророка из Мекки

послужило достопамятным началом для мусульманской эры, или эгиры[124], с которой и по прошествии двенадцати столетий исповедующие мусульманскую религию народы все еще ведут счет лунных годов[125].

Религия Корана угасла бы в своей колыбели, если бы Медина не приняла святых изгнанников с верой и уважением. Медина (или *город*), носившая название Ясриб (Ятриб) прежде, чем была освящена троном пророка, была разделена между племенами харегитов и авситов, наследственная вражда которых воспламенялась от самой легкой обиды; две иудейские колонии, хваставшиеся своим происхождением от священнической расы, были их смиренными союзниками, и хотя иудеям не удалось обратить арабов в свою религию, они распространили вкус к ученым занятиям и к религиозным идеям, благодаря которому Медина была отличена названием книжного города. Некоторые из самых знатных ее граждан, увлекшись проповедями Мухаммеда во время своих благочестивых посещений Каабы, обратились в его религию; по возвращении домой они стали распространять веру в Бога и в его пророка, и этот новый союз жителей Медины с пророком был скреплен их депутатами на двух тайных ночных свиданиях, происходивших на одном из окружающих Мекку холмов. На первом свидании десять харегитов и два авсита соединились узами веры и любви и заявили от имени своих жен, детей и отсутствующих братьев, что всегда будут исповедовать догматы Корана и соблюдать его предписания. На втором свидании образовалась политическая ассоциация, которая была первым зародышем могущества сарацин[126]. Жившие в Медине семьдесят три мужчины и две женщины имели формальное совещание с Мухаммедом, с его родственниками и последователями, с которыми обменялись клятвами в верности. Они обещали от имени города, что если Мухаммед будет изгнан, они примут его как союзника, будут повиноваться ему как вождю и будут защищать его до последней крайности, как стали бы защищать своих жен и детей. "Но если вас пригласят возвратиться на родину,— спросили они с лестной для него тревогой,— не покините ли вы ваших новых союзников?"— "Теперь между нами все общее,— возразил Мухаммед, улыбаясь,— ваша кровь — моя кровь, ваша гибель — моя гибель. Мы привязаны друг к другу узами чести и интереса. Я ваш друг и недруг ваших врагов". — "Но если

мы лишимся жизни у вас на службе, какая будет наша награда?"— воскликнули депутаты от Медины. "Рай",— отвечал пророк. "Так протяни твою руку". Он исполнил это требование, и они повторили клятвы в верности и в преданности. Заключенный ими договор был утвержден народом, единодушно усвоившим исповедание ислама; они радовались изгнанию пророка, но трепетали за его безопасность и с нетерпением ожидали его прибытия. После опасного и быстрого переезда вдоль морского берега он остановился в Кобе, в двух милях от города и затем совершил публичный въезд в Медину, через шестнадцать дней после своего бегства из Мекки. Пятьсот граждан вышли к нему навстречу и его со всех сторон приветствовали выражениями преданности и уважения; Мухаммед ехал верхом на верблюде, зонт защищал его голову от солнечных лучей, а вместо знамени перед ним несли развернутую чалму. Самые храбрые из его последователей, которых буря рассеяла в разные стороны, снова собрались вокруг него, а равные, хотя и разнородные, заслуги мусульман были различены данными им названиями могагринов и ансариев,— то есть беглецов из Мекки и живших в Медине союзников. Чтобы искоренить между ними семена зависти, Мухаммед был так предусмотрителен, что соединил главных приверженцев той и другой партии по двое с взаимными правами и обязанностями братьев, а когда Али не нашел себе ровни, пророк с нежностью заявил, что сам будет товарищем и братом благородного юноши. Эта мера увенчалась успехом; священные узы братства не разрывались ни в мирное, ни в военное время, и каждая из двух партий старалась превзойти другую мужеством и преданностью. Только раз взаимное согласие было слегка расстроено случайной размолвкой; один мединский патриот стал обвинять иноземцев в наглости, но его предложение изгнать их было выслушано с отвращением, а его собственный сын разгорячился до того, что предложил принести к стопам пророка голову своего отца.

С той минуты как Мухаммед поселился в Медине, он принял на себя исполнение обязанностей правителя и первосвященника и было бы нечестием не подчиняться безапелляционно такому судье, решения которого внушались божеской премудростью. Принадлежавший двум сиротам небольшой клочок земли был приобретен путем дара или покупки[127]; на

этом избранном месте Мухаммед построил дом и мечеть, которые, несмотря на свою грубую простоту, внушали больше уважения, чем дворцы и храмы ассирийских халифов. На его золотой или серебряной печати был вырезан титул пророка; когда он молился и проповедовал на еженедельных сходках, он опирался на ствол пальмового дерева, и прошло много времени, прежде чем он завел кафедру или трибуну из грубо обделанного дерева[128]. Он уже властвовал шесть лет, когда тысяча пятьсот мусульман собрались с оружием в руках и возобновили свою клятву в преданности, а их вождь возобновил уверение, что будет оказывать им свое покровительство до тех пор, пока не умрет последний из членов их партии или пока самый союз не будет окончательно расторгнут. В этом самом лагере депутат от города Мекки был поражен вниманием верующих к каждому слову и взгляду пророка и усердием, с которым они собирали его плевки, случайно падавшие с его головы волосы и воду, в которой он совершал свои омовения, как будто эти предметы были в некоторой мере наделены личными достоинствами пророка. "Я видел, — сказал он, — персидского царя Хосрова и римского Цезаря, но никогда не видел такого царя, которого подданные так же уважали, как уважают Мухаммеда его последователи". Благочестивый пыл энтузиазма проявляется более энергично и более искренно, нежели холодное и церемонное придворное раболепие.

Когда люди живут в природном состоянии, каждый из них имеет право с помощью оружия защищать свою личность и свою собственность, отражать или даже предупреждать насилия своих врагов и продолжать борьбу до тех пор, пока не получит справедливого удовлетворения или пока не отомстит за себя. При той свободе, какой пользовались арабы, обязанности подданного и гражданина налагали на них слабые стеснения, и в то время как Мухаммед исполнял свою мирную и благотворную миссию, несправедливость его соотечественников лишила его всех прав и принудила жить в изгнании. Выбор независимого народа возвысил меккского беглеца до положения монарха, и ему было предоставлено право заключать союзы и вести наступательные и оборонительные войны. Полнота божественной власти восполнила неполноту его человеческих прав и вложила в его руки оружие: в своих новых откровениях мединский пророк принял

более горячий и более кровожадный тон, служащий доказательством того, что его прежняя скромность происходила от бессилия[129]; способы убеждения уже были употреблены в дело, время воздержности миновало, и ему было свыше повелено распространять его религию мечом, уничтожать памятники идолопоклонства и преследовать неверующие народы, не обращая внимания на святость дней или месяцев. Он приписывал авторам Пятикнижия и Евангелия такие же кровожадные принципы, каким неоднократно поучал в Коране. Но кроткий тон евангельского учения может служить объяснением того двусмысленного текста, в котором сказано, что Иисус принес на землю не мир, а меч: его терпение и смирение не имеют ничего общего с религиозной нетерпимостью светских правителей и епископов, позоривших название его последователей. В оправдание своих религиозных войн Мухаммед мог бы с большим основанием сослаться на пример Моисея, израильских судей и царей. Военные законы евреев еще более суровы, чем требования арабского законодателя[130].

Бог ратных сил лично шествовал во главе иудеев; если какой-нибудь город не сдавался по их требованию, они предавали смерти всех без различия жителей мужского пола; семь народов, живших в земле Ханаанской, были ими истреблены, и ни раскаяние, ни обращение в иудейскую религию не могли предохранить этих несчастных от неизменного приговора, что на их земле не будет оказано пощады ни одному живому существу. А Мухаммед предоставлял своим врагам на выбор или дружбу, или битву. Если они соглашались исповедовать ислам, он допускал их к пользованию всеми мирскими и духовными преимуществами своих первых последователей, и они шли под общим знаменем распространять религию, которую только что приняли. Милосердие пророка подчинялось требованиям его интересов; впрочем, он редко попирал ногами побежденного врага, а тем из своих неверующих подданных, которые были менее других виновны, он, как кажется, обещал, что если они будут уплачивать ему дань, он дозволит им держаться их прежнего культа или по меньшей мере их несовершенных верований. В первые месяцы своего владычества он стал применять на практике установленные им правила ведения священных войн и развернул свое белое знамя перед воротами Медины; воинственный пророк лично

сражался в девяти битвах или осадах[131], и пятьдесят военных предприятий были в течение десяти лет доведены до конца или им самим, или его заместителями. Как истый араб, он по-прежнему соединял профессию торговца с профессией разбойника, и его небольшие экскурсии для защиты или для атаки караванов мало-помалу подготовляли его войска к завоеванию Аравии. Распределение добычи было регулировано божеским законом[132]: ее всю собирали в одну общую массу; пятая часть золота и серебра, пленников и рогатого скота, движимых и недвижимых имуществ назначалась пророком на благочестивые и благотворительные цели; остальное делилось поровну между солдатами, одержавшими победу или охранявшими лагерь; награды, приходившиеся на долю убитых, отдавались их вдовам и сиротам, а для того, чтобы увеличить свою кавалерию, Мухаммед выдавал двойную долю лошади и всаднику. Привыкшие к бродяжничеству, арабы стали со всех сторон стекаться под знамя религии и грабежа; пророк освятил обыкновение солдат брать пленниц в жены или в наложницы, а наслаждение богатством и красотой было слабым образчиком тех радостей, которые были приготовлены в раю для храбрых мучеников за веру. "Меч,— говорил Мухаммед,— есть ключ к небесам и к аду; капля крови, пролитая за дело Божие, и одна ночь, проведенная на поле сражения, принесут более пользы, чем два месяца, проведенных в посте и в молитве; всякому, кто падет на поле сражения, грехи будут прощены; в день последнего суда его раны будут блестеть ярким румянцем и будут издавать благовоние как мускус, а утраченные члены тела будут заменены крыльями ангелов и херувимов". Неустрашимость арабов воспламенялась до энтузиазма; в их воображении ярко рисовалась картина невидимого мира, а смерть, которую они всегда презирали, сделалась для них предметом надежд и желаний. Коран внушает самые безусловные понятия о неизбежной судьбе и предопределении, которые сделали бы и предприимчивость, и добродетель излишними, если бы человек руководствовался в своих действиях своими умозрительными верованиями. Тем не менее влияние этих идей во все века воспламеняло мужество сарацин и турок. Первые последователи Мухаммеда шли в битву с бесстрашной самоуверенностью; там нет опасности, где нет места для случайности: если им было предопределено спокойно умереть в постели, то они

должны были оставаться целыми и невредимыми среди неприятельских стрел[133].

Курейшиты, быть может, были бы довольны бегством Мухаммеда, если бы их не тревожила и не страшила мстительность врага, который мог перехватывать их караваны, проходившие и возвращавшиеся по территории Медины. Сам Абу Суфьян вел богатый караван из тысячи верблюдов, имея при себе конвой только из тридцати или сорока человек; благодаря удаче или ловкости он увернулся от бдительности Мухаммеда, но вождя курейшитов известили, что святые разбойники устроили засаду и ждут его на возвратном пути. Он отправил в Мекку гонца к своим собратьям, которые из страха лишиться своих товаров и своих припасов поспешили к нему на помощь со всеми военными силами, какие находились в городе. Священный отряд Мухаммеда состоял из трехсот тринадцати мусульман, из которых семьдесят семь были беглецы, остальные были союзники; они поочередно ехали верхом на семидесяти верблюдах (ятрибские верблюды были страшны на войне), но такова была бедность его первых последователей, что только двое из них могли явиться на поле сражения верхом на лошадях[134].

В то время как он стоял в плодородной и знаменитой Бедерской долине[135], в трех переходах от Медины, разведчики уведомили его о приближении каравана и о том, что с противоположной стороны приближаются курейшиты с сотней всадников и восемьюстами пятьюдесятью пехотинцами. После непродолжительного совещания он решился пожертвовать материальными выгодами для славы и мщения и возвел небольшие укрепления для прикрытия своих войск и протекавшего по долине источника чистой воды. "О Боже, — воскликнул он при виде спускавшихся с гор многочисленных курейшитов, — если мои воины погибнут, кто же будет поклоняться тебе на земле? Смелее, мои дети, смыкайте ваши ряды, пускайте ваши стрелы и победа будет за нами". При этих словах он воссел вместе с Абу Бекром на троне или на трибуне[136] и стал призывать на помощь Гавриила и три тысячи ангелов. Его взоры были устремлены на поле сражения; мусульмане стали подаваться назад перед теснившим их неприятелем; в эту решительную минуту пророк встал со своего трона, сел на коня и бросил на воздух горсть песку: "Да помутятся их взоры!" Обе армии слышали его громовой

голос; их воображению представилась ангельская рать[137]; объятые страхом курейшиты обратились в бегство; семьдесят из них, принадлежавших к числу самых храбрых, были убиты, и семьдесят пленников украсили первую победу правоверных. Тела убитых курейшитов были обобраны и подверглись оскорблениям; два пленника, считавшихся самыми виновными, были наказаны смертью, а внесенный за остальных выкуп в размере четырех тысяч драхм серебра послужил в некоторой мере вознаграждением за то, что не удалось захватить караван. Но Абу Суфьян тщетно пытался проложить для своих верблюдов новую дорогу сквозь степь и вдоль берегов Евфрата; они были застигнуты мусульманами, а о том, как была велика захваченная добыча, можно судить по тому, что на принадлежавшую пророку пятую часть досталось двадцать тысяч драхм. Желая отомстить за потери, нанесенные и всему обществу, и ему самому, Абу Суфьян собрал отряд из трех тысяч человек, между которыми семьсот были одеты в латы, а двести были посажены на лошадей; за ним следовали три тысячи верблюдов, а его жена Генда и пятнадцать меккских жен непрестанно били в маленькие барабаны, чтобы внушить бодрость войскам и прославить величие самого популярного из богов Каабы, Габалы. Под знаменем Бога и Мухаммеда собрались девятьсот пятьдесят правоверных; они были сравнительно так же немногочисленны, как и на поле Бедерского сражения, но их уверенность в победе одержала верх над божественным авторитетом и над человеческой предусмотрительностью апостола, старавшегося отговорить их от вступления в неравный бой. Второе сражение произошло у горы Огуды, в шести милях к северу от Медины[138]; курейшиты двинулись вперед, выстроившись в форме полумесяца, а состоявшее из кавалерии их правое крыло вел самый страшный и самый счастливый из арабских воинов по имени Халед. Войска Мухаммеда были искусно расставлены на склоне холма, а их тыл охранялся отрядом из пятидесяти стрелков. Тяжестью своего напора они прорвали центр идолопоклонников, но, увлекшись преследованием, утратили свою выгодную позицию; стрелки покинули свой пост; мусульмане увлеклись жаждой добычи, перестали исполнять приказания своего начальника и расстроили свои ряды. Неустрашимый Халед, обойдя со своей кавалерией один из их флангов и их тыл, громко воскликнул, что Мухаммед убит.

Пророк действительно был ранен дротиком в лицо; у него вышибло камнем два зуба; но среди беспорядка и смятения он укорял неверующих в намерении убить пророка и благословлял ту дружескую руку, которая старалась остановить течение крови и направить его в безопасное место. Семьдесят мучеников умерли за грехи народа; они пали, по словам пророка, попарно, так что каждый из двух братьев обнимал своего бездыханного товарища[139]; бесчеловечные меккские женщины искалечили их трупы, а жена Абу Суфьяна отведала внутренностей Мухаммедова дяди Гамзы. Победителям ничто не мешало радоваться торжеству своих суеверий и удовлетворять свою ярость; но мусульмане скоро снова собрали свои силы, а у курейшитов недостало средств или мужества, чтобы предпринять осаду Медины. На нее напала в следующем году десятитысячная неприятельская армия, а этой третьей экспедиции давали то название трех наций, которые шли на бой под знаменем Абу Суфьяна, то название того рва, который был выкопан перед городом и перед лагерем трех тысяч мусульман. Мухаммед был так осторожен, что уклонялся от решительного сражения; Али выказал свое мужество в единоборстве, и война продолжалась двадцать дней, по прошествии которых союзники разошлись в разные стороны. Буря с ветром, дождем и градом опрокинула их палатки; один коварный недруг разжег их внутренние распри, и покинутые своими союзниками курейшиты утратили надежду ниспровергнуть владычество непобедимого изгнанника или положить предел его завоеваниям[140].

Избрание Иерусалима для первой киблы молящихся доказывает, что в самом начале своей деятельности Мухаммед был расположен в пользу иудеев, а для их мирских интересов было бы счастьем, если бы они признали арабского пророка за надежду Израиля и за обещанного Мессию. Их упорство превратило его приязнь в ту непримиримую ненависть, с которой он преследовал этот несчастный народ до последней минуты своей жизни, а вследствие того, что он был в одно и то же время и пророком, и завоевателем, его преследований нельзя было избежать ни в здешнем мире, ни в том[141]. Каиноки жили в Медине под покровительством города: он воспользовался тем предлогом, что случайно возникло какое-то смятение, и потребовал, чтобы они или приняли его религию, или вступили с ним в бой. "Увы,— отвечали дро-

жавшие от страха иудеи,— мы не умеем владеть оружием, но мы не хотим отказываться от верований и от богослужения наших предков; зачем же ты доводишь нас до необходимости обороняться?" Неравная борьба окончилась в две недели, и Мухаммед с крайней неохотой уступил перед настояниями своих союзников, согласившись пощадить жизнь пленников. Но богатства этих пленников были конфискованы; их оружие оказалось более страшным в руках мусульман, и семьсот несчастных изгнанников вместе со своими женами и детьми были вынуждены искать убежища на границах Сирии. Надариты были более виновны, так как они попытались убить пророка на дружеском свидании. Он осадил их замок, находившийся в трех милях от Медины; но их мужественное сопротивление доставило им почетную капитуляцию, и гарнизону было дозволено удалиться с военными почестями, то есть трубить в трубы и бить в барабаны. Иудеи вызвали нападение курейшитов и приняли в нем участие; лишь только нации отступили от рва, Мухаммед, не снимая с себя воинских доспехов, выступил в тот же день в поход с целью истребить враждебную расу детей Кораиды. После двадцатипятидневного сопротивления они сдались на произвол победителя. Они рассчитывали на заступничество своих старых мединских союзников, но они должны были знать, что фанатизм заглушает чувства человеколюбия. Почтенный старец, решению которого они добровольно подчинились, произнес их смертный приговор; семьсот иудеев были приведены в цепях на городскую площадь; они живыми сошли в могилу, приготовленную для их казни и для их погребения, а пророк хладнокровно смотрел на избиение своих беззащитных врагов. Их овцы и верблюды достались мусульманам, а самую полезную часть добычи составляли триста кирас, пятьсот пик и тысяча копий. В шести днях пути к северо-востоку от Медины находился древний и богатый город Хайбар, служивший средоточием для иудейского владычества в Арабии; его территория, состоявшая из плодоносной земли, окруженной степями, была покрыта плантациями и стадами рогатого скота и охранялась восемью замками, из которых некоторые считались неприступными. Силы Мухаммеда состояли из двухсот всадников и тысячи четырехсот пехотинцев; они выносили опасности, усталость и голод во время восьми следовавших одна за другой правильных и

трудных осад, и самые неустрашимые из их вождей отчаивались в успехе. Пророк снова вдохнул в них прежнюю преданность и прежнее мужество, указав им на пример Али, которому дал прозвище Божьего Льва; быть может, Али действительно разрубил своим палашом пополам одного еврейского бойца, отличавшегося гигантским ростом, но мы не можем похвалить за сдержанность те сказки, в которых нам рассказывают, что он сорвал крепостные ворота с петель и защищался этим тяжелым щитом, держа его в левой руке[142]. После взятия замков город Хайбар подпал под иго победителя. Начальник племени был подвергнут в присутствии Мухаммеда пытке для того, чтобы вынудить от него указание скрытых сокровищ; за свою полезную деятельность скотоводы и земледельцы были награждены непрочным милостивым расположением победителя; им было дозволено улучшать их состояние, пока не изменятся намерения победителя и с тем условием, что в его пользу будет поступать половина их доходов. В царствование Омара хайбарские иудеи были переселены в Сирию, а халиф ссылался в этом случае на выраженное его повелителем предсмертное требование, чтобы в Аравии исповедовалась только одна истинная религия[143].

Взоры Мухаммеда ежедневно по пяти раз обращались к Мекке[144], и самые веские мотивы внушали ему желание возвратиться победителем в тот город и в тот храм, из которых он был изгнан; и днем, и ночью мысль о Каабе не выходила из его головы; какой-то пустой сон он принял за видение и предсказание, развернул священное знамя и слишком опрометчиво высказал уверенность в успехе. Его поход из Медины в Мекку имел внешний вид мирного и торжественного шествия, предпринятого для богомолья; впереди его авангарда шли семьдесят отборных верблюдов, украшенных так, как украшают животных для жертвоприношений; он выказал уважение к священной территории и отпустил пленников без выкупа для того, чтобы они распространяли слух о его милосердии и благочестии. Но лишь только Мухаммед спустился на равнину, на расстоянии одного дня пути от города, он воскликнул: "Они оделись в шкуру тигров"; многочисленность и мужество курейшитов остановили его наступление, а привыкшие к бродячей жизни степные арабы могли покинуть или выдать вождя, за которым они шли только из расчета на добычу. Тогда неустрашимый фанатик превратился в хлад-

нокровного и осмотрительного политика: в мирном договоре он умолчал о своем звании пророка Божия, заключил с курейшитами и их союзниками перемирие на десять лет, обязался возвращать беглецов из Мекки, которые будут переходить в его религию, а для самого себя ничего не выговорил, кроме скромного права посетить в следующем году Мекку в качестве друга и пробыть там три дня для исполнения всех обрядов богомолья. Со стыдом и скорбью отступили мусульмане, и эта неудача обнаружила бессилие пророка, так часто ссылавшегося на свои успехи как на доказательства своей миссии. В следующем году вид Мекки оживил верования и надежды этих пилигримов; они не обнажали своих мечей и семь раз обошли Каабу по стопам пророка; курейшиты удалились на окружавшие город возвышенности, а Мухаммед, совершив обычное жертвоприношение, удалился на четвертый день из города. Его благочестие произвело назидательное впечатление на народ; неприятельских вождей он частью застращал, частью перессорил, частью переманил на свою сторону, и от утрачивавшего свой кредит идолопоклонства своевременно отказались будущие завоеватели Сирии и Египта, Халид и Амурат. Силы Мухаммеда увеличились благодаря тому, что несколько арабских племен признали над собой его власть; для завоевания Мекки были собраны десять тысяч солдат, а более слабую партию идолопоклонников нетрудно было уличить в нарушении перемирия. Энтузиазм и дисциплина ускоряли наступление и сохраняли цель предприятия в тайне до той минуты, когда десять тысяч огней возвестили удивленным курейшитам о замыслах, о приближении и о непреодолимом могуществе врага. Высокомерный Абу Суфьян вручил Мухаммеду ключи от города, восхищался разнообразием оружия и знамен проходившей перед его глазами армии, заметил, что сын Абдаллаха приобрел могущественное царство, и под палашом Омара признал Мухаммеда пророком истинного Бога. Возвращение Мария и Суллы было запятнано кровью римлян; религиозный фанатизм мог бы разжечь и в Мухаммеде жажду мщения, а его оскорбленные приверженцы стали бы с усердием исполнять или предупреждать смертные приговоры. Но вместо того, чтобы удовлетворить их ненависть и свою собственную[145], победоносный изгнанник простил виновных и привязал к себе партии, на которые разделялись жители Мекки. Его вой-

ска вступили в город тремя отрядами; двадцать восемь городских жителей пали под мечом Халида; одиннадцать мужчин и шесть женщин были изгнаны по приговору Мухаммеда; но он порицал жестокосердие своего помощника, и многие из обреченных на гибель жертв были обязаны жизнью его милосердию или презрению. Вожди курейшитов пали к его стопам. "Какой пощады можете вы ожидать от человека, которого вы оскорбили?"— "Мы рассчитываем на великодушие нашего одноплеменника".— "Вы не ошибетесь в вашем ожидании, идите! Ваша жизнь в безопасности, и вы свободны". Жители Мекки снискали помилование тем, что перешли в ислам, и беглый миссионер, после семилетнего изгнания, был признан государем и пророком своей родины[146]. Но стоявшие в Каабе триста шестьдесят идолов были с позором разбиты в куски; дом Божий очистился и украсился; для примера будущим поколениям пророк еще раз исполнил долг богомолья и издал на вечные времена закон, что никто из неверующих не должен ставить ноги на территорию священного города[147].

Завоевание Мекки упрочило религию и покорность арабских племен[148], которые, сообразуясь с превратностями фортуны, то преклонялись перед красноречием и военными подвигами пророка, то относились к ним с пренебрежением. Равнодушие к религиозным обрядам и мнениям до сих пор составляет отличительную черту в характере бедуинов, и они приняли учение Корана, вероятно, с таким же невниманием, с каким исповедуют его. Однако самые упорные из них не захотели отказаться от религии и от свободы своих предков, и Гонаинская война получила свое название от тех идолов, которых Мухаммед дал обет истребить и которых Таифские союзники поклялись защищать[149]. Четыре тысячи язычников втайне и торопливо подвигались вперед в надежде застигнуть завоевателя врасплох; они и жалели, и презирали курейшитов за их беспечную небрежность, но рассчитывали на сочувствие и, быть может, на помощь народа, только что отрекшегося от своих богов и преклонившегося под иго их врага. Пророк развернул знамена Медины и Мекки; толпа бедуинов увеличила силы или численный состав его армии, и двенадцать тысяч мусульман предались опрометчивой и пагубной уверенности в том, что они непобедимы. Они без всяких предосторожностей спустились в Гонаин-

скую долину; высоты были заняты стрелками и пращниками союзников; армия Мухаммеда не выдержала их напора; она позабыла о требованиях дисциплины, ее мужество ослабело, и курейшиты радовались ее неизбежному поражению. Сидевший верхом на белом муле пророк был окружен врагами; он попытался броситься на их копья, чтобы умереть славной смертью; десятеро из его верных охранителей защитили его своим оружием и своей грудью; трое из них пали мертвыми у его ног. "О братья,— неоднократно восклицал он со скорбью и негодованием, — я сын Абдаллаха, я пророк истины! Люди, будьте тверды в вашей вере! Господи, приди к нам на помощь!" Его дядя Аббас, отличавшийся, подобно гомеровским героям, звучностью своего голоса, оглашал долину описанием Божеских наград и обещаний; обратившиеся в бегство мусульмане снова стали со всех сторон стекаться под священное знамя, и Мухаммед с удовольствием заметил, что они снова воспламенились мужеством; своим поведением и своим примером он обеспечил успех сражения и поощрял свои победоносные войска безжалостно вымещать свой стыд на его виновниках. С Гонаинского поля сражения он безотлагательно двинулся к находившемуся в шестидесяти милях на юго-востоке от Мекки Таифу — сильной крепости, построенной на плодородной территории, на которой зреют сирийские фрукты среди окружающей ее аравийской степи. Одно дружелюбное племя, знакомое (не понимаю, как оно могло быть знакомо) с искусством ведения осад, доставило ему несколько таранов и военных машин вместе с отрядом из пятисот фейерверкеров. Но он тщетно предлагал свободу таифским невольникам, тщетно нарушал свои собственные законы относительно вырывания с корнем плодовых деревьев, тщетно подводил мины и посылал свои войска на приступ открывшейся бреши. После двадцатидневной осады пророк подал сигнал к отступлению; но он, отступая, благочестиво воспевал свой триумф и молил небо о раскаянии и о безопасности этого неверующего города.

Впрочем, экспедиция оказалась удачной, так как собранная добыча состояла из шести тысяч пленников, двадцати четырех тысяч верблюдов, сорока тысяч овец и четырех тысяч унций серебра; одно сражавшееся при Гонаине племя выкупило своих пленников тем, что пожертвовало своими идолами, но Мухаммед вознаградил солдат за эту потерю,

отказавшись в их пользу от своей пятой доли добычи, и выразил, ради их пользы, желание, чтобы у него было столько же голов рогатого скота, сколько было деревьев в провинции Тегаме. Вместо того чтобы наказать курейшитов за их недоброжелательство, он постарался (как сам выражался) вырезать у них язык, расположив их к себе самыми щедрыми подарками; одному Абу Суфьяну было подарено триста верблюдов и двадцать унций серебра, и Мекка искренно обратилась в прибыльную религию Корана. Беглецы и союзники стали жаловаться, что они вынесли на своих плечах все трудности войны, а когда была одержана победа, к ним стали относиться с пренебрежением. "Увы! — возразил их хитрый вождь,— вам приходится потерпеть, пока я не приобрету преданности этих недавних врагов, этих ненадежных новообращенных, пожертвовав в их пользу несколькими бренными сокровищами. Вашей охране я вверяю мою жизнь и мою судьбу. Вы мои товарищи и в ссылке, и на престоле, и в раю". Вслед за ним приехали из Таифа депутаты, опасавшиеся возобновления осады. "Даруй нам, пророк Божий, перемирие на три года с дозволением держаться прежнего культа".— "Ни на один месяц, ни на один час".— "По крайней мере, освободи нас от обязанности совершать молитвы".— "Без молитвы религия бесполезна". Они молча покорились; их храмы были разрушены, и такой же участи подверглись все идолы в Аравии. Представителей Мухаммеда встречали радостными приветствиями правоверные обитатели берегов Черного моря, океана и Персидского залива, а послы, преклонявшие колена перед воздвигнутым в Медине престолом, были так же многочисленны (говорит одна арабская поговорка), как спелые финики, падающие с пальмового дерева. Нация подчинилась Богу и светскому владычеству Мухаммеда; позорное название дани было уничтожено; добровольные или обязательные взносы милостыни и десятины были назначены на нужды религии; а во время последнего странствования пророка для богомолья его сопровождали сто четырнадцать тысяч мусульман[150].

Когда Ираклий с триумфом возвращался из персидской экспедиции, к нему явился в Эмесе один из послов Мухаммеда, обращавшийся к земным царям и народам с приглашением перейти в мусульманскую веру. В этом факте фанатизм арабов усмотрел доказательство того, что христианский импера-

тор втайне уверовал в ислам, а греки из тщеславия уверяли, будто повелитель Медины лично посетил императора и получил от его царских щедрот богатое поместье и безопасное убежище в сирийской провинции[151]. Но дружба Ираклия и Мухаммеда была непродолжительна: новая религия скорей воспламеняла, чем смягчала хищнические наклонности сарацин, а умерщвление одного посланца доставило благовидный предлог для вторжения трех тысяч мусульманских солдат в ту часть Палестины, которая лежит к Востоку от Иордана. Священное знамя было вручено Зеиду, и такова была дисциплина или таков был энтузиазм приверженцев возникавшей школы, что самые знатные вожди охотно служили под начальством Мухаммедова раба. Если бы Зеид умер, его должны были заместить сначала Иаафар, а потом Абдаллах; а в случае если бы все трое погибли на войне, войскам было предоставлено право избрать начальника. Эти три вождя были убиты в сражении при Муте[152], то есть в первом военном действии, доставившем мусульманам случай померяться мужеством с внешним врагом. Зеид пал, как солдат, в передовых рядах; Иаафар умер геройской и замечательной смертью: он лишился правой руки и взял знамя в левую руку; ему отсекли и левую руку; тогда он стал держать знамя окровавленными обрубками обеих рук, пока не упал на землю от пятидесяти ран. "Вперед,— воскликнул ставший на его место Абдаллах,— не робей; нам достанется или победа, или рай". Копье одного римлянина решило его участь; но выпавшее из его рук знамя было поднято меккским новообращенным Халидом; в его руке переломились девять мечей, а своим мужеством он сдержал и отразил христиан, несмотря на то, что на их стороне было численное превосходство. На происходившем в лагере ночном совещании он был избран начальником; на следующий день его искусные маневры доставили сарацинам победу или, по меньшей мере, возможность отступить, и Халид сделался известен и своим соотечественникам, и своим врагам под громким прозвищем Меча Божия. С церковной кафедры Мухаммед с пророческим увлечением описывал блаженство мучеников, погибших за святое дело; но у себя дома он выказывал свойственные человеческой натуре чувства: после смерти дочери Зеида один из его последователей застал его в слезах. "Что я вижу?"— воскликнул удивленный посетитель. "Вы видите,— отвечал пророк, —

друга, оплакивающего утрату самого верного из своих друзей". После завоевания Мекки повелитель Аравии сделал вид, будто намерен предупредить начало военных действий со стороны Ираклия и торжественно объявил римлянам войну, нисколько не стараясь скрывать трудность и опасность такого предприятия[153]. Мусульмане упали духом: они стали отговариваться, ссылаясь на недостаток денег, лошадей и провианта, на приближавшееся время жатвы и на невыносимую летнюю жару. "В аду гораздо жарче",— сказал с негодованием пророк. Он не захотел силой заставлять их идти на службу, но по возвращении домой наказал главных виновников отлучением от церкви на пятьдесят дней. Этот отказ от службы выставил в более ярком свете достоинства Абу Бекра, Османа и трех преданных приверженцев, которые готовы были жертвовать и своей жизнью, и своим состоянием, и под знаменем Мухаммеда выступили десять тысяч всадников и двадцать тысяч пехотинцев. Во время похода пришлось выносить очень тяжелые лишения: усталость и жажда усиливались от жгучих и гибельных для здоровья степных ветров; десять человек поочередно ехали на одном верблюде, и войска были доведены до позорной необходимости утолять жажду мочой этого полезного животного. На половине дороги, в десяти днях пути от Медины и от Дамаска, они отдохнули подле рощи и источника Табука. Мухаммед не пожелал идти далее: он объявил, что удовлетворен миролюбивыми намерениями восточного императора, а, по всей вероятности, испугался его приготовлений к войне. Но деятельный и неустрашимый Халид повсюду наводил ужас одним своим именем, и пророк принял изъявления покорности от различных племен и городов, разбросанных на пространстве от Евфрата до Аилаха у входа в Чермное море. Своим христианским подданным Мухаммед охотно даровал личную безопасность, свободу торговли, обеспечение собственности и дозволение исповедовать их религию[154]. Они не были в состоянии воспрепятствовать его честолюбивым замыслам, потому что не могли найти надежной опоры в тех немногочисленных арабах, которые исповедовали христианство. Последователи Иисуса стали дороги врагу иудеев, и собственные интересы завоевателя заставляли его быть снисходительным к тем, кто исповедовал самую могущественную из всех религий на земле.

До шестидесяти трех лет Мухаммед обладал достаточными силами, чтобы исполнять все мирские и духовные задачи своей миссии. Его припадки падучей болезни были нелепой клеветой со стороны греков и во всяком случае должны бы были возбуждать скорей сострадание, чем отвращение[155]; но он серьезно верил в то, что одна жидовка отравила его в Хайбаре из мщения[156]. В течение четырех лет здоровье пророка все слабело; его недуги все усиливались, и он умер от двухнедельной лихорадки, от которой минутами терял рассудок. Лишь только он понял опасность своего положения, он показал своим единоверцам назидательный пример смирения и покаяния. "Если найдется человек, которого я несправедливо подверг бичеванию,— сказал пророк с церковной кафедры,— пусть он вымещает свою обиду на моей собственной спине. Запятнал ли я репутацию кого-либо из мусульман? Пусть он заявляет о *моей* вине в присутствии всего собрания. Лишил ли я кого-либо собственности? Мое небольшое состояние уплатит и капитал, и проценты долга". "Да,— раздался голос из толпы,— мне следует получить три драхмы серебра". Мухаммед выслушал жалобу, удовлетворил претензию и поблагодарил своего кредитора за предъявление обвинения в этом мире, а не в день последнего суда. Он с хладнокровием и твердостью ожидал смерти, дал свободу своим рабам (как рассказывают, семнадцати мужчинам и одиннадцати женщинам), подробно установил церемонию своих похорон и сдерживал скорбь своих плачущих друзей, которых благословил в дышавших миролюбием выражениях. Только за три дня до своей смерти он перестал публично совершать молитву; он указал на Абу Бекра как на своего будущего заместителя, и этим как будто назначил этого старинного и преданного друга своим преемником, и в звании первосвященника, и в звании светского правителя; но он благоразумно воздержался от более формального назначения из опасения возбудить зависть. Когда его умственные способности стали видимым образом слабеть, он потребовал пера и чернил для того, чтобы написать или, верней, продиктовать божественную книгу, в которой он намеревался вкратце изложить и дополнить все свои откровения; тогда между окружающими возник спор о том, можно ли допустить, чтобы над авторитетом Корана был поставлен какой-либо другой высший авторитет, и пророк был вынужден попрекнуть своих приверженцев за

их непристойную горячность. Если можно иметь хоть малейшее доверие к преданиям, исходившим от его жен и от его приближенных, он держал себя в среде своего семейства до последних минут своей жизни с достоинством пророка и с уверенностью энтузиаста, описывал посещения Гавриила, приходившего навеки проститься с землей, и выразил горячую уверенность не только в милосердии, но даже в милостивом расположении Верховного Существа. Он однажды объявил в домашней беседе, что благодаря предоставленному ему особому праву ангел смерти возьмет его душу не иначе как почтительно испросив разрешение пророка.

Это разрешение было дано, и немедленно, вслед за тем Мухаммед впал в предсмертную агонию; его голова покоилась на коленах его любимой жены Аиши; от сильных страданий с ним сделался обморок; придя в себя, он устремил в потолок глаза, в которых еще была видна энергия, но его голос ослабел, и следующие последние слова были им произнесены отрывочно, хотя и ясно: "О Боже!... прости мои прегрешения!.. Да... Я иду... к моим товарищам, которые на небесах"; затем он спокойно испустил дух на ковре, который был разложен на полу. Это печальное событие приостановило экспедицию, приготовленную для завоевания Сирии; армия остановилась у ворот Медины, и вожди собрались вокруг своего умирающего повелителя. Город и в особенности дом, в котором жил пророк, сделались сценами громких выражений скорби или безмолвного отчаяния: только фанатизм был способен уловить луч надежды и утешения. "Как мог умереть тот, кто наш свидетель, наш заступник, наш ходатай перед Богом? Бог тому свидетель, что он не умер; подобно Моисею и Иисусу, он впал в святое усыпление и скоро возвратится к своему верному народу". На свидетельство чувственных органов не обращалось внимания, и обнаживший свой меч Омар грозил, что отрубит головы у тех неверующих, которые осмеливаются утверждать, что пророка уже нет в живых. Смятение стихло благодаря влиянию и хладнокровию Абу Бекра. "Кому вы поклоняетесь,— сказал он, обращаясь к Омару и к собравшейся толпе, — Мухаммеду или Богу Мухаммеда. Бог Мухаммеда вечен, но пророк такой же смертный, как мы сами, и согласно со своим собственным предсказанием подвергся общей участи всех смертных". Самые близкие родственники Мухаммеда с благоговением сами по-

хоронили его на том месте, где он испустил дух[157]; его смерть и погребение придали Медине значение святого города, и направляющиеся к Мекке бесчисленные пилигримы нередко сворачивают в сторону, чтобы исполнить добровольный долг благочестия[158] перед скромной гробницей пророка[159].

От меня, быть может, ожидают, что, закончив жизнеописание Мухаммеда, я взвешу его пороки и добродетели и разрешу вопрос, какое название более прилично этому необыкновенному человеку,— название ли энтузиаста или название обманщика. Если бы я находился в близких личных сношениях с сыном Абдаллаха, такая задача все-таки была бы трудна и успех в ее разрешении был бы сомнителен; но на расстоянии двенадцати столетий я с трудом различаю черты его физиономии сквозь облако фимиама, и даже если бы я мог верно изобразить его личность в один из моментов его жизни, этот портрет не мог бы быть похож, и на жившего на горе Гере отшельника, и на меккского проповедника, и на завоевателя Аравии. Виновник столь громадного переворота, по-видимому, был по природе склонен к благочестию и к созерцательной жизни; когда женитьба освободила его из-под гнета материальной нужды, он не искал тех путей, которые ведут к удовлетворению честолюбия и корыстолюбия; до сорока лет он вел невинную жизнь, и если бы умер в это время, его имя было бы никому не известно. Понятие о единстве Божием в высшей степени сообразно и с природой, и с рассудком, и из одного разговора с иудеями и с христианами он мог вынести презрение и ненависть к идолопоклонству жителей Мекки. И долг человека, и долг гражданина побуждал его распространять учение, спасающее душу, и высвободить свою родину из-под владычества греха и заблуждения. Энергия ума, непрестанно устремленного на один и тот же предмет, способна превратить общую обязанность в личное призвание одного человека; тогда пылкие увлечения ума или воображения принимаются за вдохновение свыше; напряжение ума доводит до восторженности и до видений, а служащее невидимым двигателем внутреннее чувство принимает форму и атрибуты ангела Божия[160]. Переход от энтузиазма к обману опасен и скользок. Сократов демон[161] представляет достопамятный пример того, как мудрец может обманывать самого себя, как добродетельный человек может обманывать

других и как совесть может засыпать на смешанной середине между самообольщением и преднамеренным обманом. Из снисхождения можно допустить, что первоначальные мотивы Мухаммеда истекали из благородного и неподдельного человеколюбия; но облеченный в человеческую плоть миссионер неспособен любить тех упорных неверующих, которые отвергают его притязания, не хотят вникнуть в его аргументы и подвергают его жизнь опасности; он мог прощать своих личных врагов, но, конечно, считал себя вправе ненавидеть врагов Божиих; в душе Мухаммеда воспламенились страсти, внушаемые гордостью и мстительностью и, подобно пророку Ниневии, он горячо желал истребления тех, кого считал за мятежников. Несправедливость жителей Мекки и добрая воля жителей Медины превратили гражданина в монарха, смиренного проповедника в начальника армий; но его меч был освящен примером святых, и тот же Бог, который ниспосылает на грешный мир моровую язву и землетрясения, мог употребить мужество своих служителей на исправление или наказание виновных. В делах светского управления он был вынужден смягчать суровую строгость фанатизма, в некоторой мере применяться к предрассудкам и страстям своих последователей и даже пользоваться пороками человеческого рода как орудиями для его спасения. Обман и вероломство, жестокосердие и несправедливость нередко служили орудиями для распространения религиозных верований, и Мухаммед предписывал или одобрял умерщвление тех иудеев и идолопоклонников, которым удавалось спастись с поля сражения бегством. Повторение таких жестокостей должно было с течением времени развратить характер Мухаммеда, а влияние этого пагубного обыкновения едва ли могло находить противовес в тех личных и общественных добродетелях, которые были необходимы для поддержания репутации пророка между его приверженцами и друзьями. В последние годы его жизни честолюбие было его господствующей страстью, а в том, кому знакомо искусство управлять людьми, невольно должно рождаться подозрение, что победоносный обманщик втайне насмехался над энтузиазмом своей юности и над легковерием своих последователей[162]. Философ со своей стороны заметит, что жестокосердие этих последователей и его собственный успех должны были укреплять в нем уверенность в его божественной миссии, что его интересы

были неразрывно связаны с его религией и что его совесть могла убаюкивать себя убеждением, что его одного Божество освободило от обязанности соблюдать положительные и нравственные законы.

Если Мухаммед сохранил какую-либо долю своей природной искренности, то его прегрешения можно считать за доказательство его чистосердечия. Обман и вымысел могут считаться менее преступными, когда способствуют торжеству истины, и он, может быть, не стал бы прибегать к таким гнусным средствам, если бы не был убежден в важности и справедливости той цели, для которой они употреблялись. Даже в жизни завоевателя и первосвященника можно уловить такое слово или такое деяние, в котором сказывается непритворное человеколюбие, и тот декрет Мухаммеда, в котором запрещается при продаже пленников разлучать матерей с их детьми, может прервать или ослабить порицания историка[163].

Здравый смысл Мухаммеда[164] пренебрегал царской пышностью; пророк Божий исполнял низкие домашние обязанности; он разводил огонь, мел полы, доил овец и сам чинил свою обувь и свою шерстяную одежду. Если он пренебрегал делами покаяния и добродетелями отшельника, зато он без труда или без тщеславия соблюдал воздержанный образ жизни, свойственный арабу и солдату. В торжественных случаях он угощал своих товарищей, и тогда его простой и гостеприимный стол отличался изобилием яств; но в своей обыденной жизни пророк по целым неделям не разводил огня на своем очаге. Запрещение пить вино он подкреплял своим собственным примером; голод он утолял небольшим куском ячменного хлеба; он очень любил молоко и мед, но его обыкновенная пища состояла из фиников и воды. Благовонные вещества и женщины доставляли ему те чувственные наслаждения, которых требовала его натура и которых не воспрещала его религия, и Мухаммед утверждал, что от этих невинных удовольствий усиливался пыл его благочестия. От жаркого климата у арабов воспламеняется кровь, и их врожденное влечение к сладострастию было подмечено древними писателями[165]. Их невоздержанность была обуздана гражданскими и религиозными постановлениями Корана; их кровосмесительные любовные связи были подвергнуты порицанию, а не знавшее никаких пределов многоженство было стеснено раз-

рсшениєм иметь не более четырех законных жен или наложниц; права этих жен на брачное ложе и на вдовью часть были определены согласно с требованиями справедливости; свободе развода не делалось поощрений; прелюбодеяние было признано за уголовное преступление, а за блудодеяние лица обоего пола наказывались ста ударами плети[166]. Таковы были хладнокровно обдуманные и разумные требования законодателя; но в своей частной жизни Мухаммед давал полную волю своим страстям и злоупотреблял правами пророка. Особое откровение освободило его от обязанности исполнять те законы, которые он издал для своего народа; все женщины без исключения должны были удовлетворять его желания, а эта странная прерогатива возбуждала в благочестивых мусульманах не столько негодование, сколько зависть, и не столько зависть, сколько уважение. Если мы припомним, что у мудрого Соломона было семьсот жен и триста наложниц, то мы должны будем похвалить воздержанность араба, который женился только на семнадцати или на пятнадцати женщинах; одиннадцать из них занимали особые помещения подле дома пророка и поочередно пользовались посещениями своего супруга[167]. Странным кажется только тот факт, что все они были вдовы, за исключением дочери Абу Бекра[168] Аиши. Эта последняя, без сомнения, была девственницей, так как Мухаммед вступил с ней в брак, когда ей было только девять лет (так рано развиваются там женщины под влиянием климата). Молодость, красота и мужество Аиши доставили ей преобладающее влияние; пророк любил ее и доверял ей, а после его смерти дочь Абу Бекра долго пользовалась особым уважением как мать правоверных. Ее поведение было двусмысленно и нескромно: во время одного ночного перехода она случайно осталась позади всех, а утром возвратилась в лагерь в сопровождении мужчины. Мухаммед был от природы склонен к ревности; но божеское откровение убедило его в ее невинности; он наказал ее обвинителей и издал для обеспечения семейного согласия закон, что никакую женщину нельзя обвинять в прелюбодеянии, если четверо мужчин не могут удостоверить, что застали ее на месте преступления[169]. В своих любовных похождениях с женой Зеида, Зейнебой, и с пленной египтянкой Марией влюбленный пророк позабыл об интересах своей репутации. В доме усыновленного им вольноотпущенника Зеида он прельстился

красотой полураздетой Зейнебы и разразился восклицанием, в котором выразил свой восторг и свои желания. Из раболепия или из признательности вольноотпущенник понял, чего желал пророк и без колебаний удовлетворил любовное влечение своего благодетеля. Но так как связывавшие их узы родства возбуждали некоторые недоумения и скандал, то ангел Гавриил сошел с небес для того, чтобы санкционировать то, что случилось, уничтожить усыновление и слегка упрекнуть пророка за недоверие к Божескому снисхождению. Одна из его жен, дочь Омара Гафза, застала его на своей собственной постели в объятиях его пленной египтянки: она дала ему обещание никому об этом не говорить и простить его вину, а он поклялся, что откажется от обладания Марией. Но эти обещания были нарушены с обеих сторон, и Гавриил снова сошел с небес с главою Корана, которая освобождала Мухаммеда от данной клятвы и разрешала ему, ничем не стесняясь, пользоваться своими пленницами и наложницами и не обращать внимания на жалобы своих жен. Он провел вдвоем с Марией тридцать дней в уединенном убежище и постарался с точностью исполнить предписания ангела. Насытивши и свое любовное влечение, и свою жажду мщения, он потребовал к себе своих одиннадцать жен, упрекнул их за неповиновение и нескромность и пригрозил им разводом и в этом мире, и в том, а это была страшная угроза, потому что те женщины, которые были удостоены права разделять с пророком его ложе, были навсегда лишены надежды вторично вступить в брак. Быть может, для невоздержанности Мухаммеда могут служить оправданием те природные или сверхъестественные дарования, которые приписываются ему преданием[170]; он соединял в себе силу тридцати потомков Адама и мог соперничать с тринадцатым[171] из трудных подвигов греческого Геркулеса[172]. Более серьезным и более приличным оправданием может в этом случае служить его верность Хадидже. В течение их двадцатичетырехлетнего брачного сожития ее молодой супруг воздерживался от пользования своим правом иметь нескольких жен, так что ни гордость, ни сердечная привязанность почтенной матроны никогда не были оскорблены присутствием соперницы. После ее смерти он назначил ей место в числе четырех совершенных женщин наряду с сестрой Моисея, с матерью Иисуса и со своей любимой дочерью Фатимой. "Разве она не была ста-

ра?— спросила Аиша с дерзкой самоуверенностью блестящей красоты,— разве Бог не послал вам вместо нее другую, которая лучше ее?" "Клянусь Богом, что нет,— отвечал Мухаммед с чувством искренней признательности,— лучше ее никто не может быть! она верила мне, когда все другие презирали меня; она удовлетворяла мои нужды в то время, когда я был беден и терпел от всех притеснения"[173].

Основатель новой религии и новой империи, быть может, придерживался полигамии в самых широких размерах для того, чтобы оставить после себя многочисленное потомство и наследников по прямой нисходящей линии. Но Мухаммед обманулся в своих ожиданиях. И девственница Аиша, и его десять вдов, которые уже были в зрелых летах и уже прежде доказали свою плодовитость, вышли бездетными из его могучих любовных объятий. Четыре сына Хадиджи умерли в детстве. Его египетская наложница Мария была ему особенно дорога тем, что родила ему сына Ибрагима. По прошествии пятнадцати месяцев пророк проливал слезы над могилой этого ребенка, но с твердостью выносил насмешки своих врагов и сдерживал лесть или легковерие мусульман, уверяя их, что случившееся в ту пору солнечное затмение не могло произойти от смерти ребенка. От Хадиджи у него было четыре дочери, которые были замужем за самыми преданными его последователями; из них три старшие умерли прежде отца; но пользовавшаяся его доверием и любовью Фатима вышла замуж за своего двоюродного брата Али и сделалась прародительницей знаменитого рода. Личные достоинства и несчастья Али и его потомства побуждают меня преждевременно описать ряд сарацинских халифов, разумея под этим титулом тех начальников правоверных, которые считались наместниками и преемниками пророка Божия[174].

И по происхождению, и по родственным связям, и по характеру Али стоял выше всех своих соотечественников и потому мог предъявить основательное притязание на вакантный престол. Сын Абу Талеба был по праву рождения главой рода Хашимитов и наследным правителем или хранителем города Мекки и его храма. Светило пророчеств угасло; но муж Фатимы мог надеяться, что ей достанется наследство и благословение ее отца; арабы иногда подчинялись женскому управлению, а своих двух внуков пророк нередко сажал с лаской на свои колена и показывал с церковной кафедры, вы-

давая их за утешение своей старости и за вождей райской молодежи. Первый из правоверных мог надеяться, что будет поставлен выше их и в этом мире, и в том, и хотя некоторые из недавних новообращенных были более серьезного и более сурового нравственного закала, никто не превосходил Али ни религиозным усердием, ни добродетелями. Он соединял в себе достоинства поэта, солдата и святого; его мудрость до сих пор сказывается в его нравственных и религиозных изречениях[175], а в спорах и в боях ни один противник не мог устоять против его красноречия и его мужества. С той минуты, как пророк приступил к исполнению своей миссии и до той минуты, когда были совершены все обряды его похорон, его никогда не покидал этот благородный друг, которого он любил называть своим братом, своим наместником и верным Ааароном второго Моисея. Абу Талебова сына впоследствии упрекали за то, что он не постарался оградить свои личные интересы и не исходатайствовал формального признания своих прав на наследство, так как он этим устранил бы всех соискателей и закрепил бы за собой верховную власть ссылкой на волю небес. Но доверчивый герой полагался лишь на самого себя; вероятно, нежелание делиться властью, а, может быть, и опасение вызвать оппозицию, удержали Мухаммеда от решительного назначения своего преемника, а во время его последней болезни при нем постоянно находилась коварная Аиша, которая была дочерью Абу Бекра и врагом Али. Молчание и смерть пророка возвратили народу свободу, и его приближенные созвали собрание для совещания о выборе его преемника. Наследственные права и гордость Али были оскорбительны для аристократии старейшин, желавших вручать и отнимать верховную власть путем свободных и частых выборов; курейшиты никогда не могли примириться с высокомерными притязаниями Хашимитов на первенство; между племенами возгорелась старая вражда; меккские *беглецы* и мединские *союзники* стали предъявлять свои заслуги, и опрометчивое предположение выбрать двух независимых халифов[176] могло уничтожить и религию, и могущество сарацин в самом зародыше. Смятение прекратилось благодаря бескорыстной решимости Омара, который внезапно отказался от своих притязаний, протянул вперед руку и объявил себя первым подданным кроткого и почтенного Абу Бекра. Необходимость выйти из затруднительного положе-

ния и одобрение народа могли служить оправданием этого противозаконного и торопливого решения; но сам Омар объявил с церковной кафедры, что если кто-либо из мусульман впоследствии предупредит выбор своих собратьев, то и сам избранник, и избиратели будут достойны смертной казни[177]. Абу Бекр вступил в должность без всяких пышных церемоний; его власти подчинились Медина, Мекка и арабские провинции; одни хашимиты уклонились от принесения присяги на подданство, а их вождь в течение более полугода не выходил из своего дома и упорно отстаивал свою независимость, не обращая никакого внимания на угрозы Омара, пытавшегося поджечь жилище дочери пророка. Смерть Фатимы и упадок, в который пришла его партия, сломили упорство Али; он преклонился перед вождем правоверных, одобрил ссылку Абу Бекра на необходимость предупредить замыслы их общих врагов и благоразумно отверг любезное предложение Абу Бекра отказаться от верховной власти над арабами. После двухлетнего управления престарелый халиф услышал призыв ангела смерти. С безмолвного одобрения своих приближенных он, по завещанию, передал скипетр непоколебимому и неустрашимому Омару. "Я не нуждаюсь в этом звании",— сказал скромный кандидат. "Но это звание нуждается в вас", — возразил Абу Бекр и вслед за тем испустил дух, вознося горячие молитвы к Богу Мухаммеда, чтобы он одобрил этот выбор и направил мусульман на путь взаимного согласия и повиновения. Эта молитва не осталась бесплодной, так как сам Али, проводивший свою жизнь в уединении и в молитве, признавал превосходство личных достоинств и заслуг за своим соперником, который со своей стороны старался заглушить его сожаления об утрате верховной власти, осыпая его самыми лестными выражениями своего доверия и уважения. На двенадцатом году своего царствования Омар получил смертельную рану от руки убийцы; он с одинаковым беспристрастием отверг имена и своего сына, и Али, не захотел обременять свою совесть грехами своего преемника и возложил на шестерых самых почтенных своих сотоварищей трудную обязанность избрать вождя правоверных. По этому случаю Али снова вызвал упреки своих друзей[178] за то, что подверг свое право оценке других людей и признал их юрисдикцию, согласившись быть одним из шести избирателей. Он мог бы привлечь на свою сторону голоса этих изби-

рателей, если бы удостоил их обещанием, что будет строго и раболепно сообразовываться не только с Кораном и с традицией, но также с решениями двух старейшин[179]. С этими ограничениями взялся управлять бывший секретарь Мухаммеда, Осман, и только после смерти третьего халифа и через двадцать четыре года после смерти пророка Али был возведен, по выбору народа, в звание правителя и первосвященника. Нравы арабов сохранили свою прежнюю простоту, и сын Абу Талеба презирал мирскую пышность и тщеславие. В час, назначенный для молитвы, он отправился в мединскую мечеть в одежде из простой бумажной ткани с неизящной чалмой на голове, держа в одной руке свою обувь, а в другой лук, заменявший ему палку. Товарищи пророка и вожди племен приветствовали своего нового государя и протягивали ему свои правые руки в знак верноподданства и преданности.

Вред, который проистекает от раздоров, возбуждаемых честолюбием, обыкновенно ограничивается тем временем, в которое возникли эти раздоры, и тем местом, где они происходили. Но религиозная распря между друзьями и недругами Али возобновлялась во все века эгиры и до сих пор поддерживает взаимную неугасимую ненависть между персами и турками[180]. Первые из них заклеймены прозвищем *шиитов*, или сектантов, за то, что обогатили религию Мухаммеда следующим догматом веры: если Мухаммед пророк Божий, то его товарищ Али наместник Божий. И в домашних беседах, и при публичном исполнении религиозных обрядов они выражают свою ненависть к трем узурпаторам, нарушившим бесспорное право Али на звание имама и халифа, а имя Омара служит на их языке выражением самой высшей безнравственности и нечестия[181]. Сунниты, учение которых основано на общем одобрении и на традициях правоверных мусульман, придерживаются более беспристрастного или, по меньшей мере, более скромного мнения. Они чтят память Абу Бекра, Омара, Османа и Али, считая их за святых и законных преемников пророка; супругу Фатимы они отводят последнее и самое скромное место в том убеждении, что порядок наследования был установлен сообразно со степенью святости каждого из них[182]. Историк, взвешивая личные качества четырех халифов рукой, не колеблющейся от суеверий, беспристрастно решит, что нравы каждого из них были одина-

ково чисты и примерны, что их религиозное усердие было пылко и, вероятно, искренно и что, несмотря на свои богатства и на свое могущество, они посвящали свою жизнь исполнению своих нравственных и религиозных обязанностей. Но общественные добродетели Абу Бекра и Омара — благоразумие первого и строгость второго, поддерживали внутреннее спокойствие и благоденствие государства. А Осман, по слабости характера и вследствие старости, не был способен ни расширять свои владения завоеваниями, ни выносить бремя управления. Он передавал свою власть другим, и его обманывали; он выказывал доверие, и ему изменяли; самые достойные из правоверных или были лишены возможности помогать ему в делах управления, или сделались его врагами, а его расточительная щедрость породила лишь неблагодарность и недовольство. Дух раздора распространился по провинциям; их депутаты собрались в Медине, а хариджиты (отчаянные фанатики, не признававшие никаких обязанностей, налагаемых субординацией и рассудком), были поставлены на одну ногу со свободнорожденными арабами, требовавшими удовлетворения за понесенные обиды и наказания своих притеснителей. Из Куфы, из Басры, из Египта и из среды степных племен собрались люди с оружием в руках; они раскинули свой лагерь на расстоянии почти одной мили от Медины и обратились к своему государю с высокомерным требованием или поступить по справедливости, или отказаться от престола. Его раскаяние обезоружило мятежников, и они уже начинали расходиться; но коварство его врагов снова разожгло их ненависть, и его вероломному секретарю удалось при помощи подлога очернить его репутацию и ускорить его падение[83]. Халиф утратил то, что служило единственной охраной для его предшественников — уважение и доверие мусульман; он выдержал шестинедельную осаду, во время которой осаждающие пресекли подвоз воды и съестных припасов, а слабо укрепленные ворота его двора охранялись лишь угрызениями совести тех мятежников, которые были более робкого характера. Покинутый теми, кто злоупотреблял его простодушием, беспомощный и почтенный халиф ожидал приближения смерти; брат Аиши появился во главе убийц; они застали Османа с Кораном на коленях и нанесли ему множество ран. Продолжавшееся пять дней шумное безначалие прекратилось с возведением на престол Али;

его отказ послужил бы поводом к всеобщей резне. В эту трудную минуту он держал себя с гордостью, приличной вождю хашимитов, объявил, что предпочел бы служить, а не повелевать, восстал против притязаний иноземцев и потребовал если не добровольного, то, по меньшей мере, формального согласия народных вождей. На него никогда не взводили обвинения в убийстве Омара, хотя персы и имели неосторожность установить праздник в честь святого мученика, который был убийцей этого халифа. Али употреблял свое посредничество на то, чтобы прекратить распрю между Османом и его подданными, а старший сын Али, Гассан, подвергся оскорблениям и был ранен в то время, как защищал халифа. Впрочем, нельзя быть вполне уверенным в том, что отец Гассана горячо и искренно боролся с мятежниками; а то, что он воспользовался плодами их преступления, не подлежит сомнению. Действительно, соблазн был так велик, что мог поколебать и обольстить самую неподкупную добродетель. Честолюбивых претендентов на престол привлекало владычество не над бесплодными степями Аравии: сарацины были победоносны и на Востоке, и на Западе, и в состав наследственного достояния главы правоверных входили богатые провинции Персии, Сирии и Египта.

Несмотря на то, что Али проводил свою жизнь в молитвах и размышлениях, в нем еще не остыл прежний воинственный пыл; но достигши зрелых лет и изучивши людей на продолжительном опыте, он все еще вел себя с опрометчивостью и нескромностью юноши[184]. В первые дни своего царствования он не захотел прибегать ни к подаркам, ни к заключению в кандалы для того, чтобы упрочить колеблющуюся преданность двух самых влиятельных арабских вождей, Тела и Зобеир[185]. Они спаслись бегством из Медины в Мекку, а оттуда в Басру, подняли знамя восстания и присвоили себе управление Ираком, или Ассирией, которого тщетно просили в награду за свою службу. Личиной патриотизма нередко прикрываются самые резкие несообразности, и враги, а может быть, и сами убийцы Османа стали требовать мщения за его смерть. Их сопровождала в бегстве вдова пророка Аиша, питавшая до последних минут своей жизни непримиримую ненависть к мужу Фатимы и к его потомству. Самые благоразумные из мусульман были скандализованы тем, что мать правоверных подвергает опасности и свою особу, и свое дос-

тоинство, появляясь в военном лагере; но толпа суеверов была уверена, что ее присутствие придаст святость их притязаниям и обеспечит успех в предприятии. Во главе двадцати тысяч своих верных арабов и девяти тысяч пришедших из Куфы храбрых союзников халиф встретился под стенами Басры с более многочисленными силами мятежников и нанес им поражение. Их вожди, Тела и Зобеир, были убиты в первом сражении, запятнавшем оружие мусульман кровью их соотечественников[186]. Аиша проехала вдоль рядов армии, чтобы вдохнуть в нее мужество, и затем оставалась на поле битвы, несмотря на окружавшие ее опасности. Семьдесят человек, державшие поводья ее верблюда, были перебиты или ранены во время сражения, а клетка или носилка, в которой она сидела, была утыкана дротиками и копьями, так что походила на щетину дикобраза. Почтенная пленница с твердостью выслушала упреки победителя и была торопливо отправлена, с подобающими вдове пророка уважением и заботливостью, в то место, которое считалось самым для нее приличным — к гробнице Мухаммеда[187]. После этой победы, названной Днем Верблюда, Али выступил навстречу более грозному врагу, сыну Абу Суфьяна Муавию, который присвоил себе титул халифа и поддерживал свои притязания военными силами Сирии и влиянием рода Омейядов. Начиная от переправы при Фапсаке, Зиффинская равнина[188] тянется вдоль западных берегов Евфрата. На этом обширном и гладком пространстве два соперника вели нерешительную борьбу в течение ста десяти дней. В девяноста сражениях или стычках Али, как полагают, потерял двадцать пять тысяч солдат, Муавия сорок пять тысяч, и в списке убитых находились имена двадцати пяти ветеранов, сражавшихся при Бедере под знаменем Мухаммеда. В этой кровопролитной борьбе законный халиф превзошел своего противника и мужеством, и человеколюбием. Его войскам было строго приказано ожидать нападения со стороны неприятеля, щадить спасающихся бегством собратьев, не трогать трупы убитых и не посягать на целомудрие пленниц. Он из великодушия предложил не проливать кровь мусульман, а разрешить спор единоборством; но его трусливый соперник отклонил предложение, в котором видел свой неизбежный смертный приговор. Ряды сирийцев были прорваны атакой героя, который, сидя на своем пегом коне, с непреодолимой силой наносил неприятелю

удары своим тяжелым и обоюдоострым мечом. Всякий раз, как он убивал бунтовщика, он восклицал: "Аллах Акбар"— "Бог победил", и среди суматохи ночного боя его приближенные слышали, что он произнес это страшное восклицание четыреста раз. Владетель Дамаска уже помышлял о бегстве, но верная победа была вырвана из рук Али неповиновением и религиозным фанатизмом его войск. Их совесть запугал Муавия своей формальной ссылкой на книги Корана, которые он прикрепил к копьям передовых солдат, и Али был вынужден согласиться на унизительное перемирие и положиться на вероломное обещание. Он удалился со скорбью и с негодованием в Куфу; его приверженцы упали духом; его коварный соперник покорил или привлек на свою сторону отдаленные провинции Персии, Йемена и Египта, а направленный против трех национальных вождей меч фанатизма поразил лишь Мухаммедова двоюродного брата. В храме Мекки три хариджита или энтузиаста рассуждали между собой о смятении, которое господствовало в церкви и в государстве; они скоро пришли к тому убеждению, что смерть Али, Муавия и его друга, египетского наместника Амурата, восстановит внутреннее спокойствие и единство религии. Каждый из трех убийц выбрал свою жертву, отравил свой меч, обрек себя на гибель и втайне направился к месту действия. Их всех воодушевляла одинаковая отчаянная решимость; но первый из них по ошибке заколол вместо самого Амурата сидевшего на его месте посланника; второй опасно ранил владетеля Дамаска, а третий нанес законному халифу смертельную рану в Куфской мечети. Али испустил дух на шестьдесят третьем году своей жизни и из чувства сострадания приказал своим детям покончить с убийцей одним ударом. Место погребения Али[189] долго скрывали от тиранов из рода Омейядов[190], но в четвертом столетии эгиры были воздвигнуты подле развалин Куфы гробница, храм и город[191]. Много тысяч шиитов покоятся в этой священной земле у ног наместника Божия, а окрестную степь ежегодно оживляют толпы персов, по мнению которых посещение гробницы Али не менее достохвально, чем посещение Мекки.

Гонители Мухаммеда захватили наследственное достояние его детей, и во главе его религии и его владений стали приверженцы идолопоклонства. Оппозиция Абу Суфьяна была и неистова и упорна; его обращение в мусульманскую веру

было и запоздалым и недобровольным; но честолюбие и личные интересы привязали его к новой религии, он стал служить ей, сражаться за нее и, быть может, уверовал в нее, а недавние заслуги рода Омейядов загладили те прошлые прегрешения, которые проистекали из невежества. Сын Абу Суфьяна и жестокосердой Генды, Муавия был почтен в своей ранней молодости должностью или титулом секретаря пророка; прозорливый Омар поручил ему управление Сирией, и он управлял этой важной провинцией в течение сорока с лишком лет или в качестве подчиненного должностного лица, или в качестве верховного владетеля. Не отказываясь от своей репутации человека храброго и щедрого, он старался приобрести репутацию правителя человеколюбивого и скромного; признательный народ был предан своему благодетелю, и победоносных мусульман обогатила добыча, собранная на Крите и Родосе. Священная обязанность преследовать убийц Османа послужила для его честолюбия и орудием, и предлогом. Окровавленная рубашка мученика была вывешена в Дамаске, в городской мечети; эмир оплакивал жалкую участь своего родственника, и шестьдесят тысяч сирийцев поклялись ему в верности и в том, что отомстят за смерть Османа. Завоеватель Египта Амурат, один стоивший целой армии, прежде всех признал нового монарха и разоблачил ту опасную тайну, что халифов можно назначать не в одном только городе пророка, а также и в других местах[192]. Муавия ловко уклонялся от борьбы со своим мужественным соперником, а после смерти Али склонил к отречению от престола его сына Гассана, который по своим душевным качествам был или выше, или ниже того, что требуется для владычества в этом мире, и который без сожалений удалился из Куфского дворца в скромную келью, построенную подле гробницы его деда[193]. Честолюбивые желания халифа были окончательно удовлетворены тем, что избирательная монархия была заменена наследственной. Ропот, вызванный любовью к свободе и фанатизмом, свидетельствовал о недовольстве арабов, и четверо мединских граждан отказались от принесения верноподданнической присяги; но Муавия приводил свои замыслы в исполнение с энергией и с искусством, и его сын Йазид, бесхарактерный и развратный юноша, был провозглашен повелителем правоверных и преемником пророка Божия.

Относительно добросердечия одного из сыновей Али[194] рассказывают следующий случай из его домашней жизни. Один из служивших у него за столом рабов нечаянно опрокинул на своего господина суповую чашу с горячим бульоном; опрометчивый бедняга упал к его ногам, прося помилования и повторяя стихи Корана: "Рай существует для тех, кто умеет сдерживать свой гнев".— "Но я не гневаюсь".— "И для тех, кто прощает обиды".— "Я прощаю вашу вину".— "И для тех, кто платит добром за зло".— "Я даю вам свободу и четыреста серебряных монет". Младший брат Гассана Гумейн соединял с таким же благочестием некоторую долю унаследованного от отца мужества и с честью сражался против христиан при осаде Константинополя. В его лице соединялись и право первородства в роде Хашимитов, и священный характер пророкова внука, и ему ничто не мешало отстаивать свои притязания на верховную власть против жившего в Дамаске тирана Йазида, пороки которого он презирал, а титул никогда не признавал. Из Куфы в Медину был втайне доставлен список ста сорока тысяч мусульман, заявлявших ему о своей преданности и о горячем желании обнажить свои мечи, лишь только он появится на берегах Евфрата. Наперекор советам самых благоразумных своих друзей он решился вверить вероломному народу и свою собственную судьбу, и судьбу своего семейства. Он переехал аравийскую степь в сопровождении трусливых женщин и детей; но когда он стал приближаться к границам Ирака, его встревожили безлюдье и враждебный вид страны, и в нем зародилось подозрение, что его приверженцы или изменили ему, или лишены возможности действовать. Его опасения оправдались: наместник Куфы Обейдоллах потушил первые искры восстания, и расположившийся на равнине Кербелы Гусейн был окружен отрядом из пяти тысяч всадников, которые пресекли ему сообщения и с городом, и с рекой. Он еще мог бы укрыться в одной из степных крепостей, устоявшей против военных сил Цезаря и Хосрова, и мог бы положиться на преданность племени таиев, которое готово было выставить для его защиты десять тысяч воинов. На совещании с неприятельским начальником он предложил выбор между следующими тремя неунизительными для его чести условиями: или дозволить ему возвратиться в Медину, или поместить его в один из тех пограничных гарнизонов, которые содержались для защиты от турок,

или препроводить его здравым и невредимым к Йазиду. Но приказания халифа или его наместника были суровы и безусловны, и Гусейну дали знать, что он должен или подчиниться, в качестве пленника и преступника, повелителю правоверных, или ожидать последствий своего восстания. "Уж не думаете ли вы,—возразил он,— запугать меня смертью?", и провел следующую ночь в спокойных и торжественных приготовлениях к ожидавшей его участи. Он сдерживал вопли своей сестры Фатимы, оплакивавшей неизбежную гибель его семейства. "Мы должны полагаться,— говорил Гусейн,— только на Бога. Все, и на небесах и на земле, должно, или погибнуть, или возвратиться к своему Создателю. Мой брат, мой отец и моя мать были лучше меня, а пророк может служить примером для каждого мусульманина". Он убеждал своих друзей позаботиться об их личной безопасности и, не теряя времени, спасаться бегством; они единогласно отказались покинуть или пережить своего возлюбленного повелителя, а их мужество он подкрепил горячей молитвой и обещанием рая. Утром рокового для него дня он сел на коня, держа в одной руке меч, а в другой Коран; его храбрый отряд мучеников состоял только из тридцати двух всадников и сорока пехотинцев; но его фланги и тыл были защищены веревками от шатров и глубоким рвом, который был наполнен, по обыкновению арабов, зажженным хворостом.

Неприятель наступал неохотно, а один из его вождей перешел с тридцатью приверженцами на ту сторону, где его ожидала неизбежная смерть. Во всех рукопашных схватках и в единоборстве отчаянное мужество Фатимидов было непреодолимо; но многочисленный неприятель осыпал их издали градом стрел, и все лошади и люди были мало-помалу перебиты; когда настал час молитвы, обе стороны согласились на перемирие, и бой в конце концов прекратился вследствие смерти последнего из товарищей Гусейна. Оставшись один, он от утомления и ран присел у входа в свою палатку. В то время как он утолял свою жажду несколькими каплями воды, стрела попала ему в рот, а его сын и племянник, отличавшиеся юношеской красотой, были убиты в его объятиях. Он поднял к небу свои покрытые кровью руки и произнес похоронную молитву за живых и за мертвых. В порыве отчаяния его сестра вышла из палатки и стала умолять неприятельского вождя, чтобы он не дозволил убить Гусейна на его глазах;

по его почтенному лицу скатилась слеза, и самые отважные из его солдат стали со всех сторон подаваться назад, когда умирающий герой устремился на них. Безжалостный Самер, имя которого сделалось ненавистным для правоверных, стал упрекать их в трусости, и тридцать три удара копьями и мечами поразили Мухаммедова внука насмерть. Враги попирали ногами его труп и отнесли в Куфский замок его голову, а бесчеловечный Обейдоллах ударил ее палкой по рту. "Увы!— воскликнул один пожилой мусульманин,— я сам видел, как к этим устам прикасались уста пророка Божия!" Несмотря на то, что эта трагическая сцена смерти Гусейна происходила много веков тому назад и в отдаленной стране, она должна расшевелить чувствительность самого хладнокровного из читателей[195]; а когда персидские приверженцы Гусейна, ежегодно справляющие годовщину его мученической кончины, совершают благочестивое странствование к его гробнице, они с религиозным исступлением предаются чувствам скорби и негодования[196].

Когда сестры и дети Али были приведены в цепях в Дамаск к подножию Йазидова престола, халифу посоветовали истребить популярный род, который он оскорбил так, что примирение было невозможно. Но Йазид предпочел более человеколюбивые советы, и несчастное семейство было отправлено с почетом в Медину, где могло смешивать свои слезы со слезами своих родственников. Слава мученичества заменила права первородства, и персидская религия признает двенадцать имамов[197], или первосвященников,— Али, Гассана, Гусейна и потомков Гусейна в прямой нисходящей линии до девятого поколения. Несмотря на то, что у них не было ни армии, ни сокровищ, ни подданных, они пользовались глубоким уважением народа и возбуждали зависть в царствовавших халифах; их благочестивые приверженцы до сих пор посещают их гробницы в Мекке, в Медине, на берегах Евфрата и в провинции Хорасан. Их имена нередко служили предлогом для восстаний и междоусобных войн; но эти царственные святые пренебрегали мирской славой, подчинялись воле Божьей и человеческой несправедливости и посвящали свою безупречную жизнь изучению религии и ее практическому применению. Двенадцатый и последний из имамов, известный под именем Магади, или Руководитель, жил еще более уединенно, чем его предшественники, и превосходил их свя-

тостью. Он укрылся в одной из находящихся подле Багдада пещере; время и место его смерти неизвестны, а его приверженцы полагают, что он еще жив и появится перед днем последнего суда для того, чтобы ниспровергнуть тиранию Дежала, или Антихриста[198]. В течение двух или трех столетий потомство Мухаммедова дяди Аббаса размножилось до тридцати трех тысяч человек[199]; потомки Али, быть может, размножились в таком же размере; самые ничтожные из представителей этого рода считались более знатными, чем самые могущественные монархи, а самые выдающиеся из них превосходили ангелов своими совершенствами. Но их жалкая судьба и обширные размеры мусульманского владычества доставляли всякому смелому и ловкому самозванцу возможность ссылаться на свое родство с этим священным родом, а владычество Альмогадов в Испании и Африке, Фатимидов в Египте и Сирии[200], йеменских султанов и персидских Софиев[201] было освящено именно такими неопределенными и двусмысленными родственными правами. Под их владычеством было бы опасно оспаривать законность их происхождения, а один из халифов — Фатимидов отвечал на заданный ему нескромный вопрос тем, что обнажил свой палаш. "Вот,— сказал Моэц,— моя родословная; а это,— прибавил он, бросив своим солдатам горсть золотых монет,— мои родственники и мои дети". Множество настоящих или мнимых преемников Мухаммеда и Али носили почетные названия шейхов, сеидов, шерифов и эмиров, несмотря на несходство своего общественного положения, несмотря на то, что они были или монархами, или учеными, или дворянами, или купцами, или просившими милостыню нищими. В Османской империи они отличаются правом носить зеленую чалму, получают из государственной казны пенсию, не подлежат ничьему суду, кроме суда своего начальника, и как бы ни было ничтожно их состояние или звание, они все-таки кичатся преимуществами своего происхождения. Род из трехсот человек, составляющий настоящую и правоверную отрасль халифа Гассана, сохранился в священных городах Мекке и Медине без всяких пятен или подозрений в его чистоте; несмотря на происходившие в течение двенадцати столетий перевороты, он до сих пор сохранил за собой охрану храма и верховную власть над своим отечеством. Действительно, слава и заслуги Мухаммеда способны облагородить даже плебейскую расу, и

древность рода возвышает курейшитов над менее древним величием земных царей[202].

Дарования Мухаммеда имеют право на нашу похвалу, но его успехи вызвали удивление, которого они, как кажется, не заслуживают. Можно ли удивляться тому, что толпы приверженцев усвоили учение и страсти красноречивого фанатика? Со времен пророков и до времен Реформации основатели ересей неоднократно прибегали к таким же средствам соблазна. Что удивительного в том, что частный человек схватился за меч и за скипетр, что он подчинил свое отечество своей власти и что его победы привели к основанию монархии? В истории восточных династий найдется немало счастливых узурпаторов, которые были более низкого происхождения, одолели более трудные препятствия, прославились более обширными завоеваниями и достигли более грозного могущества. Мухаммед был одинаково способен и заниматься проповедью, и сражаться, а сочетание этих противоположных способностей, увеличивая его славу, способствовало его успеху: влияния силы и убеждения, энтузиазма и страха постоянно действовали в одном и том же направлении, пока их непреодолимая сила не сломила все преграды. Его голос призывал арабов к свободе, к победе, к войне и к хищничеству, к удовлетворению и в этой жизни, и в будущей тех влечений, которые были в них всего более сильны; стеснения, которые он налагал, были нужны для того, чтобы поддержать кредит пророка и приучить народ к повиновению, и единственным препятствием для его успехов был его рациональный догмат единства и совершенства Божия. Нас должно удивлять не то, что его религия распространилась, а то, что она осталась неизменной: у исповедующих религию Корана индийцев, африканцев и турок сохранилось, по прошествии двенадцати столетий, во всей своей чистоте и полноте то самое учение, которое он проповедовал в Мекке и в Медине. Если бы христианские пророки свв. Петр и Павел могли воскреснуть и войти в Ватикан, они, вероятно, пожелали бы узнать имя божества, которому поклоняются в этом великолепном храме с такими таинственными обрядами; в Оксфорде или в Женеве их удивление было бы менее велико; но им все-таки пришлось бы изучать церковный катехизис и сочинения тех православных комментаторов, которые объясняли смысл и их собственных произведений, и слов их Учи-

теля. Но турецкая мечеть св. Софии изображает — только в более блестящем и более широком виде — ту скромную скинию, которая была воздвигнута в Медине руками Мухаммеда. Мусульмане повсюду устояли против соблазна низводить предметы своих верований и своего благочестия на один уровень с человеческими чувствами и человеческим воображением. "Я верую во единого Бога и в пророка Божия Мухаммеда" — таков несложный и неизменный догмат ислама. Они никогда не унижали интеллектуального понятия о Божестве изображением его в какой-либо видимой форме идолов; почести, которые они оказывали пророку, никогда не заходили за пределы того, что можно воздавать человеческим добродетелям; а его поучения сдерживали признательность его последователей в пределах рассудка и религии. Правда, приверженцы Али освятили память своего героя, его жены и его детей, а некоторые из персидских богословов полагают, что божественная сущность воплотилась в лице имамов; но их суеверие осуждено всеми суннитами, а их нечестие послужило своевременным предостережением против поклонения святым и мученикам. Метафизические вопросы о божеских атрибутах и о человеческой свободе обсуждались в сектах Мухаммедан точно так же, как и в школах христиан; но между первыми они никогда не воспламеняли народных страстей и никогда не нарушали в государстве внутреннего спокойствия.

Причину этого важного различия следует искать в разделении или в единении обязанностей царя и первосвященника. Халифы, считавшиеся преемниками пророка и повелителями правоверных, из личных интересов препятствовали или не давали хода никаким религиозным нововведениям: мусульмане не знакомы ни с духовным званием, ни с его дисциплиной, ни с его светским и духовным честолюбием, а руководителями их совести и оракулами их религии служат знатоки закона. От берегов Атлантического океана до берегов Ганга Коран признается за основной кодекс не только богословия, но также гражданской и уголовной юриспруденции, а законы, которыми регулируются человеческие деяния и право собственности, охраняются непогрешимой и неизменной санкцией воли Божией. Это религиозное рабство ведет на практике к некоторым неудобствам; необразованного законодателя нередко вводили в заблуждение его собственные предрассудки и предрассудки его соотечественников, а

учреждения, годные для обитателей аравийских степей, нелегко приспособить к богатству и многолюдности Исфагана и Константинополя. В этих случаях *кади* почтительно кладет священную книгу на свою голову и истолковывает ее содержание сообразно с требованиями справедливости, с современными нравами и с государственными интересами.

Нам остается рассмотреть, какое влияние имела деятельность Мухаммеда на общественное благосостояние, благотворное или пагубное. Самые яростные или самые суеверные из его христианских или иудейских врагов, конечно, согласятся с тем, что он присвоил себе вымышленную миссию поведать спасительное учение, которое уступает в совершенстве только их собственному. Он с благочестием принял за основу своей религии истину и святость прежних иудейских и христианских откровений, а также добродетели и чудеса Моисея и Христа. Арабские идолы были разбиты в куски перед престолом Божиим; кровь человеческих жертв была искуплена похвальными или невинными ухищрениями благочестия — молитвами, постом и раздачей милостыни, а награды и наказания в будущей жизни Мухаммед изобразил такими чертами, какие всего лучше соответствовали влечениям народа невежественного и склонного к чувственным наслаждениям. Быть может, Мухаммед и не был способен составить для своих соотечественников полную систему нравственных и политических законов, но он внушил правоверным чувства милосердия и сострадания, требовал от них общественных добродетелей и как своими законами, так и своими поучениями обуздывал жажду мщения и охранял вдов и сирот от притеснений. Вера и повиновение объединили враждовавшие между собой племена, а их мужество, бесплодно тратившееся на внутренние распри, было с энергией направлено на внешних врагов. Если бы данный Аравии толчок был менее силен, она наслаждалась бы внутренней свободой, была бы страшна для внешних врагов и могла бы благоденствовать под управлением своих туземных монархов. Она утратила свое верховенство вследствие обширности и быстроты завоеваний. Ее колонии были разбросаны на Востоке и на Западе, и кровь арабов смешалась с кровью их новообращенных и пленников. После царствования трех халифов престол был перенесен из Медины в долину Дамаска и на берега Тигра; нечестивая война нарушила неприкосновенность двух свя-

тых городов; Аравия подпала под иго подданного, который, быть может, был иностранец, а степные бедуины, отказавшись от мечты о владычестве, возвратились к своей прежней дикой независимости[203].

---

1) Так как и в этой главе, и в следующей я выкажу много знаний о том, что касается Аравии, то я считаю долгом сознаться в моем полном незнакомстве с восточными языками и выразить мою признательность тем ученым, которые изложили свои познания по этой части на языках латинском, французском и английском. Я буду указывать, по мере надобности, на их сборники, переводы и исторические рассказы, служившие для меня руководством.

2) Описывавшие Аравию географы могут быть разделены на три разряда: 1. греки и латины; их постепенно расширявшиеся познания можно проследить по сочинениям Агафаркида (de Mari Rubro, in Hudson, Geograph. Minor. том 1), Диодора Сицилийского (том 1, кн. 2, стр. 159-167; кн. 3, стр. 211-216, изд. Wesseling), Страбона (кн. 16, 1112-1114, по Эратосфену, стр. 1122-1132, по Артемидору), Дионисия (Periegesis, 927-969), Плиния (Hist. Natur. 5, 12, 6. 32) и Птолемея (Descript. et Tabulae Urbium, in Hudson, том III). 2. Арабские писатели, рассматривавшие этот предмет с усердием патриотизма и преданности. Извлечения, сделанные Пококом (Specimen Hist. Arabum, стр. 125-128) из географии Шерифа ал-Эдрисси, еще усиливают наше неудовольствие при чтении перевода или сокращения (стр. 24-27, 44-56, 108 и сл. 119 и сл.), изданного маронитами под нелепым заглавием Geographia Nubiensis (Париж, 1619); но переводчики латинский и французский, Greaves (in Hudson, том III) и Galland (Voyage de la Palestine par la Rogue, стр. 265-346) познакомили нас с Аравией Абульфеды — с самым подробным и самым точным из всех описаний полуострова, к которому, впрочем, можно присовокупить Bibliothèque Orientale d'Herbelot, стр. 120, et alibi passim. 3. Европейские путешественники, между которыми Shaw (стр. 438-455) и Нибур (Description, 1773; Vogages, том 1, стр. 1776) заслуживают почетного отличия. Busching (Géographie par Berenger, том VIII, стр. 416-510) составил хорошую компиляцию, а географические карты д'Анвилля (Orbis Veteribus Notus и Première Partie de L'Asie) должны быть постоянно перед глазами читателя вместе с Geographie Ancienne того же автора, том II, стр. 208-231.

3) Абульфеда, Description Arabiae, стр.1. Д'Анвилль, L'Euphrate et Le Tigre, стр. 19, 20. В этом месте находился рай или сад одного сатрапа, и здесь Ксенофонт впервые переправился со своими греками через Евфрат (Анабасис, кн. 1, гл 10, стр. 29, изд. Wells).

4) Реланд доказал с избытком учености: 1) что наше Чермное море (Аравийский залив) есть не более как часть того, что древние называли Mare Rubrum, Eruthra thalasse, которое имело неопределенные размеры Индийского океана; 2) что синонимы eruthros, aithiops были намеком на цвет тела черных, или негров (Dissert. Miscell. том 1, стр. 59-117). Нибур (путешественник) отложил в сторону общепринятую этимологию названия "Чермное море", но не заменил ее ника-

ким другим удовлетворительным словопроизводством (Description de L'Arabie, стр. 360). Теперешний Персидский залив назывался у древних Mare Erythraeum, по имени одного короля, царствовавшего на одном из лежащих в этом море островов. Греки ошибочно, приняли это название за название цвета и не менее ошибочно отнесли его к Аравийскому заливу.— Издат.

5) Между Каиром и Меккой тридцать дней пути или станций; но на пятнадцати из этих станций нельзя иметь хорошей воды. См. дорогу Гаджисов в Shaw's Travels, стр. 477.

6) Двенадцатая книга Плиния содержит в себе описание благовонных веществ, и в особенности аравийского ладана (thus). Мильтон (Paradise Lost, кн. IV) упоминает, в одном уподоблении, об ароматичных запасах, приносимых северо-восточными ветрами с Сабейского берега:

— Many a league,
Pleas'd with the grateful scent, old Ocean smiles.
(Плин. Hist. Natur. XII, 42)

7) Агафаркид утверждает, что там находили куски чистого золота величиной с маслину и даже с орех; что железо стоило там вдвое дороже золота, а серебро вдесятеро (de Mari Rubro, стр. 60). Эти действительные или воображаемые сокровища исчезли, и теперь в Аравии нет ни одной золотой руды (Нибур, Description, стр. 124).

8) Советую прочесть и изучить Specimen Historiae Arabum Покока (Oxon. 1650, in 4-to). Тридцать страниц текста и переложения составляют извлечение из Династий Григория Абульфарагия, которые были впоследствии переведены Пококом (Oxon. 1663, in 4-to); триста пятьдесят восемь примечаний составляют классическое и оригинальное сочинение об аравийских древностях.

9) Арриан упоминает об ихтиофагах, живших на морском берегу Хиджаса (Periplus Maris Erythraei, стр. 12) и по ту сторону Адена (стр. 15). Кажется вероятным, что берега Чермного моря (в самом широком смысле слова) были заняты этими дикарями, быть может, со времен Кира; но я не могу поверить, чтобы между ними еще были людоеды в царствование Юстиниана (Прокоп. de Bell Persic. кн. 1, гл. 19).

10) См. Specimen Historiae Arabum Покока, стр. 2, 5, 86 и сл. Поездка г-на d'Arvieux в 1664 г., в лагерь эмира на горе Кармель (Voyage de la Palestine, Amsterdam, 1718) представляет интересное и оригинальное описание жизни бедуинов; дополнением к нему могут служить Description de l'Arabie, стр. 327-344 Нибура и сочин. Вольнея (том 1, стр. 343-385), который был последним и самым прозорливым из наших сирийских путешественников.

11) Прочтите (это не будет неприятным трудом) превосходные статьи о коне и верблюде в Натуральной Истории Бюффона.

12) Относительно арабских лошадей см.сочинения D'Arvieux (стр.159-173) и Нибура (стр. 142-144). В конце тринадцатого столетия лошади из Негеда считались самыми твердыми на ногах, лошади из Йемена — самыми сильными и выносливыми, лошади из Хиджаса — самыми красивыми. Европейских лошадей относили к десятому и последнему разряду и ценили очень низко, потому что находили их слишком жирными и недостаточно ретивыми (D'Herbelot, Bibliot.

Orient. стр. 339); им приходилось употреблять свои силы на то, чтобы носить рыцарей и их доспехи.

13) Qui carnibus camelorum vesci solent odii tenaces sunt,— говорил один арабский медик (Pocock, Specimen, стр. 88). Сам Мухаммед, очень любивший молоко, предпочитал молоко коровье и даже не упомянул о верблюдицах; впрочем, в Мекке и в Медине была в употреблении более изысканная пища (Gagnier, Vie de Mahomet, том III, стр. 404).

14) Их также курят как табак.(Новые и интересные сведения о верблюде можно найти в Письмах из Египта докт. Лепсиуса, стр. 81, 82 и в сочинении Лэйяра Ниневия и Вавилон, стр. 259.— Издат.)

15) Однако Маркиан Гераклейский (in Periplo, стр. 16, в 1 томе Hudson, Minor. Geograph.) насчитывает сто шестьдесят четыре города в счастливой Аравии. Размеры этих городов, вероятно, были невелики, а легковерие писателя велико.

16) Абульфеда (in Hudson, том III, стр. 54) сравнивает Саану с Дамаском, и она до сих пор служит резиденцией для Йеменского имама (Voyages de Niebuhr, том 1, стр. 331-342). Саана находится на расстоянии двадцати четырех парасанг от Дазара (Абульфеда, стр.51) и шестидесяти восьми от Адена (стр.53).

17) Pocock, Specimen, стр. 57. Geograph. Nubiensis, стр. 52. Мериаба, или Мераб, имевший в окружности шесть миль, был разрушен легионами Августа (Плин. Hist. Nat. 6, 32) и не встал из своих развалин даже в четырнадцатом столетии (Абульфеда, Описание Аравии, стр. 58). И во втором примечании к 1 главе и снова здесь Гиббон был вовлечен в заблуждение Плинием, который сам увлекся каким-то лестным вымыслом. Страбон был интимным другом Элия Галла, начальствовавшего в экспедиции, предпринятой римлянами в Аравию, и провел вместе с ним несколько времени в Египте (кн.2, стр. 118). От него Страбон узнал те подробности об этом удачном предприятии, которые передал нам (кн. 16, стр. 780-782). В число мест, до которых проникли легионы, он не включает Мериабу, хотя незадолго перед тем (стр. 778) упоминает о ней как о важном городе сабейцев; если бы Элий Галл разрушил этот город или овладел им, этот факт не прошел бы незамеченным. С другой стороны, Нибур (Discription de l'Arabie, стр. 240) опроверг замысел мусульман относительно потока, будто бы затопившего Мериабу. Ее знаменитый резервуар состоял из стены или плотины, которая имела от сорока до пятидесяти футов в вышину и около четверти мили в длину; она пересекала узкую равнину и принимала в себя ее потоки. Ее остатки видел Нибур. Так как она оставалась некоторое время в пренебрежении, то она прорвалась; вышедшие из нее воды разлились, но не могли достигнуть города, который стоял гораздо выше их уровня. Страбон говорит, что он стоял на возвышении. Когда окрестности лишились запасов, столь необходимых и для человеческой жизни, и для растений, они были покинуты жителями, и Мериаба пришла в упадок. Причиной ее упадка был разрыв плотины, а не наводнение.— Издат.

18) Название города Медины было присвоено kat edzokten Ятрибу (Иатриппа греков), местопребыванию пророка. Расстояния Медины от других городов указаны Абульфедой (стр.15) по станциям или дням караванного пути: до Бахрейна — пятнадцать, до Басры — во-

семнадцать, до Куфаха — двадцать, до Дамаска или Палестины — двадцать, до Каира — двадцать пять, до Мекки — десять, от Мекки до Сааны (стр. 52) или Адена — тридцать, до Каира — тридцать один день пути, или четыреста двенадцать часов (Shaw's Travels, стр. 477), что, по вычислению д'Анвилля (Mesures Itineraires. стр. 99), составляет около двадцати пяти английских миль на каждый день пути. От страны ладана (Гадрамаута, в Йемене, между Аденом и мысом Фартасхом) до Газы, в Сирию, Плиний (Hist. Nat. 12, 32) насчитывает шестьдесят пять стоянок для верблюдов. Эти расстояния могут служить пособием для нашей фантазии и уяснением для многих фактов. (Греческое название Иатриппа встречается только в географии Птолемея или там, где оно заимствовано из этой географии. Название Ятриб имело зловещее значение (неловкий или негодный), и Мухаммед заменил его названием Медина Толнади, или, по словам Нибура, названием Медина аль-Наби, город пророка. Дополнительное слово было впоследствии отброшено. (См. Condé, ч. 1, стр. 34).— Издат.)

19) Наши сведения о Мекке мы принуждены извлекать из произведений арабских писателей (D'Herbelot, Bibliothè que Orientale, стр. 368-371. Pocock, Specimen, стр. 125-128. Абульфеда, стр. 11-40). Так как неверующим не дозволяют проникать в город, то наши путешественники молчат, а отрывочные указания Тевено (Voyages du Levant, ч. 1, стр. 490) были повторением ненадежных сведений, доставленных одним африканским ренегатом. Некоторые персидские писатели насчитывали там шесть тысяч домов (Chardin, том IV, стр. 167). (Мекка не могла быть названием того же города, который называется у Птолемея Макорабой; положение этих двух мест не одинаково, а до Мухаммеда Мекка носила название Бекки или Дома, так как там находился знаменитый храм. Даже в Коране ее местами называют этим именем. Нибур (Desc. de l'Arabie, 309-320) сообщал такие подробности о Мекке, которые мог собрать только в ее окрестностях или мог извлечь из рисунков, продающихся пилигримам. Его обзор или план главной мечети скорее возбуждает, чем удовлетворяет наше любопытство. Он говорит, что Pitts, Wilde и немногие из европейцев, получившие дозволение войти в Мекку, были обязаны этим дозволением притворному обращению в мусульманскую веру.— Издат.)

20) Страбон, кн. 16, стр. 1110. На один из таких домов, выстроенных из каменной соли, указывает D'Herbelot в Bibliot. Orient. стр. 6.

21) Mirum dictu innumeris populis pars aequa in commerciis aut in latrocinils degit. (Плин. Hist. Nat. 6, 32). См. Коран Саля (Sale), Сура 106, стр. 503. Pocock, Specimen, стр. 2. D'Herbelot, Bibliot. Orient., стр. 361. Prideaux, Life of Mahomet, стр. 5. Gagnier, Vie de Mahomet, том 1, стр. 72, 120, 126 и сл.

22) Один безымянный доктор (Universal Hist. ч. XX, изд. in 8-vo) принимал независимость арабов за формальное доказательство истины христианства. Критик мог бы начать с указаний на исключения и затем оспаривать истолкование текста Священного Писания (Книга Бытия, XVI, 12), объем делаемого применения и основательность генеалогии. (Страна, которая не стоит того, чтобы ее завоевывать, легко сохраняет свою независимость, а кочующий народ едва ли можно покорить. В таком положении находилась большая часть Аравии. Но

Йемен (Счастливая Аравия) хотя и охранялся с одной стороны морем, а с другой почти непроходимыми песчаными степями, тем не менее неоднократно подпадал под власть иностранных правителей (См. Descr. de l'Arabie Нибура, 329 и Condé , ч. 1, стр. 32).— Издат.)

23) Оно было покорено A.D. 1173 одним из братьев великого Саладина, основавшего династию Курдов, или Айюбитов. (De Guignes, Hist. des Huns, том 1, стр. 425. D'Herbelot, стр. 477).

24) Наместник Сулеймана I (A.D. 1538) и Селима II (1568). См. Историю Оттоманской Империи Кантемира, стр. 201, 221. Паша, имевший свое местопребывание в Саане, имел под своей властью двадцать одного бея, но Порта никогда не получала оттуда никаких доходов (Marsigli, Stato Militare dell'Imperio Ottomanno, стр. 124) и турки были прогнаны около 1630 года (Нибур, стр. 167, 168).

25) В римской провинции, носившей название Аравии и третьей Палестины, главными городами были Басра и Петра, которые вели свое летосчисление с 105 года, то есть с того времени, как они были покорены наместником Траяна Пальмой (Дион Кассий, кн. 68). Петра был столицей набафеев, которые производили свое название от старшего из сыновей Измаила (Кн. Бытия XXV, 12 и сл. с комментариями Иеронима, Ле Клерка и Кальмета). Юстиниан добровольно отказался от владычества над страной, где растут пальмы, находившейся в десяти днях пути к югу от Элаха (Прокоп. de Bell. Persic. кн. 1, гл. 19), и римляне содержали центуриона и таможню (Арриан in Periplo Maris Erythraei, стр. 11, in Hudson, том 1) в одном месте (leuke kome, Pagus Albus, Hawara), находившемся на территории Медины (D'Anville, Mémoire sur l'Egypte, стр. 243). Эти действительные владения и некоторые нападения, сделанные Траяном с моря (Peripl. стр. 14, 15), послужили поводом для того, что в некоторых исторических рассказах и на некоторых медалях римлянам приписывают завоевание Аравии.

26) Нибур (Description de l'Arabie, стр. 302, 303, 329-331) доставил нам самые свежие и самые достоверные сведения о владычестве турок над Аравией.

27) Диодор Сицилийский (том II, кн. 19, стр. 390-393, изд. Wesseling) ясно доказал независимость Набафейских арабов, устоявших против нападений Антигона и его сына.

28) Страбон, кн. 16, стр. 1127-1129. Плин. Hist.Natur. 6,32. Элий Галл высадился вблизи от Медины и проник почти на тысячу миль внутрь той части Йемена, которая находится между Маребом и океаном. Выражения Горация: non ante devictis Sabeae regibus (Од. 1, 29) и intacti Arabum thesauri (Од. 3, 24) свидетельствуют о девственной чистоте Аравии. (Страбон говорит, что причиной неудачи этой плохо задуманной экспедиции была измена Набафейского прокуратора Силлая, который был за это преступление обезглавлен в Риме.— Издат.)

29) См. у Покока неполную историю Йемена (Specimen, стр. 55-66), Гиры (стр. 66-74) и Гассана (стр. 75-78) насколько она могла быть известна или могла сохраниться во времена невежества.

30) Описаны Менандером (Excerpt.Legation. стр.149), Прокопием (de Bell. Persic. кн. 1, гл. 17, 19; кн. 2, гл. 10) и самыми яркими красками

Аммианом Марцеллином (кн. 14, гл. 4), который упоминал о них еще во времена Марка Аврелия.

31) Это название, употребляемое Птолемеем и Плинием в более тесном значении, а Аммианом и Прокопием в более широком, производилось странным образом от жены Авраама Сары, непонятным образом от селения Сараки (meta habataions; Stephan. de Urbibus) и более благовидным образом от арабских слов, обозначающих воровские наклонности или то, что это племя жило на Востоке. (Hottinger, Hist. Oriental. кн. 1, гл. 1, стр. 7, 8. Pocock, Specimen, стр. 33-35. Asseman. Bibliot. Orient. том IV, стр. 567). Однако последнее и самое общепринятое из этих словопроизводств отвергается Птолемеем (Arabia, стр. 2, 18, in Hudson, том IV), который положительно указывает на западное и южное положение сарацин, которые были в то время ничтожным племенем, жившим на границах Египта. Стало быть, это название не могло заключать в себе намека на какую-либо национальную особенность характера, а так как оно было дано иноземцами, то и происхождение его следует искать не в арабском, а в каком-нибудь иностранном языке. (Нисколько не доказано, что название сарацин было "дано иноземцами". Со времен Геродота все население полуострова было известно иноземцам под именем арабов. Развитие военных предприятий и торговли обнаружило тот факт, что подобно всем другим расам они разделяются на племена. Одно из этих племен, вероятно само себя называвшее сарацинами, было, по ошибке Плиния или того, кто доставил ему эти сведения, названо хараценами и аррацеными (Hist. Nat. 6, 32); стало быть, это были кочевники той пустынной страны, через которую проходил Элий Галл и которую Страбон (том II, 781) называет Арареной. В конце второго столетия римляне вступили в более близкое с ними соприкосновение и стали употреблять их имя за "общее название". Все объяснения его смысла неудовлетворительны. Объяснение докт. Кларка (Travels, 2, 491) или, вернее, Целлария (2, 887), утверждавшего, что оно обозначает жителей Сары, Заары или степи, имели бы такое широкое применение, что могло бы быть отнесено не к одному племени, а к целому народу.— Издат.).

32) Saraceni... mulieres aiunt in eos regnare. (Expositio totius Mundi, стр. 3, in Hudson, том III). Царствование Мавии знаменито в церковной истории. Pocock, Specimen, стр. 69, 83. (Относительно того, что племена берберов управлялись женщинами, см. Путешествия Брюса, 1, 47. Мавиа, как рассказывают, была королевой сарацин, которые были приняты императором Валентом на службу для войны с готами. Также утверждают, будто она была первая арабка, обратившаяся в христианскую веру. Но происходившая в ту пору борьба между различными сектами затемнила ее историю. Zedler, 19, 1160.— Издат.)

33) как говорят Агафарсид (De Mari Rubro, стр. 63, 64, in Hudson, том 1), Диодор Сицилийский (том 1, кн. 3, гл. 47, стр. 214) и Страбон (кн. 16, стр. 1124). Но я сильно подозреваю, что это один из тех народных вымыслов или одна из тех необыкновенных случайностей, которые так часто превращаются легковерными путешественниками в действительное происшествие или в закон.

34) Non gloriabantur antiquitus Arabes, nisi gladio, hospite, et eloguentia (Sephadius, apud Pocock, Specimen, стр. 161, 162). Этот

дар слова они разделяли только с персами, и привыкшие выражаться сентенциями арабы, вероятно, отнеслись бы с пренебрежением к безыскусственной возвышенной логике Демосфена.

35) Я должен напомнить читателю, что D'Arvieux, D'Herbelot и Нибур описали самыми яркими красками нравы и систему управления арабов, присовокупив к этим описаниям много подробностей о жизни Мухаммеда.

36) Следует иметь в виду первую главу Иова и длинную стену в тысячу пятьсот стадий, построенную Сезострисом между Пелузием и Гелиополем (Диодор Сицил. том. 1, кн. 1, стр. 67). Пастушеские цари (гиксосы) завладели в это время Египтом (Marsham, Canon. Chron., стр. 98-163 и сл.). (По поводу темного и неблагодарного вопроса о гиксосах Гофман написал ученую диссертацию для Энциклопедии Эрша и Грубера (отд. 2, часть 12, стр. 403). Он исследовал этот трудный путь при помощи слабого света, который он заимствовал от Манефона через посредство Иосифа, но которого не нашел у Евсевия. Но его усилия не привели ни к чему. Некоторые писатели понимали под словом гиксос не пастушеских царей, а пастушеских пленников и этим путем применяли это название к сынам Израиля. По этому предмету можно справиться с Египетской Хронологией докт. Лепсиуса (Берлин, 1849). Сделанные из нее извлечения английские читатели найдут в приложении к изданным Боном Письмам из Египта того же автора. См.стр. 410-428, 476-488. Трудно поверить, чтобы арабские племена, привыкшие действовать по одиночке, могли еще до времен Мухаммеда систематически соединять свои силы в одно целое, так как без этого соединения они не могли бы завоевать такую страну, как Египет. Они могли только тревожить своими хищническими набегами более цивилизованные страны, которые подвергались точно таким же неприятностям от окружавших их со всех сторон более грубых соседей. Если Сезострис действительно построил "длинную стену", которую приписывают его предприимчивости, то из указанного выше места из сочинений Диодора Сицилийского следует заключить, что эта стена строилась для того, чтобы служить защитой как от арабов, так и от сирийцев. Пастушеские цари Абиссинии находились в более непосредственной связи с историческими событиями того времени. (См. примечание, гл. XLII, том IV). Арабские писатели, которых придерживался Конде, разделяют свой народ на два класса — на тех, кто жил исключительно в городах и на пастухов. (Ист., ч.1, стр. 31).— Издат.)

37) Или, как иные полагают, о тысяче двухстах (D'Herbelot, Bibliothèque Orientale, стр 75); два историка, описывавшие Айям-аль-Араб, то есть битвы арабов, жили в девятом и десятом столетиях. Знаменитая война Дагеза и Габраха возникла из-за двух коней, продолжалась сорок лет и в конце концов обратилась в пословицу (Покок, Specimen, стр. 48).

38) О том, каких правил придерживаются в настоящее время в теории и на практике арабы, когда идет дело об отмщении за убийство, можно найти сведения у Нибура (Description, стр. 26-31). С более суровыми древними правами знакомит Коран, гл. 2, стр. 20; гл. 17, стр. 230, с примечаниями Саля.

39) Прокопий (De Bell. Persic. кн. 1, гл. 16) относит два священных

месяца ко времени летнего солнцестояния. Арабы считают священным четыре месяца в году — первый, седьмой, одиннадцатый и двенадцатый, и утверждают, что в течение длинного ряда столетий перемирие было нарушено только от четырех до шести раз. (Sale's Preliminary Discourse, стр. 147-150 и примечания к девятой главе Корана, стр. 154 и сл. Casiri, Bibliot. Hispano-Arabica, том II, стр. 20, 21).

40) Живший во втором столетии Арриан (in Periplo Maris Erythraei, стр. 12) указывал на частное или полное различие арабских диалектов. Об арабском языке и литературе подробно говорят: Покок (Specimen, стр. 150-154), Казири (Bibliot. Hispano-Arabica, том 1, стр. 1, 83, 292; том II, стр. 25 и сл.) и Нибур (Description de l'Arabie, стр. 72-86). Но я касаюсь этого сюжета слегка, так как не люблю повторять, как попугай, непонятные для меня слова.

41) Заключается ли "усовершенствование языка" в том, что для каждого предмета имеется от ста до тысячи различных названий? Брюс (Travels, 1, 552) более основателен в своем мнении, что такое свойство языка следует считать не за богатство, а за путаницу. Он говорит, что это "не различные названия, а лишь различные эпитеты", и приписывает это явление тому, что "в Мекке сходилось для торговли множество различных наций". Но Нибур (стр.73) указывает более общую причину. "Нет языка,— говорит он,— в котором было бы столько диалектов и столько различий в произношении". Это было естественным последствием образа жизни арабов. Племена и даже семьи, переходящие с места на место независимо одни от других, мало-помалу изменяют выговор слов и по мере надобности придумывают новые слова или названия. Таким образом, вследствие разрозненности племен язык, который сначала был однообразен, разделяется на множество наречий. По словам Конде (стр.32) "знание, которым всего более гордились арабы, было знание их собственного языка и его различных видоизменений". Однако они никогда не умели придать этому языку ту простоту и ту сжатость, которые всего более подходят к совершенству.— Издат.

42) Вольтер поместил в своем Ladig'e рассказ о собаке и лошади с целью доказать, как велика была природная проницательность ума у арабов (D'Herbelot, Bibliot. Orient. стр. 120, 120. Gagnier, Vie de Mahomet, том 1, стр. 37-46), но D'Arvieux, или, верней, La Rogue (Voyage de Palestine, стр. 92) не признает за бедуинами тех достоинств, которые им приписывают. Сто шестьдесят девять изречений, которые сочинил Али и которые Ockley перевел на английский язык (Лондон, 1718, изд. Bohn, стр. 337), представляют верный образчик арабского остроумия.

43) Эта ежегодная ярмарка возникла от привычки пилигримов посещать Каабу в Мекке. Уничтожив язычество, Мусульмане на время прекратили это стечение иноземцев. Они возобновили свои собственные благочестивые странствования в Мекку для того, чтобы снова оживить выгодную для городских жителей торговлю. Но только одним правоверным был открыт туда доступ, и только они могли пользоваться выгодами этой торговли.— Издат.

44) Покок (Specimen, стр. 158-161) и Казири (Bibliot. Hispano-Arabica, том 1, стр. 48, 84 и сл.) 119; том II, стр. 17 и сл.говорят об арабских поэтах, существовавших до Мухаммеда; семь поэм Каабы были изда-

ны на английском языке сэром Вильгельмом Джонсом; но его почетная миссия в Индию лишила нас его собственных примечаний, которые были гораздо интереснее неясного и устарелого текста. (Конде говорит в своем предисловии, стр. 20, что в этих произведениях есть и стихотворный размер, и рифмы, и утверждает, что наш стихотворный размер арабского происхождения.— Издат.)

45) Sales Preliminary Discourse, стр. 29, 30.

46) Таким гостеприимством отличаются и арабские шейхи нашего времени. (См. Layard N. and B., стр. 289.— Издат.)

47) D'Herbelot, Bibliot. Orient. стр. 458. Gagnier, Vie de Mahomet, том III, стр. 118. Кааб и Гесн (Pocock, Specimen, стр. 43, 46, 48) одинаково отличались своей щедростью, а последнего из них один арабский поэт восхвалял в следующих изящных выражениях: Videbis eum cum accesseris ex ultantem, ac si dares illi quod ab illo petis.

48) Все, что в настоящее время известно об идолопоклонстве арабов, можно найти у Покока (Specimen, стр. 89-136, 163, 164). Его глубокие ученые познания изложены более ясно и более сжато Салем (Preliminary Discourse, стр. 14-24), а Ассеманн (Bibliot. Orient. том IV, стр. 580-590) прибавил к этому несколько ценных примечаний. (Конде, стр. 31, перечисляет те предметы, которым воздавалось у различных племен религиозное поклонение.— Издат.)

49) Диод. Сицил. том 1, кн. 3, стр. 211). Характер и положение до такой степени соответственны, что я с удивлением спрашиваю, почему это интересное место было оставлено без внимания или применения. Впрочем, Агафаркид (De Mari Rubro. стр. 58, in Hudson, том 1), от которого Диодор заимствовал содержание остальной части своего описания, не упомянул об этом знаменитом храме. Разве сицилиец был более сведущ, чем египтянин? Или, может быть, Кааба была построена между 650 и 746 годами от основания Рима, теми годами, к которым относятся произведения этих историков? (Dodwell, in Dissert. ad tom I Hudson, стр. 72, Fabricius, Bibliot. Graec., том II, стр. 770). (Каабой в собственном смысле слова называли "Черный Камень", сохранявшийся в храме или Бекке. С течением времени это название распространилось и на самое здание. Этот Камень, подобно Камню Элиогабала в Эмезе (см. гл. VI, часть 1, стр. 193), без сомнения, был аэролит, освятивший то место, на которое упал. В других восточных странах также чтили подобные камни, а храм, который воздвигался из такого суеверия, назывался Вефилем — Домом Божиим. Отсюда возникли обычаи греков, их баснословный рассказ и название Вефила (Baityla). Вероятно, такое же происхождение имели у римлян поклонение Термину и церемония, состоявшая в том, что показывали и украшали гирляндами lapides terminales; но там это поклонение приняло более полезное направление, так как оно охраняло пограничные межи и определяло расстояния. Храм Каабы состоит из небольшой четырехугольной башни, возвышающейся в середине четырехугольника, обнесенного стенами, а обделанный в серебро "Черный Камень" вставлен в одну из его стен. Завеса состоит из шелковой материи, которой опоясано здание и на которой сделаны золотыми буквами надписи (Описание Аравии Нибура, стр. 318). Лейт. Вильфорт говорит в своих Исследованиях Азии (Дополнение к Сочинениям сэра Вил. Джонса, II, 757), что этот храм построен во

времена Семирамиды; другие приписывают его сооружение Сезострису, а некоторые благочестивые мусульмане утверждают, что этот "Черный Камень" служил изголовьем для патриарха Иакова.— Издат.)

50) Покок, Specimen, стр. 60, 61. От смерти Мухаммеда мы переносимся назад к 68 году до начала христианской эры, а от его рождения к 129. Завеса, или занавес, в настоящее время бывает шелковая и золотая, а прежде была не чем иным, как куском египетского холста (Абульфеда, in Vit. Mohammed. гл. 6. стр. 14).

51) Оригинальный план Каабы (рабски списанный Салем авторами Всеобщей Истории и пр.) был нарисован одним турком, исправлен и объяснен Реландом (de Religione Mohammedica, стр. 113-123) на основании самых лучших авторитетов. Относительно описания Каабы и возникшей насчет нее легенды см. Покока (Specimen, стр. 115-122). Bibliothèque Orientale D'Herbelot (Caaba, Hagiar, Zemzem, etc.) и Саля (Preliminary Discourse, стр. 114 —122).

52) Предок Мухаммеда в пятом колене, Коза, как кажется, завладел Каабой A.D. 440; но эту историю иначе рассказывают Яннаби (Gagnier, Vie de Mahomet, том 1, стр. 65-69) и Абульфеда (in Vit. Moham., гл. 6, стр. 13).

53) Во втором столетии Максим Тирский приписывал арабам поклонение Камню — (Dissert. 8, том 1, стр. 142, изд. Reiske); этот упрек христиане повторяли с настойчивой яростью (Климент Алекс. in Protreptico, стр. 40); Арнобий (Contra Gentes, кн. 6, стр. 246). Однако эти камни были не что иное, как сирийские и греческие, столь славившиеся и в священной, и в светской истории древности (Евсев. Praep. Evangel. 1, кн. 1, стр. 37. Маршам, Canon. Chron. стр. 54-56).

54) Ученый сэр Джон Маршам тщательно обсуждает два отвратительных сюжета —Anorothusia u Paidothusia (Canon Chron. стр. 76-78, 301-304). Санхониатон полагает, что в Финикии жертвоприношения была введены по примеру Хронуса; но нам неизвестно, жил ли Хронус до или после Авраама; даже неизвестно, действительно ли он когда-либо жил.

55) Kat etos ekaston paida ethuon,— таков упрек, делаемый Порфирием; но он приписывает римлянам тот же самый варварский обычай, который был окончательно уничтожен A. U. C. 657. Птолемей (Tabul. стр. 37. Arabia, стр. 9-29) и Абульфеда (стр. 57) упоминают о Думете, Домате-аль-Генадале; это место можно найти на географических картах д'Анвилля посреди степей, между Хайбаром и Тадмором.

56) Прокопий (de Bell. Persico. кн. 1, гл. 28), Евагрий (кн. 6, гл. 21) и Покок (Specimen, стр. 72, 86) свидетельствуют о том, что человеческие жертвоприношения совершались у арабов в шестом столетии. Опасное положение и спасение Абдаллаха должны быть отнесены скорее к разряду преданий, чем к разряду исторических фактов (Gagnier, Vie de Mahomet, том 1, стр. 82-84).

57) Suillis carnibus abstinent, говорит Солин (Polyhistor, гл. 33), повторяющий странное мнение Плиния (кн. 8, гл. 68), что свиньи не могут жить в Аравии. Египтяне питали врожденное и суеверное отвращение к этому нечистому животному. (Marcham, Canon. стр. 205). Древние арабы также исполняли post coitum обряд омовения (Геродот,

кн. 1, гл. 80), который освящен законом Мухаммеда. (Реланд, стр. 75 и сл. Chardin или, верней, Моллах Шаха-Аббаса, том IV, стр. 71 и сл.).
58) Мусульманские ученые не любят касаться этого предмета; однако они считают обрезание необходимым для спасения души и даже полагают, что Мухаммед, вследствие чуда, родился без крайней плоти. (Покок, Specimen, стр. 319, 320. Sale's Preliminary Discourse, стр. 106, 107).
59) Диодор Сицилийский (том 1, кн. 2, стр. 142-145) взглянул на их религию с любознательностью и с поверхностным вниманием грека. Их астрономия имеет более высокую цену: они употребляли в дело телескоп разума, так как они сомневались в принадлежности Солнца к числу планет или неподвижных звезд.
60) Симплиций (ссылающийся на Порфирия), de Caelo, кн. 2, com. 46, стр. 123, lin. 18, apud Marsham, Canon. Chron. стр. 474, который сомневается в достоверности факта, потому что этот факт не согласуется с его системами. Самые древние наблюдения халдеев относятся к 2234 году до Р.Х. После покорения Вавилона Александром, эти наблюдения были сообщены, по требованию Аристотеля, астроному Гиппарху. Какой замечательный факт в летописях науки!
61) Покок (Specimen, стр. 138-146), Готтингер (Hist. Orient. стр. 162-203), Hyde (de Religione Vet. Persarum, стр. 124, 128 и сл.), D'Herbelot (Sabi,стр. 725, 726) и Sale (Preliminary Discourse, стр. 14, 15) скорее возбуждают, нежели удовлетворяют наше любопытство, а последний из этих писателей смешивает сабеизм с первобытной религией арабов.
62) D'Anville (l'Euphrate et le Tigre, стр. 130-147) определяет место, где жили эти сомнительные христиане; Ассеманн (Bibliot. Oriental. том IV, стр. 607-614) пытался изложить их верования. Но тот берет на себя трудную задачу, кто желает выяснить верования невежественного народа, боявшегося и стыдившегося разоблачить свои тайные традиции.
63) Маги жили в провинции Бахрейн (Gagnier, Vie de Mahomet, том III, стр. 114) и находились в близких сношениях с древними арабами (Покок, Specimen, стр. 146-150).
64) Положение иудеев и христиан в Аравии описывали: Покок, заимствовавший свои сведения от Схарестани и др. (Specimen, стр. 60, 134 и сл.), Готтингер (Hist. Orient. стр. 212-238), Д'Эрбело (Bibliot. Orient. стр. 474-476), Баснаж (Hist. des Juifs, том VII, стр. 185; том VIII, стр. 280) и Саль (Preliminary Discourse, стр. 22 и сл., 33 и сл.).
65) При своих жертвоприношениях они держались того правила, что можно обманывать Бога в пользу идола не потому, что этот последний был более могущественным патроном, а потому, что его было легче прогневить (Покок, Specimen, стр. 108, 109).
66) Дошедшие до нас, как иудейские, так и христианские, переводы Библии, как кажется, относятся к более позднему времени, нежели Коран; но о существовании более ранних переводов можно основательно заключить: 1) из всегдашнего обыкновения синагоги объяснять изложенный на еврейском языке урок изложением его на общеупотребительном языке страны; 2) из сходства переводов армянского, персидского и эфиопского, положительно цитируемых в пятом столетии отцами церкви, который утверждают, что Священное

Писание было переведено на все варварские языки (Вальтон, Prolegomena ad Biblia Polyglot. стр. 34, 93-97. Симон, Hist. Critique du V. et du N. Testament, том I, стр. 180, 181, 282-286, 293, 305, 306; том IV, стр. 206).

67) In eo convenlunt omnes ut plebeio vilique genere ortum, etc. (Готтингер, Hist. Orient., стр. 136. Однако самый древний из греческих писателей и отец стольких вымыслов, Феофан, признает, что Мухаммед происходил из рода Измаила — (Chronograph. стр. 277). (Профессор Шмит в своих Лекциях о Новой Истории (стр. 65) называет рассказ Гиббона об арабском законодателе и пророке "блестящим и полным". "Историк,— говорит он,— приступил к этому великолепному сюжету с полным развитием своих сил",— и добавляет, что прочесть эту главу, после блуждания по другим сочинениям, написанным на этот предмет, то же, что "возвратиться из песчаной и покрытой утесами пустыни в счастливую страну плодородия и прохлады, где каждый ландшафт роскошен, и каждый ветерок приносит благоухание".— Издат.)

68) Абульфеда (in Mohammed. гл. 1, 2) и Gagnier (Vie de Mahomet, стр. 25-97) излагают генеалогию пророка так, как ее принято излагать у его соотечественников. Если бы я жил в Мекке, я не стал бы опровергать ее достоверность, но, живя в Лозанне, я осмелюсь заметить: 1) что в течение двух тысяч пятисот лет, отделяющих Измаила от Мухаммеда, мусульмане насчитывают тридцать поколений вместо семидесяти пяти; 2) что новейшие бедуины не знают своей истории и не заботятся о своей генеалогии (Voyage de D'Arvieux, стр. 100, 103).

69) Зародыш этой истории или этой басни находится в сто пятой главе Корана, а Gagnier (in Praefat. ad Vit. Moham. стр. 18 и сл.) перевел исторический рассказ Абульфеды, который можно дополнить тем, что писали Д'Эрбело (Bibliot. Orientale, стр. 12) и Покок (Specimen, стр. 64). Prideaux (Жизнь Магомета, стр. 48) называет это ложью, выдуманной Мухаммедом; но Саль (Коран, стр. 501-503), который был полумусульманином, нападает на непоследовательность этого писателя, верившего в чудеса Дельфийского Аполлона, Maracci (Коран, том I, часть 2, стр. 14; том II, стр. 823) приписывает это чудо дьяволу и заставляет мусульман сознаться, что Бог не стал бы защищать против христиан находившиеся в Каабе идолы. (Относительно более последовательного описания этих событий абиссинскими летописцами см. примеч. к главе XLII, часть IV, и гл. XLVI этого тома.) Те же самые писатели далее говорят, что Абреха дал особые привилегии одной церкви в стране Гомеритов с целью привлечь туда такое же стечение пилигримов и торговцев, какое происходило в Каабе, но, в его отсутствие, Бени Курейш напал на новый храм, который хотел соперничать с Каабой, и осквернил его. Чтобы отомстить за это оскорбление, Абреха сел на белого слона (откуда его экспедиция и получила название "войны слона") и повел армию для разрушения Каабы. Болезнь, с которой до тех пор не были знакомы абиссинцы и которая, как полагают, была оспа, разразилась в его войсках и принудила его поспешно отступить. Там называют Мухаммедова деда Абу Талебом; в таком случае следует полагать, что его четвертый сын, отец Али, унаследовал от него свое имя. Эти события относятся к 521 го-

ду, а Брюс заключает из находящихся перед его глазами документов, что Мухаммед родился в 558 г.— Издат.)

70) Арабы произносят имя своего пророка Мугаммед или Могаммед и производят его от причастия прошедшего времени глагола гамада — хвалить.(Зедлер, 19,482. Примечание к Ockley Бона, стр. 1.— Издат.)

71) Самые надежные указания времени у Абульфеды (in Vit. гл. 1, стр. 2), Александра или греков (882), Бохт Назера или Набонассара (1316) одинаково приводят нас к 569 году. Бенедиктинцы нашли, что древний арабский календарь слишком неясен и ненадежен (Art de Verifier les Dates, стр. 15); сообразуясь с днем месяца и недели, они сделали новые вычисления и отнесли рождение Мухаммеда к 570 году после Р.Х., к 10 ноября. Однако это указание времени совпадает с 882 годом греков, на который указывают Эльмацин (Hist. Saracen., стр. 5) и Абульфарагий (Dynast. стр. 101, и Errata в тексте Покока. Мы тщательно стараемся определить время рождения Мухаммеда, но невежественный пророк, быть может, сам его не знал. (Некоторые новейшие писатели относят рождение Мухаммеда к A.D. 571. Cludius, Mohammed's Religion. etc. стр. 21.— Гизо). (Конде, 1, 34, относит это рождение к A.D. 572. Клинтон уклоняется от этого спорного вопроса.— Издат.)

72) Вот подлинный отзыв Абу Талеба, делающий честь и его семейству, и его племяннику:— Laus Dei, qui nos a stirpe Abrahami et semine Ismaelis contituit, et nobis regionem sacram dedit, et nos judices hominibus statuit. Porro Mohammed filius Abdollahi nepotis mei (nepos meus) quo cum ex aequo librabitur e Koraishidis quispiam cui non praeponderaturus est bonitate et excellentia, et intellectu et gloria, et acumine, et si opum inops fuerit (et certe opes umbra transiens sunt et depositum quod redii debet), desiderio Chadijae filiae Chowailedi tenetur, et illa vicissim ipsius, quicquid autem dotis vice petieritis, ego in me suscipiam (Покок, Specimen, e septimâ parte libri Ebn Hamduni).

73) Сведения о частной жизни Мухаммеда от его рождения до начала его миссии сохранились у Абульфеды (in Vit. гл. 3-7) и у тех оригинальных или апокрифических арабских писателей, на которых ссылаются Готтингер (Hist. Orient. стр. 204-211), Маракци (том 1, стр. 10-14) и Ганье(Vie de Mahomet, том 1, стр. 97-134).

74) Абульфеда (in Vit. гл. 65, 66), Ганье (Vie de Mahomet, том III, стр. 272-289). Самые достоверные предания относительно личности и разговоров пророка исходят от Аиши, от Али и от Абу Гораиры (Gagnier, том II, стр. 267. Ockley's Hist. of the Saracens, ч. II, стр. 149), прозванного отцом кошки и умершего в 59 году эгиры.

75) Те, которые верят в умение Мухаммеда читать и писать, должно быть, не читали того, что написано не его рукой в Сурах или главах Корана, 7, 29, 96. Эти тексты и предание Сунны допускаются, без колебаний, Абульфедой (in Vit, гл. 7), Ганье (Not. ad Abulfed. стр. 15), Пококом (Specimen, стр. 151), Реландом (de Religione Mohammedica, стр. 236) и Салем (Preliminary Discourse, стр. 42). Уайт почти единственный писатель, отвергающий его невежество для того, чтобы доказать его самозванство. Но его аргументы вовсе не удовлетворительны. Двух небольших путешествий, предпринятых с торговыми целями на сирийские ярмарки, конечно, не было достаточно для приобретения познаний, так редко встречавшихся между жителями Мекки, и, конечно, не при заключении договора, обыкновенно совершающемся с хладнокровной обдуманностью, Мухаммед стал бы сбрасывать с себя маску; нельзя также делать никаких выводов из слов, сказанных во время болезни и бреда. Если бы он был грамотен, он в своей молодости, когда еще не помышлял о роли пророка,

обнаружил бы в своей семейной жизни уменье читать и писать, а принадлежавшие к его семейству его первые последователи прежде всех вывели бы наружу его постыдное лицемерие (White, Sermons, стр. 203, 204. Примеч. стр. 36-38).

76) Граф Буленвилье (Vie de Mahomed, стр. 202-228) заставляет Мухаммеда путешествовать, подобно Телемаку Фенелона и Киру Рамзая. Путешествие Мухаммеда к персидскому двору, по всей вероятности, принадлежит к разряду вымыслов, и я не могу понять, чем могло быть вызвано приписываемое ему восклицание: Les Grecs sont pourtant des hommes. О двух путешествиях в Сирию упоминают почти все арабские писатели, как мусульмане, так и христиане. (Gagnier, ad Abulfed. стр. 10). (Oclkey, стр. 9, говорит, что Буленвилье утверждает, будто он заимствовал свой рассказ от арабских писателей, но не называет ни одного из них по имени. одним словом, он писал басни, а не историю.— Издат.)

77) Я не желаю тратить время на проверку вымыслов или догадок относительно тех иноземцев, которые вызвали со стороны неверующих жителей Мекки обвинения или подозрения (Коран, гл. 16, стр. 223; гл. 35, стр. 297 с Примечаниями Саля; Придо, Жизнь Магомета, стр. 22-27; Ганье, Not ad Abulfed. стр. 11, 74; Маракци, том II, стр. 400). Даже Придо замечает, что, конечно, это делалось втайне и что местом действия была Внутренняя Аравия.

78) Абульфеда, in Vit. гл. 7, стр. 15. Ганье, том 1, стр. 133, 135. Положение горы Геры указано Абульфедой (Geograph. Arab. стр. 4). Однако Мухаммед никогда не читал ни о гроте Эгерии, ubi nocturnae Numa constituebat amicae, ни о горе Иде, на которой Минос беседовал с Юпитером, и т.д.

79) Коран, гл. 9, стр. 153. Аль-Беидави и другие комментаторы, на которых ссылается Саль, подтверждают это обвинение; но я не вижу, чтобы его подкрепляли темные или нелепые традиции талмудистов.

80) Hottinger, Hist. Orient. стр. 225-228. Коллиридийская ересь была перенесена из Фракии в Аравию какими-то женщинами, а ее название происходит от слова "пирог", который приносили в жертву богине. Этот факт, равно как пример епископа Басры Берилла (Евсев. Hist. Eccles. кн. 6, гл. 33) и некоторых других могут служить основанием для упрека, что Аравия была haereseon ferax.

81) Под тремя богами, о которых говорится в Коране (гл. 4, стр. 81, гл. 5, стр. 92), очевидно, подразумевается наша католическая мистерия; но арабские комментаторы понимают под тремя богами Отца, Сына и Деву Марию — то есть ту еретическую троицу, которую, как рассказывают, отстаивали некоторые варвары на Никейском соборе (Евтих. Annal. том 1, стр. 440). Но добросовестный Бособр (Hist. du Manicheisme, том 1, стр. 532) отвергает существование марианитов и объясняет эту ошибку тем, что слово Rouah (Святой Дух) на некоторых из восточных языков женского рода и в евангелии назареев обозначает в переносном смысле мать Христа. (Это — еврейское слово Ruach, которое в своем первоначальном смысле означает дыхание и с которым имеет коренное соотношение немецкое слово Rauch (дым). Ruach hakodesch — те слова, которым мы придали значение "Святого Духа".— Издат.)

82) Для этого ряда идей служит философским пояснением характер Авраама, воспротивившегося введению идолопоклонства в Халдее (Коран, гл. 6, стр. 106. Д'Эрбело, Bibliot. Orient. стр. 13).

83) См. Коран, и в особенности главы вторую (стр. 30), пятьдесят седьмую (стр. 437), пятьдесят восьмую (стр. 441), в которых говорится о всемогуществе Творца.

84) Покок (Specimen, стр. 274, 284-292), Оклей (Hist. of the Saracens, ч. II, стр. 82-95), Реланд (de Religion. Moham. кн. 1, стр. 7-13) и Шарден (Voyages en Perse, том IV, стр. 4-28) перевели то, что было самого православного в мусульманской религии. Ту великую истину, что Бог не имеет ничего себе подобного, Маракци безрассудно отвергает (Alcoran, том 1, часть 3, стр. 87-94) на том основании, что Бог создал человека по своему образу и подобию.

85) Reland, de Relig. Moham. кн. 1, стр. 17-47. Sale's Preliminary Discourse, стр. 73-76. Относительно персидской прибавки: "Али-наместник Божий!" см. Voyage de Chardin, том IV, стр. 28-37, 34-47. Однако точное определение числа пророков не составляет догмата веры.

86) Относительно апокрифических книг Адама см. Fabricius, Codex Pseudepigraphus V. T. стр. 27-29; относительно апокрифических книг Сифа — стр. 154-157; Еноха — стр. 160-219. Но книга Еноха в некоторой мере освящена ссылкой на нее пророка св. Иуды, а Синцелл и Скалигер приводят в ее пользу длинный отрывок из одной легенды. (Брюс привез из Абиссинии копии с книги Еноха. Та, которая была им доставлена в Оксфордскую библиотеку, была переведена архиепископом Лаврентием и издана в Оксфорде в 1821. В 1838 вышло третье издание в 2-х томах in 8-vo; оно было исправлено и дополнено подлинным текстом, написанным эфиопскими буквами. Другая копия манускрипта была представлена в парижскую королевскую библиотеку.— Издат.)

87) Семь заповедей Ноя объяснены Маршамом (Canon. Chronicus, стр. 154-180), который во этом случае усвоил и ученость, и легковерие Сельдена.

88) Статьи об Адаме, Ное, Аврааме, Моисее и др., помещенные в Bibliothèque D'Herbelot, разукрашены фантастическими легендами мусульман, которые строили свое здание на фундаменте Священного Писания и Талмуда.

89) Коран, гл. 7, стр. 128 и сл.; гл. 10, стр. 173 и сл. D'Herbelot, стр. 647 и сл.

90) Коран, гл. 3, стр. 40; гл. 4, стр. 80. D'Herbelot, стр. 399 и сл.

91) См. евангелие св. Фомы или о Детстве в Codex Apocryphus N. T. Фабриция, который собрал относительно его различные свидетельства (стр. 128-158). Котелье издал его на греческом языке, а Сайк — на арабском; этот последний полагает, что наша теперешняя копия была составлена после Мухаммеда. Впрочем, его цитаты согласны с оригиналом в том, что касается речи Христа в колыбели, его живых птиц из глины и пр. (Sike, гл. 1, стр. 168, 169; гл. 36, стр. 198, 199; гл. 46, стр. 206. Cotelier, гл. 2, стр. 160, 161).

92) На непорочное зачатие делаются неясные намеки в Коране (гл. 3, стр. 39), но о нем более ясно говорится в преданиях суннитов (примечание Саля и Маракци, том II, стр. 112). В двенадцатом столетии св. Бернар осуждал учение о непорочном зачатии, считая его за неблагоразумное нововведение (Fra Paoli, Istoria del Concilio di Trento, кн. 2).

93) См. Коран, гл. 3, V. 53 и гл. 4, V. 156, изд. Маракци. Deus est praestantissimus dolose agentium (странная похвала)... nec crucifixerunt eum, sed objecta est eis similitudo; это выражение могло бы быть согласовано с мнениями докетов; но комментаторы полагают (Маракци, том II, стр. 113-115, 173; Саль, стр. 42, 43, 79), что вместо Иисуса был распят один из его друзей или врагов; эту басню они прочли в евангелии св. Варнавы, а ее распространяли некоторые из

евионитских еретиков еще во времена Иринея (Beausobre, Hist. du Manicheisme, том II, стр. 25. Mosheim, de Reb. Christ. стр. 353).
94) Это обвинение неясно высказано в Коране (т. 3. стр. 45); но ни у Мухаммеда, ни у его последователей не было достаточного знания языков и правил критики, чтобы придать ех подозрениям сколько-нибудь веса или правдоподобия. Впрочем, об этом можно было кое-что узнать от ариан и несториан, и на безграмотного пророка могли влиять смелые выходки манихеев. См. Beausobre, том I, стр. 291-305.
95) Между различными предсказаниями Древнего и Нового Завета, извращенным хитростью или невежеством мусульман, к пророку относят обещание Параклета, или Утешителя, которое уже присвоили себе монтанисты и манихеи (Beausobre, Hist. Critique du Manicheisme, том 1, стр. 263 и сл., а изменяя слово Periklutos b Parakletos, выводят отсюда этимологию имени Мухаммеда (Maracci, том 1, часть 1, стр. 15-28).
96) Относительно Корана см. D'Herbelot, стр. 85-88. Maracci, том 1, in Vit. Mahommed. стр. 32-45. Sale, Preliminary Discourse, стр. 56-70.
97) Коран, гл. 17, V, 89. У Саля, стр. 235, 236. У Маракци, стр. 410.
98) Впрочем, одна арабская секта была убеждена, что человеческое перо было в состоянии написать нечто равное с Кораном по достоинству и даже нечто более превосходное (Покок, Specimen, стр. 221 и сл., а Маракци (полемика не по силам переводчику) осмеивает притязание на рифмы, которое заметно в самом хваленом отрывке (том 1, часть 2, стр. 69-75).
99) Colloquia (действительные или вымышленные) in media Arabia atque ab Arabibus habita (Lowth, de Poesi Hebraeorum Praelect 32-34, и его немецкий издатель Михаэлис, Epimetron 4). Однако Михаэлис (стр. 671-673) нашел много заимствованных от Египта изображений,— слоновью проказу, папирус, Нил, крокодила и пр. Язык книги Иова он охарактеризовал двусмысленным названием арабско-еврейского. Сходство родственных диалектов было более заметно в их детстве, чем в их зрелом возрасте (Michaelis, стр. 682. Schultens, in Praefat. Job.).
100) Аль-Бохари умер A. H. 224. См. D'Herbelot, стр. 208, 416, 827. Gagnier, Not. ad Abulfed. гл. 19, стр. 33.
101) См. в особенности гл. 2, 6, 13, 17 Корана. Придо (Жизнь Магомета, стр. 18, 19) вывел наружу обман. Маракци, обладавший более обильным запасом учености, доказал, что те места Корана, где отвергается его способность творить чудеса, ясны и положительны (Коран, том 1, часть 2, стр. 7-12), а те, которые как будто допускают существование этой способности, двусмысленны и неудовлетворительны (стр. 12-22).
102) См. Specimen Hist. Arabum, текст Абульфарагия, стр. 17, примечания Покока, стр. 187-190. D'Herbelot Bibliothèque Orientale, стр. 76, 77. Voyages de Chardin, том IV, стр. 200-203. Маракци (Koran, том 1, стр. 22-64) тщательно собрал и опроверг чудеса и пророчества Мухаммеда, число которых, по мнению некоторых писателей, доходит до трех тысяч.
103) Эту ночную поездку Абульфеда описал подробно (in Vit. Mohammed. гл. 19, стр. 33), выдавая ее за видение; Придо (стр. 31-40), описывая ее, увеличивает ее неясности, а Ганье (том 1, стр. 252-343) заявляет, со слов ревностного Аль-Яннаби, что отвергать эту поездку значило бы не верить в Коран. Однако в Коране не говорится ни о небесах, ни об Иерусалиме, ни о Мекке, а только сделан следующий таинственный намек: Laus illi qui transtulit servum suum ab oratorio Haram ad oratorium remotissimum (Коран, гл. 17, V. 1, in Maracci, том

II, стр. 407, так как в тексте Саля более вольностей). Это — очень непрочный фундамент для воздушного сооружения традиции.

104) Выражаясь тем пророческим слогом, который употребляет настоящее или прошедшее время вместо будущего, Мухаммед сказал: Appropinquavit hora et scissa est luna (Коран, гл. 54, V. I, in Maracci, том II, стр. 688). Это иносказательное выражение было принято за факт, действительность которого будто бы удостоверена самыми почтенными очевидцами (Maracci, том II, стр. 690). Персы до сих пор празднуют это событие (Chardin, том IV, стр. 201), а Ганье (Vie de Mahomet, том I, стр. 183-234) излагает с утомительными подробностями всю легенду, как кажется, со слов легковерного Аль-Яннаби. Однако один из мусульманских богословов отвергал авторитет главного свидетеля (apud Pocock. Specimen, стр. 187); лучшие истолкователи Корана довольствуются безыскусственным объяснением его содержания (Al-Beidawi, apud Hottinger, Hist. Orient, кн. 2, стр. 302); а Абульфеда поступает так, как прилично принцу и философу,— он молчит.

105) Абульфарагий, in Specimen Hist. Arab., стр. 17; Покок в своих примечаниях, стр. 190-194, оправдывает его скептицизм, ссылаясь на самые безукоризненные авторитеты.

106) Самое достоверное описание этих правил, пилигримств, молитв, постов, раздачи милостыни и омовений извлечено из произведений персидских и арабских богословов у Маракци (Prodrom. часть 4, стр. 9-24), Реланда (в его превосходном сочинении de Religione Mohammedica, Утрехт, 1717, стр. 67-123) и Шардена (Voyages en Perse, том IV, стр. 47-195). Маракци — пристрастный критик, но ювелир Шарден смотрит на все глазами философа, а здравомыслящий ученый Реланд путешествовал по Востоку, сидя в Утрехте. В четырнадцатом письме Турнефора (Voyage du Levant, том II, стр. 325-360, in octavo) рассказано о религии турок то, что он сам видел.

107) Хотя жертвоприношения не входят в состав мусульманских обрядов, они совершаются приходящими в Мекку пилигримами. (Сам Мухаммед мог служить в этом отношении примером, так как во время своего посещения Каабы, на десятом году эгиры, он убил шестьдесят трех верблюдов. Ockley, стр. 59, изд. Bohn.— Издат).

108) Мухаммед (Sale's Koran, гл. 9, стр. 153) упрекает христиан за то, что кроме Бога они чтят своих священников и монахов. Однако Маракци (Prodromus, часть 3, стр. 69, 70) оправдывает такое почитание, в особенности относительно папы, и цитирует из Корана рассказ о Еблисе, или сатане, который был низвергнут с неба за то, что не хотел поклоняться Адаму.

109) Коран, гл. 5, стр. 94 и примечание Саля со ссылкой на авторитет Яллалоддина и Аль-Беидави. Д'Эрбело утверждает, что Мухаммед порицал la vie religieuse и что первые толпы факиров, дервишей и пр. появились лишь после 300-го года эгиры (Bibliot. Orient. стр. 292, 718).

110) См. двойное запрещение вина (Коран, гл. 2, стр. 25; гл. 5, стр. 94)— одно изложенное слогом законодателя, а другое слогом фанатика. Prideaux (Жизнь Магомета, стр. 62-64) и Sale (Preliminary Discourse, стр. 124) расследовали общественные и семейные мотивы, вызвавшие со стороны Мухаммеда это запрещение.

111) Маракци (Prodromus, часть 4, стр. 23) из зависти перечисляет более щедрые подаяния, которые делаются римскими католиками. Там, говорит он, устроены пятнадцать больших госпиталей для нескольких тысяч больных и пилигримов, ежегодно тысяча пятьсот бедных невест получают приданое, пятьдесят шесть благотворительных

школ содержатся для детей обоего пола, сто двадцать братств облегчают нужды своих членов и пр. В Лондоне благотворительность имеет еще более широкие размеры, но мне кажется, что эту склонность к делам милосердия следует приписать не столько влиянию народной религии, сколько человеколюбию.

112) См. Геродота (кн. 2, гл. 123) и нашего ученого соотечественника сэра Джона Маршама (Canon. Chronicus, стр. 46), того же писателя (стр. 254-274) представляет тщательно обработанный очерк ада в том виде, как его описывала фантазия египтян и греков, древних поэтов и философов.

113) Коран (гл. 2, стр. 259 и сл. у Саля стр. 32, у Маракци стр. 97) описывает замысловатое чудо, удовлетворившее любознательность Авраама и укрепившее его веру.

114) Добросовестный Реланд доказал, что Мухаммед осуждает всех неверующих на вечные мучения (de Religion. Moham. стр. 128-142), что черти никогда не достигнут спасения (стр. 196-199), что жизнь в раю будет состоять не из одних чувственных наслаждений (стр. 199-205) и что души женщин бессмертны (стр. 205-209).

115) Аль-Бейдави, apud Sale, Koran, гл. 9, стр. 164. Отказ молиться за неверующего родственника оправдывается, по словам Мухаммеда, обязанностями пророка и примером Авраама, который порицал в лице своего собственного отца врага Божия. Однако Авраам (присовокупляет он, гл. 9, V. 116. Маракци, том II, стр. 317) fuit sane pius, mitis.

116) Относительно дня последнего суда, ада, рая и пр. см. Коран (гл. 2, V. 25; гл. 56, 78 и сл.) с язвительным, но полным учености опровержением Маракци (в его примечаниях и в Prodromus'е часть 4, стр. 78, 120, 122 и сл.); Д'Эрбело (Bibliothèque Orientale, стр. 308, 375); Реланда (стр. 47-61) и Саля (стр. 76-103). Подлинные идеи магов изложены неясно и двусмысленно их защитником докт. Гайдом (Hist. Religionis Persarum, гл. 33, стр. 402-412. Оксф. 1760). В своей статье о Мухаммеде Бэйль доказал, что остроумие и философия не восполняют недостатка положительных знаний.

117) Прежде чем приступить к изложению истории пророка, я считаю долгом указать, откуда я черпал мои сведения. Переводам Корана латинскому, французскому и английскому предпосланы исторические обзоры, а три переводчика: Маракци (том 1, стр. 10-32), Савари (том 1, стр. 1-248) и Саль (Preliminary Discourse, стр. 33-56) тщательно изучили и язык и характер подлинника. Есть два жизнеописания Мухаммеда — одно составил докт. Prideaux (Life of Mahomet, седьмое издание, Лондон, 1718, in octavo), а другое граф Boulainvilliers (Vie de Mahomed, Londres 1730, in octavo); но противоположные старания выставить Мухаммеда обманщиком и героем нередко вредили учености доктора и добросовестности графа. Содержание статьи Д'Эрбело (Bibliot. Orient., стр. 598-603) заимствовано большей частью из сочинений Новаири и Миркунда, но лучшим и самым надежным из наших руководителей был Gagnier — родом француз и профессор восточных языков в Оксфордском университете. В двух тщательно обработанных сочинениях (Ismael Abulfeda de Vita et Rebus gestis Mahommedis, etc. Latine vertit, Praefatione et Notis illustravit Johannes Gagnier, Oxon. 1723, in folio;— La Vie de Mahomet traduite et compilée de l'Alcoran, des Traditions authentiques de la Sonna et des meilleurs Auteurs Arabes; Amsterdam, 1748, 3 Vols. in duodecimo) он изложил, объяснил и дополнил арабский текст Абульфеды и Аль-Яннаби; первый из них был образованный принц, царствовавший в Гамахе, в Сирии, A.D. 1310-1332 (см. Gagnier, Praefat. ad Abulfed.), а второй был легковерный богослов, посетивший Мекку

A.D. 1556 (D'Herbelot, стр. 397. Gagnier, том III стр. 209, 210). Таковы были мои руководители, и любознательный читатель может более подробно проследить по их произведениям последовательность событий и разделение глав. Впрочем, я должен заметить, что и Абульфеда и, Аль-Яннаби принадлежат к числу новейших историков и что они не ссылаются ни на одного из писателей, принадлежащих к первому столетию эгиры. (Профессор Smyth, перечисляя сочинения, с которыми следует справляться (Preface to Lectures, стр. XII), говорит, что Жизнеописание Мухаммеда, которое составил Prideaux, "не длинно, но, как кажется, не очень хорошо". На мнение Оклея о Буленвиллье уже было указано ранее (стр. 499). Написанные Гиббоном характеристики Афанасия, Юлиана и Мухаммеда принадлежат к числу образцовых, но для последней из них он имел под рукой самые неудовлетворительные материалы. Тем не менее он составил по этим материалам такое превосходное изложение, что позднейшие писатели, говоря о том же предмете, черпали от него, не прибавляя ничего нового. Между теми, кто шел по его стопам, всех более достоин внимания учащихся докт. Weil (Жизнеописание Мухаммеда, изданное в Штутгарте в 1843). Его исследованиями воспользовался Bohn при издании сочинений Оклея.— Издат.

118) По примеру греческих писателей Prideaux (стр. 8) разоблачает тайные сомнения Мухаммедовой жены. Boulainvilliers (стр. 272 и сл.) описывает возвышенные и патриотические чувства Хадиджи и первых последователей Мухаммеда, так что можно бы было подумать, что он состоял при пророке членом тайного совета.

119) Vezirus, portitor, bajulus, onus ferens; при помощи метафоры это плебейское название было перенесено на тех, кто несет бремя государственных забот. (Gagnier, Not. ad Abulfed. стр. 19). Я стараюсь сохранить арабский идиом, насколько могу его подметить в переводах латинском и французском. (Некоторые из арабских ученых производят слово визирь от vezan, носить или возить, а другие от vesara, он посоветовал. Никакие должностные лица не носили этого названия до A.D. 750, когда первый из Аббассидов Абул Аббас впервые ввел в употребление этот титул, который, как кажется, никогда не употреблялся в своем унизительном значении.— Издат.)

120) Те места Корана, в которых идет речь о религиозной терпимости, и энергичны, и многочисленны; гл. 2, V. 257; гл. 16. 129; гл. 17, 54; гл. 45. 15; гл. 50. 39; гл. 88. 21 и сл. с примечаниями Маракци и Саля. Смотря по тому, обнаруживается ли в той или другой главе дух религиозной терпимости, ученые могут решить, где содержание этой главы было поведано Мухаммеду путем откровения — в Мекке или в Медине.

121) См. Коран (в разных местах и в особенности гл. 7, 123, 124 и сл.) и арабское предание (Pocock, Specimen, стр. 35-37). На полпути от Медины к Дамаску (Abulfed. Arabiae Descript. стр. 43, 44) показывали пещеры племени Тамунда, годные для людей среднего роста; их, по всему вероятию, можно приписать троглодитам первобытного мира. (Michaelis, ad Lowth de Poesi Hebraeor. стр. 131-134. Recherches sur les Egyptiens, том II, стр. 48, etc.).

122) Во время Иова провинившихся в нечестии наказывали арабские судьи (гл. 31, V, 26, 28). Мне стыдно за того почтенного прелата (de Poesi Hebraeorum, стр. 650, 651, изд. Михаэлиса и Письмо бывшего профессора Оксфордского университета, стр. 15-53), который оправдывает и восхваляет эту патриархальную инквизицию.

123) D'Herbelot, Bibliot. Orient., стр. 445. Он ссылается на специальную историю Мухаммедова бегства.

124) Эгира была установлена вторым халифом Омаром, в подражание эре христианских мучеников (D'Herbelot, стр. 444); она начиналась, в строгом смысле слова, за шестьдесят восемь дней до бегства Мухаммеда, с первого Могаррема, или с первого дня арабского года, а этот день совпадал с пятницей, 16 июля. A.D. 622. (Абульфеда, Vit. Moham. гл. 22, 23, стр. 45-50, и изданные Гривсом Epochae Arabum Уллуг Бега, гл. 1, стр. 8, 10 и сл.)(Так как года эгиры лунные, то в тридцати из них девятнадцать имеют по 354 дня, а остальные одиннадцать по 355; стало быть, тридцать три арабских года почти равняются тридцати двум нашим годам.— Издат.)

125) Подробности о жизни Мухаммеда с начала его миссии до начала эгиры можно найти у Абульфеды (стр. 14-45) и у Ганье (том 1, стр. 134-251, 342-383). За достоверность легенды, о которой рассказано на стр. 187-234, ручается Аль-Яннаби; но к ней относится с пренебрежением Абульфеда.

126) Тройное посвящение Мухаммеда описано у Абульфеды (стр. 30, 33, 40, 86) и у Ганье (том 1, стр. 342 и сл., том II, стр 223 и сл.).

127) Prideaux (Жизнь Магомета, стр. 44) горячо нападает на безнравственность самозванца, обобравшего двух бедных сирот-сыновей плотника; этот упрек он извлек из написанного на арабском языке до 1130 года Disputatio contra Saracenos; но добросовестный Ганье (ad Abulfed. стр. 53) доказал, что эти два писателя неверно поняли слово Al Nagjar, которое означает в этом месте не скромное ремесло, а одно благородное арабское племя. Заброшенное положение, в котором находился этот клочок земли, описано Абульфедой, а искусный переводчик Абульфеды доказал, со ссылкой на Аль-Бохари, что за эту землю была предложена денежная плата, со ссылкой на Аль-Яннаби, что покупка состоялась с соблюдением установленных формальностей, и со ссылкой на Ахмеда Бен Иосифа, что деньги были уплачены великодушным Абу Бекром. На этом основании можно полагать, что пророк вышел чистым из этого дела. На этом избранном месте Мухаммед построил дом и мечеть, которые, несмотря на свою грубую простоту, внушали более уважения, чем дворцы и храмы.

128) Аль-Яннаби (apud Gagnier, том II, стр. 146, 324) описывает печать и трибуну пророка Божия как две почтенных святыни, а описание его двора заимствовано от Абульфеды (гл. 44, стр. 85).

129) Восьмая и девятая главы Корана самые энергичные и самые заносчивые, а Маракци (Prodromus, часть 4, стр. 59 —64) нападал на двоедушие самозванца более основательно, чем сдержанно.

130) Благочестивые христиане нашего времени читают скорей с ужасом, чем с удовольствием десятую и двадцатую главы Второзакония с практическими комментариями Иисуса Навина, Давида и др. Но епископы и раввины прошлых времен с удовольствием и с успехом били в барабан, призывавший к священной войне (Sale's Prelimnary Discourse, стр. 142, 143).

131) Абульфеда, in Vit. Moham., стр. 156. Личный арсенал пророка состоял из девяти мечей, трех копий, семи пик или полупик, колчана, трех луков, семи кирас, трех щитов, двух шлемов (Gagnier, том III, стр. 328 —334), большого белого знамени, черного знамени (стр. 335), двадцати лошадей (стр. 322) и т.д. Его два воинственных изречения сохранились в предании (Gagnier, том II, стр. 88, 337).

132) Ученый Реланд изложил в особой диссертации все содержание de jure belli Mohammedanorum (Dissertationes Miscellaneae, том III, диссерт. 10, стр. 3-53).

133) Коран (гл. 3, стр.52, 53; гл. 4, стр. 70 и сл. с примечаниями Саля и

гл. 17, стр. 413 с примечаниями Маракци) излагает суровым тоном учение о безусловном предопределении, в котором немногие религии могут упрекнуть одна другую. Реланд (de Relig. Mohamm., стр. 61 —64) и Саль (Prelim. Discourse, стр. 103) излагают мнения богословов, а наши новейшие путешественники рассказывают, до какой степени ослабела самоуверенность турок.

134) Аль-Яннаби (apud Gagnier, том II, стр. 9) говорит, что у него было от семидесяти до восьмидесяти всадников, а в двух других стычках, предшествовавших Огудской битве, по его словам, у Мухаммеда было один раз (стр. 10) тридцать всадников, а другой раз (стр. 66) пятьсот. Но Абульфеда, сведения которого были более точны, говорит, что на поле Огудского сражения у мусульман было не более двух всадников (in Vit. Mohamm. часть 31, стр. 65). В Каменистой Аравии верблюды водились в большом числе; но лошади, как кажется, были более редки, нежели в Счастливой Аравии и в Песчаной.

135) Беддер-Гунин, находящийся в двадцати милях от Медины и в сорока от Мекки, лежит на большой дороге, по которой идут египетские караваны; пилигримы ежегодно празднуют победу пророка иллюминациями, пусканием ракет и пр. (Shaw's Travels, стр. 477.)

136) Место, куда удалился Мухаммед во время сражения, называется у Gagnier (in Abulfeda, гл. 27, стр. 58. Vie de Mahomet, том II, стр. 30, 33) Umbraculum, une loge de bois avec une porte. Рейске (Annales Moslemici Abulfedae. стр. 23) переводит то же арабское выражение словами Solium, Suggestus editior, а это различие очень важно и для чести переводчика, и для чести героя. Мне неприятно видеть, с какой самонадеянностью и с какой язвительностью Рейске карает своего сотрудника: Saepe sic vetit, ut integrae paginae nequeant nisi una litura corrigi: Arabice non satis callebat et carebat judicio critico. J.J.Reiske, Prodidagmata ad Hagji Chalisae Tabulas, стр. 228. ad calcem Abulfedae Syriae Tabulae; Lipsiae, 1766, in quarto.

137) Неопределенные выражения Корана (гл. 3, стр. 124, 125; гл. 8, стр. 9) позволяют комментаторам колебаться насчет того, были ли ангелы в числе тысячи, или трех тысяч, или девяти тысяч; но самой малой из этих цифр было бы достаточно для того, чтобы убить семьдесят курейшитов (Maracci, Alcoran, том, II, стр. 131). Однако те же самые толкователи древних авторов сознаются, что ни один смертный не мог видеть этого отряда ангелов (Maracci, стр. 297). Они изощряются над словами (гл. 8, 18) "не ты, а Бог" и т.д. (D'Herbelot, Bibliot. Orientale, стр. 600, 601).

138) Geograph. Nubiensis, стр. 47.

139) В третьей главе Корана (стр. 50-53, с примечаниями Саля) пророк высказывает некоторые слабые оправдания понесенного им при Огуде поражения.

140) Подробности относительно трех сражений с курейшитами — Бедерском, Огудском и подле рва, можно найти у Абульфеды (стр. 56-61, 64-95, 73-77), у Ганье (том II, стр. 23-45, 70-96, 120-139), в статьях Д'Эрбело и в сокращениях Эльмацина (Hist. Saracen. стр. 6, 7) и Абульфарагия (Dynast. стр. 102).

141) Войны Мухаммеда с иудейскими племенами — каиноками, надаритами, кораидами и хайбарами описаны у Абульфеды (стр. 61, 71, 77, 87 и сл.) и у Ганье (том II, 61-65, 107-112, 139-148. 268-294).

142) Служитель Мухаммеда Абу-Раф, как рассказывают, утверждал, что он впоследствии пытался сдвинуть эти ворота при помощи семи человек, но их усилия были безуспешны (Абульфеда, стр. 90). Абу Раф был очевидец, но кто поручится за достоверность того, что рассказывает Абу-Раф?

143) Об изгнании иудеев свидетельствуют Эльмацин (Hist. Saracen. стр. 9) и великий Аль-Забари (Gagnier, том II, стр. 285). Однако Нибур (Description de l'Arabie, стр. 324) полагает, что племя хайбаров до сих пор исповедует иудейскую религию и верования секты караитов и что при разграблении караванов последователи Моисея действовали сообща с последователями Мухаммеда.

144) Подробности о том, как было мало-помалу совершено завоевание Мекки, можно найти у Абульфеды (стр. 84-87, 97-100, 102-111), у Ганье (том II, стр. 209-245, 309-322; том III, стр. 1-58), у Эльмацина (Hist. Saracen. стр. 8-10) и Абульфарагия (Dynast. стр. 103).

145) После завоевания Мекки Вольтеров Мухаммед придумывает и совершает самые гнусные преступления. Поэт признается, что историческая истина не на его стороне и что он может сослаться только на то, que celui qui fait la guerre a sa patrie au nom de Dieu, est capable de tout (Oeuvres de Voltaire, том XV, стр. 282). Этот принцип нельзя назвать ни человеколюбивым, ни философским, а слава героев и религия наций, конечно, имеют некоторое право на уважение. Мне рассказывают, что турецкий посол при парижском правительстве был очень скандализован представлением Вольтеровой трагедии.

146) Мусульманские богословы до сих пор спорят о том, была ли Мекка взята силой или же сдалась добровольно (Абульфеда, стр. 107 и Gagnier ad locum); этот спор о пустых словах имеет такую же важность, как наши собственные споры относительно Вильгельма Завоевателя.

147) Шарден (Voyages en Perse, том IV, стр. 166) и Реланд (Dissert. Miscell. том III, стр. 51) оказываются более требовательными, чем сами мусульмане, когда изгоняют христиан из арабского полуострова и из провинции Хиджаза и лишают их права плавать по Чермному морю. Христиан пускают без всяких колебаний в порты Мекки и даже Гедды, и неверующим недоступны лишь город Мекка и его территория (Нибур, Description de l'Arabie, стр.308, 309. Voyage en Arabie, том 1, стр. 205, 248 и сл.).Это запрещение содержится в той главе Корана, которая называется Баратом; она считается девятой, но, как полагают, была написана после всех других (Ockley, стр. 57, изд. Bohn). Запрещение имело целью приобретать новых последователей, так как предоставляло исключительно одним мусульманам пользование теми выгодами, которые доставляла большая ярмарка в Мекке.— Издат.

148) Абульфеда, стр. 112-125. Gagnier, том II, 67-88. D'Herbelot, Mohammed.

149) Осаду Таифа распределение добычи и пр. описывают Абульфеда (стр. 117-123) и Ганье (том III, стр.88-111). О военных машинах и о фейерверкерах, доставленных племенем давсов, упоминает Аль-Яннаби. Плодородная территория Таифа была, как полагали, куском земли, оторванным во время всемирного потопа от Сирии и перенесенным в Аравию.

150) Последние завоевания Мухаммеда и его последние дни странствования для богомолья описаны у Абульфеды (стр. 121-133), у Ганье (том III, стр. 119-219), у Эльмацина (стр. 10, 11), у Абульфарагия (стр. 103). Девятый год эгиры был назван годом посольств. (Gagnier, Not ad Abulfed. стр. 121).

151) Сравн. произведения суеверного Аль-Яннаби (apud Gagnier, том 1, стр. 232-255) с произведениями не менее суеверных греков Феофана (стр. 276-278), Зонары (том II, кн. 14, стр. 86) и Кедрина (стр. 421).

152) Относительно битвы при Муте и ее последствий см. Абульфеда

(стр. 100-102) и Ганье (том II, стр. 327-343). Chaledos (говорит Феофан), on legousi machairan tou Theon (стр. 278 D).

153) Табукскую экспедицию описывают те историки, которые до сих пор служили для нас руководителями–Абульфеда (Vit. Moham. стр. 123-127) и Ганье (Vie de Mahomet, том III, стр. 147-163); но в этом случае мы также можем сослаться на свидетельство Корана (гл. 9, стр. 154, 165) с учеными и основательными замечаниями Саля (Ockley вкратце упоминает (стр. 57) об этой Табукской экспедиции и относит ее к девятому году эгиры. О сражении при Муте он случайно упоминает только однажды (стр. 60), когда говорит, что в одиннадцатом году эгиры "Мухаммед приказал Озам идти в то место, где его отец Зеид был убит в сражении при Муте, и отомстит за его смерть". Это была последняя экспедиция, предпринятая по его приказанию.— Издат.)

154) Действительное существование того, что называлось Diploma securitatis Ailensibus, удостоверено Ахмед-Бен-Иосифом и автором Libri Splendorum (Gagnier, Not ad Abulfedam, стр. 125); но сам Абульфеда, равно как Эльмацин (Hist Saracen. стр. 11), признающий уважение Мухаммеда к христианам (стр. 13), упоминают только о заключении мира и об уплате дани. В 1630 г. Сионита (Sionita) издал в Париже текст и перевод патента, выданного Мухаммедом христианам; достоверность этого патента признал Сальмазий, но ее отвергал Гроций (Bayle, Mahomet, Rem. AA). Готтингер сомневается в его подлинности (Hist. Orient. стр. 237); по мнению Ренодо, в его пользу говорит то, что его признают мусульмане, (Hist. Patriarch. Alex.стр. 169); но Мозгейм (Hist. Eccles. стр. 244) доказывает, что эти мнения неосновательны и полагает, что этот документ подложный. Правда, Абульфарагий цитирует договор самозванца с патриархом несториан (Assemann. Bibliot. Orient. том II, стр. 418), но Абульфарагий был примасом яковитов.

155) Феофан, Зонара и другие греческие писатели утверждают, что Мухаммед страдал падучей болезнью, а им с радостью вторят грубое ханжество Готтингера (Hist Orient. стр. 10, 11), Придо (Жизнь Магомета, стр. 12) и Маракци (том II, Алкоран, стр. 762, 763). Из титулов (погруженный, покрытый) двух глав Корана (73, 74) едва ли можно вывести такое заключение, молчание и незнание мусульманских комментаторов более красноречивы, нежели самое решительное отрицание, а человеколюбивого мнения придерживаются Оклей (Истор. Сарацин, том 1, стр. 301), Ганье (ad Abulfedam. стр. 9. Vie de Mahomet, том 1, стр. 118) и Сат (Коран, 469-474).

156) То, что ему был дан яд (этот факт тем более позорен для него, что яд был ему дан с целью проверить, действительно ли он одарен ясновидением пророка), откровенно признают его усердные приверженцы Абульфеда (стр. 92) и Аль-Яннаби (apud Gagnier, том II, стр. 286-288).

157) Греки и латины выдумали и распространили нелепую басню, будто железный гроб Мухаммеда висит в Мекке на воздухе Laonicus Chalcocondyles de Rebus Turcicis, кн. 3, стр. 66) благодаря действию магнитной силы (Dictionnaire de Bayle, Mahomet, Rem. EE. FF). Нам нет надобности прибегать к каким-либо философским исследованиям, так как для нас достаточно следующих фактов; 1) что пророк был похоронен не в Мекке, и 2) что находящаяся в Медине его гробница, которую посещали миллионы людей, стоит на земле (Reland, de Relig. Moham. кн. 2, гл. 19, стр. 209-211. Gagnier, Vie de Mahomet, том III, стр. 263-268).

158) Аль-Яннаби перечисляет (Vie de Mahomet, том III, стр. 372-391)

разнообразные обязанности пилигрима, пришедшего поклониться гробнице пророка и его товарищей; ученый-казуист утверждает, что такой благочестивый подвиг почти так же обязателен и так же похвален, как исполнение божественного закона. Мусульманские богословы не сходятся во мнениях насчет того, которому из двух городов, Мекке или Медине, следует отдавать предпочтение (стр. 391-394).

159) Последнюю болезнь Мухаммеда, его смерть и погребение описали Абульфеда и Ганье (Vit. Moham. стр. 133-142. Vie de Mahomet, том III, стр. 220-271). Самые интимные и самые интересные подробности первоначально исходили от Аиши, Али, сыновей Аббаса и др., а так как эти лица жили в Медине и пережили пророка многими годами, то они могли сообщать свои благочестивые вымыслы второму или третьему поколению пилигримов. (Все арабские писатели согласны между собой в том, что Мухаммед умер 12 числа месяца Рабие I, в 11-м году эгиры; некоторые из новейших писателей полагают, что это было 6 июня, а некоторые другие, что это было 8 июня. Клинтон со своей обычной точностью замечает, что "11-й год эгиры начался с воскресенья, 29 марта, A.D. 632. Так как 12-е число месяца Рабие I было семьдесят первым днем, то оно совпадало с воскресеньем, 7 июня". F.R.П. 172 — Издат).

160) Христиане довольно опрометчиво утверждали, что у Мухаммеда был ручной голубь, по-видимому, спускавшийся к нему с небес и что-то шептавший ему на ухо. Так как Гроций ссылался на это мнимое чудо (de Veritate Religionis Chrestianae), то его арабский переводчик, ученый Покок, обратился к нему с вопросом, от каких писателей он заимствовал этот факт; тогда Гроций сознался, что об этом ничего не знают сами мусульмане. В арабском переводе эта благочестивая ложь опущена из опасения, что она возбудит между арабами негодование и вызовет смех; но она оставлена для назидания читателей в многочисленных изданиях латинского текста (Покок, Specimen Hist. Arabum, стр. 186, 187. Реланд, de Religion. Moham. кн. 2, гл. 39, стр. 259-262).

161) Платон, в Аполог. Сокр. гл. 19,стр. 121, 122, изд. Фишера). Примеры из частной жизни, на которые ссылается Сократ в своем Диалоге с Феагесом (Платон, Полн. собр. соч., том 1, стр. 128, 129, изд. Hen. Stephan), недоступны для человеческого предвидения, а на божественное вдохновение (Daimonion философа ясно указывают Memorabilia Ксенофонта. Идеи самых разумных платонистов изложены Цицероном (de Divinat. 1. 54) и в четырнадцатой и пятнадцатой диссертациях Максима Тирского (стр. 153-172, изд. Davis).

162) В каком-то месте своих обширных произведений Вольтер сравнивает пророка в его старости, с факиром, qui detache la chaîne de son cou pour donner sur les oreilles à ses confrenres.

163) Ганье с одинаковым беспристрастием говорит и об этом человеколюбивом постановлении пророка, и об умерщвлении Кааба и Суфьяна, которое он поощрял и одобрял (Vie de Mahomet, том II, стр. 69, 97, 208).

164) Относительно домашней жизни Мухаммеда см. Ганье и соответствующие главы Абульфеды; относительно его воздержанной жизни (том III, стр. 285-288); относительно его детей (стр. 189, 289); относительно его жен (стр. 290-303); относительно его брака с Зейнебой (том II, стр. 152-160); относительно его любовной связи с Марией (стр. 303-309); относительно ложного обвинения Аиши (стр. 186-199). Относительно этих трех последних пунктов самое достоверное свидетельство находится в двадцать четвертой, тридцать третьей и шес-

тьдесят шестой главах Корана с примечаниями Саля. Придо (Жизнь Магомета, стр. 80-90) и Марацци (Prodrom. Alcoran, часть 4, стр. 49-59) злонамеренно преувеличивали слабости Мухаммеда.

165) Incredibile est quo ardore apud eos in venerem uterque solvitur sexus (Аммиан Марцеллин, кн. 14, гл. 4).

166) Саль (Preliminary Discourse, стр. 133-137) перечислил законы о браке, о разводе и пр., а любознательный читатель усмотрит из произведения Сельдена Uxor Hebraica, что многие из законов Мухаммеда заимствованы от иудеев.

167) Докт. Вейль говорит, что с четырьмя из этих жен Мухаммед "расстался или вскоре после вступления в брак, или до завершения брака" и что его пережили только девять жен.(Однако его четыре служанки также принадлежали к числу его наложниц.— Издат.)

168) Он первоначально носил одно имя с отцом Мухаммеда Абдаллахом.(При вступлении его дочери в брак он принял имя Абу Бекра,или Отца Девственницы, под которым он известен потомству.— Издат.)

169) В одном достопамятном случае халиф Омар решил, что всякое свидетельство, основанное на догадке, не имеет никакого значения и что требуется, чтобы каждый из четырех свидетелей сам видел stylum in pyxide. (Abulfedae Annales Moslemici, стр. 71, vers. Reiske). (В примечании Саля к XXIY главе Корана доказана невинность Аиши и объяснено ее приключение с Сафваном Эбу аль-Моаттелем — Издат.)

170) Sibi robur ad generationem, quantum triginta viri habent, inesse jactaret: ita ut unicahora posset undecim foeminis satisfacere, ut ex Arabum libris efert S-tus Petrus Paschasius. гл. 2 (Марацци, Prodromus Alcoran, часть 4, стр. 55; см. также Observations de Belon, кн. 3, гл. 10, fol. 179, recto). Аль-Яннаби (Gagnier, том III, стр. 287) говорит о его собственном уверении, что он превосходил всех мужчин в супружеской энергии; а Абульфеда приводит восклицание Али, обмывавшего тело Мухаммеда после его смерти: O propheta, certe penis tuus coelum versus erectus est (in Vit. Mohammed. стр. 140).

171) Следующее выражение принадлежит одному из отцов церкви: Enatheleuon Herakles triskaidekaton athlon. (Григорий Назианзин, проп. 3, стр. 108).

172) Общепринятая и самая блестящая легенда гласит, что Геркулес одержал в течение одной ночи пятьдесят побед над девственными дочерьми Фестия. (Диод. Сицил. ком 1, кн. 4, стр. 274. Павсаний, кн. 9, стр. 763. Стаций, Sylv. кн. 1, элег. 3, V. 42). Но Атеней назначает семь ночей (Deipnosophist. кн. 13. стр. 556), а Аполлодор пятьдесят ночей на совершение этого трудного подвига Геркулесом, которому было в ту пору не более восемнадцати лет (Bibliot. кн. 2, гл. 4, стр. 111, cum notis Heyne, ч. 1, стр. 332).

173) Абульфеда in Vit. Moham. стр. 12, 13, 16, 17, cum notis Gagnier.

174) Для этого очерка истории арабов мне служили руководством: Bibliothèque Orientale D'Herbelot (под заголовками Aboubecre, Omar, Othan, Ali и т.д.), Летописи Абульфеды, Абульфарагия, Эльмацина (под соответствующими годами эгиры) и в особенности История сарацин Оклея (ч. 1, стр. 1-10, 115-122, 229, 249, 363-372, 378-391 и почти вся вторая часть). Однако мы должны осмотрительно взвешивать традиции враждебных сект; это такой поток, который становится все более и более грязным по мере того, как он удаляется от своего источника. Сэр Джон Шарден слишком верно повторял вымыслы и заблуждения новейших персидских писателей (Voyages, том II, стр. 235-250 и сл.).

175) В конце своей второй части (стр. 339-345, изд. Bohn) Оклей по-

местил переведенные на английский язык сто шестьдесят девять изречений, которые он, не без некоторого колебания, приписывает сыну Абу Талеба, Али. Его предисловие окрашено энтузиазмом переводчика; однако эти изречения представляют верную, хотя и мрачную, картину человеческой жизни).

176) Калиф, или халиф, значит наместник или преемник. Этот титул был впервые дан Абу Бекру как преемнику пророка, а впоследствии он превратился в титул монархов (Ockley, стр. 79, 141.— Издат.)

177) Ockley (Hist. of the Saracens, ч. 1, стр. 5, 6) говорит, со ссылкой на один арабский манускрипт, что Аиша не желала, чтобы ее отец занял место пророка. Этот факт неправдоподобен сам по себе; сверх того, о нем не упоминают ни Абульфеда, ни Аль Яннаби, ни Аль Бохари, хотя этот последний ссылается на одно предание, которое исходит от самой Аиши (Vit. Mohammed. стр. 136. Vit de Mahommet, том III, стр. 236). Авторитетом, на который ссылается Оклей, был Ахмед Эбн Магаммед Эбн Абди Раббичи. Араб. Ман. Гунтингтона, N 554. Аиша протестовала против требования своего супруга, чтобы Абу Бекр действовал в качестве его уполномоченного при публичном совершении молитвы в присутствии народа; она сказала, что "собравшиеся от слез не будут в состоянии его слушать" и предложила послать вместо него Омара. Быть может, она так поступила из дочерней любви и опасалась за здоровье своего престарелого отца, в котором, быть может, заметила развитие какого-нибудь недуга, так как он умер почти через два года после того. Ее поддержала дочь Омара Гафза, отец которой был более способен внушать народному сборищу уважение. См. Bohn's Ockley, стр. 81.— Издат.

178) В особенности своего друга и двоюродного брата, Аббасова сына Абдаллаха, умершего A. D. 687 с титулом великого наставника мусульман. По словам Абульфеды, он перечислил все важные случаи, в которых Али пренебрег его спасительными советами (стр. 76, vers Reiske) и закончил так (стр. 85): O princeps fidelium, absque controversia tu quidem vere fortis es, at inops boni consilii, et rerum gerendarum parum callense.

179) Я подозреваю, что под этими двумя старейшинами (Абульфарагий, стр. 115. Оклей, том 1, стр. 371) разумели не двух советников, а двух предшественников Османа, Абу Бекра и Омара (Bohn's Ockley стр. 272).

180) О причинах раскола персов говорят все наши путешественники прошлого столетия, и в особенности самый замечательный из них, Шарден (во втором и четвертом томах своего сочинения). Хотя Нибур и не может быть поставлен наравне с этим последним, он имел то преимущество, что писал в 1764 году (Voyages en Arabie, etc., том II, стр. 208-233), то есть после неудачной попытки Надир-Шаха переменить религию своих подданных (См. его Персидскую Историю, переведенную на французский язык сэром Вильгельмом Джонсом, том II, стр. 5, 6, 47, 48, 144 -155).

181) Омар значит у них дьявол; его убийцу считают святым. Когда перс стреляет из лука, он часто употребляет следующее восклицание: "Пусть эта стрела пронзит сердце Омара!"(Voyages de Chardin, том II, стр. 239, 240, 259, и сл.).

182) Эта градация личных достоинств ясно видна из догмата, объясняемого Реландом (de Relig. Mohamm. кн. 1, стр. 37), и из того аргумента суннитов, о котором упоминает Оклей (Hist. of the Saracens, том II, стр. 230). Обыкновение предавать проклятию память Али было уничтожено, по прошествии сорока лет, самими Омейядами (D'Herbelot, стр. 690), и между турками найдется немного таких, ко-

торые осмелились бы поносить его имя названием неправоверного (Voyages de Chardin, том IV, стр. 46).

183) Этот секретарь назывался Мерваном и впоследствии был десятым преемником Мухаммеда по званию халифа (Ockley, стр. 282, 435, изд. Bohn). Много подробностей о его жизни можно найти в Истории Магометан докт. Прайса (Price) и в Geschichte der Chalifen докт. Вейля (Weil). Он был "злым гением Османа", который часто обращался за советами к Али; но благоразумные советы, исходившие от Али, всегда встречали противодействие со стороны злонамеренного секретаря. Восстание против Османа было вызвано подложным письмом, в котором египетскому наместнику Абдаллаху было приказано лишить жизни сына Абу Бекра Мухаммеда и некоторых из его друзей.— Издат.

184) Майор Прайс и докт. Вейль сообщают много дополнительных подробностей о жизни Али, заимствованных от персидских писателей, которые, само собой разумеется, превозносят своего любимого героя. Впрочем, эти подробности лишь подтверждают характеристику Али, сделанную Гиббоном; он доказывает, с какой прозорливостью наш историк умел взвесить личные достоинства Али, на которые лишь неясно указывают суннитские писатели, служившие для Гиббона главным источником сведений.— Издат.

185) Али питал недоверие к этим двум вождям и предлагал уступить халифат одному из них. Они оба отклонили это предложение и протянули ему свои руки в знак покорности. Тела просил предоставить ему управление Куфой, а Зобеир — управление Басрой. Али не согласился на это, и обоим вождям было дозволено удалиться из Медины. Ockley, 289 — 291, изд. Bohn. — Издат.

186) Майор Прайс говорит, что Али выказывал сильное нежелание вступать в битву. В последние минуты своей жизни Тела и Зобеир выказали сожаление о том, что взбунтовались против повелителя правоверных. Ockley, 308, 309.— Издат.

187) Аиша была захвачена в плен своим братом Мухаммедом; на пути в Медину ее охраняла свита из женщин, одетых солдатами. Price, Moh-Hist.— Издат.

188) Д'Анвилль говорит (l'Euphrate et le Tigre, стр. 29), что Зиффинская долина то же, что Campus Barbaricus, о котором говорит Прокопий (Фапсак всегда был важным пунктом в происходивших на Востоке войнах. Через его мост персидские цари проводили свои войска, когда выступали в поход против греков, а Александр преследовал там Дария (Арриан, 3,7). Его название часто встречается в военных операциях, описанных Ксенофонтом, Диодором Сицилийским и другими, но Селевк Никатор впоследствии изменил его в название Амфиполиса. Теперь этот город носит название Турмады. По словам Страбона (том II, стр. 747), он находился в 4800 стадиях от Вавилона и в 2000 стадиях от Зевгмата или моста при Коммагене. Этот мост был построен Александром у северной оконечности Зиффинской долины в том месте, где она оканчивается горами, заставившими Евфрат изменить свое западное направление на южное.— Издат.)

189) Умеренный суннит Абульфеда изложил различные мнения относительно погребения Али, но со своей стороны полагает, что Али были погребен в Куфе: hodie fama numeroque religiose frequentantium celebratum. Нибур полагает, что в этом месте ежегодно хоронят до двух тысяч человек, а число ежегодных посетителей доходит до пяти тысяч (том II, стр. 208, 209).

190) Все персидские тираны, начиная с Адгада эль-Довлата (A.D. 977, D'Herbelot, стр. 58, 59, 95) и кончая Надир-Шахом (A.D. 1743, Hist. de Nadir Shah, том II, стр. 155), обирали народ для того, чтобы обога-

щать гробницу Али. Ее купол сделан из меди с великолепной позолотой и на солнце блестит на расстоянии нескольких миль.
191) Город Мешед-Али, находящийся в пяти или шести милях от развалин Куфы и в ста двадцати милях к югу от Багдада, имеет такие же размеры и такую же форму, как теперешний Иерусалим. Более обширный и более многолюдный город Мешед Гусейн находится на расстоянии тридцати миль.
192) В этом случае я заимствовал от Тацита и энергию мысли, и способ выражения (Ист. кн. 4): Evulgato im perii, arcano posse imperatorem alibi quam Romae fieri.
193) Гассан (или Гасан) был кроткого нрава и после шестимесячного царствования предпочел отказаться от престола в пользу Муавии, чем предпринимать междоусобную войну ради удержания в своих руках верховной власти. Он удалился в Медину и жил там пенсией, назначенной в размере почти ста пятидесяти тысяч фунт. стерл., и значительными подарками; большую часть своего дохода он тратил на благотворительность и после спокойного восьмилетнего там пребывания был отравлен своей женой Иаидой (Ockley, стр. 347-350, изд. Bohn.— Издат.)
194) По словам Оклея, это был тот из сыновей Али, который назывался Гассаном, стр. 353.— Издат.
195) Я сократил интересный рассказ Оклея (том II, стр. 170-231). Он длинен и подробен; но нас обыкновенно всего более трогают мелкие подробности. (Другие трогательные подробности рассказаны майором Прайсом.— Издат.)
196) Датчанин Нибур (Voyage en Arabie, etc., том II. стр. 208 и сл.) был, может быть, единственный из европейских путешественников, осмелившийся посетить Мешед Али и Мешед Гусейн. Обе гробницы находятся в руках турок, которые выносят благочестие персидских еретиков и облагают его налогом. Путешественник Sir John Chardin, труды которого я уже не раз имел случай хвалить, подробно описал праздник, установленный в честь Гусейна (Sir R. K. Porter сообщает некоторые интересные сведения относительно Мешеда Али, которые можно найти в следующей главе, в одном из подстрочных примечаний.— Издат.)
197) В Bibliothèque D'Herbelot изложен в статье Imam порядок, в котором эти халифы следовали одни за другими, а жизнеописания двенадцати халифов можно найти под заголовками, состоящими из их имен.
198) Название Антихриста может показаться странным, но мусульмане, не стесняясь, заимствовали вымыслы из всех религий (Sale, Preliminary Discourse, стр. 80, 82). В Исфагане, в царской конюшне, всегда стоят оседланными два коня, один для самого Магади, а другой для его наместника, сына Марии Иисуса. (На берегах Евфрата, в древнем городе Самаррахе, есть "полуразвалившаяся мечеть, которую посещают мусульмане-шииты, так как полагают, что под ней находятся гробницы последних имамов из рода Али и что это место служило убежищем для двенадцатого пророка Мегди". Layard, Nineveh and Babylon, стр. 471.— Издат.)
199) В 200 году эгиры (A.D. 815). См. D'Herbelot, стр. 546.
200) D'Herbelot, стр. 342. Враги Фатимидов старались унизить их тем, что приписывали им иудейское происхождение. Однако Фатимиды аккуратно вели свою родословную от шестого имама Иаафара, а беспристрастный Абульфеда (Annal. Moslem. стр. 230) допускает, что их признавали многие, qui absque controversia genuini sunt Alidarum, homines propaginum suae gentis exacte callentes. Он цитирует несколько строк знаменитого Шерифа-ар-Ради — Egone humilitatem induam in terris hostium? (Я подозреваю, что он принад-

лежал к числу сицилийских Эдрисситов). Cum in Aegypto sit Chalifa de gente Alli, quocum ego communem habeo patrem et vindicem.

201) Персидские цари, принадлежащие к последней династии, происходят от жившего в четырнадцатом столетии святого шейха Сефи, а через него от Муссы Кассема, который был сын Гусейна, сына Али (Olearius, стр. 957. Chardin, том III, стр. 288). Но я не в состоянии указать промежуточные степени родства в этих подлинных или вымышленных родословных. Если эти цари действительно были Фатимиды, то они могли вести свое происхождение от князей Мазандерана, царствовавших в девятом столетии (D'Herbelot, стр. 96).

202) Теперешнее положение потомков Мухаммеда и Али самым аккуратным образом описано Дмитрием Кантемиром (Истор. Оттоманск. империи, стр. 94) и Нибуром (Descruption de l'Arabie, стр. 9-16, 317 и сл.). Очень жаль, что датский путешественник не мог приобрести арабских хроник.

203) Авторы Всеобщей Истории Нового времени (том I и II) собрали все подробности о жизни Мухаммеда и летописи халифов на восьмистах пятидесяти страницах in folio. Они пользовались той выгодой, что читали, а иногда и исправляли арабские тексты; однако, несмотря на их громогласное хвастовство, я, по окончании этой главы, не могу сказать, что они доставили мне много дополнительных сведений; ни один проблеск философии или изящного вкуса не оживляет этой бездушной массы фактов, и компиляторы, сверх того, вдаются с язвительностью ханжества в критику произведений Буленвилье, Саля, Ганье и всех тех, кто относился к Мухаммеду с сочувствием или только с беспристрастием.

ISBN 978-5-275-01705-2